



МИХАИЛ

АРЦЫБАШЕВ

Самин

1911



1911

1911

Санин

Роман

I

Только это нашел я, что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие домыслы.
7.29. Екклезиаст

То, самое важное в жизни, время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле.

Он не был дома много лет и, когда приехал, мать и сестра Лида почти не узнали его: чертами лица, голосом и манерами он изменился мало, но в нем сказывалось что-то новое, незнакомое, что созрело внутри и осветило лицо новым выражением.

Приехал он к вечеру и так спокойно вошел в комнату, как будто вышел из нее пять минут тому назад. В его высокой светловолосой и плечистой фигуре, со спокойным и чуть-чуть, в одних только уголках губ, насмешливым выражением лица, не было заметно ни усталости, ни волнения, и те шумные восторги, с которыми встретили его мать и Лида, как-то сами собой улеглись.

Пока он ел и пил чай, сестра сидела против него и смотрела, не сводя глаз. Она была влюблена в брата, как могут влюбляться только в отсутствующих братьев молодые экзальтированные девушки. Лида всегда представляла себе брата человеком особенным, но особенным именно той особенностью, которая с помощью книг была создана ею самою.

Она хотела видеть в его жизни трагическую борьбу, страдание и одиночество непонятого великого духа.

— Что ты на меня так смотришь? — улыбаясь, спросил ее Санин.

Эта внимательная улыбка, при уходящем в себя взгляде спокойных глаз, была постоянным выражением его лица.

И, странно, эта улыбка, сама по себе красивая и симпатичная, сразу не понравилась Лиде. Она показалась ей самодовольной и ничего не говорящей о страданиях и переживаемой борьбе. Лида промолчала, задумалась и, отведя глаза, стала машинально перелистывать какую-то книгу.

Когда обед кончился, мать ласково и нежно погладила Санина по голове и сказала:

— Ну, расскажи, как ты там жил, что делал?

— Что делал? — переспросил Санин, улыбаясь. — Что ж... пил, ел, спал, иногда работал, иногда ничего не делал...

Сначала казалось, что ему не хочется говорить о себе, но когда мать стала расспрашивать, он, напротив, очень охотно стал рассказывать. Но почему-то чувствовалось, что ему совершенно безразлично, как относятся к его рассказам. Он был мягок и внимателен, но в его отношениях не было интимной, выделяющей из всего мира близости родного человека, и казалось, что эти мягкость и внимательность исходят от него просто, как свет от свечи, одинаково ровно на все.

Они вышли на террасу в сад и сели на ступеньках. Лида примостилась ниже и отдельно и молча прислушивалась к тому, что говорил брат. Неуловимая струйка холода уже прошла в ее сердце. Острым инстинктом молодой женщины она почувствовала, что брат вовсе не то, чем она воображала его, и она стала дичиться и смущаться, как чужого.

Был уже вечер, и мягкая тень спускалась вокруг. Санин закурил папиросу, и легкий запах табаку примешивался к душистому летнему дыханию сада.

Санин рассказывал, как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить, как он принимал рискованное участие в политической борьбе и как бросил это дело, когда оно ему надоело.

Лида чутко прислушивалась и сидела неподвижно, красивая и немного странная, как все красивые девушки в весенних сумерках.

Чем дальше, тем больше и больше выяснялось, что жизнь, рисовавшаяся ей в огненных чертах, в сущности, была простой и обыкновенной. Что-то особенное звучало в ней, но что — Лида не могла уловить. А так выходило очень просто, скучно и, как показалось Лиде, даже банально. Жил он где придется, делал что придется, то работал, то слонялся без цели, по-видимому, любил пить и много знал женщин. За этой жизнью вовсе не чудился мрачный и зловещий рок, которого хотелось мечтательной женской душе Лиды. Общей идеи в его жизни не было, никого он не ненавидел и ни за кого не страдал.

Срывались такие слова, которые почему-то казались Лиде просто некрасивыми. Так мельком Санин упомянул, что одно время он так бедствовал и обносился, что ему приходилось самому починять себе брюки.

— Да ты разве умеешь шить? — с обидным недоумением невольно отозвалась Лида, ей показалось это некрасивым, не по-мужски.

— Не умел раньше, а как пришлось, так и выучился, — с улыбкой ответил Санин, догадавшись о том, что чувствовала Лида.

Девушка слегка пожала плечами и замолчала, неподвижно глядя в сад. Она почувствовала себя так, точно, проснувшись утром с мечтой о солнце, увидела небо серым и холодным.

Мать тоже чувствовала что-то тягостное. Ее больно кольнуло, что сын не занимал в обществе того почетного места, которое должен был бы занять ее сын. Она начала говорить, что дальше так жить нельзя, что надо хоть теперь устроиться хоть сколько-нибудь прилично. Сначала она говорила осторожно, боясь оскорбить сына, но когда заметила, что он слушает невнимательно, сейчас же раздражилась и стала настаивать упрямо, с тупым старушечьим озлоблением, точно сын нарочно поддразнивал ее. Санин не удивился и не рассердился, он

даже как будто и слышал ее плохо. Он смотрел на нее ласковыми безразличными глазами и молчал. Только на вопрос: «Да как же ты жить будешь?» — ответил, улыбаясь: «Как-нибудь!»

И по его спокойному твердому голосу и светлым немигающим глазам почувствовалось, что эти два для нее ничего не значащие слова для него имеют всеобъемлющий, определенный глубокий смысл.

Марья Ивановна вздохнула, помолчала и печально сказала:

— Ну твое дело... Ты уже не маленький... Вы бы пошли по саду прогулялись, теперь там хорошо.

— Пойдем, Лида, и в самом деле... Покажи мне сад, — сказал Санин сестре, — я уже и позабыл, как там.

Лида очнулась от задумчивости, тоже вздохнула и встала. Они пошли рядом, по аллее, в сырую и уже темную зеленую глубину.

Дом Саниных стоял на самой главной улице города, но город был маленький, и сад выходил прямо к реке, за которой уже начинались поля. Дом был старый, барский, с задумчивыми облупившимися колоннами и обширной террасой, а сад большой, заросший и темный, как темно-зеленая туча, прикишавшая к земле. По вечерам в саду было жутко, и тогда казалось, что там, в чаще и на пыльных чердаках старого дома, бродит какой-то доживающий, старый и унылый дух.

В верхнем этаже дома пустовали обширные, потемневшие залы и гостиные, во всем саду была прочищена только одна неширокая аллея, украшенная лишь сухими веточками да растоптанными лягушками, и вся теперешняя жизнь, скромная и тихая, уютилась в одном уголке. Там, возле самого дома, желтел посыпанный песок, пестрели кудрявые клумбы, осыпанные разноцветными цветами, стоял зеленый деревянный стол, на котором в хорошую погоду летом пили чай и обедали, и весь этот маленький уголок теплел простою мирной жизнью, не сливаясь с угрюмой красотой обширного запустелого места, предоставленного естественному разрушению и неизбежному исчезновению.

Когда дом скрылся в зелени и вокруг Лиды и Санина встали одни молчаливые, неподвижные и задумчивые, как живые существа, старые деревья, Санин вдруг обнял Лиду за талию и странным, не то ласковым, не то зловецким голосом сказал:

— А ты красавицей выросла!.. Счастлив будет тот мужчина, которого ты первого полюбишь...

Горячая струйка пробежала от его мускулистой, точно железной руки по гибкому и нежному телу Лиды. Она смутилась, вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась, точно почувствовав приближение невидимого зверя.

Они уже вышли на самый берег реки, где пахло сыростью и водой, задумчиво раскачивалась островерхая осока и открывался другой берег, с далекими потемневшими полями, глубоким теплым небом и бледными искрами первых звезд.

Санин отошел от Лиды, зачем-то взялся обеими руками за толстый сухой сук дерева и, с треском отломив его, бросил в воду. Всколыхнулись и побежали во все стороны плавные круги, и, точно приветствуя Санина как своего, торопливо закланялась прибережная осока.

Было около шести часов. Солнце светило ярко, но от сада уже опять надвигалась мягкая зеленоватая тень. Свет, тишина и тепло чутко стояли в воздухе. Марья Ивановна варила варенье, и под зеленой липой вкусно и крепко пахло кипящим сахаром и малиной.

Санин с самого утра возился над клумбами, стараясь поднять поникшие от зноя и пыли цветы.

— Ты бы бурьян раньше повыдергал, — посоветовала Марья Ивановна, поглядывая на него сквозь синеватую дрожащую дымку жаровни. — Ты прикажи Груньке, она тебе и сделает...

Санин поднял потное и веселое лицо.

— Зачем, — сказал он, встряхивая волосами, прилипшими ко лбу, — пусть себе растет, я всякую зелень люблю.

— Чудак ты! — добродушно пожимая плечами, возразила мать, но почему-то ей было очень приятно то, что он сказал.

— Сами вы все чудаки! — ответил Санин тоном полного убеждения, потом пошел в дом мыть руки, вернулся и сел у стола, удобно и спокойно расположившись в плетеном кресле.

Ему было хорошо, легко и радостно. Зелень, солнце, голубое небо таким ярким лучом входили в его душу, что вся она раскрывалась им навстречу в ощущении полного счастья. Большие города, с их торопливым шумом и суетливой цепкой жизнью, опротивели ему. Вокруг были солнце и свобода, а будущее не заботило его, потому что он готов был принять от жизни все, что она могла дать ему.

Санин жмурился и потягивался, с глубоким наслаждением вытягивая и напрягая свои здоровые, сильные мускулы.

Веяло тихой и мягкой прохладой, и казалось, что весь сад вздыхает кротко и глубоко. Воробьи чирикали где-то, и близко и далеко, воровато и торопливо переговариваясь о своей маленькой, страшно важной, но никому не понятной жизни; а пестрый фокстерьер Милль, высунув красный язык и подняв одно ухо, снисходительно слушал их из гущи свежей зеленой травы. Листья тихо шелестели над головой, а их круглые тени беззвучно шевелились на ровном песке дорожки.

Марью Ивановну болезненно раздражало спокойствие сына. Как и всех своих детей, она очень любила его, но именно потому у нее кипело сердце и ей хотелось возмутить его, задеть его самолюбие, оскорбить — лишь бы заставить придать цену ее словам и ее понятию о жизни. Каждое мгновение своего долгого существования она, как муравей, зарывшийся в песке, неустанно копошилась над созданием хрупкого, рассыпчатого здания своего домашнего благосостояния. Это скучное, длинное и однообразное здание, похожее и на казарму и на больницу, составлялось из мельчайших кирпичиков, которые ей, как бездарному архитектору, казались украшением жизни, а на самом деле то стесняли, то раздражали, то пугали и всегда заботили ее до тоски. Но все-таки она думала, что иначе жить нельзя.

— Ну что ж... так и дальше будет? — спросила она, поджав губы и притворно внимательно глядя в таз с вареньем.

— Как дальше? — спросил Санин и чихнул.

Марье Ивановне показалось, что и чихнул он нарочно, чтобы ее обидеть, и хотя это было очевидно нелепо, она обиделась и надулась.

— А хорошо у вас тут! — мечтательно сказал Санин.

— Недурно... — считая нужным сердиться, сдержанно ответила Марья Ивановна, но ей было очень приятно, что сын похвалил дом и сад, с которыми она сжилась, как с родными милыми существами.

Санин посмотрел на нее и задумчиво сказал:

— А если бы вы не приставали ко мне со всякими пустяками, то еще лучше было бы.

Незлобивый голос, которым это было сказано, противоречил обидным словам, и Марья Ивановна не знала, сердиться ей или смеяться.

— Как посмотрю я на тебя, — с досадой сказала она, — и в детстве ты был какой-то ненормальный, а теперь...

— А теперь? — спросил Санин так весело, точно ожидал услышать что-то очень приятное и интересное.

— А теперь и совсем хорош! — колко ответила Марья Ивановна и махнула ложкой.

— Ну тем и лучше! — усмехнулся Санин и, помолчав, прибавил. — А вот и Новиков идет.

От дома шел высокий, красивый и белокурый человек. Его красная шелковая рубаша, плотно обтягивающая немного пухлое, но рослое и красивое тело, ярко вспыхивала красными огоньками под солнечными пятнами, а голубые глаза смотрели ласково и лениво.

— А вы все ссоритесь! — таким же ленивым и ласковым голосом протянул он еще издали. — И о чем, ей-богу!..

— Да вот, мама находит, что мне больше шел бы греческий нос, а я нахожу, что какой есть, и слава Богу!

Санин сбоку посмотрел на свой нос, засмеялся и пожал пухлую широкую ладонь Новикова.

— Ну, еще что! — с досадой отозвалась Марья Ивановна.

Новиков громко и весело засмеялся, и круглое мягкое эхо добродушно захохотало в зеленой чаще, точно кто-то добрый и тихий радовался там его веселью.

— Ну, я са-ам знаю... все о твоей судьбе хлопоты идут!

— Вот, поди ж ты! — с комическим недоумением сказал Санин.

— Ну, так тебе и надо!

— Эге! — вскрикнул Санин. — Если вы за меня в два голоса приметесь, так я и сбежать могу!

— Я сама, кажется, скоро от вас сбегу! — с неожиданной и, больше всего для нее самой, неприятной злобой проговорила Марья Ивановна, рывком дернула таз с жаровни и пошла в дом, не глядя ни на кого. Пестрый Милль выскочил из травы, поднял оба уха и вопросительно посмотрел ей вслед. Потом почесал носом переднюю лапу, опять внимательно посмотрел на дом и побежал куда-то в глубь сада по своим делам.

— Папиросы у тебя есть? — спросил Санин, очень довольный тем, что мать ушла.

Новиков достал портсигар, лениво изогнув назад свое крупное спокойное тело.

— Напрасно ты ее дразнишь, — с ласковой укоризною протянул он, — женщина она старая...

— Чем я ее дразню?

— Да вот...

— Что ж «вот»?.. Она сама ко мне лезет. Я, брат, никогда от людей ничего не требовал, пусть и они оставят меня в покое...

Они помолчали.

— Ну, как живешь, доктор? — спросил Санин, внимательно следя за изящно-прихотливыми узорами табачного дыма, нежно свивавшегося в чистом воздухе над его головой.

Новиков, думая о другом, ответил не сразу.

— Плохо.

— Что так?

— Да так, вообще... Скучно. Городишко осточертел по самое горло, делать нечего.

— Это тебе-то делать нечего? А сам жаловался, что вздохнуть некогда.

— Я не о том говорю... Нельзя же вечно только лечить да лечить. Есть же и другая жизнь.

— А кто тебе мешает жить и другой жизнью?

— Ну, это вопрос сложный!

— Чем же сложный?.. И чего тебе еще нужно: человек ты молодой, красивый, здоровый.

— Этого, оказывается, мало! — с добродушной иронией возразил Новиков.

— Как тебе сказать, — улыбнулся Санин, — этого, пожалуй, даже много...

— А мне не хватает! — засмеялся Новиков; по смеху его было слышно, что мнение Санина о его красоте, силе и здоровье было ему приятно и что он слегка смущен, точно барышня на смотринах.

— Тебе не хватает одного, — задумчиво сказал Санин.

— Чего же?

— Взгляда настоящего на жизнь... Ты вот тяготишься однообразием своей жизни, а позови тебя кто-нибудь бросить все и пойти куда глаза глядят, ты испугаешься.

— Куда? В босяки? Хм!..

— А хоть бы и в босяки!.. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю: вот человек, который при случае способен за какую-нибудь конституцию в Российской империи сесть на всю жизнь в Шлиссельбург, лишиться всяких прав, свободы, всего... А казалось бы, что ему конституция?.. А когда речь идет о том, чтобы перевернуть надоевшую собственную жизнь и пойти искать интереса и смысла на сторону, сейчас же у него возникает вопрос: а чем жить, а не пропаду ли я, здоровый и сильный человек, если лишусь своего жалованья, а с ним вместе сливок к утреннему чаю, шелковой рубашки и воротничков?.. Странно, ей-богу!

— Ничего тут странного нет... Там дело идейное, а тут...

— Что тут?

— Да... как бы это выразиться... — Новиков пощелкал пальцами.

— Вот видишь, как ты рассуждаешь! — перебил Санин. — Сейчас у тебя эти подразделения!.. Ведь не поверю же я, что тебя больше гложет тоска по конституции, чем по смыслу и интересу в собственной твоей жизни, а ты...

— Ну это еще вопрос. Может, и больше! Санин с досадой махнул рукой.

— Оставь, пожалуйста! Если тебе будут резать палец, тебе будет больнее, чем если палец будут резать у любого другого русского обывателя... Это факт!

— Или цинизм! — постарался Новиков сказать язвительно, но вышло только смешливо.

— Пусть так. Но это правда. И теперь, хотя не только в России, но и во многих странах света нет не только конституции, но даже и намек на нее, ты тоскуешь потому, что твоя собственная жизнь тебя не ласкает, а вовсе не по конституции! И если будешь говорить другое, то совершь. И знаешь, что я тебе скажу, — с веселым огоньком в светлых глазах перебил сам себя Санин, — и теперь ты тоскуешь не оттого, что жизнь вообще тебя не удовлетворяет, а оттого, что Лида тебя до сих пор не полюбила! Ведь правда?

— Ну, это ты уже глупости говоришь! — вскрикнул Новиков, вспыхивая, как его красная рубашка, и на его добрых спокойных глазах выступили слезы самого наивного и искреннего смущения.

— Какие глупости, когда ты из-за Лиды света белого не видишь!.. Да у тебя от головы до пят так и написано одно желание — взять ее. А ты говоришь — глупости!

Новиков странно передернулся и торопливо заходил по аллее. Если бы это говорил не брат Лиды, он, может быть, тоже смутился бы, но ему было так странно слышать именно от Санина такие слова о Лиде, что он даже, но понял его хорошенько.

— Знаешь что, — пробормотал он, — ты или рисуешься, или...

— Что? — улыбаясь, спросил Санин.

Новиков молча пожал плечами, глядя в сторону. Другой вывод заключался в определении Санина как дурного, безнравственного, как понимал это Новиков, человека. Но этого он не мог сказать Санину, потому что всегда, еще с гимназии, чувствовал к нему искреннюю любовь. Выходило так, что ему, Новикову, нравился дрянной человек, а этого, конечно, быть не могло. И оттого в голове Новикова сделалось смутно и неприятно. Напоминание о Лиде было ему больно и стыдно, но так как Лиду он обожал и сам молился на свое большое и глубокое чувство к ней, то не мог сердиться на Санина за это напоминание: оно было и мучительно, и в то же время жгуче приятно. Точно кто-то горячей рукой взялся за сердце и тихонько пожимал его.

Санин молчал и улыбался, и улыбка у него была внимательная и ласковая.

— Ну придумай определение, а я подожду, — сказал он, — мне не к спеху.

Новиков все ходил по дорожке, и видно было, что он искренно мучится. Прибежал Милль, озабоченно посмотрел вокруг и стал тереться о колени Санина. Он, очевидно, был рад чему-то и хотел, чтобы все знали о его радости.

— Славная ты моя собачка! — сказал Санин, глядя его. Новиков с трудом удерживался, чтобы не заспорить снова, но боялся, чтобы Санин опять не коснулся того, что больше всего на свете его самого интересовало. А между тем все другое, что приходило ему в голову, казалось пустым, неинтересным и мертвым при воспоминании о Лиде.

— А... а где Лидия Петровна? — машинально спросил он именно то, что хотел спросить, но чего спросить не решался.

— Лида? А где ей быть... На бульваре с офицерами гуляет. В это время все барышни у нас на бульваре.

С тоскливым уколом смутной ревности Новиков возразил:

— Лидия Петровна... как она, такая умная, развитая, проводит время с этими чугунолобыми господами...

— Э, друг! — усмехнулся Санин. — Лида молода, красива и здорова, как и ты... и даже больше, потому что у нее есть то, чего у тебя нет: жадность ко всему!.. Ей хочется все изведать, все почувствовать... Да вот и она сама... Ты только посмотри на нее и пойми!.. Красота-то какая!

Лида была меньше ростом и гораздо красивее брата. В ней поражали тонкое и обаятельное сплетение изящной нежности и ловкой силы, страстно горделивое выражение затемненных глаз и мягкий звучный голос, которым она гордилась и играла. Она медленно, слегка волнуясь на ходу всем телом, как молодая красивая кобыла, спустилась с крыльца, ловко и уверенно подбирая свое длинное серое платье. Путаясь шпорами и преувеличенно ими позванивая, за нею шли два молодых красивых офицера в блестящих сапогах и туго обтянутых рейтузах.

— Это кто же красота, я? — спросила Лида, наполняя весь сад своею красотой, женской свежестью и звучным голосом. Она протянула Новикову руку и покосилась на брата, к которому все не могла приноровиться и понять, когда он смеется, а когда говорит серьезно.

Новиков крепко пожал ее руку и так густо покраснел, что на глазах у него выступили слезы. Но Лида этого не заметила, она уже давно привыкла чувствовать на себе его робкие благоговеющие взгляды, и они не волновали ее.

— Добрый вечер, Владимир Петрович! — весело и звонко щелкая шпорами и весь изгибаясь, как горячий веселый жеребец, сказал тот офицер, который был старше, светлее волосами и красивее.

Санин уже знал и то, что его фамилия была Зарудин, и то, что он ротмистр, и то, что он настойчиво и упрямо добивается любви Лиды. Другой офицер был поручик Танаров, который считал Зарудина образцом офицера и старался во всем подражать ему. Но он был молчалив, не очень ловок и хуже Зарудина лицом. Танаров так же щелкнул шпорами, но ничего не сказал.

— Ты! — слишком серьезно ответил Санин сестре.

— Конечно, конечно... красота, и прибавь — неопишная! — засмеялась Лида и бросилась в кресло, скользнув взглядом по лицу брата. Подняв обе руки к голове, отчего выпукло обрисовалась высокая упругая грудь, она стала откалывать шляпу, упустила в песок длинную, как жало, булавку и запутала в волосах и шпильках вуаль. — Андрей Павлович, помогите!.. — жалобно и кокетливо обратилась она к молчаливому поручику.

— Да, красота! — задумчиво повторил Санин, не спуская с нее глаз.

Лида снова покосилась на него недоверчивым взглядом.

— Все мы здесь красавцы, — сказала она.

— Мы что, — блестя белыми зубами, засмеялся Зарудин, — мы только убогая декорация, на

которой еще ярче, еще пышнее обрисовывается ваша красота!

— А вы красноречивы! — удивился Санин, и в его голосе неуловимо прозвучал оттенок насмешки.

— Лидия Петровна хоть кого сделает красноречивым! — заметил молчаливый Танаров, стараясь отцепить шляпку Лиды и дергая ее за волосы, отчего она и сердилась, и смеялась.

— А и вы тоже красноречивы! — удивленно протянул Санин.

— Оставь их, — с удовольствием, неискренно шепнул Новиков. Лида, прищурившись, посмотрела прямо в глаза брату, и по ее потемневшим зрачкам Санин ясно прочел: «Не думай, что я не вижу, кто это такие! Но я так хочу! Это мне весело! Я не глупее тебя и знаю, что делаю!» Санин улыбнулся ей.

Шляпка наконец была отцеплена, и Танаров торжественно перенес ее на стол.

— Ах, какой вы, Андрей Павлович! — мгновенно меняя взгляд, опять жалобно и кокетливо воскликнула Лида. — Вы мне всю прическу испортили... Теперь надо идти в дом...

— Я этого никогда не прощу себе! — смущенно пробормотал Танаров.

Лида встала, подобрала платье и, возбуждающе чувствуя на себе взгляды мужчин, безотчетно смеясь и изгибаясь, взбежала на крыльцо.

Когда она ушла, все мужчины почувствовали себя вольнее и как-то сразу опустились и осели, утратив ту нервную напряженность движений, которую все мужчины принимают в присутствии молодой и красивой женщины. Зарудин вынул папиросу и, с наслаждением закуривая, заговорил. Слышно было, что он говорит только по привычке всегда поддерживать разговор, а думает совсем о другом.

— Сегодня я уговаривал Лидию Петровну бросить все и учиться петь серьезно. С ее голосом карьера обеспечена!

— Нечего сказать, хорошая дорога! — угрюмо и глядя в сторону, возразил Новиков.

— Чем же плохая? — с искренним удивлением спросил Зарудин и даже папиросу опустил.

— Да что такое артистка?.. Та же публичная женщина! — с внезапным раздражением ответил Новиков.

Его мучило и волновало то, что он говорил, потому что говорила в нем ревность, страдающая при мысли, что женщина, тело которой он любит, будет выступать перед другими мужчинами, быть может, в костюмах вызывающих, обнажающих это тело, делающих его еще грешнее, заманчивее.

— Слишком сильно сказано, — приподнял брови Зарудин.

Новиков посмотрел на него с ненавистью: в его представлении Зарудин был именно одним из тех мужчин, которые хотят любимой им женщины, и его мучительно раздражало, что Зарудин красив.

— Ничуть не сильно... Выходить чуть не голой на сцену! Ломаться, изображать сцены сладострастия под взглядами тех, кто завтра уйдет от нее так же, как уходят от публичной женщины, заплатив деньги. Нечего сказать, хорошо!

— Друг мой, — возразил Санин, — каждой женщине приятно, чтобы любовались ее телом,

прежде всего.

Новиков досадливо вздернул плечами.

— Что ты за пошлости говоришь!

— Черт их знает, пошлости это или нет, а только это правда. А Лида была бы эффектна на сцене, я бы посмотрел.

Хотя при этих словах у всех шевельнулось инстинктивное жадное любопытство, всем стало неловко. И Зарудин, считая себя умнее и находчивее других, счел своим долгом вывести всех из неловкого положения.

— А что же, по-вашему, женщине делать?.. Замуж выйти?.. На курсы ехать и погубить свой талант?.. Ведь это было бы преступлением против природы, наградившей ее своими лучшими дарами!

— Ух, — с нескрываемой насмешкой сказал Санин, — а ведь и в самом деле! Как это преступление мне самому в голову не пришло!

Новиков злорадно засмеялся, но из приличия возразил Зарудину:

— Почему же преступление: хорошая мать или хороший врач в тысячу раз полезнее всякой актрисы!

— Ну-у! — с негодованием протянул Танаров.

— И неужели вам не скучно все эти глупости говорить? — спросил Санин.

Зарудин поперхнулся начатым возражением, и всем вдруг показалось, что говорить об этом действительно скучно и бесполезно. Но, тем не менее, все обиделись. Стало тихо и совсем скучно.

Лида и Марья Ивановна показались на балконе. Лида расслышала последнюю фразу брата, но не поняла, в чем дело.

— Скоро же вы до скуки договорились! — весело заметила она. — Пойдемте к реке. Там хорошо теперь...

И, проходя мимо мужчин, она чуть-чуть потянулась всем телом, и глаза у нее на мгновение стали загадочны и темны, что-то обещая, что-то говоря.

— Прогуляйтесь до ужина, — сказала Марья Ивановна.

— С наслаждением, — согласился Зарудин, щелкая шпорами и подавая Лиде руку.

— А мне, надеюсь, можно с вами? — стараясь говорить ядовито, отчего у него все лицо приняло плаксивое выражение, спросил Новиков.

— А кто же вам мешает? — через плечо, смеясь, спросила Лида.

— Иди, брат, иди, — посоветовал Санин, — и я бы пошел, если бы, к сожаленью, она не была слишком уверена в том, что я ей брат!

Лида странно вздрогнула и насторожилась. Потом быстро окинула брата глазами и засмеялась коротко и нервно. Марью Ивановну покорило.

— Зачем ты эти глупости говоришь? — грубо спросила она, когда Лида ушла. —

Оригинальничаешь все!..

— И не думаю, — возразил Санин.

Марья Ивановна посмотрела на него с недоумением. Она совершенно не могла понять сына, не знала, когда он шутит, когда говорит серьезно, что думает и чувствует тогда, когда все другие, понятные ей люди думают и чувствуют то же или почти то же, что и она сама. По ее понятиям выходило так, что человек должен чувствовать, говорить и делать всегда то, что говорят и делают все люди, стоящие с ним наравне по образованию, состоянию и социальному положению. Для нее было естественным, что люди должны быть не просто людьми, со всеми индивидуальными особенностями, вложенными в них природой, а людьми, влитыми в известную общую мерку. Окружающая жизнь укрепляла ее в этом понятии: к этому была направлена вся воспитательная деятельность людей, и в этом смысле больше всего отделялись интеллигентные от неинтеллигентных: вторые могли сохранять свою индивидуальность и за это презирались другими, а первые только распадались на группы, соответственно получаемому образованию. Убеждения их всегда отвечали не их личным качествам, а их положению: всякий студент был революционер, всякий чиновник буржуазен, всякий артист свободомыслящ, всякий офицер с преувеличенным понятием о внешнем благородстве, и когда вдруг студент оказывался консерватором или офицер анархистом, то это уже казалось странным, а иногда и неприятным. Санин по своему происхождению и образованию должен был быть совсем не тем, чем был, и как Лида, Новиков и все, кто с ним сталкивался, так и Марья Ивановна смотрела на него с неприятным ощущением обманутого ожидания. С чуткостью матери Марья Ивановна замечала то впечатление, которое производил сын на всех окружающих, и оно было ей больно.

Санин видел это. Ему очень хотелось успокоить мать, но он не знал, как это сделать. Сначала ему даже пришло в голову притвориться и высказать матери самые успокоительные мысли, но он ничего не мог придумать, засмеялся, встал и ушел в дом. Там он лег на кровать и стал думать о том, что люди хотят весь мир обратить в монастырскую казарму, с одним уставом для всех, уставом, ясно основанным на уничтожении всякой личности и подчинении ее могучей власти какого-то таинственного старчества. Он начал было размышлять над судьбою и ролью христианства, но это показалось ему так скучно, что он незаметно заснул и проспал до глубокого вечера.

Марья Ивановна, проводив его глазами, тяжело вздохнула и задумалась тоже. Думала она о том, что Зарудин явно ухаживает за Лидой, и ей хотелось, чтобы это было серьезно.

«Лидочке уже двадцать лет, — тихо шли ее мысли. — Зарудин, кажется, хороший человек. Говорят, он в этом году получит эскадрон... Только долгов за ним не оберешься! И к чему я этот сон отвратительный видела... Ведь сама знаю, что чепуха, а из головы нейдет!»

Этот сон, который приснился Марье Ивановне в тот самый день, когда Зарудин был у них в доме первый раз, почему-то действительно мучил ее. А снилось ей, что Лида, в белом платье, шла по полю, покрытому травами и цветами.

Марья Ивановна села в кресло, по-старушечьи подперла голову рукой и долго смотрела в постепенно темнеющее небо. Маленькие, но тягучие и докучные мысли ползли у нее в голове, и ей было грустно и страшно чего-то.

III

Когда уже совсем стемнело, вернулись гулявшие. Из глубины сада, мягко затонувшего в

темноте, слышались их оживленные, яркие голоса.

Веселая раскрасневшаяся Лида подбежала к Марье Ивановне. От нее пахло раздражающе свежим и молодым запахом реки и красавицы женщины, возбужденной до крайнего напряжения обществом молодых, ей нравящихся, ею возбужденных мужчин.

— Ужинать, мама, ужинать! — затормошила она ласково улыбавшуюся ей мать. — А пока Виктор Сергеевич нам поет.

Марья Ивановна пошла распорядиться ужином и, уходя, думала уже о том, что судьба такой интересной, красивой, здоровой и понятной ей девушки, как Лида, не может не быть счастливой.

Зарудин и Танаров ушли в зал, к роялю, а Лида села в стоявшее на балконе кресло-качалку и потянулась гибко и страстно.

Новиков молча ходил по скрипящим доскам балкона, искоса взглядывая на лицо, высокую грудь и вытянутые из-под платья стройные ноги в черных чулках и желтых туфельках, но она не замечала ни его взглядов, ни его самого, вся охваченная могучим и обаятельным ощущением первой страсти. Она совсем закрыла глаза и загадочно улыбалась сама себе.

В душе Новикова была обычная борьба: он любил Лиду, но в ее чувстве не мог разобраться. Иногда ему казалось, что она любит его, иногда — нет. И тогда, когда он думал, что «да», ему казалось вполне возможным, легким и прекрасным, что ее молодое, стройное и чистое тело сладострастно и полно будет принадлежать ему. А когда думал, что «нет», та же мысль казалась ему бесстыдной и гнусной, и тогда он ловил себя на чувственности и называл себя изменным, дрянным человеком, недостойным Лиды. Новиков шагал по доскам и загадывал:

— Если ступлю правой ногой на последнюю доску, то «да» и надо объясниться, а если левой, то...

Ему не хотелось думать, что будет тогда. На последнюю доску он ступил левой ногой, облился холодным потом и сейчас же сказал себе:

— Фу, какие глупости! Точно старая баба... Ну... Раз, два, три... со словом «три» прямо подойду и скажу. Как я скажу?... Все равно. Ну, раз... два... три... Нет, до трех раз... Раз, два, три... раз, два...

Голова у него горела, во рту пересохло, и сердце колотилось так, что ноги дрожали.

— Да будет вам топтаться! — с досадой сказала Лида, открывая глаза. — Слушать мешаете!

Только теперь Новиков заметил, что Зарудин поет. Молодой офицер пел старинный романс:

Я вас любил, любовь моя, быть может,

В моей груди угасла не совсем...

Пел он недурно, но так, как поют люди малоразвитые: заменяя выражение криком и замиранием голоса. И пение Зарудина показалось чрезвычайно неприятным Новикову.

— Это что же, собственного сочинения? — спросил он с непривычным чувством злобы и раздражения.

— Нет... Не мешайте! Сидите смиренно! — капризно приказала Лида. — Если музыку не любите, так на луну смотрите.

Совершенно круглая и еще красная луна действительно медленно и таинственно выглянула из-за черных верхушек сада. Ее легкий неуловимый свет заскользил по ступенькам, по платью Лиды и по ее улыбающемуся собственным мыслям лицу. Тени в саду сгустились и стали черными и глубокими, как в лесу.

Новиков вздохнул.

— Лучше уж на вас, — неловко сказал он и подумал: «Какие я пошлости способен говорить!»

Лида засмеялась.

— Фу, какой дубовый комплимент!

— Я не умею комплиментов говорить, — угрюмо возразил Новиков.

— Да замолчите... слушайте же! — досадливо дернула плечами Лида.

Но пусть она вас больше не тревожит,

Я не хочу печалить вас ничем!..

Звуки рояля звонкими кристальными всплесками отдавались в зеленом сыром саду. Лунный свет все яснел, а тени становились все глубже и черней. Внизу, по траве, тихо прошел Санин, сел под липой, хотел закурить папиросу, но раздумал и сидел неподвижно, точно зачарованный тишиной вечера, которую не нарушали, а как-то дополняли звуки рояля и молодого страстно поющего голоса.

— Лидия Петровна! — вдруг выпалил Новиков, как будто сразу стало очевидно, что нельзя потерять этого момента.

— Что? — машинально спросила Лида, глядя в сад, на луну и на черные веточки, чеканящиеся на ее круглом ярком диске.

— Я уже давно жду... хочу поговорить... — срывающимся голосом продолжал Новиков.

Санин повел головой и прислушался.

— О чем? — рассеянно переспросила Лида.

Зарудин кончил один, помолчал и запел другой романс. Он думал, что у него редко кто красивый голос, и любил петь.

Новиков почувствовал, что краснеет и бледнеет пятнами и что ему нехорошо до головокружения.

— Я, видите ли... Лидия Петровна... хотите быть моей... женой... — заплетаясь языком и чувствуя, что совсем это не так говорится и не то чувствуется в такие минуты, и еще прежде, чем он договорил, как-то само собой стало ясно, что «нет» и что сейчас произойдет что-то постыдное, глупое, непереносимо смешное.

Лида машинально переспросила:

— Чьей? — и вдруг вспыхнула, встала, хотела что-то сказать, но не сказала и в замешательстве отвернулась. Луна смотрела прямо на нее.

— Я вас люблю... — продолжал мямлить Новиков, чувствуя, что луна перестала светить, что в саду душно и все валится куда-то в безнадежную ужасную пропасть. — Я... говорить не умею, но это глупости, и... я очень вас люблю...

«При чем тут очень... точно я о сливочном мороженом говорю»... — вдруг подумал он и замолчал.

Лида нервно дергала листик, попавший ей в руки. Она растерялась, потому что это было совершенно неожиданно, не нужно и создавало печальную, непоправимую неловкость между нею и Новиковым, к которому она издавна привыкла почти как к родному и которого немного любила.

— Я не знаю, право... Я не думала вовсе...

Новиков почувствовал, как с тупой болью упало куда-то вниз его сердце, побледнел, встал и взял фуражку.

— До свиданья! — сказал он, сам не слыша своего голоса. Губы у него странно кривились в нелепую и неуместную дрожащую улыбку.

— Куда же вы? До свиданья! — растерянно отвечала Лида, протягивая руку и стараясь беспечно улыбаться.

Новиков быстро пожал ей руку и, не надевая фуражки, крупными шагами пошел прямо по росистой траве в сад. Зайдя в первую тень, он вдруг остановился и с силой схватил себя за волосы.

— Боже мой, Боже... за что я такой несчастный!.. Застрелиться... Все это пустяки, а застрелиться... — вихрем и бессвязно пронеслось у него в голове, и он почувствовал себя самым несчастным, опозоренным и смешным человеком в мире.

Санин хотел было его окликнуть, но раздумал и улыбнулся. Ему было смешно, что Новиков дергает себя за волосы и чуть ли даже не плачет оттого, что женщина, лицо которой, плечи, груди и ноги нравились ему, не хочет отдаться.

И еще Санину было приятно, что красивая сестра не любит Новикова.

Лида несколько минут неподвижно простояла на том же месте, и Санин с острым любопытством следил за ее смутно озаренным луною белым силуэтом.

Из уже освещенных лампой желтых дверей дома вышел на балкон Зарудин, и Санину ясно было слышно осторожное позвякивание его шпор. В зале Танаров тихо и грустно играл старый вальс, с расплывающимися кругообразными томными звуками.

Зарудин тихо подошел к Лиде и мягким ловким движением обнял ее за талию, и Санину было видно, как два силуэта легко слились в один, странно колеблющийся в лунном тумане.

— О чем вы так задумались? — тихо шепнул Зарудин, трогая губами ее маленькое свежее ухо и блестя глазами.

У Лиды сладко и жутко поплыла голова. Как и всегда, когда она обнималась с Зарудиным, ее охватило странное чувство: она знала, что Зарудин бесконечно ниже ее по уму и развитию, что она никогда не может быть подчинена ему; но в то же время было приятно и жутко позволять эти прикосновения сильному, большому, красивому мужчине, как будто заглядывая

в бездонную, таинственную пропасть с дерзкой мыслью: а вдруг возьму и брошусь... захочу и брошусь!

— Увидят... — чуть слышно прошептала она, не прижимаясь и не отдаляясь и еще больше дразня и возбуждая его этой отдающейся пассивностью.

— Одно слово, — еще прижимаясь к ней и весь заливаясь горячей возбужденной кровью, продолжал Зарудин, — придете?

Лида дрожала. Этот вопрос он предлагал ей уже не в первый раз, и всегда в ней что-то начинало томиться и дрожать, делая ее слабой и безвольной.

— Зачем? — глухо спросила она, глядя на луну широко открытыми и налитыми какой-то влагой глазами.

Зарудин не мог и не хотел ответить ей правды, хотя, как все легко сходящиеся с женщинами мужчины, в глубине души был уверен, что Лида и сама хочет, знает и только боится.

— Зачем... Да посмотреть на вас свободно, перекинуться словом. Ведь это пытка... вы меня мучите... Лидия... придете? — страстно придавливая к своим дрожащим ногам ее выпуклое, упругое и теплое бедро, повторил он.

И от соприкосновения их ног, жгучего, как раскаленное железо, еще гуще поднялся вокруг теплый, душный, как сон, туман. Все гибкое, нежное и стройное тело Лиды замирало, изгибалось и тянулось к нему. Ей было мучительно хорошо и страшно. Вокруг все странно и непонятно изменилось: луна была не луна и смотрела близко-близко, через переплет террасы, точно висела над самой ярко освещенной лужайкой; сад, не тот, который она знала, а какой-то другой, темный и таинственный, придвинулся и стал вокруг. Голова медленно и тягуче кружилась. Изгибаясь со странной ленью, она освободилась у него из рук и сразу пересохшими, воспаленными губами с трудом прошептала:

— Хорошо...

И, пошатываясь, через силу ушла в дом, чувствуя, как что-то страшное, неизбежное и привлекательное тянет ее куда-то в бездну.

— Это глупости... это не то... я только шучу... Просто мне любопытно, забавно... — старалась она уверить себя, стоя в своей комнате перед темным зеркалом и видя только свой черный силуэт на отражающейся в нем освещенной двери в столовую. Она медленно подняла обе руки к голове, заломила их и страстно потянулась, следя за движениями своей гибкой тонкой талии и широких выпуклых бедер.

Зарудин, оставшись один, вздрогнул на красивых, плотно обтянутых ногах, потянулся, страстно зажмурившись, и, скаля зубы под светлыми усами, повел плечами. Он был привычно счастлив и чувствовал, что впереди ему предстоит еще больше счастья и наслаждения. Лида в момент, когда она отдастся ему, рисовалась так жгуче и необыкновенно сладострастно хороша, что ему было физически больно от страсти.

Сначала, когда он начал за ней ухаживать, и даже тогда, когда она уже позволила ему обнять и поцеловать себя, Зарудин все-таки боялся ее. В ее потемневших глазах было что-то незнакомое и непонятное ему, как будто, позволяя ласкать себя, она втайне презирала его. Она казалась ему такой умной, такой непохожей на всех тех девушек и женщин, лаская которых, он горделиво сознавал свое превосходство, такой гордой, что, обнимая ее, он замирал, точно ожидая получить пощечину, и как-то боялся думать о полном обладании ею. Иногда казалось, будто она играет им и его положение просто глупо и смешно. Но после сегодняшнего обещания, данного знакомым Зарудину по другим женщинам странным,

срывающимся и безвольным голосом, он вдруг неожиданно почувствовал свою силу и внезапную близость цели и понял, что уже не может быть иначе, чем так, как хочет он. И к сладкому томительному чувству сладострастного ожидания тонко и бессознательно стал примешиваться оттенок злорадности, что эта гордая, умная, чистая и начитанная девушка будет лежать под ним, как и всякая другая, и он так же будет делать с нею что захочет, как и со всеми другими. И острая жестокая мысль стала смутно представлять ему вычурно унижающие сладострастные сцены, в которых голое тело, распущенные волосы и умные глаза Лиды сплетались в какую-то дикую вакханалию сладострастной жестокости. Он вдруг ясно увидел ее на полу, услышал свист хлыста, увидел розовую полосу на голом нежном покорном теле и, вздрогнув, пошатнулся от удара крови в голову. Золотые круги сверкнули у него в глазах.

Было даже физически невыносимо думать об этом. Зарудин дрожащими пальцами закурил папиросу, еще раз дрогнул на сильных ногах и пошел в комнаты.

Санин, который не слышал, но увидел и понял все, с чувством, похожим на ревность, пошел за ним.

«И везет же вот таким животным! — подумал он. — Черт знает что такое! Лида и он!»

Ужинали в комнатах. Марья Ивановна была не в духе. Танаров по обыкновению молчал и мечтал о том, как было бы хорошо, если бы он был такой, как Зарудин, и его любила такая девушка, как Лида. И ему казалось, что он любил бы ее не так, как Зарудин, не способный оценить такое счастье. Лида была бледна, молчалива и не смотрела ни на кого. Зарудин был весел и насторожен, как зверь на охоте, а Санин, как всегда, зевал, ел, пил много водки и нестерпимо, по-видимому, хотел спать. Но это не помешало ему после ужина заявить, что спать он не хочет и, в виде прогулки, пойдет проводить Зарудина.

Была уже совсем ночь, и луна плыла высоко. Санин и Зарудин, почти молча, дошли до квартиры офицера. Санин всю дорогу посматривал на офицера и думал, не треснуть ли его по физиономии.

— Н-да, — заговорил он уже возле самого дома, — много есть на свете всякого сорта мерзавцев!

— То есть? — вопросительно и удивленно произнес Зарудин, высоко поднимая брови.

— Да так, вообще... А мерзавцы — самые занимательные люди...

— Что вы! — усмехнулся Зарудин.

— Конечно. На свете нет ничего скучнее честного человека... Что такое честный человек? Программа честности и добродетели давно всем известна, и в ней не может быть ничего нового... От этого старья в человеке исчезает всякое разнообразие, жизнь сводится в одну рамку добродетели, скучную и узкую. Не кради, не лги, не предай, не прелюбы сотвори... И главное, что все это в человеке сидит прочно: всякий человек и лжет, и предает, и «прелюбы» это самое творит по мере сил...

— Не всякий же! — снисходительно заметил Зарудин.

— Нет, всякий. Стоит только вдуматься в жизнь каждого человека, чтобы найти в ней, более или менее глубоко, грех... Предательство, например. В ту минуту, как мы отдаем Кесарево Кесарю, ложимся спокойно спать, садимся обедать, мы совершаем предательство...

— Что вы говорите! — невольно воскликнул Зарудин почти с возмущением.

— Конечно. Мы платим подати и отбываем повинности, значит, мы предаем тысячи людей

той самой войне и несправедливости, которыми возмущаемся. Мы ложимся спать, а не бежим спасать тех, кто в ту минуту погибает за нас, за наши идеи... мы съедаем лишний кусок, предавая голоду тех людей, о благе которых мы, если мы добродетельные люди, должны были печь всю жизнь. И так далее. Это понятно!.. Другое дело мерзавец, настоящий откровенный мерзавец! Прежде всего, это человек совершенно искренний и естественный...

— Естественный?!

— Всенепременно. Он делает то, что для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не принадлежит, но которая хороша, он ее берет: видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, он ее возьмет силой или обманом. И это вполне естественно, потому что потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они — животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий и не страдания же идеал человеческих стремлений...

— Разумеется, — согласился Зарудин.

— Значит, в наслаждениях и есть цель жизни. Рай — синоним наслаждения абсолютного, и все так или иначе мечтают о рае на земле. И рай первоначально, говорят, и был на земле. Эта сказка о рае вовсе не вздор, а символ и мечта.

— Да, — заговорил, помолчав, Санин, — человеку от природы не свойственно воздержание, и самые искренние люди — это люди, не скрывающие своих вожделений... то есть те, которых в общезнании называют мерзавцами... Вот, например, вы...

Зарудин вздрогнул и отшатнулся.

— Вы, конечно, — продолжал Санин, притворяясь, что не замечает ничего, — самый лучший человек на свете. По крайней мере в своих глазах. Ну, признайтесь, встречали ли вы когда-нибудь человека лучше вас?

— Много... — нерешительно ответил Зарудин, который уже совершенно не понимал Санина и которому было решительно неизвестно, уместно ли теперь обидеться или нет.

— Назовите, — предложил Санин. Зарудин недоумевающе пожал плечами.

— Ну вот, — весело подхватил Санин, — вы самый лучший человек, и я, конечно, самый лучший, а разве нам с вами не хочется красть, лгать и «прелюбы» сотворить... прежде всего «прелюбы»?

Зарудин пожал плечами опять.

— Ори-ги-нально, — пробормотал он.

— Вы думаете? — с неуловимым оттенком обидного спросил Санин. — А я и не думал... Да, мерзавцы — самые искренние люди, притом и самые интересные, ибо пределов и границ человеческой мерзости даже и представить себе нельзя... Я мерзавцу с особенным удовольствием пожму руку.

Санин с необыкновенно открытым видом пожал руку Зарудину, глядя ему прямо в глаза, потом вдруг насупился и, уже совсем другим тоном пробормотав: «Прощайте, покойной ночи!» — ушел.

Зарудин несколько минут неподвижно простоял на месте, глядя вслед уходившему Санину.

Он не знал, как принять слова Санина, и на душе у него было смутно и неприятно. Но сейчас же он вспомнил Лиду, усмехаясь, подумал, что Санин — брат Лиды, что он, в сущности, прав, и почувствовал к нему братскую приязнь и дружбу.

— Занимательный парень, черт возьми! — подумал он самодовольно, точно Санин тоже до некоторой степени уже принадлежал ему. Потом он отворил калитку и через освещенный луною двор пошел к своему флигелю.

Санин вернулся домой, разделся, лег, укрылся, хотел читать «Так говорит Заратустра», которого нашел у Лиды, но с первых страниц ему стало досадно и скучно. Напыщенные образы не трогали его души. Он плюнул и, бросив книгу, моментально заснул.

IV

К жившему в том же городе отставному полковнику и помещику Николаю Егоровичу Сварожичу приехал его сын, студент-технолог.

Он был выслан из Москвы под надзор полиции, как подозреваемый в участии в революционной организации. О том, что он арестован, просидел в тюрьме полгода и выслан из столицы, Юрий Сварожич еще раньше известил своих родных письмами, и его приезд не был для них неожиданностью. Хотя Николай Егорович был других убеждений, видел в поступках сына мальчишеское безумие и был страшно опечален его историей, но он его любил и принял ласково, стараясь избегать разговоров на щекотливую тему.

Юрий ехал два дня в вагоне третьего класса, где нельзя было спать от духоты, дурного запаха и рева младенцев. Он очень устал и, едва поздоровавшись с отцом и сестрой Людмилой, которую все в городе называли просто Лялей, как она сама окрестила себя в детстве, лег спать в комнате Ляли на ее кровати.

Проснулся он уже к вечеру, когда солнце садилось и его косые лучи красными пятнами чертили на стене силуэт окна. В соседней комнате стучали ложками и стаканами, слышался веселый смех Ляли и незнакомый Юрию приятный, барский мужской голос.

Сначала Юрию показалось, что он все еще едет в вагоне, который позвякивает буферами и оконными стеклами, и слышит в соседнем отделении голоса незнакомых ему пассажиров. Но сейчас же он опомнился, быстро приподнялся и сел на кровати.

— Да, — протянул он, сморщившись и ероша свои черные, густые и упрямые волосы. — Вот я и приехал!

И он стал думать, что ему не стоило сюда приезжать. Ему предоставлялось право выбора местожительства. Почему он поехал именно домой, Юрий не отдавал себе отчета. Он думал и хотел думать, что сказал первое, что пришло в голову, но это было не так: Юрий всю жизнь жил не собственным трудом, а помощью отца, и ему было страшно очутиться одному, без поддержки, в незнакомом месте, среди чужих людей. Он стыдился этого чувства и не признавался в нем даже самому себе. Но теперь он подумал, что сделал нехорошо. Родные не могли понять и одобрить его истории, это было ясно; к этому должен был примешаться и материальный интерес, — лишние годы сидения на шее у отца, — и все вместе делало то, что хороших, искренних и согласных отношений у них быть не могло. И, кроме того, в этом маленьком городке, в котором он не был уже два года, должно было быть очень скучно. Всех жителей маленьких уездных городов Юрий огулом считал мещанами, неспособными не только понимать, но даже интересоваться теми вопросами философии и политики, которые

Юрий считал единственным смыслом и интересом жизни.

Юрий встал, подошел к окну, отворил его и высунулся в палисадник, разбитый под стенами дома. Весь он был покрыт красными, голубыми, желтыми, лиловыми и белыми цветами, пересыпанными, как в калейдоскопе. За палисадником темнел густой сад, сбегавший, как и все сады в этом заросшем и речном городке, к реке, которая бледным стеклом поблескивала внизу между деревьями. Вечер был тихий и прозрачный.

Юрию стало грустно. Он слишком много жил в больших каменных городах, и хотя всегда думал, что любит природу, она оставалась для него пустынной и не смягчала его чувств, не успокаивала, не радовала его, а возбуждала в нем непонятную, мечтательную, болезненную грусть.

— А... Ты уже встал, пора! — сказала Ляля, входя в комнату. Юрий отошел от окна.

Тяжелое чувство от сознания своего обособленного и неопределенного положения и тихая грусть, возбужденная умиранием дня, сделали то, что Юрию было неприятно видеть свою сестру веселой и слышать ее звонкий, беззаботный голос.

— Тебе весело? — неожиданно для самого себя спросил он.

— Вот тебе и на! — воскликнула Ляля, делая большие глаза, но сейчас же рассмеялась еще веселее, точно вопрос брата напомнил ей что-то очень забавное и радостное. — Что это тебе вздумалось справляться о моем веселье... Я никогда не скучаю... Некогда.

И, принимая серьезный вид и, видимо, гордясь тем, что говорит, она прибавила:

— Такое интересное теперь время, что прямо грех скучать!.. Я теперь занимаюсь с рабочими, а потом много времени отнимает библиотека... Без тебя мы здесь народную библиотеку устроили. И хорошо пошла!

В другое время это было бы интересно Юрию и возбудило бы его внимание, но теперь что-то мешало ему.

Ляля делала серьезно лицо и забавно, как ребенок, ждала одобрения, а потому Юрий сделал над собою усилие и сказал:

— Вот как!

— Где же мне еще скучать! — довольно протянула Ляля.

— А вот мне все скучно, — опять невольно возразил Юрий.

— Любезно, нечего сказать! — шутя, возмутилась Ляля. — Всего несколько часов дома... да и те проспал, а уже скучает!

— Ничего не поделаешь, это от Бога! — с легким оттенком самодовольства возразил Юрий. Ему казалось, что скучать лучше и умнее, чем веселиться.

— От Бога, от Бога! — притворно дуюсь, пропела Ляля и замахнулась на него рукой:

— У-у!..

Юрий не замечал, что ему уже весело. Звонкий голос и жизнерадостность Ляли быстро и легко разогнали тяжелое чувство, которое он считал серьезным и глубоким. И Ляля бессознательно не верила в его тоску, а потому нисколько не обиделась его заявлением.

Юрий, улыбаясь, смотрел ей в лицо и говорил:

— Мне никогда не бывает весело!

Ляля смеялась, точно он сообщал ей что-то очень забавное и веселое.

— Ну ладно, рыцарь печального образа! Никогда, так и никогда. Пойдем лучше, я представлю тебе одного молодого человека... приятной наружности... Идем!

Ляля, смеясь, тянула брата за руку.

— Постой, что же это за приятный молодой человек?

— Мой жених! — звонко и весело выкрикнула Ляля прямо в лицо Юрию и в восторге от смущения и радости закружилась по комнате, раздувая платье.

Юрий и раньше из писем отца и самой Ляли знал, что молодой доктор, недавно приехавший в их город, ухаживает за Лялей, но не знал еще, что это дело решено.

— Вот как! — протянул он удивленно, и ему было странно, что эта маленькая, такая чистенькая и свеженькая Ляля, которую он все еще считал полудевочкой, уже имеет жениха и скоро выйдет замуж, сделается женщиной, женой... Он почувствовал к сестре нежность и неопределенную тихую жалость.

Юрий обнял Лялю за талию и пошел с ней вместе в столовую, где уже горела лампа, блестел большой, ярко начищенный самовар и сидели Николай Егорович и незнакомый, плотный, но молодой человек нерусского типа, со смуглым лицом и быстрыми любопытными глазами.

Он развязно, любезно и спокойно поднялся навстречу Юрию.

— Ну, познакомимся...

— Анатолий Павлович Рязанцев, — комически торжественно провозгласила Ляля, забавно вывертывая руку ладонью вверх.

— Прошу любить и жаловать, — так же шутя прибавил Рязанцев.

Они с искренним желанием приязни пожали руки и одну секунду думали почему-то поцеловаться, но не поцеловались и только дружелюбно и внимательно поглядели в глаза друг другу.

— Вот какой у нее брат! — с удивлением подумал Рязанцев, ожидавший, что у бойкой, белокурой и цветущей маленькой Ляли брат должен быть такой же светлый и жизнерадостный. А Юрий был высок, худ и черен, хотя так же красив, как и Ляля, и даже похож на нее тонкими правильными чертами лица.

Юрий же, глядя на Рязанцева, подумал, что вот тот самый человек, который в маленькой, чистенькой и свеженькой, как весеннее утро, девочке Ляле полюбил женщину. Полюбил, конечно, совершенно так же, как и сам Юрий любил женщин. И почему-то это было неприятно, и неловко было смотреть на Рязанцева и Лялю, точно те могли догадаться об его мыслях.

Они чувствовали, что многое и важное должны сказать друг другу. Юрию хотелось спросить:

— Вы любите Лялю?.. Чисто ли, серьезно ли?.. Ведь жалко, гадко будет, если вы ее обманываете... Она такая чистая, невинная!

А Рязанцеву ответить:

— Да, я очень люблю вашу сестру, да ее и нельзя не любить: посмотрите, какая она

чистенькая, свеженькая, хорошенькая, как мило она меня любит и какой у нее милый вырез возле шеи...

Но вместо этого Юрий не сказал ничего, а Рязанцев спросил:

— Вы высланы надолго?

— На пять лет, — ответил Юрий.

Николай Егорович, ходивший по комнате, на мгновение задержался, но справился и продолжал ходить чересчур правильными и размеренными шагами старого военного. Он еще не знал подробностей высылки сына, и это неожиданное известие кинулось ему в голову.

«Черт знает что такое!» — мысленно вспыхнул он.

Ляля поняла это движение отца и испугалась. Она боялась всяких ссор, споров и неприятностей и попыталась перевести разговор.

— Какая я глупая, — мысленно укорила она себя, — как не догадаться предупредить Толю.

Но Рязанцев не знал сути дела и, ответив на вопрос Ляли, хочет ли он чаю, опять стал расспрашивать Юрия:

— Что же вы теперь намерены делать?

Николай Егорович хмурился и молчал. И вдруг Юрий почувствовал его молчание, и, прежде чем успел сообразить последствия, в нем закипело раздражение и упрямство. Он нарочно ответил:

— Ничего пока...

— Как так ничего? — останавливаясь, спросил Николай Егорович. Голоса он не повысил, но в звуках его ясно послышался затаенный укор.

«Как ты можешь говорить „ничего“, как у тебя хватает совести говорить это, точно я обязан держать тебя на своей шее!.. Как ты смеешь забывать, что я стар, что тебе давно пора самому хлеб зарабатывать? Я ничего не говорю, живи, но как ты сам этого не понимаешь!» — сказал этот тон.

И тем острее чувствуя его, потому что сознавал за отцом право так думать, Юрий, тем не менее, оскорбился всем существом своим.

— Да так, ничего... что же мне делать? — вызывающе ответил он.

Николай Егорович хотел сказать что-то резкое, но промолчал и, только пожав плечами, опять стал ходить из угла в угол тяжелыми, размеренными на три темпа шагами. Джентльменское воспитание не позволило ему раздражиться в первый же день приезда сына.

Юрий следил за ним блестящими глазами и уже не мог сдерживаться, весь ощетинившись и насторожившись, чтобы вцепиться в малейший повод. Он прекрасно сознавал, что сам вызывает ссору, но уже не мог владеть своим упрямством и раздражением.

Ляля чуть не плакала и растерянно переводила умоляющие глаза с брата на отца. Рязанцев, наконец, понял, и ему стало жаль Лялю. Он поспешно и не очень ловко перевел разговор на другую тему.

Вечер прошел скучно и натянуто. Юрий не мог считать себя виноватым, потому что не мог согласиться, что политическая борьба не его дело, как думал Николай Егорович. Ему

казалось, что отец не понимает самой простой вещи, потому что стар и неразвит, и он бессознательно чувствовал его виновным в своей старости и неразвитости и злился. Разговоры, которые поднимал Рязанцев, его не занимали, и, слушая вполуха, он все так же напряженно и злобно следил за отцом своими черными блестящими глазами.

К самому ужину пришли Новиков, Иванов и Семенов.

Семенов был больной чахоткою университетский студент, уже несколько месяцев живший в этом городе на уроки. Он был очень некрасив, худ и слаб, и на его преждевременно состарившемся лице неуловимо, но жутко лежала тонкая тень близкой смерти. Иванов был народный учитель, длинноволосый, широкоплечий и нескладный человек.

Они вместе гуляли на бульваре и, узнав о приезде Юрия, зашли поздороваться.

С их приходом все оживилось. Начались остроты, шутки и смех. За ужином все выпили, и Иванов больше всех.

За те несколько дней, которые прошли со времени его неудачного объяснения с Лидой Саниной, Новиков немного успокоился. Ему стало казаться, что отказ был случайным, что он сам виноват в нем, не подготовив Лиду. Но все-таки ему было мучительно стыдно и неловко ходить к Санينым. Поэтому он старался видеться с Лидой не у них, а будто случайно встречаясь с нею то у знакомых, то на улице. И оттого, что Лида, жалевшая его и чувствовавшая себя как будто виноватой, была с ним преувеличенно ласкова и внимательна, Новиков опять стал надеяться.

— Вот что, господа, — сказал он, когда они уже уходили, — давайте-ка устроим пикник в монастыре... А?

Загородный монастырь был обычным местом прогулок, потому что стоял на горе, в красивом привольном и речном месте, недалеко от города, и дорога туда была хороша.

Ляля, больше всего на свете любившая всякий шум, прогулки, купанье, катанье на лодке и беготню по лесу, с увлечением ухватилась за эту мысль.

— Непременно, непременно... А когда?

— Да хоть и завтра! — ответил Новиков.

— А кого же мы пригласим еще? — спросил Рязанцев, которому тоже понравилась мысль о прогулке. В лесу можно было целоваться, обниматься и быть в раздражающей близости к телу Ляли, которое остро дразнило его своей свежестью и чистотой.

— Да кого... Вот нас... шестеро. Позовем Шафрова.

— Это кто же такой? — спросил Юрий.

— Юный студизус один тут есть такой.

— Ну... а Людмила Николаевна пригласит Карсавину и Ольгу Ивановну.

— Кого? — опять переспросил Юрий. Ляля засмеялась.

— Увидишь! — сказала она и загадочно выразительно поцеловала кончики пальцев.

— Вот как, — улыбнулся Юрий, — посмотрим, посмотрим... Новиков помялся и неестественно равнодушно прибавил:

— Саниных можно позвать.

— Лиду непременно! — воскликнула Ляля не столько потому, что ей нравилась Санина, сколько потому, что знала о любви Новикова и хотела сделать ему приятное. Она была очень счастлива своей любовью, и ей хотелось, чтобы и все вокруг были так же счастливы и довольны.

— Только тогда придется и офицеров звать, — язвительно вставил Иванов.

— Что ж, позовем... чем больше народу, там лучше. Все вышли на крыльцо.

Луна светила ярко и ровно. Было тепло и тихо.

— Ну ночь, — сказала Ляля, незаметно прижимаясь к Рязанцеву.

Ей не хотелось, чтобы он уходил. Рязанцев крепко прижал ее круглую теплую ручку локтем.

— Да, ночь чудная! — сказал он, придавая этим простым словам особенный, только им двоим понятный смысл.

— Да будет ей благо, — басом отозвался Иванов, — а я спать желаю. Покойной ночи, синьоры!

И он зашагал по улице, размахивая руками, как мельница крыльями.

Потом ушли Новиков и Семенов. Рязанцев долго прощался с Лялей под предлогом совещания о пикнике.

— Ну, бай, бай, — шутя, сказала Ляля, когда он ушел, потянулась и вздохнула, с сожалением покидая лунный свет, теплый ночной воздух и то, к чему они звали ее молодое, цветущее тело.

Юрий подумал, что отец еще не спит и что если они останутся вдвоем, то неприятное и ни к чему не ведущее объяснение будет неизбежным.

— Нет, — сказал он, глядя в сторону, на голубоватый туман, тянувшийся пеленой за черным забором над рекой, — я еще не хочу спать... Пойду пройдуся.

— Как хочешь, — отозвалась Ляля тихим и странно нежным голосом. Она еще раз потянулась, зажмурилась, как кошечка, улыбнулась куда-то навстречу лунному свету и ушла. Юрий остался один. С минуту он неподвижно стоял и смотрел на черные тени домов и деревьев, казавшиеся глубокими и холодными, потом встрепенулся и пошел в ту сторону, куда медленно ушел Семенов.

Больной студент не успел уйти далеко. Он шел тихо, согнувшись и глухо покашливая, и его черная тень бежала за ним по светлой земле. Юрий его догнал и сразу заметил происшедшую в нем перемену: во все время ужина Семенов шутил и смеялся едва ли не больше всех, а теперь он шел грустно, понуро, и в его глухом покашливании слышалось что-то грозное, печальное и безнадежное, как та болезнь, которою он был болен.

— А, это вы! — рассеянно и, как показалось Юрию, недоброжелательно сказал он.

— Что-то спать не хочется. Вот, провожу вас, — пояснил Юрий.

— Проводите, — равнодушно согласился Семенов.

Они долго шли молча. Семенов все покашливал и горбился.

— Вам не холодно? — спросил Юрий, так только, потому что его начинало тяготить это унылое покашливание.

— Мне всегда холодно, — как будто с досадой возразил Семенов.

Юрию стало неловко, точно он нечаянно коснулся больного места.

— Вы давно из университета? — опять спросил он. Семенов ответил не сразу.

— Давно, — сказал он.

Юрий начал рассказывать о студенческих настроениях, о том, что среди студентов считалось самым важным и современным. Сначала он говорил просто, но потом увлекся, оживился и стал говорить с выражением и горячностью.

Семенов слушал и молчал.

Потом Юрий незаметно перешел к упадку революционного настроения среди масс. И видно было, что он искренно страдает о том, что говорит.

— Вы читали последнюю речь Бебеля? — спросил он.

— Читал, — ответил Семенов.

— Ну и что?

Семенов вдруг с раздражением махнул своей палкой с большим крючком. Его тень так же махнула своей черной рукой, и это движение ее напомнило Юрию зловещий взмах крыла какой-то черной хищной птицы.

— Что я вам скажу, — торопливо и сбивчиво заговорил Семенов, — я скажу, что я вот умираю...

И опять он махнул палкой, и опять черная тень хищно повторила его движение. На этот раз и Семенов заметил ее.

— Вот, — сказал он горько, — у меня за спиной смерть стоит и каждое мое движение стережет... Что мне Бебель!.. Болтун болтает, другой будет болтать другое, а мне все равно не сегодня-завтра умирать.

Юрий смущенно молчал, и ему было грустно, тяжело и обидно на кого-то за то, что он слышал.

— Вот вы думаете, что все это очень важно... то, что случилось в университете и что сказал Бебель... А я думаю, что когда вам, как мне, придется умирать и знать наверное, что умираешь, так вам и в голову не придет думать, что слова Бебеля, Ницше, Толстого или кого еще там... имеют какой-либо смысл!

Семенов замолчал.

Месяц по-прежнему светил ярко и ровно, и черная тень неотступно шла за ними.

— Организм разрушается... — вдруг произнес Семенов своим другим, слабым и жалким голосом.

— Если бы вы знали, как не хочется умирать... Особенно в такую ясную теплую ночь!.. — с жалобной тоской заговорил он, поворачивая к Юрию свое некрасивое, обтянутое кожей лицо, с ненормально блестящими глазами. — Все живет, а я умираю... Вот, вам кажется — и должна казаться — избитой эта фраза... А я умираю. Не в романе, не на страницах, написанных «с художественной правдой», а на самом деле умираю, и она не кажется мне избитой... Когда-нибудь и вам не будет казаться... Умираю, умираю, и все тут!

Семенов закашлялся.

— Я вот иногда начну думать о том, что скоро я буду в полной темноте, в холодной земле, с провалившимся носом и отгнившими руками, а на земле все будет совершенно так же, как и сейчас, когда я иду живой. Вы вот еще будете живы... Будете ходить, смотреть на эту луну, дышать, пройдете мимо моей могилы и остановитесь над нею по своей надобности, а я буду лежать и отвратительно гнить. Что мне Бебель, Толстой и миллионы других кривляющихся ослов! — вдруг со злобой резко выкрикнул Семенов.

Юрий молчал, растерянный и расстроенный.

— Ну, прощайте, — сказал Семенов тихо. — Мне сюда. Юрий пожал ему руку и с глубокой жалостью посмотрел на его впалую грудь, согнутые плечи и на его палку с толстым крючком, которую Семенов зацепил за пуговицу своего студенческого пальто. Юрию хотелось что-то сказать, чем-нибудь утешить и обнадежить его, но он чувствовал, что ничем нельзя этого сделать, вздохнул и ответил:

— До свидания.

Семенов приподнял фуражку и отворил калитку. За забором еще слышались его шаги и глухое покашливание. Потом все смолкло.

Юрий пошел назад. И все, что еще полчаса тому назад казалось ему легким, светлым, тихим и спокойным — лунный свет, звездное небо, тополя, освещенные луной, и таинственные тени, — теперь показалось мертвым, зловещим и страшным, как холод огромной мировой могилы.

Когда он пришел домой, тихо пробрался в свою комнату и отворил окно в сад, ему в первый раз пришло в голову, что все то, чем он так глубоко, доверчиво и самоотверженно занимался, — не то, что было нужно. Ему представилось, что когда-нибудь, умирая, как Семенов, он будет мучительно, невыносимо жалеть не о том, что люди не сделали благодаря ему счастливыми, не о том, что идеалы, перед которыми он благоговел всю жизнь, останутся не проведенными в мир, а о том, что он умирает, перестает видеть, слышать и чувствовать, не успев в полной мере насладиться всем, что может дать жизнь.

Но ему стало стыдно этой мысли, он сделал над собой усилие и придумал объяснение.

— Жизнь и есть в борьбе!

— Да, но за кого... не за себя ли, не за свою ли долю под солнцем? — грустно заметила тайная мысль. Но Юрий притворился, что не слышит, и стал думать о другом. Но это было трудно и неинтересно, мысль ежеминутно возвращалась на те же круги, и ему было скучно, тяжело и тошно до злых и мучительных слез.

V

Получив записку от Ляли Сварожич, Лида Санина передала ее брату. Она думала, что он откажется, и ей хотелось, чтобы он отказался. Она чувствовала, что ночью при лунном свете на реке ее будет так же властно и сладко тянуть к Зарудину, что это будет жуткое и интересное наслаждение, и вместе с тем ей было стыдно перед братом, что это будет именно с Зарудиным, которого брат, очевидно, презирал от души.

Но Санин сразу и охотно согласился.

Был совершенно безоблачный, теплый и нежаркий день. На небо было больно смотреть, и оно все трепетало от чистоты воздуха и сверкания бело-золотых солнечных лучей.

— Кстати, там барышни будут, вот и познакомишься... — машинально сказала Лида.

— А, это хорошо! — сказал Санин. — И притом погода самая благодатная. Едем.

В назначенное время подъехали Зарудин и Танаров на широкой эскадронной линейке, запряженной парюю рослых лошадей из полкового обоза.

— Лидия Петровна, мы ждем! — весело закричал Зарудин, весь чистый, белый и надушенный.

Лида, одетая и легкое светлое платье, с розовым бархатным воротником и таким же широким поясом, сбежала с крыльца и подала Зарудину обе руки. Зарудин на мгновение выразительно задержал ее перед собой, оглядывая ее фигуру быстрым и откровенным взглядом.

— Едем, едем, — понимая его взгляд и стыдясь и возбуждаясь им, закричала Лида.

И через несколько времени линейка быстро катилась по мало проторенной степной дороге, пригибая к земле жесткие стебли полевой травы, которая, выпрямляясь, хлестала по ногам. Свежий степной ветер легко шевелил волосы и бежал по обе стороны дороги в мягких волнах травы.

На выезде из города они догнали другую линейку, в которой сидели Ляля и Юрий Сварожичи, Рязанцев, Новиков, Иванов и Семенов. Им было тесно и неудобно и оттого весело, и настроены все были дружелюбно. Одному Юрию Сварожичу, после вчерашнего разговора с Семеновым, было немного неловко с ним. Ему казалось странным и даже немного неприятным, что Семенов острит и смеется так же беззаботно, как и все. Юрий не мог понять, как может Семенов смеяться после всего того, что было им говорено вчера.

— Рисовался он тогда, что ли? — думал Юрий, искоса поглядывая на больного студента. — Или он вовсе не так уж болен?

Но он сам смутился своей мысли и постарался забыть ее.

Из обеих линеек посыпались перекрестные остроты и приветствия. Новиков, дурачась, соскочил со своей линейки и побежал по траве возле Лиды. Между ними как-то установилось молчаливое соглашение преувеличенно выказывать дружбу. И оба были чересчур шутливы и дружески дерзки.

Все больше выясняясь и вырастая, показалась гора, на которой блестели главы и белели стены монастыря. Вся гора была покрыта рощей и казалась курчавой от зеленых верхушек дубов. Те же дубы росли на островах и внизу под горою, и между ними текла широкая и спокойная река.

Лошади, свернув с накатанной дороги, покатили по мягкой и сочной луговой траве, низко пригибая ее колесами и мягко чавкая копытами по сырой земле. Запахло водою и дубовым лесом.

В условленном месте, на особенно всем нравящейся лужайке, на траве и на разостланных ковриках, уже ожидали раньше приехавшие студент и две барышни в малороссийских костюмах, которые со смехом готовили чай и закуску.

Лошади, фыркая и помахивая хвостами от мух, остановились, и все приехавшие, оживленные дорогой, воздухом и запахом воды и леса, разом высыпали из обеих линеек.

Ляля стала звонко целоваться с двумя готовившими чай барышнями. Лида поздоровалась сдержанно и представила им своего брата и Юрия Сварожича. Барышни смотрели на них с молодым тайным любопытством.

— Да вы и между собой, кажется, незнакомы, — вдруг спохватилась Лида. — Это мой брат, Владимир Петрович, а это — Юрий Николаевич Сварожич.

Санин, улыбаясь, мягко и сильно пожал руку Юрию, который не обратил на него никакого внимания. Санину был интересен всякий человек, и он любил встречаться с новыми людьми, а Юрий был убежден, что интересных людей мало, и потому всегда был равнодушен к новым знакомствам.

Иванов уже немного знал Санина, и то, что он о нем слышал, ему понравилось. Он с любопытством посмотрел на Санина и первый подошел и заговорил с ним. Семенов равнодушно подал ему руку.

— Ну, теперь можно и веселиться! — закричала Ляля. — Со скучными обязанностями покончено!

Сначала всем было неловко, потому что многие видели друг друга в первый раз. Когда же стали закусывать и мужчины выпили по несколько рюмок водки, а женщины — вина, неловкость исчезла, и стало весело. Много пили, смеялись, острили — и иногда очень удачно, — бегали взапуски и лазили по горе. Лес был так зелен и красив, везде было так тихо, светло и ярко, что ни у кого не осталось на душе ничего темного, заботного и злого.

— Вот, — сказал запыхавшийся Рязанцев, — если бы люди побольше так прыгали и бегали, девяти десятых болезней не было бы!

— И пороков тоже, — сказала Ляля.

— Ну, пороков в человеке всегда будет предостаточно, — заметил Иванов, и хотя то, что он сказал, никому не показалось особенно метким и остроумным, смеялись все искренно.

Пока пили чай, солнце стало садиться, и река стала золотой, а между деревьями потянулись длинные косые стрелы красноватого света.

— Ну, господа, на лодки! — крикнула Лида и первая, высоко подобрав платье, пустилась бегом к берегу. — Кто скорее!

И кто бегом, кто более солидно, все потянулись за ней и с хохотом и шалостями стали рассаживаться в большой, пестро раскрашенной лодке.

— Отчаливай! — молодым бесшабашным голосом крикнула Лида.

И лодка легко скользнула от берега, оставляя за собой широкие полосы, плавно расходящиеся к обоим берегам.

— Юрий Николаевич, что же вы молчите? — спросила Лида Сварожича.

— Говорить нечего, — улыбнулся Юрий.

— Неужели? — протянула Лида, закидывая голову и чувствуя, что все мужчины ею любят.

— Юрий Николаевич не любит болтать по пустякам, — начал Семенов, — и ему...

— А, ему надо серьезную тему? — перебила Лида.

— Смотрите, вот серьезная тема! — закричал Зарудин, показывая на берег.

Там, под обрывом, между узловатыми корнями старого покосившегося дуба, чернела узкая и угрюмая дыра, заросшая бурьяном.

— Это что же? — спросил Шафров, который был родом из других мест.

— Пещера здесь, — ответил Иванов.

— Какая пещера?

— А черт ее знает... Говорят, что здесь когда-то была фабрика фальшивых монетчиков. Их всех, как водится, переловили... Ужасно скверно, что это «так водится», — вставил Иванов.

— А то ты бы сейчас фабрику фальшивых двугривенных открыл? — спросил Новиков.

— Зачем?.. Целко-овых, друг, целковых!

— Гм... — произнес Зарудин и слегка пожал плечами. Ему не нравился Иванов, и шуток его он не понимал.

— Да... Ну, переловили, а пещеру забросили. Она завалилась, и теперь туда никто не ходит. Когда я был еще младенцем, я лазил туда. Там довольно интересно.

— Еще бы не интересно! — закричала Лида. — Виктор Сергеевич, пойдите туда... Вы храбрый!

У нее был странный тон, точно теперь, при людях и при свете, она хотела издеваться и мстить Зарудину за то странное и жуткое обаяние, которое производил он на нее вечером, наедине.

— Зачем? — недоумевая, спросил Зарудин.

— Я пойду, — вызвался Юрий и покраснел, испугавшись, что подумают, будто он рисуется.

— Дело — хорошее! — одобрил Иванов.

— Может, и ты пойдешь? — спросил Новиков.

— Нет, я лучше тут посижу. Все засмеялись.

Лодка пристала к берегу, и черная дыра сквозила теперь над самой головой.

— Юрий, не делай, пожалуйста, глупостей, — приставала к брату Ляля. — Ей-богу, глупости!

— Конечно, глупости, — шутя, соглашался Юрий. — Семенов, передайте мне свечу.

— А где я ее возьму?

— Да сзади вас, в корзине!

Семенов флегматично достал из корзины свечу.

— Вы в самом деле пойдете? — спросила одна из барышень, высокая, красивая, с полной грудью девушка, которую Ляля называла Зиной и фамилия которой была Карсавина.

— Конечно, отчего же нет? — притворяясь равнодушным, возразил Юрий и сам припомнил, как таким же равнодушным старался он быть во время опасных партийных походов. Это воспоминание почему-то было ему неприятно.

У входа в пещеру было сыро и темно. Санин заглянул туда и сказал: брр!

Ему было смешно, что Юрий ползет в неприятное, опасное место, потому только, что на него смотрят другие люди.

Юрий зажег свечу, стараясь не смотреть на других. Его уже мучила тайная мысль: не смешон ли он? Казалось, что как будто смешон, но в то же время как-то странно выходило, что не только не смешон, а удивителен, красив и возбуждает в женщинах то таинственное любопытство, которое так приятно и жутко. Он подождал, пока разгорится свеча, и, смеясь, чтобы обеспечить себя от насмешки, шагнул вперед и сразу утонул в темноте. Даже свеча как будто потухла. И всем стало действительно жутко за него и любопытно.

— Смотрите, Юрий Николаевич, — закричал Рязанцев, — там, бывает, волки прячутся!

— У меня револьвер! — глухо отозвался Юрий, и голос его из-под земли прозвучал как-то странно, точно мертвый.

Он осторожно пробирался вперед. Стены были низкие, неровные и сырые, как в большом погребе. Дно то поднималось, то опускалось, и раза два Юрий чуть было не сорвался в какие-то ямы. Он подумал, что лучше воротиться или сесть, посидеть, а потом сказать, что ходил далеко.

Вдруг сзади послышались шаги, скользящие по мокрой глине, и прерывистое дыхание. Кто-то шел за ним. Юрий поднял свечу выше головы.

— Зинаида Павловна! — удивленно вскрикнул он.

— Она самая! — весело отозвалась Карсавина, подбирая платье, чтобы перескочить через яму.

Юрию было приятно, что это она, веселая, полная, красивая девушка. Он смотрел на нее блестящими глазами и улыбался.

— Ну, идемте же дальше! — несколько смущенно предложила девушка.

Юрий послушно и легко пошел вперед, уже совсем не думая об опасности и старательно освещая дорогу только Карсавиной.

Стены пещеры, из коричневой сырой глины, то придвигались, точно с молчаливой угрозой, то отступали и давали дорогу. Местами вывалились целые груды камней и земли, а на месте их чернели глубокие впадины. Громада земли, нависшая над ними, казалась мертвой, и что-то страшное было в том, что она не валится, а висит неподвижно, поддерживаемая своим невидимым могучим законом. Потом все выходы сошлись в одну большую и мрачную пещеру, с тяжелым воздухом.

Юрий обошел ее вокруг, ища выхода, и за ним ходили качающиеся тени и пятна света, гложшего во тьме. Но выходов было несколько и все завалены землей. В одном углу печально догнивали остатки деревянного помоста, напоминая вырытые из земли и брошенные доски старого сгнившего гроба.

— Мало любопытного! — сказал Юрий, невольно, и сам не замечая того, понижая голос. Громада земли давила.

— А все-таки! — прошептала Карсавина, блестящими от огня глазами оглядываясь вокруг. Ей было жутко, и она бессознательно держалась ближе к Юрию, точно отыскивая у него защиты.

И Юрий это заметил, и это было ему приятно, вызывая какую-то умиленную нежность к красоте и слабости девушки.

— Точно заживо погребенные, — продолжала Карсавина, — кажется, крикни... никто не услышит!

— Наверное, — усмехнулся Юрий.

И у него вдруг закружилась голова. Он искоса посмотрел на высокую грудь, едва прикрытую тонкой малороссийской рубашкой, и круглые покатые плечи. Мысль, что, в сущности, она у него в руках, и никто не услышит, была так сильна и неожиданна, что на мгновение у него потемнело в глазах. Но сейчас же он овладел собою, потому что был искренно и непоколебимо убежден, что изнасиловать женщину — отвратительно; а для него, Юрия Сварожича, и совершенно невыносимо. И вместо того чтобы сделать то, чего ему в эту минуту захотелось больше жизни, от чего силой и страстью загорелось все его тело, Юрий сказал:

— Давайте попробуем.

Странная дрожь в его голосе испугала его, ему показалось, что Карсавина догадается.

— Как? — спросила девушка.

— Я выстрелю, — пояснил Юрий, вынимая револьвер.

— А не обвалится?

— Не знаю, — почему-то ответил Юрий, хотя был убежден, что не обвалится, — а вы боитесь?

— Нет... Ну... стреляйте... — немного отодвигаясь, сказала Карсавина.

Юрий вытянул руку с револьвером и выстрелил. Сверкнула огненная полоска, дым, едкий и тяжелый, мгновенно затянул все кругом, и глухой гул тяжело и сердито пошел по горе. Но земля висела так же неподвижно, как и раньше.

— Только и всего, — сказал Юрий.

— Идем.

Они пошли назад, и когда Карсавина повернулась к Юрию спиной и он увидел ее крутые сильные бедра, опять то же желание пришло к нему, и стало трудно с ним бороться.

— Послушайте, Зинаида Павловна, — сказал Юрий, сам пугаясь своего голоса и вопроса, но притворяясь беззаботным, — вот интересный психологический вопрос: как вы не боялись со мною идти сюда?.. Вы же сами говорите, что если крикнуть, то никто не услышит... А ведь вы меня совсем не знаете...

Карсавина густо покраснела в темноте, но молчала. Юрий дышал тяжело. Ему было жгуче приятно, точно он скользил над какой-то бездной, и в то же время жгуче стыдно.

— Я думала, конечно, что вы порядочный человек... — слабо и неровно пробормотала девушка.

— Напрасно вы так думали! — возразил Юрий, все тешась тем же жгучим ощущением. И вдруг ему показалось, что это очень оригинально, что он говорит с ней так и что в этом есть что-то красивое.

— Я бы тогда... утопилась... — еще тише и еще больше краснея, проговорила Карсавина.

И от этих слов в душе Юрия появилось мягкое жалостливое чувство. Возбуждение сразу упало, и Юрию стало легко.

«Какая славная девушка!» — подумал он тепло и искренно, и сознание чистоты этой теплоты и искренности было так приятно ему, что слезы выступили на его глазах.

Карсавина счастливо улыбнулась ему, гордая своим ответом и его безмолвным, передавшимся ей одобрением. И пока они шли к выходу, девушка со странным волнением думала о том, почему ей было так не обидно, не стыдно, а волнующе приятно, что он спрашивал ее об этом.

VI

Оставшиеся наверху, постояв у пещеры и поострив над Сварожичем и Карсавиной, расселись на берегу. Мужчины закурили папиросы, бросая в воду спички и наблюдая, как расходятся по ней широкие ровные круги. Лида, тихо напевая, ходила по траве и, взявшись за пояс, выделявала какие-то па своими желтыми маленькими ботинками, а Ляля рвала цветы и бросала ими в Рязанцева, целуя его глазами.

— А не выпить ли нам пока что? — спросил Иванов Санина.

— Проникновенная идея, — согласился Санин.

Они спустились в лодку, откупорили пиво и стали пить.

— Пьяницы бессовестные! — сказала Ляля и бросила в них пучком травы.

— Ха-арашо! — с наслаждением произнес Иванов. Санин засмеялся.

— Меня всегда удивляло, что люди так ополчаются на вино, — сказал он, шутя, — по-моему, только пьяный человек и живет, как следует.

— Или как животное, — отозвался Новиков с берега.

— Хоть бы и так, — возразил Санин, — а все-таки пьяный делает только то, что ему хочется... хочется ему петь — поет, хочется танцевать — танцует и не стыдится своей радости и веселья...

— Иногда и дерется, — заметил Рязанцев.

— Бывает. Люди не умеют пить... они слишком озлоблены...

— А ты в пьяном виде не дерешься? — спросил Новиков.

— Нет, — сказал Санин, — я скорее трезвый подерусь, а в пьяном виде я самый добрый человек, потому что забываю много мерзости.

— Не все же таковы, — опять заметил Рязанцев.

— Жаль, конечно, что не все... Только мне до других, право, нет ни малейшего дела.

— Ну так нельзя говорить! — сказал Новиков.

— Почему нельзя? А если это — правда?

— Хорошая правда! — отозвалась Ляля, качнув головой.

— Самая хорошая, какую я знаю, — возразил за Санина Иванов.

Лида громко запела и с досадой оборвала.

— Однако они не торопятся! — сказала она.

— А зачем им торопиться, — возразил Иванов, — торопиться никогда не следует.

— А Зина-то... героиня без страха... и упрёка, конечно! — саркастически заметила Лида.

Танаров громко прыснул своим собственным мыслям и сконфузился.

Лида посмотрела на него, подбоченившись и упруго покачиваясь всем телом.

— Что ж, может быть, им там и очень весело! — загадочно прибавила она, пожимая плечом.

— Тс! — перебил Рязанцев.

Глухой гул вырвался из черной дыры.

— Выстрел! — крикнул Шафров.

— Что это значит? — плаксиво спрашивала Ляля, цепляясь за рукав Рязанцева.

— Успокойтесь, если это и волк, так они в это время смирные... да на двоих и не нападут... — успокаивал ее Рязанцев, с досадой на Юрия и его мальчишескую выдумку.

— Э, ей-богу! — тоже с досадой крякнул Шафров.

— Да идут, идут... не волнуйтесь! — презрительно скривив губы, сказала Лида.

Послышался приближающийся шорох, и скоро из темноты вынырнули Карсавина и Юрий.

Юрий потушил свечу и улыбнулся всем ласково и нерешительно, потому что не знал еще, как они отнеслись к его выходке. Он весь был осыпан желтой глиной, а у Карсавиной сильно было замарано плечо, которым она задела за стену.

— Ну что? — равнодушно спросил Семенов.

— Довольно оригинально и красиво, — нерешительно, точно оправдываясь, ответил Юрий. — Только проходы далеко не идут, засыпано. Там пол какой-то догнивает.

— А вы выстрел слышали? — оживленно блестя глазами, спрашивала Карсавина.

— Господа, мы уже все пиво выпили, и души наши возвеселились в достаточной мере! — закричал снизу Иванов. — Едем!

Когда лодка опять выбралась на широкое место реки, луна уже взошла. Было удивительно тихо и прозрачно; и в небе, и в воде, вверху и внизу одинаково сверкали золотые огоньки звезд, и казалось, что лодка плывет между двумя бездонными воздушными глубинами. Лес на берегу и в воде был черный и таинственный. Запел соловей. Когда все молчали, казалось, что это поет не птица, а какое-то счастливое, разумное, задумчивое существо.

— Как хорошо! — сказала Ляля, поднимая глаза вверх и кладя голову на круглое теплое плечо Карсавиной.

И потом опять долго молчали и слушали. Свист соловья звонко наполнял лес, отдавался

трелью над задумчивой рекой и неся над лугами, где в лунном тумане чутко застыли травы и цветы, вдаль и вверх к холодному звездному небу.

— О чем он поет? — опять спросила Ляля, как будто нечаянно роняя руку ладонью вверх на колено Рязанцева, чувствуя, как это твердое и сильное колено вздрогнуло, и пугаясь, и радуясь этому движению.

— О любви, конечно! — полушутливо, полусерьезно ответил Рязанцев и тихонько накрыл рукой маленькую теплую и нежную ладонь, доверчиво лежавшую у него на коленях.

— В такую ночь не хочется думать ни о добре, ни о зле, — сказала Лида, отвечая собственным мыслям.

Она думала о том, дурно или хорошо она делает, наслаждаясь жуткой и влекущей игрой. И, глядя на лицо Зарудина, еще более мужественное и красивое при лунном свете, темным блеском отливающим в его глазах, она чувствовала ту же знакомую сладкую истому и жуткое безволие во всем существе своем.

— А совсем о другом! — ответил ей Иванов.

Санин улыбался и не сводил глаз с высокой груди и красивой белеющей от луны шеи сидящей против него Карсавиной.

На лодку набежала темная легкая тень горы, и, когда лодка, оставляя за собой голубые серебристые полосы, опять выскользнула на освещенное место, показалось, что стало еще светлее, шире и свободнее.

Карсавина сбросила свою широкую соломенную шляпу и, еще больше выставив высокую грудь, запела. У нее был высокий, красивый, хотя и небольшой голос. Песня была русская, красивая и грустная, как все русские песни.

— Очень чувствительно! — пробормотал Иванов.

— Хорошо! — сказал Санин.

Когда Карсавина кончила, все захлопали, и хлопки странно и резко отозвались в темном лесу и над рекой.

— Спой еще, Зиночка! — приставала Ляля. — Или лучше прочти свои стихи...

— А вы и поэтесса? — спросил Иванов. — Ско-олько может Бог одному человеку поэзии отпустить!

— А разве это плохо? — смущенно шутя, спросила Карсавина.

— Нет, это очень хорошо, — отозвался Санин.

— Ежели, скажем, девица юная и прелестная, то кому же оно! — поддержал Иванов.

— Прочти, Зиночка! — упрашивала Ляля, вся нежная и горящая от любви.

Карсавина, смущенно улыбаясь, слегка отвернулась к воде и, не ломаясь, прочла тем же звучным и высоким голосом:

Милый, милый, тебе не скажу я,

Не скажу, как тебя я люблю.

Закрываю влюбленные очи —
Берегут они тайну мою...
Этой тайны никто не узнает...
Знают только тоскливые дни,
Только тихие синие ночи,
Только звезд золотые огни,
Только тонкие светлые сети
В сказки ночи влюбленных ветвей.
Знают все... Но не скажут, не скажут
О любви затаенной моей...

И все опять пришли в восторг и хлопали Карсавиной с ожесточением не потому, что стихи ее были хороши, а потому, что всем было хорошо и хотелось любви, счастья и сладкой грусти.

— Ночь, день и очи Зинаиды Павловны, будьте столь великодушны: сообщите, не я ли сей счастливец! — вдруг возопил Иванов так громко и неожиданно и таким диким басом, что все вздрогнули.

— Это и я тебе могу сказать, — отозвался Семенов, — не ты!

— Увы мне! — провыл Иванов. Все смеялись.

— Плохи мои стихи? — спросила Карсавина Юрия.

Юрий подумал, что они очень не оригинальны и похожи на сотни подобных стихов, но Карсавина была так красива и так мило смотрела на него своими темными, застенчивыми глазами, что он сделал серьезное лицо и ответил:

— Мне показались звучными и красивыми.

Карсавина улыбнулась ему и сама удивилась, что похвала его оказалась так приятна ей.

— Ты еще не знаешь мою Зиночку, — сказала Ляля с искренним восторгом, — она вся звучная и красивая.

— Ишь ты! — удивился Иванов.

— Право, — точно оправдываясь, настаивала Ляля, — голос у нее звучный и красивый, сама она — красавица, стихи у нее звучные и красивые... и даже фамилия — красивая и звучная!

— Ух, ты, Боже мой! Шик, блеск и аромат, будем так говорить! — восхитился Иванов. — А впрочем, я с этим совершенно согласен.

— Пора домой! — резко сказала Лида, которой были неприятны похвалы Карсавиной. Она считала себя и красивее, и интереснее, и умнее ее.

— А ты, не споешь? — спросил Санин.

— Нет, — сердито ответила Лида, — я не в голосе.

И в самом деле — пора, — согласился Рязанцев, вспоминая, что завтра надо рано вставать, ехать в больницу и на вскрытие.

А всем остальным было жаль уезжать.

Когда ехали домой, все были молчаливы и чувствовали удовлетворенную томную усталость.

Опять, но теперь уже невидимая, щелкала по ногам степная трава, смутно белела позади поднятая колесами пыль и быстро ложилась на белую дорогу. Поля, голубоватые от лунной дымки, казались ровными, пустынными и бесконечными.

VII

Дня через три, поздно вечером Лида вернулась домой усталая и несчастная. У нее была тоска, куда-то тянуло, и она и не знала и знала — куда.

Войдя в свою комнату, она остановилась и, сжав руки, долго, бледнея, смотрела в поле.

Лида вдруг с ужасом поняла, как далеко зашла, отдавшись Зарудину. Она впервые почувствовала, что с того непоправимого и непонятного момента, в этом, очевидно, бесконечно ниже ее, глупом и пустом офицере появилась какая-то унижительная власть над нею. Она теперь не могла не прийти, если он потребует этого, уже не играла по своему капризу, то отдаваясь его поцелуям, то отстраняя и смеясь, а безвольно и покорно, как раба, отдавалась самым грубым его ласкам.

Как это случилось, она не могла понять: так же, как всегда, она владела им, и ласки его были подчинены ей, так же было приятно, жутко и забавно, и вдруг был один момент, когда огонь во всем теле ударил в голову каким-то беловатым туманом, в котором потонуло все, кроме жгучего, толкающего в бездну любопытного желания. Земля поплыла под ногами, тело стало бессильно и покорно, перед нею остались только темные, горящие, и страшные, и бесстыдные, и влекущие глаза, ее голые ноги бесстыдно и мучительно страстно вздрагивали от властного прикосновения обнажающих грубых рук, хотелось еще и еще этого любопытства, этого бесстыдства, боли и наслаждения.

Лида вся задрожала от этого воспоминания, повела плечами и закрыла лицо руками.

Она, пошатываясь, прошла через комнату, открыла окно, долго глядела на луну, стоявшую прямо над садом, и слушала, сама того не замечая, певшего где-то далеко, в соседних садах одинокого соловья. Тоска ее давила. В душе была странная и мучительная смесь смутного желания и тоскующей гордости, при мысли, что она испортила себе жизнь для пустого и глупого человека, что ее падение — глупо, гадко и случайно. Что-то грозное начало вставать впереди. Она старалась разогнать набегающие тревожные предчувствия будущего упрямой и злой бравадой.

— Ну сошлась и сошлась! — сжимая брови и с каким-то болезненным наслаждением произнося это грубое слово, думала она. — Все это пустяки!.. Захотела и отдалась!.. А все-таки была счастлива, было так... — Лида вздрогнула и, вытянув вперед сжатые руки, потянулась. — И было бы глупо, если бы не отдалась!.. Не надо думать об этом... все равно не вернешь!

Она с усилием отошла от окна и стала раздеваться, развязывая шнурки юбок и спуская их тут же на пол.

«Что ж... Жизнь дана только один раз, — думала она, вздрагивая от свежего воздуха, мягко касавшегося ее голых плеч и рук. — Что я выиграла бы, если бы дожидалась законного брака?.. Да и зачем он мне?.. Но все ли равно, неужели я настолько глупа, чтобы придавать этому значение... Глупости!..» — Вдруг ей показалось, что и в самом деле все это пустяки, что с завтрашнего дня всему этому конец, что она взяла в этой игре то, что в ней было интересного, а теперь вольна, как птица, и впереди еще много жизни, интереса и счастья.

— Захочу — полюблю, захочу — разлюблю... — тихо пропела Лида и, прислушиваясь к звуку своего голоса, с удовольствием подумала, что у нее голос лучше, чем у Карсавиной.

— Да, все глупости... Захочу, так и черту отдамся! — с грубым и внезапным для нее самой порывом ответила вдруг она своим смутным мыслям и, закинув голые руки за голову, сильно и порывисто выпрямилась, так, что грудь вздрогнула.

— Ты еще не спишь, Лида? — спросил голос Санина за окном. Лида испуганно вздрогнула, но сейчас же улыбнулась, накинула на плечи большой платок и подошла к окну.

— Как ты меня испугал... — сказала она.

Санин подошел и положил локоть на подоконник. Глаза у него блестели, и он улыбался.

— Вот это уже напрасно! — весело и тихо сказал он. Лида вопросительно повела головой.

— Без платка ты была гораздо лучше... — пояснил он так же тихо и выразительно.

Лида недоумевающе повернулась к нему и инстинктивно завернулась плотнее в платок.

Санин засмеялся. Лида смущенно облокотилась грудью на подоконник и выставила голову за окно, Санин дышал ей в щеку.

— Ты — красавица! — сказал он.

Лида быстро взглянула на него и испугалась того, что почудилось ей в выражении его лица. Она порывисто отвернулась в сад и всем телом почувствовала, что Санин смотрит на нее как-то особенно. И это показалось ей так ужасно и гадко, что у нее похолодело в груди и вздрогнуло сердце. Точно так же на нее смотрели все мужчины, и это нравилось ей, но с его стороны почему-то было невероятно, невозможно. Она сделала над собой усилие и улыбнулась.

— Я знаю...

Санин молчал и смотрел на нее. Когда она облокотилась на окно, рубашка и платок опустились, и сбоку была видна верхняя часть освещенной луной белой и неуловимо нежной груди.

— Люди постоянно ограждают себя от счастья китайской стеной, — сказал Санин, и его дрожащий и тихий голос был странен и еще больше, почти до ужаса, испугал Лиду.

— Как? — беззвучно спросила она, не отрывая глаз от темного сада и боясь встретиться с ним взглядом. Ей казалось, что тогда произойдет то, чего даже возможности нельзя допустить.

И в то же время она уже не сомневалась и знала, и ей было страшно, гадко и интересно. Голова у нее горела, и она ничего не видела перед собой, с ужасом, омерзением и

любопытством ощущая на щеке горячее и напряженное дыхание, от которого у нее шевелились волосы на виске и мурашки пробежали по голой спине под платком.

— Да так... — ответил Санин, и голос его сорвался.

Лида почувствовала, точно молния пробежала по всему ее телу, она быстро выпрямилась и, сама не замечая, что делает, нагнулась к столу и разом потушила лампу.

— Пора спать! — сказала она и потянула к себе окно. Когда лампа потухла, на дворе стало светлее, и отчетливо показалась фигура Санина и его лицо, освещенное синим светом луны. Он стоял в глубокой росистой траве и смеялся.

Лида отошла от окна и машинально опустилась на кровать. Все в ней дрожало и билось, и мысли путались. Она слышала шаги Санина, уходившего по шуршащей траве, и прижимала рукой колотившееся сердце.

«Что я, с ума сошла, что ли? — с омерзением подумала она. — Какая гадость! Случайная фраза, а я уже... Что это, эротомания? Неужели я гадкая, испорченная!.. Как низко надо пасть, чтобы подумать...»

И вдруг Лида, уткнувшись головой в подушку, тихо и горько заплакала.

«Чего же я плачу?» — спрашивала она себя, не понимая причины своих слез и только чувствуя себя несчастной, жалкой и униженной. Она плакала о том, что отдалась Зарудину, и о том, что уже она не прежняя, гордая и чистая, и о том, что ей показалось страшного и обидного в глазах брата. Она подумала, что раньше он не мог бы смотреть на нее так, а это потому, что она пала.

Но одно чувство было сильнее, горьче и понятнее ей: стало больно и обидно, что она — женщина и что всегда, пока она будет молода, сильна, здорова и красива, лучшие силы ее пойдут на то, чтобы отдаваться мужчинам, доставлять им наслаждение и тем больше презираться ими, чем больше наслаждения она доставит им и себе.

«За что? Кто дал им это право... Ведь я такой же свободный человек... — спрашивала Лида, напряженными глазами глядя в тусклую тьму комнаты. — Неужели я никогда не увижу другой, лучшей жизни!»

Все ее молодое сильное тело властно говорило о том, что она имеет право брать от жизни все, что интересно, приятно, нужно ей, и что она имеет право делать все, что хочет, со своим, ей одной принадлежащим, прекрасным, сильным, живым телом.

Но мысль билась в каких-то спутанных сетях, рвалась в тисках и падала бессильно и тоскливо.

VIII

Юрий Сварожич давно занимался живописью, любил ее и отдавал ей все свободное время. Когда-то он мечтал сделаться художником, но сначала отсутствие денег, а потом партийная деятельность загородили ему путь, и теперь он занимался искусством только порывами и без определенной цели.

И оттого, что у него не было определенной цели и не было школы, живопись не доставляла ему приятного удовлетворения, а возбуждала в нем тоску и разочарование. Каждый раз,

когда работа не давалась ему, Юрий раздражался и страдал, а когда удавалась, он впадал в тихую и мечтательную задумчивость, исходившую из смутного сознания, что все это бесполезно и не дает ему успеха и счастья.

Юрию очень понравилась Карсавина. Он любил таких высоких, красиво крупных и полных женщин, с красивыми голосами и нежными, немного сентиментальными глазами. Все то, что он думал о ее симпатичности, чистоте и душевной глубине, передавалось ему через ее красоту и нежность, и почему-то Юрий не признавался себе в этом и старался уверить самого себя, что девушка нравится ему не плечами, грудью, глазами и голосом, а именно своею девственностью и чистотой. И думать так ему казалось легче, благороднее и красивее, хотя чистота и девственность было именно тем, что волновало его, зажигая кровь и возбуждая желание. С первого же вечера в нем выросла смутная, знакомая ему, но еще не сознаваемая на этот раз жестокая жажда лишиться ее чистоты и невинности, как вырастала эта неумолимая жажда и при виде всех красивых женщин.

Потому, что его мысли теперь занимала красивая и здоровая девушка, полная радостной солнечной жизни, Юрию пришло в голову написать жизнь. Он, как всегда легко воспламеняясь, пришел в восторг от своей идеи, и ему показалось, что на этот раз он непременно справится с задачей до конца.

Подготовив большое полотно, Юрий с лихорадочной поспешностью, точно боясь опоздать, принялся за картину. Когда он клал первые мазки и на полотне были только красивые сочные пятна, все внутри его дрожало восторгом и силой, и его будущая картина во всех подробностях легко и интересно вставала перед ним. Но чем дальше подвигалась работа, тем больше и больше возникало технических трудностей, которые Юрий не мог преодолеть. То, что в воображении представлялось ему ярким, сильным и прекрасным, на полотне выходило плоским и бессильным. И уже подробности не прельщали его, а сбивали и раздражали. Юрий перестал останавливаться на них и стал писать широко и небрежно, но тогда, вместо яркой и могучей жизни, начала выясняться пестро и небрежно наляпанная, грубая женщина. В ней уже не было ничего, что казалось Юрию оригинальным и прекрасным, а все было вяло и шаблонно. И тогда Юрий увидел, что картина его неоригинальна, что он просто подражает картинам Мухи и что самая идея картины банальна.

И Юрию, как всегда, стало тяжело и грустно.

Если бы он почему-то не думал, что плакать стыдно, он бы заплакал, лег бы в подушку лицом и стал бы хныкать и жаловаться кому-то и на что-то, но не на свое бессилие. Но вместо того он угрюмо сидел перед картиной и думал, что жизнь вообще скучна, мутна и бессильна, что в ней нет ничего, что еще могло бы интересовать его, Юрия. Тут он с ужасом представил себе, что еще много лет придется, быть может, прожить тут в городке.

«Тогда смерть!» — с холодком на лбу подумал Юрий.

И ему захотелось нарисовать смерть. Он взял нож и с какой-то тяжелой для него самого злобой стал счищать свою «Жизнь». Его раздражало, что то, над чем он с таким восторгом трудился, исчезает с трудом. Краска отставала неохотно, нож мазал, соскакивал и два раза врезался в полотно. Потом оказалось, что уголь не рисует по масляной поверхности, и это причинило Юрию острое страдание. Он взял кисть и стал рисовать прямо коричневой краской, а потом опять стал писать, медленно, небрежно, с тяжелым, грустным чувством. Картина, которую он теперь задумал, не теряла, а выигрывала от его небрежности и от тусклого, тяжелого тона красок. Но первоначальная идея смерти почему-то сама собою исчезла, и Юрий рисовал уже «Старость». Он писал ее в виде изможденной, костлявой старухи, бредущей по избитой дороге, в тихие и печальные сумерки. На горизонте погасала последняя заря, и в ее зеленоватом зареве чернели кресты и неопределенные темные силуэты. На спину старухи страшной тяжестью налегал тяжелый, черный гроб и давил ее

костлявые плечи. И взор у старухи был мутный, безотрадный, и одна нога ее уже стояла на краю черной ямы. Вся картина была сумеречная, грустна и зловеща.

Юрия звали обедать, но он не пошел и все писал. Потом пришел Новиков и стал что-то рассказывать, но Юрий не слушал и не отвечал.

Новиков вздохнул и улегся на диван. Он был рад молчать и думать и к Сварожичу пришел только потому, что не любил сидеть дома один. Он был грустно и мучительно расстроен. Отказ Лиды все еще давил его, и нельзя было разобрать, стыдно ли ему или грустно. Он был очень правдив и ленив и не поймал тех сплетен о Лиде и Зарудине, которые уже мутно всплывали в городке. Лиду он ни к кому не ревновал, а только страдал от разрушенной мечты, которая одно время казалась ему так близка и ярка, что он уже был счастлив.

Новиков стал думать, что все в жизни для него испорчено, но ему все-таки не приходило в голову, что если это так, то и жить не стоит и надо умереть. Наоборот, он думал о том, что теперь, когда его собственная жизнь стала одним мучением, его долг, перестав заботиться о личном счастье, посвятить свою жизнь другим людям. Он не мог отдать себе отчета, из чего это вытекает, но уже смутно решил бросить все и ехать в Петербург, возобновить сношения с партией и броситься очертя голову на смерть, мысль эта показалась ему высокой и прекрасной, а сознание того, что прекрасная, высокая мысль — его мысль, смягчило грусть и обрадовало его. Собственный образ вырос в его глазах, окруженный милым, светлым, грустным ореолом, и невольный печальный укор Лиде чуть не заставил его заплакать.

Потом ему стало скучно. Сварожич все писал и не обращал на него никакого внимания. Новиков лениво встал и подошел.

Картина была не окончена, но именно потому и производила впечатление какого-то сильного намека. Пока это было то, чего Юрий не смог бы окончить.

Новикову картина показалась чудной. Он даже слегка разинул рот и посмотрел на Юрия с наивным детским восторгом.

— Ну что? — спросил Юрий, отодвигаясь.

Ему самому казалось, что хотя картина, конечно, не лишена недостатков и недостатки эти даже, пожалуй, очевидны и велики, но все-таки она интереснее всех картин, какие он когда-либо видел. Почему это так, Юрий не отдавал себе отчета, но если бы Новиков сказал, что картина плоха, он искренно обиделся и огорчился бы. Но Новиков тихо и восторженно сказал:

— Оч-чень хорошо!

И Юрий почувствовал себя гением, презирающим свое создание. Он красиво вздохнул, швырнул кисти, измазав угол кушетки, и отошел, не глядя на картину.

— Эх, брат! — сказал он.

Он чуть было не признался себе и Новикову в том смутном сознании, которое вырывало у него радость удачи, то есть в том, что он все равно ничего не сумеет сделать из этого удачного наброска. Но вместо того он подумал и сказал вслух:

— Ни к чему это все!

Новиков подумал, что Юрий рисуется, но сейчас же его собственная разочарованная грусть кольнула его в сердце, и он подумал: «И правда».

Но, помолчав, возразил:

— Как, к чему?

Юрий не мог точно ответить на этот вопрос и промолчал. Новиков еще немного посмотрел на картину и лег на диван.

— А я, брат, прочел твою статью в «Крае», — заговорил он опять, — здорово!..

— Ну ее к черту! — с досадой, непонятной ему самому, и припоминая слова Семенова, отозвался Юрий: — Что я ей сделаю?.. Так же будут казнить, грабить, насильничать... Тут не статьями надо действовать! Я жалею, что написал... Да и что? Ну прочтут ее два-три идиота, что из того?.. Какое мне, в конце концов, дело?.. Чего биться головой в стену, спрашивается!

Перед глазами Юрия прошли первые годы его увлечения партийной работой: конспиративные собрания, пропаганда, риск и неудачи, собственный восторг и полное равнодушие именно тех, которых он хотел спасти. Он прошелся по комнате и махнул рукой.

— С этой точки зрения и ничего делать не стоит, — протянул Новиков и, вспомнив Санина, прибавил: — Эгоисты вы все, только и всего!

— Да и не стоит, — под влиянием тех же воспоминаний и сумерек, которые начали уже бледнеть все в комнате, горячо и искренно заговорил Юрий. — Если говорить о человечестве, то что значат все наши усилия, конституции и революции, когда мы даже не можем представить себе приблизительно перспектив, ожидающих человечество... Быть может, в той самой свободе, о которой мы мечтаем, заложены начала разрушения, и человек, достигши своего идеала, пойдет назад и опять встанет на четвереньки... Для того, чтобы начать все сначала?.. А если думать даже только о себе, то... то чего я могу добиться? В самом лучшем случае я могу своими талантами и делами стяжать себе славу, упиться почтением людей, еще ниже и ничтожнее меня, то есть именно тех, которых я не могу уважать, и до почтения которых, в сущности, мне и дела не должно быть... А потом жить, жить, до могилы... не дальше! И лавровый венок под конец так прирастет к лысому черепу, что даже надоест...

— Только о себе! — притворно насмешливо пробормотал Новиков. — Так!

Но Юрий не расслышал и продолжал, с грустью и болезненным удовольствием прислушиваясь к своим собственным словам, которые казались ему мрачными и красивыми и возбуждали в нем самолюбивое подъемное чувство:

— А в худшем случае, буду непризнанным гением, смешным мечтателем, объектом для юмористических рассказов... нелепым, никому не нужным...

— Ага! — с торжеством перебил Новиков и даже привстал, — «никому не нужным» — значит, ты сам осознаешь!

— Странный ты человек, — в свою очередь перебил его Юрий, — неужели ты думаешь, что я не знаю, для чего можно жить и во что можно верить!.. Я, быть может, и на крест пошел бы с радостью, если бы я верил, что моя смерть спасет мир!.. Но этой веры у меня нет: что бы я ни сделал, в конечном итоге я ничего не изменю в ходе истории, и вся польза, которую я могу принести, будет так мала, так ничтожна, что, если бы ее и вовсе не было, мир ни на йоту не потерпел бы убыли. А между тем для этой меньше чем йоты я должен жить и страдать и мучительно ждать смерти!

Юрий не заметил, что он говорит уже о чем-то другом, отвечая не на слова Новикова, а на свои странные и тяжелые чувства. Он вдруг остановился опять, внезапно вспомнив Семенова, и почувствовал, что по спине пробежало гадливое и холодное ощущение ужаса.

— Знаешь, меня мучает эта неизбежность, — тихо и доверчиво сказал он, машинально глядя в потемневшее окно, — я знаю, что это естественно, что ничего против этого я сделать не могу, но это ужасно и безобразно!

Новиков почувствовал, что это так, и ему стало грустно и страшно, но все-таки он возразил:

— Смерть — полезное физиологическое явление...

«Вот дурак!» — с бешенством подумал Юрий и с раздражением возразил:

— Ах, Боже мой!.. Да какое нам дело, принесет ли наша смерть кому-нибудь пользу или нет!

— А твоя крестная смерть!

— То другое дело, — нерешительно и мгновенно остывая, возразил Юрий.

— Ты сам себе противоречишь, — с чувством превосходства заметил Новиков, великодушно не глядя на Юрия.

Юрий поймал этот тон и весь загорелся. Он стал ворошить свои черные упрямые волосы и злиться.

— Никогда я себе не противоречу... Это вполне понятно, если я умираю сам, по своему собственному желанию...

— Все одно, — продолжал, но сдаваясь, тем же тоном Новиков, — вам всем просто хочется фейерверка, аплодисментов... Эгоизм это все!..

— Ну и пусть... это не меняет дела...

Разговор спутался. Юрий почувствовал, что действительно вышло что-то не так, и не мог поймать нити, которая еще несколько минут назад казалась ему натянутой, как струна. Он походил по комнате, сердито дыша, и, успокаивая себя, подумал, как всегда в таких случаях:

— Бывает иногда, что я как-то не в ударе... иной раз говоришь ясно, точно все перед глазами стоит, а иной раз точно вот кто-то связал во рту язык... все выходит нескладно... грубо... Это бывает!

Они помолчали. Юрий походил по комнате, постоял у окна и взялся за фуражку.

— Пойдем пройдемся, — сказал он.

— Пойдем, — согласился Новиков, с тайной надеждой и страхом и радостью думая о том, что они могут случайно встретить Лиду Санину.

IX

Они прошли по бульвару раз и другой, не встретив знакомых, и слушали музыку, по обыкновению игравшую в саду. Играла она нестройно и фальшиво, но издали казалась нежной и грустной. Навстречу им все попадались мужчины и женщины, заигрывавшие друг с другом. Их смех и громкие, возбужденные голоса не шли к тихой грустной музыке и тихому грустному вечеру и раздражали Юрия. В самом конце бульвара к ним подошел Санин и весело поздоровался. Юрию он не нравился, и поэтому разговор не вязался. Санин смеялся надо всем, что попадалось им на глаза, потом встретил Иванова и ушел с ним.

— Куда вы? — спросил Новиков.

— Угостить друга хочу! — отвечал Иванов, достал из кармана и торжественно показал бутылку водки.

Санин весело засмеялся.

Юрию и эта водка, и этот смех показались неестественными и пошлыми, и он брезгливо отвернулся. Санин это заметил, но не сказал ничего.

— Благодарю, мол, тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь! — двусмысленно усмехаясь, пробасил Иванов.

Юрий покраснел.

«Тоже... острит еще!» — подумал он, презрительно, пожал плечами и отошел.

— Новиков, бессознательный фарисей, пойдем с нами! — пристал Иванов...

— Какого черта?

— Водку пить!

Новиков тоскливо оглянул бульвар, но Лиды не было видно нигде.

— Лида дома сидит и в своих грехах кается, — улыбаясь, заметил Санин.

— Глупости, — обидчиво пробормотал Новиков, — у меня больной...

— Который умрет и без твоей помощи, — отозвался Иванов. — Впрочем, и водку мы можем выпить без твоего содействия.

«Напиться, что ли!» — с горечью подумал Новиков и сказал:

— Ну ладно... пойдем!

Они ушли, и Юрию еще долго слышен был грубый бас Иванова и беззаботно-ласковый смех Санина.

Он опять пошел вдоль бульвара. Его окликнули женские голоса. Зина Карсавина и учительница Дубова сидели на одной из бульварных скамеек. Было уже совсем темно, и из тени едва виднелись их фигуры, в темных платьях, без шляп и с книгами в руках. Юрий быстро и охотно подошел.

— Откуда? — спросил он, здороваясь.

— В библиотеке были, — ответила Карсавина.

Дубова молча подвинулась, очищая возле себя место, и хотя Юрию хотелось сесть возле Карсавиной, но было неловко, и он сел рядом с некрасивой учительницей.

— Отчего у вас такое мрачно-раздирающее лицо? — спросила Дубова, по привычке язвительно кривя свои тонкие, сухие губы.

— С чего вы взяли, мрачное? Самое веселое. А впрочем, и вправду, скучно что-то...

— Делать вам, видно, нечего, — насмешливо возразила Дубова.

— А вам есть что делать?

— Да, плакать некогда.

— Я и не плачу.

— Ну, хнычете... — шутила Дубова.

— Так уж жизнь моя сложилась теперь, что я и смеяться разучился.

В голосе его прорвались такие горькие нотки, что все невольно примолкли. Юрий помолчал и улыбнулся.

— Один мой приятель говорил мне, что жизнь моя назидательна, — сказал он, хотя никто этого не говорил.

— В каком смысле? — спросила Карсавина осторожно.

— В смысле того, как не следует жить человеку.

— А, ну расскажите. Авось и мы извлечем какую-нибудь пользу из этого примера... — предложила Дубова.

Юрий свою жизнь считал исключительно неудачной, а себя исключительно несчастным человеком. В этом было какое-то грустное удовлетворение, и было приятно жаловаться на свою жизнь и людей. С мужчинами он никогда не говорил об этом, инстинктивно чувствуя, что они ему не поверят, но с женщинами, особенно молодыми и красивыми, охотно и подолгу говорил о себе. Он был красив и хорошо говорил, и женщины всегда проникались к нему жалостью и влюбленностью.

И на этот раз, начав с шутки, Юрий легко вошел в привычный тон и долго говорил о своей жизни. По его словам выходило так, что он, человек огромной силы, заеден средой и обстоятельствами, что его не поняли в партии и что в том, что из него вышел не вождь народа, а обыкновенный высланный по ничтожной причине студент, виновата роковая случайность и людская глупость, а не он сам. Юрию, как всем людям с большим самолюбием, не приходило в голову, что это не доказывает его исключительной силы и что всякий гениальный человек окружен такими же случайностями и людьми. Ему казалось, что только его одного преследует тяжелый и неодолимый рок.

И так как он рассказывал очень красиво, живо и ярко, то выходило похоже на правду, и девушки верили ему, жалели и грустили вместе с ним. Музыка играла все так же нестройно, но жалобно, вечер был темный, задумчивый, и им всем было мечтательно-грустно. Когда Юрий замолчал, Дубова, отвечая на свои собственные думы о том, что ее жизнь скучна, однообразна и что скоро она уже состарится, не испытав счастья и любви, тихо спросила:

— Скажите, Юрий Николаевич, вам никогда не приходила в голову мысль о самоубийстве?

— Почему вы меня спрашиваете об этом?

— Так.

Они помолчали.

— Вы, значит, были в комитете? — с любопытством спросила Карсавина.

— Да, — коротко и как будто неохотно ответил Юрий, но ему было приятно признаться в этом, потому что он думал, будто это придает ему какой-то мрачный интерес в глазах красивой и молодой девушки.

Потом Юрий проводил их домой. Дорогой много говорили и смеялись, и уже не было грустно.

— Какой он славный! — сказала Карсавина, когда Юрий ушел.

— Смотри, не влюбись! — погрозила пальцем Дубова.

— Ну вот еще! — с тайным инстинктивным испугом вскрикнула Карсавина.

Юрий пришел домой в возбужденном и хорошем настроении духа. Взглянул на начатую картину, ничего не почувствовал и с удовольствием лег спать. А ночью ему снились сладострастные и солнечные картины, молодые и красивые женщины.

Х

На другой вечер Юрий пошел опять на то место, где он встретился с Карсавиной и Дубовой. Целый день ему было приятно вспоминать проведенный с ними вечер, и хотелось опять встретиться, поговорить о том же и опять увидеть то же выражение участия и ласки в веселых и нежных глазах.

Вечер был совершенно ясный, тихий, жаркий. В воздухе над улицами стояла мелкая сухая пыль, и на бульваре никого не было, кроме случайных редких прохожих.

Юрий сердито потрянул головой на досадное чувство, поднявшееся у него в груди, точно его кто-то обидел, и медленно пошел по бульвару, глядя под ноги.

«Скука какая, — подумал он, — что делать?»

Навстречу ему быстрыми шагами, помахивая свободной рукой, шел студент Шафров и еще издали учтиво улыбался ему.

— Что вы тут слоняетесь? — дружелюбно спросил он, останавливаясь и подавая Сварожичу крепкую, широкую ладонь.

— Да скучно что-то и делать нечего. А вы куда? — лениво и пренебрежительно спросил Юрий. Он всегда говорил так с Шафровым, которого, как бывший член комитета, считал наивным студентиком, играющим в революцию.

Шафров счастливо и самодовольно улыбнулся.

— У нас сегодня чтение, — сказал он, показывая пачку тоненьких разноцветных брошюр.

Юрий машинально взял у него одну брошюру и, развернув, прочел длинное сухое заглавие популярной социальной статьи, давно им самим прочитанной и забытой.

— Где вы читаете? — спросил Юрий с той же пренебрежительной улыбкой, возвращая брошюру.

— В городском училище, — ответил Шафров, называя то училище, в котором служили Карсавина и Дубова.

Юрий вспомнил, что Ляля уже говорила ему об этих чтениях, но тогда он не обратил на них внимания.

— Можно мне пойти с вами? — спросил он Шафрова.

— Пожалуйста, — радостно улыбаясь, поспешно согласился Шафров.

Он считал Юрия настоящим деятелем и, преувеличивая его партийную роль, чувствовал к нему почтение, граничащее с влюбленностью.

— Я очень интересуюсь этим делом, — счел нужным прибавить Юрий, с радостью думая о том, что вечер будет занят, и о том, что можно увидеть Карсавину.

— Пожалуйста, пожалуйста, — опять сказал Шафров.

— Ну, так пойдете.

И они быстро пошли по бульвару, свернули на мост, по обеим сторонам которого влажно пахло свежестью и водой, и вошли в двухэтажное здание училища, где уже собирались люди.

В большом, еще темном зале, установленном ровными рядами стульев и скамеек, смутно белел экран для волшебного фонаря и слышался сдержанно веселый смех. Около окна, в которое видны были потемневшее небо и верхушки темно-зеленых деревьев, стояли Ляля и Дубова. Они встретили Юрия радостными восклицаниями.

— Вот хорошо, что пришел! — сказала Ляля. Дубова крепко пожала ему руку.

— Что же вы не начинаете? — спросил Юрий, украдкой оглядывая темный зал и не видя Карсавиной. — А Зинаида Павловна не участвует? — неровно и разочарованно прибавил он.

Но в эту минуту на кафедре, возле самого экрана, чиркнула спичка и осветила Карсавину, зажигавшую свечи. Ее красивое и свежее лицо было ярко снизу освещено и весело улыбалось.

— Еще бы я не участвовала, — звонко откликнулась она, сверху протягивая Юрию руку.

Юрий обрадовано, но молча подал ей руку, и она, слегка опираясь на него, мягко соскочила с кафедры, пахнув в лицо Юрию запахом здоровья и свежести.

— Пора начинать, — сказал Шафров, появляясь из другой комнаты.

Сторож, тяжело ступая большими сапогами, прошел по залу, одну за другой зажигая большие, светлые лампы, и зал осветился ярким и веселым светом. Шафров отворил дверь в коридор и громко сказал:

— Пожалуйста, господа!

Послышалось сначала робкое, а потом торопливое топотанье ног, и в двери стали входить люди. Юрий смотрел на них с любопытством: привычный зоркий интерес пропагандиста пробудился в нем. Это были и старые, и молодые люди, и дети. В первом ряду никто не сел, и уже потом его заняли какие-то неизвестные Юрию дамы, толстый смотритель училища и уже знакомые Юрию учителя и учительницы мужской и женской прогимназии. А весь остальной зал затопили люди в чуйках, пиджаках, солдаты, мужики, бабы и много детей в пестрых рубашках и платьях.

Юрий сел рядом с Карсавиной за стол и стал слушать, как Шафров спокойно, но дурно читал о всеобщем избирательном праве. Голос у него был глухой и негибкий, и все, что он читал, приобретало характер статистической таблицы, но слушали его со вниманием, и только сидевшие в первом ряду интеллигентные люди скоро начали шептаться и шевелиться. Юрию стало досадно на них и жаль, что Шафров дурно читает. И когда студент устал, Юрий тихо сказал Карсавиной:

— Давайте я дочитаю.

Карсавина ласково, как-то сквозь ресницы, взглянула на него.

— Вот и хорошо... Читайте.

— А не неловко? — улыбаясь ей, как заговорщик, спросил Юрий.

— Где же неловко! Все будут рады.

И, воспользовавшись перерывом, она сказала Шафрову. Шафров устал и сам тяготился тем, что читает плохо, он не только согласился, но даже обрадовался.

— Пожалуйста, пожалуйста, — по своей привычке повторил он и уступил место.

Юрий умел и любил читать. Не глядя ни на кого, он прошел на кафедру и начал сильным, звучным голосом. Раза два он оглянулся на Карсавину и оба раза встретил ее блестящий и выразительный взгляд. Смущенно и радостно улыбаясь ей, он поворачивался к книге и начинал читать еще громче и выразительнее, и ему казалось, что он для нее делает какое-то непостижимо хорошее и интересное дело.

Когда он кончил, из первого ряда ему зааплодировали. Юрий серьезно поклонился и, сходя с кафедры, широко улыбнулся Карсавиной, точно хотел сказать ей: «Это для тебя!»

Публика, топоча ногами, переговариваясь и, двигая стульями, стала расходиться, а Юрий познакомился с двумя дамами, которые сказали ему несколько приятных слов по поводу его чтения.

Потом начали тушить огни, и в комнате стало еще темнее, чем прежде.

— Спасибо вам, — тепло сказал Шафров, пожимая руку Юрию, — если бы у нас всегда так читали!

Чтение было его делом, и потому он считал себя обязанным Юрию как бы за личное одолжение, хотя и говорил, что благодарит его за народ. Шафров выговаривал это слово твердо и уверенно.

— Мало у нас делают для народа, — говорил он с таким видом, точно посвящал Юрия в большую тайну, — а если и делают что, так кое-как... спустя рукава. Странно мне это, право: для увеселения скучающих бар нанимают дюжинами первоклассных актеров, певиц, чтецов, а для народа сядет читать вот такой чтец, как я... — Шафров с добродушной иронией махнул рукой, — и все довольны... Чего же им, мол, еще!

— Это правда, — сказала Дубова, — противно читать: целые столбцы в газетах посвящены тому, как чудно играют артисты, а тут...

— А ведь какое хорошее дело! — задушевно сказал Шафров и любовно стал собирать свои книжечки.

«Святая наивность!» — подумал Юрий, но присутствие Карсавиной и собственный успех сделали его добрым и мягким, и его даже немного умилила эта простота.

— Куда же вы теперь? — спросила Дубова, когда они вышли на улицу.

На дворе было гораздо светлее, чем в комнатах, хотя на небе уже затеплились звезды.

— Мы с Шафровым пойдем к Ратовым, — сказала Дубова, — а вы проводите Зину.

— С удовольствием, — искренно сказал Юрий. И они разошлись.

Всю дорогу до квартиры Карсавиной, которая вместе с Дубовой снимала маленький флигель в большом, но негустом саду.

Юрий и Карсавина проговорили о впечатлении, вынесенном из чтения, и Юрию все больше и больше казалось, что он сделал что-то очень большое и хорошее. У калитки Карсавина сказала:

— Зайдите к нам.

— Могу, — весело согласился Юрий.

Карсавина отворила калитку, и они вошли в маленький, заросший травой двор, за которым темнел сад.

— Идите в сад, — сказала Карсавина, смеясь, — я бы пригласила вас в комнаты, да боюсь: я дома с утра не была и не знаю, прибрано ли у нас достаточно для приема!

Она ушла во флигель, а Юрий медленно прошел в пахучий и зеленый сад. Далеко он не пошел, а остановился на дорожке и с жадным любопытством смотрел на открытые темные окна флигеля, и ему казалось, что там происходит что-то особенное, красивое и таинственное.

На крыльце показалась Карсавина, и Юрий едва узнал ее: она сняла свое черное платье и оделась в тонкую, с широким вырезом и короткими рукавами малороссийскую рубашку с синей юбкой.

— Вот и я... — сказала она, почему-то конфузливо улыбаясь.

— Вижу... — с таинственным и понятным ей выражением ответил Юрий.

Она улыбнулась и слегка отвернулась, и они пошли по дорожке между зеленых, низких кустов сирени и высокой травы.

Деревья были маленькие и больше вишневые, с крепко пахнущими клеєм молодыми листьями. За садом была левада, покрытая цветами и высокой некошеной травой.

— Сядем здесь, — сказала Карсавина.

Они сели на полуразвалившийся плетень и стали смотреть на леваду, на прозрачную погасавшую зарю.

Юрий притянул к себе гибкую ветку сирени, и с нее брызнуло мелкими капельками росы.

— Хотите, я вам спою? — сказала Карсавина.

— Конечно, хочу! — ответил Юрий.

Карсавина, как и тогда на реке, выпрямила грудь, отчетливо обозначившуюся под тонкой рубашкой, и запела:

Любви роскошная звезда...

Голос ее легко, чисто и страстно звенел в вечернем воздухе. Юрий затих, едва дыша и не спуская с нее глаз. Она чувствовала его взгляд, закрывала глаза, выше подымала грудь и пела все лучше и громче. Казалось, все затихло и слушало, и Юрию припомнилась та кажущаяся, внимательная и таинственная тишина, которая воцаряется, когда поет в лесу весной соловей.

Когда она замолчала, после высокой серебристой ноты, стало как будто еще тише. Заря совсем погасла, и небо затемнело и углубилось. Чуть видно и чуть слышно заколебались листья, шевельнулась трава, и, плывя в воздухе, что-то нежное и пахучее, как вздох, налетело с левады и расплылось по саду, Карсавина блестящими в сумраке глазами оглянулась на Юрия.

— Что же вы молчите? — спросила она.

— Уж очень тут хорошо! — прошептал Юрий и опять потянул брызгающую росой ветку.

— Да, хорошо! — мечтательно отозвалась Карсавина.

— Хорошо вообще жить на свете! — прибавила она, помолчав.

В голове Юрия шевельнулось что-то привычное, неискренно грустное, но не оформилось и исчезло.

За левадой кто-то пронзительно свистнул два раза, и опять все затихло.

— Нравится вам Шафров? — неожиданно спросила Карсавина и сама засмеялась этой неожиданности.

Ревнивое чувство шевельнулось в груди Юрия, но он серьезно ответил, немного принуждая себя:

— Он — славный парень.

— С каким он увлечением отдается своему делу! Юрий промолчал.

На леваде стал подыматься легкий беловатый туман, и трава побелела от росы.

— Сыро становится, — сказала Карсавина, пожимая плечами. Юрий невольно посмотрел на ее круглые, мягкие плечи и смутился, она поймала его взгляд и тоже смутилась, но ей было приятно и весело.

— Пойдемте.

И они с сожалением пошли назад по узкой дорожке, слегка толкая друг друга. Сад опустел, потемнел, и, когда Юрий оглянулся, ему показалось, что, должно быть, теперь в саду начнется своя, никому неведомая, таинственная жизнь; между низкими деревьями, по росистой траве заходят тени, сдвинется сумрак, и заговорит тишина каким-то неслышным зеленым голосом. Он сказал об этом Карсавиной. Девушка оглянулась и долго смотрела в темный сад задумчивыми потемневшими глазами. И Юрий подумал, что если бы она вдруг сбросила одежды и нагая, белая, веселая, убежала по росистой траве в слепую, таинственную чащу, это не было бы странно, а прекрасно и естественно, и не нарушило бы, а дополнило зеленую жизнь темного сада. Юрию хотелось сказать ей и это, но он не посмел, а заговорил опять о чтениях и о народе. Но разговор не вязался и умолк, как будто они говорили совсем не то, что было нужно. Так, молча, дошли они до калитки, улыбаясь друг другу и задевая плечами мокрые, брызгающие росой кусты. Им казалось, что все притихло и все так же задумчиво и счастливо, как они.

На дворе по-прежнему было тихо и пусто, и чернел открытыми окнами белый флигелек. Но калитка на улицу была открыта, и в комнатах слышались торопливые шаги и стук отодвигаемых ящиков комода.

— Оля пришла, — сказала Карсавина.

— Зина, это ты? — спросила ее из комнаты Дубова, и по голосу слышно было, что произошло что-то скверное.

Она вышла на крыльцо растерянная и бледная.

— Где ты пропадала... Я тебя ищу... Семенов умирает, — запыхавшись, торопливо проговорила она.

— Что? — с ужасом переспросила Карсавина и шагнула к ней.

— Да, умирает... У него кровь хлынула горлом... Анатолий Павлович говорит, что конец... В больницу его повезли... И как странно, неожиданно... сидели мы у Ратовых и пили чай, он был такой веселый, о чем-то спорил с Новиковым, а потом вдруг закашлялся, встал, пошатнулся, и кровь так и хлынула... прямо на скатерть, в блюдечко с вареньем... густая, черная!..

— Что же он... знает? — с жутким любопытством спросил Юрий, мгновенно вспоминая лунную ночь, черную тень и раздраженно-грустный, слабый голос: «Вы еще будете живы, пройдете мимо моей могилы, остановитесь по своей надобности, а я...»

— Кажется, знает, — нервно шевеля руками, ответила Дубова, — посмотрел на нас всех и спросил: «Что это?..» — а потом весь затрясся и проговорил еще: «Уже?..» Ах, как это гадко и страшно!

И все замолчали.

Уже вовсе стемнело, и хотя по-прежнему все было прозрачно и красиво, но им казалось, будто сразу стало темно и уныло.

— Ужасная штука смерть! — сказал Юрий и побледнел. Дубова вздохнула и потупилась. У Карсавиной задрожал подбородок, и она жалобно и виновато улыбнулась. У нее не могло быть такого гнетущего чувства, как у других, потому что жизнь наполняла все ее тело и не давала ей сосредоточиться на смерти. Она как-то не могла поверить и представить себе, что теперь, когда стоит такой ясный летний вечер и в ней самой все так счастливо и полно светом и радостью, может кто-нибудь страдать и умирать. Это было естественно, но ей почему-то казалось, что это дурно. И она, стыдясь своих ощущений, бессознательно старалась подавить их и вызвать другие, а потому больше всех выразила участия и испуга.

— Ах, бедный... что же он?

Карсавина хотела спросить: скоро ли он умрет, но поперхнулась этим словом и, цепляясь за Дубову, задавала бессмысленные и бесполезные вопросы.

— Анатолий Павлович сказал, что он умрет сегодня ночью или завтра утром, — глухо сказала Дубова.

Карсавина робко и тихо заговорила:

— Пойдемте к нему... или, может быть, не надо?.. Я не знаю...

И у всех явился один и тот же вопрос: надо ли идти посмотреть, как умирает Семенов, и хорошо

или дурно это будет? И всем хотелось пойти, и было страшно увидеть, и как будто это было очень хорошо и как будто бы очень дурно.

Юрий нерешительно пожал плечами.

— Пойдемте... Там можно и не входить, а может быть...

— Может быть, он захочет кого-нибудь увидеть, — облегченно согласилась Дубова.

— Пойдем, — решительно сказала Карсавина.

— Шафров и Новиков там, — как бы оправдываясь, прибавила Дубова.

Карсавина забежала в дом за шляпой и кофточкой, и все, хмурые и грустные, пошли через город к большому трехэтажному дому, серо и плохо оштукатуренному, в котором помещалась больница, и где умирал теперь Семенов.

В коридорах, с низкими и гулкими сводами, было темно и остро пахло карболкой и йодоформом. В отделении для сумасшедших, когда они проходили мимо, кто-то сердито и скоро говорил странно напряженным голосом, но никого не было видно, и оттого стало жутко. Они пугливо оглянулись на темное квадратное окошечко. Старый и седой мужик с длинной белой бородой, похожей на нагрудник, и в длинном белом фартуке повстречался им в коридоре, шаркая большими сапогами.

— Вам кого? — спросил он, останавливаясь.

— Студента к вам привезли... Семенова... сегодня... — сказала Дубова.

— В шестой палате... пожалуйста наверх, — сказал служитель и ушел. Слышно было, как он звучно плюнул на пол и зашаркал ногой.

Наверху было светлее и чище, и потолки были без сводов. Дверь, на которой была прибита дощечка с надписью «кабинет врача», была открыта. Там горела лампа и кто-то позвякивал склянками.

Юрий заглянул туда и окликнул.

Склянки перестали звенеть, и вышел Рязанцев, как всегда свежий и веселый.

— А! — сказал он громко и весело, очевидно привыкнув к обстановке, которая давила других.

— А я сегодня дежурный. Здравствуйте, барышни!

И сейчас же, высоко приподняв брови и совсем другим, грустным и значительным голосом сказал:

— Кажется, уже без памяти. Пойдемте. Там Новиков и другие.

И пока они гуськом шли по коридору, чересчур чистому и пустынному, мимо больших белых дверей с черными номерами, Рязанцев говорил:

— За священником уже послали. Удивительно, как скоро его скрутило! Я даже удивился... Впрочем, он последнее время все простужался, а это в его положении было швах!.. Вот здесь он...

Рязанцев отворил высокую белую дверь и вошел. Остальные запутались в дверях и, неловко толкаясь, прошли за ним.

Палата была большая и чистая. Четыре кровати были пусты и аккуратно прикрыты твердыми

серыми одеялами с прямыми складками, почему-то напоминающими о гробах; на одной сидел маленький сморщенный старичок в халате, пугливо озирающийся и на вошедших, и на шестую кровать, на которой лежал, вытянувшись под таким же твердым одеялом, Семенов. Возле него, на стуле, сгорбившись, сидел Новиков, а у окна стояли Иванов и Шафров. Всем казалось странным и неловким в присутствии умирающего Семенова здороваться и пожимать руки, но почему-то было так же неловко и не делать этого, как будто подчеркивая близость смерти, и потому произошла заминка. Кто поздоровался, кто нет. И все остановились там, где стояли, с робким и жутким любопытством глядя на Семенова.

Семенов дышал редко и тяжело. Он был вовсе не похож на того Семенова, которого все знали. Он был и вообще мало похож на живых людей. Хотя у него были те же черты лица, что и при жизни, и те же члены тела, что и у всех людей, но казалось, что и черты лица его, и тело какие-то особенные, страшные и неподвижные. То, что оживляло и двигало так просто и понятно телами других людей, казалось, не существовало для него. Где-то, в глубине его странно неподвижного тела совершалось что-то торопливое и страшное, точно поспешая с какой-то необходимой и уже неотвратимой работой, и вся жизнь его ушла туда, как будто смотрела на эту работу и слушала с напряженным, необъяснимым вниманием.

Лампа, горевшая посреди потолка, ясно и отчетливо освещала неподвижные, не глядящие, не слышащие черты его лица.

Все стояли и, не спуская глаз, смотрели, молча, задерживая дыхание, точно боясь нарушить что-то великое, и в тишине страшно отчетливо было слышно уродливое, свистящее и трудное дыхание Семенова.

Отворилась дверь, и застучали дробные старческие шаги. Пришел маленький и толстенький священник с псаломщиком, худым и черным человеком. И с ними пришел Санин. Священник, покашливая, поздоровался с докторами и вежливо поклонился всем. Ему как-то чересчур поспешно и преувеличенно учтиво ответили все разом и опять замерли. Санин, не здороваясь, сел на окно и с любопытством стал смотреть на Семенова и на присутствующих, стараясь понять, что он и они чувствуют и думают.

Семенов дышал все так же и не шевелился.

— Без сознания? — мягко спросил священник, ни к кому не обращаясь.

— Да... — поспешно ответил Новиков.

Санин издал какой-то неопределенный звук. Священник вопросительно на него поглядел, но, не услышав ничего, отвернулся, поправил волосы, надел епитрахиль и начал тоненьким и сладким тенорком с большим выражением читать, что полагалось при смерти человека христианской религии.

У псаломщика оказался хриплый и неприятный бас, и эти два неподходящие друг к другу голоса сплетались и расходились и печально и странно в своем диссонансе зазвучали под высоким потолком.

Когда раздалось резкое и громкое причитание, все с невольным испугом оглянулись на лицо умирающего. Новикову, который был ближе всех, показалось, что веки Семенова чуть-чуть дрогнули и неглядящие глаза немного повернулись в сторону голосов. Но другим показалось, что Семенов оставался таким же странно неподвижным.

Карсавина при первых же звуках заплакала тихо и жалобно и не отирала слез, которые текли по ее молодому и красивому лицу. И все поглядели на нее, и Дубова заплакала, а мужчины почувствовали слезы на глазах и старались удержать их, стискивая зубы. Каждый раз, когда пение становилось громче, девушки плакали сильнее, а Санин морщился и досадливо двигал

плечами, думая, что, если Семенов слышит, ему должно быть невыносимо слушать это, тяжелое даже для здоровых и далеких от смерти людей, пение.

— Вы бы потише, — сердито сказал он священнику.

Священник сначала любезно наклонил ухо, но, вслушавшись, насупился и зачитал еще громче. Псаломщик строго оглянулся на Санина, и все пугливо поглядели на него, как будто он сказал что-то дурное и неприличное.

Санин с досадой махнул рукой и замолчал.

Когда все кончилось и священник завернул крест в епитрахиль, стало еще тяжелее. Семенов по-прежнему не двигался.

И вот у всех стало появляться ужасное для них, но неодолимое чувство: хотелось, чтобы все кончилось скорее и Семенов, наконец, умер. И все со стыдом и страхом старались скрыть и подавить это желание, боясь взглянуть друг на друга.

— Хоть бы уже скорее, — тихо сказал Санин. — Тяжелая штука!

— Н-да! — отозвался Иванов.

Они говорили тихо, и было очевидно, что Семенов не услышит, но все-таки другие с негодованием оглянулись на них.

Шафров хотел что-то сказать, но в это время раздался новый, невыразимо жалкий и печальный звук, заставивший всех болезненно вздрогнуть.

— И...и-и... — простонал Семенов.

И потом, как будто найдя то, что было ему нужно, он, уже не смолкая, стал тянуть этот долгий, стонящий звук, прерываемый только хриплым и трудным дыханием.

Сначала окружающие как будто не поняли, в чем дело, но сейчас же Карсавина, Дубова и Новиков заплакали. Священник медленно и торжественно стал читать отходную. На его пухлом и добродушном лице выразилось умиление и возвышенная печаль. Прошло несколько минут. Семенов вдруг замолчал.

— Кончился... — пробормотал священник.

Но в это мгновение Семенов медленно и трудно зашевелил сплещившимися губами, лицо его исказилось, как бы улыбаясь, и все услышали его глухой, невероятно слабый и страшный голос, идущий, казалось, откуда-то из самой глубины его груди, как из-под крышки гроба:

— На-астоящий ракло! — проговорил он, глядя прямо на священника.

Потом вздрогнул, открыл глаза, с выражением безумного ужаса, и вытянулся.

Все слышали его слова, но никто не пошевелился, и только выражение возвышенной печали мгновенно сбежало с запотевшего красного лица священника. Он боязливо оглянулся, но никто не смотрел на него, и только Санин улыбнулся.

Семенов опять зашевелил губами, но звука не было, и только один редкий и светлый ус его опустил. Потом он опять вытянулся и стал еще длиннее и страшнее.

И больше не было ни одного звука, ни одного движения.

Теперь никто не заплакал. Приближение смерти было страшнее и печальнее ее наступления.

И всем было даже как-то странно, что это томительное, мучительное дело закончилось так скоро и так просто. Они еще постояли возле постели, глядя в мертвое заострившееся лицо, как будто ожидая еще чего-нибудь и стараясь вызвать в себе жалость и ужас, с напряженным вниманием наблюдали, как Новиков закрыл глаза и сложил руки Семенову. Потом стали уходить, сдержанно топоча ногами. В коридоре уже горели лампы, и там было все так просто и домовито, что всем вздохнулось свободнее. Впереди шел священник. Он дробно семенил ногами и, стараясь, чтобы задобрить молодежь, сказать какую-нибудь любезность, вздохнул и мягко проговорил:

— Жаль молодого человека, тем более, что он, очевидно, умер нераскаянным... Но милосердие Божие, знаете, того...

— Да... конечно! — из вежливости ответил шедший ближе других Шафров.

— У него семья? — спросил священник, ободряясь.

— Право, не знаю, — недоумевающе ответил Шафров.

Все переглянулись, и всем показалось странным и нехорошим, что никто не знает, есть ли у Семенова семья и где она.

— Сестра где-то в гимназии учится, — заметила Карсавина.

— А!.. Ну-с, до свиданья! — сказал священник, пухлыми пальцами приподнимая шляпу.

— До свиданья! — ответили все разом.

Выйдя на улицу, они облегченно вздохнули и остановились.

— Ну, куда теперь? — спросил Шафров.

Сначала все топтались в нерешительности, а потом как-то сразу стали прощаться и расходиться в разные стороны.

XI

Когда Семенов увидел кровь и почувствовал зловещую пустоту вокруг и внутри себя, когда его потом поднимали, несли и укладывали и делали за него то, что он всю жизнь делал сам, он понял, что умирает, и ему было странно, что он вовсе не испугался смерти.

Дубова, когда рассказывала о его страхе, заключила о нем потому, что она сама испугалась, и в этом состоянии испуга здорового человека при виде смерти не могла допустить, чтобы сам умирающий не боялся смерти неизмеримо больше. И его бледность и блуждающий взгляд, которые происходили от слабости и потери крови, она, как и другие, приняла за выражение страха. Но это не было им, как не был им и тот вопрос «уже?», который Семенов задал доктору.

Семенов всегда и особенно с тех пор, как узнал, что у него чахотка, боялся смерти. В первое время, когда он узнал, состояние его было ужасно мучительно и было, вероятно, похоже на состояние человека, без надежды на помилование приговоренного к смертной казни.

Ему почти показалось, что с этого мгновения мир больше не существует, что безвозвратно исчезло все то красивое, приятное и веселое, что Семенов находил в нем прежде, что все

умирает и находится в состоянии мучительной агонии, которая вот-вот, каждую минуту и секунду, должна разрешиться чем-то невыносимо ужасным, зиявшим, как черная бездна.

Именно в виде огромной, круглой, совершенно черной бездны и представлялась Семенову смерть. И куда бы он ни шел, что бы он ни делал, эта круглая, черная дыра стояла перед ним, и в ее черной пустоте терялись и исчезали все звуки, краски и ощущения.

Это было ужасное состояние, но оно скоро стало ослабевать. Чем дальше шло время, и чем больше приближался Семенов к смерти, тем дальше, непонятнее и тусклее становилась она для него.

Все вокруг — все звуки, краски и ощущения — продолжали оставаться такими же, какими их всегда знал Семенов.

Так же светило солнце и так же делали свои дела люди, и так же приходилось и важное и пустое делать самому Семенову. По-прежнему он вставал и старательно умывался утром, обедал в полдень, находил приятным вкусное и неприятным невкусное, по-прежнему был рад солнцу и луне и сердился на затянувшийся дождь и слякоть, по-прежнему играл по вечерам на бильярде с Новиковым и другими, по-прежнему читал книги и не мог не находить одни важными и интересными, другие же скучными и глупыми. Сначала ему странно, обидно и даже больно было, что все остается по-прежнему не только в природе и в окружающих людях, но и в нем самом. Он пробовал изменить этот порядок, заставить всех заинтересоваться им и его смертью, понять весь ужас его положения, понять, что все кончено. Но когда он рассказал об этом своим знакомым, то увидел, что рассказывать не следовало. Знакомые сначала удивились, потом не поверили, хотя и высказали сочувствие и недоверие к приговору врача, а потом постарались отогнать неприятное впечатление, настойчиво заговаривая о другом, и через минуту сам Семенов, не замечая того, уже вместе с ними говорил не о смерти, а о жизни. И все усилия его втянуть весь мир в то, что совершалось в нем самом, оказались совершенно бессильными.

Тогда он постарался уединиться, углубиться в себя и одиноко страдать полным и непоколебимым сознанием своего ужаса своей смерти. Но именно оттого, что вокруг и в его жизни все оставалось по-прежнему, совершенно нелепым казалось то, что может быть иначе и что он, Семенов, не всегда будет существовать точно так же, как и теперь. И мысль о смерти, сначала остро вонзившаяся ему в сердце, стала тупеть и отпускать сжатую душу. Все чаще и чаще стали набегать моменты полного забвения, и жизнь вновь запестрела красками, движениями и звуками.

Ощущение близости круглой, черной дыры появлялось в нем только по вечерам, когда он оставался один. Если он тушил лампу, ему казалось, что в темноте что-то бесформенное и безликое немедленно встает над ним и неумолчно шепчет: шш... шш... шш... — и на этот беззвучный, непрерывный шепот мрака в нем самом что-то отвечает шепотом, тоскливым и страшным. И тогда он чувствовал, будто все больше и больше сливается с этим шепотом, пустотой и мраком и собственное тело колеблется в этом хаосе шепота, пустоты и мрака, как тоненькая, жалкая лучинка, каждое мгновение готовая раствориться, исчезнуть без следа.

Тогда он стал спать при лампе. При ее свете шепот становился неслышным, тьма отступала, и исчезало ощущение всасывающей пустоты, потому что она наполнялась тысячами жизненных мелочей, привычных и понятных ему: стульями, светом, чернильницей, собственными ногами, недописанным письмом, которое нужно дописать, образом с никогда не зажигаемой лампадкой, сапогами, которые Семенов забыл выставить за дверь, и другими вещами и заботами, во множестве копошившимися кругом.

Но все-таки и тогда шепот слышался из тех углов, куда не проникал свет лампы: там сгущались темнота и чудилась все та же всасывающая, как бездонная тряпина, пустота.

Семенов боялся смотреть в темноту и думать о ней. Стоило ему только вспомнить о тьме и пустоте, как они выступали из всех углов, наполняли комнату, обступали Семенова, гасили лампу, заглушали заботы и закрывали от него мир непроницаемой пеленой жуткого холодного тумана. Это было невыразимо ужасно и мучительно. В такие минуты хотелось плакать, как маленький ребенок, и биться головой о стену.

Но с каждым днем, с тем днем, на который уменьшалась жизнь Семенова, эти ощущения становились все более и более привычными. Они возрастали со страшной новой силой только тогда, когда какое-нибудь слово, жест, вид похорон, кладбища, гроба напоминал Семенову, что все-таки он умирает. И он избегал этих напоминаний, перестав даже ходить по тем улицам, которые вели к кладбищу, и никогда не ложась спать на спине со сложенными на груди руками.

В нем образовалось как бы две жизни: одна прежняя, большая, явная, которая не могла вместить мысли о смерти, забывала о ней, делала свое дело и надеялась жить во что бы то ни стало вечно, и другая — тайная, неуловимая, скрытая, как червь в яблоке, которая черным мраком просачивалась сквозь первую жизнь и, как яд, отравляла ее нестерпимой и неизбывной мукой.

В этой двойной жизни было нечто такое, что Семенов, когда наконец лицом к лицу столкнулся со смертью и понял, что жизнь кончена, почти не испугался.

«Уже?» — спросил он только для того, чтобы знать наверное.

И поняв по лицам окружающих, что «уже», Семенов только удивился, что это так просто и естественно, как конец трудного, измучившего непосильной заботой дела. Но сейчас же особенным, новым, внутренним сознанием он понял, что иначе и быть не могло, потому что смерть пришла тогда, когда в его организме не было уже сил жить.

Ему стало только жаль, что он больше никогда ничего не увидит. И когда его везли на извозчике в больницу, он молча, широко раскрытыми и полными слез глазами, смотрел вокруг, стараясь одним взглядом охватить все и страдая, что не может до мельчайших подробностей удержать в памяти весь мир, с его небом, людьми, зеленью и синеющими воздушными далями. И равно были ему невыразимо дороги и милы и те мелочи, которых он никогда не замечал, и то, что он считал важным и прекрасным: и потемневшее прозрачное небо с золотыми звездами, и худая спина извозчика в продранном синем армяке, и Новиков с печальным испуганным лицом, и пыльная дорога, и дома с зажигающимися в окнах блестящими огоньками, и темные деревья, молчаливо убегающие назад, и стук колес, и вечерний теплый ветер, все, что он видел, слышал и ощущал.

И потом, в больнице, он торопливо и жадно обегал глазами палату, следил, запоминал всякое движение, всякое лицо и вещь, пока физические страдания не стали вытеснять все окружающее и одевать его одиночеством. Все его ощущения перешли куда-то в глубину груди, к источнику страдания. Мало-помалу он стал куда-то отодвигаться от жизни. Когда что-нибудь появлялось перед ним, оно уже казалось ему чужим и ненужным. Началась последняя борьба между жизнью и смертью, и она наполнила все существо его, образовав свой особый, одинокий мир колебаний, всплеск жизни, падений, замираний и отчаянных усилий.

Иногда настаивала минута просветления, муки затихали, дыхание становилось глубже и спокойнее, и сквозь белую пелену проступали более или менее ясно образы и звуки. Но они казались незначительными и слабыми, точно доносились издалека.

Семенов ясно слышал звуки, но как будто и не слышал их, и как будто фигуры двигались беззвучно, точно тени в синематографе; порой появлялись в круге зрения знакомые лица, но как будто они были неизвестными, не возбуждающими ничего в памяти.

Около соседней кровати человек, со странным бритым лицом, читал газету, но Семенову уже не приходило в голову понять, почему и кому он читает. Он отчетливо слышал, что выборы в парламент отсрочены, что совершено покушение на великого князя, но слова были какие-то пустые, рождающиеся и лопающиеся в пустоте, как воздушные пузырьки, без следа и звука. Двигались губы, скрывались и открывались зубы, вращались круглые глаза, шевелился лист бумаги, лампа горела на потолке ровно, и как будто какие-то большие, зловещие черные мухи беззвучно и безостановочно летали вокруг нее.

Что-то родилось в мозгу, затлелось, как светлая точка, и стало разгораться, освещая все больше и больше вокруг. И вдруг Семенов вполне ясно и сознательно подумал, что теперь все уже для него ненужно и что вся та суета, которая шла в мире, не могла и часа прибавить к жизни Семенова, которому нужно умереть.

И Семенов снова погрузился в колеблющиеся волны черного тумана, и вновь началась беззвучная смертельная борьба между двумя страшными, тайными силами, уничтожающими одна другую в усилиях незаметных, но охватывающих судорогой весь его мир.

Во второй раз Семенов вернулся к жизни, когда заплакали и запели над ним, что было совершенно ненужно и не имело никакой связи с тем, что происходило в нем. Но оно на мгновение опять родило в нем светлую точку, раздуло ее, и Семенов увидел и понял до самой глубины это возвышенно печальное лицо человека, которому до него и до которого ему не было никакого дела.

Это было последнее от жизни, затем наступило уже совершенно непонятное и невообразимое для живых людей.

XII

— Пойдем ко мне, в Бозе почившего помянем! — сказал Иванов Санину.

Санин молча кивнул головой.

Они зашли в магазин за водкой и закуской и пошли дальше, догоняя Юрия Сварожича, который, понурившись, медленно шел по бульвару.

Смерть Семенова произвела на Юрия смутное и тягостное впечатление, разобраться в котором казалось и необходимым, и невозможным.

«Что ж, все это очень просто, — пытался Юрий провести в мозгу прямую и короткую линию — человека не было раньше, чем он родился, и это не кажется ужасным и непонятным... человека не будет, когда он умрет, и это так же просто и понятно... Смерть, как полная остановка машины, вырабатывавшей жизненную силу, вполне понятна, и в ней нет ужаса... Был когда-то мальчик Юра, который ходил в гимназию, разбивал носы врагам второклассникам и рубил крапиву, у него была своя особенная, удивительно сложная и занимательная жизнь. Потом этот Юра умер, а вместо него вот ходит и думает совсем другой человек, студент Юрий Сварожич. Если бы их свести вместе, то Юра не мог бы понять нынешнего Юрия и даже поэтому возненавидел бы его, как человека, который, чего доброго, сделается его репетитором и наделает ему кучу неприятностей!.. Значит, между ними пропасть, значит, мальчик Юра действительно умер... Умер Юра, умер я сам и даже не заметил этого до сих пор. Так совершилось. Это просто и естественно!.. Да... А то, что мы теряем, умирая? — что, в сущности говоря?.. В жизни, во всяком случае, больше дурного, чем радостного... Правда, радость все-таки есть, и терять ее тяжело, но то облегчение от массы

зла, которое приносит смерть, должно дать все-таки плюс. Да, это очень просто и ничуть не страшно! — с облегченным вздохом сказал вслух Юрий, но тотчас же мысленно перебил себя с острым ощущением тончайшей душевной боли: — Нет!.. То, что целый мир, живой, необычайно тонкий и сложный, в одно мгновение превращается в ничто, в бревно, в мерзлое полено. Это уже не перерождение мальчика Юры в Юрия Сварожича, а это нелепо и омерзительно противно, а потому ужасно и непонятно!..»

Тонкий, холодный налет покрыл лоб Юрия.

Он стал напрягать все силы своего мозга, чтобы понять то состояние, которое каждому человеку кажется невозможным пережить, но которое все-таки каждый переживает, как вот только что пережил Семенов.

«И он не умер от страха! — усмехаясь странности этой мысли, подумал Юрий. — Напротив, он еще издевался над нами, с этим попом, пением и слезами...»

Казалось, что есть тут какой-то один пункт, который, если понять, вдруг осветит все. Но как будто глухая и неодолимая стена стояла между его душой и этим пунктом. Ум скользил по неуловимо гладкой поверхности, и в ту минуту, когда казалось, что смысл уже близок, мысль оказывалась опять внизу, на том же самом месте. И в какую бы сторону ни закидывалась сеть тончайших мыслей и представлений, в них неизменно попадали все те же плоские и до боли надоедавшие слова: ужасно и непонятно!.. Дальше мысль не шла и, очевидно, не могла идти.

Это было мучительно и ослабляло и мозг, и душу, и все тело. К сердцу подступала тоска, мысли делались вялы и бесцветны, голова болела, и хотелось сесть тут же на бульваре и махнуть рукой на все, даже на самый факт жизни.

«Как мог Семенов смеяться, зная, что через несколько мгновений все будет кончено!.. Что он — герой? Нет, тут не в геройстве дело. Значит, смерть вовсе не так страшна, как я думаю?..»

И это время Иванов громко и неожиданно окликнул его.

— А, это вы! Куда? — вздрогнув, спросил Юрий.

— Поминать прах новопреставленного раба! — грубо и весело ответил Иванов. — Пойдемте с нами, что вы все в одиночку околачиваетесь!

Должно быть, потому, что Юрию было страшно и грустно, Санин и Иванов не показались ему такими неприятными, как всегда.

— Что ж, пойдете! — согласился он, но сейчас же вспомнил свое превосходство над ними и сказал себе: «Ну, что мне с ними делать? Водку пить, пошлости говорить?» Он уже хотел заставить себя отказаться, но все существо его инстинктивно воспротивилось одиночеству, и Юрий пошел.

Иванов и Санин молчали, и так, молча, дошли они до самого дома Иванова.

Было уже совсем темно, и у калитки, на лавочке, неопределенно мерещилась фигура человека с толстой крючковатой палкой.

— А, дядько, Петр Ильич! — радостно закричал Иванов.

— Я, — глухой октавой отозвался человек, и мощный голос его мужественно прогудел в воздухе.

Юрий вспомнил, что дядя Иванова был старый, пьянственный певчий соборного хора. У него

были седые усы, как у николаевского солдата, и от его затасканной черной тужурки всегда скверно пахло.

— Буб-бу! — слабым ударом в бочку отдался его голос, когда Иванов познакомил его с Юрием.

Юрий неловко подал ему руку и не знал, что сказать и как держать себя с таким человеком. Но он сейчас же вспомнил, что для Юрия Сварожича должны быть одинаковы все люди, и пошел рядом со старым певчим, старательно уступая ему дорогу.

Иванов жил в комнате, больше похожей на чулан, чем на жилье, так много было в ней пыли, хламу и беспорядка. Но когда хозяин зажег лампу, Юрий увидел, что все стены увешаны гравюрами с картин Васнецова, а кучи хлама оказались грудями книг.

Юрию все еще было как-то неловко, и, чтобы скрыть это, он стал внимательно рассматривать гравюры.

— Любите Васнецова? — спросил Иванов и, не слушая ответа, ушел за посудой.

Санин сказал Петру Ильичу, что умер Семенов.

— Царство небесное, — опять загудело в бочке, и, помолчав, Петр Ильич прибавил: — Ну, что ж... и хорошо. Все, значит, исполнено.

Юрий задумчиво посмотрел на него и вдруг почувствовал симпатию к старому певчему.

Пришел Иванов и принес хлеб, соленых огурцов на тарелке и рюмки. Расставив все это на столе, покрытом газетной бумагой, он взял бутылку и коротким, почти незаметным движением выбил пробку, не пролив ни одной капли.

— Ловко! — похвалил Петр Ильич.

— Сейчас видно, который человек понимающий! — самодовольно пошутил Иванов, разливая по рюмкам зеленовато-белую жидкость.

— Ну, господа, — беря свою рюмку и возвышая голос, заговорил он, — за упокой души и все прочее!

Стали закусывать, потом выпили еще и еще. Мало говорили, больше пили. В маленькой комнате скоро стало жарко и душно. Петр Ильич закурил папиросу и сразу затянул все синими полосами дурного табачного дыму. От выпитой водки, от дыму и жары у Юрия стала кружиться голова. Он опять вспомнил Семенова.

— Скверная штука смерть!

— Почему? — спросил Петр Ильич. — Смерть?.. О-о!.. Но это... это необходимо!.. Смерть!.. А если бы жить вечно?.. О-о!.. Вы остерегайтесь так говорить... Вечная жизнь!.. Что такое?!

Юрий вдруг подумал, что если бы он жил вечно... Ему представилась какая-то бесконечная серая полоса, томительно и бесцельно разворачивающаяся в пустоте, как будто с одного вала наматываясь на другой. Всякое представление о красках, звуках, о глубине и полноте переживаний как-то стиралось и бледнело, сливаясь в одну серую муть, текущую без русла и движения. Это уже не было жизнью, это была та же смерть. Юрию стало положительно страшно.

— Да, конечно... — пробормотал он.

— А на вас, как видно, большое впечатление произвело, — заметил Иванов.

— А на кого же это не произведет впечатления? — вместо ответа спросил Юрий.

Иванов неопределенно качнул головой и стал рассказывать Петру Ильичу о последних минутах Семенова.

В комнате становилось уже невыносимо душно. Юрий машинально наблюдал, как водка, блестя на свету лампы, переливалась в тонкие красные губы Иванова, и чувствовал, что все вокруг начинает тихо кружиться и расплываться.

— А-а-а-а... — запело у него в ушах тоненьким таинственно-печальным голоском.

— Нет, страшная штука смерть! — сам того не замечая, повторил он, как будто отвечал этому таинственному голоску.

— Чересчур вы нервничаете! — пренебрежительно отозвался Иванов.

— А вы на это не способны? — машинально спросил Юрий.

— Я?.. Ну н-нет!.. Помирать мне, конечно, неохота: это пустое дело, и жить не в пример веселее... но ежели уж смерть, так что ж... помру в одночасье и без всяких антимоний.

— Не умирал ты и не знаешь, — улыбнулся Санин.

— И то правда! — засмеялся Иванов.

— Все это слыхано, — вдруг с тоскливым озлоблением заговорил Юрий, — говорить можно все, а все-таки смерть остается смертью!.. Она ужасна сама по себе, и человеку, который... ну, отдает себе отчет в своей жизни, этот неизбежный насильственный конец должен убивать всякую радость жизни!.. Какой смысл!

— И это слыхано, — с насмешкой перебил Иванов, тоже внезапно озлобляясь. — Все вы думаете, что только вы...

— Какой смысл? — задумчиво переспросил Петр Ильич.

— Да, никакого! — с тем же непонятным озлоблением закричал Иванов.

— Нет, это невозможно, — возразил Юрий, — уж слишком все вокруг мудро и...

— А по-моему, ничего хорошего нет, — отозвался Санин.

— Что вы говорите... А природа?

— Что ж природа, — слабо улыбаясь, махнул рукой Санин. — Ведь это так только принято говорить, что природа совершенна... А по правде говоря, она так же плоха, как и человек: каждый из нас, даже без особого напряжения фантазии, может представить себе мир во сто раз лучше того, что есть... Почему не быть бы вечному теплу, свету и сплошному саду, вечно зеленому и радостному?.. А смысл? Смысл, конечно, есть... его не может не быть просто потому, что цель определяет ход вещей, без цели может быть только хаос. Но эта цель лежит вне нашей жизни, в основах всего мира... Это понятно... Мы не можем быть ее началом, следовательно, не можем быть и концом. Наша роль чисто вспомогательная и очевидно пассивная. Тем фактом, что мы живем, исполняется наше назначение... Наша жизнь нужна, а следовательно, и смерть нужна...

— Кому?

— А я почему знаю! — засмеялся Санин. — Да и какое мне дело!.. Моя жизнь — это мои ощущения приятного и неприятного, а что за пределами — черт с ним!.. Какую бы мы гипотезу ни выработали, она останется только гипотезой, и на основании ее строить свою жизнь было бы глупо. Кому нужно, тот пусть об этом и беспокоится, а я буду жить.

— Выпьем по сему случаю! — предложил Иванов.

— А в Бога вы верите? — спросил Петр Ильич, поворачивая к Санину помутневшие глаза. — Теперь никто не верит... не верят даже в то, что можно верить...

— Я в Бога верю, — опять засмеялся Санин, — вера в Бога осталась во мне с детства, и я не вижу никакой необходимости ни бороться с нею, ни укреплять ее. Это выгоднее всего: если Бог есть, я принесу ему искреннюю веру, а если Его нет, то мне же лучше...

— Но на основании веры или безверия строится жизнь, — заметил Юрий.

— Нет, — качнул головой Санин, и лицо его сложилось в равнодушно веселую улыбку, — я не на этом основании строю свою жизнь.

— А на каком же? — устало спросил Юрий.

«А-а-а... не надо больше пить...» — тоскливо подумал он, проводя рукой по холодно-потному лбу.

Может быть, Санин что-нибудь ответил, может быть, нет, но Юрий не слышал: у него закружилась голова, и на секунду стало дурно.

— Я верю, что есть Бог, но вера существует во мне сама по себе, — говорил дальше Санин, — он есть или нет, но я его не знаю и не знаю, чего ему от меня нужно... Да и как я мог бы это знать при самой горячей вере!.. Бог есть Бог, а не человек, и никакой человеческой мерки к нему приложить нельзя. В его творчестве, которое мы видим, есть все: и зло, и добро, и жизнь, и смерть, и красота, и безобразия... все... а так как при этом исчезает всякая определенность, всякий смысл и обнаруживается хаос, то, следовательно, его смысл — не человеческий смысл, а его добро и зло — не человеческие добро и зло... Наше определение Бога всегда будет идолопоклонничеством, и всегда мы будем оделять своего фетиша физиономией и одеждами применительно к местным климатическим условиям... Нелепость!

— Так-с! — крикнул Иванов. — Правильно!

— Для чего же тогда и жить? — спросил Юрий, с отвращением отодвигая свою рюмку.

— А для чего же и умирать?

— Я знаю одно, — ответил Санин, — я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением. Для этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания. Желание — это все: когда в человеке умирают желания, умирает и его жизнь, а когда он убивает желания — убивает себя!

— Но желания могут быть злыми?

— Может быть.

— Тогда как?..

— Так же, — ласково ответил Санин и посмотрел в лицо Юрию светлыми немигающими глазами.

Иванов высоко поднял брови, недоверчиво взглянул на Санина и промолчал. Молчал и Юрий, и почему-то ему было жутко смотреть в эти светлые ясные глаза, и почему-то он старался не опустить взгляда.

Несколько минут было тихо, и отчетливо слышалось, как одиноко и отчаянно билась с налету о стекло окна ночная бабочка. Петр Ильич грустно покачивал головой, опустив пьяное лицо к залитой грязной газете. Санин все улыбался.

Юрия и раздражала, и привлекала эта постоянная улыбка.

— Какие у него прозрачные глаза! — бессознательно подумал он.

Санин вдруг встал, отворил окно и выпустил бабочку. Как взмах большого мягкого крыла удивительно приятно и легко прошла по комнате волна чистого прохладного воздуха.

— Да, — проговорил Иванов, отвечая на собственные мысли, — люди бывают всякие, а по сему случаю — выпьем.

— Нет, — покачал головой Юрий, — я не буду больше пить.

— П-почему?

— Я вообще мало пью...

От водки и жары у Юрия уже болела голова, и хотелось на воздух.

— Ну, я пойду... — сказал он, вставая.

— Куда?.. выпьем еще!..

— Нет, право, мне нужно... — рассеянно отвечал Юрий, отыскивая фуражку.

— Ну, до свидания!

Когда Юрий уже затворял двери, то слышал, как Санин, возражая Петру Ильичу, говорил: «Да, если не будете, как дети, но ведь дети не различают добра и зла, они только искренни... в этом их...»

Юрий затворил дверь, и сразу стало тихо.

Луна стояла уже высоко, легкая и светлая. На Юрия пахнуло влажным от росы прохладным воздухом. Все было соткано из лунного света, красиво и задумчиво. Юрию, когда он шел один по ровным от лунного света улицам, было странно и трудно думать, что где-то есть молчаливая черная комната, где на столе желтый и недвижимый лежит мертвый Семенов.

Но почему-то он не мог вызвать опять те тяжелые и страшные мысли, которые еще так недавно подавляли всю его душу, заволакивая весь мир черным туманом. Ему было только тихо и грустно, и хотелось, не отрываясь, смотреть на далекую луну.

Проходя по пустой, при луне казавшейся широкой и странно гладкой площади, Юрий стал думать о Санине.

«Что это за человек?» — спросил он и в недоумении долго колебался.

Ему было неприятно, что нашелся человек, которого он, Юрий, не мог определить сразу, и оттого хотелось определить непременно дурно.

«Фразер, — с недобрым удовольствием подумал он, — когда-то рисовались отвращением к

жизни, высшими непонятными запросами, а теперь рисуются животностью...»

И, бросив Санина, Юрий стал думать о себе, что вот он ничем не рисуется, а все в нем, и страдания, и думы, особенное, ни на кого не похожее. Это было приятно, но чего-то не хватало, и Юрий стал вспоминать покойного Семенова.

Он грустно подумал, что никогда больше не увидит больного студента, и Семенов, которого он никогда особенно не любил, стал ему близок и дорог до слез. Юрий представил себе студента лежащим в могиле, с прогнившим лицом, с телом, наполненным червями, медленно и омерзительно копошащимися в разлагающемся месиве, под позеленевшим сырым и жирным мундиром. И, весь вздрогнув от отвращения, Юрий вспомнил слова покойного.

«...Я буду лежать, а вы пройдете и остановитесь надо мною по собственной надобности...»

«А ведь это все люди! — с ужасом подумал Юрий, пристально глядя на дорожную жирную пыль. — Я иду и топчу мозги, сердца, глаза... ох!»

Он почувствовал какую-то противную слабость под коленями.

«Умру и я... умру, и по мне так же будут ходить и думать то же, что я думаю теперь... Да, надо, пока еще не поздно, жить и жить!.. Хорошо жить, так жить, чтобы не пропадал даром ни один момент моей жизни... А как это сделать?»

На площади было пусто и светло, и над всем городом стояла чуткая и загадочная лунная тишина.

И струны громкие Баянов

Не бу-удут го-о-ворить о нем... —

тихо пропел Юрий.

— Скучно, грустно, страшно! — громко проговорил он, точно жалуясь, но сам испугался своего голоса и оглянулся: не слышал ли кто.

«Я пьян...» — подумал он.

Ночь была светлая и молчаливая.

XIII

Когда Карсавина и Дубова уехали куда-то погостить, жизнь Юрия Сварожича пошла ровно и однообразно.

Николай Егорович был занят хозяйством и клубом, а Ляля и Рязанцев так очевидно тяготились чьим бы то ни было присутствием, что Юрию было неловко с ними. Само собой сделалось так, что он стал ложиться спать рано, а вставать поздно, почти к самому обеду. И целый день, сидя то в саду, то в своей комнате, он напряженно шевелил мыслями и ожидал мощного прилива энергии, чтобы начать делать что-то большое.

Это «большое» принимало каждый день новое выражение: то это была картина, то — ряд статей, которые, незаметно для самого Юрия, должны были доказать всему миру, какую глубокую ошибку сделали социал-демократы, не предоставив Юрию Сварожичу первой роли в партии, иногда это было общение с народом и живая непосредственная работа в нем, но всегда все было важно и сильно.

Но день проходил так же, как приходил, и не приносил ничего, кроме скуки. Раза два приходили к нему Новиков, Шафров, сам Юрий ходил на чтения и в гости, но все это было чуждо ему, разбросано, не имело связи с тем, что томилось внутри его.

Один раз Юрий зашел к Рязанцеву. Доктор жил в чистой и большой квартире, и в его комнатах была масса вещей, предназначенных для развлечения здорового и сильного человека: гимнастические приборы, гири, резины, рапиры, удочки, сетки для перепелов, мундштуки и трубки. От всего пахло здоровым мужским телом и самодовольством.

Рязанцев встретил его приветливо и развязно, показал ему все свои вещи, смеялся, рассказывал анекдоты, предлагал курить и пить и, в конце концов, позвал его на охоту.

— У меня ружья нет, — сказал Юрий.

— Да возьмите у меня, у меня их пять, — возразил Рязанцев.

Он видел в Юрии брата Ляли, и ему хотелось сойтись с ним поближе и понравиться ему. Поэтому он так горячо и настойчиво предлагал Юрию взять любое из его ружей, так весело и охотно притащил все, разбираал их, объяснял устройство и даже выстрелил на дворе в цель, что наконец и Юрий почувствовал желание так же весело смеяться, двигаться, стрелять и согласился взять ружье и патроны.

— Ну вот и отлично, — искренно обрадовался Рязанцев. — А я как раз собирался завтра на перелет... Вот и поедем вместе, а?

— С удовольствием, — согласился Юрий.

Вернувшись домой, он, сам того не замечая, часа два возился с ружьем, рассматривал его, пригонял ремень к своим плечам, вскидывал приклад, целился в лампу и сам старательно смазал старые охотничьи сапоги.

На другой день, к вечеру, на беговых дрожках, запряженных сытой гнедой лошастью, приехал за ним веселый и свежий Рязанцев.

— Готовы? — закричал он в окно Юрию.

Юрий, нацепивший уже на себя ружье, патронташ и ягдташ и неловко путающийся в них, смущенно улыбаясь, вышел из дому...

— Готов, готов, — сказал он.

Рязанцев был просторно и легко одет и с некоторым удивлением посмотрел на снаряжение Юрия.

— Так вам тяжело будет, — сказал он, улыбаясь, — вы снимите это все и положите вот сюда. Приедем на место, там и наденете.

Он помог Юрию снять вооружение и уложить его под сиденье дрожек. Потом они быстро поехали, во всю рысь доброй лошади. День был к концу, но было еще жарко и пыльно. Колеса дробно потряхивали дрожки, и Юрию приходилось держаться за сиденье. Рязанцев без умолку говорил и смеялся, а Юрий с дружелюбным удовольствием смотрел в его плотную

спину, обтянутую пропотевшим под мышками чесучовым пиджаком, и невольно подражал ему в смехе и шутках. Когда они выехали в поле и по ногам их легко защелкали полевые жесткие травы, стало прохладнее, легче, и пыль упала.

У какой-то бесконечной, плоской, с белевшими по ней арбузами, бахчи Рязанцев остановил запотевшую лошадь и залившимся баритоном долго кричал, приставив ко рту обе руки:

— Кузьма-а... Кузьма-а-а...

Какие-то крошечные люди, еле видные на другом конце бахчи, подняли головы и долго смотрели на кричавших, а потом от них отделился один и долго шел по рядам, пока не стало видно, что это высокий и седой мужик, с большой бородой и свисшими вперед корявыми руками.

Он медленно подошел и, широко улыбаясь, сказал:

— Здоров, Анатолий Павлович, кричать-то!

— Здравствуй, Кузьма, как живешь?.. Лошадь у тебя пусть, а?

— Можно и у меня, — спокойно и ласково сказал мужик, беря лошадь под уздцы. — На охоту, гляди?.. А это кто ж такие будут? — спросил он, приветливо присматриваясь к Юрию.

— Николая Егоровича сынок, — весело ответил Рязанцев.

— А... То-то я гляжу, ровно на Людмилу Николаевну лицом схожи... Так, так...

Юрию почему-то было приятно, что этот старый и приветливый мужик знает его сестру и так просто, ласково говорит о ней.

— Ну идем, — весело и возбужденно сказал Рязанцев, доставая из передка и надевая ружье и сумки.

— Час добрый, — сказал им вслед Кузьма, и слышно было, как тпрукал на лошадь, заворачивая ее под курень.

До болота пришлось идти с версту, и солнце уже совсем село, когда земля стала сочнее и покрылась луговой свежей травой, осокой и камышами. Заблестела вода, запахло сыростью, и стало смеркаться. Рязанцев перестал курить, широко расставил ноги и вдруг сделался совершенно серьезен, точно приступал к очень важному и ответственному делу. Юрий отошел от него вправо и за камышами выбрал нетопкое и удобное стоять местечко. Прямо перед ним была вода, казавшаяся чистой и глубокой от светлой зари, отражавшейся в ней, а за нею чернел слившийся в одну темную полосу другой берег.

И почти тотчас же, откуда-то неожиданно появляясь и тяжело махая крыльями, стали по две, по три лететь утки. Они внезапно появлялись из-за камышей и, поворачивая головки то туда, то сюда, отчетливо видные на еще светлом небе, пролетали над головами людей. Первый, и удачно, выстрелил Рязанцев. Убитый им селезень комком перевернулся в воздухе и тяжело шлепнулся где-то в стороне, всплеснув воду и с шумом приминая тростинки.

— С полем! — звучно и довольно прокричал Рязанцев и захохотал.

— А он, в сущности, славный парень! — почему-то подумал Юрий.

Потом выстрелил сам, и тоже удачно, но убитая им утка упала где-то далеко, и он никак не мог найти ее, хотя и порезал себе руки осокой и попал в воду по колено. Но неудача только оживила его: теперь все, что бы ни случилось, было хорошо.

Пороховой дым как-то особенно приятно пахнул в прозрачном и прохладном воздухе над рекой, а огоньки выстрелов с веселым треском красиво и ярко вспыхивали среди уже потемневшей зелени. Убитые утки тоже красиво кувыркалились на фоне бледно-зеленоватого неба, по которому расплывалась заря и слабо поблескивали первые бледные звездочки. Юрий чувствовал необыкновенный прилив силы и веселья, и ему казалось, что никогда он не испытывал ничего интереснее и живее.

Потом утки стали лететь все реже и реже, и в сгустившихся сумерках трудно уже было целиться.

— Э-гей! — прокричал Рязанцев. — Пора домой!

Юрию жаль было уходить, но он все-таки пошел навстречу Рязанцеву, уже не разбирая воды, шлепая по лужам и путаясь в тростниках. Сошлись, блестя глазами и сильно, но легко дыша.

— Ну что, — спросил Рязанцев, — удачно?

— Еще бы! — ответил Юрий, показывая полный ягдташ.

— Да вы лучше меня стреляете! — как будто даже обрадовался Рязанцев.

Юрию была приятна эта похвала, хотя он всегда думал, что не придает никакого значения физической силе и ловкости.

— Ну где же лучше! — самодовольно возразил он. — Просто повезло!

Уже совсем стемнело, когда они подошли к куреню. Бахча утонула во мраке, и только ближайшие ряды мелких арбузов, отбрасывая длинные плоские тени, белели от огня. Около куреня фыркала невидимая лошадь, потрескивая, горел маленький, но яркий и бойкий костер из сухого бурьяна, слышался крепкий мужицкий говор, бабий смех и чей-то, показавшийся Юрию знакомым, ровный веселый голос.

— Да это Санин, — удивленно сказал Рязанцев. — Как он сюда попал?

Они подошли к костру. Сидевший в круге света белобородый Кузьма поднял голову и приветливо закивал им.

— С удачей, что ли? — глухим басом из-под нависших усов спросил он.

— Не без того, — отозвался Рязанцев.

Санин, сидевший на большой тыкве, тоже поднял голову и улыбнулся им.

— Вы как сюда попали? — спросил Рязанцев.

— Мы с Кузьмой Прохоровичем давнишние приятели, — еще больше улыбаясь, пояснил Санин.

Кузьма довольно оскалил желтые корешки съеденных зубов и дружелюбно похлопал Санина по колену своими твердыми, не сгибающимися пальцами.

— Так, так, — сказал он. — Анатолий Павлович, садись, кавунца покушай. И вы, панич... Как вас звать-то?

— Юрий Николаевич, — несколько предупредительно улыбаясь, ответил Юрий.

Он чувствовал себя неловко, но ему уже очень нравился этот спокойный старый мужик с его ласковым, полурусским, полухохлацким говором:

— Юрий Николаевич, так... Ну, знакомы будем. Садись, Юрий Николаевич.

Юрий и Рязанцев сели к огню, подкатив две тяжелые твердые тыквы.

— Ну покажите, покажите, что настреляли, — заинтересовался Кузьма.

Груда битой птицы, пятная землю кровью, вывалилась из ягдташей. При танцующем свете костра она имела странный и неприятный вид. Кровь казалась черной, а скрюченные лапки как будто шевелились.

Кузьма потрогал селезенья под крыло.

— Жирен, — сказал он одобрительно, — ты бы мне парочку, Анатолий Павлович... куда тебе столько!

— Берите хоть все мои, — оживленно предложил Юрий и покраснел.

— Зачем все... Ишь, добрый какой, — засмеялся старик. — А я парочку... чтоб никому не обидно!

Подошли поглядеть и другие мужики и бабы. Не подымая глаза от огня, Юрий не мог разглядеть их. То одно, то другое лицо, попадая в полосу света, ярко появлялось из темноты и исчезало.

Санин, поморщившись, поглядел на убитых птиц, отодвинулся и скоро встал. Ему было неприятно смотреть на красивых сильных птиц, валявшихся в пыли и крови, с разбитыми, поломанными перьями.

Юрий с любопытством следил за всеми, жадно откусывая ломти спелого, сочного арбуза, который Кузьма резал складным с костяной желтой ручкой ножиком.

— Кушай, Юрий Николаевич, хорош кавун... Я и сестрицу, Людмилу Николаевну, и папашу вашего знаю... Кушай на здоровье...

Юрию все нравилось здесь: и запах мужицкий, похожий на запах хлеба и овчины вместе, и бойкий блеск костра, и тыква, на которой он сидел, и то, что когда Кузьма смотрел вниз, видно было все его лицо, а когда подымал голову, оно исчезало в тени и только глаза блестели, и то, что казалось, будто тьма висит над самой головой, придавая веселый уют освещенному месту, а когда Юрий взглядывал вверх, сначала ничего не было видно, а потом вдруг показывалось высокое, величественное спокойное темное небо и далекие звезды.

Но в то же время ему было почему-то неловко, и он не знал, о чем говорить с мужиками.

А другие, и Кузьма, и Санин, и даже Рязанцев, очевидно вовсе не выбирая темы для разговора, разговаривали так просто и свободно, толкуя обо всем, что попадалось на глаза, что Юрий только дивился.

— Ну а как у вас насчет земли? — спросил он, когда на минуту все умолкли, и сам почувствовал, что вопрос вышел напряженным и неуместным.

Кузьма посмотрел на него и ответил:

— Ждем-пождем... авось что и будет.

И опять заговорили о бахче, о цене на арбузы и еще о каких-то своих делах, а Юрию почему-то стало еще более неловко и еще больше приятно сидеть здесь и слушать.

Послышались шаги. Маленькая рыжая собачонка с крепко закрученным белым хвостом

появилась в круге света, завиляла, понюхала Юрия и Рязанцева и стала тереться о колени Санина, погладившего ее по жесткой и крепкой шерсти. За нею показался белый от огня маленький старичок, с жиденькой клочковатой бородкой и маленькими глазками. В руке он держал рыжее одноствольное ружье.

— Наш сторож... дедушка... — сказал Кузьма. Старичок сел на землю, положил ружье и посмотрел на Юрия и Рязанцева.

— С охоты... так... — прошамкал он, обнаруживая голые сжеванные десны. — Эге... Кузьма, картоху варить пора, эге...

Рязанцев поднял ружье старичка и, смеясь, показал его Юрию. Это было ржавое, тяжелое, связанное проволокой пистонное ружье.

— Вот фузея! — сказал он.

— Как ты из него, дедушка, стрелять не боишься?

— Эге ж... Бач, трохи не убывея... Степан Шапка казав мини, шо и без пыстона може выстрелить... Эге... без пыстона... казав, как сера останется, так и без пыстона выстрелит... Вот я отак положыв на колено, курок взвив, курок взвив, а пальцем отак... а оно как б-бабахнет!.. Трохи не убывся!.. Эге, эге... курок взвив, а оно как б-бабахнет... ах трохи не убывся...

Все засмеялись, а у Юрия даже слезы на глаза выступили, так трогателен показался ему этот старичок с клочковатой седенькой бороденкой и шамкающим ртом. Смеялся и старичок, и глазки у него слезились.

— Трохи не убывся!..

В темноте, за кругом света, слышался смех и голоса девок, дичившихся незнакомых господ. Санин в нескольких шагах, совсем не там, где его предполагал Юрий, зажег спичку, и когда вспыхнул розовый огонек, Юрий увидел его спокойно ласковые глаза и другое, молодое и чернобровое лицо, наивно и весело глядевшее на Санина темными женскими глазами.

Рязанцев подмигнул в ту сторону и сказал:

— Дедушка, ты бы за внучкой-то присматривал, а?

— А что за ней глядеть, — добродушно махнул рукой старый Кузьма, — их дело молодое!

— Эге ж, эге! — отозвался старичок, голыми руками доставая из костра уголек.

Санин весело засмеялся в темноте. Но женщина, должно быть, застыдилась, потому что они отошли и голоса их стали чуть слышны.

— Ну, пора, — сказал Рязанцев, вставая. — Спасибо, Кузьма.

— Не на чем, — ласково отозвался Кузьма, рукавом стряхивая с белой бороды приставшие к ней черные семечки арбуза.

Он подал руку Юрию и Рязанцеву. Юрию опять было и неловко, и приятно пожать его жесткие негибающиеся пальцы.

Когда они отошли от огня, стало виднее. Вверху засверкали холодные звезды, и там показалось удивительно красиво, и спокойно, и бесконечно. Зачернелись сидевшие у костра люди, лошади и силуэт воза с кучей арбузов. Юрий наткнулся на круглую тыкву и чуть не

упал.

— Осторожнее, сюда... — сказал Санин. — До свиданья.

— До свиданья, — ответил Юрий, оглядываясь на его высокую темную фигуру, и ему показалось, будто к Санину прижалась стройная и высокая женщина. У Юрия сердце сжалось и сладко заныло. Ему вдруг вспомнилась Карсавина, и стало завидно Санину.

Опять застучали колеса дрожек и зафыркала добрая отдохнувшая лошадь. Костер остался позади, и замерли говор и смех. Стало тихо. Юрий медленно поднял глаза к небу и увидел бесчисленную сеть бриллиантовых шевелящихся звезд.

Когда показались заборы и огни города и залаяли собаки, Рязанцев сказал:

— А философ этот Кузьма, а?

Юрий посмотрел ему в темный затылок, делая усилие, чтобы из-за своих задумчивых, грустно нежных мыслей понять, что он говорит.

— А. Да. — не скоро ответил он.

— Я и не знал, что Санин такой молодец! — засмеялся Рязанцев.

Юрий окончательно опомнился и представил себе Санина и то, как ему показалось, удивительно нежное и красивое женское лицо, которое он увидел при свете спички. Ему опять стало бессознательно завидно, и оттого он вдруг вспомнил, что поступки Санина по отношению к этой крестьянской девушке должны считаться скверными.

— И я не знал! — с иронией сказал он.

Рязанцев не понял его тона, чмокнул на лошадь, помолчал и нерешительно, но со вкусом сказал:

— Красивая девка, а?... Я ее знаю... Это того старичка внучка...

Юрий помолчал. Какое-то добродушное и весело задумчивое очарование быстро сползло с него, и прежний Юрий уже ясно и твердо знал, что Санин дурной и пошлый человек.

Рязанцев как-то странно передернул плечами и головой и решительно крикнул:

— А, черт... Ночь-то!.. Даже меня разобрало!.. Знаете, а не поехать ли нам, а?

Юрий сразу не понял.

— Есть красивые девки... Поедем, а? — хихикающим голосом продолжал Рязанцев.

Юрий густо покраснел в темноте. Запретное чувство шевельнулось в нем с животной жадой, жуткие и любопытные представления кольнули его вспыхнувший мозг, но он сделал над собой усилие и сухо ответил:

— Нет, пора домой... — И уже зло прибавил: — Ляля нас ждет. Рязанцев вдруг сжался, как-то осунулся и стал меньше.

— Ну да... впрочем, пора и в самом деле... — торопливо пробормотал он.

Юрий, от злобы и омерзения стискивая зубы и с ненавистью глядя в широкую спину в белом пиджаке, проговорил:

— Я вообще не охотник до таких походов.

— Ну да... ха-ха... — трусливо и неприязненно засмеялся Рязанцев и замолчал.

«Эх, черт... неловко вышло!» — думал он. Они молча доехали до дому, и дорога показалась им бесконечной.

— Вы зайдете? — спросил Юрий, не глядя.

— Н-нет, у меня больной, знаете... а?... Да и поздно, а? — нерешительно возразил Рязанцев.

Юрий слез с дрожек и хотел даже не брать ружья и дичи. Все, что принадлежало Рязанцеву, казалось ему теперь отвратительным. Но, Рязанцев сказал:

— А ружье?

И Юрий против воли вернулся, с отвращением забрал снаряды и птиц, неловко подал руку и ушел. Рязанцев тихо проехал несколько сажен, и вдруг, быстро свернув в переулок, колеса затарахтели в другую сторону. Юрий прислушался с ненавистью и несознаваемой тайной завистью.

— Пошляк! — пробормотал он, и ему стало жаль Лялю.

XIV

Занеся вещи в дом и не зная, что с собой делать, Юрий тихо вышел на крыльцо в сад.

В саду было темно, как в бездне, и странно было видеть над ним горящее звездами, блестящее небо.

На ступеньках крыльца задумчиво сидела Ляля, и ее маленькая серая фигурка неопределенно мерещилась в темноте.

— Это ты, Юра? — спросила она.

— Я, — ответил Юрий и, осторожно спустившись вниз, сел с нею рядом. Ляля мечтательно положила голову ему на плечо. От ее неприкрытых волос в лицо Юрию пахло свежим, чистым и теплым запахом. Это был женский запах, и Юрий с бессознательным, но тревожным наслаждением вдохнул его.

— Хорошо поохотились? — ласково спросила Ляля и, помолчав, прибавила тихо и нежно: — А где Анатолий Павлович?... Я слышала, как вы подъехали.

«Твой Анатолий Павлович — грязное животное!» — хотел крикнуть Юрий с внезапным приливом злобы, но вместо того неохотно ответил:

— Право, не знаю... к больному поехал.

— К больному... — машинально повторила Ляля и замолчала, глядя на звезды.

Она не огорчилась, что Рязанцев не зашел к ней: девушке хотелось побыть одной, чтобы его присутствие не помешало ей обдумать наполняющее ее молодые душу и тело, такое дорогое ей, такое таинственное и важное чувство. Это было чувство какого-то желанного и неизбежного, но жуткого перелома, за которым должна отпасть вся прежняя жизнь и должно

начаться новое. До того новое, что сама Ляля должна тогда стать совсем другой.

Юрию странно было видеть всегда веселую и смешливую Лялю такой тихой и задумчивой. Оттого, что он сам был весь наполнен грустными раздраженными чувствами, Юрию все — и Ляля, и далекое звездное небо, и темный сад, — все казалось печальным и холодным. Юрий не понимал, что под этой беззвучной и неподвижной задумчивостью была не грусть, а полная жизнь: в далеком небе мчалась неизмерно могучая неведомая сила, темный сад изо всех сил тянул из земли живые соки, а в груди у тихой Ляли было такое полное счастье, что она боялась всякого движения, всякого впечатления, которое могло нарушить это очарование, заставить замолчать ту, такую же блестящую, как звездное небо, и такую же заманчиво-таинственную, как темный сад, музыку любви и желания, которая бесконечно звучала у нее в душе.

— Ляля... ты очень любишь Анатолия Павловича? — тихо и осторожно, точно боясь разбудить ее, спросил Юрий.

— Разве можно об этом спрашивать? — не подумала, а почувствовала Ляля, но сейчас же опомнилась и благодарно прижалась к брату за то, что он заговорил с нею не о чем-нибудь другом, ненужном и мертвом для нее теперь, а именно о любимом человеке.

— Очень, — ответила она так тихо, что Юрий скорее угадал, чем услышал, и сделала мужественное усилие, чтобы улыбкой удержать счастливые слезы, выступившие на глазах.

Но Юрию в ее голосе послышалась тоскливая нотка, и еще больше жалости к ней и ненависти к Рязанцеву явилось в нем.

— За что же? — невольно спросил он, сам пугаясь своего вопроса.

Ляля удивленно посмотрела на него, но не увидела его лица и тихонько засмеялась.

— Глу-упый!.. За что!.. За все... Разве ты сам никогда не был влюблен?.. Он такой хороший, добрый, честный...

«...красивый, сильный!» — хотела добавить Ляля, но до слез покраснела в темноте и не сказала.

— А ты его хорошо знаешь? — спросил Юрий.

«Эх, не надо этого говорить, — подумал он с грустью и раздражением. — Зачем?.. Разумеется, он кажется ей лучше всех на свете!»

— Анатолий ничего от меня не скрывает! — с застенчивым торжеством ответила Ляля.

— И ты в этом уверена? — криво усмехнулся Юрий, чувствуя, что уже не может остановиться.

В голосе Ляли зазвучало беспокойное недоумение, когда она ответила:

— Конечно, а что, разве?..

— Ничего, я так... — испуганно возразил Юрий.

Ляля помолчала. Нельзя было понять, что в ней происходит.

— Может быть, ты что-нибудь знаешь... такое? — вдруг спросила она, и странный, болезненный звук ее голоса поразил и испугал Юрия.

— Да нет... Я так. Что я могу знать, а тем более об Анатолии Павловиче?

— Нет, ты не сказал бы так! — звенящим голосом настаивала Ляля.

— Я просто хотел сказать, что вообще... — путался Юрий, уже замирая от стыда. — Мы, мужчины, порядочно-таки испорчены... все...

Ляля помолчала и вдруг облегченно засмеялась.

— Ну, это-то я знаю...

Но смех ее показался Юрию совершенно неуместным.

— Это не так легко, как тебе кажется! — с раздражением и злой иронией возразил он. — Да и не можешь ты всего знать... Ты себе еще и представить не можешь всей гадкости жизни... ты еще слишком чиста для этого!

— Ну вот, — польщенно усмехнулась Ляля, но сейчас же, положив руку на колено брата, серьезно заговорила: — Ты думаешь, я об этом не думала? Много думала, и мне всегда было больно и обидно: почему мы так дорожим своей чистотой, репутацией... боимся шаг сделать... ну, пасть, что ли, а мужчины чуть не подвигом считают соблазнить женщину... Это ужасно несправедливо, не правда ли?

— Да, — горько ответил Юрий, с наслаждением бичуя свои собственные воспоминания и в то же время сознавая, что он, Юрий, все-таки совсем не то, что другие. — Это одна из величайших несправедливостей в мире... Спроси любого из нас: женится ли он на... — публичной женщине, — хотел сказать Юрий, но замялся и сказал: — На кокотке, и всякий ответит отрицательно... А чем, в сущности говоря, всякий мужчина лучше кокотки?.. Та, по крайней мере, продается за деньги, ради куска хлеба, а мужчина просто... распущенно развратничает и всегда в самой гнусной, извращенной форме... Ляля молчала.

Невидимая летучая мышь быстро и робко влетела под балкон, раза два ударилась шуршащим крылом о стену и с легким звуком выскользнула вон. Юрий помолчал, прислушиваясь к этому таинственному звуку ночной жизни, и заговорил опять, все больше и больше раздражаясь и увлекаясь своими словами.

— А хуже всего то, что все не только знают это и молчат, как будто так и надо, но даже разыгрывают сложные трагикомедии... освящают брак, лгут, что называется, и перед Богом, и перед людьми!.. И всегда самые чистые святые девушки, — прибавил он, думая о Карсавиной и к кому-то ревнуя ее, — достаются самым испорченным, самым грязным порой даже зараженным мужчинам... Покойный Семенов однажды сказал, что чем чище женщина, тем грязнее мужчина, который ею обладает... И это правда!

— Разве? — странно спросила Ляля.

— О, еще бы! — со взрывом горечи усмехнулся Юрий.

— Не знаю... — вдруг проговорила Ляля, и в голосе ее задрожали слезы.

— Что? — не расслышав, переспросил Юрий.

— Неужели и Толя такой же, как и все! — сказала Ляля, первый раз так называя Рязанцева при брате, и вдруг заплакала. — Ну конечно... такой же! — выговорила она сквозь слезы.

Юрий с ужасом и болью схватил ее за руки.

— Ляля, Лялечка... что с тобой!.. Я вовсе не хотел... Милая... перестань, не плачь! — бессвязно повторял он, отнимая от лица и целуя ее мокрые маленькие пальчики.

— Нет... я знаю... это правда... — повторяла Ляля, задыхаясь от слез.

Хотя она и говорила, что уже думала об этом, но это только казалось ей: на самом деле она никогда не представляла себе тайную жизнь Рязанцева. Она, конечно, знала, что он не мог любить ее первую, и понимала, что это значит, но это сознание как-то не переходило в ясное представление, только скользая по душе.

Она чувствовала, что любит его и что он любит ее, и это было самое главное, остальное было уже не важно, но теперь, оттого, что брат говорил с резким выражением осуждения и презрения, ей показалось, что перед ней раскрывается бездна, что это безобразно, непоправимо, что в ней навеки рухнуло невозвратимое счастье, и она уже не может больше любить Рязанцева.

Юрий, чуть сам не плача, уговаривал ее, целовал, гладил по волосам, но она все плакала, горько и безнадежно.

— Ах, Боже мой, Боже мой! — как ребенок, захлебываясь слезами, приговаривала Ляля, и оттого, что было темно, она казалась такой маленькой и жалкой, а слезы ее такими беспомощно горькими, что Юрий почувствовал невыносимую жалость.

Бледный и растерянный, он побежал в дом, больно стукнулся виском о дверь и принес, разливая на пол и себе на руки, стакан воды.

— Лялечка, перестань же... Ну, можно ли так!.. Что с тобой!.. Анатолий Павлович, может быть, лучше других... Ляля! — твердил он с отчаянием.

Ляля вся тряслась от рыданий, и зубы ее бессильно колотились о края стакана.

— Что тут такое? — встревоженно спросила горничная, появляясь в дверях. — Барышня, чтой-то вы!..

Ляля, опираясь на крыльцо, встала и, не переставая плакать, шатаясь и вздрагивая, вошла в комнаты.

— Барышня, голубушка, что с вами... Может, барина позвать?.. Юрий Николаевич!..

Из своего кабинета твердой и мерной походкой вышел Николай Егорович и остановился в дверях, с удивлением глядя на плачущую Лялю.

— Что случилось? — спросил он.

— Да, так... пустяки, — насильно улыбаясь, ответил Юрий, — говорили о Рязанцеве... ерунда!

Николай Егорович пытливо посмотрел на него, что-то подумал, и вдруг на его стариковском лице бывшего джентльмена выразилось крайнее негодование.

— Черт знает что такое! — круто пожал он плечами и, повернувшись налево кругом, ушел.

Юрий страшно покраснел, хотел сказать что-то грубое, но ему стало мучительно стыдно и чего-то страшно. Чувствуя оскорбленную злобу против отца, растерянную жалость к Ляле и болезненное презрение к себе, он тихо вышел на крыльцо, сошел по ступенькам и пошел в сад.

Маленькая лягушонка порывисто пискнула и дернулась у него под ногой, лопнув, как раздавленный желудь, Юрий поскользнулся, весь вздрогнул и, охнув, далеко отскочил в сторону. Он долго машинально тер ногой о мокрую траву, чувствуя в спине нервный холод

отвращения.

Тоска в душе и гадкое брезгливое чувство в ноге заставили его болезненно морщиться. Все казалось Юрию нудным и мерзким. Ощупью он нашел в темноте скамью и сел, напряженными, сухими и злыми глазами вглядываясь в сад и ничего не видя, кроме расплывчатых пятен мрака. В голове у него копошились тусклые и тяжелые мысли.

Он смотрел на то место, где, в темной траве, где-то умирала или, быть может, в страшных мучениях уже умерла раздавленная им маленькая лягушонка. Там принял конец целый мир, полный своеобразной и самостоятельной жизни, но действительно ужасного, невообразимого страдальческого конца его не было ни слышно, ни видно.

И какими-то неуловимыми путями Юрию пришла в голову мучительная и непривычная для него мысль, что все, занимающее его жизнь, даже самое важное, ради чего он одно любил, а другое ненавидел, иное отталкивал против желания, а иное принимал против воли, все это — и добро и зло — только легкое облако тумана вокруг одного его. Для мира, в его огромном целом, все мучительнейшие и искреннейшие переживания так же не существуют, как и эти неведомые страдания маленького животного. Воображая, что его страдания, его ум и его добро и зло ужасно важны кому-нибудь, кроме него самого, он нарочно и явно бессмысленно плел какую-то сложную сеть между собой и миром. И один момент смерти сразу порвет все эти сети и оставит его одного без оплаты и итога.

Опять ему вспомнился Семенов и равнодушие покойного студента к самым заветным мыслям и целям, так глубоко волновавшим его, Юрия, и миллионы ему подобных, вдруг глубоко отделилось тем наивным и откровенным любованием жизнью, удовольствием, женщинами, луной и соловьиным свистом, которое так поразило и даже неприятно кольнуло его на другой день после скорбного разговора с Семеновым.

Тогда ему было непонятно: как мог он, Семенов, придавать значение таким пустякам, как катанью на лодке и красивым телам девушек, после того, как он сознательно оттолкнул самые глубокие мысли и высокие понятия; но теперь Юрий легко понял, что иначе и быть не могло: все эти пустяки были жизнью — настоящей, полной захватывающих переживаний и влекущих наслаждений жизнью, а все великие понятия были лишь пустыми, ничего не предрешающими в необъятной тайне жизни и смерти, комбинациями слов и мыслей. Как бы они ни казались важными и окончательными, после них будут и не могут не быть не менее значительные и последние слова и мысли.

Этот вывод был так не свойствен Юрию и так неожиданно сплелся из его мыслей о добре и зле, что Юрий растерялся. Перед ним открылась какая-то пустота, и на одну секунду острое ощущение ясности и свободы, похожее на то чувство, которое во сне подымает человека на воздух, чтобы он летел куда хочет, озарило его мозг. Но Юрий испугался. Страшным напряжением он собрал все распавшиеся привычные мысли и понятия о жизни, и пугающее, слишком смелое ощущение исчезло. Стало вновь томно и сложно.

Одну минуту Юрий готов был допустить, что смысл настоящей живой жизни в осуществлении своей свободы, что естественно, а следовательно, и хорошо жить только наслаждениями, что даже Рязанцев, со своей точки зрения единицы низшего разбора, цельнее и логичнее его, стремясь к возможно большим половым наслаждениям, как острейшим жизненным ощущениям. Но по этой мысли надо было допустить, что понятие о разврате и чистоте — сухие листья, прикрывающие молодую свежую траву, и даже самые поэтические, целомудренные девушки, даже Ляля и Карсавина имеют право свободно окунуться в самый поток чувственных наслаждений. И Юрий испугался своей мысли, счел ее грязной и кощунственной, ужаснулся тому, что она возбуждает его, и вытеснил ее из головы и сердца привычными, тяжелыми и грозными словами.

— Ну да, — думал он, глядя в бездонное блестящее небо, запыленное звездами, — жизнь — ощущение, но люди не бессмысленные звери и должны направлять свои желания к добру и не давать им власти над собою... «Что, если есть Бог над звездами!» — вспомнил Юрий, и жуткое чувство смутного благоговения придавило его к земле. Он не отрываясь смотрел на большую блестящую звезду в хвосте Большой Медведицы и бессознательно вспомнил, что мужик Кузьма с бахчи называл эти величавые звезды «возом».

Почему-то, тоже бессознательно, это воспоминание показалось неуместным и даже как будто оскорбило его. Он стал смотреть в сад, после звездного неба казавшийся совсем черным, и опять начал думать:

«Если лишить мир женской чистоты, так похожей на первые весенние, еще совсем робкие, но такие прекрасные и трогательные цветы, то что же святого останется в человеке?..»

Тысячи молодых, прекрасных и чистых, как весенние цветы, девушек в солнечном свете, на весенней траве, под цветущими деревьями представились ему. Невысокие груди, круглые плечи, гибкие руки, стройные бедра, изгибаясь, стыдливо и таинственно мелькнули перед его глазами, и голова его сладко закружилась в сладострастном восторге.

Юрий медленно провел рукой по лбу и вдруг опомнился.

— У меня нервы расстроились... надо идти спать.

Неудовлетворенный, расстроенный и еще томимый мгновенным сладострастным видением, Юрий с беспредметной злобой в душе, порывисто делая все движения, пошел в дом.

И уже лежа в постели и тщетно стараясь заснуть, он вспомнил Рязанцева и Лялю.

«Почему, собственно, возмущает, что Рязанцев любит Лялю не одну и не первую?..»

Мысль не дала ему ответа, но перед ним, возбуждая тихую нежность и невыразимо приятно лаская разгоряченный мозг, выплыл образ Зины Карсавиной, и как ни старался он затемнить свое чувство, стало понятно, зачем нужно ему, чтобы она была чистой и нетронутой.

«А ведь я люблю ее!» — в первый раз подумал Юрий, и эта мысль вдруг вытеснила все остальные и вызвала на глаза влажность умиления своим новым чувством... Но в следующую минуту Юрий с озлобленной насмешкой уже спрашивал себя: «А почему я сам любил других женщин прежде нее?.. Правда, я не знал еще о ее существовании, но ведь и Рязанцев не знал о Ляле. И в свое время мы оба думали, что та женщина, которой мы хотим обладать в настоящий момент, и есть „настоящая“, самая нужная и подходящая нам. Мы ошибались, но, может быть, ошибаемся и теперь!.. Значит, или хранить вечное целомудрие, или дать полную свободу себе... и женщине, конечно, наслаждаться любовью и страстью... Впрочем, что ж я, — с облегчением перебил себя Юрий, — Рязанцев... не то скверно, что он любил, а то, что он и теперь продолжает пользоваться несколькими женщинами, а я нет...»

Эта мысль наполнила Юрия чувством гордости и чистоты, но только на мгновение, а в следующую минуту он опять вспомнил о чувстве, охватившем его при видении тысяч пронизанных солнцем гибких и чистых девушек, и смутился в полном бессилии овладеть собой и справиться с хаосом чувств и мыслей.

Юрий почувствовал, что ему неудобно лежать на правом боку, и с неловким усилием повернулся.

«В сущности, — подумал он, — все женщины, каких я только знал, не могли бы меня удовлетворить на всю жизнь... Значит, то, что я называл настоящей любовью, неосуществимо, и мечтать о ней просто глупо!..»

Юрию стало неловко и на левом боку, и, путаясь вспотевшим липким телом в сбившейся горячей простыне, он перевернулся опять. Было жарко и неудобно. Начинала болеть голова.

«Целомудрие — идеал, но человечество погибло бы при осуществлении этого идеала, — неожиданно пришло ему в голову, — значит, это нелепость. А... тогда и вся жизнь — нелепость!» — с такой злобой стискивая зубы, что перед глазами завертелись золотые круги, почти вслух сказал Юрий.

И до самого утра, лежа в тяжелой и неудобной позе, с тупым отчаянием в душе, Юрий ворочал похожие на камни тяжелые и противоречивые мысли.

Наконец, чтобы выпутаться из них, он стал уверять себя, что он сам — дурной, излишне сладострастный и эгоистичный человек и его сомнения — просто скрытая похоть. Но это только еще тяжелее придавило душу, подняло в мозгу сумбур самых разнообразных представлений, и мучительное состояние разрешилось наконец вопросом:

— Да с какой стати я себя так мучаю, наконец?

И с чувством отвращения к самому процессу какого бы то ни было мышления, в тупой нервной усталости Юрий заснул.

XV

Ляля до тех пор плакала в своей комнате, уткнувшись лицом в подушку, пока не заснула. Утром она встала с больной головой и напухшими глазами.

Первой ее мыслью было то, что не надо плакать, потому что сегодня, к обеду, придет Рязанцев и ему будет неприятно, что у нее заплаканное некрасивое лицо. Но сейчас же она вспомнила, что все равно все кончено и нельзя больше любить, ощутила острое горе и жгучую любовь и опять заплакала.

— Какая гадость, какая мерзость! — прошептала Ляля, чувствуя, что задыхается от горьких, еще невыплаканных слез. — За что?.. За что?.. — твердила она, и в душе у нее была неисходная грусть о навеки ушедшем невозвратимом счастье.

Ей было удивительно и гадко, что Рязанцев мог так легко и постоянно лгать ей.

«И не он один, а значит, и все лгали, — с недоумением думала Ляля, — ведь все, решительно все радовались нашей свадьбе и говорили, что он хороший, честный человек! Нет, впрочем... они не лгали, а просто не считали этого... дурным... Какая гадость!»

И Ляле стало противно смотреть на привычную обстановку, напоминавшую людей, теперь противных ей. Она прислонилась лицом к стеклу окна и стала сквозь слезы смотреть в сад.

На дворе было пасмурно и шел редкий, но крупный дождь. Капли тяжело постукивали по стеклу и быстро сбегали вниз, а Ляле было трудно различить, когда слезы, а когда дождевые капли застилала перед нею сад. В саду было сыро, и повисшие мокрые листья были бледны и печально вздрагивали. Стволы деревьев почернели от воды, и мокрая трава забито прилегла к грязной земле.

И Ляле казалось, что вся ее жизнь несчастна, будущее безнадежно, прошедшее черно.

Горничная приходила звать ее пить чай, но Ляля долго не понимала ее слов. Потом, в

столовой, ей было стыдно, когда с ней заговаривал отец. Ей казалось, что он говорит с нею с особенной жалостью, что уже все знают, что ее грязно и гадко обманул любимый человек. Во всяком слове ей слышалась эта оскорбительная жалость, и Ляля ушла к себе. Она опять села к окну и, глядя в плачущий серый сад, стала думать:

«Зачем он лицемерил?.. Зачем так обидел?.. Значит, он не любит меня?.. Нет, Толя меня любит... и я его люблю! Так в чем же дело? Да, он обманул меня: он еще раньше любил каких-то других скверных женщин! И они любили его... Как я? — спросила себя Ляля с наивным и жгучим любопытством. — Вот вздор, какое мне теперь до этого дело! Ведь с ними он обманул меня, и теперь все кончено! Какая я бедная, несчастная!.. Ну нет, мне есть дело: он меня обманывал! Ну, а если бы признался? Все равно! Это гадко... он уже ласкал других, как меня, и даже больше... Это ужасно! Какая я несчастная...»

Вот лягушка по дорожке

Скачет, вытянувши ножки! —

мысленно пропела Ляля, глядя на маленький серый комочек, боязливо прыгавший через мокрую скользкую дорожку.

«Да, я несчастна, и все кончено! — опять подумала она, когда лягушка ускакала в траву. — Для меня это было так чудно, так хорошо, а для него старая привычная вещь... Потому-то он всегда избегал говорить о прошлом! Оттого мне казалось, что все время у него лицо такое, будто он что-то думает... Он думал: все это я знаю, все знаю, и что ты чувствуешь, знаю, и то, что сейчас сделает... А я-то!.. Как стыдно, как гадко... Никогда, никогда я уже не буду никого любить!»

Ляля заплакала и положила голову щекой на холодный подоконник, сквозь слезы наблюдая, в какую сторону идут тучи.

«А ведь Толя сегодня приедет обедать! — с испугом вдруг вспомнила она и вскочила с места. — Что же я ему скажу? Что надо говорить в таких случаях?»

Ляля раскрыла рот и уставилась в стену испуганными недоумевающими глазами.

«Надо спросить Юрия!» — вспомнила она и успокоилась.

«Милый Юрий! Какой он честный и хороший», — с нежными слезами на глазах подумала Ляля, и так же стремительно, не откладывая, как всегда все делала, пошла к Юрию.

Но там сидел Шафров и говорил о каких-то делах. Ляля с недоумением остановилась в дверях.

— Здравствуйте, — сказала она задумчиво.

— Здравствуйте, — поздоровался Шафров, — идите к нам, Людмила Николаевна... тут такое дело, что ваша помощь необходима.

Ляля, все с таким же недоумевающим лицом, покорно села к столу и машинально стала перебирать пальцами зеленые и красные брошюры, кучами наваленные повсюду.

— Видите ли, в чем дело, — поворачиваясь к ней с таким видом, точно ему предстояло объяснить ей что-то страшно запутанное и длинное, говорил Шафров. — Курские товарищи

находятся в крайне стесненном положении... надо им непременно помочь. Вот я придумал дать концерт... а?

При этой знакомой прибавке «а?» Ляля вспомнила, зачем она пришла, и взглянула на Юрия с доверием и надеждой.

— Отчего же, это очень хорошо... — машинально ответила она, удивляясь, что Юрий совсем не смотрит на нее.

После вчерашних Лялиных слез и собственных ночных дум Юрий чувствовал себя разбитым и не готовым отвечать Ляле. Он ожидал, что сестра придет за советами, и терялся в полном бессилии прийти к какому-нибудь удовлетворительному решению. Как он не мог отказаться от своих слов, разубедить Лялю и толкнуть ее обратно к Рязанцеву, так он не мог и нанести решительный удар ее наивному, птичьему счастью.

— Вот мы решили так, — продолжал Шафров, еще больше придвигаясь к Ляле, точно дело все усложнялось и запутывалось, — пригласим петь Санину и Карсавину... сначала они споют соло, потом дуэтом... У одной контральто, у другой сопрано, это будет красиво... Потом я сыграю на скрипке. Потом споет Зарудин, а Танаров будет аккомпанировать...

— Разве офицеры будут участвовать в таком концерте? — так же машинально, думая совсем о другом, спросила Ляля.

— О, будут! — замахал руками Шафров. — Только бы согласилась Санина, а они от нее не отстанут. Притом Зарудин рад петь где угодно, лишь бы петь. А это привлечет к нам офицеров, и мы сбор сделаем на славу...

— Карсавину пригласите, — посоветовала Ляля, с печальным недоумением глядя на брата. «Не может быть, чтобы он забыл, — думала она, — как же он может разговаривать об этом дурацком концерте, когда я...»

— Да ведь я же и говорю! — удивился Шафров.

— Ах, да, — слабо улыбнулась Ляля. — Ну... а Лида Санина... да, впрочем, вы говорили...

— Ну да, ну да, — кивнул головой Шафров. — Но кого бы еще, а?

— Не знаю, — рассеянно сказала Ляля, — у меня голова болит что-то.

Юрий быстро оглянулся на нее и со страданием отвернулся к книгам. С бледным личиком и большими потемневшими глазами, она показалась ему удивительно слабенькой и печальной.

«Ах, зачем, зачем я сказал ей это, — подумал он, — для меня-то самого это так неясно, и для всех это проклятый вопрос, а для ее маленькой души... Зачем я сказал!»

Он чуть не дернул себя за волосы.

— Барышня, — позвала из дверей горничная, — Анатолий Павлович приехали...

Юрий опять испуганно оглянулся на Лялю и, встретив ее остановившийся страдальческий взгляд, растерянно сказал Шафрову:

— Вы читали Чарльза Брэдли?..

— Читал. Мы вместе с Дубовой и Карсавиной читали. Любопытная вещь.

— Да... А разве они приехали?

— Да.

— Когда? — с тайным волнением спросил Юрий.

— Еще позавчера.

— Разве? — переспросил Юрий, прислушиваясь к тому, что делает Ляля. Ему было мучительно стыдно и страшно, точно он обманул Лялю.

Ляля постояла, потрогала что-то на столе и нерешительно пошла к двери.

«Что я наделал!» — с искренним чувством, прислушиваясь к ее необычным неровным шагам, подумал Юрий.

Ляля прошла в зал, чувствуя, что внутри ее все застыло в напряженно скорбном недоумении. Было похоже, точно она заблудилась в туманном лесу. По дороге она взглянула в зеркало и увидела там потемневшее больное лицо.

— Ну и пусть... пусть видит! — подумала она.

Посреди столовой стоял Рязанцев и говорил Николаю Егоровичу своим веселым барски самоуверенным голосом:

— Явление это, конечно, странное, но оно совершенно безвредно...

При звуках его голоса что-то вздрогнуло и оборвалось в груди Ляли. Увидев ее, Рязанцев круто оборвал речь, подошел к ней и так подал ей обе руки, точно хотел обнять, но чтобы это движение было заметно и понятно только ей одной.

Ляля снизу взглянула ему в лицо, и губы у нее вздрогнули. Она молча и с усилием высвободила свою руку и, пройдя в зал, отворила стеклянную дверь на балкон. Рязанцев со спокойным удивлением посмотрел ей вслед.

— Моя Людмила Николаевна изволит сердиться, — с шутливой важностью сказал он Николаю Егоровичу.

Николай Егорович захохотал.

— Ну что ж, идите мириться!

— Ничего не поделаешь! — комически вздохнул Рязанцев и вышел за Лялей на балкон.

Дождь все шел, и его тонкий водяной звук непрестанно стоял в воздухе. Но тучи, светлея и редая, уже расплывались вверху.

Прижавшись щекой к мокрому холодному дереву столба, Ляля выставила голову на дождь, и ее волосы сразу намокли.

— Моя принцесса гневается... Лялочка! — сказал Рязанцев и потянул ее к себе, прижимаясь губами к мокрым пахучим волосам.

И от этого прикосновения, такого знакомого и счастливого, все растаяло в груди Ляли, и, прежде чем она успела сообразить что-нибудь, руки ее, почти против воли, обвились вокруг крепкой шеи Рязанцева, и между долгими дурманящими поцелуями Ляля сказала:

— Я на тебя страшно сердита... ты гадкий!

И ей самой было странно, что ничего нет ни страшного, ни тяжелого, ни непоправимого, в

конце концов, какое ей дело! Лишь бы любить и быть любимой этим большим, красивым, с такой широкой грудью человеком.

Но за обедом ей было стыдно смотреть на Юрия, с недоумением поглядывавшего на сестру, и, улучив мгновение, Ляля умоляюще прошептала ему:

— Я гадкая...

Юрий криво улыбнулся. В глубине души он был рад, что все кончилось так благополучно, но старался развить в себе презрение к этой мещанской терпимости и мещанскому счастью. Он ушел к себе в комнату и почти до вечера просидел один, а когда к сумеркам посветлело и прояснилось небо, взял ружье и пошел на охоту, на то же место, где был вчера с Рязанцевым. О том, что произошло, Юрий старался не думать.

После дождя все болото ожило. Послышалась масса новых разнообразных звуков, и то там, то тут трава шевелилась, как живая, от скрытой в ней таинственной жизни. Лягушки дружно изо всех сил заливались на все голоса, какая-то птица выводила несложные скрипучие ноты, похожие на тррр... тррр... утки бойко кричали где-то близко, в мокрой осоке, но на выстрел не летели. Юрию и не хотелось стрелять. Он вскинул ружье на плечо и пошел домой, прислушиваясь и приглядываясь к хрустальным звукам и глубоким, то темным, то ярким краскам вечера.

«Хорошо, — думал он, — все хорошо, только человек безобразен».

Издали он увидел огонек на бахче и освещенные фигуры Кузьмы и того же Санина, сидевших возле самого огня.

«Что он тут, живет, что ли?» — с удивлением и любопытством подумал Юрий.

Кузьма что-то говорил и смеялся, размахивая рукой. Смеялся и Санин. Огонек, еще розовый, а не красный, как ночью, горел, как свечка, вверху мирно и мягко вызвездило небо. Пахло свежей землей и обрызнутой влагой травой.

Юрий почему-то боялся, чтобы его не заметили, и ему было грустно, что он не может пойти к ним, что между ними и им стоит что-то непонятное, как будто даже несуществующее, пустое, но совершенно неодолимое, как пространство, лишенное воздуха.

Он почувствовал себя совершенно одиноким. Мир, с его вечерними красками, огоньками, звездами, людьми и звуками, воздушный и светлый, стал отдельно от Юрия, маленького и темного внутри, как темная комната, в которой что-то томится и плачет. И чувство одинокой тоски так охватило его, что когда он проходил вдоль бахчи, сотни арбузов, белевших в сумерках, напоминали ему человеческие черепа, разбросанные по полю.

XVI

Лето развернулось, переполняясь теплом и светом, и казалось, что между сверкающим голубым небом и истомленной от зноя землей дрожит и струится золотая дымка. В горячем мареве, разомлев от жары и опустив неподвижные листья, сонно стояли деревья, и короткие жидкие тени беспомощно лежали в пыльной нагретой траве.

Но в комнатах было прохладно. Отсветы сада мягко зеленели на потолке, и странно живые, когда все застыло в знойном покое, легко колыхались на окнах гардины.

Распахнув белый китель, Зарудин медленно расхаживал из угла в угол и с особой, тщательно им выработанной ленивой небрежностью показывал крупные белые зубы, дымил папиросой. А Танаров, весь взмокший от поту, в одной рубашке и рейтузах, лежал на диване и украдкой озабоченно следил за ним маленькими черными глазками. Ему до зарезу нужны были пятьдесят рублей, но он уже два раза просил их у Зарудина и, не решаясь просить в третий раз, тоскливо ждал, когда Зарудин сам вспомнит.

Зарудин помнил, но в течение последнего месяца он проиграл семьсот рублей, и ему было жаль денег.

«За ним уже и так двести пятьдесят, — думал он, не глядя на Танарова и понемногу раздражаясь от жары и обиды, — странно, честное слово!.. Мы, конечно, в хороших отношениях, но как ему не стыдно все-таки... Хоть бы извинился, что много должен и тому подобное!.. Не дам!» — с жестокой радостью прибавил он мысленно.

Вошел денщик, маленький и веснушчатый, вываленный в пуху. Он криво и вяло остановился во фронт и, не глядя на Зарудина, сказал:

— Вашброд, дозвоьте доложить, что как их благородие требовали пива, так пиво все вышедши.

Зарудин с вспыхнувшим раздражением невольно взглянул на Танарова.

«Ну вот! — подумал он. — Черт его знает, это становится, наконец, невыносимо!.. Знает, что у меня свободного гроша нет, а выдумывает еще пиво!..»

— Водка опять же кончается, — прибавил солдат.

— Да, ну пошел к черту... Там у тебя два рубля остались, и купи, что нужно, — с возрастающей досадой отмахнулся Зарудин.

— Никак нет. Ничего не осталось.

— Как так, что ты врешь! — останавливаясь, возразил Зарудин.

— Так что их благородие приказали прачке отдать, так я рубль семь гривен отдал, а тридцать копеек на стол в кабинете положил, вашброд!..

— Ах, да... приторно небрежно, краснея и волнуясь, отозвался Танаров, — я вчера сказал... неловко, знаешь... Целую неделю баба ходит...

Красные пятна появились на твердо выбритых щеках Зарудина, и под их тонкой кожей недобро задвигались скулы. Он молча прошелся по комнате и вдруг остановился против Танарова.

— Послушай, — странно задрожавшим, остро-оскорбительным голосом проговорил он, — я попросил бы тебя не распоряжаться моими деньгами...

Танаров весь вспыхнул и пришел в движение.

— Гм, странно... такие пустяки... — оскорбленно пробормотал он, пожимая плечами.

— Дело не в пустяках, — с жестоким удовольствием, точно мстя ему за что-то, возразил Зарудин, — а в принципе... С какой стати, скажи, пожалуйста!

— Я... — начал было Танаров.

— Нет уж, я тебя попрошу! — настойчиво, тем же угнетающим тоном перебил Зарудин. —

Наконец, ты мог бы мне сказать... А это крайне неудобно!

Танаров беспомощно пошевелил губами и потупился, перебирая задрожавшими пальцами перламутровый мундштучок. Зарудин еще немного подождал ответа, потом круто повернулся и, звеня ключом, полез в стол.

— На, купи что нужно... — сердито, но уже спокойнее сказал он солдату, подавая сто рублей.

— Слушаю, — ответил солдат и, повернувшись налево кругом, вышел.

Зарудин медленно, с чувством щелкнул ключами шкатулки и задвинул ящик. Танаров мельком взглянул на эту шкатулку, где лежали нужные ему пятьдесят рублей, проводил их робкими грустными глазами и, вздохнув, скромно стал закуривать папиросу. Ему было страшно обидно, и в то же время он боялся выразить эту обиду, чтобы Зарудин не рассердился еще больше.

— Ну что ему два рубля... — думал он, — ведь знает, как мне нужны деньги.

Зарудин ходил по комнате, и сердце еще дрожало у него от раздражения, но понемногу он стал успокаиваться, а когда денщик принес пиво, Зарудин сам с наслаждением выпил стакан ледяной пенистой влаги и, обсасывая кончики усов, заговорил, как будто ничего не случилось:

— А вчера у меня опять Лидка была... интересная, брат, девка!.. Огонь!..

Танаров обиженно молчал.

Зарудин, не замечая, медленно прошелся по комнате, и глаза у него оживленно смеялись каким-то воспоминаниям. Здоровое сильное тело млело от жары, и горячие возбуждающие мысли подмывали его. Вдруг он громко, точно коротко заржав, засмеялся и остановился.

— Ты знаешь... вчера я хотел... — выговорил он специальное грубое и страшно унижительное для женщин слово, — так она сначала на дыбы встала... знаешь, у нее такой гордый огонек в глазах иногда появляется...

Танаров, чувствуя, как быстро и жадно напрягается его тело, невольно распустил лицо в липкую возбужденную улыбку.

— А потом так... что меня самого чуть судороги не схватили! — вздрагивая от невыносимо острого воспоминания, закончил Зарудин.

— Везет тебе, черт возьми! — завистливо вскрикнул Танаров.

— Зарудин, дома? — закричал с улицы громогласный голос Иванова. — Можно к вам?

Зарудин вздрогнул от неожиданности и, как всегда, испугался, не слышал ли кто-нибудь его рассказ о Лиде Саниной. Но Иванов кричал через забор из переулка, и его даже не было видно.

— Дома, дома! — крикнул Зарудин в окно.

В передней послышались голоса и смех, точно туда ввалилась целая толпа народу. Пришли Иванов, Новиков, ротмистр Малиновский, еще два офицера и Санин.

— Ур-ра! — оглушительно закричал Малиновский, косо переступая порог и блеснув багрово-красным лицом, с вздрагивающими налитыми щеками и пушистыми усами, похожими на два снопа ржи. — Здорово, ребята!..

— Эх, черт... опять четвертной выскочит! — с досадой, от которой у него мигнули глаза, подумал Зарудин. Но он больше всего на свете боялся, как бы кто-нибудь не подумал, что он не самый щедрый, компанейский и богатый человек, и потому, широко улыбаясь, крикнул:

— Откуда вы такой компанией? Здорово!.. Эй, Черепанов!.. Тащи водки и еще там!.. Сбегай в клуб, скажи, чтобы прислали ящик пива... Пива хотите, господа?.. Жарко!

Когда появились водка и пиво, шум усилился. Хохотали и гоготали, охваченные буйным весельем, пили и кричали все. Только Новиков был мрачен, и на его, всегда мягком и ленивом, лице вспыхивало что-то недоброе.

Вчера он узнал то, что до сих пор оставалось для него неизвестным, хотя уже весь город говорил об этом, и чувство невыносимой обиды и острого ревнивого унижения в первую минуту ошеломило его.

«Не может быть! Вздор, сплетни!» — подумал он сначала, и его мозг отказывался представить себе гордую, недоступно прекрасную Лиду, в которую он был так чисто, с таким благоговением влюблен, в безобразно грязной близости к Зарудину, которого он всегда считал бесконечно ниже и глупее себя. Но потом дикая животная ревность поднялась со дна души и заслонила все. Была минута горького отчаяния, а потом страшной, почти стихийной ненависти и к Лиде, и главным образом к Зарудину. Это чувство было так непривычно для его мягкой вялой души, что оно оказалось непереносимым и требовало исхода. Всю ночь он пробыл на болезненной границе мучительной жалости к себе и темной мысли о самоубийстве, а к утру как-то застыл, и странное, зловещее желание увидеть Зарудина одно осталось в нем.

Теперь, под выкрики шумных и пьяных голосов, он сидел в стороне, машинально и много пил пива и каждым атомом своего напряженного существа следил за всяким движением Зарудина, точно зверь, встретившийся в лесу с другим зверем, уже присевший для прыжка, но притворяющийся, что ничего не видит.

Все — и улыбка, с показыванием белых зубов, и красота, и смех, и голос Зарудина — било острыми толчками во что-то болезненное, что составляло, казалось, все существо Новикова.

— Зарудин, — сказал длинный и худой офицер, с непомерно длинными, болтающимися перед корпусом руками, — я тебе книгу принес...

И сквозь шум и гвалт Новиков сейчас же услышал имя Зарудина и его голос, точно все молчали, а он один говорил:

— Какую?

— Толстого «О женщинах», — с гордостью, но как рапорт отчетливо, ответил длинный офицер, и по его бесцветному длинному лицу было видно, что он рад, что читает Толстого и говорит о нем.

— А вы Толстого почитываете? — спросил Иванов, подметив это гордое и наивное выражение.

— Фон Дейц — толстовец! — пояснил пьяный Малиновский и захохотал.

Зарудин взял тонкую красную брошюрку, перевернул несколько страниц и спросил:

— Интересно?

— А вот увидишь! — захлебываясь от восторга, ответил фон Дейц. — Это, я тебе доложу, голова!.. Кажется, что сам все знаешь...

— А зачем... Виктору Сергеевичу читать Толстого, когда его собственные взгляды на женщин вполне определены... — негромко проговорил Новиков, не подымая глаз от стакана.

— Из чего вы это заключаете? — осторожно спросил Зарудин, инстинктивно почувствовав нападение, но еще не догадываясь о нем.

Новиков помолчал. Все в нем рвалось закричать, ударить в лицо, в красивое, самодовольное лицо Зарудина, сбить его с ног и топтать в диком порыве жестокой, выпущенной на волю злобы. Но слова не шли у него с языка, и, сам чувствуя, что говорит не то, что надо, и еще больше страдая и безумея от этого сознания, Новиков криво усмехнулся и сказал:

— Достаточно на вас посмотреть... чтобы заключить! Странный зловещий звук его голоса прорезал общий шум, сразу все стихло, как перед убийством. Иванов догадался, в чем дело.

— Мне кажется... — слегка изменяясь в лице, но сразу овладевая собой, точно сев на знакомого коня, холодно начал Зарудин.

— Ну, господа, господа... Что там еще! — закричал Иванов.

— Оставь их, пускай подерутся! — улыбаясь, возразил Санин.

— Мне не кажется, а это так и есть... — все не подымая головы от стакана и все тем же тоном продолжал Новиков.

Но живая стена криков, махания руками неестественно широко смеющихся лиц и уговоров встала между ними. Зарудина оттеснили фон Дейц и Малиновский, Новикова — Иванов и другой офицер. Танаров начал наливать стаканы и что-то кричать, ни к кому не обращаясь. Поднялась фальшивая, притворно веселая суета, и вдруг Новиков почувствовал, что у него уже нет силы продолжать. Он нелепо кривил губы в улыбку, оглядывался на занимающих его разговорами Иванова и офицера и растерянно думал:

— Что же это я... надо бить!.. Прямо подойти и ударить!.. Иначе я останусь в глупом положении, все уже догадались, что я искал ссоры...

Но вместо того он с притворным интересом уже слушал, что говорили Иванов и фон Дейц.

— Во взгляде на женщину я, знаете, с Толстым не совсем согласен... — самодовольно говорил офицер.

— Женщина — самка, и это прежде всего! — отвечал Иванов. — Среди мужчин хоть одного на тысячу еще можно найти такого, который заслужил название человека, а женщины... ни одной между ними!.. Голые, розовые, жирные, бесхвостые обезьяны, вот и все!

— Оригинально сказано! — с удовольствием заметил фон Дейц.

«И правда!» — горько подумал Новиков.

— Э, милый мой! — возразил Иванов, махнув рукой перед самым носом фон Дейца. — Скажите людям так: а я говорю вам, что всякая, которая посмотрит на мужчину с вожделением, уже прелюбодействует с ним в сердце своем... и весьма многие подумают, что слышат очень оригинальную вещь!..

Фон Дейц хрипло засмеялся, точно залаял лягавый пес, и с завистью посмотрел на Иванова. Насмешки он не понял, и ему было только завидно, что не он сказал так красиво.

Новиков неожиданно протянул ему руку.

— Что? — удивленно спросил фон Дейц, с любопытством и ожиданием глядя в протянутую ладонь.

Новиков не отвечал.

— Куда? — спросил и Санин.

Новиков опять промолчал. Он чувствовал, что еще минута — и рыдания, стеснявшиеся в груди, хлынут через край.

— Знаю я, что с тобой, плюнь! — сказал Санин.

Новиков взглянул на него жалкими глазами, губы у него задрожали, и, махнув рукой, он ушел, не попрощавшись. В нем ныло чувство тягостного бессилия, как у человека, не поднявшего тяжести, и, чтобы успокоить себя, Новиков подумал: «Ну, что ж... Что доказал бы я, побив морду этому мерзавцу? Вышла бы только мерзкая драка... Да и не стоило рук марать!»

Но чувство неудовлетворенной ревности и противного бессилия не проходило, и в глубокой тоске Новиков пришел домой, лег лицом в подушку и так пролежал почти весь день, мучась тем, что ничего другого сделать не может...

— Хотите в макао? — спрашивал Малиновский.

— Вали! — согласился Иванов.

Денщик расставил ломберный столик, и зеленое сукно весело засмеялось в глаза. Сосредоточенное оживление охватило всех, и Малиновский, твердо стучая короткими волосатыми пальцами, стал метать. Пестрые карты ловко, правильными кругами разлетались по зеленому столику, серебряные рубли с звенящим стуком раскатывались с табло на табло и, как жадные пауки, заходили во все стороны пальцы, подбирающие деньги. Слышались только короткие слова и однообразные восклицания как бы заученной досады и удовольствия. Зарудину не повезло. Он упрямо ставил на круг по пятнадцати рублей, и каждый раз били комплект. На его красивом лице выступили зловещие пятна беспредметного раздражения. В течение последнего месяца он проиграл уже семьсот рублей и теперь не хотел даже проверять своего проигрыша. Настроение его сообщилось и другим. Фон Дейц и Малиновский обменялись резкостями.

— Я ставил на крылья, — раздраженно, но сдержанно говорил фон Дейц, искренно удивляясь, что пьяный и грубый Малиновский смеет спорить с ним, умным и порядочным фон Дейцем.

— Что вы мне толкуете! — грубо крикнул Малиновский. — Кой черт!.. Когда я бью, говорят на крылья, а когда даю...

— То есть позвольте! — дурно выговаривая по-русски, как всегда, когда волновался, закипятился фон Дейц.

— Ничего не позволю... Возьмите обратно... Да нет, возьмите!..

— А я вам говорю! — тоненьким голосом закричал фон Дейц.

— Господа! Это черт знает что такое! — вдруг вспыхнул Зарудин, швыряя карты.

Но он сейчас же испугался и своего резкого крика, и пьяных растерзанных людей, и карт, и бутылок — всей обстановки грубого армейского кутежа, потому что в дверях увидел новое лицо.

Высокий, тонкий господин, в просторном белом костюме и очень высоких тугих воротничках, с удивлением остановился на пороге, глазами отыскивая Зарудина.

— Ах, Павел Львович!.. Какими судьбами! — весь красный, воскликнул Зарудин, поспешно вставая навстречу.

Господин нерешительно вступил в комнату, и прежде всего все невольно заметили его совершенно белые ботинки, шагнувшие в болото пивных луж, пробок и растоптанных окурков. И весь он был такой белый, чистенький и надушенный, что среди облаков табачного дыма и пьяных красных людей походил бы на лилию в болоте, если бы не был так беспомощно тонок издерганно ловок и если бы у него не было маленького, с дурными зубками и тонкими усиками лица.

— Откуда вы?.. Давно из Питера? — с излишней суетливостью и пугливо соображая, ничего ли, что он сказал «Питер», говорил Зарудин, крепко пожимая его руку.

— Вчера только приехал, — ответил наконец белый господин, и голос у него был самоуверенный, но жидкий, как придушенный петуший крик.

— Мои сослуживцы, — представлял Зарудин: — Фон Дейц, Малиновский, Танаров, Санин, Иванов... Господа, Павел Львович Волошин.

Волошин слегка кланялся.

— Будем знать, — к ужасу Зарудина, ответил пьяный Иванов.

— Сюда, Павел Львович... Хотите вина, или, может быть, пива? Волошин осторожно уселся в кресло и томно забелел на его клеенчатой грубой обивке.

— Я на одну секунду... не беспокойтесь! — с брезгливым холодком ответил он, оглядывая компанию.

— Нет, как же можно... Я велю подать белого... Вы, кажется, любите...

Зарудин выскочил в переднюю.

«Надо же было этой сволочи именно сегодня притесаться! — с досадой подумал он, приказывая денщику сходить за вином. — Этот Волошин всем знакомым в Питере такого наговорит, что в порядочный дом не пустят потом!»

Между тем Волошин, не скрываясь, точно он чувствовал себя слишком неизмеримо выше всех, продолжал рассматривать компанию. Взгляд его стеклянно-острых глазок был откровенно любопытен, как будто ему показывали каких-то странных зверьков. Рост, явная сила костистых плеч и костюм Санина привлекли его внимание.

«Интересный тип... сила, должно быть!» — с искренним расположением, которое все маленькие и слабые люди испытывают к большим и сильным, подумал он и хотел заговорить.

Но Санин, опершись грудью на подоконник, смотрел в сад.

Волошин поперхнулся начатым словом, и жидкий оборванный звук собственного голоса оскорбил его.

«Хулиганы какие-то!» — подумал он.

В это время вернулся Зарудин.

Он уселся рядом с Волошиным и стал расспрашивать его о Петербурге и заводе Волошина, чтобы дать понять окружающим, какой богатый и значительный человек этот гость. И на его красивом лице большого сильного животного отразилось выражение маленького странного самодовольства.

— Все по-прежнему, как видите, — небрежно говорил Волошин. — А вы как?..

— Что ж я!.. Прозябаю! — сказал Зарудин и грустно вздохнул. Волошин молчал и презрительно смотрел на потолок, по которому неслышно ходили зеленые отсветы сада.

— У нас тут одно развлечение всегда! — продолжал Зарудин, широким жестом ловко захватывая в одно и бутылки, и карты, и своих гостей.

— Да-а... — неопределенно протянул Волошин, и в его тоне Зарудину послышалось: «Сам-то ты что!»

— Ну, однако, мне пора... Я остановился здесь в гостинице на бульваре. Мы, конечно, еще увидимся? — заговорил Волошин, меняя тон и вставая.

Как раз в эту минуту вошел денщик, вяло установился во фронт и сказал:

— Вашброд, барышня пришли...

— Что? — вздрогнув, переспросил Зарудин.

— Так точно.

— Ах, да... я знаю... — быстро и неловко бегая глазами, заговорил Зарудин, чувствуя, как мгновенное предчувствие чего-то дурного кольнуло его в сердце.

«Неужели Лидка?» — с изумлением подумал он.

Глаза Волошина вспыхнули жадным и любопытным огоньком, и его щедедушное тело все задвигалось под белым просторным костюмом.

— Да... Ну до свиданья! — осклабляя рот, выразительно заговорил он. — А вы все тот же!..

Зарудин криво и самодовольно и озабоченно улыбнулся. Провожаемый Зарудиным, Волошин быстро вышел вон, мелькая белыми ботинками и острым оком выглядывая вокруг. Зарудин вернулся.

— Ну, господа... Как же карты?.. Танаров, закладывай за меня, а я сейчас... — торопливо и все мелькая глазами, заговорил он.

— Вре!.. — отозвался уже совершенно пьяный, быкообразный Малиновский. — Мы еще поглядим, какая там барышня!

Но Танаров взял его за плечи и силой посадил за стол. Остальные поспешно рассаживались, почему-то стараясь не смотреть на Зарудина. Санин тоже сел, серьезно посмеиваясь.

Он догадался, что к Зарудину пришла Лида, и смутное чувство ревнивой жалости к красивой и теперь уже, очевидно, несчастной сестре возникло в нем.

На кровати Зарудина как-то боком сидела Лида Санина, растерянно дергала и мяла платок.

Даже Зарудина поразила происшедшая в ней перемена: от гордой, изящной и сильной девушки не осталось и следа, перед ним сидела сутулая, растерянная и болезненно слабая женщина. Лицо ее осунулось, побледнело, и темные глаза тревожно бегали по сторонам.

Когда вошел Зарудин, темные глаза быстро поднялись на него и опустились, и инстинктивно Зарудин почувствовал, что она боится его. Совершенно неожиданно злоба и раздражение до судорог поднялись в нем. Он крепко запер дверь и совсем не так, как прежде, грубо и прямо подошел к ней.

— Ты удивительная особа, — едва владея собой и почему-то чувствуя жгучее желание ее ударить, заговорил он, — у меня полные комнаты народу... брат твой тут... Точно нельзя было выбрать другого времени... Это черт...

Темные глаза поднялись со странным вспыхнувшим выражением, и, как всегда, Зарудин испугался своей резкости, угодливо показал белые зубы и, взяв Лиду за руку, сел рядом.

— Ну, да впрочем, все равно, я ведь за тебя боюсь... я рад, я соскучился за тобой...

Зарудин поднял и выше перчатки поцеловал ее слегка влажную и горячую руку с тонким изящным запахом.

— Это правда? — с непонятным ему выражением произнесла Лида и опять подняла на него глаза, говорившие: правда ли, что ты любишь меня? Ты видишь, какая я теперь бедная, несчастная... совсем не такая, как прежде... я боюсь тебя и угадываю весь ужас своего унижения, но больше мне не на кого опереться...

— А ты сомневаешься? — неуверенно возразил Зарудин, и легкая струйка холода, тяжелая для него самого, потянула от этих слов. Он опять поднял ее руку и поцеловал.

Странная и сложная путаница чувств и мыслей была в нем. Еще два дня тому назад, на этой самой белой подушке, были разметаны темные волосы Лиды, извивалось в припадке страсти ее гибкое, горячее и упругое тело, горели губы и обдавали все его существо темным огнем невыносимого наслаждения. В то мгновение весь мир, тысячи женщин, все наслаждения и вся жизнь соединялись для него в том, чтобы сладострастнее, нежнее и грубее, бесстыднее и жесточе истязать именно это горячее и требовательное, и покорное тело, и вдруг теперь он почувствовал, что она ему противна, что ему хочется уйти, оттолкнуть ее, не видеть и не слышать. Желание это было так велико и непримиримо, что даже сидеть здесь стало пыткой. Но в то же время темный, извивающийся и туда и сюда страх перед нею лишал его воли и придавливал к месту. Всем существом своим он сознавал, что ничем не связан, что обладал ею по ее согласию, ничего не обещая, дав ей то же, что получил, но вместе с тем ему казалось, что он бессильно и глубоко влип в какую-то вязкую цепкую массу, против которой не может бороться. Он ждал, что Лида чего-то потребует от него и он должен будет или согласиться, или сделает нечто гадкое, трудное и грязное. Зарудин почувствовал себя совершенно бессильным, точно из рук и ног его вынули все кости, а во рту вместо языка привесили мокрую тряпку. Это было обидно и возмущало. Хотелось крикнуть и сказать раз и навсегда, что она не имеет права ничего от него требовать, но вместо того у Зарудина трусливо замерло сердце, и он сказал глупость, ясную для него самого, неожиданную и вовсе не идущую к моменту:

— О, женщины, женщины, как сказал Шекспир...

Лида с испугом взглянула на него. И вдруг ее голову озарил яркий беспощадный свет. В один момент она поняла, что пропала: то огромное, чистое и великое, что она могла дать, было отдано ею человеку, которого не существовало. Прекрасная жизнь, невозвратимая чистота и

смелая гордость были брошены под ноги гаденькому и трусливому зверьку, не принявшему их с благодарностью за радость и наслаждение, а просто пакостившему их в актах темной тупой похоти. Был один миг, когда взрыв отчаяния едва не бросил ее на пол с бессильным рыданием и ломанием рук, но с болезненной быстротой отчаяние сменилось приливом мстительной острой злобы.

— Неужели вы не понимаете, как вы глупы! — резко и тихо, сквозь сдавленные зубы, выговорила она, вся вытягиваясь к его лицу.

Эти грубые слова и горящий злобный взгляд так были неожиданны в изящной и женственной Лиде, что Зарудин даже отодвинулся. Но он не понял всего значения этого взгляда и попытался свести все на шутку.

— Что за выражения! — удивленно и оскорбленно сказал он, делая большие глаза и высоко поднимая плечи.

— Мне не до выражений! — горько возразила Лида и беспомощно заломила руки.

— Ну зачем столько трагизма! — поморщившись, возразил Зарудин и с внезапно пробудившимся возбуждением бессознательно следил за выгибом ее круглых точеных рук и покатых плеч.

Этот жест отчаяния и беспомощности опять поднял в нем уверенность собственного превосходства.

Было похоже, как будто они стояли на весах, и когда опускался один, сейчас же подымался другой. И Зарудин с острым удовольствием почувствовал, что эта девушка, которую он бессознательно считал выше себя и которую инстинктивно боялся даже в минуты сладострастных ласк, играет теперь, по его понятию, жалкую и позорную роль. Это чувство было ему приятно и смягчило его. Зарудин нежно взял ее за опущенные безвольные руки и чуть-чуть потянул к себе, уже возбуждаясь и начиная горячее дышать.

— Ну полно... ничего ужасного не случилось!

— Вы думаете? — в иронии приобретая силу и глядя на него странно пристальным взглядом, спросила Лида.

— Ну конечно! — ответил Зарудин и попытался ее обнять особым, возбуждающе бесстыдным объятием, силу которого он знал.

Но от нее повеяло холодом, и руки его ослабели.

— Ну будет... чего разгневалась, моя кошечка! — с нежной укоризной проговорил он.

— Отстаньте от меня... Тут я... Отстаньте же!

Злым усилием Лида вывернулась из его рук. Зарудин физически обиделся за то, что порыв страсти его пропал даром. «Черт знает! — подумал он. — Свяжись с ними!..»

— Да что с тобой? — раздраженно спросил он, и красные пятна выступили у него на скулах.

И как будто этот вопрос что-то уяснил Лиде, она вдруг закрыла лицо руками и совершенно неожиданно для Зарудина залилась слезами. Она плакала совсем так, как плачут деревенские бабы: закрываясь руками, наклонившись всем телом вперед и протяжно всхлипывая. Длинные космы волос повисли вдоль мокрого лица, и стала она совсем некрасивой. Зарудин растерялся. Улыбаясь и боясь обидеть ее этой улыбкой, он попытался отнять ее руки от лица, но Лида упорно и прямо удерживала их и все плакала.

— Ах ты, Господи! — вырвалось у Зарудина.

Опять ему захотелось прикрикнуть на нее, дернуть за руку, сказать что-нибудь грубое.

— Да чего ты, собственно, реवेशь?.. Ну сошлась со мной... Ну? Вот горе! Да почему именно сейчас, что такое? Да перестань же! — визгливо крикнул он и дернул ее за руку.

Голова Лиды с мокрым лицом и распустившимися волосами дернулась от толчка, и она внезапно замолкла, опустив руки, сжавшись и с детским страхом глядя на него снизу вверх. Сумасшедшая мысль о том, что теперь всякий может ее бить, вдруг мелькнула у нее в голове. Но Зарудин снова ослабел и заговорил вкрадчиво и неуверенно:

— Ну, Лидочка... будет! Ты сама виновата... К чему эти сцены... Ну ты много потеряла, но зато и счастья было много... Никогда нам не забыть эти...

Лида опять заплакала.

— Да перестань же-е! — прокричал Зарудин.

Он прошелся по комнате, подергивая усы над вздрагивающими губами.

Было тихо, и за окном тихо качались, должно быть тронутые птицей, тонкие зеленые ветки. Зарудин с трудом овладел собой, подошел к Лиде и осторожно обнял ее. Но она сейчас же вырвалась и, угловато выворачивая локоть, нечаянно так ударила его в подбородок, что зубы отчетливо лязгнули.

— А, черт! — воскликнул Зарудин, обзлившись и от боли, и еще больше оттого, что лязганье было очень неожиданно и смешно.

Хотя Лида не заметила этого лязганья, но инстинктивно почувствовала Зарудина смешным и с женской жестокостью воспользовалась этим:

— Что за выражения! — передразнила она.

— Да ведь это хоть кого выведет из себя! — с трусливым негодованием возразил Зарудин. — Хоть бы, наконец, узнать, в чем дело!

— А вы не знаете? — с той же иронией протянула Лида. Наступило молчание, Лида упорно смотрела на него, и лицо ее горело. И вдруг Зарудин стал бледнеть быстро и ровно, точно серый налет извне покрывал его лицо.

— Ну, что ж вы?.. Что же вы молчите? Говорите что-нибудь, утешайте! — заговорила Лида, и голос ее перешел в истерический крик, испугавший ее саму.

— Я... — проговорил Зарудин, и нижняя губа его задрожала.

— Да, никто другой! К сожалению, вы! — почти прокричала Лида, задыхаясь от злых и отчаянных слез.

И с него, и с нее как бы сползал какой-то покров изящности, красоты и мягкости, и дикий растерзанный зверь все ярче выступал под ним.

Ряд комбинаций с быстротой молнии замелькал в голове Зарудина, точно стая юрких мышей набежала туда. И первая была та, чтобы немедленно развязаться с Лидой, дать ей денег, чтобы она устроила выкидыш, и покончить историю. Но хотя он считал это лучшим для себя и необходимым, Зарудин не сказал этого Лиде.

— Я, право, не ожидал... — пробормотал он.

— Не ожидал, — дико выкрикнула Лида. — А как смели не ожидать этого?

— Лида... я ведь ничего не... — проговорил Зарудин, боясь того, что хотел сказать, и чувствуя, что скажет.

И без слов Лида поняла его. Ужас отчаяния исказил ее красивое лицо. Она беспомощно опустила руки и села на кровать.

— Так что ж мне делать? — со странной задумчивостью проговорила она как бы сама себе.

— Утопиться, что ли?

— Н-ну... зачем же так...

— А знаете, Виктор Сергеевич, — вдруг проникновенно и пристально глядя ему в глаза, медленно произнесла Лида, — ведь вы даже и очень не прочь, чтобы я утопилась!

И в ее глазах и подергиваниях красивого рта было что-то такое печальное и страшное, что Зарудин невольно отвел глаза.

Лида встала. Вдруг ей стало страшно и противно, что она могла думать о нем, как о спасителе, о том, чтобы жить с ним всегда. Ей захотелось почему-то потрясти рукой, высказать ему свое презрение, отомстить за унижение, но она почувствовала, что если заговорит, то заплачет и еще больше унизит себя. Последняя гордость, остаток красивой и сильной прежней Лиды, удержала ее, и вместо того она сдавленно, но ясно и выразительно, неожиданно и для себя, и для Зарудина проговорила:

— Скотина!

И бросилась к двери, зацепившись и разорвав кружево рукава о ручку замка.

Вся кровь прилила в голову Зарудину. Если бы она крикнула «подлец, негодяй», он бы снес это совершенно спокойно, но слово «скотина» было так некрасиво и так противоречило тому представлению, которое создал о себе Зарудин, что он потерялся. Покраснели даже белки его красивых выпуклых глаз. Он растерянно улыбнулся, пожал плечами, застегнул и распахнул опять китель и почувствовал себя искренно несчастным.

Но одновременно где-то внутри его тела начало расти чувство свободы и радости, что так или иначе — все кончилось. Трусливая мысль подсказала ему, что такая женщина, как Лида, больше никогда не придет. На секунду ему стало досадно, что потеряна такая красивая и вкусная любовница, но он махнул рукой:

— А и черт с ней... мало ли их!

Он поправил китель, еще дрожащими губами закурил папиросу и, удачно вызвав на лице беззаботное выражение, вышел к гостям.

XVIII

Из игроков никто, кроме пьяного Малиновского, не занялся игрой.

Всем было остро любопытно, какая женщина и зачем пришла к Зарудину. Тем, которые догадывались, что это Лида Санина, бессознательно было завидно, и воображение их мешало играть, рисуя ее невиданную ими наготу и ее сближение с Зарудиным.

Санин недолго посидел за картами, встал и сказал:

— Не хочу больше. До свиданья.

— Пстой, друг, куда ты? — спросил Иванов.

— Пойду посмотрю, что там делается, — ответил Санин, ткнув пальцем в запертую дверь.

Все засмеялись его словам, как шутке.

— Будет паясничать! Садись, выпьем! — сказал Иванов.

— Сам ты — паяц! — равнодушно возразил Санин и ушел.

Выйдя в узенький переулок, где росла сочная и густая крапива, Санин сообразил, куда должны выходить окна квартиры Зарудина, осторожно придавливая крапиву ногами, добрался до забора и легко поднялся на него. Наверху он едва не забыл, зачем влез, так приятно было ему с высокого забора смотреть вниз на зеленую траву и густой сад и всеми напряженными от усилия мускулами ощущать свежий и мягкий ветерок, смягивший жар и свободно продувавший насквозь его тонкую рубаху.

Потом он спрыгнул вниз, попал в крапиву, с грустью почесал ужаленное место и пошел по саду. К окну он подошел в то время, когда Лида сказала:

— А вы не знаете?

И сейчас же по странному выражению ее голоса понял, в чем дело. Прислонившись плечом к стене, он смотрел в сад и с интересом слушал изменившиеся, расстроенные, возбужденные голоса. И ему было жаль красивую униженную Лиду, с прелестным обликом которой так не вязалось грубое, животное и тяжелое слово «беременна». Но больше, чем разговор его занимал странный и нелепый контраст между дикими и злыми голосами людей в комнате и светлой тишиной в зеленом саду, данном природой этим самым людям.

Белая бабочка, падая и взлетая, легко порхала над травой, купаясь в солнечном воздухе, и Санин так же внимательно следил за ее полетом, как и за тем, что слышал.

Когда Лида крикнула: «Скотина!» — Санин весело засмеялся, оттолкнулся всем телом от стены и, уже не думая о том, что его могут увидеть из окна, медленно пошел по саду.

Ящерица, торопливо перебежавшая ему дорогу, привлекла его внимание, и Санин долго следил за ее гибким травяным тельцем, ловко скользившим в зеленых бурьянах.

XIX

Лида пошла не домой, а в противоположную сторону.

Улицы были пусты, и жаркое марево струилось в воздухе. Короткие тени лежали под самыми заборами и стенами, уничтоженные торжествующим зноем.

Только по привычке закрывшись зонтиком и не замечая, жарко или холодно, светло или темно, Лида быстро шла вдоль заросших пыльной травой заборов и, опустив голову, сухими блестящими глазами смотрела под ноги. Изредка навстречу ей попадались равнодушные, пыхтящие, разваренные жаром люди, но их было мало, и летняя послеобеденная тишина стояла над городом.

Какая-то белая собачонка, торопливо и осторожно приносиваясь к ее юбке, увязалась за Лидой, озабоченно пробежала вперед, оглянулась и помахала хвостиком, утверждая, что они идут вместе. На повороте стоял мальчик, маленький, уморительно толстый, в рубашонке, хвостиком высывающейся сзади из панталон, и, напружинив измазанные бузиной щеки, отчаянно пищал в стручок.

Лида помахала рукой собачке, улыбнулась мальчугану, но все это скользило по поверхности сознания, а душа ее была замкнута. Темная сила, отрезавшая ее от всего мира, быстро несла ее, одинокую и мертвую, мимо зелени, солнца и радости жизни все дальше и дальше, к черной дыре, близость которой уже ощущала она в холодной и вялой тоске, залегшей у сердца.

Мимо проехал знакомый офицер и, увидав Лиду, заставил прыгать и поджиматься свою рыжую, чуть вспотевшую лошадь, на гладкой шерсти которой солнце клало кованые золотые блики.

— Лидия Петровна, — крикнул он веселым звонким голосом, — куда вы в такую жару?

Лида бессознательно скользнула по его маленькой фуражке, ухарски заломленной над потным, наполовину красным, наполовину белым лбом, и промолчала, только по привычке кокетливо улыбнувшись.

И в этот момент с недоумением спросила себя:

— Куда же теперь?

У нее не было ни злобы, ни думы о Зарудине. Когда, сама не зная зачем, она пошла к нему, ей казалось, что нельзя жить и невозможно разрешить своего горя без него, но теперь он просто исчез из ее жизни. Все это было и умерло, а то, что осталось, касается только ее и ею одной должно быть разрешено.

Быстро и лихорадочно отчетливо заработала ее мысль. Самое ужасное было то, что гордая и прекрасная Лида исчезнет, а вместо нее останется маленькое, загнанное, напаскудившее животное, над которым все будут издеваться и которое будет совершенно беспомощно перед сплетнями и плевками. Надо было сохранить свою гордость и красоту, уйти от грязи туда, куда бы уже не могла дохлестнуть ее липкая волна.

И как только Лида уяснила это себе, сейчас же почувствовала, что вокруг пустота, что свет солнца, жизнь и люди уже не для нее, что она одинока среди них, что некуда идти и надо умереть, утопиться.

Это представилось ей так законченно ясно, как будто каменный круг сомкнулся между нею и всем, что было и что могло быть. На мгновение исчезло даже то противное и ужасное своей ненужностью и неотвратимостью ощущение внутри себя чего-то еще непонятного, но уже разбившего ее жизнь, которое она не переставала чувствовать с того момента, как догадалась о своей беременности.

Вокруг образовалась легкая бесцветная пустота, в которой воцарилась безразличность смерти.

«Как это, в сущности, просто!.. И не надо больше ничего!» — подумала Лида, оглядываясь кругом и ничего не видя.

Лида разом прибавила шагу, и ей все казалось нестерпимо медленно, хотя она уже не шла, а почти бежала, путаясь в широкой модной юбке.

«Вот этот дом, а там еще один, с зелеными ставнями, а потом пустырь...»

Реки, моста и того, что должно там произойти, Лида себе не представляла. Было какое-то туманное пустое пятно, в котором все окончится.

Но такое состояние продолжалось только до тех пор, пока Лида не взошла на мост. А когда она остановилась у перил и внизу за ними увидела мутную зеленоватую воду, сразу исчезло ощущение легкости, и все существо ее переполнилось тяжелым страхом и цепким желанием жить.

И сейчас же она снова услышала звуки голосов, чириканье воробьев, увидела солнечный свет, белую ромашку в кудрявой зелени берега, беленькую собачонку, окончательно решившую, что Лида — ее законная госпожа. Эта собачонка уселась против Лиды, поджав переднюю лапку, и умильно вертела по земле белым хвостиком, оставляя на песке забавные иероглифы.

Лида пристально посмотрела на нее и чуть не схватила ее в страстные отчаянные объятия. Крупные слезы выступили у нее на глазах. И чувство жалости к своей погибающей милой и красивой жизни было так велико, что у Лиды закружилась голова, и она судорожно облокотилась на горячие от солнца перила. При этом движении она уронила в воду перчатку и с непонятным немым ужасом следила за ней глазами.

Перчатка, быстро кружась, полетела в воду и неслышно упала на ее ровную сонную поверхность. К берегам пошли быстрые расширяющиеся круги, и Лиде было видно, как потемнела, намокая, светло-желтая перчатка и медленно погрузилась в темную зеленоватую глубину. Странно, точно в тоскливой агонии, она повернулась раз и другой и стала погружаться медленными кругообразными движениями. Лида, напрягая зрение, старалась не потерять ее из виду, но желтое пятно все меньше и меньше виднелось в зеленоватой темноте воды, мелькнуло еще раз, и другой, и тихо, беззвучно исчезло. По-прежнему перед глазами Лиды была одна ровная, сонная и темная глубина.

— Как же это вы, барышня! — сказал возле женский голос.

Лида с испугом отшатнулась и взглянула в лицо толстой курносой бабы, смотревшей на нее с любопытством и сожалением.

И хотя это сожаление относилось только к утонувшей перчатке, Лиде показалось, что толстая добродушная баба знает и жалеет ее, и на мгновение пришла в голову мысль, что если бы рассказать все, то стало бы легче и проще. Но как бы раздвоившись в эту минуту, Лида сознавала, что это невозможно. Она покраснела, заторопилась и, пробормотав: «Ничего...» — поспешно и неровно, как полупьяная, пошла с моста.

«Здесь нельзя... вытащат...» — мелькало в холодно опустевшей голове Лиды.

Она прошла вниз и повернула налево по берегу, по узкой дорожке, протоптанной в крапиве, ромашке, лопухах и горько пахнущей полыни, между рекой и заросшим плетнем какого-то сада.

Здесь было тихо и мирно, как в деревенской церкви. Вербы, опустив тонкие ветки, задумчиво смотрели в воду; солнце пятнами и полосами пестрило зеленый крутой берег; широкие лопухи тихо стояли в высокой крапиве, а цепкие репяхи легко цеплялись за широкие кружева Лидиной юбки. Какая-то кудрявая, высокая, как деревцо, трава осыпала ее мелкой белой пылью.

Теперь Лида уже заставляла себя идти туда, куда шла, вопреки могучей внутренней силе, боровшейся с ней.

«Надо, надо, надо, надо...» — повторяла Лида в глубине души, и ноги ее, точно на каждом

шагу разрывая какие-то тягучие путы, с трудом несли ее все дальше и дальше от моста, к тому месту, которое вдруг почему-то нарисовалось Лиде, как конец пути.

И когда она пришла туда и под тонкими спутанными прутьями лозняка увидела черную холодную воду, быстро огибавшую нависший берег, Лида поняла, как ей хочется жить, как страшно умирать и как все-таки она умрет, потому что ей нельзя жить. Она, не глядя, бросила оставшуюся перчатку и зонтик на траву и свернула с дорожки прямо по густым бурьянам.

В одну эту минуту Лида вспомнила и почувствовала необъятно много: на самом дне ее души, давно забытая и забитая новыми мыслями, детская вера с наивной мольбой и страхом повторяла: «Господи, спаси... Господи, помоги...» — откуда-то вынырнул мотив арии, который она недавно разучивала с роялем, и весь целиком промелькнул у нее в голове; вспомнила она Зарудина, но не остановилась на нем; лицо матери, в это мгновение бесконечно ей дорогое и милое, мелькнуло перед нею, и именно это лицо толкнуло ее к воде. Никогда ни прежде, ни после того Лида не понимала с такой ясностью и глубиной, что мать и другие люди, любившие Лиду, в сущности, любили не ее, такую, как она была, с ее пороками и желаниями, а то, что им хотелось видеть в ней. И теперь, когда она обнажилась и сошла с дороги, которая, по их мнению, была единственной для нее, именно эти люди, и больше всех мать, тем больше, чем сильнее любили прежде, должны были ее истязать.

Потом все спуталось, как в бреду: и страх, и желание жить, и сознание неизбежности, и недоверие, и уверенность в том, что все кончено, и надежда на что-то, и отчаяние, и мучительное для нее признание места, где она умирала, и человек, похожий на ее брата, быстро перелезавший к ней через плетень.

— Ничего глупее придумать не могла! — крикнул Санин, запыхавшись.

По не уловимому человеческим мозгом сцеплению мыслей и побуждений, Лида пришла именно к тому месту, где кончался сад Зарудина и где на полуразвалившемся плетне, в неудобной позе, скрытая от лунного света черною тенью деревьев, она когда-то отдалась Зарудину. Санин еще издали увидел и узнал ее и догадался, что она хочет сделать. Первым движением его было уйти и не мешать ей поступить как знает, но ее порывистые движения, очевидно произвольные и мучительные, заставили его сердце сжаться жалостью, и Санин бегом, прыгая через кусты и лавочки сада, кинулся к Лиде.

На Лиду голос брата подействовал со страшной силой: донельзя напрягшиеся в борьбе с собой нервы сразу ослабели, голова закружилась, и все плавным кругом сдвинулось с места. Лида уже не могла сообразить, где она, в воде или на берегу. Санин успел перехватить ее у самого края, и собственная ловкость и сила очень понравились ему.

— Вот так! — сказал он.

Потом отвел Лиду к плетню, посадил на перелаз и с недоумением оглянулся.

«Что ж мне теперь с нею делать?» — подумал он.

Но Лида сейчас же пришла в себя и, бледная, растерянная и слабая, точно надломленная, горько и неудержимо заплакала.

— Боже мой, Боже! — всхлипывая, как ребенок, проговорила она.

— Глупая ты! — нежно и жалостливо возразил Санин. Лида не слыхала его, но когда Санин сделал движение, она судорожно и крепко ухватилась за его руку и зарыдала еще громче.

«Что я делаю! — с ужасом подумала она. — Нельзя плакать, надо обратить все в шутку... он догадается!»

— Ну, чего ты страдаешь! — мягко глядя ее по плечам, говорил Санин, и ему было приятно говорить так ласково и нежно.

Лида робко, из-под края шляпы, совсем по-детски снизу вверх взглянула ему в лицо и притихла.

— Я ведь все знаю, — говорил Санин, — давно знаю... всю эту историю...

Хотя Лида знала, что многие догадываются о ее связи, но все-таки, как будто Санин ударил ее по лицу, дернулась от него всем своим гибким телом, и ее широко раскрытые, моментально высохшие глаза, с красивым ужасом прекрасного затравленного животного, скопились на брата.

— Ну, чего ты еще!.. Точно я тебе на хвост наступил! — добродушно усмехнулся Санин, с удовольствием взял ее за круглые мягкие плечи, пугливо дрожащие под его пальцами, и опять посадил на плетень, Лида покорно села в прежнюю надломленную позу.

— Что тебя, собственно, так огорчило? — спросил Санин. — То, что я все знаю? Так неужели же ты, отдавшись Зарудину, была такого скверного мнения о своем поступке, что даже боишься признаться в нем?.. Вот не понимаю!.. А то, что Зарудин не женился на тебе, так это и слава Богу. Ты и сама знаешь теперь... да и раньше знала, что это человек, хотя и красивый и для любви подходящий, но дрянной и подлый... Только и было в нем хорошего, что красота, но ею ты уже воспользовалась достаточно!

«Он мною, а не я... или и я... да!.. Господи, Господи!» — проносилось в горячей голове Лиды.

— Вот то, что ты беременна... — Лида закрыла глаза и глубоко втянула голову в плечи. — Это, конечно, скверно, — продолжал Санин мягким и негромким голосом, — во-первых, потому, что рожать младенцев — дело самое прескучное, грязное, мучительное и бессмысленное, а во-вторых, потому, и это главное, что люди тебя замучают... Лидочка, ты моя Лидочка! — с могучим приливом хорошего любовного чувства перебил сам себя Санин. — Никому ты зла не сделала, и если родишь хоть дюжину младенцев, то от этого никому, кроме тебя, беды не будет!

Санин помолчал, задумчиво покусывая ус и скрестив на груди руки.

— Я бы тебе сказал, что надо делать, но ты слишком слаба и глупа для этого... У тебя не хватит ни дерзости, ни смелости... Но и умирать не стоит. Посмотри, как хорошо... Вон как солнце светит, как вода течет... Вообрази, что после твоей смерти узнают, что ты умерла беременной; что тебе до того!.. Значит, ты умираешь не оттого, что беременна, а оттого, что боишься людей, боишься, что они не дадут тебе жить. Весь ужас твоего несчастья не в том, что оно — несчастье, а в том, что ты ставишь его между собой и жизнью и думаешь, что за ним уже нет ничего. А на самом деле жизнь остается такую, как и была... Ты не боишься тех людей, которые тебя не знают, а боишься, конечно, только тех, кто к тебе близок, и больше всего тех, которые тебя любят и для которых твое впадение, потому только, что оно произведено не на брачной кровати, а где-нибудь, в лесу на траве, что ли, будет ужасным ударом. Но они ведь не поступят перед тем, чтобы наказать тебя за грех твой, так что ж и тебе в них?.. Они, значит, глупы, жестоки и плоски, что же ты мучаешься и хочешь умереть ради глупых, плоских и жестоких людей?..

Лида медленно подняла на него спрашивающие большие глаза, и в них Санин увидел искорку понимания.

— Что же мне делать... что делать? — с тоской проговорила она.

— У тебя два исхода: или избавиться от этого ребенка, никому на свете не нужного; рождение

которого, кроме горя, ты сама видишь, никому в целом свете не принесет ничего...

Темный испуг показался в глазах Лиды.

— Убить существо, которое уже поняло радость жизни и ужас смерти — жестоко, убить же зародыш, бессмысленный комочек крови и мяса...

Странное чувство было в Лиде: сначала острый стыд, такой стыд, точно ее всю раздели донага и рылись грубыми пальцами в самых тайниках ее тела. Ей было страшно взглянуть на брата, чтобы они оба не умерли от стыда. Но серые глаза Санина не мигали, смотрели ясно и твердо, голос не дрожал и был спокоен, как будто произносил самые простые, ничем не отличающиеся от всяких других слова. И под неуклонностью этих слов стыд расплылся, потерял силу и как бы даже смысл. Лида увидела глубокое дно слов этих и почувствовала, что в ней самой нет уже ни стыда, ни страха. Тогда, испугавшись дерзкой мысли своей, она с отчаянием схватилась за виски, как крыльями испуганной птицы взмахнув легкими рукавами платья.

— Не могу... не могу я! — перебила она. — Может быть, это и так, может быть... но я не могу... это ужасно!

— Ну не можешь, ну что ж... — становясь перед нею на колени и тихо отрывая ее руки от лица, сказал Санин, — тогда будем скрывать... Я сделаю так, что Зарудин уедет отсюда, а ты... выйдешь ты замуж за Новикова и будешь счастлива... Я ведь знаю, что если бы не явился этот красивый жеребец офицер, ты полюбила бы Новикова... к тому шло...

При имени Новикова что-то светлое и милое ярким лучом промелькнуло в душе Лиды. Оттого, что Зарудин сделал ее такою несчастной и оттого, что она чувствовала, что Новиков не сделал бы, Лиде на одну секунду показалось, будто все это было простой и поправимой ошибкой и в ней ничего нет ужасного: сейчас она встанет, пойдет, что-то скажет, улыбнется, и жизнь опять развернется перед нею всеми своими солнечными красками. Опять ей можно будет жить, опять любить, только гораздо лучше, крепче и чище. Но сейчас же она вспомнила, что это невозможно, что она уже грязна, измята недостойным, бессмысленным развратом.

Необычайно грубое, мало ей известное и никогда не произносимое слово вынырнуло в ее памяти. Этим словом, как тяжелой пощечиной, она заклеимила себя с большим наслаждением, и сама испугалась.

«Боже мой... Но разве это так, разве я такая?.. Ну да, ну да... такая, такая... Вот тебе!..»

— Что ты говоришь! — с отчаянием прошептала она брату, мучительно стыдясь своего звучного и прекрасного, как всегда, голоса.

— А что же? — спросил Санин, сверху глядя на ее красивые спутанные волосы над склоненной белой шеей, по которой двигался легкий золотой налет солнечного света, проскользнувшего между листьями.

Ему вдруг просто стало страшно, что не удастся уговорить ее, и эта красивая, солнечная, молодая женщина, способная дать счастье многим людям, уйдет в бессмысленную пустоту.

Лида беспомощно молчала. Она старалась подавить в себе желанную надежду, которая, против воли, овладевала всем дрожащим телом ее. Ей казалось, что после всего случившегося стыдно не только жить, но даже желать жизни. Но могучее, полное солнца молодое тело отталкивало эти уродливые слабые мысли, точно яд, не желая признать своими калеченых недоносков.

— Что же ты молчишь? — спросил Санин.

— Это невозможно... Это было бы подло, я...

— Оставь ты, пожалуйста, этот вздор... — с неудовольствием возразил Санин.

Лида опять скосила на него полные слез и тайных желаний красивые глаза.

Санин помолчал, поднял какую-то веточку, перекусил ее и бросил.

— Подло, подло... — проговорил он. — Вон тебя страшно поразило то, что я говорил... А почему? Ни ты, ни я на этот вопрос определенного ответа не дадим... А если и дадим, то это будет не ответ! Преступление? Что такое преступление! Когда во время родов матери грозит смерть, разрезать на части, четвертовать, раздавить голову стальными щипцами уже живому, готовому закричать ребенку — это не преступление!.. Это только несчастная необходимость!.. А прекратить бессознательный, физиологический процесс, нечто, еще не существующее, какую-то химическую реакцию, — это преступление, ужас!.. Ужас, хотя бы от этого так же зависела жизнь матери, и даже больше чем жизнь — ее счастье!.. Почему так? Никто не знает, но все кричат браво! — усмехнулся Санин. — Эх, люди, люди... создадут вот так себе призрак, условие, мираж и страдают. А кричат: человек — великолепно, важно, непостижимо! Человек — Царь! Царь природы, которому никогда царствовать не приходится: все страдает и боится своей же собственной тени!

Санин помолчал.

— Да, впрочем, не в том дело. Ты говоришь — подло. Не знаю... может быть. Но только, если сказать о твоём падении Новикову, он перенесет жестокую драму, может быть, застрелится, но любить тебя не перестанет. И он будет сам виноват, потому что будет бороться с теми же самыми предрассудками, в которые официально не верит. Если бы он был действительно умен, он не придал бы никакого значения тому, что ты с кем-то спала, извини за грубое выражение. Ни тело твое, ни душа твоя от этого хуже не стали... Боже мой, ведь женился бы он на вдове, например! Очевидно, дело тут не в факте, а в той путанице, которая происходит у него в голове. А ты... Если бы человеку было свойственно любить один только раз, то при попытке любить во второй ничего бы не вышло, было бы больно, гадко и неудобно. А то этого нет. Все одинаково приятно и счастливо. Полюбишь ты Новикова... А не полюбишь, так... уедем со мной, Лидочка! Жить можно везде!..

Лида вздохнула, стараясь вытолкнуть изнутри что-то тяжелое. «А может быть, и вправду все будет опять хорошо... Новиков... он милый, славный и... красивый тоже... Нет, да... не знаю...»

— Ну, что было бы, если бы ты утопилась? Добро и зло не потерпело бы ни прибыли, ни убытка... Затянуло бы илом твой распухший, безобразный труп, потом тебя бы вытащили и похоронили... Только и всего!

Перед глазами Лиды заколыхалась зеленая, зловещая глубина, потянулись медленными змеобразными движениями какие-то осклизлые нити, полосы, пузыри, стало вдруг страшно и отвратительно.

«Нет, нет, никогда... Пусть позор, Новиков, все, что угодно, только не это!» — бледнея, подумала она.

— Вон ты как обалдела от страху! — смеясь, сказал Санин. Лида улыбнулась сквозь слезы, и эта собственная случайная улыбка, точно показав, что еще можно смеяться, согрела ее.

«Что бы там ни было, буду жить!» — со страстным и почти торжествующим порывом

подумала она.

— Ну вот, — радостно сказал Санин и встал порывисто и весело. — Ни от чего не может быть так тошно, как от мысли о смерти, но если и это плечи подымет, и не перестанешь слышать и видеть жизнь, то и живи! Так?.. Ну, дай лапку!

Лида протянула ему руку, и в ее робком, женственном движении была детская благодарность.

— Ну вот так... Славная у тебя ручка! Лида улыбнулась и молчала.

Не слова Санина подействовали на нее. В ней самой была огромная, упорная и смелая жизнь, и минута молчания и слабости только натянула ее, как струну. Еще одно движение — и струна бы порвалась, но движения этого не было, и вся душа ее зазвучала еще стройнее и звучнее дерзостью, жаждой жизни и бесшабашной силой. С восторгом и удивлением, в незнакомой ей бодрости, Лида смотрела и слушала, каждым атомом своего существа улавливая ту же могучую радостную жизнь, которая шла вокруг, в свете солнца, в зеленой траве, в бегущей пронизанной насквозь светом воде, в улыбающемся спокойном лице брата и в ней самой. Ей казалось, что она видит и чувствует в первый раз.

«Жить!» — оглушительно и радостно кричало в ней.

— Ну вот и хорошо, — говорил Санин, — я помогу тебе в борьбе в трудное время, а ты меня за это поцелуй, потому что ты красавица!

Лида молча улыбнулась, и улыбка была загадочная, как у лесной девы. Санин взял ее за талию и, чувствуя, как в его мускулистых руках вздрагивает и тянется упругое теплое тело, крепко и дерзко прижал ее к себе.

В душе Лиды делалось что-то странное, но невыразимо приятное: все в ней жило и жадно хотело еще большей жизни, не отдавая себе отчета, она медленно обвила шею брата обеими руками и, полузакрыв глаза, сжала губы для поцелуя. И чувствовала себя неудержимо счастливой, когда горячие губы Санина долго и больно ее целовали. В это мгновение ей не было дела до того, кто ее целует, как нет дела цветку, пригретому солнцем, кто его греет.

«Что же это со мной, — думала она с радостным удивлением, — ах, да... я хотела зачем-то утопиться... как глупо!.. Зачем?.. Ах, как хорошо... ну, еще, еще... вот я сама целую... Ах, как хорошо... и все равно кто... Только бы жить».

— Ну вот... — сказал Санин, выпуская ее. — Все, что хорошо, хорошо... и ничему больше не надо придавать значения!

Лида медленно поправляла волосы, глядя на него со счастливой и бессмысленной улыбкой. Санин подал ей зонтик и перчатку, и Лида сначала удивилась отсутствию другой, а потом вспомнила и долго тихо смеялась, припоминая, каким громадным и зловещим казалось ей ровно ничего не значащее утопление перчатки.

«И так все!» — думала она, идя с братом по берегу и подставляя выпуклую грудь горячему солнечному свету.

XX

Новиков сам отворил дверь Санину и, увидев его, насупился. Ему было тяжело все, что

напоминало Лиду и то непонятно прекрасное, что разбилось у него в душе, как тонкая ваза.

Санин заметил это и вошел, примирительно и ласково улыбаясь. В комнате Новикова было грязно и разбросано, как будто вихрь прошел по ней, заметя пол бумажками, соломой и всяким хламом. Без всякого толку наваленные на кровати, стульях и выдвинутых ящиках комода, пестрели книги, белье, инструменты и чемоданы.

— Куда? — с недоумением спросил Санин.

Новиков, стараясь не смотреть на него, молча передвигал на столе какие-то мелочи.

— Еду, брат, на голод... бумагу получил... — неловко и сердясь на себя за это, ответил он.

Санин посмотрел на него, потом на чемодан, потом опять на него и вдруг широко улыбнулся. Новиков промолчал, машинально пряча вместе со стеклянными трубками сапоги. Ему было больно, и чувствовал он полное тоскливое одиночество.

— Если ты будешь так укладываться, — заметил Санин, — то приедешь и без инструментов, и без сапог.

— А... — произнес Новиков, мельком взглянув на Санина, и его глаза, полные слез, сказали: «Оставь меня... видишь, мне тяжело!»

Санин понял и замолчал.

В окно ужеплыли задумчивые летние сумерки, и над легкой зеленью сада потухало ясное, чистое, как кристалл, небо.

— А по-моему, — начал Санин, помолчав, — чем ехать тебе черт знает куда, лучше бы тебе на Лиде жениться!

Новиков неестественно быстро повернулся к нему и вдруг весь затрясся.

— Я тебя попрошу... оставить эти глупые шутки! — звенящим голосом прокричал он.

Звук его голоса улетел в задумчивый прохладный сад и странно прозвенел под тихими деревьями.

— Чего ты взъелся? — спросил Санин.

— Послушай... — хрипло произнес Новиков, и глаза у него сделались круглые, а лицо стало совсем не похоже на то доброе и мягкое лицо, которое знал Санин.

— А ты станешь спорить, что женитьба на Лиде не счастье? — весело смеясь одними уголками глаз, спросил Санин.

— Перестань! — взвизгнул Новиков, шатаясь, как пьяный, бросился к Санину, схватил тот же нечищенный сапог и с неведомой ему силой взмахнул им над головой.

— Тише ты, черт! — сердито сказал Санин, невольно отодвигаясь.

Новиков с отвращением бросил сапог и остановился перед ним, тяжело дыша.

— Это меня-то старым сапогом! — укоризненно покачал головой Санин. Ему было жаль Новикова и смешно все, что тот делал.

— Сам виноват... — сразу слабея и конфузясь, возразил Новиков.

И сейчас же почувствовал нежность и доверие к Санину.

Тот был такой большой и спокойный, и Новикову, точно маленькому мальчику, захотелось приласкаться, пожаловаться на то, что его так измучило. Даже слезы выступили у него на глазах.

— Если бы ты знал, как мне тяжело! — сказал он прерывисто, делая усилия горлом и ртом, чтобы не заплакать.

— Да я, голубчик, все знаю, — ласково ответил Санин.

— Нет, ты не можешь знать! — доверчиво возразил Новиков, машинально садясь рядом. Ему казалось, что его состояние так исключительно тяжело, что никто не в силах понять его.

— Нет, знаю... — сказал Санин, — хочешь, побожусь!.. Если ты больше не будешь кидаться на меня со старым сапогом, так я тебе это докажу. Не будешь?

— Да... Ну прости, Володя, — конфузливо пробормотал Новиков, называя Санина по имени, чего никогда не делал.

Санину это понравилось, и оттого желание помочь и все уладить сделалось в нем еще сильнее.

— Слушай, голубчик, будем мы говорить откровенно, — заговорил он, ласково положив руку на колено Новикова, — ведь ты и ехать собрался только потому, что Лида тебе отказала, а тогда, у Зарудина, тебе показалось, что это Лида пришла.

Новиков понурился. Ему казалось, что Санин расковыривает в нем свежую, нестерпимо болезненную рану.

Санин посмотрел на него и подумал: «Ах ты, добрая глупая животная!»

— Я тебя не стану уверять, — продолжал он, — что Лида не была в связи с Зарудиным, я этого не знаю... не думаю... — поспешно прибавил он, заметив страдальческое выражение, промелькнувшее по лицу Новикова точно тень пролетевшей тучки.

Новиков поглядел на него со смутной надеждой.

— Их отношения начались так недавно, — пояснил Санин, — что ничего серьезного быть не могло. Особенно если принять во внимание характер Лиды... Ты ведь знаешь Лиду.

Перед глазами Новикова встала Лида, такая, какую он ее знал и любил: стройная гордая девушка, с большими, не то нежными, не то грозящими глазами в холоде чистоты, точно в ледяном ореоле. Он закрыл глаза и поверил Санину.

— Да если между ними и был обыкновенный весенний флирт, то теперь все это, очевидно, кончено. Да и какое тебе дело до маленького увлечения девушки, еще свободной и ищущей своего счастья, когда сам ты, даже не роясь в памяти, конечно, вспомнишь десятки таких увлечений, и даже гораздо хуже.

Новиков повернулся к нему, и от доверия, переполнившего его душу, глаза его стали светлы и прозрачны. В душе его зашевелился живой росток, но такой слабый, каждую минуту готовый исчезнуть, что он сам боялся неосторожным словом или мыслью убить его.

— Знаешь, если бы я... — Новиков не договорил, потому что сам не мог оформить того, что хотел сказать, но почувствовал, как к горлу подступают сладкие слезы умиленья своим горем и своим чувством.

— Что, если бы? — повышая голос и блестя глазами, торжественно заговорил Санин. — Я тебе только одно могу сказать, что между Лидой и Зарудиным ничего нет и не было!

Новиков растерянно посмотрел на него.

— Я думал... — с ужасом заговорил он, чувствуя, что не верит.

— Глупости ты думал, — с искренним раздражением возразил Санин. — Ты разве не понимаешь Лиду: раз она столько времени колебалась, какая же это любовь!

Новиков схватил его за руку, восторженно глядя ему в рот.

И вдруг страшная злоба и омерзение охватили Санина. Он несколько времени молча смотрел в лицо человека, ставшего блаженным при мысли, что женщина, с которой он хотел совокупиться, не совокуплялась раньше ни с кем. Голая животная ревность, плоская и жадная, как гад, глядела из добрых человеческих глаз, преображенных искренним горем и страданием.

— О-о! — зловеще протянул Санин и встал. — Ну, так я тебе скажу вот что: Лида не только была влюблена в Зарудина, она была с ним в связи и теперь даже беременна от него!

Звонящая тишина стала в комнате. Новиков, странно улыбаясь, глядел на Санина и потирал руки. Губы его вздрогнули, зашевелились, но только какой-то слабый писк вылетел и умер. Санин стоял над ним и смотрел в глаза, и на нижней челюсти и в уголках рта залегла у него жестокая и опасная складка.

— Ну, что ж ты молчишь? — спросил Санин.

Новиков быстро поднял на него глаза и быстро опустил, так же молча и растерянно улыбаясь.

— Лида пережила страшную драму, — тихо заговорил Санин, как бы разговаривая сам с собою, — если бы случай не натолкнул меня, то теперь ее уже не было бы на свете, и то, что вчера было прекрасной, живой девушкой, сейчас лежало бы голое и безобразное, изъеденное раками, где-нибудь в береговой тине... Не в том дело, что она бы умерла... всякий человек умирает, но с нею умерла бы огромная радость, которую она вносила в жизнь окружающих людей... Лида... она не одна, конечно... но если бы погибла вся женская молодость, на свете стало бы, как в могиле. И я лично, когда бессмысленно затравят молодую красивую девушку, испытываю желание кого-нибудь убить!.. Слушай, мне все равно, женишься ли ты на Лиде или пойдешь к черту, но мне хочется сказать вот что: ты идиот! Если бы под твоим черепом ворошилась бы хоть одна здоровая чистая мысль, разве ты страдал бы так и делал несчастным себя и других оттого только, что женщина, свободная и молодая, выбирая самца, ошиблась и стала опять свободной уже после полового акта, а не прежде него... Я говорю тебе, но ты не один... вас, идиотов, сделавших жизнь невозможной тюрьмой, без солнца и радости, миллионы!.. Ну, а ты сам: сколько раз ты сам лежал на брюхе какой-нибудь проститутки и извивался от похоти, пьяный и грязный, как собака!.. В падении Лиды была страсть, была поэзия смелости и силы, а ты? Какое же ты имеешь право отворачиваться от нее, ты, мнящий себя умным и интеллигентным человеком, между умом которого и жизнью якобы нет преград!.. Что тебе до ее прошлого? Она стала хуже, меньше доставит наслаждения? Тебе самому хотелось лишить ее невинности?.. Ну?

— Ты сам знаешь, что это не так... — дрожащими губами проговорил Новиков.

— Нет — так! — крикнул Санин. — А если не так, так что же?.

Новиков молчал.

В душе его было пусто и темно, и только, как освещенное окно в темном поле, далеко-далеко засветилось тоскливое счастье прощения, жертвы и подвига.

Санин смотрел на него и, казалось, ловил его мысли по всем изгибам изворотливого мозга.

— Я вижу, — заговорил он опять тихим, но острым тоном, — что ты думаешь о самопожертвовании... У тебя уже явилась лазейка: я снизойду до нее, я прикрою ее от толпы и так далее... И ты уже растешь в своих глазах, как червяк на падали!.. Нет, врешь! Ни на одну минуту в тебе нет самоотречения: если бы Лиду действительно испортила оспа, ты, может быть, и понатужился бы до подвига, но через два дня испортил бы ей жизнь, сослался бы на рок и или сбежал бы, или заел бы ее и шел бы на подвиг с отчаянием в душе. А теперь ты на себя, как на икону, взираешь!.. Еще бы: ты светел лицом, и всякий скажет, что ты святой, а потерять ты ровно ничего не потерял: у Лиды остались те же руки, те же ноги, та же грудь, та же страсть и жизнь!.. Приятно наслаждаться, сознавая, что делаешь святое дело!.. Еще бы!

И под этими словами в душе Новикова трусливо сжалось в комочек и умерло, как раздавленный червяк, то трогательное самолюбование, которое начинало расцветать там, и мягкая душа его дала новое чувство, проще и искреннее первого.

— Ты хуже думаешь обо мне, чем я есть! — с печальной укоризной сказал он. — Я вовсе не так туп, как ты говоришь... Может быть... не стану спорить, во мне и сильны предрассудки, но Лидию Петровну я люблю... и если бы я знал, что она меня любит, разве я стал бы задумываться над тем...

Последнее слово он проговорил с трудом, и эта трудность сказать то, во что веришь, уже доставляла ему самому острое страдание.

Санин вдруг остыл. Он задумался, прошелся по комнате, остановился у окна в сумеречный сад и тихо ответил:

— Она теперь несчастна, ей не до любви... Любит она тебя или не любит, кто ее знает. Я только думаю, что если ты пойдешь к ней и будешь вторым человеком в мире, который не казнит ее за ее минутное, случайное счастье, то... кто ж ее знает!..

Новиков задумчиво смотрел перед собой. В нем была и печаль, и радость; и печальная радость, и радостная печаль создавали в душе его светлое, как умирающий летний вечер, трогательное счастье.

— Пойдем к ней, — сказал Санин, — что бы там ни было, а ей будет легче увидеть человеческое лицо среди масок, под которыми звериные морды... Ты, друг мой, достаточно глуп, это правда, но есть у тебя, в самой твоей глупости, нечто такое, чего нет у других... Что ж, на этой глупости мир долго строил свое счастье и свои упования... Пойдем.

Новиков робко ему улыбнулся.

— Я пойду... но только ей самой приятно ли это будет.

— Ты не думай об этом, — положил ему на плечи обе руки Санин, — если ты считаешь, что делаешь хорошо — делай, а там будет видно...

— Ну пойдем! — решительно сказал Новиков.

В дверях он остановился и, глядя прямо в глаза Санину, с неведомой в нем силой сказал:

— И, знаешь, если это возможно, я сделаю ее счастливой... Эта фраза банальна, но я не могу иначе выразить то, что чувствую...

— Ничего, друг, — ласково ответил Санин, — я понимаю и так!..

XXI

Знойное лето стояло над городом. По ночам высоко в небе ходила круглая светлая луна, воздух был тепел и густ и вместе с запахом садов и цветов возбуждал истомные властные чувства.

Днем люди работали, занимались политикой, искусством, проведением в жизнь разнообразных идей, едой, питьем, купаньем и разговорами, но как только спадала жара, укладывалась успокоенная отяжелевшая пыль и на темном горизонте, из-за дальней роши или ближней крыши показывался край круглого светло-загадочного диска, заливающего сады холодным таинственным светом, все останавливалось, точно скидывало с себя какие-то пестрые одежды, и, легкое и свободное, начинало жить настоящей жизнью. И чем моложе были люди, тем полнее и свободнее была эта жизнь. Сады стонали от соловьиного свиста, травы, задетые легким женским платьем, таинственно качали своими головками, тени углублялись, в воздухе душно вставала любовная истома, глаза то загорались, то туманились, щеки розовели, голоса становились загадочны и призывны.

И новые поколения людей стихийно зарождались под холодным лунным светом, в тени молчаливых деревьев, дышащих прохладой, на примятой сочной траве.

И Юрий Сварожич, вместе с Шафровым, занимаясь политикой, кружками саморазвития и чтением новейших книг, воображал, что именно в этом его настоящая жизнь и в этом — разрешение и успокоение всех его тревог и сомнений. Но сколько он ни читал, сколько ни устраивал, ему все было скучно и тяжело, и в жизни не было огня. Зажигался он только в те минуты, когда Юрий чувствовал себя здоровым и сильным и был влюблен в женщину.

Сначала все женщины, молодые и красивые, казались ему одинаково интересными и одинаково волновали его, но вот среди них начала выступать одна, и мало-помалу она взяла себе все краски и все прелести их и стала перед ним отдельно, прекрасная и милая, как березка на опушке леса весной.

Она была очень красива, высокого роста, полная и сильная, ходила, на каждом шагу подаваясь вперед высокой и красивой грудью, голову носила приподнятой на сильной и белой шее, звонко смеялась, красиво пела и хотя много читала, любила умные мысли и свои стихи, но все ее существо ощущало полное удовлетворение только тогда, когда ей приходилось делать усилия, напирать на что-нибудь упругой грудью, обхватывать изо всей силы руками, упираться ногами, смеяться, петь и смотреть на сильных и красивых мужчин. Иногда, когда, могуче сжигая все темное, светило солнце или блестела на темном небе луна, ей хотелось раздеться и голой бежать по зеленой траве, броситься в темную колышающуюся воду, кого-то ждать и искать, призывая певучим криком.

Ее присутствие волновало Юрия, вызывая в нем неведомые, еще не использованные силы. При ней ярче говорил его язык, сильнее становились мускулы, крепче сердце и гибче ум. Весь день он думал о ней и вечером шел искать ее, скрывая это даже от самого себя.

Но в душе его было что-то разъеденное, нудное, становящееся поперек силы, идущей на волю изнутри. Каждое чувство, возникающее в нем, он останавливал и спрашивал, и чувство меркло, вяло и теряло лепестки, как цветок под морозом. Когда он спрашивал себя, что влечет его к Карсавиной, то отвечал: половое влечение, и только — и хотя не знал сам, почему, но это прямоугольное слово вызывало в нем небрежное и тяжелое для него самого

презрение.

А между тем между ними безмолвно устанавливалась таинственная связь, и как в зеркале, каждое его движение отражалось в ней, а ее в нем.

Карсавина не думала, что в ней происходит, но чувству своему радовалась, боялась его, желала и старалась скрыть от других, чтобы оно было полно и всецело принадлежало ей одной. Ее мучило, что она не может понять всего, что происходит в душе и теле этого красивого, милого ей человека. По временам ей казалось, что между ними ничего нет, и тогда она страдала, плакала и томилась, точно потеряв какое-то богатство. Но все-таки внимание других мужчин, которые подходили к ней и смотрели на нее странными и понятными и непонятными глазами, не могло не тешить и не волновать ее. И потому, особенно тогда, когда она была уверена в том, что любима Юрием, и вся расцветала, как невеста, Карсавина волновала других и сама волновалась тайной жадных желаний.

И особенно странную волнующую струю чувствовала она в себе, когда к ней приближался Санин, с его широкими плечами, спокойными глазами и уверенно сильными движениями. Ловя себя на этом тайном волнении, Карсавина пугалась, считала себя дурной и развратной и все-таки с любопытством смотрела на Санина.

Вечером, в тот день, когда Лида пережила свою тяжелую драму, Юрий и Карсавина встретились в библиотеке. Они просто поздоровались и занялись каждый своим делом: Карсавина выбирала книги, а Юрий просматривал петербургские газеты. Но вышло как-то так, что вышли они вместе и пошли по уже пустым, ярко освещенным луной улицам.

В воздухе было необыкновенно тихо, и слышались только смягченные расстоянием звуки трещотки ночного сторожа и лай маленькой собаки где-то на задворках. На бульваре они наткнулись на какую-то компанию, сидевшую в тени деревьев. Им слышались оживленные голоса, виднелись вспыхивающие и на мгновение освещавшие чьи-то усы и бороды огоньки папирос. И когда они уже проходили мимо, чистый и веселый мужской голос пропел:

Сердце красавицы,

Как ветерок полей!..

Не доходя до квартиры Карсавиной, они сели на лавочку у чужих ворот, в глубокой тени, откуда виднелась широкая, ярко освещенная луной улица, а в конце ее белая ограда церкви и темные липы, над которыми холодно, как звезда, желтел в небе крест.

— Посмотрите, как хорошо! — певуче сказала Карсавина, показывая рукой.

Юрий мельком и с наслаждением взглянул на ее белое полное плечо, кругло блестевшее сквозь широкий ворот малороссийского костюма, и почувствовал неудержимое желание сжать ее, поцеловать в пухлые сочные губы, раскрытые от его губ так близко. Он вдруг почувствовал, что это надо сделать, что и она сама ждет этого и боится, и желает.

Но вместо того, как-то упустив момент и обессилев, он скривил губы и насмешливо хмыкнул.

— О чем вы? — спросила Карсавина.

— Так, ни о чем... — сдерживая страстную дрожь в ногах, ответил Юрий, — чересчур уж хорошо.

Они помолчали, чутко прислушиваясь к отдаленным звукам, звенящим за темными садами и блестящими от луны крышами.

— Были вы когда-нибудь влюблены? — спросила вдруг Карсавина.

— Был... — медленно ответил Юрий. «А что, если я скажу?» — с замиранием подумал он и сказал:

— Я и сейчас влюблен.

— В кого? — вздрогнувшим голосом спросила Карсавина, полная уверенности и страха.

— Да в вас! — стараясь говорить шутя, но срываясь с тона, ответил Юрий, наклоняясь и заглядывая ей в глаза, странно блестящие в тени.

Она быстро и испуганно взглянула на него, и ее испуганное блаженное лицо было полно ожидания.

Юрий хотел ее обнять. Он уже чувствовал под своими руками мягкие холодноватые плечи и упругую грудь, но испугался, опять упустил момент и, не имея силы, не думая сделать то, чего хотел, смущенно и притворно зевнул.

«Шутит!» — с болью подумала Карсавина, и вдруг все в ней похолодело от горя и обиды. Она почувствовала, что сейчас заплачет, и, с судорожным усилием удержать слезы, стиснула зубы.

— Глупости! — поспешно вставая, изменившимся голосом пробормотала она.

— Я серьезно говорю! — сказал Юрий уже против воли неестественным голосом. — Я вас люблю, и вы можете мне поверить — очень страстно!

Карсавина, не отвечая, собрала свои книги. «Зачем так... за что?» — с тоской думала она и вдруг с ужасом подумала, что выдала себя и он презирает ее. Юрий подал ей упавшую книгу.

— Пора домой... — тихо сказала она.

Юрию было мучительно жаль, что она уйдет, и в то же время ему показалось, что выходит оригинально и красиво, далеко от всякой пошлости.

И он загадочно ответил:

— До свиданья!

Но когда Карсавина подала ему руку, Юрий против воли нагнулся и поцеловал ее в мягкую теплую ладонь, от которой пахло ему в лицо милым нежным запахом. Карсавина сейчас же с легким вскриком отдернула руку.

— Что вы!

Но мимолетное ощущение прикосновения к губам мягкого, девственно холодноватого тела было так сильно, что у Юрия закружилась голова, и он мог только блаженно и бессмысленно улыбаться, прислушиваясь к быстрому шороху ее удаляющихся шагов.

Скоро скрипнула калитка, и Юрий, все так же улыбаясь, пошел домой, изо всех сил вдыхая чистый воздух и чувствуя себя сильным и счастливым.

Но в своей комнате, после простора и прохлады лунной ночи, душной и узкой, как тюрьма, Юрий опять стал думать, что все-таки жить скучно и все это мелко и пошло.

«Сорвал поцелуй! Какое счастье, какой подвиг, подумаешь! Как это достойно и поэтично: луна, герой соблазняет девицу пламенными речами и поцелуями... Тьфу, пошлость! В этом проклятом захолустье незаметно мельчаешь!»

И как, живя в большом городе, Юрий полагал, что стоит ему только уехать в деревню, окунуться в простую, черноземную жизнь, с ее работой, настоящей невыдуманной работой, с ее полями, солнцем и мужиками, чтобы жизнь приобрела наконец истинный смысл, так теперь ему подумалось, что если бы не эта глушь, если бы перенестись в столицу, то жизнь закипела бы на настоящем пути.

— В столице шум, гремят витии! — с задумчивым лицом и бессознательным пафосом продекламировал Юрий.

Но, мгновенно изловив себя на мальчишеском восторге, махнул рукой.

«А впрочем, что из того... все равно!.. Политика, наука... все это громадно только издали, в идеале, в общем, а в жизни одного человека — такое же ремесло, как и всякое другое! Борьба, титанические усилия... да... Но в современной жизни это невозможно. Ну что ж, я искренно страдаю, борюсь, преодолеваю... а потом? В конце концов? Конечная точка борьбы лежит вне моей жизни. Прометей хотел дать людям огонь и дал, — это победа. А мы? — мы можем только подбрасывать щепочки в огонь, не нами зажженный, не нами потушенный».

И вдруг у него выскочила мысль, что это потому, что он, Юрий, не Прометей. Мысль эта была неприятна ему, но он все-таки с болезненным самобичеванием подхватил ее:

«Какой я Прометей! У меня все сейчас же на личную почву: я, я, я!.. Для меня, для меня!.. Я так же слаб и ничтожен, как и все эти людишки, которых я искренно презираю!»

Эта параллель была так мучительна для него, что Юрий спутался и несколько времени тупо смотрел перед собою, подыскивая себе оправдание.

«Нет, я не то что другие! — с облегчением подумал он. — Уже по одному, что я это думаю... Рязанцевы, Новиковы, Санины не могут думать об этом. Они далеки от трагического самобичевания, они удовлетворены, как торжествующие свиньи. Заратустры! У них вся жизнь в их собственном микроскопическом „я“, и они-то заражают и меня своей пошлостью... С волками живя, по-волчьи и выть начинаешь! Это естественно!»

Юрий стал ходить по комнате, и, как это часто бывает, с переменой положений и мысли его переменялись.

«Ну хорошо... Это так, а все-таки надо обдумать многое: какие у меня отношения к Карсавиной? Люблю я ее или нет, все равно: что может выйти из этого? Если бы я женился на ней или просто связался на некоторое время, было ли бы для меня это счастьем? Обмануть ее — было бы преступлением, а если я ее люблю, то... ну хорошо: у нее пойдут дети, — почему-то краснея, торопливо продумал Юрий, — в этом, конечно, нет ничего дурного, но все-таки это свяжет меня и лишит свободы навсегда! Семейное счастье — мещанские радости! Нет, это не для меня!»

«Раз, два, три... — думал Юрий, машинально стараясь ступать так, чтобы с каждым шагом попадать через две доски пола в третью. — Если бы наверное знать, что детей не будет...

Или если бы я мог полюбить своих детей так, чтобы отдать им жизнь... Нет, это тоже пошло... Ведь и Рязанцев будет любить своих чад, чем же мы будем отличаться друг от друга? Жить и жертвовать! Вот настоящая жизнь!.. Да... Но кому жертвовать? Как?.. На какую бы я дорогу ни бросился и какую бы цель я себе ни поставил, где тот чистый и несомненный идеал, за который не жаль было бы умереть?.. Да, не я слаб, а жизнь не стоит жертв и любви. А если так, то не стоит и жить!»

И этот вывод никогда еще так ясно не укладывался в мозг Юрия.

На столе у него всегда лежал револьвер, и теперь он, блестя своими полированными частями, попадался на глаза Юрию каждый раз, когда тот доходил до стола и поворачивался обратно.

Юрий взял его и внимательно осмотрел. Револьвер был заряжен. Юрий взвел курок и приставил револьвер к виску.

«Так вот... — подумал он. — Раз — и кончено? Глупо или умно стреляться? Самоубийство — малодушие... Ну что же, значит, я малодушен!»

Осторожное прикосновение холодного железа к горячему виску было приятно и жутко.

«А Карсавина? — бессознательно пронеслось в голове Юрия. — Так я и не буду обладать ею и оставлю это возможное для меня наслаждение другому?»

И при мысли о Карсавиной в нем сладострастно и нежно все замерло. Но усилием воли Юрий заставил себя подумать, что это все пустяки, ничто, в сравнении с теми важными и глубокими мыслями, которые, как ему казалось, наполняли его голову. Но это было насилием, и насилуемое чувство отомстило ему неудовлетворенной тоской и нежеланием жить.

«Отчего бы и в самом деле?» — с замиранием сердца спросил себя Юрий.

Опять, и уже с намерением, в которое не верил и над которым стыдливо усмехнулся, Юрий приложил револьвер к виску и, не отдавая себе отчета в своем движении, потянул за спуск.

Что-то с диким ужасом, холодное и острое, дернулось в нем. В ушах зазвенело, и вся комната как будто метнулась куда-то. Но выстрела не было, и слышался только слабый металлический щелчок курка.

Юрий, охваченный слабостью с головы до ног, медленно опустил руку с револьвером. Все в нем дрожало и ныло, голова кружилась, во рту мгновенно пересохло. Когда он клал револьвер, руки прыгали и несколько раз стукнули револьвером о стол.

«Хорош, — подумал он и, овладев собою, подошел к зеркалу и взглянул в его темную холодную поверхность. — Значит, я трус? Нет, — с гордостью промелькнуло в нем, — не трус! Все-таки я сделал это, и не виноват, что вышла осечка!»

Из темного зеркала на него смотрело такое же лицо, как и всегда, но Юрию оно показалось торжественно и сурово. Он с удовольствием, стараясь, однако, уверить себя, что не придаст этому акту самообладания никакого значения, показал себе язык и отошел.

— Не судьба, значит! — произнес он вслух, и слово это утешило и ободрило его.

«А что, если бы меня видели?» — с боязливым смущением подумал он в ту же секунду и невольно оглянулся.

Но все было тихо. За запертой дверью не чудилось ничего. Казалось, что за пределами комнаты ничего нет, и Юрий один живет и страдает в безграничной пустоте. Он потушил

лампу и удивился, что в комнату сквозь щели ставень уже пробивается бледно-розовый свет утра.

Он лег спать, и во сне ему представилось, что кто-то тяжелый и громоздкий сел на него, вспыхивая зловещим красным светом.

«Это — черт!» — с ужасом пронеслось в его душе.

Юрий делал судорожные усилия, чтобы освободиться. Но Красный не уходил, не говорил, не смеялся, а только щелкал языком. Нельзя было разобрать, насмешливо или соболезнующе он щелкает, и это было мучительно.

XXIII

Мягко и любовно, дыша запахом трав и цветов, в открытое окноплыли сумерки.

Санин сидел за столом и при последнем свете дня читал уже много раз читанный им рассказ о том, как трагически одиноко умирал старый архиерей, окруженный людьми, поклонением и кадильным дымом, облаченный в золотые ризы, бриллиантовые кресты и всеобщее уважение.

В комнате было так же прохладно и чисто, как и на дворе, и легкое дыхание вечера свободно ходило по комнате, наполняя грудь, шевеля мягкие волосы Санина и лаская его сильные плечи, внимательно и серьезно сгорбившиеся над книгой.

Санин читал, думал, шевелил губами и был похож на большого маленького мальчика, углубившегося в книгу. И чем больше читал он, тем сильнее и глубже возникали в нем грустные мысли о том, сколько ужаса в человеческой жизни, как тупы и грубы люди и как он далек от них. И ему казалось, что если бы он знал этого архиерея, то это было бы хорошо, и жизнь старого архиерея не была бы такой одинокой.

Дверь в комнату отворилась, и кто-то вошел. Санин оглянулся.

— А! Здравствуй, — сказал он, отодвигая книгу. — Ну, что скажешь нового?

Новиков слабо пожал ему руку и усмехнулся бледной и печальной гримасой.

— Ничего. Все так же скверно, как и было! — ответил он и, махнув рукой, отошел к окну.

Оттуда, где сидел Санин, был виден только его рослый красивый силуэт, мягко обрисованный потухающим фоном зари. Санин долго и внимательно смотрел на него.

Когда в первый раз он привел смущенного и страдающего Новикова к жалкой и растерянной Лиде, совсем не похожей на ту красиво смелую и гордую девушку, какою она была еще недавно, они не сказали ни слова о том, что до дна проникало их души. И Санин понял, что они будут несчастны, когда скажут, но вдвое несчастнее, пока не говорят. Он почувствовал, что ясное и простое для него они могут найти только ощупью, пройдя сквозь страдание, и не тронул их, но тогда же увидел, что эти два человека находятся на замкнутом кругу и встреча их неизбежна.

«Ну да ладно, — подумал Санин, — пусть перестрадаются... от страдания станут они мягче и чище... Пусть!»

А теперь он почувствовал, что это время настало.

Новиков стоял перед окном и молча глядел в потухающее небо. Он был полон странным чувством, в котором тоска по невозвратно утраченному тонко сливалась с дрожью нетерпеливого ожидания нового счастья. В эти печально-ласковые сумерки он ярче представлял себе Лиду робкой, несчастной, всеми униженной и обиженной, и ему казалось, что, если бы хватило силы, он стал бы перед нею на колени, согрел бы ее холодные пальцы поцелуями и возродил бы ее к новой жизни своей все-простившей великой любовью. Все горело в нем жаждой этого подвига, умилением перед собой и любовной жалостью к Лиде, но не было сил пойти к ней.

Санин и это понял. Он медленно поднялся, тряхнул головой и сказал:

— А Лида в саду... Пойдем.

Тоскливо и счастливо, жалким больным чувством сжалось сердце Новикова. Легкая судорога пробежала по его лицу и исчезла. Видно было, как сильно дрожали его пальцы, крутившие усы.

— Ну что ж?.. Пойдем к ней? — повторил Санин, и голос у него был значителен и спокоен, как будто он приступал к важному, но понятному делу.

И по этому тону Новиков понял, что Санин видит все, в нем происходящее, почувствовал огромное облегчение и наивный детский испуг.

— Пойдем, пойдем... — мягко продолжал Санин, взял Новикова за плечи и толкнул к двери.

— Что ж... я... — пробормотал Новиков и вдруг почувствовал умиленную нежность и желание поцеловать Санина. Но он не посмел этого сделать и только посмотрел ему в лицо глубокими мокрыми глазами.

В саду было темно и пахло теплой росой. Зеленоватые просветы зари стояли между стволами, как готические окна. Над бледными лужайками тонко курился первый туман. Казалось, кто-то тихий и невидимый ходит по пустынным дорожкам среди молчаливых деревьев, и тихо вздрагивают при его приближении засыпающие травы и цветы.

На берегу было светлее, и заря на поле неба стояла за рекой, светло змеившейся в темных лугах. Лида сидела тут, у самой воды, и ее тонкий поникший силуэт белел на траве, точно таинственная тень, тоскующая над водой.

То светлое и дерзкое настроение, которое овладело ею под спокойный голос брата, исчезло так же быстро, как и появилось. Опять черною четою пришли и стали подле стыд и страх и вселили в нее мысль, что она не имеет права не только на новое счастье, но и на самую жизнь.

Целыми днями, с книгой в руках, она сидела в саду, потому что не могла прямо и просто смотреть в глаза матери. Тысячи раз все в ней возмущалось, тысячи раз говорила она себе, что мать — ничто перед ее собственной жизнью, но каждый раз, когда мать подходила к ней, голос Лиды менялся, теряя свою звучность, а в глазах бегало что-то виноватое и робкое. А ее смущение, румянец, нетвердый голос и бегаящий взгляд тревожили мать. Нудные допросы, тревоги и преследующие испытующие взгляды так измучили Лиду, что она стала прятаться.

Так сидела она и в этот вечер, тоскливо следя за тающей в черном горизонте зарей и думая свою тяжелую безысходную думу.

Она думала о том, что не понимает жизни. Что-то непостижимо громадное, спутанное, как спрут, липкое и могучее, вставало перед нею.

Ряд прочитанных книг, ряд великих и свободных идей прошли сквозь ее мозг, и она видела, что поступок ее был не только естествен, но даже хорош. Он не причинял никому зла, а ей и другому человеку дал наслаждение. И без этого наслаждения у нее не было бы молодости, и жизнь была бы уныла, как дерево осенью, когда облетят все листья. Мысль о том, что религия не освятила ее союза с женщиной, была ей смешна, и все устои этой мысли были давно источены и разрушены человеческой свободной мыслью. Выходило так, что она должна была бы радоваться, как радуется цветок, в солнечное утро опылившийся новой жизнью, а она страдала и чувствовала себя на дне пропасти, ниже всех людей, последнего из последних. И как ни звала она великие идеи и непоколебимые истины, перед завтрашним днем позора они таяли, как тает воск от огня. И вместо того чтобы встать ногою на шею людям, которых она презирала за тупость и ограниченность их, Лида думала только о том, чтобы спастись и обмануть их.

И когда она одиноко плакала, тая слезы от людей, и когда обманывала их притворным весельем, и когда погружалась в тупое отчаяние, Лида, как цветок к теплему лучу, тянулась только к Новикову. Мысль о том, что он спасет ее, казалась преступно подлой, порой вспыхивало возмущение, что она может зависеть от его прощения и любви, но сильнее убеждений и сильнее протеста было сознание своего бессилия и любовь к жизни. И вместо того чтобы возмущаться людской глупостью, она трепетала, а вместо того чтобы свободно взглянуть в глаза Новикову, она робела перед ним, как раба. И в этой раздвоенной девушке было что-то жалкое и беспомощное, как в птице с подрезанными крыльями, которой уже не полететь никогда.

И в те минуты, когда муки ее становились невыносимы, Лида всегда вспоминала о брате, и душа ее переполнялась наивным удивлением; ей было ясно, что у брата нет ничего святого, что он смотрит на нее, на сестру, глазами самца, что он эгоистичен и безнравственен, но в то же время это был единственный человек, с которым ей было легко, с которым она, не стыдясь, могла говорить о самых сокровенных тайнах своей жизни. В его присутствии все казалось просто и ничтожно: она была беременна, да, но что ж из того? Она была в связи, да, но ей так нравилось! Ее будут презирать и унижать, — так что ж: перед нею жизнь, солнце и простор, а люди есть везде. Мать будет страдать, так вольно ж ей!.. Лида не видела жизни матери, когда та переживала свою молодость, и мать не будет следить за нею, когда умрет, случайно встретившись на дороге жизни и вместе пройдя часть пути, они не могут и не должны ложиться поперек дороги друг другу.

Лида видела, что ей самой никогда не стать такой свободной, что, думая так, она только подчиняется обаянию этого спокойного и твердого человека, но с тем большим удивлением и восхищенной нежностью смотрела она на него. И странные вольные мысли бродили у нее в душе.

«Если бы он был чужой, не брат...» — несмело и пугливо думала она, поскорее убивая эту стыдную, но влекущую мысль.

И опять обращалась мыслью к Новикову и, как раба, робко ждала и надеялась на его прощение и любовь.

Так завершался этот заколдованный круг, и Лида бессильно билась в нем, теряя последние силы и краски своей молодой яркой души.

Она услышала шаги и оглянулась.

Новиков и Санин молча подходили к ней, шагая прямо по высокой траве. Их лиц нельзя было рассмотреть в бледном сумраке вечера, но почему-то Лида сразу почувствовала, что страшная минута приближается. Было похоже, что жизнь оставила ее, так бледна и слаба стала она.

— Ну вот, — сказал Санин, — я привел к тебе Новикова, а что ему нужно — он сам тебе скажет... Посидите тут, а я пойду чай пить.

Он круто повернулся и пошел прочь, широко шагая через траву.

Несколько времени, постепенно сливаясь с мраком, еще белела его рубаха, потом исчезла за деревьями, и стало так тихо, что не верилось, что он ушел совсем, а не стоит в тени деревьев.

Новиков и Лида проводили его глазами и оба по этому движению поняли, что все сказано и надо только повторить вслух.

— Лидия Петровна, — тихо проговорил Новиков, и звук его голоса был так печален и трогательно искренен, что сердце Лиды нежно сжалось.

«А он тоже бедный, жалкий и хороший он...» — с грустной радостью подумала девушка.

— Я все знаю, Лидия Петровна... — продолжал Новиков, чувствуя, как растет в нем умиление перед своим поступком и жалость к ее скорбной робкой фигурке. — Но я вас люблю по-прежнему... может быть, и вы меня полюбите когда-нибудь... скажите, вы... хотите быть моей женой?

«Не надо много говорить ей об „этом“, — думал он, — пусть она даже не знает, какую я жертву приношу для нее...»

Лида молчала. Было так тихо, что слышались на реке быстрые всплески струек, набегающих на кусты лозняка.

— Оба мы несчастны, — вдруг неожиданно для самого себя из самой глубины души проговорил Новиков, — но, может быть, вдвоем нам будет легче жить!..

Теплые слезы благодарности и нежности навернулись на глаза Лиды. Она подняла лицо к нему и сказала:

— Да... может быть!

«Видит Бог, я буду хорошей женой и всегда буду любить и жалеть тебя!» — сказали ее глаза.

Новиков почувствовал этот взгляд, быстро и порывисто опустился возле нее на колени и стал целовать ее дрожащую руку, сам весь дрожа от умиления и внезапно проснувшейся радостной страсти. И эта страсть так ярко и глубоко передалась Лиде, что разом исчезло большое жалкое чувство робости и стыда.

«Ну вот и кончено... И опять я буду счастлива... Милый, бедный!..» — плача счастливыми слезами, думала она, не отнимая руки и сама целуя мягкие, всегда нравившиеся ей волосы Новикова. Воспоминание о Зарудине ярко мелькнуло в ней, но сейчас же погасло.

Когда пришел Санин, решивший, что времени для объяснений прошло достаточно, Лида и Новиков держали друг друга за руки и что-то тихо и доверчиво рассказывали. Новиков говорил, что никогда не переставал ее любить, а Лида говорила, что любит его теперь. И это было правдой, потому что Лиде хотелось любви и счастья, она надеялась найти их в нем и любила свою надежду.

Им казалось, что они никогда не были так счастливы. Увидев Санина, они замолчали и глядели на него смущенными, радостными и доверчивыми глазами.

— Ну, понимаю, — важно сказал Санин, поглядев на них. — И слава Богу. Будьте только

счастливы!

Он хотел еще что-то добавить, но чихнул на всю реку.

— Сыро... Не схватите насморка! — прибавил он, протирая глаза.

Лида счастливо засмеялась, и смех ее прозвучал над рекой опять загадочно и красиво.

— Я уйду! — объявил Санин, помолчав.

— Куда? — спросил Новиков.

— А там пришли за мной Сварожич и этот офицер... поклонник Толстого... как его?... Длинный такой немец!

— Фон Дейц! — беспричинно смеясь, подсказала Лида.

— Он самый. Пришли нас всех звать на какую-то сходку. Только я сказал им, что вас дома нет.

— Зачем, — все, смеясь, спросила Лида, — может, и мы бы пошли?

— Сиди тут, — возразил Санин. — Я бы и сам сел, если бы было с кем!

И он опять ушел, на этот раз в самом деле. Вечер наступил, в темной текучей воде заколебались звезды.

XXIV

Вечер был темный и глухой. Над верхушками черных окаменелых деревьев тяжело клубились тучи и быстро, точно поспешая к невидимой цели, ползли от края и до края неба. В их зеленоватых просветах мелькали и скрывались бледные звезды. Вверху все было полно непрерывного зловещего движения, а внизу все притихло в напряженном ожидании.

И в этой тишине голоса спорящих людей казались чересчур резкими и крикливыми, точно визг маленьких раздраженных животных.

— Как бы то ни было, — неуклюже, как журавль, спотыкаясь длинными ногами, выкрикивал фон Дейц, — а христианство дало человечеству неизживаемое богатство, как единственное полное и понятное гуманитарное учение!

— Ну да... — упрямо дергая головой и сердито глядя ему в спину, возражал идущий сзади Юрий, — но в борьбе с животными инстинктами христианство оказалось так же бессильно, как и все дру...

— Как «оказалось»! — с возмущением вскрикнул фон Дейц. — Все будущее за христианством, и говорить о нем, как о чем-то конечном...

— У христианства нет будущего! — перебил Юрий, с беспричинной ненавистью всматриваясь в расплывающееся пятно офицерского кителя. — Если христианство не могло победить человечество в эпоху самого острого своего развития и бессильно попало в руки кучки мерзавцев, как орудие наглого обмана, то теперь, когда уже даже самое слово «христианство» стало пресным, странно и смешно ждать какого-то чуда... История не прощает: что раз сошло со сцены, то назад не придет!..

Деревянный тротуар чуть белел под ногами; под деревьями иногда не было видно ни зги, и болезненно раздражала возможность стукнуться о тротуарный столбик, а голоса казались неестественными, потому что не видно было лиц.

— Христианство?.. сошло со сцены! — вскрикнул фон Дейц, и в голосе его прозвучало преувеличенное изумление и негодование.

— Конечно, сошло... — упрямо продолжал Юрий. — Вы так поражаетесь, точно этого даже и допустить нельзя... Как сошел со сцены Моисеев закон, как умерли Будда и эллинские боги, так умер и Христос... Закон эволюции... Что вас так пугает в этом?.. Ведь вы же не верите в божественность его учения?

— Конечно, нет! — обиженно фыркнул фон Дейц, отвечая не столько вопросу, сколько обидному тону Юрия.

— Так неужели же вы допускаете возможность создания человеком вечного закона?

«Идиот!» — думал он в эту минуту о фон Дейце, и непоколебимая, очень приятная уверенность в том, что этот человек бесконечно глупее его, Юрия, и что ему никогда не понять того, что как Божий день ясно и просто для него самого, нелепо сплетались в голове Юрия с раздраженным желанием во что бы то ни стало совершенно убедить и переспорить офицера.

— Допустим, что это и так... — волнуясь и тоже уже озлобляясь, возражал длинный офицер. — Но христианство легло в основу будущего... оно не погибло, оно легло в почву, как всякое зерно, а свой плод даст...

— Я не о том говорю... — немного сбившись и оттого еще больше озлобляясь, ответил Юрий. — Я хотел сказать...

— Нет, позвольте... — боясь упустить верх, с торжеством перебил фон Дейц, опять оглядываясь и сбиваясь с тротуара. — Вы именно так сказали...

— Раз я говорю, что не так, то значит, не так... Странно! — с острой злобой от мысли, что глупый фон Дейц хоть на одну минуту может допустить, что он умнее, оборвал Юрий. — Я хотел сказать...

— Ну может быть... Простите, я не так понял! — со снисходительной усмешкой пожал узкими плечами фон Дейц, вовсе не скрывая, что поймал Юрия и что бы тот теперь ни говорил, все это будет уже запоздалыми отступлениями.

Юрий понял его и почувствовал такую злобу и оскорбление, что у него даже горло перехватило.

— Я вовсе не отрицаю огромной роли христианства...

— Тогда вы противоречите себе! — с новым торжествующим восторгом захлебнулся фон Дейц, радуясь, что Юрий несравнимо глупее его и, видимо, не может даже и приблизительно понять того, что так стройно и красиво лежит в голове самого фон Дейца.

— Это вам кажется, что я противоречу, а на самом деле... напротив, я... моя мысль совершенно логична, и я не виноват, что вы... не желаете меня понять, — сбивчиво и страдая, совсем уже резко прокричал Юрий. — Я говорю и говорил, что христианство пережеванный материал и что в нем, как таковом, уже нельзя и незачем ждать спасения.

— Ну да... не отрицаете ли вы благотворность влияния христианства... то есть, того, что оно прямо ложится в фундамент... — торопливо ловя ускользающую на этом повороте разговора

мысль, тоже повысил голос фон Дейц.

— Не отрицаю...

— А я отрицаю! — смешливо отозвался сзади Санин, все время шедший молча. Голос его был весел и спокоен и странно врезался в бурлящий, режущий тон спора.

Юрий замолчал. Его обидел этот спокойный голос и явная добродушная насмешка, в нем звучавшая, но он не нашелся, чем ответить. Ему почему-то всегда было неловко и как-то неудобно спорить с Саниным, точно все те слова, которыми он привык пользоваться, были совсем не теми, которые нужны для Санина. И всегда у Юрия было такое чувство, точно он брался повалить стену, стоя на скользком льду.

Но фон Дейц, споткнувшись и резко зазвенев шпорами, закричал высоким и злым голосом:

— Почему же это, позвольте вас спросить?

— Да так, — с неуловимым выражением ответил Санин.

— Как так!.. Если говорить такие вещи, так их надо доказать!..

— А зачем мне доказывать?..

— То есть как зачем!..

— Ничего мне не надо доказывать. Это мое убеждение, а вас убеждать у меня нет ни малейшего желания, да и ни к чему.

— Если так рассуждать, — сдержанно проговорил Юрий, — то, пожалуй, надо похерить всю литературу?

— Нет, зачем же! — отозвался Санин. — Литература — дело большое и интересное. Литература!.. Литература истинная, как я ее понимаю, не полемизирует со случайно подвернувшимся лоботрясом, которому делать нечего и хочется убедить всех, что он очень умен... Она перестраивает всю жизнь, проходит в самую кровь человечества, из поколения в поколение. Если бы уничтожить литературу, жизнь потеряла бы много красок, полиняла бы...

Фон Дейц остановился, пропустил Юрия вперед и, поравнявшись с Саниным, спросил:

— Нет, пожалуйста... мне чрезвычайно интересна та мысль, которую вы затронули...

— Мысль у меня очень простая, — засмеялся Санин, — и если вам так хочется, я могу ее изложить. По-моему, христианство сыграло в жизни печальную роль... В то время, когда человечеству становилось уже совершенно не в состоянии и уже немногочисленному не хватало, чтобы все униженные и обездоленные взялись за ум и одним ударом опрокинули невозможно тяжелый и несправедливый порядок вещей, просто уничтожив все, что жило чужою кровью, как раз в это время явилось тихое, смиренномудрое, многообещающее христианство. Оно осудило борьбу, обещало внутреннее блаженство, наваяло сладкий сон, дало религию непротивления злу насильем и, выражаясь коротко, выпустило весь пар!.. Те огромные характеры, которые вековой обидой воспитались для борьбы, пошли, идиоты идиотами, на арену и с мужеством, достойным бесконечно лучшего применения, чуть не собственными, руками содрали с себя кожу!.. Их врагам, конечно, ничего лучшего и не надо было!.. А теперь нужны опять столетия, нужно бесконечное унижение и угнетение, чтобы вновь раскачать возмущение... На человеческую личность, слишком неукротимую, чтобы стать рабом, надело христианство покаянную хламиду и скрыло под ней все краски свободного человеческого духа... Оно обмануло сильных, которые могли бы сейчас, сегодня же взять в руки свое счастье, и центр тяжести их жизни перенесло в будущее, в мечту о несуществующем, о том, чего из них не

увидит никто... И вся красота жизни исчезла: погибла смелость, погибла свободная страсть, погибла красота, остался только долг и бессмысленная мечта о грядущем золотом веке... золотом для других, конечно!.. Да, христианство сыграло скверную роль, и имя Христа еще долго будет проклятием на человечестве!..

Фон Дейц внезапно остановился, и в темноте было видно, как поднялись и опустились его длинные руки.

— Ну знаете! — странным голосом испуга и недоумения проговорил он.

И в душе Юрия возникло сложное чувство: как будто в словах Санина не было ничего особенного, и как Санин, так и сам Юрий могли говорить все, что хотели и думали; но тень огромного страха перед Неведомым, страха, о существовании которого в своей душе Юрий забыл и не хотел думать, легла на остановившуюся мысль. Эту тайную боязнь Юрий почувствовал и оскорбился ею.

— А вы представляете ли себе ту кровавую мессу, которая разразилась бы над человечеством, если бы христианство не предупредило ее? — спросил он с чувством странной нервной злобы к Санину.

— Э! — махнул рукой Санин. — Под покровом христианства прежде всего облились кровью арены мученичества, а потом людей убивали, сажали в тюрьму, в желтые дома... день за днем крови льется столько, что никакой мировой переворот не в состоянии сделать больше!.. И хуже всего то, что всякое улучшение своей жизни люди добывают по-прежнему кровью, революцией, анархией, а в основу своей жизни ставят все-таки гуманность и любовь к ближнему... Получается глупая трагедия, фальшь и ложь... ни рыба ни мясо!.. Я предпочел бы мировую катастрофу сейчас, чем тусклую и бессмысленно гибнущую жизнь еще на две тысячи лет вперед!

Юрий помолчал. Странно было то, что мысль его остановилась не на смысле слова, а на самой личности Санина. Чрезвычайно обидна и даже вовсе не переносна показалась ему очевидная уверенность Санина.

— Скажите, пожалуйста, — вдруг проговорил он, сам не ожидая того и поддаваясь острому желанию уязвить Санина, — почему вы всегда говорите таким тоном, точно поучаете малых ребят?..

Фон Дейц удивился, сконфузился и что-то пробормотал, примирительно позвеневав шпорами.

— Вот тебе и на! — досадливо произнес Санин. — Чего ж вы обозлились?

Юрий чувствовал, что говорит некстати, что надо остановиться, но глубоко засевшее раздражение и обнажившееся до самых нервов самолюбие подхватили его.

— Это, право, неприятный тон! — упрямым и угрожающим тоном ответил он.

— Это мой обычный тон, — со странным выражением досады и желания успокоить сказал Санин.

— Он не всегда уместен, — продолжал Юрий, невольно повышая голос и делая его крикливым. — Я не знаю, откуда у вас этот апломб...

— Вероятно, от сознания, что я умнее вас, — уже спокойнее ответил Санин.

Весь вздрогнув от головы до ног, как натянутая струна, Юрий мгновенно остановился.

— Послушайте! — зазвенел его голос, и хотя не видно было лица, почувствовалось, что он

побледнел.

— Не сердитесь, — ласково остановил Санин. — Я не хочу обижать вас, я только выразил свое искреннее мнение... Такого же мнения вы обо мне, фон Дейце, о нас обоих и так далее... Это естественно...

Голос Санина был так искренен и ласков, что как-то странно было продолжать кричать, и Юрий на минуту замолчал. Фон Дейц, очевидно страдая за него, молча звенел шпорами и затрудненно дышал.

— Но я не говорю вам этого... — пробормотал Юрий.

— И напрасно... Я вот слушал ваш спор, и в каждом слове у вас и явно, и обидно звучало то же самое... Дело только в форме. Я говорю то, что думаю, а вы говорите не то, что думаете... И это совсем не интересно. Если бы мы были искреннее, было бы гораздо занимательнее!

Фон Дейц вдруг визгливо засмеялся.

— Это оригинально! — захлебываясь от восторга, проговорил он.

Юрий молчал. Злоба его улеглась, и стало даже как будто весело, но было неприятно, что он все-таки уступил и не хотел показать этого.

— Только это было бы чересчур просто! — переставая смеяться, важно заявил фон Дейц.

— А вам непременно хочется, чтобы было запутанно и сложно? — спросил Санин.

Фон Дейц пожал плечами и задумался.

XXV

Бульвар миновали, и в пустых, оголенных улицах окраины стало светлее. Сухие доски тротуара явственно забелели на черной земле, а вверху открылось до странности широкое, клубящееся тучами и сверкающее редкими звездами бледное небо.

— Сюда, — сказал фон Дейц и, отворив низенькую калитку, провалился куда-то вниз.

Сейчас же где-то залаяла старая охрипшая собака, и кто-то закричал с крыльца:

— Султан, тубо!

Открылся огромный запустелый двор. В конце его чернела слепая громада паровой мельницы, с тонкой черной трубой, печально и одиноко устремившейся к далеким тучам, а вокруг шли черные амбары, и нигде не было деревьев, кроме палисадника под окнами флигеля. Там было открыто окно, и полоса яркого света среди тусклой тьмы пронизывала прозрачно-зеленые листья.

— Унылое место! — сказал Санин.

— А мельница давно не работает? — спросил Юрий.

— О да... давно стала, — ответил фон Дейц и, мимоходом заглянув в освещенное окно, сказал необычайно довольным голосом: — Ого!.. Народу набралось порядочно...

Юрий и Санин тоже заглянули через палисадник. В светлом веселом четырехугольнике двигались черные головы и плавал синий табачный дым. Кто-то высунулся из окна в темноту, и темный, широкоплечий, с курчавой головой, окруженной сиянием волос, заслонил все.

— Кто там? — громко спросил он.

— Свои, — ответил Юрий.

Они поднялись на крыльцо и наткнулись на человека, сейчас же начавшего дружелюбно и поспешно пожимать им руки.

— А я уже думал, вы не придете! — радостно заговорил он с сильным еврейским акцентом.

— Соловейчик. Санин... — сказал фон Дейц, знакомя их и дружелюбно пожимая холодную и чересчур трепетную ладонь невидимого Соловейчика.

Соловейчик смущенно и робко хихикал.

— Очень рад... Я так много о вас слышал и, знаете, это очень... — бестолково говорил он, пятясь задом и не переставая пожимать руку Санина.

Спиной он толкнул Юрия и наступил на ногу фон Дейцу.

— Простите меня, Яков Адольфович! — вскрикнул он, покидая Санина и цепляясь за фон Дейца.

И оттого они все запутались в темных сенях так, что долго никто не мог найти ни дверей, ни друг друга.

В передней, на гвоздях, вбитых нарочно для этого вечера аккуратным Соловейчиком, висели шляпы и фуражки, а все окно было уставлено плотной массой темно-зеленых пивных бутылок. И передняя уже была полна табачного дыму.

На свету Соловейчик оказался молоденьким евреем, черноглазым, курчавым, с красивым худым лицом и порченными зубками, ежеминутно ослабляющимися в угодливо робкой улыбке.

Вошедших встретили хором оживленных и ярких голосов.

Юрий прежде всего увидел Карсавину, сидевшую на подоконнике, и все сразу приняло для него особый радостный вид, точно не сходка в душной накуренной комнате, а весенняя пирушка на поляне в лесу.

Карсавина улыбалась ему радостно и смущенно.

— Ну, господа... теперь, кажется, все в сборе? — стараясь говорить громко и весело, но болезненно и неверно напрягая слабый голос, закричал Соловейчик, странно жестикулируя руками. — Извините, Юрий Николаевич, я вас, кажется, все толкаю... — весь изогнувшись и ослабляя зубы, перебил он сам себя.

— Ничего, — добродушно придержал его за руку Юрий.

— Не все, да черт с ними! — отозвался полный и красивый студент, и по его пухлому, но сильному купеческому голосу сразу стало слышно уверенного и привычного человека.

Соловейчик прыгнул к столу и вдруг зазвонил в маленький колокольчик, радостно и хитро улыбаясь своей выдумке, которую он готовил еще с утра.

— Э, оставьте! — рассердился пухлый студент. — Вечно вы со всякими глупостями!.. Совершенно излишняя торжественность!

— Я ничего, я так... — смущенно захихикал Соловейчик и сунул колокольчик в карман.

— Я думаю, стол можно поставить на середину комнаты, — сказал полный студент.

— Сейчас, я... — опять заторопился Соловейчик и с бессильным напряжением ухватился за край стола.

— Лампу... лампу не уроните! — крикнула Дубова.

— Ах, да не суйтесь же вы куда не просят! — с досадой стукнул кулаком по колену полный студент.

— Давайте я вам помогу, — предложил Санин.

— Пожалуйста, — так торопливо выговорил Соловейчик, что у него вышло «поджалушта!».

Санин выдвинул стол на середину комнаты, и пока он это делал, все почему-то внимательно смотрели на его спину и плечи, легко ходившие под тонкой рубахой.

— Ну-с, Гожиенко, вам, как инициатору, следует сказать вступительную речь, — сказала бледная бесцветная Дубова, и по ее умным некрасивым глазам трудно было понять, серьезно она говорит или подсмеивается над полным студентом.

— Господа, — возвышая голос, заговорил Гожиенко сдобным, но приятным баритоном, — уже все, конечно, знают, для чего собрались, и потому можно обойтись без вступлений...

— Я-то, собственно, не знаю, зачем собрался, но пусть так, — улыбаясь, отозвался Санин. — Говорили, тут пиво будет.

Гожиенко небрежно взглянул на него через лампу и продолжал:

— Цель нашего кружка: путем взаимного чтения, обсуждения прочитанного и самостоятельного реферирования...

— Как это «взаимного» чтения? — спросила Дубова, и опять нельзя было понять, серьезно или насмехаясь она спрашивает.

Полный Гожиенко чуть-чуть покраснел.

— Я хотел сказать «совместного» чтения... Так вот, цель нашего кружка, таким образом, попутно способствуя развитию своих членов, выяснить индивидуальные взгляды и способствовать возникновению в нашем городе партийного кружка с эсдековской программой...

— Ага-а! — протянул Иванов и комически почесал затылок.

— Но это впоследствии... сначала мы не будем ставить себе таких широких...

— Или узких, — подсказала своим странным тоном Дубова.

— ...задач, — притворяясь, что не слышит, продолжал полный Гожиенко, — а начнем с выработки программы чтений, чему я и предлагаю посвятить сегодняшнее собрание.

— Соловейчик, а ваши рабочие придут? — спросила Дубова.

— А как же! — подскочил к ней Соловейчик, сорвавшись с места, точно его укусили. — За ними же пошли!

— Соловейчик, не визжите! — перебил Гожиенко.

— Да они уже идут, — отозвался Шафров серьезно и внимательно, даже со священнодействующим выражением слушавший, что говорит Гожиенко.

За окном послышался скрип калитки и опять хриплый лай собаки.

— Идут, — выкрикнул Соловейчик с необъяснимым восторгом и порывисто выскочил из комнаты.

— Су-лтан... ту-бо-о! — пронзительно закричал он на крыльце.

Послышались тяжелые шаги, голоса и кашель. Вошел низенький, очень похожий на Гожиенко, но чернявый и некрасивый студент-технолог, а за ним смущенно и неловко прошли два человека с черными руками в пиджаках поверх грязных красных рубах. Один был очень высокий и очень худой, с безусым бескровным лицом, на котором многолетнее родовое недоедание, вечная забота и вечная злоба, затаенная в глубине сдавленной души, положили мрачную и бледную печать. Другой выглядел силачом, был широкоплеч, кудряв и красив и смотрел так, точно мужицкий парень, впервые попавший в городскую, чужую и еще смешную ему обстановку. За ними боком проскользнул Соловейчик.

— Господа, вот... — начал он торжественно.

— Да ну вас, — по обыкновению оборвал его Гожиенко. — Здравствуйте, товарищи.

— Писцов и Кудрявый, — представил их студент-технолог. И всем показалось странным, что Писцовым оказался бородатый и красивый силач, а Кудрявым — худой и бледный рабочий.

Они, тяжело и осторожно ступая, обошли всю комнату, и, не сгибая пальцев, встряхивали руки, которые большинство протягивало им как-то особенно предупредительно. Писцов смущенно улыбался, а Кудрявый делал длинной и тонкой шеей такие движения, точно его душил ворот рубахи. Потом они уселись рядом у окна, возле Карсавиной, сидевшей на подоконнике.

— А отчего Николаев не пришел? — недовольно спросил Гожиенко.

— Николаев не может-с, — предупредительно ответил Писцов.

— Пьян Николаев вдрызг, — сумрачно и отрывисто, быстро двигая шеей, перебил Кудрявый.

— А... — неловко кивнул головой Гожиенко.

Его неловкость почему-то показалась противной Юрию Сварожичу, и сразу он почувствовал в полном студенте своего личного врага.

— Благою часть избрал, — заметил Иванов. Собака залаяла на дворе.

— Еще кто-то, — сказала Дубова.

— Уж не полиция ли? — притворно небрежно заметил Гожиенко.

— А вам ужасно хочется, чтобы это была полиция, — сейчас же отозвалась Дубова.

Санин посмотрел в ее умные глаза на лице некрасивом, но все-таки мило окаймленном светлой косой, спущенной через плечо, и подумал: «А славная девушка!»

Соловейчик хотел метнуться, но вовремя испугался и притворился, будто он хотел взять папиросу со стола.

Гожиенко заметил его движение и, не отвечая Дубовой, сказал:

— Экой вы надоедливый, Соловейчик!

Соловейчик густо покраснел и заморгал глазами, на мгновение ставшими грустными и задумчивыми, точно в его робкой и затуманенной голове наконец мелькнула мысль о том, что его желание всем услужить и помочь вовсе не заслуживает таких резких обрываний.

— Да оставьте вы его в покое! — с досадой сказала Дубова. В комнату быстро и шумно вошел Новиков.

— Ну вот и я! — сказал он, радостно улыбаясь.

— Вижу, — ответил ему Санин.

Новиков конфузливо улыбнулся и, пожимая руку, торопливо и точно оправдываясь, шепнул ему:

— У Лидии Петровны гости.

— А!..

— Ну что ж, мы так и будем разговоры разговаривать? — сумрачно спросил технолог.

— Начнем, что ли...

— А разве еще не начинали? — обрадованно спросил Новиков, пожимая руки рабочим, которые торопливо вставали ему навстречу.

Им было неловко, что доктор, который в больнице на приеме обращался с ними свысока, подает им руку, как товарищ.

— Да, с вами начнешь! — сквозь зубы неприятно проговорил Гожиенко.

— Итак, господа, нам всем, конечно, хотелось бы расширить свое мирозерцание, и так как мы находим, что лучший способ для самообразования и саморазвития есть систематическое чтение сообща и обмен мнений о прочитанном, то мы и решили основать небольшой кружок...

— Так-с, — вздохнул Писцов, весело оглядывая всех блестящими черными глазами.

— Вопрос теперь в том: что именно читать?.. Может быть, кто-нибудь предложит приблизительную программу?

Шафров поправил очки и медленно встал, держа в руках какую-то тетрадку.

— Я думаю, — начал он сухим и скучным голосом, — что наши чтения необходимо разделить на две части. Несомненно, что всякое развитие слагается из двух элементов: изучения жизни в ее эволюционном происхождении и изучения жизни как таковой...

— Шафров говорит поскладнее, — отозвалась Дубова.

— Первое достигается путем чтения книг научно-исторического характера, а второе — путем чтения художественной литературы, которая вводит нас внутрь жизни...

— Если мы будем говорить таким образом, то все заснем, — не унималась Дубова, и ласковая насмешка веселым огоньком загорелась у нее в глазах.

— Я стараюсь говорить так, чтобы всем было понятно... — возразил Шафров кротко.

— Ну, Бог с вами... говорите, как умеете... — махнула рукой Дубова.

Карсавина тоже ласково стала смеяться над Шафровым и от смеха закидывала назад голову так, что показывала полную белую шею. Смех у нее был звучный и контральный.

— Я составил программу, но читать ее, может быть, скучно, — взглядывая на Дубову, заторопился Шафров, — а потому предложу только для начала и «Происхождение семьи», и параллельно Дарвина, а из беллетристики — Толстого...

— Конечно, Толстого! — самодовольно согласился длинный фон Дейц, закуривая папиросу.

Шафров почему-то подождал, пока папироска задымилась, и методично продолжал:

— Чехова, Ибсена, Кнута Гамсуна...

— Да ведь мы уже все это читали! — удивилась Карсавина. Юрий с влюбленным восхищением прислушался к ее полному голосу и сказал:

— Конечно!.. Шафров забывается, что он не на воскресных чтениях, и притом, что за странное смешение имен: Толстой и Кнут Гамсун...

Шафров спокойно и многословно привел несколько доводов в защиту своей программы, но никто не понял, что он хочет сказать.

— Нет, — возразил Юрий громко и решительно, чувствуя на себе особенный взгляд Карсавиной и радуясь ему, — я не согласен с вами...

И он начал излагать свой взгляд и чем дальше излагал, тем более и более напрягался, чтобы заслужить одобрение Карсавиной, чувствовал, что это ему удастся, и безжалостно бил Шафрова даже в тех пунктах, в которых был не прочь с ним согласиться.

Ему начал возражать пухлый Гожиенко. Он считал себя образованнее, умнее и красноречивее всех и, устраивая этот кружок, больше всего желал сыграть в нем первую роль. Успех Юрия неприятно задел его и понудил выступить. Мнения Юрия не были раньше ему известны, и потому он не мог спорить с ним во всем объеме, а только подхватывал слабые места и раздраженно упирал на них.

Завязался длинный и, очевидно, нескончаемый спор. Заговорили технолог, Иванов, Новиков, и скоро в табачном дыму мелькали уже раздраженные лица, и слова перепутывались в запутанный и бесформенный хаос, в котором почти ничего нельзя было разобрать.

Дубова задумалась и молча смотрела на огонь лампы, а Карсавина, тоже почти не слушая, отворила свое окно в палисадник и, скрестив полные руки на груди, оперевшись затылком на косяк, мечтательно засмотрелась во тьму ночи.

Сначала она ничего не видела, а потом из черной тьмы выступили темные деревья, освещенная ограда палисадника, а за нею смутное колеблющееся пятно света, через дорожку протянувшееся по траве. Мягкий упругий ветер охватывал прохладой ее плечо и руку и чуть-чуть шевелил отдельные волоски на виске. Карсавина подняла голову и в медленно светлеющем мраке слабо различила непрерывное, странно напряженное движение темных туч. Она задумалась о Юрии и своей любви, и мысли счастливо грустные и грустно счастливые, волнуя и лаская, наполнили ее молодую женскую голову. Так было хорошо

сидеть здесь, всем телом отдаваясь холодному мраку и всем сердцем прислушиваясь к волнующему мужскому голосу, особенно, точно он был громче всех, звучащему среди общего шума.

А в комнате стоял уже сплошной крик, и все яснее и яснее вырисовывалось, что каждый считал себя умнее всех и хотел развивать других. Было в этом что-то тяжелое и неприятное, озлоблявшее самых мирных.

— Да если уж так говорить, — упрямо блестя глазами и боясь уступить при Карсавиной, которая слушала только один его голос без слов, напрягался Юрий, — то надо вернуться к первоисточнику идей...

— Что ж тогда читать, по-вашему? — неприязненно и насмешливо проговорил Гожиенко.

— Что... Конфуция, Евангелие, Екклесиаст...

— Псалтырь и Житие! — с насмешкой вставил технолог. Гожиенко злорадно засмеялся, не вспоминая, что никогда не читал ни одной из этих книг.

— Ну что ж это! — разочарованно протянул Шафров.

— Как в церкви! — хихикнул Писцов. Юрий бешено покраснел.

— Я не шучу!.. Если вы хотите быть логичными...

— А что же вы говорили о Христе! — торжествующе перебил его фон Дейц.

— Что я говорил?.. Разучиться жизни, вырабатывать себе определенное мирозерцание, которое целиком заключается в отношении человека к другому человеку и самому себе, то не лучше ли всего остановиться на титанической работе тех людей, которые, представляя из себя лучшие образцы человеческого рода, в собственной жизни прежде всего пытаюсь приложить наивозможнейшие и самые сложные и самые простые отношения к человечеству...

— Я с вами не согласен! — перебил Гожиенко.

— А я согласен! — горячо перебил студента Новиков.

И опять начался бестолковый и пестрый крик, в котором уже нельзя было найти ни конца, ни начала мнений.

Соловейчик, сразу, как только заговорили, притихший, сидел в углу и слушал. Сначала на лице его было полное и проникновенное, немного детское внимание, но потом острая черточка недоумения и страдания стала вырисовываться в уголках рта и глаз.

Санин молчал, пил пиво и курил. На его лице было выражение скуки и досады. А когда в пестром крике послышались уже резкие нотки ссоры, он встал, потушил папиросу и сказал:

— Знаете что... это выходит скучная история!

— И прескучная! — отозвалась Дубова.

— Суета сует и томление духа! — сказал Иванов таким голосом, точно он все время об этом думал и только ждал случая высказаться.

— Это почему же? — зло спросил черноватый технолог. Санин не обратил на него внимания и, поворачиваясь к Юрию, сказал:

— Неужели вы думаете серьезно, что по каким бы то ни было книгам можно выработать себе какое-то мирозерцание?

— Конечно, — удивленно посмотрел на него Юрий.

— Напрасно, — возразил Санин, — если бы это было так, то можно было бы все человечество преобразовать по одному типу, давая ему читать книги только одного направления... Мирозерцание дает сама жизнь, во всем ее объеме, в котором литература и самая мысль человеческая — только ничтожная частица. Мирозерцание не теория жизни, а только настроение отдельной человеческой личности, и притом до тех пор изменяющееся, пока у человека еще жива душа... А следовательно, и вообще не может быть того определенного мирозерцания, о котором вы так хлопчете...

— Как не может! — сердито воскликнул Юрий. Опять на лице Санина выразилась скука.

— Конечно, нет... Если бы возможно было мирозерцание, как законченная теория, то мысль человеческая вовсе остановилась бы... Но этого нет: каждый миг жизни дает свое новое слово... и это слово надо услышать и понять, не ставя себе заранее меры и предела.

— А впрочем, что об этом говорить, — перебил он сам себя, — думайте, как хотите... Я только спрошу вас еще: почему вы, прочитав сотни книг, от Екклезиаста до Маркса, не составили себе определенного мирозерцания?

— Почему же не составил? — с острой обидчивостью возразил Юрий, мрачно блестя угрожающими темными глазами. — У меня оно есть... Оно, может быть, ошибочно, но оно есть!

— Так что же еще вы собираетесь выработать? Писцов хихикнул.

— Ты... — с презрением буркнул ему Кудрявый, дергая шеей. «Какой он умный!» — с наивным восхищением подумала Карсавина о Санине.

Она смотрела на него и Сварожича, и во всем теле ее было стыдливое и радостное, непонятное ей чувство: точно они спорили не сами по себе, а только для нее, чтобы овладеть ею.

— И выходит так, — сказал Санин, — что вам не нужно то, для чего вы собрались. Я понимаю и вижу это ясно, что все здесь просто хотят заставить других принять их взгляды и больше всего боятся, чтобы их не разубедили. Откровенно говоря, это скучно.

— Позвольте! — сильно напрягая пухлый голос, возразил Гожиенко.

— Нет, — сказал Санин с неудовольствием, — у вас вот мирозерцание самое прекрасное, и книг вы прочли массу, это сразу видно, а вы озлобляетесь за то, что не все так думают, как вы, и, кроме того, обижаете Соловейчика, который вам ровно ничего дурного не сделал...

Гожиенко удивленно замолчал и смотрел на Санина так, точно тот сказал что-то совершенно необыкновенное.

— Юрий Николаевич, — весело сказал Санин, — вы на меня не сердитесь, что я несколько крутовато вам возражал. Я вижу, что у вас в душе действительный разлад...

— Какой разлад? — спросил Юрий, краснея и не зная, обидеться ему или нет. И как дорогой сюда, так и в эту минуту ласковый и спокойный голос Санина незаметно тронул его.

— Сами вы знаете, — ответил Санин, улыбаясь. — А на эту детскую затею надо плюнуть, а то уж очень тяжело выходит.

— Послушайте, — весь красный, заговорил Гожиенко, — вы себе позволяете чересчур много!

— Не больше, чем вы...

— Как?

— Подумайте, — весело сказал Санин, — в том, что вы делаете и говорите, гораздо больше грубого и неприятного, чем в том, что говорю я...

— Я вас не понимаю! — озлобленно крикнул Гожиенко.

— Ну, не я в этом виноват!

— Что?

Санин, не отвечая, взял шапку и сказал:

— Я ухожу... Это становится совсем скучно!

— Благое дело! Да и пива больше нет! — согласился Иванов и пошел в переднюю.

— Да уж, видно, у нас ничего не выйдет, — сказала Дубова.

— Проводите меня, Юрий Николаевич, — позвала Карсавина. — До свиданья, — сказала она Санину.

На мгновение их глаза встретились, и эта встреча почему-то и испугала, и была приятна Карсавиной.

— Увы! — говорила Дубова, уходя. — Кружок завял, не успев расцвести!

— А почему так? — грустно и растерянно спросил вдруг Соловейчик, столбом появляясь у всех на дороге.

Только теперь о нем вспомнили, и многих поразило странное потерянное выражение его лица.

— Послушайте, Соловейчик, — задумчиво сказал Санин, — я к вам приду как-нибудь поговорить.

— Поджалушта, — поспешно и обрадованно опять изогнулся Соловейчик.

На дворе, после светлой комнаты, было так темно, что не видно было стоящих рядом, и слышались только их громкие голоса.

Рабочие пошли отдельно от других, и, когда отошли далеко в темноту, Писцов засмеялся и сказал:

— Так-то вот... всегда у них так: соберутся дело делать, а каждый к себе тянет!.. Только этот здоровый мне понравился!

— Много ты понимаешь, когда образованные люди промеж себя разговор имеют... — дергая шей, точно его душило, возразил Кудрявый, и голос его был туп и озлоблен.

Писцов самоуверенно и насмешливо свистнул.

Соловейчик долго и тихо стоял на крыльце, смотрел в темное беззвездное небо и потирал худые пальцы.

За черными амбарами, гудя по железу крыш, ветер гнул вершины деревьев, толпившихся как призраки, а вверху, охваченные непоколебимо могучим движением, быстро ползли тучи. Их темные громады молча вставали на горизонте, громоздясь, поднимались на недостижимую высоту и тяжелыми массами валялись в бездну нового горизонта. Казалось, за краем черной земли нетерпеливо ждут их необозримые полки и один за другим, с развернутыми темными знаменами, грозно идут на неведомый бой. И по временам с беспокойным ветром доносился гул и грохот отдаленной битвы.

Соловейчик с детским страхом смотрел вверх и никогда так ясно, как в эту ночь, не чувствовал, какой он маленький, щупленький, как бы вовсе не существующий, среди бесконечно громадного, клубящегося хаоса.

— О, Бог, Бог! — вздохнул Соловейчик.

Перед лицом неба и ночи он был не тем, чем был на глазах людей. Куда-то исчезла тревожная угодливость искривленных движений, гнилые зубки, похожие на заискивающий оскал маленькой собачонки, скрылись под тонкими губами еврейского юноши, и его черные глаза смотрели печально и серьезно.

Он медленно прошел в комнаты, потушил лишнюю лампу, с неловким усилием поставил на место стол и аккуратно расставил стулья. По комнате волнами ходил жидкий табачный дым, на полу было много сору, растоптанных окурков папирос и обгорелых спичек. Соловейчик немедленно принес метлу и подмел пол, как всегда со странною задумчивой любовью стараясь сделать красивее и изящнее место, где жил. Потом достал из чулана старое ведро с помоями, накрошил туда хлеба и, перегибаясь всем телом, семеня ногами и размахивая рукой, пошел через темный двор.

Чтобы было светлее, он поставил на окно лампу, но во дворе все-таки было пусто и жутко, и Соловейчик был рад, когда добежал до конуры Султана.

Невидимый в темноте, мохнатый, распространяющий тепло Султан, кряхтя, вылез ему навстречу и печально и дико загремел железную цепью.

— А... Султан, кси! — подбадривая себя собственным громким голосом, вскричал Соловейчик. Султан впотьмах тыкался ему в руку холодной мокрой мордой.

— На, на... — сказал Соловейчик, подставляя ведро. Султан громко зачавкал и захлюпал в ведерке, а Соловейчик стоял над ним и грустно улыбался в темноту.

— И что же я могу? — думал он. — Разве я могу заставить людей думать не так, как они хотят?.. Я сам думал, что мне скажут, как надо жить и как думать!.. Бог не дал мне голоса пророка!.. Так что же я могу сделать?

Султан дружелюбно заворчал.

— Ешь себе, ешь... на! — сказал Соловейчик. — Я бы тебя спустил с цепи немножечко погулять, но у меня нет ключа, а я слабый!

— Какие все прекрасные, умные люди... и они много знают и имеют учение Христа, а... Или, может быть, я сам виноват: надо было сказать одно слово, а я не умел сказать такого слова!

Далеко, за городом, кто-то протяжно и тоскливо засвистал. Султан поднял голову и

прислушался. Слышно было, как крупные капли звучно падали с его морды в ведро.

— А, ешь, ешь себе... то поезд кричит! — сказал Соловейчик, угадывая его движение.

Султан тяжело вздохнул.

— И будут ли когда-нибудь люди жить так... или они совсем не могут, — громко заговорил Соловейчик, грустно пожимая плечами.

И ему представилось во мраке бесконечное, как вечность, море людей, выходящих из тьмы и уходящих во тьму. Ряд веков без начала и конца, и цепь страданий без просвета, без смысла и окончания. Там, вверху, где Бог, там вечное молчание.

Султан забренчал пустым ведром, перекинул его и со слабым звоном цепи замахал хвостом.

— А, съел?... Ну...

Соловейчик погладил жесткую клочковатую спину Султана, на минуту почувствовал под рукой живое, ласково изгибающееся тело и пошел к дому.

Где-то позади Султан гремел цепью; на дворе было как будто светлее, но оттого только еще чернее и страшнее казалось огромное черное здание мельницы, с ее вытянувшейся к небу трубой и узкими, похожими на гробы, амбарами. Длинная полоса света тянулась из окна через палисадник, и в ней виднелись неподвижные таинственные головки прекрасных и слабых цветов, пугливо замерших под буйным черным небом, зловеще развертывающих свои нескончаемые темные знамена.

Пронзенный тоскою, страхом, одиночеством и чувством невознаградимой потери, Соловейчик пришел в комнату, сел у стола и стал плакать.

XXVII

Распущенное человеческое тело, как острие обнаженного нерва, до боли обточенное почти насильственными наслаждениями, мучительно отзывалось на самое слово «женщина». Неизменно голая, неизменно возможная, она стояла перед Волошиным во все мгновения его жизни, и каждое женское платье, обтянутое на гибком, кругло полном теле самки, возбуждало его до болезненной дрожи в коленях.

Когда он ехал из Петербурга, где оставил множество роскошных и холеных женщин, еженощно мучивших его тело иступленными нагими ласками, и впереди вставало перед ним сложное и большое дело, от которого зависела жизнь множества людей, работавших на него, Волошину прежде всего и ярче всего была откровенная мечта о молоденьких, свежих самочках провинциальной глуши. Они рисовались ему робкими, пугливыми, крепкими, как лесные грибки, и еще издали он слышал их раздражающий запах молодости и чистоты.

И, несмотря на то что общество Зарудина казалось ему шокирующим, Волошин, как только освободился от голодных, грязных и тайно гневных людей, сейчас же освежил духами и белоснежной чистотой светлого костюма свое худосочное дряблое тело, взял извозчика и, содрогаясь от нетерпения, поехал к Зарудину.

Офицер сидел перед окном в сад, пил холодный чай и старался с наслаждением дышать мягкой вечерней прохладой, наплывающей из темного сада.

— Славный вечерок! — повторял он машинально, но мысль была далеко, и ему было неловко, страшно и стыдно.

Он боялся Лиды. Со дня их объяснения он ее не видал, и теперь она рисовалась совсем не такую, какую отдавалась ему.

— Как бы то ни было, а дело ведь не кончено еще!.. Так или иначе, надо же разделаться с младенцем... Или плюнуть? — робко спрашивал себя Зарудин.

Что она теперь делает?

Перед ним вставало красивое, но грозное и мстительное лицо девушки, с крепко сжатыми тонкими губами и загадочными темными глазами.

«А вдруг она выкинет какую-нибудь штуку... Такая так не оставит!.. Надо бы как-нибудь...»

Призрак неведомого, но ужасного скандала туманно вставал перед Зарудиным, и сердце его трусливо сжималось.

«Да что, собственно, она может мне сделать? — спрашивал он иногда, и тогда в его мозгу что-то прояснялось, становилось просто и ничуть не тяжело. — Утопится?.. Ну и черт с ней... я ее не силой тянул ведь!.. Скажет, что была моей любовницей?.. Так что ж!.. Это только свидетельствует о том, что я красивый мужчина... Жениться я на ней не обещал!.. Странно, ей-богу! — пожимал плечами Зарудин и в ту же минуту чувствовал, как темный жуткий гнет опять давит его душу. — Сплетни пойдут, никуда показаться нельзя будет!» — думал он и слегка дрожащей рукой машинально подносил ко рту стакан с холодным, приторно сладким чаем.

Он был такой же чистый, благоухающий и красивый, как всегда, но ему казалось, что на нем, на всем — на лице, на белоснежном кителе, на руках и даже на сердце — лежит какое-то грязное, все больше и больше расплывающееся пятно.

— Э, все пройдет со временем... не в первый раз! — успокаивал он себя, но что-то внутри не хотело этому поверить.

Волошин вошел, развязно шаркая подошвами и снисходительно скаля мелкие зубы, и сразу вся комната наполнилась запахом духов, табаку и мускуса, сменившим запах прохлады и зеленого сада.

— Ах, Павел Львович! — несколько испуганно вскочил Зарудин.

Волошин поздоровался, сел у окна и закурил сигару. Он был такой самоуверенный, по мнению Зарудина, — изящный и чистый, что офицер ощутил легкую зависть и изо всех сил постарался принять такой же беззаботный и самоуверенный вид. Но глаза его все время беспокойно бегали: с тех пор как Лида крикнула ему прямо в лицо «скотина!» — Зарудину все казалось, что каждый человек знает про это и в душе смеется над ним.

Волошин, улыбаясь и уверенно, но, неудачно остря, начал болтать о пустяках, но ему было трудно выдержать взятый тон, и нетерпеливое желание слова «женщина» быстро стало пробиваться сквозь все его остроты и рассказы о Петербурге и забастовавшей фабрике.

Воспользовавшись моментом закуривания новой сигары, он помолчал и выразительно поглядел в глаза Зарудину.

И из его глаз что-то гибкое и бесстыдное проникло в глаза офицера, и они поняли друг друга, Волошин поправил пенсне и улыбнулся, оскалив зубы. И сейчас же эта улыбка отразилась на красивом, обнаглевшем от нее лице Зарудина.

— А вы, я думаю, тут времени не теряете? — спросил Волошин, лукаво и определенно прищуривая глаз.

Зарудин ответил с хвастливо пренебрежительным движением плеч:

— О! Это уже как водится! Что же тут и делать еще?

Они засмеялись и помолчали. Волошин жадно ждал подробностей, и мелкая жилка судорожно билась под его левой коленкой, а перед Зарудиным мгновенно промелькнули подробности не того, чего хотел Волошин, а того, что так мучило его все эти дни.

Он слегка отвернулся в сад и застучал пальцами по подоконнику.

Но Волошин молча ждал, и Зарудин почувствовал необходимость опять попасть в нужный ему тон.

— Я знаю, — притворно самоуверенно начал он, — что вам, столичным жителям, кажется, что здешние женщины что-то особенное. Горько ошибаетесь! Правда, у них есть свежесть, но нет шику... нет, как бы это сказать... нет искусства любить!..

Мгновенно Волошин оживился, у него заблестели глаза и изменился голос.

— Да, конечно... Но все это надоедает в конце концов... У наших петербуржанок нет тела... Вы понимаете?.. Это комок нервов, а не женское тело, а здесь...

— Это-то так, — незаметно оживляясь, согласился Зарудин и самодовольно стал крутить усы.

— Снимите корсет с самой шикарной столичной дамы, и вы увидите... Да, вот вам... Вы знаете новый анекдот? — внезапно перебил себя Волошин.

— Какой?.. Не знаю... — с вспыхнувшим интересом нагнулся к нему Зарудин.

— А вот... Это очень характерно... Одна парижская кокотка...

И Волошин подробно и искусно рассказал утонченно бесстыдную историю, в которой обнаженная похоть и худая грудь женщины сплетались в такой угарный и кошмарный образ, что Зарудин стал нервно смеяться и весь дергаться, точно его кололи.

— Да, самое главное в женщине — это грудь! Женщина с плохим торсом для меня не существует! — закончил Волошин, закатывая глаза, подернувшись беловатым налетом.

Зарудин вспомнил грудь Лиды, такую нежную, бело-розовую, с упругими закруглениями, похожую на грозди неведомого прекрасного плода. Вспомнил он, как нравилось ей, когда он целовал ее грудь, и ему вдруг стало неловко говорить об этом с Волошиным и больно, грустно от сознания, что все это прошло и никогда не повторится.

Но чувство это казалось Зарудину недостойным мужчины и офицера, и, делая над собой усилие, он возразил неестественно преувеличивая:

— У всякого свой Бог!.. Для меня в женщине самое важное — спина, изгиб...

— Да! — протянул Волошин. — Знаете, у некоторых женщин, особенно очень молодых...

Денщик, тяжело ступая тяжелыми мужицкими сапогами, вошел зажечь лампу, и пока он возился у стола, звеня стеклом и чиркая спичками, Зарудин и Волошин молчали, и при разгорающемся свете лампы видны были только их блестящие глаза и нервно вспыхивающие огоньки папирос.

А когда денщик ушел, они опять заговорили, и слово «женщина», нагое и грязное, в извращенных и почти бессмысленных формах повисло в воздухе. Хвастовство самца овладело Зарудиным и, мучаясь нестерпимым желанием превзойти Волошина и похвастаться тем, какая роскошная женщина ему принадлежала, Зарудин, с каждым словом все больше и больше обнажая тайники своей похоти, стал рассказывать о Лиде.

И она встала перед Волошиным совершенно голая, бесстыдно раскрытая в глубочайших тайнах своего тела и страстей, опошленная, как скотина, выведенная на базар. Мысли их ползали по ней, лизали ее, мяли, издевались над ее телом и чувством, и какой-то вонючий яд сочился на эту прекрасную, дарящую наслаждением и любовью девушку. Они не любили женщину, не благодарили ее за данные наслаждения, а старались унижить и оскорбить ее, причинить самую гнусную и непередаваемую боль.

В комнате было душно и дымно. Их потные тела распространяли тревожный, тяжелый, нездоровый запах, глаза мутно блестели и голоса звучали прерывисто и подавленно, как хрипение осатаневших зверей. За окном тихо и ясно наступала лунная ночь, но весь мир, со всеми его красками, звуками и богатствами, куда-то ушел, провалился, и голая женщина одна осталась перед ними. И скоро их воображение стало так властно и требовательно, что им уже было совершенно необходимо увидеть эту Лиду, которую они теперь называли не Лидией и не Лидой, а Лидкой.

Зарудин велел запрячь лошадь, и они поехали на край города...

XXVIII

Письмо, на другой день присланное Зарудиным Лиде Саниной, в котором он просил позволения увидеться, неясно и неловко намекая, что многое еще можно изменить, попало в руки Марьи Ивановны, потому что горничная забыла его на столе в кухне.

И от страниц этого письма на чистый образ дочери, полный нежной святости, грязно и страшно надвинулась зловещая тень. И первое чувство Марьи Ивановны было — скорбное недоумение. А потом ей припомнилась собственная молодость, любовь и измены, тяжелые драмы, которые были пережиты в пору разочарования замужеством. Длинная цепь страданий, сплетенных жизнью, основанной на строгих законах и правилах, дотянулась до старости.

Это была серая полоса, с тусклыми пятнами скуки и горя, с оборванными краями обузданных желаний и мечтаний, что-то, чего никак нельзя было припомнить иначе, как ровным рядом дней за днями.

Но сознание, что дочь где-то прорвала прочную каменную стену этой серой пыльной жизни и, быть может, уже попала в яркий бурный водоворот, где радость и счастье хаотически переплетены со страданием и смертью, обьяло ужасом старую женщину.

И ужас разрешился гневом и тоскою. Если бы старуха могла, она схватила бы Лиду за шею, придавила бы ее к земле, силой втянула назад в серый каменный коридор своей жизни, где на солнечный мир прорезаны только безопасные крошечные оконца с железными решетками, и заставила бы опять начать ту же, безвозвратно прожитую ею самой, жизнь.

«Гадкая, дрянная, мерзкая девчонка!» — с отчаянием уронив руки на колени, думала Марья Ивановна.

Но сухая, маленькая и удобная мысль о том, что все это зашло не дальше известного, безопасного предела, вдруг пришла ей в голову. Лицо у нее стало тупым и как будто хитрым. Она принялась читать и перечитывать записку, но ничего не могла вывести из ее вычурно холодного слога. Тогда старая женщина, чувствуя свое бессилие, горько заплакала, поправила наколку и спросила горничную:

— Дунька, Владимир Петрович у себя?

— Чего? — звонко откликнулась Дунька.

— Дура, говорю, барин дома?

— Сейчас прошли в кабинет. Письмо пишут! — радостно доложила Дунька, точно это письмо было для нее величайшим наслаждением.

Марья Ивановна твердо и прямо посмотрела ей в глаза, и в добрых выцветших зрачках появилось злобное и тупое выражение.

— А ты, дрянь, если будешь у меня записки носить, так я тебя так проучу, что ты и своих не узнаешь...

Санин сидел и писал. Марья Ивановна не привыкла видеть его пишущим и, несмотря на свое горе, заинтересовалась.

— Что это ты пишешь?

— Письмо пишу, — подымая веселую спокойную голову, ответил Санин.

— Кому?

— Так... редактору одному знакомому... хочу опять к нему в редакцию.

— Да ты разве пишешь?

— Я все делаю, — улыбнулся Санин.

— А зачем тебе туда?

— Надоело мне уже у вас, мама, — с искренней усмешкой ответил Санин.

Легкая обида кольнула Марью Ивановну.

— Спасибо! — с обидчивой иронией сказала она.

Санин внимательно посмотрел на нее, хотел сказать, что она не такая же дура, чтобы не понимать, что человеку скучно сидеть на одном месте да еще без всякого дела, но промолчал. Ему показалось нудно объяснять ей такое простое дело.

Марья Ивановна вынула платок и долго молча мяла его тонкими старческими пальцами одряхлевшей породистой женщины. Если бы не было записки Зарудина и душа ее не была повержена в хаос сомнений и страхов, она горько и долго пеняла бы сыну за его резкость, но теперь ограничилась только трагически жалким сопоставлением:

— Да... Один, как волк, из дому тянет, а другая! И она махнула рукой.

Санин с любопытством поднял голову. Очевидно, старая житейская драма начинала разворачиваться дальше.

— А вы почему знаете? — спросил он, бросая перо.

И вдруг Марье Ивановне стало стыдно, что она прочла письмо дочери. На старых щеках выступил кирпичный румянец, и она нетвердо, но сердито ответила:

— Я, слава Богу, не слепая!.. Вижу... Санин подумал.

— Ничего вы не видите, — сказал он, — а в доказательство могу вас поздравить с законным браком вашей дочери... Она сама хотела вам сказать, да уж все равно...

Ему стало жаль, что в красивую молодую жизнь Лиды врывается еще одно мучение — старческая тупая любовь, способная замучить человека самой тончайшей и лютейшей пыткой.

— Что? — вся выпрямляясь, переспросила Марья Ивановна.

— Лида замуж выходит.

— За кого? — радостно и недоверчиво вскрикнула старуха.

— За Новикова... конечно...

— А... а как же...

— Да ну его к черту! — с внезапным раздражением вскрикнул Санин. — Не все ли вам равно... Что вы, чужую душу сторожить собираетесь!

— Нет, я только не понимаю, Володя... — смущенно и нерешительно оправдывалась старуха, сердце которой запело, непонятно почему, радостную для нее песню: «Лида замуж выходит, Лида замуж выходит!..»

Санин сурово пожал плечами.

— Чего ж тут не понимать... Любила одного, полюбила другого, завтра полюбит третьего... Ну и Бог с ней.

— Что ты говоришь! — с негодованием вскрикнула Марья Ивановна.

Санин встал спиной к столу и скрестил руки.

— А вы разве всю жизнь одного любили? — спросил он сердито.

Марья Ивановна поднялась, и на ее неумном старом лице выступила каменно-холодная гордость.

— Так с матерью не говорят! — резко выговорила она.

— Кто?

— Что кто?

— Кто не говорит? — глядя исподлобья, спросил Санин.

Он смотрел на мать и в первый раз сознательно заметил, какое у нее тупое и ничтожное выражение глаз и как нелепо торчит на голове всхохленная, как куриный гребень, наколка.

— Никто не говорит! — тупо, каким-то неживым голосом сказала она.

— Ну, а я говорю. Только и всего... — вдруг успокаиваясь и впадая в свое обычное

настроение, возразил Санин, отвернулся и сел.

— Вы свое от жизни взяли, а потому никакого права не имеете душить Лиду, — довольно равнодушно проговорил он, не оборачиваясь и принимаясь писать.

Марья Ивановна молчала и смотрела на Санина во все глаза, а куриный гребень еще нелепее хохлился у нее на голове. Мгновенно затирая все воспоминания о минувшей жизни, с ее молодыми сладострастными ночами, она закрыла себе глаза одной фразой: «Как он смеет так говорить с матерью!» — и не знала, что ей делать дальше. Но прежде чем она решила, успокоившийся Санин повернулся, взял ее за руку и ласково сказал:

— Оставьте вы все это... А Зарудина гоните вон, а то он действительно каких-нибудь пакостей наделает...

Мягкая волна прошла по сердцу Марьи Ивановны.

— Ну Бог с тобой, — произнесла она. — Я рада... мне Саша Новиков всегда нравился... А Зарудина, конечно, принимать нельзя, хотя бы из уважения к Саше.

— Хотя бы из уважения к Саше, — смеясь одними глазами, согласился Санин.

— А где Лида? — уже со спокойной радостью спросила Марья Ивановна.

— В своей комнате.

— А Саша? — с нежностью выговаривая имя Новикова, прибавила мать.

— Не знаю, право... пошел... — начал Санин, но в это время в дверях появилась Дунька и сказала:

— Там Виктор Сергеевич пришли с чужим барином.

— А... Гони ты их в шею, — посоветовал Санин. Дунька застенчиво хихикнула.

— Что вы, барин, разве можно!

— Конечно, можно... На кой черт они нам сдались! Дунька закрылась рукавом и ушла.

Марья Ивановна выпрямилась и стала как бы моложе, но глаза ее приобрели еще более тупое и животное выражение. В душе ее моментально, с удивительной легкостью и чистотой, точно она ловко передернула карту, произошла полная перемена: насколько теплело ее сердце к Зарудину раньше, когда она думала, что офицер женится на Лиде, настолько оно стало неприязненно холодным теперь, когда выяснилось, что мужем Лиды будет другой мужчина, а этот мог быть только ее любовником.

Когда мать повернулась к выходу, Санин посмотрел на ее каменный, с серым недоброжелательным глазом, профиль и подумал: «Вот животное!»

Потом сложил бумагу и пошел за ней. Ему было очень любопытно посмотреть, как сложится и разовьется новое запутанное и трудное положение, в которое поставили себя люди.

Зарудин и Волошин встали навстречу с утрированной любезностью, лишеной той свободы, которой пользовался Зарудин в доме Саниных прежде. Волошину было несколько неловко, потому что он пришел с известной мыслью о Лиде и эту мысль приходилось скрывать. Но неловкость эта только еще больше волновала его.

А на лице Зарудина сквозь напускные развязность и нахальство ясно выступала робкая тоска. Он сам чувствовал, что не надо было приходиться; ему было стыдно и страшно: он не

мог представить себе, как встретится с Лидой, и в то же время ни за что на свете не выдал бы этих чувств Волошину и не отказался бы от привычного самоуверенного, ничем не дорожающего мужчины, который может сделать с женщиной что угодно. Временами он прямо ненавидел Волошина, но шел за ним, как прикованный, не имея сил показать свою настоящую душу.

— Дорогая Марья Ивановна, — неестественно показывая белые зубы, сказал Зарудин, — позвольте вам представить моего хорошего приятеля, Павла Львовича Волошина...

При этом он угодливо, с неуловимо подмигивающей черточкой в самых уголках глаз и губ, улыбнулся Волошину.

Волошин поклонился, ответив Зарудину тою же улыбкой, но более заметно и почти нагло.

— Очень приятно, — холодно сказала Марья Ивановна. Скрытая неприязнь холодком скользнула из ее глаз на Зарудина, и осторожно чуткий офицер сейчас же это заметил. Мгновенно исчезла последняя его самоуверенность, и поступок их, окончательно потеряв игривую забавность, стал казаться ему невозможным и нелепым.

«Эх, не надо было приходить!» — подумал он и тут, впервые, ясно вспомнил то, о чем забывал, возбужденный обществом для него недостижимо великолепного Волошина. Ведь сейчас войдет Лида!.. Ведь это та самая Лида, которая была с ним в связи, беременна от него, мать его собственного будущего ребенка, который так или иначе, а ведь родится же когда-нибудь! И что же он ей скажет и как посмотрит на нее?.. Сердце Зарудина робко сжалось и тяжелым комом надавило куда-то вниз.

«А вдруг она уже знает? — с ужасом подумал он, уже не смея взглянуть на Марью Ивановну, и весь стал ерзать, шевелиться, закуривая папиросу, двигая плечами и ногами и бегая глазами по сторонам. — Эх, не надо было идти!»

— Надолго к нам? — величаво холодно спрашивала Марья Ивановна Волошина.

— О, нет, — развязно и насмешливо глядя на провинциальную даму, отвечал Волошин и, вывернув ладонь, ловко вставил в угол сигару, дым которой шел прямо в лицо старухи.

— Скучно вам у нас покажется... после Питера...

— Нет, отчего же... Мне тут очень нравится, такой, знаете, патриархальный городок...

— Вот вы за город съездите, у нас места есть великолепные... И купанье, и катанье...

— О, непременно-с! — насмешливо подчеркивая «с», но уже скучливо воскликнул Волошин.

Разговор не вязался и был тяжел и нелеп, как улыбающаяся картонная маска, из-под которой смотрят враждебные и скучные глаза.

Волошин стал поглядывать на Зарудина, и смысл его взглядов был понятен не только офицеру, но и Санину, внимательно наблюдавшему за ними из угла.

Мысль, что Волошин перестанет думать о нем, как о ловком, остроумно нахальном человеке, способном на все, оказалась сильнее тайной боязни Зарудина.

— А где же Лидия Петровна? — с самоотверженным усилием спросил он, опять без нужды весь приходя в движение.

Марья Ивановна посмотрела на него с удивленной неприязнью.

«А тебе какое дело, раз не ты на ней женишься!» — сказали ее глаза.

— Не знаю... У себя, должно быть, — холодно ответила она. Волошин опять выразительно посмотрел на Зарудина. «Нельзя ли как-нибудь вытребовать Лидку эту поскорее, а то старушенция мало занимательна!» — мысленно сказал он. Зарудин раскрыл рот и беспомощно шевельнул усами.

— Я так много лестного слышал о вашей дочери, — осклабляя гнилые зубки, любезно нагибаясь всем корпусом вперед и потирая руки, заговорил Волошин сам, — что надеюсь иметь честь быть ей представленным?

Марья Ивановна скользнула взглядом по неуловимо изменившемуся лицу Зарудина и инстинктивно поняла, что именно мог слышать этот гнилообразный, наглый человечек о ее кристально чистой и нежно святой Лиде. Мысль эта была так остра, что мгновенно приблизила к ней страшное предчувствие падения Лиды и обняла беспомощным ужасом. Она растерялась, и глаза ее стали в это время человечнее и мягче.

«Если их не прогнать отсюда, — подумал в эту минуту Санин, — то они причинят еще много горя и Лиде, и Новикову...»

— Я слышал, что вы уезжаете? — вдруг спросил он, задумчиво глядя в пол.

Зарудин удивился, как не пришла ему самому в голову такая простая и удобная мысль.

«А!.. Взять отпуск месяца на два...» — мелькнуло у него в мозгу, и Зарудин поспешно ответил:

— Да, собираюсь... Надо бы отдохнуть, проветриться... знаете... Заплесневеешь на одном месте!

Санин вдруг засмеялся. Весь этот разговор, в котором ни одно слово не выражало того, что чувствовали и думали люди, вся его никого не обманывающая ложность и то, что все, явно видя, что никто не верит, продолжали обманывать друг друга, рассмешили его. И решительное, веселое чувство свободной волной прихлынуло к его душе.

— Скатертью дорога, — сказал он первое, что пришло ему в голову.

И как будто со всех слетел строгий, крахмальный костюм, все три человека мгновенно изменились. Марья Ивановна побледнела и стала меньше, в глазах Волошина мелькнуло трусливо животное чувство, превратившее его в насторожившегося зверька, а Зарудин тихо и неуверенно поднялся со своего места. Живое движение прошло по комнате.

— Что? — подавленным голосом спросил Зарудин, и голос его был тот самый, который не мог быть несвойствен ему в эту минуту.

Волошин испуганно и мелко засмеялся, острыми пугливыми глазками отыскивая свою шляпу. Санин, не отвечая Зарудину, с веселым и злым лицом, нашел шляпу Волошина и подал ему. Волошин раскрыл рот, и из него вышел тоненький придавленный звук, похожий на жалобный писк.

— Как это понять? — с отчаянием крикнул Зарудин, совершенно теряя почву. «Скандал!» — пронеслось в его помертвелом мозгу.

— Так и понимайте, — сказал Санин, — вы тут совершенно не нужны, и вы доставите всем большое удовольствие, если уберетесь отсюда.

Зарудин шагнул вперед. Лицо его стало страшно, и белые зубы осклабились зловеще и

зверино.

— А-а... вот как... — проговорил он, судорожно задыхаясь.

— Пошел вон, — с презрением, коротко и твердо ответил Санин.

И в голосе его послышалась такая стальная и страшная угроза, что Зарудин отступил и замолчал, нелепо и дико вращая зрачками.

— Это черт знает что такое... — негромко пробормотал Волошин и поспешно направился к дверям, пряча голову в плечи.

Но в дверях показалась Лида.

Никогда, ни прежде, ни после, она не чувствовала себя такой униженной, точно голая рабыня, из-за которой на рынке разодрались самцы. В первую минуту, когда она узнала о приходе Зарудина с Волошиным и отчетливо поняла смысл этого прихода, чувство физического унижения было так велико, что она нервно зарыдала и убежала в сад, к реке, с вновь возникшей мыслью о самоубийстве.

«Да что же это!.. Неужели этому еще не конец!.. Неужели я совершила такое ужасное преступление, что оно никогда не простится, и всегда всякий будет иметь право...» — чуть не закричала она, заломив над головой руки.

Но в саду было так ясно и светло, так мирно жили там яркие цветы, пчелы и птицы, так голубело небо, так блестела у осоки вода, и так обрадовался фокстерьер Милль тому, что она побежала, что Лида опомнилась. Она вдруг инстинктивно вспомнила, что и всегда так же охотно и жадно бегали за ней мужчины, вспомнила свое оживление, которое напрягало все ее тело под взглядами этих мужчин, и потом совсем сознательно в ней пробудилось чувство гордости и правоты.

«Ну что ж, — подумала она, — какое мне дело... он так он... ну любила, теперь разошлись... И никто никогда не смеет меня презирать!»

Она круто повернулась к дому и пошла.

В дверях Лида появилась не такую, какую привыкли видеть ее чужие люди. Но как всегда, вместо обычной модной и вычурной прически, у нее на спине мягко спускалась толстая и пышная коса, вместо изящного изощренного туалета, на груди и плечах легко и просто была легкая кофточка, наивно показывавшая освобожденное прекрасное тело, и вся она, в этом миллом, простом, домашнем виде была как-то неожиданно прекрасна и обаятельна.

Странно улыбаясь улыбкой, делавшей ее похожей на брата, Лида как будто спокойно перешагнула порог и сказала звучным и красивым голосом, с особенно милыми девичьими нотками:

— Вот и я... Куда же вы?.. Виктор Сергеевич, бросьте фуражку!..

Санин замолчал и с любопытным восторгом, широко открыв глаза, глядел на сестру.

«Это еще что!» — подумал он.

Какая-то внутренняя сила, и грозная, и милая, и непреоборимая, и женственно-нежная, вошла в комнату. Точно укротительница вошла в клетку разодравшихся диких зверей. Мужчины вдруг стали мягки и покорны.

— Видите ли, Лидия Петровна... — с замешательством проговорил Зарудин.

И как только он заговорил, мило жалкое, беспомощное выражение скользнуло по лицу Лиды. Она быстро взглянула на него, и вдруг ей стало невыносимо больно. Болезненно чувствительный оттенок физической нежности проснулся в ней, и мучительно захотелось на что-то надеяться. Но это желание мгновенно же сменилось острой животной необходимостью доказать ему, как много он сам потерял и как она все-таки прекрасна, несмотря на горе и унижение, которое он причинил ей.

— Ничего я не хочу видеть! — и в самом деле почти закрывая красивые глаза, властно и несколько театрально произнесла Лида.

С Волошиным сделалось что-то странное: эта прелестная теплота, шедшая от едва прикрытого, нежного женского тела, открывшегося в неожиданной милой домашней красоте, разварила все его существо. Острый язычок мгновенно облизал его пересохшие губы, глазки сузились, и все тело под просторным светлым костюмом отекло в бессильном физическом восторге.

— Представьте же... — сказала Лида, через плечо поворачивая к нему большие девичьи глаза, мягко и своевольно оттененные ресницами.

— Волошин... Павел Львович... — пробормотал Зарудин.

«И такая красавица была моей любовницей!» — и с искренним восторгом, и с хвастливым чувством перед Волошиным, и с легким уколом сознания невозвратимой потери мелькнуло в нем.

Лида медленно повернулась к матери.

— Мама, вас там спрашивают... — сказала она.

— Мне не до... — начала Марья Ивановна.

— Я говорю... — перебила Лида, и в голосе ее неожиданно зазвучали слезы.

Марья Ивановна торопливо встала. Санин смотрел на Лиду, и ноздри его раздувались широко и сильно.

— Господа, пойдемте в сад... Тут жарко! — сказала Лида и, как прежде, не глядя, идут ли за ней, пошла на балкон.

Мужчины как загипнотизированные двинулись за ней, и было похоже, точно она опутала их своей косой и насильно ведет куда хочет. Волошин шел впереди, восхищенный и обостренный, позабыв все на свете, кроме нее.

Лида села под липой в качалку и вытянула маленькие ноги в желтых туфельках на просвечивающих черных чулках. В ней как будто было два существа: одно томилось от стыда, обиды и тоски, другое упрямо принимало сознательно возбуждающие позы, одну красивее и гибче другой. И первое с омерзением смотрело и на себя, и на мужчин, и на всю жизнь.

— Ну, Павел Львович... какое впечатление производит на вас наша глушь? — щуря глаза, спрашивала Лида.

Волошин быстро скрестил и потер пальцы.

— Такое, какое, вероятно, испытывает человек в глухом лесу, наткнувшийся на роскошный цветок! — ответил он.

И между ними начался легкий, пустой и насквозь лживый разговор, в котором все то, что произносилось вслух, было ложью, а все то, о чем умалчивали, было правдой. Санин молчал и слушал именно тот молчаливый и настоящий разговор, который без слов скользил по лицам, по рукам и ногам, по звукам голоса и его дрожи. Лида страдала, Волошин мучительно и неудовлетворенно наслаждался ее красотой и запахом. А Зарудин уже ненавидел и ее, и Санина, и Волошина, и весь мир, хотел уйти и не уходил, хотел сделать что-то грубое и курил папиросу за папиросой. И почему-то нестерпимая потребность, чтобы Лида открыто предстала всем, как его любовница, беспросветно зло надавила его мозг.

— И так вам нравится у нас, вы не жалеете, что покинули Петербург? — спрашивала Лида.

Быть может, эта пытка была мучительнее всего, и ей самой странно было, что она не встает, не уходит.

— Mais au contraire![1] — возражал Волошин, кокетливо разводя руками и наводя глаз на грудь Лиды.

— Без фраз! — с кокетливо повелительным жестом сказала Лида, и опять в ней боролись два существа: одно вызвало краску на лице, другое еще выпуклее и неуловимо бесстыднее выставило грудь навстречу обнажающему взгляду.

«Ты думаешь, что я очень несчастна... что я убита! Так на же, смотри! Вы таковы, так и я буду такой!» — с внутренними слезами мысленно говорила она Зарудину.

— О, Лидия Петровна! — с ненавистью отозвался Зарудин. — Какие уж тут фразы!

— Вы, кажется, что-то сказали? — холодно спросила Лида и, быстро меняя тон, опять обернулась к Волошину.

— Расскажите мне о петербургской жизни... У нас ведь не жизнь, а прозябание!

Зарудин почувствовал, что Волошин слегка усмехнулся в его сторону, и подумал, что Волошин уже не верит в то, что Лида была его любовницей.

«Ага, ага... так... хорошо!» — с невероятной злобой сказал он себе.

— Наша жизнь? О, эта знаменитая «петербургская жизнь»!.. Волошин легко и быстро болтал и производил впечатление маленькой глупенькой обезьянки, что-то лопочущей на своем пустом малопонятном языке.

«Кто знает!» — думал он, с затаенной надеждой глядя на лицо, грудь и широкие бедра Лиды.

— Могу вам дать честное слово, Лидия Петровна, что наша жизнь очень бледна и скучна... До сегодняшнего дня, впрочем, я думал, что и всякая жизнь скучна, независимо от того, где живет человек — в столице или в деревне...

— Будто? — полузакрывает глаза Лида.

— Что дает жизнь, так это — прекрасная женщина! А женщины больших городов, ах, если бы вы их видели!.. А знаете, я убежден, что если что когда-либо спасет мир, то это красота! — неожиданно, но считая это очень уместным, понятным и остроумным, прибавил Волошин.

На его лице установилось бессмысленное разгоряченное выражение, и он болтал срывающимся голосом, беспрестанно возвращаясь к одному и тому же, к женщине, о которой он говорил так, точно тайком непрестанно раздевал и насиловал ее. И Зарудин, подмечая это выражение, вдруг почувствовал смутную ревность. Он краснел и бледнел и не мог стоять на месте, неровно и странно переходя с места на место посередине аллеи.

— Наши женщины так похожи одна на другую, они так исковеркались и ошаблонились!.. Найти что-нибудь, способное вызвать действительное преклонение перед красотой... не то, знаете, специфическое чувство, а действительно чистое, искреннее поклонение, какое испытываешь перед статуей, в больших городах невозможно!.. Для этого надо пуститься именно в глушь, где жизнь — еще нетронутая почва, способная давать пышные цветы!

Санин невольно почесал затылок и переложил ногу на ногу.

— А к чему им здесь и расцветать, когда их рвать некому! — возразила Лида.

«Ага! — с интересом подумал Санин. — Вот куда она ведет!..»

Ему была ужасно интересна эта грубовато тонкая игра чувств и желаний, и ясно, и в то же время неуловимо развертывающаяся пород ним.

— То есть?

— Ну да, я говорю серьезно! Кто срывает наши печальные цветы? Что это за люди, которых мы делаем своими героями! — вырвалось у Лиды совершенно искренно и трогательно грустно.

— Вы к нам безжалостны! — невольно отозвался на скрытые нотки ее голоса Зарудин.

— Лидия Петровна права! — с одушевлением поддержал Волошин, но сейчас же спохватился и трусливо оглянулся на Зарудина.

Лидия захохотала, и ее горящие местью и стыдом и тоской глаза грозно и печально впились в лицо Зарудину. А Волошин опять болтал, и слова его сыпались, прыгали и дробились, как стая каких-то чепушистых уродцев, Бог весть откуда набежавших сюда.

Уже он говорил о том, что женщина с прекрасным телом может, не возбуждая грязных желаний, появляться на улицу голой, и видно было, как хотелось ему, чтобы этою женщиной была Лида и чтобы голой появилась она именно для него.

А Лида смеялась, перебивала его, и в ее высоком смехе слышался стыд и слезы обиды и тоски.

Было жарко, и солнце высоко и прямо смотрело в сад, и листья тихо-тихо покачивались, точно волнуясь знойными, но скованными ленью желаниями. А под ними хорошенькая, молоденькая беременная женщина с тайными слезами и муками старалась отомстить за поруганную страсть и чувствовала, что это не удастся, и страдала бессильным стыдом; один слабосильный, трусливый самец мучился в потугах высказываемого и скрываемого сладострастного желания, а другой страдал от ревнивой и унижающей злобы.

Санин сидел в стороне, в мягкой и зеленой тени липы, и спокойно смотрел на них.

— Однако нам пора, — наконец не выдержал Зарудин. Сам не зная почему, он чувствовал во всем — в смехе, в глазах, в дрожи пальцев Лиды — скрытые удары по лицу, и злоба к ней, ревность к Волошину и физическая тоска безвозвратной потери истомили его.

— Уже? — спросила Лида.

Волошин, сладко жмурясь, улыбался и тонким языком облизывал губы.

— Что делать... Виктору Сергеевичу, очевидно, нездоровится, — насмешливо, воображая себя победителем, сказал он.

Они стали прощаться. Когда Зарудин наклонился к руке Лиды, он вдруг шепнул:

— Прощай!

Он сам не знал, зачем это сделал, но никогда так не любил и не ненавидел Лиду, как в эту минуту. И в душе Лиды ответно что-то замерло и задрожало, в желании расстаться с грустной и нежной благодарностью за пережитые вместе наслаждения, без всяких местей, злб и ненавистей. Но она подавила это чувство и ответила безжалостно и громко:

— Прощайте!.. Счастливого пути, Павел Львович, не забывать!

Слышно было, как Волошин нарочно громче, чем нужно, сказал:

— Вот женщина, она опьяняет, как шампанское!..

Они ушли, а когда шаги их стихли, Лида села в качалку, но совсем не так, как прежде, а сгорбившись и вся дрожа. Тихие, какие-то особенно трогательные девические слезы полились у нее по лицу. И почему-то Санину припомнился трогательно задумчивый образ русской девушки, с ее пышной косой, безотрадной жизнью и кисейным рукавом, которым она тайком где-нибудь, по весне, над обрывом разлива, утирала свои слезы. И то, что этот старинный наивный образ был совсем не свойствен обычной Лиде, с ее модными высокими прическами и изящными кружевными платьями, особенно было трогательно и жалко.

— Ну что ты! — сказал Санин, подходя и беря ее за руку.

— Оставь... какая ужасная штука жизнь... — выговорила Лида и наклонилась к самым коленям, закрыв лицо руками. Мягкая коса тихо свернулась через плечо и упала вниз.

— Тьфу! — сердито сказал Санин. — Стал бы я из-за таких пустяков!..

— Неужели нет... других, лучших людей! — опять проговорила Лида.

— Конечно, нет, — улыбнулся Санин, — человек гадок по природе... Не жди от него ничего хорошего, и тогда то дурное, что он будет делать, не будет причинять тебе горя...

Лида подняла голову и посмотрела на него заплаканными красивыми глазами.

— А ты не ждешь? — спокойнее и задумчивее спросила она.

— Конечно, нет, — отвечал Санин, — я живу один...

XXIX

На другой день простоволосая и босая Дунька, с застывшим выражением испуга в глупых глазах, прибежала к Санину, чистившему дорожку в саду, и, очевидно повторяя чужие слова, сказала:

— Владимир Петрович, вас желают видеть господ ахвицеры... Санин не удивился, потому что ждал того или иного вызова от Зарудина.

— И очень желают? — шутя, спросил он Дуньку.

Но Дунька, видимо, знала что-то страшное и, против обыкновения, не закрылась рукавом, а взглянула ему прямо в глаза с выражением испуганного участия.

Санин поставил лопату к дереву, снял и перетянул пояс и, по своей манере слегка раскачиваясь на ходу, пошел в дом.

«Экие дураки... ведь вот идиоты!» — с досадой думал он о Зарудине и его секундантах, но это было не ругательством, а выражением его искреннего мнения.

Когда он проходил через дом, из дверей своей комнаты вышла Лида и стала на пороге. У нее было напряженное бледное лицо и страдальческие глаза. Она пошевелила губами, но ничего не сказала. В эту минуту она чувствовала себя самой несчастной и самой преступной женщиной в мире.

В гостиной, в кресле, беспомощно сидела Марья Ивановна. И у нее было испуганное несчастное лицо, и куриный гребень наколки растерянно свисал набок. Она тоже поглядела на Санина умоляющими, испуганными глазами, так же пошевелила губами и так же промолчала.

Санин улыбнулся ей, хотел остановиться, но раздумал и прошел дальше.

Танаров и фон Дейц сидели в зале, на стульях возле первого от двери окна, и сидели не так, как садились всегда, а поджав ноги и выпрямившись, точно им было страшно неловко в их белых кителях и узких синих рейтузах. При входе Санина они медленно и нерешительно поднялись, очевидно не зная, как вести себя дальше.

— Здравствуйтесь, господа, — сказал Санин громко, подходя и протягивая руку.

Фон Дейц на секунду замялся, но Танаров быстро и преувеличенно поклонился, пожимая руку так, что перед Саниним мелькнул его подстриженный затылок.

— Ну что скажете хорошего? — спросил Санин, замечая ту особую предупредительную готовность Танарова и дивясь тому, как ловко и уверенно проделывал этот офицер глупость фальшивой церемонии.

Фон Дейц выпрямился и придал холодный вид своей лошадиной физиономии, но сконфузился. И странно было, что заговорил прямо и уверенно всегда молчаливый и застенчивый Танаров.

— Наш друг, Виктор Сергеевич Зарудин, сделал нам честь, поручив за него объясниться с вами, — сказал он отчетливо и холодно, как будто внутри его пошла в ход заведенная машина.

— Ага! — произнес Санин, широко открывая рот и с комической важностью.

— Да-с, — слегка опуская брови, упрямо и твердо продолжал Танаров, — он находит, что ваше поведение относительно него было не совсем...

— Ну да... понимаю... — быстро теряя терпение, перебил Санин, — я его прогнал почти что в шею... чего уж тут «не совсем»!

Танаров сделал усилие, чтобы что-то понять, но не смог и продолжал:

— Да-с... Он требует, чтобы вы взяли свои слова назад.

— Да... да... — почему-то счел нужным прибавить длинный фон Дейц и как журавль переступил с ноги на ногу.

— Как же я их возьму? Слово не воробей, вылетит — не поймаешь! — смеясь одними глазами, возразил Санин.

Танаров недоуменно помолчал, глядя прямо в глаза Санину. «Однако какие у него злые глаза!» — подумал Санин.

— Нам не до шуток... — сердито, точно сразу поняв что-то и густо багровея, вдруг быстро проговорил Танаров. — Угодно вам взять ваши слова обратно или нет?

Санин помолчал.

«Форменный идиот!» — подумал он даже с грустью, взял стул и сел.

— Я, пожалуй, и взял бы свои слова обратно, чтобы доставить Зарудину удовольствие и успокоить его, — серьезно заговорил он, — тем более что мне это ровно ничего не стоит... Но, во-первых, Зарудин глуп и поймет это не так, как надо, и, вместо того чтобы успокоиться, будет злорадствовать, а во-вторых, Зарудин мне решительно не нравится, а при таких обстоятельствах и слов назад брать не стоит...

— Так-с... — сквозь зубы злорадно протянул Танаров. Фон Дейц испуганно поглядел на него, и с его длинной физиономии сползли последние краски. Она стала желта и деревянна.

— В таком случае, — повышая голос и придавая ему угрожающий оттенок, начал Танаров.

Санин с внезапной ненавистью оглядел его узкий лоб и узкие рейтузы и перебил:

— Ну и так далее... знаю... Только драться с Зарудиным я не буду.

Фон Дейц быстро повернулся. Танаров выпрямился и, принимая презрительный вид, спросил, отчеканивая слоги:

— По-че-му?.

Санин засмеялся, и ненависть его прошла так же быстро, как и явилась.

— Да потому... Во-первых, я не хочу убивать Зарудина, а во-вторых, и еще больше, не хочу сам умирать.

— Но... — кривя губы, начал Танаров.

— Да не хочу, и баста! — сказал Санин, вставая. — Стану я еще вам объяснять, почему!.. Очень мне надо!.. Не хочу... ну?

Глубочайшее презрение к человеку, который не хочет драться на дуэли, смешалось в Танарове с непоколебимым убеждением, что никто, кроме офицера, и не способен быть настолько храбрым и благородным, чтобы драться. А потому он несколько не удивился, а, напротив, даже как будто обрадовался.

— Это ваше дело, — сказал он, уже не скрывая и даже преувеличивая презрительное выражение, — но я должен вас предупредить...

— И это знаю, — засмеялся Санин, — но этого я уже прямо не советую Зарудину...

— Что-с? — усмехаясь, переспросил Танаров, беря с подоконника фуражку.

— Не советую меня трогать, а то я его так побью, что...

— Послушайте! — вдруг вспыхнул фон Дейц. — Я не могу позволить... вы издеваетесь!.. И неужели вы не понимаете, что отказываться от вызова это... это...

Он был красен, как кирпич, и тусклые глаза глупо и дико пучились из орбит, а на губах

показался маленький слюнный водоворотик.

Санин с любопытством посмотрел ему в рот и сказал:

— А еще человек считает себя поклонником Толстого! Фон Дейц вскинул головой и затрясся.

— Я вас попрошу! — с визгом прокричал он, мучительно стыдясь, что кричит на хорошего знакомого, с которым недавно говорил о многих важных и интересных вопросах. — Я вас попрошу оставить... Это не относится к делу!

— Ну нет, — возразил Санин, — даже очень относится!

— А я вас попрошу, — с истерическим воплем закричал фон Дейц, брызгая слюной, — это совсем... и одним словом...

— Да ну вас! — с неудовольствием отодвигаясь от брызгавшей слюны, сказал Санин. — Думайте, что хотите, а Зарудину скажите, что он дурак...

— Вы не имеете права! — отчаянным плачущим голосом взвыл фон Дейц.

— Хорошо-с, хорошо-с... — с удовольствием проговорил Танаров. — Идем.

— Нет, — тем же плачущим голосом и бестолково размахивая длинными руками, кричал фон Дейц, — как он смеет... это прямо... это...

Санин посмотрел на него, махнул рукой и пошел прочь.

— Мы так и передадим нашему другу... — сказал ему вслед Танаров.

— Ну так и передайте, — не оборачиваясь, ответил Санин и ушел.

«Ведь вот дурак, а как попал на своего дурацкого конька, какой стал сдержанный и толковый!» — подумал Санин, слыша, как Танаров уговаривает кричащего фон Дейца.

— Нет, это нельзя так оставить! — кричал длинный офицер, с грустью сознавая, что благодаря этой истории потерял интересного знакомого, и не зная, как это поправить, а оттого еще больше озлобляясь и, очевидно, портя дело вконец.

— Володя... — тихо позвала из дверей Лида.

— Что? — остановился Санин.

— Иди сюда... мне нужно...

Санин вошел в маленькую комнату Лиды, где было полутемно и зелено от закрывающих окно деревьев, пахло духами, пудрой и женщиной.

— Как у тебя тут хорошо! — сказал Санин, страстно и облегченно вздыхая.

Лида стояла лицом к окну, и на ее плечах и щеке мягко и красиво лежали зеленые отсветы сада.

— Ну что тебе нужно? — ласково спросил Санин. Лида молчала и дышала часто и тяжело.

— Что с тобой?

— Ты не будешь... на дуэли? — сдавленным голосом спросила Лида, не оборачиваясь.

— Нет, — коротко ответил Санин. Лида молчала.

— Ну и что же?

Подбородок Лиды задрожал. Она разом повернулась и задыхающимся голосом быстро и несвязно проговорила:

— Этого я не могу, не могу понять...

— А... — морщась, возразил Санин, — очень жаль, что не понимаешь!..

Злая и тупая человеческая глупость, охватывающая со всех сторон, исходящая равно и от злых, и от добрых, и от прекрасных, и от безобразных людей, утомила его. Он повернулся и ушел.

Лида посмотрела ему вслед, а потом ухватилась обеими руками за голову и повалилась на кровать. Длинная темная коса, словно мягкий пушистый хвост, красиво разметалась по белому чистому одеялу. В эту минуту Лида была так красива, так сильна и гибка, что, несмотря на отчаяние и слезы, выглядела удивительно живой и молодой; в окно смотрел пронизанный солнцем зеленый сад; комнатка была радостна и светла. Но Лида не видела ничего.

XXX

Был тот особенный вечер, какой только изредка бывает на земле и кажется спустившимся откуда-то, с прозрачного и величественно прекрасного голубеющего неба. Невысокое солнце второй половины лета уже зашло, но было еще совсем светло, и воздух был удивительно чист и легок. Было сухо, но в садах неведомо откуда появилась обильная роса; пыль с трудом поднималась, но стояла в воздухе долго и лениво; было и душно, и прохладно уже. Все звуки разносились легко и быстро, как на крыльях.

Санин без шапки, в своей широкой голубой, но уже позеленевшей на плечах рубашке, прошел по пыльной улице и длинному, заросшему крапивой переулку к дому, где жил Иванов.

Иванов, серьезный и широкоплечий, с длинными прямыми, как солома, волосами, сидел перед окном в сад, где все больше увлажнялась росой и опять зеленела запылившаяся за день зелень, и методично набивал папиросы табаком, от которого на сажень вокруг хотелось чихать.

— Здравствуй, — сказал Санин, облачиваясь на подоконник.

— Здорово.

— А меня на дуэль вызвали, — сказал Санин.

— Доброе дело! — ответил Иванов невозмутимо. — Кто и за что?

— Зарудин... Я его из дому выгнал, ну он и обиделся.

— Так, — сказал Иванов. — Будешь, значит, драться? Подерись, я секундантом буду... пусть другу нос отстрелят.

— Зачем... Нос — благородная часть тела... Не буду я драться! — смеясь, возразил Санин.

— И то хорошо, — кивнул головой Иванов, — зачем драться, драться не следует!

— А вот моя сестрица Лида иначе рассуждает, — улыбнулся Санин.

— Потому — дура! — убежденно возразил Иванов. — Сколько в каждом человеке этой глупости сидит!

Он набил последнюю папиросу и сейчас же закурил ее, остальные собрал, уложил в кожаный портсигар и, сдунув табак с подоконника, вылез в окно.

— Что будем творить? — спросил он.

— Пойдем к Соловейчику, — предложил Санин.

— А ну его, — поморщился Иванов.

— Что так?

— Не люблю я его!.. Слизняк!..

— Многим ли хуже всех других? — махнул рукой Санин. — Ничего... пойдем.

— Ну пойдем, мне что! — согласился Иванов так же быстро, как он всегда соглашался со всем, что говорил Санин.

И они пошли по улицам, оба здоровые и высокие, с широкими плечами и веселыми голосами.

Но Соловейчика не оказалось дома. Флигель был заперт, во дворе пусто и мертво, и только Султан громыхал у амбара цепью и одиноко лаял на чужих людей, неведомо зачем ходивших по двору.

— Экая мерзость тут, — сказал Иванов. — Пойдем на бульвар.

Они ушли, затворив калитку, а Султан, тьякнув еще раза два, сел перед будкой и печально стал смотреть на свой пустой двор, на мертвую мельницу и белые узкие и кривые дорожки, змеившиеся по низкой пыльной траве.

В городском саду по обыкновению играла музыка. На бульваре было уже совсем прохладно и легко. Гуляющих было много, и их темная толпа, как бурьян цветами пересыпанная женскими платьями и шляпами, волнами двигалась взад и вперед, то вливаясь в темный сад, то отливая от его каменных ворот.

Санин и Иванов, под руку, прошли в сад и в первой же аллее наткнулись на Соловейчика, задумчиво расхаживавшего под деревьями, заложив руки за спину и не подымая глаз.

— А мы были у вас, — сказал Санин. Соловейчик робко улыбнулся и виновато проговорил:

— Ах, вы меня извините, я не знал, что вы придете... а то я бы подождал... А я, знаете, прогуляться немножечко вышел...

Глаза у него были блестящие и грустные.

— Пойдемте с нами, — продолжал Санин, ласково беря его под руку.

Соловейчик с радостью согнул свою руку, притворяясь веселым, сейчас же ненатурально сдвинул шляпу на затылок и пошел с таким видом, точно нес не руку Санина, а какую-то драгоценную вещь. И рот у него стал до ушей.

Около солдат, с багровыми от натуги лицами дувших в медные оглушительно звонкие трубы,

среди которых вертелся и, видимо рисуясь, размахивал палочкой тоненький, похожий на воробья, военный капельмейстер, тесной грудой стояла публика попроще — писаря, гимназисты, молодцы в сапогах и девушки в ярких платочках, а по аллеям, точно в нескончаемой кадрили, навстречу друг другу перепутывались пестрые группы барышень, студентов и офицеров.

Навстречу попались Дубова с Шафровым и Сварожичем. Они улыбнулись и раскланялись. Санин, Соловейчик и Иванов обошли кругом весь сад и опять встретились с ними. Теперь среди них шла еще Карсавина, высокая и стройная, в светлом платье. Она еще издали улыбнулась Санину, которого давно не видела, и в глазах ее мелькнуло выражение кокетливого дружелюбия.

— Что вы один ходите, — сказала сухенькая сутуловатая Дубова, — присоединяйтесь к нам.

— Свернемте, господа, в боковую аллею, а то тут толкотня... — предложил Шафров.

И большая, веселая группа молодежи завернула в полусумрак густой молчаливой аллеи, оглашая ее веселыми звонкими голосами и заливистым беспричинным смехом.

Они прошли до самого конца сада и собирались повернуть назад, когда из-за поворота показались Зарудин, Танаров и Волошин.

Санин сейчас же увидел, что офицер не ожидал встречи и растерялся. Красивое лицо его густо потемнело и вся фигура выпрямилась. Танаров мрачно усмехнулся.

— А эта пигалица еще здесь? — удивился Иванов, указывая глазами на Волошина.

Волошин, не видя их и оборачиваясь, смотрел на Карсавину, прошедшую вперед.

— Тут! — засмеялся Санин.

Этот смех Зарудин принял на свой счет, и это произвело на него впечатление удара. Он вспыхнул, задохнулся и, чувствуя себя подхваченным какою-то тяжелою силой, отделился от своей группы и, быстро шагая своими лакированными сапогами, пошел к Санину.

— Вам что? — спросил Санин, вдруг становясь серьезным и внимательно глядя на тонкий хлыстик, который Зарудин неестественно держал в руке.

«Ах, дурак!» — подумал он с раздражением и жалостью.

— Я имею сказать вам два слова... — хрипло проговорил Зарудин. — Вам передали мой вызов?

— Да, — слегка пожал плечом Санин, все так же внимательно следя за каждым движением рук офицера.

— И вы решительно отказываетесь, как то... следовало бы порядочному человеку, принять этот вызов? — невнятно, но громче проговорил Зарудин, уже сам не узнавая своего голоса, пугаясь и его, и холодной ручки хлыста, которую вдруг особенно остро почувствовал в запотевших пальцах, но уже не имея сил свернуть с внезапно открывшейся перед ним жуткой дороги. Ему показалось, что в саду сразу не стало воздуха.

Все остановились и слушали, в жутком предчувствии, не зная, что делать.

— Вот еще... — начал Иванов, двигаясь, чтобы стать между Саниным и Зарудиным.

— Конечно, отказываюсь, — странно спокойным голосом и переводя острый, все видящий

взгляд прямо в глаза Зарудину, сказал Санин.

Офицер тяжело вздохнул, как будто подымая огромную тяжесть.

— Еще раз... Отказываетесь? — еще громче спросил он металлически зазвеневшим голосом.

«Ай-ай... И он же его ударит... Ах, как нехорошо... ай-ай!» — бледнея, не подумал, а почувствовал Соловейчик.

— И что вы, раз... — забормотал он, изгибаясь всем телом и загораживая Санина.

Зарудин вряд ли видел его, когда грубо и легко столкнул с дороги. Перед ним были только одни спокойные, серьезные глаза Санина.

— Я уже сказал вам, — прежним тоном ответил Санин. Все завертелось вокруг Зарудина и, слыша сзади поспешные шаги и женский вскрик, с чувством, похожим на отчаяние падающего в пропасть, он с судорожным усилием, как-то чересчур высоко и неловко взмахнул тонким хлыстом.

Но в то же мгновение Санин, быстро и коротко, но со страшной силой разгибая мускулы, ударил его кулаком в лицо.

— Так! — невольно вырвалось у Иванова.

Голова Зарудина бессильно мотнулась набок, и что-то горячее и мутное, мгновенно пронизавшее острыми иглами глаза и мозг, залило ему рот и нос.

— Аб... — сорвался у него болезненный испуганный звук, и Зарудин, роняя хлыст и фуражку, упал на руки, ничего не видя, не слыша и не сознавая, кроме сознания непоправимого конца и тупой, жгучей боли в глазу.

В тихой и полутемной аллее поднялась странная и дикая суматоха.

— Ай-ай! — пронзительно закричала Карсавина, схватываясь за виски и с ужасом закрывая глаза. Юрий, с тем же чувством ужаса и омерзения глядя на стоявшего на четвереньках Зарудина, вместе с Шафровым бросился к Санину. Волошин, теряя пенсне и путаясь в кустах, торопливо побежал прочь от аллеи, прямо по мокрой траве, и его белые панталоны сразу стали черными до колен. Данилов, стиснув зубы и яростно опустив зрачки, бросился на Санина, но Иванов сзади схватил его за плечи и отбросил назад.

— Ничего, ничего... пусть... — с отвращением, тихо и злобно весело сказал Санин, широко расставив ноги и тяжело дыша. На лбу у него выступили крупные капли тяжелого пота.

Зарудин поднялся, шатаясь и роняя какие-то жалкие бессвязные звуки опухшими, дрожащими и мокрыми губами. И в этих звуках неожиданно, неуместно и как-то смешно-противно послышались какие-то угрозы Санину. Вся левая сторона лица Зарудина быстро опухала, глаз закрылся, из носа и рта шла кровь, губы тряслись, и весь он дрожал, как в лихорадке, вовсе не похожий на того красивого и изящного человека, которым был минуту назад. Страшный удар как будто сразу отнял у него все человеческое и превратил его во что-то жалкое, безобразное и трусливое. Ни стремления бежать, ни попытки защищаться в нем не было. Стуча зубами, сплевывая кровь и дрожащими руками бессознательно очищая прилипший к коленям песок, он опять зашатался и упал.

— Какой ужас, какой ужас! — твердила Карсавина, стараясь как можно скорее уйти от этого места.

— Идем, — сказал Санин Иванову, глядя вверх, потому что ему было противно и жалко смотреть на Зарудина.

— Идемте, Соловейчик.

Но Соловейчик не двигался с места. Широко раскрытыми помертвелыми глазами он смотрел на Зарудина, на кровь и на песок, странно грязный на белоснежном кителе, трясся и нелепо шевелил губами.

Иванов сердито потянул его за руку, но Соловейчик с неестественным усилием вырвался, ухватился обеими руками за дерево, точно его собирались куда-то тащить, и вдруг заплакал и закричал:

— Зачем вы... зачем!

— Какая гадость! — хрипло выговорил прямо в лицо Санину Юрий Сварожич.

Санин уже овладел собою и, не глядя на Зарудина, брезгливо улыбнулся и сказал:

— Да, гадость... А было бы лучше, если бы он меня ударил?

Он махнул рукой и быстро пошел по широкой аллее. Иванов презрительно посмотрел на Юрия и, закуривая папиросу, медленно поплелся за Саниным. Даже по его широкой спине и прямым волосам видно было, с каким пренебрежением ко всему происшедшему он относится.

— И сколько может быть зол и глуп человек! — проговорил он.

Санин молча оглянулся на него и пошел быстрее.

— Как звери! — с тоскою проговорил Юрий, уходя из сада и оглядываясь на его темную массу. Сад был таким же, каким видел он его много раз, задумчиво-темным и красивым, но теперь тем, что в нем произошло, он как бы отделился от всего мира и стал жутким и неприятным.

Шафров тяжело и растерянно вздохнул, поверх очков пугливо оглядываясь вокруг, точно ждал, что теперь уже отовсюду можно ждать нападения и насилия.

XXXI

Мгновенно и страшно изменилось лицо жизни Зарудина. Насколько легка, понятна и беззаботно приятна была она прежде, настолько безобразно ужасной и неодолимой предстала теперь. Точно она сбросила светлую улыбающуюся маску, и из-под нее выглянула хищная и страшная морда зверя.

Когда Танаров на извозчике вез его домой, Зарудин даже перед самим собою старался преувеличить боль и слабость, чтобы только не открывать глаз. Ему казалось, что это еще как-то отдаляет позор, который со всех сторон тысячами глаз смотрит на него и ждет увидеть его взгляд, чтобы побежать за ним, хохоча, кривляясь и тыча пальцами прямо в лицо.

Во всем, и в худой спине синего извозчика, и в каждом прохожем, и в окнах, за которыми мерещились злорадно любопытные лица, и в самой руке Танарова, поддерживающей его за талию, избитому Зарудину чудилось молчаливое, но откровенное презрение. И это ощущение

было так неожиданно и неистово мучительно, что по временам Зарудину и в самом деле становилось дурно. Тогда ему казалось, что он сходит с ума, и хотелось или умереть, или проснуться.

Мозг отказывался верить в то, что произошло, и все казалось, что это — не так, что есть какая-то ошибка, что он сам чего-то не понимает, а это что-то делает все совсем другим, вовсе не таким ужасным и непоправимым. Но факт ясный и непреложный стоял перед ним, и душу его все чернее и чернее покрывала тьма отчаяния.

Зарудин чувствовал, что его поддерживают, что ему больно и неловко, что руки у него в пыли и крови, и ему даже странно было, что еще можно ощущать что-нибудь, что тело его не уничтожилось и продолжает дрянно и бессильно жить своим чередом, когда без следа, невозвратно исчезло все то, что составляло красивого, щеголевато самоуверенного и веселого Зарудина.

Иногда, когда дрожки кренились на поворотах, Зарудин чуть-чуть приоткрывал глаз и сквозь мутные слезы узнавал знакомые улицы, дома, церковь, людей. Все было такое же, как всегда, но теперь казалось бесконечно далеко, чуждо и враждебно ему. Прохожие останавливались и с недоумением смотрели им вслед, и Зарудин опять быстро закрывал глаза, почти теряя сознание от стыда и отчаяния.

Дорога тянулась бесконечно, и ему казалось, что пытке этой не будет конца.

«Хоть бы скорей, хоть бы скорей!..» — тоскливо мелькало у него в голове, но тут же представлялись лица денщика, квартирной хозяйки, соседей, и казалось, что лучше уж уехать так, бесконечно ехать и никогда не открывать глаз.

А Танаров, мучительно стыдясь Зарудина и не глядя по сторонам, изо всех сил, какими-то непонятными способами старался показать каждому встречному, что он тут ни при чем, что побили не его. Он был красен, холодно потен и растерян. Сначала он что-то говорил, возмущался, неестественно утешал, но потом замолчал и только сквозь зубы подгонял извозчика. По этому и по тому, как неверна была его не то поддерживающая, не то отстраняющая рука, Зарудин угадывал его чувства, и то, что этот ничтожный, всегда бывший бесконечно ниже его Танаров, вдруг получил право стыдиться его, дало последний и решительный толчок сознанию, что все кончено.

Зарудин не мог сам перейти двор, и его почти перенесли Танаров и выбежавший навстречу перепуганный денщик, у которого тряслись руки. Были ли еще люди на дворе — Зарудин не видел. Его уложили на диван и сначала не знали, что делать, нелепо торча перед ним и этим причиняя ему невероятные страдания. Потом денщик спохватился, засуетился, принес теплой воды, полотенце и бережно обмыл Зарудину лицо и руки. Зарудин боялся встретиться с ним глазами, но лицо солдата было вовсе не злорадно, не презрительно, не насмешливо, а только испуганно и жалостливо, как у старой доброй бабы.

— Где это их так, ваше благородие?.. Ах ты ж Боже мой! Как же так! — потихоньку причитывал он.

— Ну... не твое дело! — багровея, прикрикнул сквозь зубы Танаров и почему-то сейчас же робко оглянулся.

Он отошел к окну и машинально взялся за папиросу, но, подумав, можно или нет курить при Зарудине, незаметно сунул портсигар обратно в карман.

— Може, доктора позвать? — по привычке вытягиваясь во фронт, но, нисколько не пугаясь окрика, приставал к нему денщик.

Танаров в недоумении растопырил пальцы.

— А... не знаю, право... — совсем другим голосом ответил он и опять оглянулся.

Но Зарудин услышал и испугался, представив, что еще и доктор будет смотреть на его лицо.

— Никого... не надо!.. — неестественно слабым голосом, все стараясь уверить себя, что умирает, проговорил он.

Теперь, когда обмыли кровь и грязь с его лица, оно уже не было страшно, а только уродливо и жалко. Танаров с животным любопытством, мельком взглянул на него и сейчас же отвел глаза. Это почти незаметное движение, как и все, что теперь окружало Зарудина, болезненно-остро было им замечено, и отчаяние чуть не задушило его. Зарудин вдруг крепко зажмурил закрытый глаз и тонким надорванным голосом закричал:

— Оставь... оставьте меня-а!

Танаров исподлобья испуганно покосился и вдруг обозлился нутряной презрительной злобой.

«Еще кричит!.. Туда же!..» — злорадно подумал он.

Зарудин затих и лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Танаров тихо постучал пальцами по подоконнику, подергал себя за усы, оглянулся, опять посмотрев в окно и почувствовал нудное, холодное желание уйти.

«Неловко, черт!.. Подождать, пока заснет, что ли?.. а тогда можно...» — с враждебной тоской подумал он.

Так прошло с четверть часа, но Зарудин время от времени все шевелился. Танарову становилось невыносимо нудно. Наконец Зарудин совсем затих.

«Кажется, заснул! — неискренно подумал Танаров, незаметно оглядываясь на него. — Заснул...»

Он тихо тронулся, чуть-чуть звякнув шпорами. Зарудин быстро открыл глаза. На секунду Танаров задержался, но уже Зарудин понял его намерение, и Танаров понял, что Зарудин все понимает. И тут произошло между ними нечто странное и жуткое: Зарудин быстро закрыл глаза и притворился спящим, а Танаров, сам себя убеждая, что верит этому, и в то же время очевидно сознавая, что оба знают, в чем дело, как-то неловко согнулся и на цыпочках вышел из комнаты с чувством уличенного предательства, с сомнением и стыдом.

Дверь тихо затворилась, и что-то, что, казалось, было между ними так прочно, дружелюбно и постоянно, вдруг исчезло навсегда: и Зарудин, и Танаров почувствовали, что между ними встала навеки разъединившая пустота и что среди живых людей один из них уже не существует для другого.

Но в соседней комнате Танаров вздохнул свободнее и почувствовал себя опять легко и свободно. Ни сострадания, ни жалости к тому, что навсегда кончено все между ним и Зарудиным, с которым столько лет он прожил, у Танарова не было.

— Слушай, ты, — торопливо оглядываясь по сторонам и спеша, точно выполняя последнюю формальность, сказал он денщику, — я теперь пойду, а ты, если что такое, так ты того... слышишь?

— Так точно, слушаю! — испуганно ответил солдат.

— Ну, так вот... Там... компрессы эти меняй почаще...

Он торопливо сошел с крыльца и опять облегченно вздохнул, выйдя за калитку на пустую и широкую улицу. Были уже полные сумерки, и Танаров был рад, что его горящего лица не видно прохожим.

«А ведь, пожалуй, и я окажусь замешанным в эту скверную историю, — с внезапным холодом у сердца подумал он, поворачивая на бульвар. — А впрочем, при чем же тут я?» — успокаивал он себя, стараясь не помнить, что и он бросался на Санина и его самого так оттолкнул Иванов, что он чуть не упал.

«Ах, черт, какая скверность вышла! — сморщив все лицо, подумал Танаров, идя дальше. — А все этот дурак! — со злобой вспомнил он Зарудина. — Очень надо было связываться со всякой сволочью!.. Эх, паршиво!..»

И чем больше думал он о том, что вышло скверно и унизительно, тем больше его невысокая, с приподнятыми плечами и грудью, в узких рейтузах, щеголеватых сапогах и белеющем в сумерках кителе фигурка инстинктивно выпрямлялась, грозно подымая плечи и голову.

В каждом встречном ему чудилась насмешка, и достаточно было малейшего намека на это, чтобы нечто, напряженное до высшей степени, прорвалось и он, выхватив шашку, бросился бы рубить насмерть кого попало. Но встречных было мало, и те проходили быстро, плоскими силуэтами проскальзывая вдоль заборов темного бульвара.

Дома, уже успокаиваясь, Танаров опять вспомнил, как его отбросил Иванов.

«Почему я не дал ему по морде?.. Надо было прямо дать в морду!.. Жаль, шашка не отпущена!.. А то бы!.. А ведь у меня в кармане был револьвер! Вот он. Я мог его застрелить, как собаку. А?.. Я забыл про револьвер... Конечно, забыл, а то бы застрелил на месте, как собаку!.. А... хорошо все-таки, что забыл: убил бы... суд!.. А может быть, и у них был у кого-нибудь револьвер... и черт знает, из-за чего еще пострадал бы!.. А теперь никто не знает, что у меня был револьвер, и... понемногу все обойдется...»

Танаров осторожно, оглядываясь по сторонам, вынул из кармана револьвер и положил в ящик стола.

«Сегодня же надо явиться к полковнику и объяснить, что я тут ни при чем...» — решил он, звонко щелкая ключом.

Но сильнее этого решения явилось вдруг нервное, непреодолимое и даже как будто хвастливое желание пойти в клуб, рассказать всем, как очевидец.

В ярко освещенном, посреди темного города, военном клубе толпились возбужденные и громко возмущавшиеся офицеры. Они уже знали об истории в саду и втайне злорадствовали над всегда подавлявшим их своим блеском и шиком Зарудиным. Они встретили Танарова с животным любопытством, и Танаров, чувствуя себя почему-то героем вечера, подробно описывал всю сцену. В голосе его и темных узких глазах робко шевелилось сдерживаемое и несознаваемое мстительное чувство: весь гнет бывшего приятеля, история из-за денег, небрежное отношение, превосходство его как будто вымещалось Танаровым в этом бесконечном повторении и смаковании подробностей, как именно побили Зарудина.

А Зарудин совершенно одиноко, чужой всему миру, лежал у себя в комнате на диване.

Денщик, уже от кого-то узнавший, в чем дело, все с тем же испуганно жалостливым бабьим лицом поставил самовар, сбегал за вином и прогнал из комнаты ласкового веселого сеттера, очень обрадованного, тем, что Зарудин дома. Потом он на цыпочках опять вошел к барину.

— Ваше высокородие... Вы бы винца испили, — чуть слышно предложил он.

— А? Что? — открывая и сейчас же закрывая глаза, спросил Зарудин, и — как ему казалось — унижительно, а на самом деле только жалко, сморщившись, сквозь зубы, с трудом шевеля распухшими губами, проговорил: — Зеркало... дай...

Денщик вздохнул, покорно принес зеркало и осветил свечой.

«Чего уж тут смотреть!» — неодобрительно подумал он.

Зарудин посмотрел в зеркало и невольно застонал. Из темной поверхности, багрово освещенное сбоку, глянуло на него одноглазое, налитое, синевато-красное и черное лицо, с нелепо взъерошенным светлым усом.

— А... возьми!.. — пробормотал Зарудин и вдруг истерически всхлипнул: — Воды... дай!..

— Ваше высокородие, чего так убиваетесь! Оно заживет... — жалостливо заговорил денщик, подавая воду в липком стакане, пахнущем холодным сладким чаем.

Зарудин не пил, а только возил зубами по краю стакана, разливая воду на грудь.

— Уйди! — выговорил он.

Ему показалось, что денщик, один во всем свете, жалеет его, но теплое чувство к солдату сейчас же подавилось невыносимым для него сознанием, что даже денщик может теперь жалеть его.

Солдат, моргая глазами, с видимым желанием заплакать, вышел на крыльцо, сел на ступеньку и, вздыхая, стал гладить мягкую волнистую спину подбежавшей собаки. Сеттер положил ему на колени слюнявую изящную морду и смотрел снизу вверх темными, непонятными, но как будто что-то говорящими глазами. Над садом сверкали блестящие безмолвные звезды. Солдату отчего-то стало грустно и страшно, точно в предчувствии страшной неотвратимой беды.

«Эх, жисть, жисть!» — горько подумал он и свернул мысль на свою деревню.

Зарудин судорожно повернулся к спинке дивана и замер, не чувствуя сползшего ему на лицо согревшегося мокрого полотенца.

«Вот и кончено! — с внутренним рыданием повторял он. — Что кончено?.. Все, вся жизнь... все... пропала жизнь... Почему? Потому что я опозорен, потому что... побили, как собаку!.. Кулаком... по лицу!.. И нельзя оставаться в полку!..»

Необыкновенно отчетливо Зарудин увидел себя стоящим на четвереньках посреди аллеи, бессмысленно роняющим бессильные угрозы, жалкого, маленького. Все вновь и вновь переживал он этот странный момент, и все ярче и убийственнее вставал он перед ним. Все мелочи припоминались, точно освещенные электрическим светом, и почему-то эти нелепые угрозы и белое платье Карсавиной, промелькнувшее перед ним, именно когда он угрожал, было мучительнее всего.

«Кто меня поднял? — стараясь не думать и нарочно путая свои мысли, думал Зарудин. — Танаров?.. Или тот жиденок, что шел с ними?.. Танаров?.. А-а!.. Не в том дело... А в чем? В том, что вся жизнь испорчена и нельзя оставаться в полку. А дуэль?.. Не будет он драться все равно... нельзя будет оставаться в полку!..»

Зарудин вспомнил, как судом офицеров, в котором участвовал и он, выгнали из полка двух пожилых семейных офицеров, отказавшихся драться на дуэли.

«Так и мне предложат... Вежливо, не подавая руки, те самые люди, которые... И уже никто не будет гордиться тем, что я возьму его на бульваре под руку, никто не будет мне завидовать и копировать мои манеры... Но это не то!.. Позор, позор, вот что главное!.. Почему позор? Ударили? Но ведь били же меня в корпусе!.. Тогда толстый Шварц ударил меня и выбил зуб и... ничего и не было!.. Потом помирились и до конца корпуса были лучшими друзьями!.. И никто меня не презирал! Почему же теперь не так? Не все ли равно; так же шла кровь, так же я упал... Почему?»

На этот полный безвыходной тоски вопрос не было ответа в уме Зарудина. Он только чувствовал, что какая-то мутная бездонная грязь накрыла его с головой и он неудержимо идет ко дну, ничего не видя и ничего не понимая вокруг.

«Если бы он согласился на дубль и попал мне в лицо пулей... Было бы еще больше и безобразнее, чем теперь ведь, а никто не презирал бы меня за это, а все бы жалели. Значит, между пулей и... кулаком... Какая разница? Почему?»

Мысль работала скачками. И в глубине ее, обостренное непоправимым несчастьем и пережитой мукой, начинало вырастать что-то новое, как будто когда-то бывшее, но забытое им в течение своей офицерской, легкой, пустой и шумливой жизни.

«Вот фон Дейц спорил со мною о том, что если ударят в левую щеку, надо подставить правую, а он же сам тогда пришел и кричал, махал руками, возмущался, что „тот“ отказался от дуэли!.. Ведь это, собственно, они виноваты, что я хотел ударить хлыстом „того“... А вся моя вина в том, что я не успел ударить!.. Но это бессмысленно, несправедливо!.. А все-таки позор... и нельзя оставаться в полку!..»

Зарудин беспомощно схватился за голову, раскачивая ее по подушке и машинально следя за пустой томительной болью в глазу. Он вдруг почувствовал страшный, мучительный для него самого прилив злобы.

«Схватить револьвер, кинуться и убить... пуля за пулей. И пихать ногами в лицо, когда свалится... прямо в лицо, в зубы, в глаза!..»

С мокрым тяжелым звуком тяжело шлепнулся на пол компресс. Зарудин испуганно открыл глаза и увидел тускло освещенную комнату, таз с водой и мокрым полотенцем и черное жуткое окно, как черный глаз, загадочно смотрящий на него.

«Нет, все равно... это не поможет! — затихая в бессильном отчаянии, подумал он. — Все равно все видели, как меня били по лицу и как я стоял на четвереньках... Битый, битый. Получил по морде... И нельзя, нельзя вернуть!.. Никогда уже не буду я счастливым, свободным...»

Опять нечто острое и небывало ясное зашевелилось у него в мозгу.

«А разве я когда-нибудь был свободным? Ведь я потому и погибаю теперь, что жизнь моя была всегда не свободной, не своей... Разве бы я сам пошел на дуэль, стал бы разве бить хлыстом?.. И меня бы не побили, и было бы все хорошо, счастливо... Кто и когда выдумал, что обиду надо смывать кровью? Ведь это не я! Вот и смысл... с меня смыли кровью... Что? Не знаю, но надо выходить из полка!..» Бессильная и неумелая мысль пробовала подняться и падала, как птица с подрезанными крыльями. И куда бы ни метался его ум, все возвращалось по кругу на то, что надо выходить из полка, что он навсегда опозорен.

Когда-то Зарудин видел, как муха, попавшая в густой плевок, мучительно карабкалась по полу, а за ней, склеивая лапки и крылья, ослепляя и удушая ее, тянулась отвратительная, беспощадная слизь. И очевидно было, что для нее все кончено, хотя она еще ползла, вытягивалась на лапках, выбивалась из сил. Тогда Зарудин, брезгливо содрогнувшись,

отвернулся и теперь как будто не помнил, но какое-то тайное сознание, что-то похожее на бред напомнило ему эту несчастную муху. И потом, должно быть, был бред: вдруг не то вспомнил, не то ясно увидел Зарудин двух мужиков. Они ругались и дрались, и один ударил другого в ухо, а тот, седой, старый, упал, а потом встал и, утирая рукавом рубахи кровь, льющуюся из носа, сказал убежденно: «Вот и дурак!»

«Да это я видел когда-то! — окончательно вспомнил Зарудин и опять сознательно увидел полутемную глухую комнату и свечу на столе. — Потом еще они вместе пили у казенки...»

Он опять, должно быть, забылся, потому что свеча и комната куда-то пропали, но как будто не переставал думать и потом, вместе с вынырнувшей из мрака свечой, разобрал и свою мысль:

«...Нельзя жить с таким позором... так. Значит, надо умирать! Но мне не хочется умирать, и кому это надо? Не мне!.. Репутация? Какое мне дело до репутации! Что значит репутация, когда надо умирать? Но ведь надо выйти из полка... А как жить потом?»

Что-то тусклое, непонятное и чужое представилось ему в будущем, и Зарудин бессильно отступил от него. Так каждый раз, когда страстная жажда жизни и счастья начинала что-то выяснять ему, туман, которым был покрыт мозг, спускался ниже, и снова Зарудин оказывался перед безвыходной пустотой.

Ночь проходила, и тяжелая тишина стояла за окном, точно во всем мире Зарудин жил и страдал один.

На столе, оплывая, горела свеча, и пламя ее, желтое и ровное, мертвенно спокойно струилось кверху. Зарудин блестящим от лихорадки и отчаяния глазом смотрел на огонь и не видел его, весь охваченный черным туманом бесконечно спутанных, бессильных мыслей.

Среди хаоса обрывков воспоминаний, представлений, чувств и дум одно было острее всего и звенящей нитью тоски проходило до самого сердца. Это было болезненное и жалобное сознание своего полного одиночества. Там где-то жили, радовались, смеялись, может быть, даже говорили о нем миллионы людей, а он был один. Тщетно вызывал Зарудин одно знакомое лицо за другим. Они вставали бледной, чуждой и равнодушной чередой, и в их холодных чертах чудилось только злорадство и любопытство. Тогда Зарудин с робкой тоской вспомнил Лиду.

Она представилась ему такую, какую он видел ее в последний раз: с большими невеселыми глазами, с мягким слабым телом под домашней кофточкой, с распущенной косой. И в ее лице Зарудин не почувствовал ни злорадства, ни презрения. Оно смотрело на него с печальным укором, и что-то, что было возможно, мерещилось в ее невеселых глазах. Он припомнил ту сцену, когда отказался от нее в минуту ее величайшего горя. Острое, как нож, сознание невозвратимой потери до глубочайших струн пронизало душу Зарудина. «А ведь она, должно быть, страдала тогда еще больше, чем я теперь... А я оттолкнул... и даже хотел, чтобы она утопилась, умерла!..»

Как к последнему пристанищу, все существо его потянулось к ней в тоскливой жажде ее ласк и участия. На мгновение ему подумалось, что страдание, которое он переживает теперь, может искупить все прошлое; но Зарудин знал, что она никогда не придет, что все кончено, и полная пустота, как пропасть, открылась вокруг него.

Зарудин поднял руку, крепко положил ее на голову и замер, закрыв глаза, стиснув зубы, стараясь ничего больше не видеть, не слышать, не чувствовать. Но он скоро опустил руку, поднялся и сел. Голова мучительно кружилась, во рту горело, ноги и руки дрожали. Зарудин встал и, качаясь от головы, ставшей вдруг огромной и тяжелой, перешел к столу. «Все пропало, все пропало. И жизнь, и Лида, и все...»

Яркая молния небывало ясной мысли озарила его на одно мгновение: он вдруг понял, что в той жизни, которая исчезла, не было вовсе ничего красивого, хорошего и легкого, а все было спутано, загажено и глупо. Какого-то особенного, на все приятное имеющего права, прекрасного Зарудина тоже не было, а было только бессильное, робкое и распущенное тело, которое раньше наслаждалось, а теперь испытало боль и унижение. Когда слетел мираж удачи, открылся голый и бедный образ.

«Нельзя больше жить, — отчетливо подумал Зарудин, — чтобы жить снова, надо бросить все прежнее, начать жить как-то иначе, сделаться совсем другим человеком, а я не могу!..»

Зарудин тяжело уронил голову на стол и, зловеще освещенный заколебавшимся и приникшим к краям подсвечника пламенем свечи, застыл.

XXXII

В этот же вечер Санин один зашел к Соловейчику.

Совсем одиноко сидел еврейчик на крыльце своего флигеля и смотрел на унылый пустынный двор, по которому скучно, неведомо для кого змеились белые дорожки и вяла пыльная трава. Запертые амбары, с огромными ржавыми замками, тусклые окна мельницы и все это обширное пустое место, на котором, казалось, уже много лет прекратилась жизнь, навевали томительную, ноющую грусть.

Санина сразу поразило лицо Соловейчика: оно не улыбалось, не скалило как всегда угодливо зубки, но было скорбно и напряженно. Из темных еврейских глаз жутко и возбужденно смотрела какая-то затаенная мысль.

— А, здравствуйте, — равнодушно сказал он и, слабо пожав руку Санина, снова повернулся лицом к пустынному двору и погасающему небу, на котором все чернее вырисовывались мертвые крыши амбаров.

Санин сел на другом периле крыльца, закурил папиросу и долго молча смотрел на Соловейчика, угадывая в нем нечто особенное.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

Соловейчик медленно перевел на него печальные глаза.

— А я тут... Мельница стала, а я в конторе служил... Я тут и жил. Все разъехались, а я себе остался.

— Вам, должно быть, жутко одному? Соловейчик помолчал.

— Все равно! — слабо махнул он рукой.

Долго было тихо, и в тишине слышалось одинокое позвякивание цепи в конуре под амбарами.

— Жутко не тут... — неожиданно громко, страстно и чересчур приходя в движение, вдруг заговорил Соловейчик. — Не тут! А вот тут и тут!..

Он показал себе на лоб и грудь.

— Что так? — спокойно спросил Санин.

— Послушайте, — еще громче и страстнее продолжал Соловейчик, — вот вы сегодня ударили человека и разбили ему лицо... и вы даже, может того быть, разбили ему жизнь... Вы, пожалуйста, не сердитесь на mine, что я так спрашиваю, потому что я очень много думал... Я вот тут сидел и думал, и mine стало очень нехорошо... Вы, пожалуйста, mine отвечайте!

На мгновение обычная угодливая улыбочка искривила его лицо.

— Спрашивайте, о чем хотите, — улыбнулся Санин. — Вы боитесь меня обидеть, что ли? Этим меня обидеть нельзя. Что я сделал, то и сделал... если бы я думал, что сделал скверно, я бы и сам сказал...

— Я хотел вас спросить, — возбужденно заговорил Соловейчик, — вы себе представляете, что, может, вы совсем убили того человека?

— Я в этом почти и не сомневаюсь, — ответил Санин, — такому человеку, как Зарудин, трудно иначе выпутаться, как покончив или со мной, или с собой... Но со мной он... психологический момент упущен: он был слишком разбит, чтобы идти меня убивать сейчас же, а потом уже духу не хватит... Дело его кончено!

— И вы себе спокойно говорите это?

— Что значит «спокойно»? — возразил Санин. — Я не могу спокойно смотреть, как курицу режут, а тут все-таки человек... Бить тяжело... Правда, все-таки чуточку приятна собственная сила, а все-таки скверно... Скверно, что так грубо вышло, но совесть моя спокойна. Я — это только случайность; Зарудин погибает потому, что вся жизнь его была направлена по такому пути, на котором не то удивительно, что один человек погиб, то удивительно, как они все не погибли! Люди учатся убивать людей, холить свое тело и совершенно не понимают, что и к чему они делают... Это сумасшедшие, идиоты! А если выпустить на улицу сумасшедших, они все перережут... Чем я виноват, что защищался от такого сумасшедшего?

— Но вы его убили! — упрямо повторил Соловейчик.

— А это уж пусть апеллирует к Господу Богу, который свел нас на такой дороге, на которой нельзя было разойтись.

— Но вы могли его удержать, схватить за руки!.. Санин поднял голову.

— В таких случаях не рассуждают, да и что бы из того вышло? Закон его жизни требовал мести во что бы то ни стало... Не век же мне его за руки держать!.. Для него это еще одно лишнее оскорбление, и только!..

Соловейчик странно развел руками и замолчал.

Тьма незаметно надвигалась отовсюду. Полоса зари, резко обрезанная краями черных крыш, становилась все дальше и холоднее. Под амбарами столпились жуткие черные тени, и по временам казалось, что там толпятся загадочные и страшные некто, пришедшие на всю ночь занять своей таинственной жизнью этот пустой и брошенный двор. Должно быть, их бесшумные шаги беспокоили Султана, потому что он вдруг вылез из будки и сел, тревожно загремев цепью.

— Может быть, вы правы, — тоскливо заговорил Соловейчик, — но разве это так всегда необходимо... А может быть, лучше было бы вам самому перенести удар...

— Как лучше? — сказал Санин. — Удар перенести всегда скверно! Зачем же... с какой стати?..

— Нет, вы послушайте мне! — торопливо перебил Соловейчик и даже умоляюще протянул руку. — Может быть, это было бы лучше!..

— Для Зарудина — конечно.

— Нет, и для вас... и для вас... вы себе подумайте!

— Ах, Соловейчик, — с легкой досадой сказал Санин, — это все старые сказки о нравственной победе! И притом это сказка очень грубая... Нравственная победа не в том, чтобы непременно подставить щеку, а в том, чтобы быть правым перед своею совестью. А как эта правота достигается — все равно, это дело случая и обстоятельств... Нет ужаснее рабства, а рабство — это самое ужасное в мире, — если человек до мозга костей возмущается насилием над ним, но подчиняется во имя чего-либо сильнее его.

Соловейчик вдруг взялся за голову, но в темноте уже не видно было выражения его лица.

— У меня слабый ум, — ноющим голосом проговорил он, — я себе не могу понять теперь ничего и не совсем знаю, как надо жить!..

— А зачем вам знать? Живите, как птица летает: хочется взмахнуть правым крылом — машет, надо обогнуть дерево — огибает...

— Но ведь то птица, а я человек! — с наивной серьезностью сказал Соловейчик.

Санин расхохотался, и его веселый мужественный смех наполнил мгновенной жизнью все уголки темного пустыря. Соловейчик послушал его, а потом покачал головой.

— Нет, — скорбно проговорил он, — и вы мне не научите, как жить! Никто не научит мне, как жить!..

— Это правда, жить никто не научит: искусство жить — это тоже талант. А кто этого таланта не имеет, тот или сам гибнет, или губит свою жизнь, превращая ее в жалкое прозябание без света и радости.

— Вот вы теперь спокойны и так говорите, будто вы себе все знаете... А... вы не сердитесь, пожалуйста, на mine... вы всегда такой были? — с жгучим любопытством спросил Соловейчик.

— Ну нет, — качнул головой Санин, — правда, у меня и всегда было много спокойствия, но были времена, когда я переживал самые разнообразные сомнения... Было время, когда я сам серьезно мечтал об идеале христианского жития...

Санин задумчиво помолчал, а Соловейчик, вытянув шею, как бы ожидая чего-то для себя непостижимо важного, смотрел на него.

— Я тогда был на первом курсе, и был у меня товарищ, студент-математик Иван Ланде. Это был удивительный человек, непобедимой силы и христианин не по убеждению, а по природе. В своей жизни он отразил все критические моменты христианства: когда его били, он не защищался, прощал врагам, шел ко всякому человеку, как к брату, «могий вместить» — вместил отрицание женщины как самки... вы помните Семенова?

Соловейчик кивнул головой с наивной радостью. Это было для него непостижимо важно: в знакомой обстановке, среди знакомых людей вдруг нарисовался ему образ, о котором туманно было его представление, но который влек его, как бабочку во тьме ночи яркое пламя свечи. Он весь загорелся вниманием и ожиданием.

— Ну так вот... Семенову тогда было страшно плохо, а жил он в Крыму на уроки. Там в

одиночестве и предчувствии смерти он впал в мрачное отчаяние. Ланде об этом узнал и, конечно, решил, что он должен идти спасать погибающую душу... И буквально пошел: денег у него не было, занять ему, как «блаженному», никто не давал, и он пошел пешком за тысячу верст! Где-то в дороге и пропал, положив, таким образом, и душу за други своя...

— А вы... скажите мне, пожалуйста! — весь приходя в движение, вскричал Соловейчик, экзотически блестя глазами. — А вы признаете этого человека?

— О нем много было споров в свое время, — задумчиво отвечал Санин, — одни вовсе не считали его христианином и на этом основании отвергали; другие считали его просто блаженным с известным налетом самодурства; другие отрицали в нем силу на том основании, что он не боролся, не стал пророком, не победил, а, напротив, вызвал только общее отчуждение... Ну, а я смотрю на него иначе. Тогда я находился под его влиянием до глупости! Дошло до того, что однажды мне один студент дал в морду... сначала у меня в голове все завертелось, но Ланде был тут, и как раз я на него взглянул... Не знаю, что произошло во мне, но только я молча встал и вышел... Ну, во-первых, я этим потом страшно и, надо думать, довольно глупо гордился, а во-вторых, студента этого возненавидел всеми силами души. Не за то, что он меня ударил, это бы еще ничего, а за то, что мой поступок как нельзя больше послужил ему в удовольствие. Совершенно случайно я заметил, в какой фальши болтаюсь, раздумался, недели две ходил как помешанный, а потом перестал гордиться своею ложной нравственной победой, а студента того, при его первой самодовольной насмешке, избил до потери сознания. Между мной и Ланде произошел внутренний разрыв. Я стал яснее смотреть на его жизнь и увидел, что она страшно несчастна и бедна!

— О, что же вы говорите! — вскричал Соловейчик. — Вы разве можете себе представить богатство его переживаний!

— Эти переживания были однообразны: счастье его жизни состояло в том, чтобы безропотно воспринять всякое несчастье, а богатство в том, чтобы все больше и глубже отказываться от всякого богатства жизни! Это был добровольный нищий и фантаст, живущий во имя того, что ему самому не было вовсе известно.

— Вы не знаете, как вы меня терзаете! — вскрикнул Соловейчик, неожиданно заломив руки.

— Однако вы какой-то истеричный, Соловейчик! — удивленно заметил Санин. — Я ничего особенного не говорю! Или этот вопрос очень наболел в вас...

— Очень! Я теперь все думаю и думаю, и голова у mine болит... Неужели все это была ошибка?... Я себе, как в темной комнате... и никто мне не может сказать, что делать!.. Для чего же живет человек? Скажите вы мне!

— Для чего? Это никому не известно!..

— А разве нельзя жить для будущего? Чтобы хотя потом был у людей золотой век...

— Золотого века никогда не может быть. Если бы жизнь и люди могли улучшиться мгновенно, это было бы золотое счастье, но этого быть не может! Улучшение приходит по незаметным ступеням, и человек видит только предыдущую и последующую ступени... Мы с вами не жили жизнью римских рабов или диких каменного века, а потому и не сознаем счастья своей культуры; так и в этом золотом веке человек не будет сознавать никакой разницы со своим отцом, как отец с дедом, а дед с прадедом... Человек стоит на вечном пути и мостит путь к счастью, все равно что к бесконечному числу присчитывать новые единицы...

— Значит, все пустота? Значит, «ничего» нету?

— Я думаю. Ничего.

— Ну, а ваш Ланде? Ведь вот же вы...

— Я любил и люблю Ланде, — серьезно сказал Санин, — но не потому, что он был таков, а потому, что он был искренен и на своем пути не останавливался ни перед какими преградами, ни смешными, ни страшными... Для меня Ланде был ценен сам по себе, и с его смертью исчезла и ценность его.

— А вы не думаете, что такие люди облагораживают жизнь? А у таких людей являются последователи... А?

— Зачем ее облагораживать? Это — раз. А второе то, что следовать этому нельзя. Ланде надо родиться. Христос был прекрасен, христиане — ничтожны.

Санин устал говорить и замолчал. Молчал и Соловейчик, молчало и все кругом, и только, казалось, мерцающие вверху звезды ведут какой-то нескончаемый безмолвный разговор. Вдруг Соловейчик что-то зашептал, и шепот его был странен и жуток.

— Что такое? — вздрогнув, спросил Санин.

— Вы скажите мне, — забормотал Соловейчик, — вы мне скажите, что вы думаете... если человек не знает, куда ему идти, и все думает, все думает, и все страдает, и все ему страшно и непонятно, может, тому человеку лучше умереть?

— Что ж, — нахмурившись в темноте, сказал Санин, ясно и остро понимая то, что невидимо тянулось к нему из темной души еврейчика. — Пожалуй, лучше умереть... Нет смысла страдать, а жить вечно все равно никто не будет. Жить надо только тому, кто в самой жизни видит уже приятное. А страдающим — лучше умереть.

— Вот и я так себе думал! — с силой вскрикнул Соловейчик и вдруг цепко схватил Санина за руку.

Было совсем темно, и в сумраке лицо Соловейчика казалось белым, как у трупа, а глаза смотрели пустыми черными впадинами.

— Вы мертвый человек, — с невольной тревогой в душе сказал Санин, вставая, — и, пожалуй, мертвецу самое лучшее и вправду — могила... Прощайте...

Соловейчик как будто не слышал и сидел неподвижно, как черная тень с мертвым белым лицом. Санин помолчал, подождал и тихо пошел. У калитки он остановился и прислушался. Все было тихо, и Соловейчик чуть-чуть чернел на крыльце, сливаясь со мраком. Неприятное томительное предчувствие заползло в сердце Санина.

«Все равно! — подумал он. — Что так жить, что умереть... Да и не сегодня-завтра».

Он быстро повернулся и, с визгом отворив калитку, вышел на улицу.

На дворе по-прежнему было тихо.

Когда Санин дошел до бульвара, вдали послышались тревожные странные звуки. Кто-то, гулко топоча ногами, быстро бежал во мраке ночи, не то причитая, не то плача на бегу. Санин остановился. Черная фигура родилась во мраке и все ближе, ближе бежала на него. И почему-то Санину опять стало жутко.

— Что такое? — громко спросил он.

Бегущий человек на минуту остановился, и Санин близко увидел испуганное глуповатое солдатское лицо.

— Что случилось? — тревожно крикнул он.

Но солдат что-то пробормотал и побежал дальше, гулко топоча ногами и не то причитывая, не то плача. Ночь и тишина поглотили его как призрак.

«Да ведь это денщик Зарудина!» — вспомнил Санин, и вдруг твердая красная мысль отчетливо и как-то кругло вылилась в мозг: «Зарудин застрелился!..»

Легкий холод тронул виски Санина. С минуту он молча глядел в тусклое лицо ночи, и казалось, между тем загадочным и страшным, что было в ней, и им, высоким, сильным человеком, с твердым взглядом, произошла короткая и страшная, молчаливая борьба.

Город спал, белели тротуары, чернели деревья, тупо глядели темные окна, храня глухую тишину.

Вдруг Санин встряхнул головой, усмехнулся и посмотрел перед собой ясными глазами.

— Не я в этом виноват, — громко сказал он... — Одним больше, одним меньше!..

И пошел вперед, высокою тенью чернея во мраке.

XXXIII

Так скоро, как все узнается в маленьком городке, все узнали, что два человека в один и тот же вечер лишили себя жизни.

Юрию Сварожичу об этом сообщил Иванов, придя к нему днем, когда Юрий только что вернулся с урока и сел рисовать портрет Ляли. Она позировала в легкой светлой кофточке, с голой шейкой и просвечивающими розовыми руками. Солнце светило в комнату, золотыми искорками зажигало вокруг головки Ляли пушистые волосы, и она была такой молоденькой, чистенькой и веселой, точно золотая птичка.

— Здравствуйте, — сказал Иванов, входя и бросая шляпу на стул.

— А... Ну что нового скажете?.. — спросил Юрий, приветливо улыбаясь.

Он был настроен довольно и радостно и оттого, что наконец нашел урок и чувствовал себя уже не на шее у отца, а на собственных ногах, и от солнца, и от близости счастливой, хорошенькой Ляли.

— Много, — сказал Иванов с неопределенным выражением в серых глазах, — один удавился, другой застрелился, а третьего черти взяли, чтоб не волочился!

— То есть? — удивился Юрий.

— Третьего я уж от себя, для вящего эффекта прибавил, а два точно... Сегодня ночью застрелился Зарудин, а сейчас, говорят, Соловейчик повесился... вот!

— Да не может быть! — вскрикнула Ляля, вскакивая, вся белая, розовая и золотая с испуганными, но сияющими от любопытства глазами.

Юрий с удивлением и испугом поспешно положил палитру и подошел к Иванову.

— Вы не шутите?

— Какие уж тут шутки! — махнул рукой Иванов.

Как и всегда, он старался придать себе философски равнодушный вид, но заметно было, что ему и жутко, и неприятно.

— Отчего же он застрелился? Оттого, что его Санин ударил? А Санин знает? — наивно цепляясь за Иванова, захлебываясь, спрашивала Ляля.

— Очевидно, так... Санин знает еще с вечера, — отвечал Иванов.

— Что же он? — невольно спросил Юрий.

Иванов пожал плечами. Ему уже не раз приходилось спорить с Юрием о Санине, и он уже заранее раздражался.

— Ничего... А ему-то что же? — с грубой досадой возразил он.

— Все-таки он причиной! — заметила Ляля, делая значительное лицо.

— Ну так что же из того!.. Вольно ж тому дураку было лезть. Санин тут не виноват. Все это очень прискорбно, но всецело должно быть отнесено к глупости самого Зарудина.

— Ну, положим, причины тут глубже, — возразил Юрий угрюмо, — Зарудин жил в известной среде...

— И то, что он жил в такой дурацкой среде, и то, что подчинился ей, свидетельствует только о том, что он и сам дурак! — пожал плечами Иванов.

Юрий промолчал, машинально потирая пальцы. Ему было как-то неприятно говорить так об умершем, хотя он и не знал почему.

— Ну хорошо... Зарудин — это понятно, а Соловейчик... вот никогда не думала! — высоко поднимая брови, нерешительно заговорила Ляля. — Почему же он?

— А Бог его знает, — сказал Иванов, — он всегда был какой-то блаженный.

В это время разом приехал Рязанцев и пришла Карсавина. Они встретились у ворот, и еще на крыльце был слышен высокий, недоумевающе вопросительный голос Карсавиной и веселый, игриво шуточный голос Рязанцева, каким он всегда говорил с красивыми молодыми женщинами.

— Анатолий Павлович «оттуда», — с выражением тревожного интереса сказала Карсавина, первая входя в комнату.

Рязанцев вошел, смеясь, как всегда, и еще на ходу закуривая папиросу.

— Ну и дела! — сказал он, наполняя всю комнату голосом, здоровьем и самоуверенным весельем. — Эдак у нас в городе скоро и молодежи не останется!

Карсавина молча села, и ее красивое лицо было расстроено и недоуменно.

— Ну повествуйте, — сказал Иванов.

— Да что, — подымая брови, как Ляля, и все смеясь, но уже не так весело, заговорил

Рязанцев. — Только что вышел вчера из клуба, вдруг бежит солдат... Их высокородие, говорит, застрелились... Я на извозчика и туда... Приезжаю, а там уже чуть не весь полк... лежит на кровати, китель нараспашку...

— А куда он стрелял? — любопытно повиснула у него на руке Ляля.

— В висок... пуля пробила череп, вот тут... и ударилась в потолок...

— Из браунинга? — почему-то спросил Юрий.

— Из браунинга... Скверная картина. Мозгом и кровью даже стена забрызгана, а у него еще и лицо все изуродовано... да!.. А это ужас, как он его хватил!..

И опять засмеявшись, Рязанцев пожал плечами.

— Крепкий мужчина!

— Ничего парень, здоровый! — почему-то самодовольно кивнул головой Иванов.

— Безобразие! — брезгливо сморщился Юрий. Карсавина робко посмотрела на него.

— Но ведь он, по-моему, не виноват, — заметила она, — не ждать же ему было...

— Да... — неопределенно поморщился Рязанцев, — но и так бить!.. Ведь предлагали же ему дуэль...

— Удивительно! — возмущенно пожал плечами Иванов.

— Нет, что ж... дуэль — глупость, — раздумчиво отозвался Юрий.

— Конечно, — быстро поддержала Карсавина.

Юрию показалось, что она рада возможности оправдать Санина, и ему стало неприятно.

— Но все-таки и так... — не зная, что, унижающее Санина, придумать, возразил он.

— Зверство, как хотите! — подсказал Рязанцев.

Юрий подумал, что сам-то Рязанцев недалеко ушел от сытого животного, но промолчал и был даже рад, что Рязанцев стал спорить с Карсавиной, резко осуждая Санина.

Карсавина, поймав на лице Юрия неприятное выражение, замолчала, хотя ей в глубине души нравилась сила и решительность Санина и казалось совсем неправильным то, что говорил Рязанцев о культурности. И так же, как Юрий, она подумала, что не Рязанцеву говорить об этом.

Но Иванов рассердился и стал спорить.

— Подумаешь! Высокая степень культурности: отстрелить человеку нос или засадить в брюхо железную палку!

— А лучше кулаком по лицу бить?

— Да уж, по-моему, лучше! Кулак — что! От кулака какой вред! Выскочит шишка, а опосля и ничего... От кулака человеку никакого несчастья!..

— Не в том же дело!

— А в чем? — презрительно скривил плоские губы Иванов. — По-моему, драться вообще не

следует... зачем безобразия чинить! Но уж ежели драться, так по крайности без особого членовредительства!.. Ясное дело!..

— Он ему чуть глаз не выбил! — с иронией вставил Рязанцев. — Хорошо — «без членовредительства»!

— Глаз, конечно... Ежели глаз выбит, то от этого человеку вред, но все-таки глаз супротив кишки не выстоит никак! Тут хоть без смертоубийства!..

— Однако Зарудин-то погиб!

— Ну так это уж его воля!

Юрий нерешительно крутил бородку.

— Я, в сущности, прямо скажу, — заговорил он, и ему стало приятно, что он скажет совершенно искренно, — для меня лично это вопрос нерешенный... и я не знаю, как сам поступил бы на месте Санина. Драться на дуэли, конечно, глупо, но и драться кулаками не очень-то красиво!

— Но что же делать тому, кого вынудят на это? — спросила Карсавина.

Юрий печально пожал плечами.

— Нет, кого жаль, так это Соловейчика, — помолчав, заметил Рязанцев, но самодовольно-веселое лицо его не соответствовало словам.

И вдруг вспомнили, что даже не спросили о Соловейчике, и почему-то всем стало неловко.

— Знаете, где он повесился? Под амбаром, у собачьей будки... Спустил собаку с цепи и повесился...

Одновременно и у Карсавиной, и у Юрия в ушах послышался тонкий голос: «Султан, тубо!..»

— И оставил, понимаете, записку, — продолжал Рязанцев, не удерживая веселого блеска в глазах. — Я ее даже списал... человеческий документ ведь, а?

Он достал из бокового кармана записную книжку.

— «Зачем я буду жить, когда сам не знаю, как надо жить. Такие люди, как я, не могут принести людям счастья», — прочел Рязанцев и совершенно неожиданно неловко замолчал.

В комнате стало тихо, точно прошло много людей, чья-то бледная и печальная тень. Глаза Карсавиной налились крупными слезами, Ляля плаксиво покраснела, а Юрий, болезненно усмехнувшись, отошел к окну.

— Только и всего, — машинально прибавил Рязанцев.

— Чего же еще «больше»? — вздрогнувшими губами возразила Карсавина.

Иванов встал и, доставая со стола спички, пробормотал:

— Глупость большая, это точно!

— Как вам не стыдно! — возмущенно вспыхнула Карсавина. Юрий брезгливо посмотрел на его длинные прямые волосы и отвернулся.

— Да... Вот вам и Соловейчик, — опять, с веселым блеском в глазах, развел руками

Рязанцев. — Я думал, так — дрянь одна, с позволения сказать, жиденок, и больше ничего! А он на! Прямо не от мира сего оказался... Нет выше любви, как кто душу свою положит за други свои!

— Ну он положил не за други!.. — возразил Иванов.

«И чего ломается... тоже!! А сам животное!» — подумал он, с ненавистью и презрением покосившись на сытое гладкое лицо Рязанцева и почему-то на его жилетку, обтянувшуюся складочками на плотном животе.

— Это все равно... Порыв чувствуется...

— Далеко не все равно! — упрямо возразил Иванов, и глаза у него стали злыми. — Слякоть, и больше ничего!..

Какая-то странная ненависть его к Соловейчику неприятно подействовала на всех. Карсавина встала и, прощаясь, интимно, как бы влюбленно доверяясь, шепнула Юрию:

— Я уйду... он мне просто противен!..

— Да, — качнул головой Юрий, — жестокость удивительная!.. За Карсавиной ушли Ляля и Рязанцев. Иванов задумался, молча выкурил папиросу, злыми глазами поглядел в угол и тоже ушел.

Идя по улице и по привычке размахивая руками, он думал раздраженно и злобно:

«Это дурачье воображает, конечно, что я не понимаю того, что они понимают! Удивительно!.. Знаю я, что они чувствуют, — лучше их самих! Знаю, что нет больше любви, когда человек жертвует жизнью за ближнего, но повеситься оттого, что не пригодился людям, это уж... ерунда!»

И Иванов, припоминая бесконечный ряд прочитанных им книг, и Евангелие прежде всего, стал искать в них тот смысл, который объяснял бы ему поступок Соловейчика так, как ему хотелось. И книги, как будто послушно разворачиваясь на тех страницах, которые были ему нужны, мертвым языком говорили то, что ему было надо. Мысль его работала напряженно и так сплелась с книжными мыслями, что он уже сам не замечал, где думает он сам, а где вспоминает читанное.

Придя домой, он лег на кровать, вытянул длинные ноги и все думал, пока не заснул. А проснулся только поздно вечером.

XXXIV

Когда под звуки трубной музыки хоронили Зарудина, Юрий из окна видел всю эту мрачную и красивую процессию, с траурной лошадью, траурным маршем и офицерской фуражкой, сиротливо положенной на крышку гроба. Было много цветов, задумчиво грустных женщин и красиво печальной музыки. А ночью в этот день Юрию стало особенно грустно.

Вечером он долго гулял с Карсавиной, видел все те же прекрасные влюбленные глаза и прекрасное тело, тянувшееся к нему, но даже и с ней ему было тяжело.

— Как странно и страшно думать, — говорил он, глядя перед собой напряженными темными глазами, — что вот Зарудина уже нет... Был офицер, такой красивый, веселый и

беззаботный, и казалось, что он будет всегда... что ужас жизни, с ее муками, сомнениями и смертью, для него не может существовать... что в этом нет никакого смысла. И вот один день — и человек смят, уничтожен в прах, пережил какую-то ему одному известную страшную драму, и нет его и никогда не будет!.. И фуражка эта на крышке гроба...

Юрий замолчал и мрачно посмотрел в землю. Карсавина плавно шла рядом, внимательно слушала и тихо перебирала полными красивыми руками кружево белого зонтика. Она не думала о Зарудине и всем богатым телом своим радовалась близости Юрия, но, бессознательно подчиняясь и угождая ему, делала грустное лицо и волновалась.

— Да, так было грустно смотреть!.. И музыка эта такая!

— Я не обвиняю Санина! — вдруг упрямо прорвался Юрий. — Он и не мог иначе поступить, но тут ужасно то, что пути двух людей скрестились так, что или один, или другой должны были уступить... ужасно то, что случайный победитель не видит ужаса своей победы... стер человека с лица земли и прав...

— Да, прав... вот и... — не дослышав, оживилась Карсавина так, что даже ее высокая грудь заколыхалась.

— Нет... а я говорю, что это ужасно! — перебил Юрий с ненавистью ревности, искоса поглядев на ее грудь и оживленное лицо.

— Почему же? — робко спросила Карсавина, страшно смутившись. И как-то сразу глаза ее потухли, а щеки порозовели.

— Потому что для другого это было бы тягчайшим страданием... сомнениями, колебаниями... Борьба душевная должна быть, а он как ни в чем не бывало!.. «Очень жаль, говорит, но я не виноват!..» Разве дело в одной вине, в прямом праве!..

— А в чем же? — нерешительно и тихо спросила Карсавина, низко опустив голову и, видимо боясь его рассердить.

— Не знаю в чем, но зверем человек не имеет права быть! — жестко и со страданием в голосе резко выкрикнул Юрий.

Они долго шли молча. Карсавина страдала от того, что отдалилась от Юрия и на мгновение потеряла милую, теплую до глубины души, особенную связь с ним, а Юрий чувствовал, что у него вышло спутанно, неясно, и страдал от тяжелого тумана на сердце и от самолюбия.

Он скоро ушел домой, оставя девушку в мучительном состоянии неудовлетворенности, страха и беззащитной обиды.

Юрий видел ее растерянность, но почему-то это доставляло ему болезненное наслаждение, точно он вымещал на любимой женщине чью-то тяжкую обиду.

А дома стало невыносимо скверно.

За ужином Ляля рассказала, что Рязанцев говорил, будто мальчишки на мельнице, подглядывая, как вынимали из петли Соловейчика, кричали через забор:

— Жид удавился!.. Жид удавился!..

Николай Егорович кругло хохотал и заставлял Ляльку повторять.

— Так — «жид удавился»!..

Юрий ушел к себе, сел поправлять тетрадку своего ученика и подумал с невыразимой ненавистью: «Сколько зверства еще в людях!.. Можно ли страдать и жертвовать собой за это тупое, глупое зверье!..»

Но тут он вспомнил, что это нехорошо, и устыдился своей злобы.

«Они не виноваты... они „не ведают, что творят“!.. Но ведают или не ведают, а ведь звери же, сейчас-то — звери же!» — подумал он, но постарался не заметить этого и стал вспоминать Соловейчика.

«Как одинок все-таки человек; вот жил этот несчастный Соловейчик и носил в себе страдающее за весь мир, готовое на всякую жертву великое сердце... И никто... даже я... — с неприятным уколом мелькнуло у него в голове, — не замечали его, не ценили, а, напротив, почти презирали его! А почему? Потому только, что он не умел или не мог высказаться, потому что был суетлив и немного надоедлив. А в этой суетливости и в надоедливости и сказывалось его горячее желание ко всем приблизиться, всем помочь и угодить... Он был святой, а мы считали его дураком!..»

Чувство вины так болезненно томило душу Юрия, что он бросил работу и долго ходил по комнате, весь во власти смутных, неразрешимых и больших дум. Потом он сел за стол, взял Библию и, раскрыв ее наугад, прочел то место, которое читал чаще других и на котором смял и растрепал листы.

«Случайно мы рождены и после будем, как не бывшие; дыхание в ноздрях наших — пар, а слово — искра в движениях нашего сердца».

«Когда она угаснет, тело обратится в прах и дух рассеется, как жидкий воздух».

«И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его».

«Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать и никто не возвращается».

Юрий не стал дальше читать, потому что там говорилось о том, что нет смысла думать о смерти, а надо наслаждаться жизнью, как юностью, а этого он не мог понять, и это не отвечало его больным мыслям.

«Как это верно, ужасно и неизбежно!» — думал он о прочитанном, стараясь представить себе, как дух его рассеется после смерти. И не мог.

«Это ужасно! Вот я сижу здесь, живой, жаждущий жизни и счастья, и читаю свой неотвержимый смертный приговор... Читаю и не могу даже протестовать!»

Мысль эту и в этих самых словах Юрий много раз продумывал и читал в книгах. И утомительная своею сознаваемой им однообразной слабостью, она еще больше расстроила и измучила его.

Юрий взял себя за волосы и с отчаянием в душе закачался из стороны в сторону, точно зверь в клетке. С закрытыми глазами и бесконечной усталостью в сердце он обратился к кому-то. Обратился со злобой, но без силы, с ненавистью, но тупой, с мольбой, но не признаваемой им самим.

— Что сделал тебе человек, что ты так издеваешься над ним? Почему ты, если есть, скрылся от него? Зачем ты сделал так, что если бы я и поверил бы в тебя, то не поверил бы в свою веру? Если бы ты ответил, я не поверил бы, что это ты, а не я сам!.. Если я прав в своем

желании жить, то зачем ты отнимаешь у меня право, которое сам дал!.. Если тебе нужны страдания — пусть!.. Ведь мы принесли бы их из любви к тебе! Но мы даже не знаем, что нужнее — дерево или мы...

Для дерева даже есть надежда!.. Оно и срубленное может пустить корни, ростки и ожить! А человек умрет и исчезнет!.. лягу и не встану, и никогда, никогда не узнают, что со мной случилось... Может быть, я опять буду жить, но ведь я этого не знаю... Если бы я знал, что хоть через миллиарды, через миллиарды миллиардов лет я буду опять жить, я бы во все века этого времени терпеливо и безропотно ждал бы в вечной тьме... Он опять стал читать.

«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем».

«Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

«Всходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит».

«Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои».

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем».

«Нет памяти о прежнем; и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем»...

— Я, Екклесиаст, был царем!.. — громко и даже грозно повторил Юрий с непонятной ему самому тоской. Но испугался своего голоса и оглянулся. Не слышал ли кто? Потом взял лист бумаги и полумашинально, как бы поддаваясь несознаваемой потребности, стал писать, думая о том, что все чаще и чаще приходило ему в голову:

— «Я начинаю эту записку, которая должна закончиться с моей смертью»...

— Фу, какая пошлость! — с отвращением сказал он и так оттолкнул бумагу, что она слетела со стола и, легко кружась, упала на пол.

«А вот Соловейчик, маленький жалкий Соловейчик, не сказал себе, что это пошлость, когда убедился, что не может понять жизни...»

Юрий не заметил, что он ставит себе в пример того человека, которого сам называет маленьким и жалким.

«Ну что ж... И я чувствую, что рано или поздно кончу тем же... Потому что нет другого исхода... Почему нет? Потому ли...»

Юрий остановился, он прекрасно, как ему казалось, знал — что, и только что думал об этом, но теперь вовсе не находил слов, чтобы ответить себе. В душе его точно что-то сразу ослабло. Мысль упала и потерялась.

— Чушь, все чушь! — со злобой громко сказал Юрий. Лампа почти вся уже выгорела и догорала тусклым неприятным светом, слабо выделяя из темноты небольшой круг возле головы Юрия.

«Почему я не умер тогда еще, когда был ребенком и болел воспалением легких? Было бы мне теперь хорошо, спокойно...»

И в ту же секунду Юрий представил себя умершим тогда и испугался так, что все в нем

замерло.

«Значит, я не увидел бы и того, что видел?.. Нет, это тоже ужасно...»

Юрий тряхнул головой и встал.

«Так можно с ума сойти...»

Он подошел к окну и толкнул его, но ставень, прихваченный болтом, не подался. Юрий взял карандаш и с усилием протолкнул болт.

Что-то сильно загремело снаружи, ставень легко и мягко отворился, и в окно ворвался чистый и прохладный воздух. Юрий тупо посмотрел на небо, на котором была уже заря.

Утро было чистое и прозрачное. Уже бледное голубое небо сильно розовело с одного края. Семь звезд Большой Медведицы побледнели и спустились вниз; большая, нежно-голубая и будто хрустальная утренняя звезда тихо сияла ярким влажным блеском над алевшей зарей. Резкий холодноватый ветерок потянул с востока, и белый утренний пар легкими волнистыми струйками поплыл от него над темно-зеленой росистой травой сада, цепляясь за высокие лопухи и белую кашку, над прозрачной, слегка зарябившейся водой реки, над зелеными листьями кувшинчика и белых лилий, которых было много у берегов. Прозрачное голубое небо все покрылось грядами воздушных, загорающихся розовым огнем тучек; одинокие и совсем бледные звезды незаметно и бесследно тонули и исчезали в бездонной синеве. От реки все тянул влажный беловатый туман, медленно, полосами плыл над глубокой и холодной водой, переливался между деревьями в сырую и зеленую глубину сада, где еще царил легкий и прозрачный сумрак. Во влажном воздухе, казалось, стоял какой-то странный серебристый звук.

Все было так красиво и тихо, точно влюбленная земля, вся обнажившись, готовилась к великому и полному наслаждения таинству — приходу солнца, которого еще не было, но свет которого, легкий и розовый, уже трепетал над нею.

Юрий лег спать, по свет беспокоил его, голова болела, и перед глазами что-то болезненно мелко-мелко мигало.

XXXV

Рано утром, когда солнце светило низко и ярко, Иванов и Санин вышли из города.

Под солнцем роса блестела и искрилась огоньками, а в тени трава казалась седой от нее. По краям дороги, под тощенькими старыми вербами уже плелись в монастырь богомольцы, и их красные и белые платки, лапти, юбки и рубахи пестро мелькали в просветах солнца сквозь щели плетня. В монастыре звонили, и омытый утренней свежестью звон удивительно чисто гудел над окрестною степью, должно быть долетая до тех еще тихих лесов, что синели, как марево, на самом краю горизонта. По дороге резко и отрывисто перезванивал колокольчик обратной тройки и слышны были грубые деловитые голоса богомольцев.

— Рано вышедши! — заметил Иванов. Санин бодро и весело смотрел вокруг.

— Подождем, — сказал он.

Они сели под плетнем, прямо на песок, и с наслаждением закурили.

Шедшие за возами в город мужики оглядывались на них; бабы и девки, трясшиеся в пустых телегах, чего-то смеялись и показывали на них друг другу насмешливо-веселыми глазами. Иванов не обращал на них никакого внимания, а Санин пересмеивался с ними, и вся дорога ожила звонким женским смехом.

Начинало парить.

Наконец на крыльцо винной монополии, небольшого белого дома с яркой зеленой крышей, вышел сиделец, высокий человек в жилетке. Зевая и гремя замками, он отпер дверь. Баба в красном платке юркнула за ним.

— Путь указан! — провозгласил Иванов. — Идем, что ль? Они пошли и купили водки, а у той же бабы в красном платке — свежих зеленых огурцов.

— Э, да ты, друг, богатый человек! — заметил Иванов, когда Санин достал кошелек.

— Аванс! — засмеялся Санин. — К великому стыду своей маменьки, нанялся письмоводителем к страховому агенту... и капитал, и материнскую обиду приобрел сразу...

— Ну, теперь не в пример способнее! — сказал Иванов, когда они опять вышли на дорогу.

— Да-а... А что, если еще и сапоги снять?

— Вали!

Они оба разулись и пошли босиком. Ноги глубоко уходили в теплый мягкий песок и приятно разминались после узких тяжелых сапог. Теплый песок пересыпался между пальцами и не тер, а нежил ногу.

— Хорошо, — сказал Санин с наслаждением.

Солнце парило все сильнее и сильнее. Они вышли из города и пошли вдоль дороги. Даль курилась и таяла, голубая и прозрачная. На столбах, пересекших дорогу, гудел телеграф, и на тонкой проволоке чинно сидели ласточки. Мимо по насыпи промчался, убавляя ходу, пассажирский поезд, с синими, желтыми и зелеными вагонами. В окнах и на площадках виднелись заспанные, помятые лица. Они смотрели и исчезали. На самой задней площадке стояли две девушки, в светлых шляпках и с молодыми, свежими от утреннего воздуха задорными лицами. Они упорно и с удивлением проводили глазами веселых босых мужчин. Санин смеялся им и приплясывал по песку, высоко блестя голыми пятками. Потом потянулся луг, где трава была густая и влажная, и по ней тоже было приятно и весело идти босыми ногами.

— Благодать! — сказал Иванов.

— Умирать не надо, — согласился Санин.

Иванов искоса поглядел на него: ему почему-то показалось, что при этом Санин должен вспомнить Зарудина, хотя уже прошло много времени со дня его похорон. Но Санин, очевидно, никого не вспомнил, и это было странно, но нравилось Иванову.

За лугом опять пошла дорога, с теми же возами, мужиками и смеющимися бабами. Потом показались деревья, осока и стала видна блестящая под солнцем вода и монастырская гора, на которой золотой звездой блестел крест.

На берегу стояли разноцветные лодки и сидели, в жилетках и цветных рубахах, мужики, у которых Санин и Иванов взяли лодку, после долгого, веселого и шутливого торга.

Иванов сел на весла, Санин взял руль, и лодка быстро и легко поплыла вдоль берега, мелькая в тени и свету и оставляя за собой узенькие и плавные полосы серебристой волны. Иванов греб быстро и хорошо, частыми ровными ударами, от которых лодка вздрагивала и приподымалась, как живая. Иногда весла с шорохом задевали за ветки, и они долго и задумчиво колыхались над темной прибрежной глубиной. Санин, с удовольствием сильно налегая на рулевое весло, так что вода с радостным шумом забурлила и запенилась, круто поворотил лодку в узкий проход между нависшими кустами, где было глубоко, сыро, прохладно и темно. Вода была тут чистая-пречистая, и видны были в ней на сажень желтые камушки и красноперые быстрые рыбки, стайками снующие туда и сюда.

— Самое подходящее место, — сказал Иванов, и голос его весело отдался под темными ветками.

Лодка с тихим скрипом пристала к густой траве берега, с которого вспорхнула какая-то беззвучная птичка, и Иванов выскочил на берег.

— На земле весь род людской!.. — запел он могучим басом, от которого всколыхнулся и загудел воздух.

Санин, смеясь, выскочил за ним и быстро, по колено утопая в сочной живой траве, взбежал на высокий берег.

— Лучше не найти! — закричал он.

— И искать не надо: под солнцем везде хорошо... — ответил Иванов снизу и стал вытаскивать из лодки водку, огурцы, хлеб и узелок с закуской.

Все он перенес на мягкий бугорок под стволом большого дерева и разложил на траве.

— Лукулл обедает у Лукулла, — сказал он.

— И он счастлив, — закончил Санин.

— Не совсем, — возразил Иванов с шутливым огорчением, — рюмку забыли.

— Тьфу, — весело сказал Санин. — Ну ничего, мы сделаем...

И ровно ни о чем не думая, а только наслаждаясь светом, теплом, зеленью и своими быстрыми ловкими движениями, он полез на дерево и, выбрав еще зеленую не закоренелую ветку, стал вырезать ее ножом. Мягкое сочное дерево легко поддавалось усилиям, и маленькие белые пахучие стружки и кусочки сыпались на зеленую траву. Иванов, подняв голову, смотрел на него, и от такого положения ему было так легко и славно дышать, что он все время радостно улыбался.

Ветка хрустнула и мягко свалилась на траву. Санин спрыгнул с дерева и стал долбить из ветки стаканчик, стараясь не попортить коры. Стаканчик выходил ровный и красивый.

— Я, брат, думаю выкупаться опосля, — сказал Иванов, внимательно глядя на его работу.

— Дело хорошее, — весело согласился Санин, ковырнул ножом и подбросил готовый стаканчик на воздух.

Они сели на траву и стали с аппетитом пить водку и есть зеленые, пахучие и сочные огурцы.

Был уже полдень. Солнце стояло высоко, и было жарко везде, даже в тени.

— Не могу! — сказал Иванов. — Душа просит!

Он не умел плавать и, быстро раздевшись, влез в воду на самом мелком и прозрачном месте, где ясно было видно светло-желтое ровное песчаное дно.

— Ух, ладно, — говорил он, подпрыгивая и далеко разбрасывая блестящие брызги.

Санин, не торопясь и глядя на него, разделся и бегом вбежал в воду, подпрыгнул, ухнул и поплыл через реку.

— Утонешь, — кричал Иванов.

— Не утону, — весело фыркая и смеясь, отозвался Санин. Их веселые голоса далеко и радостно разносились по светлой реке и зеленому лугу.

Потом они вылезли и валялись голые в мягкой свежей траве.

— Славно!.. — говорил Иванов, поворачивая к солнцу свою широкую спину с блестящими на ней мелкими капельками воды. — Построим здесь две кущи...

— А ну их к черту! — весело закричал Санин. — И без кущи славно, кущи-то всякие давно надоели!

— Ух-а! Трык-брык! — закричал Иванов, выделявая какие-то дикие и веселые па.

Санин, хохоча во все горло, стал против него и принялся выделявать то же самое.

Голые тела их блестели на солнце, и мускулы быстро и сильно двигались под натянутой кожей.

— Ух! — запыхался Иванов.

Санин еще потанцевал один, потом перекувыркнулся через голову.

— Иди, а то всю водку выпью, — крикнул ему Иванов. Одевшись, они доели огурцы и допили водку.

— Теперь бы пивка холодного... ха-арошо! — мечтательно сказал Иванов.

— Поедем.

— Валяй.

Они наперегонки сбежали с берега к лодке и быстро поплыли.

— Парит, — сказал Санин, счастливо жмурясь на солнце и разваливаясь на дне лодки.

— Будет дождь, — отозвался Иванов, — правь же... черт!..

— Догребешь и сам, — возразил Санин.

Иванов брызнул на него веслом, и светлые прозрачные брызги, насквозь пронизанные солнцем, каскадом разлетелись вокруг.

— И за то спасибо, — сказал Санин.

Когда они проезжали мимо одного из зеленых островов, слышались веселые взвизги, плеск и звонкий радостный женский смех. День был праздничный, и из города много народа понаехало гулять и купаться.

— Девушки купаются, — сказал Иванов.

— Пойдем посмотрим, — сказал Санин.

— Увидят.

— Нет, мы тут пристанем и пойдем по осоке...

— А ну их, — слегка покраснев, сказал Иванов.

— Пойдем.

— Да соромно, — шутливо пожал плечами Иванов.

— Чего?

— Да... оно ж девицы. Нехорошо...

— Дурень ты, — сказал Санин, смеясь, — ведь ты б с удовольствием посмотрел.

— Да ежели девица и того... то кому же оно...

— Ну, так и пойдем...

— Да оставь...

— Тьфу! — сказал Санин. — Нет ни одного мужчины, который бы не хотел видеть красивую голую женщину... и даже такого нет, который хоть раз бы в жизни хоть мельком бы не посмотрел, а...

— Оно так, — согласился Иванов, — а все-таки... ты б уж, если так рассуждаешь, и шел бы прямо, а то прячешься!

— Так прелести, друг, больше, — весело сказал Санин.

— Оно, конечно, весьма это приятственно... А ты сдерживайся...

— Ради целомудрия?

— А хотя бы...

— Да не хотя бы, а больше ведь не для чего!

— Ну, пусть.

— Ну... Да ведь в тебе и во мне этого целомудрия нет...

— Если око тебя соблазняет, вырви его, — сказал Иванов.

— Не городи глупостей, как Сварожич, — засмеялся Санин. — Бог дал тебе око, зачем же его рвать?

Иванов, улыбаясь, пожал плечами.

— Так-то, брат, — направляя к берегу лодку, сказал Санин. — Вот если бы в тебе при виде голой женщины и желания никакого не появлялось, ну тогда был бы ты целомудренный человек... И я бы первый твоему целомудрию удивлялся бы... хотя бы и не подражал и, весьма возможно, свез бы тебя в больницу... А если все это внутри у тебя есть и наружу рвется, а ты его только сдерживаешь, как собаку на дворе, так цена твоему целомудрию — грош!

— Оно точно, только ежели не сдерживаться... то иной человек может бед натворить!..

— Каких бед? Если сладострастие и ведет иногда к беде, так не оно, само по себе, в этом виновато...

— Оно, положим... ты не изъясняй!

— Ну так идем?..

— Да я разве что...

— Дурень ты, вот что... Иди тише! — улыбаясь, сказал Санин. Они почти ползком проползли по душистой траве, тихо раздвигая звенящую осоку.

— Гляди, брат! — восторженно сказал Иванов. Купались какие-то барышни, судя по цветным кофточкам, юбкам и шляпкам, ярко пестревшим на траве. Одни были в воде, брызгались, плескались и смеялись, и вода мягко обливала их круглые нежные плечи, руки и груди. Одна высокая, стройная, вся пронизанная солнцем, от которого казалась прозрачной, розовая и нежная, во весь рост стояла на берегу и смеялась, и от смеха весело дрожали ее розовый живот и высокие девичьи крепкие груди.

— О, брат! — сказал Санин с серьезным восторгом. Иванов с испугом полез назад.

— Чего ты?

— Тише... это Карсавина!

— Разве? А я даже не узнал... Какая же она прелестная! — громко сказал Санин.

— Н-да, — широко и жадно улыбаясь, сказал Иванов.

В это время их услышали и, должно быть, увидели. Раздался крик и смех, и Карсавина, испуганная, стройная и гибкая, бросилась им навстречу и быстро погрузилась в прозрачную воду, над которой осталось только ее розовое с блестящими глазами лицо.

Санин и Иванов, торопясь и путаясь в осоке, счастливые и возбужденные, побежали назад.

— А-ах... хорошо жить на свете! — сказал Санин, широко потягиваясь, и громко запел:

Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны!..

Из-за зеленых деревьев еще долго слышался торопливый, смущенный и радостный смех женщин, которым была стыдно и интересно.

— Будет гроза, — сказал Иванов, посмотрев вверх, когда они вернулись к лодке.

Деревья уже потемнели, и тень быстро поплыла по зеленому лугу.

— Тю-тю, брат... беги!

— Куда? Не убежишь, — весело прокричал Санин.

Туча тихо и без ветра подходила ближе и ближе и уже сделалась свинцовой. Все притихло и

стало пахучее и темнее.

— Вымочит на славу, — сказал Иванов. — Дай закурить с горя.

Слабый огонек загорелся, и было что-то странное в его слабом желтом свете под свинцовой мглой, надвигавшейся сверху. Порыв ветра неожиданно рванул, закрутился и зашумел, сорвав огонек. Крупная капля разбилась о лодку, другая шлепнулась на лоб Санину; и вдруг защелкало по листьям и зашумело по воде. Все сразу потемнело, и дождь хлынул, как из ведра, покрыв все звуки своим чудным водяным звуком.

— И это хорошо, — сказал Санин, поводя плечами, на которых сразу облипла мокрая рубаха.

— Недурно, — ответил Иванов, но сидел, как мокрый сыч.

Туча не редела, но дождь так же быстро ослабел и уже неровно кропил мокрую зелень, людей и воду, по которой прыгали стальные гвоздики. В воздухе было мрачно, и где-то за лесом блестела молния.

— Ну что ж... домой, что ли? — сказал Иванов.

— Все равно, можно и домой.

Они выехали на широкую темную воду, над которой низко и тяжело клубилась тяжелая туча. Молнии сверкали все чаще, и отсюда были видны их грозные огни, прорезывавшие черное небо. Дождь совсем перестал, и в воздухе стало сухо и тревожно пахнуть грозой. Какие-то черные и встрепанные птицы торопливо пролетели низко над самой водой. Деревья стояли темные и неподвижные, четко вырезываясь на свинцовом небе.

— Ух-ух, — сказал Иванов.

Когда они шли по песку, плотно убитому дождем, все затемнело и притихло.

— Ну сейчас и хватит же!

Туча клубилась все ниже и ниже, опускаясь на землю зловещим беловатым брюхом.

И вдруг опять с новой силой рванул ветер, закружил пыль и листья, и все небо разодралось пополам со страшным треском, блеском и грохотом.

— Ого-го-го! — закричал Санин, стараясь перекричать потрясающий гул, наполнивший все вокруг. Но голос его не был слышен даже самому.

Когда вышли в поле, уже стало совершенно темно. Только когда сверкала молния, из тьмы вырывались их шагающие по гладкому песку резкие темные фигуры. Все гремело и грохотало.

— О...а...о!.. — закричал Санин.

— Что? — изо всех сил крикнул Иванов.

Молния засверкала, и он увидел счастливое, с блестящими глазами лицо.

Иванов не расслышал. Он немного боялся грозы.

Когда опять сверкнула молния, всем существом ощущая жизнь и силу, Санин раскинул руки и во все горло долго и протяжно и счастливо закричал навстречу грому, с гулом и грохотом перекатывавшемуся по небу из конца в конец могучего простора.

Солнце светило ярко, как весной, но уже было что-то осеннее в неуловимой кроткой тишине, прозрачно стоявшей между деревьями, то тут то там тронутыми желтыми умирающими красками. И в этой тишине одинокие птичьи голоса звучали разрозненно, и гулко разносилось торопливое жужжание больших насекомых, зловеще носящихся над своим погибающим царством, где трав и цветов уже не было, а бурьяны выросли высоко и дико.

Юрий медленно бродил по дорожкам сада и большими глазами, остановившимися в глубокой думе, так смотрел вокруг — на небо, на желтые и зеленые листья, на тихие дорожки и стеклянную воду, — точно видел все это в последний раз и старался запомнить, вобрать в себя так, чтобы уже никогда не забыть.

Печаль мягко крыла сердце, и причины ее были смутны. Все чудилось, будто с каждым мигом все дальше уходит нечто драгоценное, что могло быть, но не было и не будет никогда. И больно чувствовалось, что по собственной вине. Не то это была молодость и ее молодое счастье, которого он не взял, а оно не повторится; не то огромная заветная деятельность, прошедшая почему-то мимо него, хотя одно время он и стоял у самого центра ее. Как это случилось, Юрий не мог понять. Он был убежден, что в глубине его природы таятся силы, пригодные для сломки целых скал мировых, и ум, охватывающий горизонты шире, чем у кого-либо на свете. Откуда являлась такая уверенность, Юрий не мог сказать и постыдился бы громко заявить о ней кому бы то ни было, хотя бы и самому близкому человеку, но уверенность была, и тогда даже, когда он ясно чувствовал, что скоро устает, что многого не смеет и может только раздумывать над жизнью, стоя в стороне.

«Ну что ж... — думал Юрий, печально глядя на воду, в которой зеркально стояли опрокинутые берега, убранные желтым и красным кружевом. — Быть может, это и есть самое лучшее, самое умное!»

Заманчиво красивым показался ему образ человека, полного ума и чуткости, раздумчиво стоящего в стороне от жизни, с иронически грустной улыбкой следя бессмысленную суету обреченных на смерть. Но было в этом что-то пустое; в глубине души хотелось, чтобы кто-нибудь видел и понимал, как красив Юрий в этой позе стоящего над жизнью, и скоро Юрий поймал себя на самоутешении и с горьким чувством устыдился.

Тогда, чтобы избавиться от тяжелого сознания, Юрий в тысячу первый раз стал говорить себе, что какова бы то ни была жизнь и кто бы ни был виноват в ее ошибках, в конце концов весь ее громоздкий и как будто грандиозный поток скромно и глупо уходит в черную дыру смерти, а там уже нет оценки, как и почему жил человек.

«Не все ли равно, умру ли я народным трибуном, величайшим ученым, глубочайшим писателем, или просто праздношатающим, тоскующим русским интеллигентом? Все ерунда!» — тяжело подумал Юрий и повернул к дому.

Ему стало уж чересчур тоскливо в прозрачной тишине золотого дня, где отчетливее слышались даже собственные мысли и слишком чувствовалось медленное, но верное отшествие прошлого.

«Вон, Ляля бежит, — подумал Юрий, увидев что-то розовое и веселое, шаля мелькавшее за зелеными и желтыми кустами. — Счастливая Лялька!.. Живет, как бабочка, сегодняшним днем, ничего ей не надо... Ах, если бы я мог так жить!»

Но эта мысль была только на поверхности: его ум, его тоска, его мучения и раздумия, от которых он так болезненно страдал, казались Юрию необычайной редкостью и драгоценностью, поменяться которою на мотыльковую жизнь Ляли было бы невозможно.

— Юра, Юра! — звонко певучим голосом крикнула Ляля, хотя была уже в трех шагах, и, вся расцветая улыбкой шаловливого заговорщика, молча подала ему узкий розовый конверт.

— От кого? — что-то почуяв, недоброжелательно спросил Юрий.

— От Зиночки Карсавиной, — торжественно и вместе с тем таинственно провозгласила Ляля и тут же погрозила ему пальцем.

Юрий страшно покраснел. Ему показалось, что в этом передавании записок через сестру, в розовом конверте и запахе духов, что-то пошлое и сам он, счастливый адресат, в достаточной мере смешон. Он вдруг сразу съежился и как будто выставил во все стороны колючие перья. А Ляля, идя с ним рядом, с той особой восторженностью, с которым сентиментальные сестры принимают участие в свадьбах любимых братьев, начала щебетать о том, что она очень любит Карсавину и очень рада и еще больше будет счастлива, когда они поженятся.

Несчастное слово «поженятся» густой краской и злым выражением глаз отразилось на Юрии. Провинциальный роман, с розовенькими записочками, сестрами-поверенными, с законным браком, хозяйством, супругой и детишками, встал перед ним именно в той пошлой, тряпично пуховой сиротности, которой он боялся больше всего на свете.

— Ах, оставь, пожалуйста... что за глупости! — почти с ненавистью отмахнулся он от Ляли, и вышло это так грубо, что Ляля обиделась.

— Чего ты ломаешься... ну влюблен и влюблен, что ж тут такого! — надув губы, сказала она и, с бессознательной женской мстительностью попадая в самое больное место, прибавила:

— Не понимаю, чего ради вы все из себя необыкновенных героев корчите!

Она махнула розовым хвостом, пренебрежительно показала ажурные чулочки и ушла в дом, как оскорбленная принцесса.

Юрий злобно проводил ее черными жесткими глазами, еще больше покраснел и разорвал конверт.

«Юрий Николаевич, если можете и хотите, приходите сегодня в монастырь. Я буду там с тетей. Она говеет и не выходит из церкви. А мне скучно и о многом хотелось бы с вами поговорить. Приходите. Это, может быть, очень дурно, что я вам пишу, но вы все-таки приходите».

Забыв обо всем, о чем он думал, Юрий в странном волнении какой-то физической радости прочел эту записку. В одной коротенькой фразе вдруг необыкновенно ярко почувствовалась молоденькая чистая девушка, доверчиво и наивно открывающая свою любовную тайну. Как будто она уже пришла, бессильная, боязливая, любящая и уже не может бороться, ничего не знает, что будет, и отдается вся в его руки. Неожиданная близость конца захватывающим трепетом истомно наполнила все тело Юрия. Так близко и уже неизбежно почувствовал он своими женскую молодость, в первый раз обнаженное, еще стыдливое и чистое тело, запах женских волос, испуганные и счастливые глаза, в светлых, как росинки, слезах.

Он попытался иронически улыбнуться, но ничего не вышло, все потонуло в таком взмахе жадного счастья, что Юрию показалось, будто он как птица взлетел над верхушками сада в голубой, напоенный солнцем простор.

И весь день сердце его было светло, а в теле чувствовал он столько силы, что каждое движение доставляло ему свежее и полное наслаждение.

Перед вечером он взял извозчика, чтобы не идти по песку, и поехал в монастырь, бессознательно конфузясь всего мира и улыбаясь ему же.

На пристани он перешел в лодку, и здоровый потный мужик быстро повез его к горе.

Юрий все не мог понять, что, собственно, он переживает, и только когда лодка вышла из путаницы узких проливов на широкую воду и она, мягко дыша в лицо влажным запахом глубины, вдруг развернулась перед ним, Юрий сознательно понял, что счастлив и что счастье принес ему наивный розовый конверт.

«Что ж... не все ли равно, в сущности говоря... — счел нужным успокоить себя Юрий, — она жила в таком мире... Уездный роман? Ну и пусть роман!..»

Ритмически журча и облизывая края лодки, бежала мимо вода, и зеленая гора, со своим особым дыханием, полным сумрака и сырости леса, быстро выростала навстречу. Зашуршал песок, буйно зашумела набежавшая за лодкой волна и отхлынула назад. Юрий вылез из лодки, конфузясь, дал лодочнику полтинник и побрел наверх.

Уже шел по лесу тихий вечер, и тени его ложились далеко под гору. От земли подымалась задумчивая сырость, желтые листья скрадывались сумраком, и лес казался опять летним, зеленым и густым. Наверху, в монастырской ограде, было чисто и тихо, как в церкви. Тополи стояли ровно и строго, точно на молитве, и между ними неслышными вечерними тенями ходили длинные черные монахи. В темной впадине церковных дверей мерцали молитвенные огоньки. Неуловимо-тонкий запах свивался вокруг, и нельзя было разобрать: пахнет ли это давним ладаном или увядающими листьями тополей?

— А, здравствуйте, Сварожич! — заорал кто-то сзади. Юрий быстро оглянулся и увидел Шафрова, Санина, Иванова и Петра Ильича. Они шли через двор темной и шумной гурьбой. Черные монахи беспокойно оглядывались на них, и даже тополи как будто потеряли свою молитвенную неподвижность, смущенные внезапным шумом и движением.

— А мы тут того! — сказал Шафров, подходя к Юрию, перед которым он благоговел, и дружелюбно заглядывая ему в глаза своими круглыми очками.

— Дело хорошее, — принужденно пробормотал Юрий.

— Может, и вы с нами? — подходя еще ближе, просительно сказал Шафров.

— Нет, спасибо, право... Я тут не один, — отказался Юрий, нетерпеливо отодвигаясь.

— Ну чего там! — возразил Иванов, с грубоватым добродушием хватая его под руку. — Идем!

Юрий недружелюбно уперся, и они немножко смешно потягали друг друга в разные стороны.

— Нет, ей-богу, не могу!.. Потом я, может быть, зайду... — все принужденнее повторял Юрий, которому показалось, что это аминокошонское тягание совершенно неуместно и унижительно для него.

— Ну ладно... — ничего не заметив, выпустил его Иванов. — Так мы вас будем ждать... Заходите!

— Хорошо, хорошо...

Они ушли из ограды, смеясь и размахивая руками, и опять стало благоговейно, тихо, как на молитве. Юрий снял фуражку и со смешанным чувством насмешки и робости вошел в церковь.

Сейчас же, как только он обогнул одну из темных колонн, Юрий в сумраке увидел Карсавину, в ее серой кофточке и круглой соломенной шляпке, придававшей ей вид гимназистки. Сердце вздрогнуло в нем, и эта дрожь была похожа и на испуг птицы, и на дрожь кошки перед прыжком. Все в ней показалось ему как-то вкусно милым, — и ее кофточка, и шляпа, и черные волосы, жгутом свитые на затылке, над белой шеей, и вид гимназистки, трогательно обаятельный в такой высокой, полной, взрослой девушке.

Она почувствовала Юрия, оглянулась, и ее темные глаза, оставаясь скромно серьезными, в глубине отразили испуганную радость.

— Здравствуйте, — сказал он, понижая голос, но все-таки слишком громко, и не зная, можно ли здесь подать руку или нельзя.

Ближние богомолки оглянулись на них, и Юрий смутился их черных пергаментных лиц. Он покраснел, а Карсавина, как будто угадывая его смущение и с материнским чувством приходя на помощь, чуть-чуть улыбнулась и нежно погрозила влюбленными глазами. Юрий блаженно улыбнулся и замер.

Карсавина не смотрела на него и часто крестилась, но Юрий все время «знал», что она чувствует только его присутствие, и это образовывало между ними тайную тягучую связь, от которой билось и замирало сердце, и все вокруг казалось таинственным и чудным.

Темное лицо церкви — с ее странными, поющими и читающими голосами, мерцающими, как ночники, огоньками, тяжелыми вздохами и одинокими гулкими шагами у входа — смотрело на Юрия важными, строгими глазами, и среди темной и строгой тишины он отчетливо слышал свое маленькое, легко и бодро бьющееся сердце.

Он стоял тихо, смотрел на белую шею под черными волосами, на мягкий изгиб талии, чувствующейся под серой кофточкой, и порой ему становилось так хорошо, что сердце умилялось. И тогда ему хотелось стоять так, чтобы все видели, что хотя он и не верит здесь ничему — ни пенью, ни чтению, ни огонькам — но и не питает к ним ничего, кроме добродушного дружелюбия. И Юрий сам отметил свое настроение, столь не похожее на ту тоскливую злобу, которая была утром.

«Так, значит, можно быть счастливым? — внутренне улыбаясь, спросил он и сейчас же серьезно ответил: — Конечно!.. Все, что я думал о смерти, о бессмысленности жизни, об отсутствии разумной цели и прочее, все это действительно совершенно правильно и разумно, но все-таки счастливым быть можно... И я счастлив, и именно благодаря этой удивительной девушке, которую я еще так недавно совсем не знал...»

Юрию пришла в голову забавная мысль о том, что когда-то, когда они были маленькими смешными мальчиком и девочкой, они могли где-нибудь встречаться, смотрели друг на друга и расходились, не подозревая, что составят друг для друга самое дорогое на свете, будут любить друг друга, и она для него будет раздеваться голой...

Последняя мысль пришла в голову как-то неожиданно, и Юрию стало так стыдно, но вместе с тем и хорошо, что он покраснел до корней волос и долго боялся смотреть на нее.

А она, уже обнажаемая мысленно, стояла впереди милая и чистая в своей серой кофточке и круглой шляпке и молилась без слов, чтобы он любил ее так нежно и страстно, как она его.

Должно быть, что-то очищающее передавалось от нее к нему, потому что бесстыдные мысли

куда-то ушли, и в душе Юрия стало тихо и чисто.

И слезы умиления и любви тепло выступили на глазах Юрия. Он поднял их вверх, увидел золото иконостаса, искорками поблескивающее от свечных огоньков, а еще выше — две перекладины креста, и с давно забытым чувством и непривычным напряжением мысленно крикнул:

«Господи, если Ты есть, дай, чтобы эта девушка любила меня и я всегда любил ее так же, как сейчас!»

Ему стало немножко стыдно своего порыва, но на этот раз он только снисходительно улыбнулся над собой.

«Это ведь только... так!» — подумал он.

— Пойдемте, — тихо, почти шепотом, похожим на вздох, позвала его Карсавина.

Они чинно вышли на паперть с тишиной в душе, точно унося с собой все эти тихо поющие и громко читающие голоса, вздохи и мерцания огоньков, рядом прошли ограду и через старую калитку вышли на обрыв горы. Здесь никого не было, и старая белая стена с облупившимися башенками отделила их от всех людей. У ног их по обрыву кудрявились верхушки дубов, а далеко внизу блестела ровная, как стекло, река и уходила вдаль, за темный горизонт, зеленые луга и поля.

Они молча дошли до самого края обрыва и остановились, не зная, что им делать. Чего-то они боялись и не смели. И, казалось, никогда бы у них не хватило силы сказать и сделать, но Карсавина подняла голову, и как-то совсем неожиданно и просто вышло так, что губы ее встретили губы Юрия. Карсавина вся побледнела, забилась и замерла, а Юрий молча обнял ее, в первый раз почувствовав в своей руке теплое, гибкое тело. Тихо стало кругом, и им показалось, что весь мир замер в торжественной и напряженной тишине.

Должно быть, в ушах зазвенело, но Юрию показалось, что невидимый и неслышимый колокол властно ударил час встречи.

Потом она вырвалась, улыбнулась и побежала назад.

— Тетя хватится меня... подождите... я приду... Никогда после Юрий не мог вспомнить, крикнула ли она эти слова звонким, отозвавшимся в темном лесу голосом, или теплый вечерний ветер донес к нему прерывистый скользкий шепот.

Он сел на траву и провел рукой по волосам.

«Как это все глупо и хорошо!» — блаженно улыбаясь, подумал он и, закрыв глаза, пожал плечами, как будто отвергая в эту минуту все свои прежние мысли, сомнения и страдания.

Карсавина забежала за калитку и остановилась. Сердце у нее билось и лицо горело. Она крепко прижала рукой под волнующейся левой грудью и на минуту прислонилась к стене.

Потом открыла глаза, загадочно повела ими вокруг, легко вздохнув, подобрала черную юбку и быстрыми молодыми ногами побежала по дорожке к гостинице, еще издали звонко крикнув старенькой темненькой тетке, сидевшей на крылечке в ожидании:

— Иду, тетя, иду!

Сначала потемнела даль, потом потускнела в тумане река, послышалось внизу, на зеленых лугах, далекое ржание лошадей, и засветились луговые огоньки.

А Юрий все сидел на обрыве и ждал, машинально считая костры на лугах.

— Раз, два, три... нет, вон еще... на самом горизонте... чуть видно... Точно звездочка!.. А ведь там теперь сидят большие люди, мужики, выехавшие в ночное, варят картошку, говорят... Костер горит весело, вспыхивает, потрескивает, и слышно, как лошади фыркают... А отсюда совсем как искорка... вот-вот потухнет!

Ему было трудно думать о чем бы то ни было, точно за звоном торжествующего счастья он не слышал собственных мыслей. Он сидел очень долго, ощущал, как собирается в его теле упругость и сила, точно подготавливаясь к чему-то, о чем нельзя было сознательно подумать. Он все еще ощущал свое первое прикосновение к молодому, пока скрытому тонкой материей телу и полураскрытым свежим губам и по временам с испугом говорил себе:

— А она сейчас придет!

Сердце вздрагивало и замирало, а тело напрягалось, все больше и больше становясь сильным, свежим и смелым.

Так, полный одним ожиданием, сидел он на обрыве, бессознательно вслушиваясь в далекое ржание лошадей, голоса гусей за рекой и еще тысячи неуловимых звуков леса и вечера, струнно дрожащих высоко над землей.

А когда услышал неровные быстрые шаги и шорох платья, не оборачиваясь, узнал, что это она, и весь задрожал, охваченный любовью, желанием и испугом перед роковым моментом.

Карсавина подошла и стала, и слышно было ее прерывистое дыхание. И вдруг, почувствовав радостную уверенность, что сделает все, что нужно, Юрий сразу обернулся и, с внезапной дерзостью и силой схватив ее на руки, понес, скользя по траве, вниз.

— Упадем! — задыхаясь от счастья и стыда, прошептала она.

Опять Юрий сжимал в руках ее тело, и она казалась ему то большой и пышной, как женщина, то маленькой и хрупкой, как девочка. Сквозь платье рука его почувствовала ее ноги, и Юрия даже испугала мысль, что он касается ее ног.

Внизу, под деревьями, был мрак, и только сверху через край обрыва, обрезавший светлое небо, падал бледный сумеречный свет. Юрий опустил девушку на траву и сам сел, и оттого, что было покато, они оказались лежащими рядом. При бледном свете Юрий нашел ее горячие мягкие губы и стал мучить их тягучими требовательными поцелуями, от которых точно белым огнем раскаленного железа стало жечь их томящиеся тела.

Был момент полного безумия, которым владела одна властная животная сила. Карсавина не сопротивлялась и только дрожала, когда рука Юрия и робко, и нагло коснулась ее ног, как никто никогда еще не касался.

— Ты меня любишь? — обрываясь, спросила она. И шепот ее невидимых в темноте губ был странен, как легкий таинственный звук лесной.

И вдруг Юрий с ужасом спросил себя: «Что я делаю?»

Горящего мозга коснулась ледяная ясность, и все разом опустело, стало бледным и светлым, как в зимний день, в котором нет уже ни жизни, ни силы.

Она полуоткрыла побелевшие глаза и со смутным тревожным вопросом потянулась к нему. Но вдруг тоже быстро и широко взглянула, увидела его лицо и себя, вся вспыхнув нестерпимым стыдом, быстро отбросила платье и села.

Мучительный сумбур чувств наполнил Юрия: невозможным показалось ему остановиться, точно это было бы смешно и противно. Растерянно и нелепо он попытался продолжать и хотел броситься на нее, но она так же растерянно и нелепо защищалась, и короткая, бессильная возня, наполняя Юрия ужасным и безнадежным сознанием позорного и смешного, противного и безобразного положения, была действительно уже смешна и безобразна. Растерянно и опять как будто в то самое мгновение, когда силы ее упали и она готова была подчиниться, он опять оставил ее. Карсавина дышала коротко и прерывисто, как загнанная.

Наступило безвыходное тяжкое молчание, а потом он вдруг заговорил:

— Прости...те меня... я сумасшедший...

Она задышала скорее, и он понял, что этого не надо было говорить, что это оскорбительно. Пот облил все его ослабевшее тело, и опять язык его, точно против воли, забормотал что-то о том, что он сегодня видел, потом о своих чувствах к ней, потом о тех своих мыслях и сомнениях, которыми он был полон всегда и которыми, увлекаясь сам, так часто увлекал и ее. Но все казалось теперь неловким, связанным, лишенным жизни, голос звучал фальшиво, и, наконец, Юрий замолчал, внезапно почувствовав одно желание: чтобы она ушла и так или иначе хоть на время прекратилось это нестерпимое смешное положение.

Должно быть, она почувствовала это или переживала то же, потому что на мгновение задержала дыхание и прошептала, робко и просительно:

— Мне пора... Пойду...

«Что делать, что делать?» — весь холодея, спрашивал себя Юрий.

Они встали и не смотрели друг на друга. С последним усилием вернуть прежнее Юрий слабо обнял ее. И вдруг в ней опять пробудилось что-то материнское. Как будто она почувствовала себя сильнее его, девушка мягко прижалась к нему и улыбнулась прямо в глаза ободряющей милой улыбкой.

— До свиданья... приходи завтра ко мне...

Она поцеловала его так нежно, так крепко, что у Юрия беспомощно закружилась голова, и что-то, похожее на благоговение перед ней, согрело его растерянную душу.

Когда она ушла, Юрий долго прислушивался к шороху ее шагов, потом отыскал свою фуражку, полную листьев и земли, вытряхнул ее, надел и, спустившись вниз, пошел в гостиницу, далеко обходя ту дорожку, по которой должна была пройти Карсавина.

«Ну что ж, — думал он, шагая в темноте, — неужели надо было запачкать эту чистую святую девушку... непременно кончить так, как сделал бы всякий пошляк на моем месте?... Бог с ней... Это было бы гадко, и слава Богу, если я оказался на это неспособен!.. И как это гадко: сразу, почти без слов, как зверь!» — уже с брезгливым чувством думал он о том, что еще недавно наполняло его таким счастьем и такой силой.

Но внутри его все что-то ныло и рвалось в бесплодной тоске, подымая глухой и тяжелый стыд. Даже руки и ноги, казалось ему, болтались как-то глупо, ни к чему, и фуражка сидела на голове, как колпак.

— Разве я способен жить? — спросил он во внезапном отчаянии.

В широком коридоре монастырской гостиницы пахло хлебом, самоварами и ладаном. Проворный здоровый монах мчал куда-то толстый, как арбуз, самовар.

— Батюшка, — сказал Юрий, невольно конфузясь этого названия и ожидая, что сконфузится и монах.

— Что прикажете? — спросил тот учтиво и спокойно, выглядывая из-за облаков пара.

— У вас тут должна быть одна компания из города.

— Это в седьмом номере, — тотчас же ответил монах, точно давно ожидал этого вопроса. — Пожалуйте вот сюда, на балкончик...

Юрий отворил дверь седьмого номера. В большой комнате было темно, и, должно быть, она вся была полна табачным дымом. За дверью на балконе было светло, звенели бутылки и двигались, смеясь и крича, люди.

— Жизнь — неизлечимая болезнь! — услышал Юрий голос Шафрова.

— Дурень ты неизлечимый! — ответил Иванов громогласно. — Эк тебя... фразами так и прет!

Когда Юрий вошел, все встретили его радостными пьяными восклицаниями. Шафров вскочил, чуть не стянув скатерть, вылез из-за стола и, обеими руками пожимая руку Юрия, влюбленно забормотал:

— Вот хорошо, что пришли! Вот спасибо, ей-богу!.. В самом деле, право...

Юрий сел между Саниным и Петром Ильичом и огляделся. Балкон был ярко освещен двумя лампами и фонарем, и казалось, что за пределами света стоит непроницаемая черная стена. Но, отвернувшись от огней, Юрий еще довольно ясно увидел зеленоватую полосу зари, горбатый силуэт горы, верхушки ближайших деревьев и далеко внизу слабо поблескивающую, засыпающую поверхность реки.

На огонь летели из лесу бабочки и жучки, кружились, падали, подымались и тихо ползали по столу, умирая в бессмысленной огненной смерти.

Юрий поглядел на них, и стало ему грустно.

«Так и мы, люди, — подумал он, — мы тоже летим на огонь, на всякую блестящую идею, бьемся вокруг нее и умираем в страданиях. Мы думаем, что идея — это выражение мировой воли, а это только горение нашего мозга!..»

— Ну, выпьем? — спросил Санин, дружелюбно наклоняя к нему бутылку.

— Можно, — печально согласился Юрий и сейчас же подумал, что, пожалуй, не одно ли это только и осталось ему.

Они выпили, чокнувшись. Водка показалась Юрию противной, как горячий горький яд, и с брезгливой дрожью во всем теле он потянулся к закуске. Но и закуска долго сохраняла противный вкус и не шла в горло.

«Нет, что бы то ни было... смерть, каторга... а надо бежать отсюда, — сказал он себе. — А впрочем, куда и бежать?.. Везде то же, а от себя не убежишь. Когда человек становится выше жизни, она не удовлетворит его нигде и ни в какой форме... В этом ли городишке, в Петербурге ли... все равно!»

— А по-моему, человек сам по себе — ничто!.. — громко кричал Шафров.

Юрий посмотрел на его неумное и скучное лицо, в очках, с маленькими неяркими глазками, и подумал, что такой человек действительно сам по себе — ничто.

— Индивидуум — нуль!.. Только индивидуумы, являющиеся созданием массы и не теряющие связь с нею, не противопоставляющие себя толпе, как любят делать буржуазные «герои», имеют действительную силу...

— Да сила-то их в чем? — озлобленно спрашивал Иванов, грузно наваливаясь на стол обеими локтями скрещенных рук. — В борьбе с существующим правительством? — да!.. А в борьбе за свое собственное счастье, что — им поможет масса?

— Ну да... вы «сверхчеловек»! Вам нужно какое-то особенное счастье! Свое! А мы, люди толпы, думаем, что именно в борьбе за общее благо мы обретем и свое счастье... Торжество идеи — вот и счастье!

— А если идея ошибочна?

— Это все равно, — безапелляционно мотнул головой Шафров, — надо только верить...

— Плюнь, — презрительно посоветовал Иванов, — каждый человек верит, что то, чем он занимается, и есть самое важное и необходимое... Это полагает даже дамский портной... Ты это знал, но, вероятно, забыл... дело друга — напомнить.

Юрий с беспричинной ненавистью посмотрел в его лицо, бледное от выпитой водки, потное, с большими серыми и без блеска глазами.

— А по-вашему, в чем же счастье? — скривив губы, спросил он.

— Да уж, конечно, не в том, чтобы всю жизнь хныкать и на каждом шагу спрашивать себя: вот я чихнул... ах, хорошо ли я сделал?.. Нет ли от этого кому-нибудь вреда?.. Исполнил ли я чиханьем сим свое предназначение?

Юрий ясно увидел в холодных глазах ненависть к себе и весь задрожал, подумав, что Иванов, кажется, считает себя умнее его и хочет смеяться над ним.

«Ну это еще посмотрим!» — мысленно сказал Юрий.

— Это не программа, — еще больше кривясь и стараясь, чтобы каждая черточка лица его выражала неохоту спорить и полное презрение, заявил он.

— А вам нужно непременно программу?.. Что хочу, что могу, то и делаю! Вот вам программа.

— Нечего сказать, хорошая программа! — возмутился Шафров, но Юрий только презрительно повел плечом и намеренно промолчал.

Некоторое время пили молча, а потом Юрий повернулся к Санину и стал говорить, не глядя на Иванова, но для Иванова о том, что считал самым лучшим. Ему казалось, что теперь, когда он скажет несколько слов последовательно и выскажет свою мысль всю, то никто не будет в состоянии опровергнуть ее. Но к его раздражению, на первых же словах о том, что человек не может жить без Бога и, повергнув одного, должен найти другого, чтобы жизнь не

шла бессмысленным существованием, Иванов через плечо сказал:

— Про Катерину?.. Слыхали!

Юрий промолчал и продолжал развивать свою мысль. Увлечшись спором, он не замечал, что энергично защищает то, что для него самого было источником сомнения. Еще сегодня утром он задавал себе вопросы о своей вере, а теперь, в споре, оказывалось, что все у него продумано и все это он твердо установил.

Шафров слушал его с благоговением и умильной радостью, Санин улыбался, а Иванов смотрел вполоборота и на каждую мысль, казавшуюся Юрию новой и собственной, кидал презрительно:

— И это — слыхали! Юрий вспыхнул.

— Ну, знаете, и мы это «слыхали»!.. Нет ничего легче, как не находя, что возразить, сказать «слыхали» и успокоиться!.. Если вы только и говорите, что «слыхали», я имею право тоже сказать: ничего вы не слыхали!

Иванов побледнел, и глаза у него стали совершенно злыми.

— Может быть, — с нескрываемой насмешкой и желанием оскорбить сказал он, — мы ничего не слыхали: ни о трагических раздумьях, ни о невозможности жить без Бога, ни о голом человеке на оголенной земле...

Иванов произносил каждую фразу напыщенным тоном и вдруг зыкнул злобно и коротко:

— Поновой что-нибудь придумайте!

Юрий почувствовал, что в глумлении Иванова есть правда: ему вдруг припомнилось, какую массу книг и об анархизме, и об марксизме, и об индивидуализме, и о сверхчеловеке, и о преображенном христианине, и о мистическом анархизме, и еще о многом прочел он. Действительно, все это «слыхали» все, а все оставалось по-прежнему, и у него самого было уже тяжкое ощущение томления духа. Но тем не менее ни на одну секунду ему не пришло в голову уступить и замолчать. Он заговорил резко, сам видя, что больше оскорбляет Иванова, чем доказывает свою мысль.

Иванов рассвирепел и стал просто страшен. Лицо его стало еще бледнее, глаза вылупились из орбит, и голос загремел дико и грубо.

Тогда Санин вмешался с досадливым и скучающим видом:

— Оставьте, господа... Как вам не скучно! Нельзя же ненавидеть человека за то, что он думает по-своему...

— Тут не дума, а фальшь! — огрызнулся Иванов. — Тут хочется показать, что он думает тоньше и глубже, чем мы все, а не...

— Какое же вы имеете право это говорить? Почему именно я, а не вы, хотите...

— Слушайте! — громко и властно крикнул Санин. — Если вам хочется драться — ступайте оба вон и деритесь где хотите... Вы не имеете никакого права заставляя нас слушать вашу бессмысленную ссору!

Иванов и Юрий замолчали. Оба были красны и взволнованы и старались не смотреть друг на друга. Довольно долго было тихо и неловко. Потом Петр Ильич тихо запел:

— Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Руслана...

— Будь спокоен... своевременно поставят... — буркнул Иванов.

— Пусть... — покорно сказал Петр Ильич, но петь перестал и налил Юрию стакан водки.

— Будет думать, — пробурчал он, — выпейте-ка лучше! «Эх, махнуть на все рукой!» — подумал Юрий, взял стакан и залпом выпил.

И, странно, в это мгновение он почувствовал жгучее желание, чтобы Иванов заметил его подвиг и возымел к нему уважение. Если бы Иванов это сделал, Юрий почувствовал бы к нему дружелюбие и даже нежность, но Иванов не обратил никакого внимания, и, мгновенно подавив в себе унижительное желание, Юрий насупился и весь залился одним голым, омерзительным ощущением массы водки, обдавшей все внутренности и наполнившей даже нос.

— Молодость, Юрий Николаевич, ей-богу! — закричал Шафров, но Юрию стало стыдно, что Шафров похвалил его.

Едва преодолев волну водки, хлынувшую к носу и рту, и весь содрогаясь от физического отвращения, Юрий долго не мог прийти в себя и шарил по столу, отыскивая и оставляя закуски. Все казалось отвратительным, как яд.

— Да. Таких людей я остерегаюсь называть людьми, — важной октавой говорил Петр Ильич, когда Юрий опять стал видеть и слышать.

— Остерегаешься? Bravo, дядько! — злорадно отозвался Иванов, и хотя Юрий не слышал начала разговора, но по голосу догадался, что речь шла о нем, о таких людях, как он.

— Да. Остерегаюсь... Человек должен быть... генерал! — отчетливо и веско провозгласил Петр Ильич.

— Не всегда это возможно... А вы сами! — со злобной дрожью уязвленности возразил Юрий, не глядя.

— Я?.. Я — генерал в душе!

— Bravo! — заорал Иванов так неистово, что какая-то ночная птица, ломая ветки, камнем шарахнулась в ближайшей чаще.

— Разве что в душе! — усиливаясь сохранить иронию и болезненно воображая, что все против него и хотят его оскорбить и унижить, заметил Юрий.

Петр Ильич важно посмотрел на него сверху и вбок.

— Как могу... Что ж, хоть в душе — и то хорошо. Один стар, пьян и беден, как я, тот генерал в душе, а кто молод и силен, тот генерал и в жизни... Всякому свое. А таких людей, которые хнычут, трусы... таких я остерегаюсь называть людьми!

Юрий что-то возразил, но случилось как-то так, что за смехом и говором его не услышали, а возражение казалось Юрию уничтожающим. Он повторил его громче, и опять его не услышали. Ядовитая обида отравила Юрия до слез, и вдруг ему почудилось, что все его презирают.

«А впрочем, я просто пьян!» — неожиданно подумал он и в эту минуту понял, что действительно пьян и не надо больше пить.

Голова тихо и противно плавала, огни ламп и фонаря стояли как будто перед самыми глазами, а круг зрения странно сузился. Все, что попадало на глаза, было отчетливо ярко, а кругом стояла тьма. И голоса раздавались как-то необычно: и оглушительно громко говорили, и нельзя было расслышать, о чем.

— Ты говоришь — сон? — важно спрашивал Петр Ильич.

— Сон — любопытный, — отвечал Иванов.

— В них «есть»... в снах, — веско произнес певчий.

— Видишь... лег я вчера спать. Да... На сон грядущий взял почитать одну книжицу, думал чем-нибудь прочистить голову, сполна набитую всяческой суетой и томлением... Попадаетеся мне статейка о том, как, где, когда и кого проклинали. Смотрю — вещь умственная и душевная. Читал я ее, читал... читаю, читаю... что ни дальше, то страшнее. Добираюсь до того пункта, который гласит, кто и за что предается анафеме. Тут я, правда не удивляясь, усмотрел, что как раз именно меня всегда и проанафемятствуют... Узнавши с достоверностью о проклятии всеми существующими церквями, я бросил книгу, покурил и стал дремать, вполне успокоенный насчет места своего во вселенной. Сквозь сон я задался было вопросом, что, если миллионы людей жили и с полной верой меня проклинали, то... но тут я заснул, и вопрос остался в зародыше. И стал я чувствовать, что мой правый глаз не глаз, а папа Пий X, а левый что-то вроде вселенского патриарха... и оба друг друга проклинаят. От столь странного превращения вещей я проснулся.

— Только и всего? — спросил Санин.

— Зачем, я опять заснул.

— Ну?

— Ну, а опосля того уже не было спокойствия духа. Чудился мне некий дом, не то наш, не то незнаемый никем, и по самой большой комнате ходил я из угла в угол. И был тут где-то близко ты, дядько Петр Ильич. Он говорил, я слушал, но как будто его не видел. «Замечал я, — говорит Петр Ильич, — как молится кухарка», и я соображаю, что в кухне на печке, точно, должна молиться кухарка... Живет там и молится... «Нам неясно представляется, и понять мы не можем, но человек, простой сердцем, понимаешь, просто-ой... Когда она молилась и поминала всех, то как ничего и не было, но когда она помянула вас, меня, то есть, и Санина, то...» — когда он сказал это, я почувствовал, что должно произойти нечто необыкновенное... «Ведь не зря молились все простые люди со дня сотворения!» И сообразил, весьма кстати, что не иначе как явился кухарке Бог. А Петр Ильич совсем сошел на нет, но все-таки говорил: «Явился ей будто образ...» Я продолжал чувствовать себя недурно, потому что хотя и не Бог, но все же что-то такое, все-таки лестно! «Явился ей образ, но только не образом!..» После этого дядьки совсем не стало. Я встревожился: это другое, а не образ, совсем уничтожило мое спокойствие. Чтобы восстановить его, следовало бы немедленно уничтожить то, что очутилось в углу комнаты и запищало. Ясно, что это была просто мышь... она что-то грызла и перегрызала... она даже как будто веселилась. Напала на меня тоска... мышь себе грызла и грызла, мерно и в такт... Тут я и проснулся!

— Что б тебе еще немного не просыпаться, — заметил Санин.

— Я сам опосля сообразил!

Несмотря на шуточный тон Иванова, почувствовалось, что сон почему-то произвел на него сильное впечатление и оно сидело в глубине души непонятным страхом. Он криво усмехнулся и потянулся к пиву. Все молчали, и в молчании как будто придвинулась тьма за балконом, и стало совсем не весело, а жутко и скучно, и непонятный сон, сквозь насмешку и

безверие, тоненькое жало тоскливого ужаса запустил в сердца.

— Да, — торжественно проговорил Петр Ильич, — вы все умны, вы умны, как черти, а есть что-то... есть!.. И вы не знаете его, а оно говорит вам...

В голосе ли певчего, в тьме ли, обступившей кругом, в подавленных ли водкой мозгах, или в мгновенно сверкнувшей близости тайны жизни и смерти, непонятной и безобразной, но было нечто, что отозвалось в душе каждого: «А вдруг... а вдруг есть!..»

Санин встал, и на его спокойном, как всегда, лице отразилась скука. Он зевнул и махнул рукой.

— Все страхи, все страхи! — сказал он. — Как бы вам еще чего-нибудь не испугаться. Умрем — увидим...

Он медленно закурил папиросу и пошел в двери.

А на балконе опять зашумели и заспорили, и под шум громких пьяных голосов по-прежнему ползали по столу и кружились в муках огненной смерти безмолвные бабочки, налетевшие на огонь.

Санин вышел во двор гостиницы, и синяя ночь мягко и свежо обняла его разгоревшееся тело. Месяц золотым яичком вышел из-за леса, и чуть-чуть скользил по черной земле его полусказочный свет. За садом, из которого тягуче и сладко пахло сливами и грушами, смутно белело здание другой гостиницы, и одно окно сквозь зеленые листья ярко смотрело на Санина.

В темноте слышалось шлепанье босых ног, похожее на шлепанье звериных лапок, и еще не привыкшими к темноте глазами Санин смутно разглядел силуэт мальчика.

— Тебе чего? — спросил Санин.

— Барышню Карсавину, учительницу, — тоненьким голосом отозвался босой мальчик.

— Зачем? — спросил Санин, при имени Карсавиной вспоминая ее, как она стояла на берегу, нагая, вся пронизанная светом не то молодости, не то яркого солнца.

— Записку им принес, — ответил мальчик.

— Ага... В той гостинице она, должно быть. Тут нет... Вали туда.

Опять, как зверек, мальчик зашлепал босыми пятками и исчез в темноте так быстро, точно спрятался в кустах.

А Санин медленно пошел за ним, всей грудью вдыхая густой, как мед, садовый воздух. Он дошел до самой гостиницы, под освещенное окно, и полоса света легла на его задумчивое и спокойное лицо. На свету в темной зелени ясно белелись большие тяжелые груши. Санин поднялся на носки, сорвал одну, а в окне увидал Карсавину.

Она видна была в профиль, в одной рубашке, с круглым плечом, на котором как на атласе скользили блики света. Она упорно смотрела вниз и думала, и, должно быть, то, о чем она думала, волновало ее и стыдом, и радостью, потому что веки ее вздрагивали, а губы улыбались. Санина поразила ее улыбка: в ней дрожало что-то неуловимо нежное и страстное, точно девушка улыбалась навстречу близкому поцелую.

Он стоял и смотрел, охваченный чувством сильнее его самого, а Карсавина думала о том, что произошло с ней, и ей было мучительно стыдно и мучительно приятно.

«Господи, — с необыкновенно чистым ощущением, какое, должно быть, бывает у расцветшего цветка, спрашивала себя девушка, — неужели я такая развратная?»

И с глубочайшей радостью в сотый раз вспоминала то непонятно влекущее ощущение, которое испытала она, подчиняясь Юрию в первый раз.

«Милый, милый!» — вспыхивая и замирая, мысленно тянулась она к нему, и опять Санину было видно, как трепетали ее ресницы и улыбались розовые губы.

О безобразной и томительно нелепой сцене, которая произошла потом, девушка не вспоминала. Какое-то тайное чувство отводило ее от того темного уголка, в котором как тонкая заноза осталось болезненное, обидное недоумение.

В дверь номера постучались.

— Кто там? — спросила Карсавина, поднимая голову, и Санин отчетливо увидел ее белую, нежную и сильную шею.

— Записку принес, — пискнул мальчик за дверью. Карсавина встала и отворила. Босой, по колено в свежей грязи, мальчик вошел в комнаты и торопливо сдернул картуз.

— Барышня прислали, — сказал он.

«Зиночка, — писала Карсавиной Дубова, — если можешь, приезжай сегодня же в город. Приехал инспектор и завтра утром будет у нас. Неудобно, если тебя не будет».

— Что такое? — спросила старая тетка.

— Нюта зовет. Приехал инспектор, — в раздумье ответила Карсавина.

Мальчик почесал одной ногой другую.

— Очень приказывали, чтоб непременно вы приходили.

— Пойдешь? — спросила тетка.

— Как же я одна пойду... темно.

— Месяц взошел, — возразил мальчик, — вовсе видать.

— Надо идти, — нерешительно сказала Карсавина.

— Иди, а то как бы неприятностей не вышло.

— Ну пойду! — решительно тряхнула головой девушка. Она быстро оделась, приколола шляпку и подошла к тетке.

— До свиданья, тетя.

— До свиданья, деточка. Христос с тобою.

— А ты со мной пойдешь? — спросила девушка у мальчика. Мальчик замялся и опять почесал лапки.

— Я к мамке пришел... Мамка тут у монахов на прачешной.

— А как же я одна, Гриша?

— Ну пойдём, — тряхнув волосами, с решительным видом согласился мальчик.

Они вышли в сад. И синяя ночь так же мягко и осторожно охватила девушку.

— Хорошо пахнет как, — сказала она и вскрикнула, наткнувшись на Санина.

— Это я, — смеясь, отозвался он.

Карсавина в темноте подала еще дрожащую от испуга руку.

— Ишь, пужливая! — снисходительно заметил Гришка. Девушка смущенно засмеялась.

— Ничего не видно, — оправдывалась она.

— Куда это вы?

— В город. Вот прислали за мной.

— Одна?

— Нет, с ним... Он мой рыцарь.

— Рыцарь! — с удовольствием повторил Гришка, суча лапками.

— А вы тут чего?

— А мы по пьяному делу, — шутя пояснил Санин.

— Кто вы?

— Шафров, Сварожич, Иванов...

— И Юрий Николаевич с вами? — краснея в темноте, спросила Карсавина. Ей было так жутко и приятно произносить вслух это имя, как заглядывать в пропасть.

— А что?

— Так. Я его встретила... — еще больше краснея, сказала девушка. — Ну, до свидания.

Санин ласково придержал протянутую руку.

— Давайте я вас перевезу на тот берег, а то что же вам кругом идти.

— Нет, зачем же, — с непонятной застенчивостью сказала девушка.

— Пущай перевезет, а то на плотине дюже грязно, — авторитетно возразил босой Гришка.

— Ну хорошо... А ты тогда ступай к матери.

— А ты по полю не боишься одна? — солидно спросил Гришка.

— Да я до города проведу, — заметил Санин.

— А ваши же как?

— Они тут до света будут: да и надоели они мне изрядно.

— Ну, если вы так добры... — засмеялась Карсавина. — Иди, Гриша.

— Прощайте, барышня...

Мальчуган опять как будто спрятался куда-то в кусты, и Карсавина с Саниным остались

вдвоем.

— Давайте руку, — предложил Санин, — а то с горы еще упадете...

Карсавина подала руку и ощутила со странной неловкостью и смутным волнением твердые как железо мускулы, передвигавшиеся под тонкой рубахой. Невольно толкаясь в темноте и на каждом шагу ощущая упругость и теплоту тел друг друга, они пошли через лес вниз к реке. В лесу был полный, как будто вечный мрак, и не было, казалось, деревьев, а одна густая, теплом дышащая молчаливая тьма.

— Ой, как темно!

— Ничего, — над самым ее ухом тихо сказал Санин, и в голосе его что-то задрожало, — я ночью больше лес люблю... В ночном лесу люди теряют свои привычные лица и становятся таинственнее, смелее и интереснее...

Земля осыпалась под их ногами, и они с трудом удерживались, чтобы не упасть.

И от этой тьмы, от этих столкновений упругого и твердого тела, от близости сильного, всегда нравившегося ей человека девушкой стало овладевать незнакомое волнение. В темноте она покраснелась, и рука ее стала горячо жечь руку Санина. Девушка часто смеялась, и смех ее был высок и короток.

Внизу стало светлее, а над рекою уже ясно и спокойно светил месяц. Пахнуло в лицо холодом большой реки, и темный лес мрачно и таинственно отступил назад, как бы уступая их реке.

— Где же ваша лодка?

— А вот.

Лодка отчетливо, как нарисованная, вырезывалась на гладкой светлой поверхности. Пока Санин надевал весла, Карсавина, слегка балансируя руками, легко прошла на руль и села. И сразу она стала фантастичной, освещенная синим месяцем и колеблющимся отражением воды, Санин столкнул лодку и прыгнул в нее. Лодка с тихим шорохом скользнула по песку, зазвенела водой и вышла на лунный свет, оставляя за собой длинные, плавно расходящиеся волны.

— Давайте, я буду грести, — сказала Карсавина, все еще полная какой-то требовательной взволнованной силы. — Я люблю сама...

— Ну садитесь, — усмехнулся Санин, стоя посреди лодки. Опять она прошла мимо него по лавочке, легкая и гибкая, чуть-чуть коснувшись кончиками пальцев протянутой руки. И когда она проходила, Санин снизу смотрел на нее, и мимо его лица скользнула ее грудь, с запахом духов и молодого женского тела.

Они поплыли. Синее небо с задумчивым месяцем отражалось в полной воде, и казалось, что лодка плывет в светлом и спокойном пространстве. Карсавина сидела прямо и слабо двигала веслами, всплескивая водой и выпукло выгибая вперед грудь. Санин сидел на руле и смотрел на нее, на ее грудь, на которую так хорошо было бы положить горячую голову, на круглые гибкие руки, которые так сильно и нежно могли бы обвить вокруг шеи, на полное неги и молодости тело, к которому так беззаветно и бешено можно было прижаться. Месяц светил в ее белое лицо с черными бровями и блестящими глазами, скользил по белой кофточке на груди, по юбке на полных коленях, и что-то делалось с Саниним, точно он все дальше и дальше плыл с ней в сказочное царство, далеко от людей, от разума и рассудительных человеческих законов.

— Как хорошо сегодня, — говорила Карсавина, оглядываясь вокруг.

— Да, хорошо, — тихо ответил Санин. Вдруг она засмеялась.

— И почему-то хочется шляпу бросить в воду и косу распустить... — сказала она, повинувшись безотчетному порыву.

— Что ж, и распустите, — сказал Санин еще тише. Но она вдруг застыдилась и замолчала.

И опять в душе девушки, вызванные ночью, теплом и простором, замелькали воспоминания, и опять ей стало стыдно и хорошо смотреть вокруг. Ей все казалось, что Санин не может не знать, что произошло с ней, но от этого чувство ее становилось только богаче и сложнее. У нее явилось неодолимое, но смутно сознаваемое желание намекнуть ему, что она не всегда такая тихая и скромная девушка, что она, может, и была совсем другою, и нагой, и бесстыдной. И от этого неосознанного желания ей стало весело и жарко.

— Вы давно знаете Юрия Николаевича? — неровным голосом спросила она, чувствуя неодолимую потребность скользнуть над пропастью.

— Нет, — ответил Санин, — а что?

— Так... Правда, он хороший и умный человек?

В голосе ее зазвучала почти детская робость, точно она выпрашивала себе подарка у старшего человека, который может и приласкать, и наказать ее.

Санин, улыбаясь, посмотрел на нее и ответил:

— Да.

Карсавина по голосу догадалась, что он улыбается, и покраснела до слез.

— Нет, право... И он какой-то... он, должно быть, много страдал... — с трудом договорила она.

— Вероятно. Что он несчастный — это верно, — согласился Санин. — А вам жаль его?

— Конечно, — притворно наивным тоном сказала Карсавина.

— Да, это понятно... Только вы странно понимаете слово «несчастный»... Вот, вы думаете, что нравственно неудовлетворенный, надо всем с трепетом, раздумывающий человек не просто несчастный, жалкий, а какой-то особенный, высший, даже, пожалуй, сильный человек! Вечное перекидывание своих поступков справа налево кажется вам красивой чертой, дающей право человеку считать себя лучше других, дающей ему право не столько на сострадание, сколько на уважение и любовь...

— А как же? — наивно спросила Карсавина.

Она никогда так много не говорила с Саниним, но постоянно слышала о нем, как о человеке совершенно своеобразном, и сама чувствовала в его присутствии приближение чего-то нового, интересного и волнующего.

Санин засмеялся.

— Было время, когда человек жил узкой и скотской жизнью, не отдавая себе отчета в том, что и почему он делает и чувствует. Потом настала пора жизни сознательной, и первая ступень ее была переоценка всех своих чувств, потребностей и желаний. На этой ступени стоит и Юрий Сварожич, последний из могикан уходящего в вечность периода человеческого

развития. Как все конечное, он впитал в себя все соки своей эпохи, и они отравили его до глубины души... У него нет жизни как таковой, все, что он делает, подвержено у него бесконечному спору: хорошо ли, не дурно ли?... Это доведено у него до смешного: поступая в партию, он думает, не ниже ли достоинства его стоять в рядах других, а выйдя из партии, он мучится — не унижительно ли стоять в стороне от всеобщего движения!.. Впрочем, таких людей — масса, они большинство... Юрий Сварожич только тем и исключение, что он не так глуп, как другие, и борьба с самим собою принимает у него не смешные, а иногда и в самом деле трагические формы... Какой-нибудь Новиков только жиреет от своих сомнений и страданий, как боров, запертый в хлев, а Сварожич и впрямь носит в груди катастрофу...

Санин вдруг остановился. Собственный громкий голос и простые, дневные слова отогнали его ночное очарование, и ей стало жаль его. Он замолчал и опять стал смотреть только на девушку, на ее черные брови на белом лице, на ее высокую грудь.

— Я не понимаю, — робко заговорила девушка, — вы так говорите о Юрии Николаевиче, как будто он сам виноват в том, что такой, а не другой... Если человек не удовлетворяется жизнью, значит, он выше жизни...

— Человек не может быть выше жизни, — возразил Санин, — он сам — только частица жизни... Неудовлетворенным он может быть, но причины этой неудовлетворенности в нем самом. Он просто или не может, или не смеет брать от богатства жизни столько, сколько это действительно нужно ему. Одни люди сидят в тюрьме всю жизнь, другие сами боятся вылететь из клетки, как птица, долго в ней просидевшая... Человек — это гармоническое сочетание тела и духа, пока оно не нарушено. Естественно нарушает ее только приближение смерти, но мы и сами разрушаем его уродливым мирозерцанием... Мы заклеили желания тела животностью, стали стыдиться их, облекли в унижительную форму и создали однобокое существование... Те из нас, которые слабы по существу, не замечают этого и влачат жизнь в цепях, но те, которые слабы только вследствие связавшего их ложного взгляда на жизнь и самих себя, те — мученики: смятая сила рвется вон, тело просит радости и мучает их самих. Всю жизнь они бродят среди раздвоений, хватаются за каждую соломинку в сфере новых нравственных идеалов и в конце концов боятся жить, тоскуют, боятся чувствовать...

— Да, да... — с неожиданной силой отозвалась Карсавина. Масса мыслей, новых и неожиданных, легко поднялась в ней.

Она смотрела вокруг блестящими глазами, и могучая и прекрасная красота силы, которая была разлита и в неподвижной реке, и в темном лесу, и в глубине синего неба с задумчивым месяцем, глубокими волнами входила в ее тело и душу. Девушкой начало овладевать то странное чувство, которое было уже знакомо ей, которое она любила и боялась, чувство смутного порыва к силе, движению и счастью.

— Мне все грезится счастливое время, — помолчав, заговорил Санин, — когда между человеком и счастьем не будет ничего, когда человек свободно и бесстрашно будет отдаваться всем доступным ему наслаждениям.

— Но что же тогда? Опять варварство?

— Нет. Та эпоха, когда люди жили только животом, была варварски грубой и бедной, наша, когда тело подчинено духу и сведено на задний двор, бессмысленно слаба. Но человечество жило не даром: оно выработает новые условия жизни, в которых не будет места ни зверству, ни аскетизму...

— Скажите, а любовь... она налагает обязанности? — неожиданно спросила Карсавина.

— Нет. Любовь налагает обязанности, тяжелые для человека, только благодаря ревности, а

ревность порождена рабством. Всякое рабство рождает зло... Люди должны наслаждаться любовью без страха и запрета, без ограничения... А тогда и самые формы любви расширятся в бесконечную цепь случайностей, неожиданностей и сцеплений.

«А ведь я не боялась тогда ничего!» — с гордостью подумала девушка и вдруг точно в первый раз увидела Санина.

Сидел он на руле большой, сильный, с темными от ночи и луны глазами, и широкие плечи его были неподвижны, как железные. Карсавина пристально вгляделась в него, с жутким интересом. Она вдруг подумала, что перед ней целый мир неведомых ей своеобразных чувств и сил, и ей вдруг захотелось коснуться его.

«А он интересный!» — лукаво мелькнуло у нее в голове. Стыдливо она засмеялась сама себе, но странное волнение охватило все ее тело нервной дрожью.

И, должно быть, он почувствовал неожиданно налетевшее дыхание женского любопытства, потому что задышал сильнее и быстрее.

Весла, зацепившись за ветки узкого пролива, в который медленно поворачивала лодка, бессильно упали из рук девушки, и что-то как будто упало и внутри ее.

— Не могу тут... трудно... — упавшим голосом виновато проговорила она, и голос ее тихо и певуче зазвучал в темном и узком проходе, где слабо звенели невидимые струйки воды.

Санин встал и пошел к ней.

— Куда вы? — с непонятным испугом спросила она.

— Давайте я...

Девушка встала и хотела перейти на руль. Лодка закачалась, точно уходя из-под ног, и Карсавина невольно ухватилась за Санина, сильно толкнув его своей упругой грудью. И в этот момент, почти не сознавая, не веря даже возможности этого, девушка неувлимым мимолетным движением сама задержала прикосновение, как будто прижалась на лету. Мгновенно всем существом своим он воспринял сказочное очарование близости женщины, и она всем существом поняла его чувство, ощутила всю силу его стремления и опьянилась ею, прежде чем поняла, что делает.

— А... — удивленно-восторженно вырвалось у Санина, и больно и страстно он обнял ее, так что она, перегнувшись назад, очутилась на воздухе и инстинктивно схватилась за падающую шляпу и волосы.

Лодка зашаталась сильнее, и невидимые волны, с испуганным шумом, разбежались к берегам.

— Что вы! — слабым женским вскриком крикнула Карсавина. — Пустите!.. Ради Бога... Что вы! — задыхающимся шепотом проговорила она после мгновенного жуткого молчания, отрывая его стальные руки. Но Санин с силой, почти раздавливая ее упругую грудь, прижал девушку к себе, и ей стало душно, и все, что было преградой между ними, куда-то исчезло. Вокруг была тьма, пряный запах вод и трав, и странный холод, и жар, и молчание. И она, вдруг погружаясь в непонятное безволие, опустила руки и лежала, ничего не видя и не сознавая, со жгучей болью и мучительным наслаждением подчиняясь чужой, мужской воле и силе.

Но скоро потом она стала сознавать и поняла и пятна лунного света на черной воде, и то, что она полулежит в лодке, и лицо Санина, со странными глазами, и то, что он обнимает ее, как свою, и что голое колено ее трет весло.

Тогда она тихо и неудержимо заплакала, не вырываясь из рук Санина и все еще подчиняясь ему.

И в слезах ее были и грусть о чем-то невозвратимом, и страх, и жалость к себе, и слабая нежность к нему, исходившая как бы не из разума и сердца, а из самой глубины ее молодого тела, впервые раскрывшегося во всей красе и силе.

Лодка тихо выплыла на более широкое и чуть-чуть освещенное место и колыхалась в темной загадочной воде, по которой с тихим вечным плеском бежали струйки течения.

Санин взял ее на руки и посадил к себе на колени. И Карсавина сидела беспомощно и растерянно, как девочка.

Будто сквозь сон она слышала, что он успокаивает ее и говорит ей «ты», и голос его полон нежности, смягчившейся силы и благодарности.

«Потом я утоплюсь!» — смутно думала она, прислушиваясь к его словам и как будто отвечая кому-то постороннему, который вот-вот готов потребовать у нее отчета: «Что ты сделала и что будешь делать теперь?»

— Что же теперь делать? — неожиданно и машинально спросила Карсавина.

— Увидим, — ответил Санин.

Она хотела сползти с его колен, но он притянул ее, и девушка покорно осталась. Ей самой было как-то странно, что она не ощущает к нему ни гнева, ни отвращения.

И потом, когда Карсавина вспоминала эту ночь, все казалось ей непонятным, как во сне. Все вокруг молчало, и было темно, и торжественно неподвижно, как бы соблюдая тайну. Свет месяца, ущербленного черными верхушками леса, был странно неподвижен и призрачен. Черная тьма под берегом и из глубины леса смотрела на них бездонными глазами, и все застыло в напряженном ожидании чего-то. А в ней не было сил и воли опомниться, вспомнить, что она любила другого, стать прежней одинокой девушкой, оттолкнув мужскую грудь. Она не защищалась, когда он опять стал целовать ее, и почти бессознательно принимала жгучее и новое наслаждение, с полузакрытыми глазами уходя все дальше и дальше в новый, еще странный для нее и таинственный влекущий мир. По временам ей казалось, что она не видит, не слышит и не чувствует ничего, но каждое движение его, всякое насилие над ее покорным телом она воспринимала необычайно остро, со смешанным чувством унижения и требовательного любопытства.

Отчаяние, холодком свившееся вблизи самого сердца, подсказывало ей падшие и робкие мысли.

«Все равно теперь, все равно...» — говорила она себе, а тайное телесное любопытство как бы хотело знать, что еще может сделать с ней этот, такой далекий и такой близкий, такой враждебный и такой сильный человек.

Потом, когда он оставил ее и, сидя рядом, стал грести, Карсавина, полулежа, закрыла глаза и, стараясь не жить, вздрагивала от каждого толчка его твердой и теперь так знакомой ей руки, мерно двигавшейся над ее грудью.

Лодка с тихим скрипом пристала к берегу. Карсавина открыла глаза.

Кругом были поле, вода и белый туман. Месяц светил бледно и неясно, как призрак, умирающий при рассвете дня. Было совсем светло и прозрачно. В воздухе тянул резкий предрассветный ветерок.

— Проводить тебя? — тихо спросил Санин.

— Нет, я сама... — машинально ответила Карсавина. Санин поднял ее на руки и с наслаждением могучего усилия вынес ее из лодки, чувствуя к ней жгучую любовь и благодарную нежность. Он крепко прижал ее к себе и поставил на землю. Карсавина шаталась и не могла стоять.

— Красавица! — с таким чувством, точно вся душа его стремилась к ней в порыве нежности, страсти и жалости, сказал Санин.

Она улыбнулась с бессознательной гордостью. Санин взял ее за руки и потянул к себе.

— Поцелуй!

«Все равно теперь... И почему он такой жалкий и близкий?.. Все равно, лучше не думать!» — бессвязно пронеслось в голове Карсавиной, и она долго и нежно поцеловала его в губы.

— Ну прощай... — шепнула она, путаясь в звуках и не замечая, что говорит.

— Милая, не сердись на меня... — с тихой просьбой сказал Санин.

Потом, когда она уходила по плотине, шатаясь и путаясь в подоле юбки, Санин долго и грустно смотрел ей вслед, и ему было больно от провидения тех напрасных страданий, которые она должна была перенести и выше которых, как он думал, стать не могла.

Фигура ее таяла и терялась в тумане, уходя навстречу рассвету. А когда ее не стало видно, Санин с силой вскочил в лодку, и под могучими торжествующими ударами весел вода шумно и весело забурлила вокруг. На широком месте реки, среди белого волнующего тумана, под утренним небом, Санин бросил весла, вскочил во весь рост и изо всех сил громко и радостно закричал.

Лес и туман ожили и ответили ему таким же долгим, радостным замирающим криком.

XL

Точно сваленная ударом по голове, Карсавина заснула мгновенно и после короткого мертвого сна, рано утром, проснулась внезапно, вся больная и как труп холодная. Казалось, что отчаяние не спало в ней и ни на одну секунду не было забвения того, что было. Она остро смотрела вокруг и молча, внимательно обводила глазами всякую мелочь, как будто отыскивая, что изменилось со вчерашнего дня.

Но светлыми и спокойными по-утреннему смотрели на нее образа в углу, и окна, и пол, и мебель, и светловолосая голова Дубовой, крепко спавшей на другой кровати. Все было просто, как всегда, и только ее бедное платье, смятое и брошенное на стул, говорило о чем-то.

Сквозь румянец недавнего сна на лице Карсавиной все яснее и яснее стала проступать

мертвенная бледность, и ее черные брови вырисовывались так отчетливо, точно лицо ее, по-вчерашнему, осветилось луной.

С поразительной ясностью и отчетливостью больного мозга встало перед нею все пережитое, и ярче всего, как наутро шла она по еще спящим улицам предместья. Солнце, только что показавшееся над крышами и заборами, поседевшими от росы, светило ослепительно беспощадно, как никогда. Сквозь запертые ставни, точно сквозь притворно прикрытые веки, следили за ней враждебные окна мещанских домов, и оглядывались вслед одинокие прохожие. А она шла под утренним солнцем, путаясь в подоле длинной юбки и еле удерживая в руках свою зеленую плюшевую сумочку. Шла, как преступница, вдоль заборов, неровными колеблющимися шагами.

Если бы в ту минуту весь род людской, с разинутыми ртами и завистливыми глазами, высыпал ей на дорогу и провожал гиком, смехом и хлещущими, как кнуты, подлыми словами, ей было бы уже все равно, и она так же шла бы вперед, шатаясь под ударами, без цели и смысла, с опустелой тоской в душе.

Еще в поле, когда затихли в тумане шумные удары весел, бурно вздымавшие воду, Карсавина вдруг уразумела, какая страшная тяжесть навалилась на ее женские гнущиеся плечи, и отчаяние стало ее сердцем, разумом и жизнью. Она вскрикнула, упустила свою сумочку в мокрый песок и схватилась за голову.

И с этого момента она была уже под властью слова всякого человека, а своей воли у нее не стало.

Как сильное опьянение вспомнила она вчерашнюю ночь. Было что-то необыкновенное, безумно захватывающее, такое сильное, как никогда, — а теперь нельзя было понять, как это могло случиться и как она могла забыть до потери стыда, разума и другой, казалось наполнявшей всю жизнь любви.

В физической тоске, похожей на предсмертную тошноту, Карсавина выскользнула из-под одеяла и, неслышно двигаясь, стала одеваться, чувствуя, как при малейшем движении Дубовой все тело обвивается холодом.

Потом она села у окна и напряженными и неподвижными глазами уставилась в сад, где ярко зеленели и желтели омытые утром деревья.

Мысли ее были громадны и неслись, как черный дым, подхваченный ветром. Если бы кто-нибудь мог развернуть ее душу и читать ее, как книгу, он пришел бы в ужас.

На фоне необычайно сильной молодой жизни, в которой каждый день каждое чувство и движение были полны озаренной солнцем страстной крови, клубились чудовищные образы. Мысль о самоубийстве надвигалась на сознание, черная и неподвижная, страстная тоска о том, что потеряна чистая и светлая любовь к Юрию, сжимала сердце, и все заливала мутная волна страха перед массой знакомых и незнакомых человеческих лиц, стоящих перед нею.

То ей приходило в голову броситься к Юрию, биться перед ним, плакать, отдать ему всю жизнь и потом уйти куда-то навсегда. То подавлял ее ужас увидеть Юрия, и хотелось умереть, не сходя с места, просто перестав жить. То мелькала мысль, что еще как-то можно поправить все, что вчерашняя ночь не может быть, чтобы существовала в самом деле, но, как дикий вопль, в душе проносилось воспоминание о своей наготе, о тяжести мужского тела, о мгновенном жгучем забытьи, и растерянная, оглушенная непререкаемой силой бывшего, Карсавина лежала грудью на подоконнике, без сил и без мысли.

А между тем проснулась Дубова, и она уже слышала движение и удивленный вскрик подруги.

— А, ты уже встала?.. Вот необыкновенное происшествие! Утром, когда Карсавина вернулась, полусонная Дубова только спросила ее:

— Что это ты как встрепанная?

И заснула. Но теперь она почуяла что-то и, в одной рубашке, босая, подошла к ней.

— Что с тобой? Ты здорова? — как старшая сестра, ласково и заботливо спросила она.

Карсавина съежилась, как бы ожидая удара, но розовые губы ее фальшиво улыбнулись, и, как ей показалось, чужой голос чересчур весело ответил:

— Конечно. Я просто совсем не спала...

Так было произнесено первое слово лжи, и оно без остатка уничтожило воспоминание о прежней свободной и смелой девушке. То была одна, а теперь стала другая, и эта другая была лжива, труслива и грязна. Когда Дубова умывалась и одевалась, Карсавина тайком смотрела на нее, подруга казалась ей светлой и чистой, а сама она темной, как раздавленное пресмыкающееся.

Чувство это было так сильно, что даже та часть комнаты, где двигалась Дубова, казалась Карсавиной освещенной солнцем, а ее угол тонул в сырой и липкой тьме. Карсавина вспомнила, как высоко над стареющей, бесцветной подругой чувствовала она себя в ореоле своей молодости, красоты и чистоты, и тоска плакала в ней крупными, как капли крови, слезами безнадежной утраты.

Но это совершалось внутри ее, а наружно Карсавина была спокойна и даже как будто весела. Она надела красивое синее платье, шляпу, взяла зонтик и пошла в школу своими обычными, точно падающими шагами. Там пробыла она до обеда, а потом пришла домой.

По дороге встретила Лиду Санину.

Обе они, стройные, молодые и красивые женщины, стояли, освещенные солнцем, улыбались страстными губами и говорили о пустяках. Но в Лиде поднималась болезненная ненависть к счастливой беззаботной девушке, а Карсавина завидовала счастью быть такой прекрасной, веселой и свободной, как Лида.

После обеда Карсавина взяла книгу, села у окна и опять стала безучастно и неподвижно смотреть на свет и тепло сада, доживающего последние летние дни.

Острый порыв прошел, и в душе ее все опустилось в безразличную и большую усталость.

— Ну что ж... ну пропаду, туда мне и дорога... Я умру, — апатично повторяла она себе.

Карсавина увидела Санина раньше, чем он заметил ее.

Он прошел по саду, высокий и спокойный, оглядываясь по сторонам и трогая руками ветви кустов, точно здороваясь с ними. Откинувшись назад и прижав книгу к груди, Карсавина дико смотрела на него, пока Санин медленно подходил к окну.

— Здравствуйте! — сказал он, протягивая руку.

И прежде чем она успела встать и опомниться в полуобморочном хаосе чувств, Санин повторил с настойчивою лаской:

— Здравствуйте же!

Было в его голосе нечто такое, что лишило Карсавину возможности крикнуть, встать, уйти, и,

теряя волю, она тихо ответила:

— Здравствуйте...

И, ответив, почувствовала, что он сильнее ее и сделает с ней, что хочет.

Санин облокотился на подоконник и сказал:

— Выйдите на минуту в сад, нам надо поговорить...

Карсавина встала и, вся во власти странной силы, не знала, что ей надо делать, куда идти и как.

— Я буду ждать там, — заметил Санин.

Она кивнула головой, мучительно стыдясь, что отвечает ему.

Санин ушел медленной спокойной походкой, и Карсавина боялась смотреть ему вслед. Она несколько секунд простояла неподвижно, крепко сжав руки. Потом вдруг суетливо задвигалась и, даже подобрав платье, чтобы было ловчее идти, вышла из дому.

Золотой свет от солнца и желтых листьев неудержимо пронизывал весь сад. Еще издали Карсавина увидела Санина, стоявшего на дорожке. Он улыбался ей, и под его взглядом девушке стало трудно и стыдно идти: ей казалось, что платье уже не скрывает ее от Санина и ему видно каждое движение уже знакомого ему ее нагого тела. И чувство беспомощности и стыда так возросло в ней, что Карсавиной стало страшно сада и света. Чуть не падая, торопясь, она подошла и стала так близко, чтобы он не мог видеть ее всю, с головы до ног.

Тогда Санин взял ее за руки, втянул в самую гущу перепутанных деревьев и там почти посадил к себе на колени, сам полусидя на пне старой яблони.

Сбоку был виден ему понурившийся нежный профиль и круглое плечо, мягкое и слабое рядом с его широкой и твердой грудью, но странно хорошо гармонизировавшее с нею. Невольно, чувствуя восторженное обожание к ее красоте и как бы преклоняясь перед нею, Санин наклонился и тихо поцеловал тонкую сухую материю, сквозь которую просвечивало и теплело свежее тело. Карсавина вздрогнула, но не отстранялась... Он побеждал ее своей силой и смелостью, она его — своей нежностью и красотой, и оба боялись друг друга. Санин хотел сказать ей много нежных успокаивающих слов, но ему показалось, что при первом звуке его голоса Карсавина встанет и уйдет, и он молчал. Девушка слышала напряженный звук его дыхания.

«Что он хочет... Что сделает?.. — думала она, замирая от страха и стыда. — Неужели опять... Я вырвусь, уйду!..»

— Зиночка, — наконец сказал Санин, и звук его голоса, неловко выговорившего непривычное имя, был нежен и странен.

Карсавина мельком, на одно мгновение взглянула ему в лицо и встретила его блестящие глаза, с восторгом и боязнью смотревшие на нее так близко, что она испугалась. Испугалась и в то же время инстинктивно почувствовала, что вовсе не страшна, что теперь он больше боится ее, чем она его. Что-то, похожее на лукавое девичье любопытство, шевельнулось в уголке ее души, и вдруг ей стало легче и не стыдно, что она сидит на его коленях.

— Я не знаю, — говорил Санин, — быть может, я очень виноват перед вами и мне не надо было приходить... но я не мог оставить вас так!.. Мне так хочется, чтобы вы меня поняли... и не чувствовали ко мне отвращения и ненависти!.. Что я должен был сделать? Был такой момент, когда я почувствовал, что между нами что-то исчезло, и что если я пропущу, этот

момент в моей жизни никогда не повторится... вы пройдете мимо, и никогда я не переживу того наслаждения и счастья, которое могу пережить... Вы такая красавица, такая молодая...

Карсавина молчала. Розовело ее прозрачное ухо, полуприкрытое волосами, и вздрагивали ресницы.

И так же тихо, неясными и дрожащими словами Санин говорил ей о том огромном счастье, которое она дала ему, о том, что эта ночь останется навсегда в его жизни, как сказка. И по голосу его было слышно, что он страдает от невозможности что-то передать ей такое, от чего прошла бы грусть, налетела бы веселая волна, стала бы она веселой, что-то давшей, что-то взявшей у жизни.

— Вы страдаете, а вчера было так хорошо! — говорил он. — Но ведь эти страдания оттого только, что жизнь наша устроена безобразно, что люди сами назначили плату за свое же собственное счастье... А если бы мы жили иначе, эта ночь осталась бы в памяти нас обоих как одно из самых ценных, интересных и прекрасных переживаний, которыми только и дорога жизнь!..

— Если бы! — машинально сказала Карсавина и вдруг, неожиданно и для себя самой, улыбнулась лукаво.

Как будто солнце изошло, как будто птицы запели и зашумели травы, так стало легко и светло в душе от ее улыбки, на мгновение возродившей прежнюю веселую и смелую девушку. Но это была вспышка, которая быстро угасла.

Вдруг представилась Карсавиной вся будущая ее жизнь в виде темных, разорванных и грязных клочьев из сплетен, насмешек, горя и стыда, доходящего до позора. Замерещились все знакомые лица, и все были глумливы и брезгливы, заскакали вокруг какие-то безобразные образы, и черный страх покрыл ее душу, возбуждая ненависть.

— Идите, оставьте меня! — побледнев и стиснув зубы, с жестоким выражением, точно мстя ему за свою улыбку, выговорила Карсавина и, оттолкнувшись от его груди, встала.

Тяжкое ощущение бессилия овладело Саниным. Он почувствовал, что никакими словами нельзя утешать ее в том, что явно угрожало ей страданием, позором и нищетой. Она была права в своем гневе и скорби, и не в его силах было мгновенно переделать весь мир, чтобы снять с ее женских плеч ту страшную липкую тяжесть, которая упала на нее безвинно, за радость и счастье, данные ему ее молодой красотой. На мгновение родилась в нем мысль предложить ей свое имя и свою помощь, но что-то удержало его. Почувствовалось, что это слишком мелко и не то нужно.

«Что же, — подумал Санин, — пусть жизнь идет своим чередом!»

А она стояла неподалеку, опустив руки, склонив голову, увенчанную короной прекрасных волос, и о чем-то думала, глубокой, не девичьей складкой прорезав свой белый лоб.

— Я знаю, — заговорил Санин, — что вы любите Юрия Сварожича... может быть, от этого вы и страдаете больше всего?

— Никого я не люблю! — с тоской прошептала Карсавина, болезненно сжав руки.

На ее лице резкими чертами, точно физическая боль, выразилось и сознание своей вины перед тем, кого он вспомнил, и беспомощное отчаяние.

А между тем в душе ее возникал и колебался, как дымный столб, огромный и непосильный вопрос, в котором, казалось ей, сосредоточился весь ужас и вся разгадка того, что произошло.

«Как связать это, — без слов думала Карсавина, — я люблю Юрия и теперь люблю его так, что сердце рвется... при мысли о том, что я не буду для него такой чистой и единственной, как была, все меркнет, как перед смертью, а между тем вчера меня толкнуло к этому человеку...»

Мысль о Санине не имела лица: было воспоминание о бешеной силе, о страшном наслаждении, в котором страдание сливалось с желанием еще большей, еще глубшей близости, и минутами хотелось быть замученной до смерти. Потом было светлое и тихое воспоминание о какой-то певучей и невыразимо близкой нежности, и это последнее воспоминание смягчило сердце.

«Я сама виновата! — сказала себе Карсавина. — Я гадкая, развратная тварь!»

И ей захотелось плакать, каяться, бить плетью по тому самому белому и прекрасному телу, которое в ней оказалось сильнее и требовательнее разума, любви и самого сознания.

Одно мгновение казалось, что она не вынесет этого страшного порыва, потеряв сознание, умрет. Но он упал, обессилев, и осталась только безнадежная тихая печаль.

И тогда Санин с какой-то особенно трогательной мольбой сказал:

— Не помните меня злом... вы все так же прекрасны и такое же счастье дадите любимому человеку, какое дали мне... и больше, во много раз больше... А я не желал вам ничего, кроме самого хорошего, самого нежного, и всегда буду помнить вас такую, какую вы были вчера. Прощайте... а если я понадобится вам за чем-нибудь — позовите... я бы отдал вам жизнь, если бы мог!

Карсавина тихо взглянула на него, и чего-то стало ей жаль.

«А может быть, все пройдет!» — мелькнуло у нее в голове, и на мгновение все показалось вовсе не таким ужасным и трудным. С минуту они смотрели прямо в глаза друг другу, и в это время что-то хорошее вышло из самой глубины их сердец и соединилось, точно они стали вдруг родными и близкими и узнали что-то, о чем не надо знать больше никому и что навсегда останется в душах теплым и ярким воспоминанием.

— Ну... прощайте! — низкой девической ноткой произнесла Карсавина.

Радость и нежность осветили лицо Санина. Она подала ему руку, но вышло как-то так, что они поцеловались, просто и тепло, как брат и сестра.

Когда Санин уходил, Карсавина проводила его до ворот и долго задумчиво и грустно смотрела вслед. Потом тихо пошла в сад и легла на траву, заложив руки под голову.

Суховатая, но еще душистая трава о чем-то зашуршала вокруг, и, закрыв глаза, без мысли и чувств, Карсавина замерла. Что-то совершалось в ней, и казалось, что совершится оно само, и снова встанет и пойдет к жизни по-прежнему веселая, молодая и смелая женщина, перед которой жизнь раскроет самое счастливое и роскошное, что есть в ней.

Черная мысль о Юрии, о том, нужно ли открыть ему ее тайну или нет, подходила к ее голове, неся новый ужас и стыд, но Карсавина торопливо говорила себе: «Не надо об этом думать, не надо... это само!...» И опять замирала в ожидании.

В этот день Юрий встал поздно, в гнетущем расположении духа, с дурным вкусом во рту и с тонкой сверлящей болью в висках. Сначала он ничего не мог вспомнить, кроме крика, звона стекла, бледных огней и странного для пьяных одуревших глаз ясного и прозрачного света утра. Потом припомнил, как Шафров и Петр Ильич, пошатываясь и бормоча хрюкающие звуки, ушли в номер спать, а он и страшно бледный от выпитой водки, но твердый, как всегда, Иванов еще долго оставались на балконе, не обращая внимания на солнечное утро, голубое вверху и зеленое внизу — на лугах и сверкающей белым золотом реке.

Они спорили, и Иванов с торжеством доказывал Юрию, что такие люди, как он, никуда не годятся; что они не смеют взять от жизни то, что им принадлежит, и что самое лучшее им погибнуть без следа и семени. Он с непонятной злорадностью повторял фразу Петра Ильича: «Таких людей я остерегаюсь называть людьми», — и дико смеялся, точно топил Юрия. А Юрий почему-то не обижался и слушал, возражая только на обвинение в скудности переживаний, говоря, что, напротив, именно у таких людей жизнь особенно тонка и сложна, но что, правда, им лучше погибнуть. И Юрию было нестерпимо грустно, хотелось плакать и каяться. Он со стыдом припомнил, что как будто пытался каяться и все ходил вокруг и около эпизода с Карсавиной, чуть-чуть не бросив эту чистую, милую девушку под ноги торжествующему грубому человеку. Но Иванов был так пьян, что, кажется, ничего не заметил, и Юрию ужасно хотелось теперь верить, что это — так.

Иванов, вопя без причины, ушел на двор, и вдруг все куда-то исчезло. Стало необычайно пусто, и Юрий остался совершенно один. Зрение его было сужено пьяным туманом, и перед ним качалась только грязная залитая скатерть, хвостики обгрызанной редиски и стаканы с окурками и сгустками пива. Юрий сидел, опустив голову, качался и чувствовал себя человеком, оставленным всем миром.

Потом вернулся Иванов, и вместо с ним пришел где-то пропадавший Санин. Он был весел, шумен и совершенно трезв, и как-то странно, не то чересчур ласково, не то насмешливо, смотрел на Юрия. Дальше в воспоминаниях было белое пустое пятно, а потом Юрий припомнил лодку, воду, какой-то никогда не виданный молочно-розовый туман. Они ехали по холодной прозрачной воде, шли по ровному песку, освещенному солнцем как будто откуда-то снизу. Остро болела голова и тошнило.

«Черт знает, какая гадость! — подумал Юрий. — Недоставало еще пьянства...»

И, брезгливо стряхнув все эти воспоминания, как грязь, налипшую на ноги, Юрий начал углубленно продумывать то, что произошло в лесу.

В первое мгновение перед ним встал этот необыкновенный, таинственный лес, — глубокий, неподвижный мрак под деревьями, странный свет месяца, белое холодноватое тело женщины, ее закрытые глаза, одуряющий тягучий запах, жгучее желание, доходящее до бешенства.

Воспоминание наполнило все его тело томной и сладострастной дрожью, но что-то испуганно кольнуло в висок, сжало сердце, и чересчур подробно вспомнилась та растерянная безобразная сцена, когда он без всякого желания валил девушку на траву, а она не хотела, толкалась, вырывалась, и он видел, что уже не может и не хочет, а все-таки лез на нее.

Юрий содрогнулся от стыда и ощутил даже свет дня. Ему захотелось уйти во тьму, закопаться в землю, чтобы и самому не видеть своего позора. Но через мгновение, как это ни было трудно, Юрий уверил себя, что омерзительно было не то, что он испортил и обезобразил могучий порыв страсти, а то, что на минуту был близок к сближению с девушкой.

Страшным, почти физическим усилием, похожим на то, как если бы он поборол человека, во много раз сильнее его, Юрий повернул свое чувство и увидел, что поступил так, как и надо

было.

«Было бы подло, если бы я воспользовался ее порывом!»

Но перед ним возник новый и еще более мучительный вопрос: «Что делать дальше?»

И среди хаоса разноречивых мыслей и желаний выкристаллизовалось одно: «Надо порвать все!.. Овладеть ею, потешиться и бросить я не могу, я не такой человек и слишком близко чувствую чужие страдания, чтобы самому причинять их. А жениться?..»

Необыкновенной пошлостью прозвучало для Юрия даже слово это. Он, Юрий, с его необыкновенной, совершенно особенной организацией, вечно колеблющейся на гранях великих мыслей и великих страданий, не может создать себе мещанское счастье, с женой, детьми и хозяйством. Юрий даже покраснел, как будто кто-то оскорбил его самой мыслью о возможности в нем хотя бы мгновенного предположения о таком исходе. «Значит, оттолкнуть ее, уйти?»

Как величайшее счастье, безвозвратно уходящее, как потеря самой жизни, мелькнул перед ним отдаляющийся образ девушки. Как будто отказываясь от нее, он вырывал ее из самого сердца, и за нею тянулись кровавые жилы, обрываясь со смертельными кровоточащими ранами. Все потемнело кругом, на душе стало пусто и тяжело, и даже самое тело как будто ослабело.

«Но ведь я ее люблю! — с последним взрывом мучительного недоумения мысленно закричал себе Юрий. — Как же может быть, чтобы я сам так и порвал свое собственное счастье!.. Это нелепо, безобразно!»

«А что же?.. Жениться?»

И опять, устыдившись возможности даже мысли об этом, Юрий погрузился в мучительную и недоумелую тоску. Самое солнце перестал он видеть, перестал сознать свою жизнь, потерял охоту видеть и слышать. И, стараясь хоть не думать больше об этом, Юрий сел к столу и стал читать на днях написанное им подражание Экклезиасту:

«В мире нет ни доброго, ни злого».

«Иные говорят: что естественно — то добро, и человек прав в желаниях своих».

«Но это ложь, ибо все естественно, ничто не рождается из мрака и пустоты, но имеет одно начало».

«Так говорят другие: то — добро, что от Бога, но это ложь, ибо если есть Бог, то все от него, даже богохульство».

«Говорят третьи: то добро, что творит доброе людям. Но есть ли такое? Что добро одному, то зло другому: рабу добро — его свобода, господину — рабство раба; богатому — в сохранении благ его, бедному — чтобы погиб богатый; отверженному — чтобы покорить, отвергающему — чтобы не покориться; нелюбимому — чтобы полюбила его, счастливому — чтобы отвергла всех, кроме него; живущему — чтобы не умирать, рождающемуся — чтобы умерли и очистили ему место под солнцем; человеку — в гибели зверей, зверям — в гибели человека... И так все, и так от века и до края веков, и никто перед другим не имеет права на доброе одному ему».

«Вот принято между людьми, что творить добро и любовь лучше, чем творить зло и ненависть. Но это скрыто: ибо если есть возмездие, то лучше человеку творить добро и себя принести в жертву, а если нет его, то лучше взять свою долю под солнцем».

«Вот еще пример лжи, что в людях: вот живет некто, отравляющий свою жизнь для других. И говорят ему: дух твой переживет тебя, ибо сохранится в делах людей, как вечное семя. Но это ложь, ибо знают, что в цепи времен равно живет дух творчества и дух разрушения, и неведомо, что восстанет и что распадется».

«Вот еще: думают люди о том, как будут жить после них, и говорят себе, что это хорошо и дети их пожнут плоды их. Но не знаем, что будет после нас, и не можем вообразить те тьмы тем, что будут идти по стезям нашим. И не можем их любить или ненавидеть, как не можем любить и ненавидеть тех, что были раньше нас. Оборвана связь между временами».

«Так говорят: уравнием людей перед источником радости и горя и одною мерою воздадим всем. Но ни один человек не может воспринять радости и горя, боли и наслаждения больших, чем он сам, и когда доля людей не равна — они не равны, и когда уравнена мера их, не уравниются сердца их вовек».

«Так говорит гордость: великие и малые!»

«Но каждый человек — восход и закат, вершина и пропасть, атом и мир».

«Вот говорят: велик ум человеческий! Но ложь это, ибо ограничено зрение — и не видит человек ни безумия, ни разума своего в беспредельной вселенной, где разум и безумие растекаются, как жидкий воздух».

«Что знает человек?»

«И Адам знал, как есть и пить ему и во что одеться, по потребности его и семя свое сохранил; и мы знаем то же и сохраним семя свое в будущее. Но Адам не знал, что сделать ему, чтобы не умирать и не бояться, и мы не знаем этого. Много придумано знаний, но не придумано жизни и счастья, чтобы наполнить их».

«Человек от обуви до короны во всем имел цель спасти тело свое от боли и смерти. И вот видим: не простою ли палкой Каин поверг Авеля и не тою ли же палкою можно уничтожить первого из людей, стоящего на последней ступени познания? Не дольше ли всех жил Мафусаил, но и он умер: не счастливее ли всех был Иов, но и его съедала скорбь: и не всякий ли из людей, испытал в жизни своей столько счастья и горя, сколько поднимут плечи его, умрет тою же смертью, что и праотец его... Теперь, когда люди венчают богов знания, и вопиют, и похваляются!»

«Равно пожирают черви!»

Холодное чувство проползло по спине Юрия, и видение белых червей, копошащихся толстым слоем над всею землею от края и до края ее, потрясло его. Необычайно значительным показалось ему то, что он написал.

— А ведь это все так! — молотом стукнуло в душе его, и горделивое чувство творчества смешалось с острым приливом тоски.

Он отошел к окну и долго бесцельно смотрел в сад, где слоем желтых и красных листьев уже золотились дорожки, а вновь умершие листья, тихо кружась в воздухе, беззвучно падали вниз. Мертвые желтые краски ложились повсюду, умирали листья, умирали миллиарды насекомых, живших только светом и теплом. И все умирало в тихом и спокойном сиянии дня.

Юрий не мог понять этого спокойствия, и ясная смерть вызывала в его душе беспредметную тяжелую злобу.

«Вот... дохнет и сияет, точно ей пряник преподнесли!» — с нарочитой грубостью подумал он, и ему хотелось придумать слова еще более грубые и обидные.

Их приходило много, но они висли в пустоте и падали бессильно на голову самого Юрия. И такая злость, до самых корней волос, охватила его, что Юрий даже задохнулся.

А за окном стоял золотой сад, за садом река отражала в себе зеленовато-голубое осеннее небо, за рекою шли поля, посеребренные паутиной, за полями опять река и в ней опрокинутый лес, потом берега, дубы, тихие дорожки, и там ходит кто-то.

XLII

Ходит пьянственный певчий, Петр Ильич.

Когда наступает осень и дачное место становится пусто и тихо, как маленькое кладбище минувшего веселья, в нем проявляется какая-то особенная изящная красота: тоненькие ажурные решетоки, как кружево, пронизывают деревья и кусты, и хмель нависает на них красными гирляндами; игрушечные дачные домики сквозят в золотых узорах поредевших веток; на опустелых куртинах одиноко высятся красные астры и о чем-то думают, покачивая холодно прекрасными головками; балконы и зеленые скамейки еще как будто хранят следы минувшей веселой и шумной жизни, и кажется, что эта жизнь была полной только веселья, смеха и счастья, особенной нарядной жизнью.

Иногда в опустелой аллее показывается, как отсталая птица от улетевшей стаи, одинокая задумчивая женская фигурка, и она кажется удивительно красивой, печальной и таинственной. Запертые окна и двери рождают тишину, и чудится, что это именно она, осенняя тишина, живет теперь здесь своей загадочной нечеловеческой жизнью.

Петр Ильич медленно ходит по заброшенным дорожкам, шурша своей палкой в нападавших желтых листьях.

Когда здесьлюдно, шумно и весело, он никогда не приходит. Быть может, он инстинктивно чувствует свою старость, убожество и неприглядность, а люди, с их смехом и яркими лицами, мешают ему слышать что-то, слышное ему одному.

Он ходит мимо дач, садится на покинутую лавочку и долго, до тех пор пока не потемнеет уже холодеющее осеннее небо, смотрит перед собою, должно быть ощущая веяние вечности, незримо проходящей над этим местом людской радости и забавы.

Потом идет вниз к реке, под важными, зелеными и желтыми дубами, и смотрит на затихшую хрустальную воду. Ложится на сухую редкую траву и по часам лежит, уткнувшись головой в землю, слушая ее безмолвный говор и дыша ее важным, спокойным дыханием.

Заходит он в места самые дикие, где река подошла к горе, а гора хотела задавить ее и не могла. Река смеялась над горой, вся дрожа голубым и серебристым смехом, а гора хмурилась, и деревья шумели. Иногда огромные дубы бросались с крутого берега в воду и топили поникшие изломанные ветви в бегущей и смеющейся глубине.

Река играет струйками — голубыми от неба и зелеными от земли, — и кажется, будто кто-то быстро пишет на ней непонятные таинственные письма. Пишет и стирает, и опять быстро пишет и стирает...

О чем говорят эти письма, никто никогда не прочтет, но, очевидно, они доходят до сердца Петра Ильича, по целым часам следящего за ними, и делают его тихим и спокойным, как догорающий вечер человеческой жизни.

Лес, река, поля, небо и земля дают ему нечто, чего не дала ему пьяная убогая жизнь и что наполняет его душу до нижайших глубин. И вид старого певчего во время таких хождений торжественно задумчив и важен.

Возвращаясь и встречая кого-нибудь из немногих знакомых, он что-то рассказывает, с важным видом стремясь передать то, чего передать не может. И всегда почему-то заканчивает одной и той же фразой:

— И зимой... там прекрасно!.. Тишина-а... снежинки зыблются, зыблются... снегирики поют!..

Голос его переходит в высокий тенор и тает в воздухе, и чувствуется, что этот человек, несмотря на все свое убожество, умеет как-то особенно воспринять самую тонину красоты жизни, и когда освободится от работы за кусок хлеба, от водки и болезней, то наполняет свою жизнь так хорошо и полно, что душа его становится счастливой.

XLIII

«Осень... Уже осень... Потом будет зима, снег... Потом весна, лето, опять осень... зима, весна, лето... Тоска! А что буду делать в то время я? То же, что и теперь, — с тоской усмехнулся Юрий. — В лучшем случае отупею и вовсе не буду думать ни о чем! А там старость и смерть!»

Опять через его голову бесконечной чередой пошли мысли: и о том, что жизнь прошла от него в стороне, и о том, что нет вовсе никакой особенной жизни, а всякая жизнь, даже жизнь героев, полна скуки, томительных периодов подготовки и безрадостных концов. Вспомнил он, что всегда жил в ожидании начала чего-то нового, глядя на то, что делал в эту минуту, как на временное; а это временное вытягивалось точно гусеница, разворачивало все новые и новые коленца, и уже становилось видно, что бледный хвост этой гусеницы скрывается в старости и смерти.

«Подвига, подвига! — с тоской сжал руки Юрий. — Чтобы сразу сгореть и исчезнуть, без страха и томления! Только в этом и жизнь».

Тысячи подвигов, один героичнее другого, нарисовались перед ним, но каждый взглянул ему в лицо черепом смерти. Юрий закрыл глаза и совершенно ясно увидел бледненькое петербургское утро, мокрые кирпичные стены, виселицу, бледным силуэтом влипшую в мутное серое небо... Или чье-нибудь озверелое лицо, дуло револьвера у виска, ужас, которого нельзя, кажется, перенести и который надо пережить, удар выстрела прямо в лицо... Или нагайки бьют по лицу, по спине... и по оголенному заду...

«И на это надо идти?.. С этим уже не считаться?» — сказал себе Юрий и тоскливо махнул рукой.

Подвиги побледнели, куда-то ушли и растаяли, а на месте их выглянуло глумливое лицо собственного бессилия и сознания, что все эти мечты о подвигах — детская забава.

«С какой стати я принес свое „я“ на поругание и смерть, для того чтобы рабочие тридцать второго столетия не испытывали недостатка в пище и половой любви!.. Да черт с ними, со всеми рабочими и нерабочими всего мира!..»

И опять Юрий почувствовал прилив бессильной злобы, беспредметной и мучительной для него самого. Неодолимая потребность что-то сбросить, встряхнуться овладела им. Но невидимые когти держали крепко, и вползающее чувство окончательной усталости стало

подступать к мозгу и сердцу, наполняя живое тело мертвой апатией.

«Хоть бы убил меня кто-нибудь... — вяло подумал Юрий. — Неожиданно, сзади, чтобы я и не заметил своей смерти... Тьфу, какие глупости лезут в голову!.. И почему непременно кто-нибудь, а не я сам? Неужели я действительно такое ничтожество, что у меня не хватит силы покончить с собой даже при полном сознании, что жизнь доставляет только одни мучения?.. Ведь все равно умирать рано или поздно придется?.. Что ж это... копеечный расчет!..»

Но тут Юрий мысленно как бы пригнул себя к земле и, скривив лицо, посмотрел на себя сверху, с презрением и болезненной насмешкой.

«Нет, шалишь, брат, дудки! Ты только подумать мастер, а как дойдет до дела... Куда уж тут!»

Маленький холодок у сердца, любопытный и трусливый почувствовал Юрий.

«А попробовать?.. Так, не серьезно... в шутку!.. Не то чтобы... а так... все-таки любопытно!..» — как бы извиняясь перед кем-то, сказал он себе.

Было очень трудно и стыдно достать револьвер из ящика стола, и пугала нелепая мысль, как бы сегодня вечером на бульваре не узнали, не догадались Дубова, Шафров, Санин и больше всего Карсавина, какие детские опыты над собой производит он.

Воровски сунув револьвер в карман, Юрий вышел на крыльцо в сад. На ступеньках тоже лежали сухие желтые, как трупы, листья. Юрий пошевелил их носком, прислушался к слабому шороху и стал насвистывать долгую и печальную мелодию.

— Что затынул? — шутя спросила Ляля, с книгой и зонтиком проходя из сада в дом. Она ходила к реке на свидание с Рязанцевым и возвращалась свежая и счастливая от поцелуев. Им никто не мешал видеться, где и когда угодно, но в тайне, в пустоте и молчании заглохшего сада было что-то острое, отчего поцелуи были судорожнее и уже трогали в Ляле новые желания. — Точно молодость свою хоронишь! — прибавила она, проходя.

— Глупости, — сердито возразил Юрий и с этого момента почувствовал приближение чего-то, сильнее его самого.

Как животное в предсмертной тоске, он стал томиться и искать себе место. Во дворе его не было, там все раздражало, и Юрий пошел к реке, по которой плавали желтые листья и паутина, сбросил в воду сухую ветку и долго смотрел, как расходились от нее мелкие быстрые круги и вздрагивали плавающие листья. Потом опять пошел к дому, где последние красные цветы, красным трауром, одиноко и печально высились посреди помятых и пожелтелых клумб. Юрий постоял над ними и опять ушел в середину сада.

Там уже все было желто, и ветки бархатно чернелись в кружеве золотых листьев. Было только одно зеленое дерево — дуб, важно хранивший свои резные листья. На скамейке, под дубом, сидел и грелся на солнышке большой рыжий кот.

Юрий грустно и нежно стал гладить пушистую спинку и почувствовал, что слезы подступают к горлу.

— Пропала вся жизнь, пропала вся жизнь... — машинально повторял он слова, казавшиеся ему бессмысленными, но трогавшие за самое сердце, точно тоненьким острием подрезывая его.

«Но ведь это все вздор!.. У меня вся жизнь впереди... Мне еще двадцать шесть лет!» — мысленно крикнул он, на секунду вдруг освобождаясь от тумана, в котором бился, как муха в паутине.

«Эх, не в том дело, что двадцать шесть лет, и не в том дело, что вся жизнь впереди!.. — махнул он рукой. — А в чем?..»

Неожиданно всплыла мысль о Карсавиной, о том, что после вчерашней омерзительно позорной сцены невозможно встретиться с ней, а не встретиться нельзя. Представилась встреча, стыд ошеломляюще наполнил и сердце, и голову и мелькнула мысль, что лучше умереть, чем это.

Кот выгнул спинку и умильно замурлыкал, точно самовар завел песню. Юрий внимательно поглядел на него и стал ходить взад и вперед.

«Жизнь заела... скучно, скверно... А впрочем, не знаю что... Но лучше смерть, чем увидиться с ней!»

Прошел, тяжело шагая, кучер с ведром воды. И в ведре плавали мертвые желтые листья. На крыльцо дома, видное сквозь ветки, вышла горничная и смотрела на Юрия, что-то говоря. Юрий долго не мог понять, что она говорит ему. Между ним и всем, что его окружало, стала таять и рваться связь. И с каждым мгновением он незаметно становился все дальше и дальше, уходя от всего мира в темную глубину своего одинокого духа.

— Ах да, хорошо... — сказал он, наконец разобрав, что горничная зовет его обедать.

«Обедать? — испуганно спросил он себя. — Идти обедать!.. Значит, все по-старому, и опять жить, мучиться, опять надо решать, как быть с Карсавиной, с моими мыслями, со всем?.. Надо скорее, а то надо идти обедать и я не успею!»

Странная торопливость охватила его, а дрожь стала бить все тело, тонко проникая во все суставы, в руки, ноги, в грудь. Горничная, заложив руки под белый фартук, стояла на крыльце и не уходила, видимо стараясь надышаться осенним воздухом сада.

Юрий воровато зашел за дуб, чтобы не видно было его с крыльца, и, выглядывая на горничную — не заметит ли она, — как-то очень быстро и неожиданно выстрелил себе в грудь.

«Осечка!» — радостно мелькнуло у него в голове, вместе с мгновенным мучительным желанием жить и страхом умереть. Но уже он видел перед собою верхушку дуба, голубое небо и посреди него куда-то прыгающего желтого кота.

Горничная с криком метнулась в дом, и, как показалось Юрию, возле него сейчас же очутилось множество людей. Кто-то лил ему на голову холодную воду, и на лбу у него прилип желтый лист, очень мешавший ему. Встревоженные голоса зазвучали вокруг, кто-то плакал и кричал.

— Юра, Юра... зачем?

«Это Ляля плачет», — подумал Юрий и в ту же минуту раскрыл глаза и в диком животном отчаянии стал биться и кричать:

— Доктора... позовите скорее!..

Но с невероятным ужасом понял, что уже все кончено и ничто не поможет. Листья, лежавшие у него на лбу, быстро отяжелели и сдавили голову. Юрий вытянул шею, чтобы из-за них увидеть еще хоть что-нибудь, но листья еще быстрее разрослись во все стороны и покрыли все.

И Юрий уже не сознавал, что произошло в нем.

И те, кто знал, и те, кто не знал, и те, кто его любили, и те, кто презирали, и те, кто никогда о нем не думали, все пожалели Юрия Сварожича, когда он умер.

Никто не мог понять, почему он сделал это, но всем казалось, что они понимают и в глубине души разделяют его мысли. Самоубийство казалось красивым, а красота вызывала слезы, цветы и хорошие слова.

На похоронах не было родных, потому что отца Сварожича хватил удар, и Ляля не отходила от него. Был один Рязанцев, который и распорядился похоронами. И еще грустнее становилось провожающим при виде одиночества покойника, и еще выше, печальнее и значительнее вырастал его образ.

Ему принесли множество осенних, красивых, без запаха, цветов, и среди их красных, белых и зеленых сплетений лицо мертвого Юрия, не сохранившее следов ни единого из пережитых чувств и дел, казалось действительно успокоенным.

Когда гроб пронесли мимо квартиры Дубовой и Карсавиной, обе они вышли и присоединились к провожающим. У Карсавиной был беспомощно подавленный вид, как у девушки, ведомой на поругание и позорную казнь. Хотя она знала, что Юрию осталось неизвестным все, что с ней случилось, ей все казалось, что между его смертью и «тем» есть какая-то связь, навсегда остающаяся тайной. Великое бремя непонятной вины она взвалила себе на шею и чувствовала себя самой несчастной и преступной во всем мире. Всю ночь она проплакала, мысленно обнимая и лаская образ навсегда ушедшего человека, а к утру была полна безысходной любви к Сварожичу и ненависти к Санину.

Безобразным сном представлялось ей их случайное сближение и еще безобразнее следующий день. Все, что говорил ей Санин и во что инстинктивно она поверила, показалось ей гнусностью и собственным падением в такую пропасть, из которой уже не будет возврата. Когда Санин подошел к ней, она взглянула на него глазами, полными отвращения и испуга, и сейчас же отвернулась.

Мимолетное ощущение ее холодных пальцев в руке, поданной для крепкого дружеского пожатия, передало Санину все, что она теперь чувствовала и думала, и он сам почувствовал себя уже навсегда чужим ей. Он скривил губы, подумал и отошел к Иванову, который раздумчиво плелся позади всех, уныло свесив свои желтые прямые волосы.

— Вон как Петр Ильич старается! — задумчиво сказал Санин.

Далеко впереди, за колыхающейся крышкой гроба, высоко забирали похоронные печальные голоса, и октава Петра Ильича ясно и грустно дрожала и тянулась в воздух.

— Удивительное дело, — заговорил Иванов, — ведь слякоть был человек, а... вишь ты что!

— Я думаю, друг, — ответил Санин, — что он за три секунды до выстрела еще не знал, что застрелится... Как жил, так и умер.

— Такое дело!.. Значит, все-таки точку свою нашел человек! — непонятно сказал Иванов и вдруг встряхнул своими желтыми волосами и повеселел, очевидно поймав что-то, что одному ему было понятно и его одного могло успокоить.

На кладбище была уже совсем осень, и деревья казались осыпанными золотым и красным

дождем. Только трава местами зеленела под слоем листьев, а на дорожках ветер смел их густою массой, и казалось, что по всему кладбищу текут желтые ручейки. Белели кресты, мягко чернели и серели мраморные памятники и золотились решетки, а между безмолвных могил чудилось чье-то невидимое, но грустное присутствие, точно только что, перед приходом возмутивших покой людей, кто-то печальный ходил по дорожкам, сидел на могилах и грустил без слез и надежды.

Черная земля приняла Юрия и зарылась, а над ямой еще долго толпились люди, с жутким вопрошающим любопытством заглядывая в черную тьму своей участи и распевая жалобные песни.

В тот страшный момент, когда не стало видно крышки гроба и между живыми и мертвым навсегда легла вечная земля, Карсавина громко зарыдала, и высокий женский голос в рыдании поднялся над тихим кладбищем и замолчавшими в тайной грусти и тревоге людьми.

Она уже не думала о том, что люди узнают ее тайну. И все догадались о ней, но так был очевиден ужас смерти, навсегда оборвавшей связь между плачущей прекрасной молодой женщиной, хотевшей отдать ему всю жизнь, всю молодость и красоту, и мертвецом, ушедшим в землю, что никто черной мыслью не оскорбил раскрытой души женской, и только ниже наклонились головы в бессознательном уважении и жалости.

Карсавину увели, и рыдания ее, переходя в тихий и безнадежный плач, затихли где-то вдали. Над ямой вырос продолговатый земляной бугор, зловеще напоминавший скрытое им человеческое тело, и сверху стали быстро и ровно укладывать зеленую ель.

Тогда засуетился Шафров.

— Господа, надо бы речь... Господа, что ж так? — деловито и вместе с тем жалобно говорил он то тому, то другому.

— Санина попросите, — ехидно предложил Иванов. Шафров удивленно взглянул на него, но лицо Иванова было невозмутимо, и он поверил.

— Санин, Санин... где Санин, господа? — заторопился он, высматривая близорукими глазами. — А!.. Владимир Петрович... скажите вы несколько слов... что ж так!

— Сами скажите, — сумрачно ответил Санин, прислушиваясь к замолкшему голосу Карсавиной.

Этот высокий, богатый и в рыдании голос все еще чудился ему в воздухе.

— Если бы я мог сказать, то, конечно бы, сказал... Ведь это был, в сущности говоря, замечательный человек!.. Ну пожалуйста... два слова!

Санин в упор посмотрел на него и с досадой сказал:

— Что тут говорить?.. Одним дураком на свете меньше стало, вот и все!

Резкий громкий голос его прозвучал с неожиданной силой и отчетливостью. И сначала все как будто застыли, но в ту же секунду, когда многие еще не успели решить, услышать им или нет, Дубова рвущимся голосом крикнула:

— Это подло!

— Почему? — вздернув плечами, спросил Санин.

Дубова хотела что-то крикнуть и потрясти рукой, но ее окружили какие-то барышни. Все

зашевелились, задвигались. Раздались несмелые, но возмущенные голоса, замелькали красные возбужденные лица, и, как будто ветер пахнул в кучу сухих листьев, толпа быстро метнулась прочь. Шафров куда-то побежал, потом вернулся. В отдельной кучке возмущенно размахивал руками Рязанцев.

Санин невнимательно посмотрел в чье-то негодующее лицо в очках, зачем-то очутившееся у него под носом, но совершенно безмолвное, и повернулся к Иванову.

Иванов смотрел неопределенно. Натравливая Шафрова на Санина, он отчасти предчувствовал какой-нибудь инцидент, но не то, что произошло. С одной стороны, вся эта история восхитила его своей резкостью, с другой стороны, чего-то стало жутко и неприятно. Он не знал, что сказать, и неопределенно смотрел поверх крестов, в далекое поле.

— Дурачье, — с искренней тоской сказал Санин.

Тогда Иванов устыдился, что мог колебаться над чем бы то ни было, и, притворяясь невозмутимым, поставил сзади себя палку, оперся на нее и сказал:

— Черт с ними. Пойдем отсель!

— Что ж, пойдем...

Они прошли мимо враждебно смотревшего на них Рязанцева и кучки бывших с ним и пошли к выходу. Но еще издали Санин заметил группу малознакомой ему молодежи, столпившейся, как бараны, головами внутрь. В центре Шафров суетливо размахивал руками и говорил, но при виде Санина замолчал. Все лица повернулись к нему, и на всех было странное выражение: смеси благородного возмущения, робости и любопытства.

— Это против тебя злоумышление! — сказал Иванов. Санин вдруг нахмурился, и Иванов даже удивился, увидев выражение его лица. А когда из группы студентов и девиц, не то с испуганными, не то с восхищенными розовыми личиками, выделился Шафров и весь красный, как бурак, щуря близорукие глаза, направился к Санину, тот остановился в таком повороте, точно хотел ударить первого попавшегося.

Шафров, должно быть, подумал именно так, потому что остановился дальше, чем нужно, и побледнел. Студенты и барышни, точно маленькое стадо за козлом, столпились за ним.

— Чего вам еще? — негромко спросил Санин.

— Нам ничего... — смешавшись, ответил Шафров. — Но мы хотели от всей группы товарищей выразить вам свое порицание и...

— Очень мне нужно ваше порицание! — сквозь зубы и с недобрим выражением возразил Санин. — Вы меня просили, чтобы я сказал что-нибудь о покойном Сварожиче, а когда я сказал то, что думал, вы выражаете мне свое негодование?.. Ладно!.. Если бы вы не были глупыми и сентиментальными мальчишками, я бы сказал вам, что я прав, и Сварожич действительно жил глупо, мучил себя по пустякам и умер дурацкой смертью, но вы... а вы мне просто надоели своей тупостью и глупостью, и подите вы все к черту! Трогаю я вас?.. Марш!

И Санин пошел прямо, разрезав заслонивших ему дорогу.

— Вы не толкайтесь, пожалуйста! — тоненьким голосом, в котором было что-то петушиное, запротестовал Шафров, красный до слез.

— Это безобразие! — начал кто-то, но не кончил.

Санин и Иванов вышли на улицу и довольно долго молчали.

— Ты ж чего людей пугаешь! — заговорил Иванов. — Зловредный ты человек опосля этого!

— Если бы тебе всю жизнь так упорно лезли под ноги эти вольнолюбивые молодые люди, — серьезно ответил Санин, — так ты бы и не так их пугнул!.. А впрочем, черт с ними!

— Ну не плачь, друг! — не то серьезно, не то шутя возразил Иванов. — Знаешь что... Пойдем-ка мы, купим пивка и помянем раба Божия Юрия! А?..

— Что ж, пожалуй! — равнодушно ответил Санин.

— Пока приедем, все разойдутся, — оживленно заговорил Иванов, — мы у него на могилке и выпьем... И покойнику почет, и нам удовольствие!

— Так!

Когда они вернулись на кладбище, там уже никого не было. Кресты и памятники стояли, точно в ожидании, неподвижно придавив желтеющую землю. Ни одного живого существа не было видно и слышно, и только, шурша опавшей листвой, проползла через дорожку скользкая черная змея.

— Ишь ты, гадина! — вздрогнув, заметил Иванов.

У свежей могилы Юрия, на которой пахло взрытой холодной землей, гнилью старых гробов и зеленой елкой, они вывалили на траву груды тяжелых пивных бутылок.

XLV

— А знаешь что... — сказал Санин, когда через час или два они вышли на темную сумеречную улицу.

— Что?

— Проводи меня на вокзал, да и поеду я отсюда. Иванов остановился.

— Чего ради?

— Скучно мне тут...

— Испужался, что ли?

— Чего? Хочется уехать, и все тут.

— Зачем?

— Друг, не задавай глупых вопросов! Хочется, только и всего... Пока людей не знаешь, все кажется, что они дадут что-нибудь... Были тут интересные люди... Карсавина казалась новой, Семенов умирал, Лида как будто могла пойти необычной дорогой... А теперь скучно. Надоели все. Или тебе этого недостаточно? Понимаешь, я вытерпел этих людей сколько мог терпеть... больше не могу.

Иванов долго смотрел на него.

— Ну пойдём... — сказал он. — А с родными попрощаться?

— А ну их... они-то и надоели мне больше всех.

— Да вещи возьмешь же?

— У меня их немного... Ты иди в сад, а я пойду в комнаты и подам тебе чемодан в окно. А то увидят, пристанут с расспросами, а что я им скажу такого, что бы их утешило?

— Та-ак... — протянул Иванов и на минуту потупился, потом махнул рукой. — Очень это для меня прискорбно. Друг... ну да что уж там!

— Поедем со мной.

— Куда?

— Да все равно куда. Там видно будет.

— Да у меня и денег нет.

— И у меня нет, — засмеялся Санин.

— Нет, уж ступай сам... С пятнадцатого у меня занятия начинаются. Так-то спокойнее!

Санин молча посмотрел ему прямо в глаза, и так же прямо посмотрел на него Иванов. И вдруг ему стало чего-то неловко, и он съежился, точно в зеркало увидел отражение свое гнусным. Санин отвернулся.

Они пошли через двор. Санин вошел в дом, а Иванов в потемневший сумеречный сад, где грустно встретили его тени осеннего вечера и запах тихого тления. По траве и кустам, шелестя листьями и хрустя сухими ветками, Иванов подошел к окну в комнату Санина. Оно было открыто и темно.

А Санин тихо прошел через зал и остановился против балконной двери, услышав знакомые голоса.

— Чего же ты от меня хочешь? — послышался с балкона голос Лиды, и Санина поразили его тусклые измученные нотки.

— Я ничего не хочу, — ответил Новиков, и, очевидно, против воли голос его звучал ворчливо и надоедливо, — мне только странно, что ты смотришь так, будто приносишь для меня жертву... Я ведь...

— Ну, хорошо... — сорвался голос Лиды, и хрустальные звуки близких слез неожиданно зазвучали в сумеречной тишине вечера. — Не я... ты приносишь жертву... ты!.. Я знаю!.. Чего же еще нужно от меня?

Новиков хмыкнул недоумевающе и смущенно, но слышно было, что он чуть-чуть сконфузился и старается скрыть это.

— Как ты не можешь меня понять!.. Я тебя люблю, и потому это не жертва... Но если ты сама смотришь на наше сближение, как на жертву с чьей бы то ни было стороны, то тогда что ж это за жизнь будет у нас?

Голос Новикова окреп и зазвучал убедительно и даже обрадованно, точно он вдруг нашел настоящее и рад был, что теперь уж наверное убедит Лиду.

— Ты пойми... Мы можем жить только при одном условии: именно, чтобы ни с твоей стороны,

ни с моей не было никакой жертвы... Что-нибудь одно: или мы любим друг друга и тогда наше сближение разумно и естественно, или мы не любим друг друга и тогда...

Лида вдруг заплакала.

— Чего же ты! — изумленно и раздраженно заговорил Новиков. — Я не понимаю... я, кажется, не сказал ничего оскорбительного... Перестань!.. Я имел в виду и тебя, и себя равно... Это черт знает что!.. Да чего же ты плачешь?.. Ничего сказать нельзя!..

— Я не знаю... не знаю...

Задушенный и жалкий женский голос тоненькой жалобой, бессильной и бессловесной, прозвучал невыносимо печально.

Санин сморщился и вошел в свою комнату.

«Ну, Лиде, пожалуй, конец! — подумал он. — Может, и лучше сделала бы она, если бы тогда и вправду утопилась!.. А может, и перевернется... Не угадаешь!»

Иванов за окном слышал, как он торопливо шарил, шелестел бумагой, что-то уронил.

— Скоро ты? — неторопливо спросил он.

Ему стало скучно и жутко стоять под темным окном, в бледном сумраке осенней зари, перед лицом темного загадочного сада. Шорох напомнил ему его сон.

— Сейчас, — ответил Санин так близко от окна, что Иванов вздрогнул. Темнота в окне заколебалась, и из нее выдвинулся чемодан и белое лицо Санина.

— Держи!

Санин легко спрыгнул на землю и взял чемодан.

— Ну, идем!

Они быстро пошли через сад.

Там был бледный сумрак и тонкий холодный запах холодеющей земли. Деревья сильно обнажились, и оттого было чересчур пусто и просторно. За рекою догорала заря, и вода блестела одиноко, забытая и заброшенная в конце уже никому не нужного сада.

Когда они пришли к вокзалу, на бесконечных черных путях горели сигнальные огоньки и поезд мерно пыхтел локомотивом. Бегали люди, стучали дверьми, перекликались и ругались грубыми злыми голосами, точно все было грустно и тяжело и хотелось скрыть свое чувство от других под нарочитой злостью. Толпа темных и растерянных мужиков с узлами копошилась на платформе.

У буфета Санин и Иванов выпили.

— Ну, счастливого пути! — грустно сказал Иванов.

— У меня, друг, путь всегда одинаков, — улыбнулся Санин. — Я у жизни ничего не прошу, ничего и не ищу. А конец никогда не бывает счастливым: старость и смерть, только и всего!

Они вышли на платформу и стали на свободном месте.

— Ну, прощай!

— Прощай!

И невольно для обоих вышло так, что они поцеловались. Поезд, лязгая и скрежеща, тронулся.

— Эх, брат! Как я тебя полюбил, как полюбил! — неожиданно закричал Иванов. — Одно настоящего человека только и видел!

— Один ты и полюбил! — усмехнулся Санин. Он вскочил на подножку проходящего вагона.

— Поехали, — весело закричал он. — Прощай!

— Прощай!

Быстро побежали вагоны мимо Иванова, точно вдруг сговорившись убежать куда-то. Мелькнул в темноте красный фонарь и долго, как будто не удаляясь, краснел в черноте.

Иванов посмотрел вслед поезду, и ему стало грустно и скучно. Уныло брел он по улицам города и смотрел на его жидкие аккуратные огоньки.

«Запить, что ли?» — спросил он себя, и бледный длинный призрак долгой бесцветной жизни пошел с ним в трактир.

XLVI

В духоте и тесноте задыхались вагонные фонари, и среди колеблющихся дымных теней и пятен тусклого света копошились измятые, истрепанные люди.

Санин сидел рядом с тремя мужиками. При его входе они говорили о чем-то, и один, плохо видный в темноте, сказал:

— Так, говоришь, плохо?

— Чего же плоше, — высоким надтреснутым голосом ответил старый косматый мужик рядом с Саниным. — Они свою линию гнут, для нас пропадать не станут. Говорить можно что угодно, а когда до шкуры дойдет, кто посильнее, тот и выпьет кровь!

— А вы чего ж ждете? — спросил Санин, сразу догадываясь, о чем идет тяжкий и нудный разговор.

Старик повернулся к нему и развел руками.

— А что станешь делать?

Санин встал и ушел на другое место: он знал этих людей, живущих как скоты и не истребивших до сих пор ни себя, ни других, а продолжающих влачить скотское существование в смутной надежде на какое-то чудо, которого им не дождаться и в ожидании которого умерли уже миллиарды им подобных.

Ночь шла. Все спали, и только против Санина мещанин в чуйке злобно ругался с женою, боязливо отмалчивающейся и только судорожно поведившей испуганными глазами.

— погоди, дай срок, я тебе, стерва, докажу! — шипел, как придавленная гадюка, мещанин.

Санин уже задремал, когда женщина, болезненно охнув, разбудила его. Мещанин проворно отдернул руку, но Санин успел увидеть, как он крутил пальцами грудь женщины.

— Экая же ты, братец, скотина! — сердито сказал Санин. Мещанин испуганно молчал, оторопело глядя на него маленькими злыми глазами и как будто скаля зубы.

Санин с отвращением посмотрел на него и ушел на площадку. Проходя по вагону, он видел множество почти навалившихся друг на друга людей. Уже светало, и в окно вагона падал бледный синеватый свет; причем лица их казались мертвыми, и какие-то робкие и печальные тени ходили по ним, придавая бессильное и страдальческое выражение.

На площадке Санин всей грудью вдохнул свежий рассветный воздух.

«Противная штука человек!» — не подумал, а почувствовал он, и ему захотелось сейчас же хоть на время уйти от всех этих людей, от поезда, из спертых воздуха, от дыма и грохота.

Заря уже явственно занималась на горизонте. Последние тени ночи, бледные и больные, бесследно убегали назад в синюю тьму, таявшую в степи.

Не долго думая, Санин сошел на подножку поезда и, махнув рукой на свой пустой чемодан, прыгнул на землю.

С грохотом и свистом промелькнул мимо поезд, земля выскочила из-под ног, и Санин упал на мокрый песок насыпи. Красный задний фонарь был уже далеко, когда Санин поднялся, смеясь сам себе.

— И то хорошо! — сказал он громко, с наслаждением издав свободный, громкий крик.

Было широко и просторно. Еще зеленая трава тянулась во все стороны бесконечным гладким полем и тонула в далеких утренних туманах.

Санин дышал легко и веселыми глазами смотрел в бесконечную даль земли, широкими сильными шагами уходя все дальше и дальше, к светлому и радостному сиянию зари. И когда степь, пробудившись, вспыхнула зелеными и голубыми далями, оделась необъятным куполом неба и прямо против Санина, искрясь и сверкая, взошло солнце, казалось, что Санин идет ему навстречу.

Повести и рассказы

Паша Туманов

I

Перед закрытой желтой дверью приемной полицмейстера, в маленькой грязной передней с давно не крашенным полом, опершись спиной о вешалку, стоял рябой малорослый полицейский солдат в перепачканном пухом и мылом и разорванном под мышкой мундире.

Вид у этого солдата был самый смиренный и глупый, но это не помешало ему изобразить на своей физиономии начальственную строгость, когда в переднюю вошел посторонний.

Этот посторонний, попавший в комнату, куда посторонним вход строго воспрещается иначе как в указанное, от двенадцати до трех часов, время, был юноша в худой гимназической

шинели и такой же фуражке. Роста он был среднего, большеголовый, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом; на щеках и верхней губе его вполне ясно обозначался неровный пух усов и бороды. Он был красен и, видимо, возбужден.

Вошел он очень быстро, точно за ним кто гнался, и, войдя, сейчас же снял шапку.

— Здесь приемная полицмейстера? — спросил он так громко, как будто давно приготовил этот вопрос в такой именно громкой и решительной форме.

— Здеся, — ответил солдат, с видимым неудовольствием покидая свое занятие и отделяясь от вешалки.

«И чего шляются, — подумал он, — сказано: от двенадцати до трех, ну и нечего... только народ беспокоят!..»

— Сюда пройти? — так же громко и решительно спросил гимназист, делая движение к запертой двери приемной.

— Сюда. Да только они не принимают, — ответил солдат, загораживая дверь.

— Мне нужно.

— Пожалте от двенадцати до трех, — равнодушно сказал солдат и потянулся рукой к своему носу.

— Мне сейчас нужно.

— Не приказано пущать.

Гимназист как-то весь осел и замялся, обескураженный этим ничтожным и неожиданным препятствием, сбивавшим его с того торжественного, важного и печального пути, который представлялся ему, когда он ехал сюда. Этот равнодушный и неряшливый солдат так не вязался с его представлением, что одну секунду он едва не вышел из передней. Но в дверях остановился, побагровел и выпалил:

— Мне надо заявление: я человека убил!

— Чего-с? — глупо спросил солдат.

И гимназист молчал и смотрел на солдата, и солдат, выпучив глаза и глупо ухмыляясь, смотрел на него.

— Пожалте... — наконец сказал солдат, сомнительно качнув головой, толкнул дверь в приемную и посторонился.

Гимназист надел зачем-то фуражку, но сейчас же снял ее и вошел. Солдат тупо поглядел ему в спину. II

В большой светлой комнате, украшенной портретами лиц царской фамилии, находились в это время четыре человека: сам полицмейстер, видный, представительный мужчина с большими усами и перстами на пальцах, его помощник, толстый человек с большим животом и багровой физиономией, с трудом ворочающейся на короткой шее без кадыка, и пристав, высокий, худой, чахоточный, на узких плечах которого мундир и шашка висели как на вешалке. Четвертый был господин в вицмундире с форменными пуговицами, с большой рыжей бородой и синими очками на кончике толстого угреватого носа. Он перебирал бумаги на столе у самого окна, стоя и через плечо прислушиваясь к тому, что говорил полицмейстер.

А полицмейстер, сидевший лицом к входной двери, облокотясь обеими руками на стол, покрытый зеленым сукном, рассказывал, смеясь и жестикулируя, как дочь одного часового мастера-еврея, захваченная облавой на проституток, несмотря на уверения отца, что она «еще совсем дитю», оказалась беременной.

— Ха-ха-ха, совсем дитю! — беззаботно смеялся полицмейстер, и его здоровый корпус, туго затянутый в полицейский мундир, колыхался во все стороны.

Помощник, который вообще никогда ничего не чувствовал, кроме своей толщины, страдал от жары и скуки, хотя и улыбался, когда смеялся полицмейстер.

Пристав как палка стоял перед ними и тоже улыбался, хотя ему было тяжело стоять, потому что он был слабый и больной человек. Он смотрел на здорового, сильного, вкусно смеющегося полицмейстера, перед которым должен был стоять, с ненавистью и злобой, не смея, конечно, прервать его никому не нужную, праздную болтовню напоминанием о принесенной им срочной бумаге.

Секретарь же, который терпеть не мог полицмейстера за его грубость и бурбонство, слушал его с наслаждением, потому что сегодня узнал из верных уст, что конец полицмейстерской карьеры близок. Об этом ему говорили в канцелярии губернатора, как о решенном деле, тогда как сам полицмейстер, очевидно, ничего не подозревал.

«Не смеялся бы ты, если б знал!» — злорадно думал секретарь.

Когда вошел гимназист, все сразу повернули к нему головы, и полицмейстер замолчал на половине фразы.

Гимназист как вошел, так и стал посреди комнаты, торопливо вытаскивая что-то из кармана шинели, что цеплялось там и упорно не хотело вылезать на свет.

Пристав счел своим долгом подойти и опросить его, а так как то же думал и секретарь, то они оба разом спросили:

— Что вам угодно?

Но гимназист молчал и растерянно поглядывал то на одного, то на другого, продолжая тащить что-то из кармана. Оттуда посыпались крошки, должно быть пирожного. Гимназист сопел и краснел, лицо у него сделалось жалкое, беспомощное, шея вспотела.

Пристав, изогнув, как дятел, голову набок, заглянул одним глазом ему в карман и что-то хотел спросить, но в это время гимназист, совсем выверотив карман, вытащил, наконец, маленький блестящий револьвер и подал его почему-то прямо полицмейстеру. Тот невольно протянул руку и взял.

— Я директора убил, — вдруг заявил гимназист жидким, заплетающимся голосом.

— Как-с? — спросил полицмейстер, высоко поднимая брови.

— Кого? — произнес и его толстый помощник, на жирном лице которого появился испуг.

— Директора... Владимира Степановича... — совсем упавшим голосом повторил гимназист.

— Вознесенского? Владимира Степановича? — воскликнул полицмейстер.

— Да, — прошептал гимназист.

Тогда все сразу задвигались, заговорили и засуетились. Полицмейстер начал прицеплять

шашку, путая португую; пристав побежал рысью приказать подать дрожки; помощник ужасался и искал шапку, и все что-то кричали, перебивая друг друга и совершение позабыв о виновнике происшествия. Уже уходя, полицмейстер вспомнил о нем и обратился к нему негодующим тоном:

— Да вы кто такой?

Гимназист не отвечал. Он, очевидно, не особенно хорошо сознавал, что с ним произошло, и бессмысленно мял фуражку своими потными ладонями.

Пристав подскочил к нему и прошипел ему почти в ухо:

— Кто такой?

— Павел Туманов... шестого класса... — машинально ответил гимназист, поворачиваясь прямо к нему, отчего пристав даже немного сконфузился и сделал рукой такое движение, будто почтительно направлял ответ в сторону полицмейстера.

— Надо ехать, — взволнованно проговорил полицмейстер.

— Какое несчастье! Матвей Иванович, — обратился он к помощнику, — вы со мной?

— Да, да, — запыхтел помощник, торопливо берясь за фуражку.

— Виктор Александрович, — почтительно остановил полицмейстера пристав, — а как же с ними? — он кивнул в сторону гимназиста.

— А, да... задержать здесь до моего возвращения.

— А револьверчик?

— А, да... как же, как же, — вещественное доказательство... спрячьте! Да вы со мной поедете, а этого... Андрей Семенович, распорядится. Распорядитесь, Андрей Семенович!.. — кинул полицмейстер, исчезая в дверях.

— Хорошо-с, — хмуро ответил секретарь, не двигаясь с места.

Пристав просительно кивнул ему и тоже убежал. Через минуту под окнами прогремели одна за другой две пролетки, уносившие полицейские власти на место преступления. III

В приемной остались секретарь за своим столом и гимназист, все еще с вывороченным карманом стоявший посреди комнаты. В открытую дверь заглядывали уже прослышавшие о происшествии писцы и городовые, любопытно оглядывая гимназиста.

Секретарь чувствовал себя неловко. Он зачем-то, ступая почти на цыпочках, прошел через комнату, запер дверь, любопытным погрозил пальцем и, возвращаясь на свое место, пробормотал:

— Садитесь... что же вы стоите...

Гимназист машинально отошел к стенке и сел на стул, не переставая мять потными ладонями свою фуражку.

Секретарь тихо уселся на свое место. Ему было жаль мальчика, и ему как-то не верилось, что перед ним — убийца. Он притворился, что не обращает на гимназиста никакого внимания, и усердно стал шуршать бумагой, только изредка с любопытством кидая быстрые взгляды на неподвижно сидевшего преступника.

Паша Туманов сидел под самым окном в неудобной, напряженной позе и не шевелился, крепко сжав губы и сопя носом. Он смотрел в одну точку — на просыпанные им на пол крошки пирожного — и чувствовал мучительное желание их убрать: ему казалось, что они нестерпимо резко видны на желтом, чисто вымытом полу и имеют какое-то отношение к тому, что случилось.

Но ему только казалось, что именно эти крошки возбуждают в нем такое тяжелое желание; на самом деле его мучила потребность убрать куда-нибудь то безобразное и нелепое, что случилось с ним в это утро и острым клином торчало теперь в его жизни, уродуя и коверкая ее. На него нашло какое-то мертвенное оупение. Он даже не мог отдать себе ясного отчета в том, каким образом началось, продолжалось и окончилось «это» и как он очутился здесь и зачем сидит в большой пустой комнате, в присутствии большого, бородатого, в синих очках господина, шелестящего бумагой. Порой ему казалось, что надо встать и уйти, и тогда все это просто кончится и окажется каким-то пустяком, даже веселым и юмористичным... но сейчас же все обрывалось и сбивалось в бестолковую массу каких-то картин, обрывков слов и красных пятен, которые начинали расплываться, расширяться и, наконец, заливали все багровой мутью, где прыгали какие-то знакомые, но ужасные лица.

Тогда Паша Туманов встряхивался где-то внутри себя и на мгновение опять видел большие светлые окна, силуэт бородатой головы и слышал короткий шелест бумаги.

Это было состояние, близкое к бреду.

Среди бесформенного хаоса, расплывчатого, тяжелого, Паша Туманов чувствовал, что видит что-то, что надо сейчас же сделать: что-то очень важное, имеющее решающее значение, но что именно, он не мог отдать себе отчета, и это начинало мучить его так, что крошки на полу стали казаться пустяком. Он сделал усилие и поймал...

Это оказалось вывороченным карманом шинели.

Паша Туманов положил фуражку возле себя на стул и старательно вправил карман на место, причем рука его нащупала в нем еще несколько кусочков раздавленного пирожка, который ему дали, когда он утром выходил из дому.

И вдруг ему стало чего-то ужасно жалко, и сам он стал в своем представлении маленьким-маленьким.

Паша Туманов заплакал, сначала тихо, а потом все громче и громче.

Секретарь испугался. Он вскочил, уронил перо и, налив в стакан воды из стоявшего на окне графина, поднес ее Паше. Но Паша Туманов не пил и рыдал, захлебываясь и трясясь, как в лихорадке.

— Ну, ну, полно, что вы... пустяки... это ничего... выпейте воды... — бормотал испуганный секретарь и вдруг, повинувшись непонятному ему светлому движению души, неожиданно для самого себя, погладил Пашу по голове и пробормотал: — Бедный мальчик!

Паша услышал это жалкое слово, и плач его перешел в истерические рыдания. Ему показалось, что на всем свете нет человека, который пожалел бы его, кроме этого секретаря. И Паша Туманов, уткнувшись головой в жилет секретаря и больно царапая нос о форменную пуговку, зарыдал еще больше.

Секретарь беспомощно оглядывался вокруг. IV

Накануне этого дня, около двенадцати часов ночи, Паша Туманов лежал на старом диванчике, который служил ему постелью, и, положив под голову помятую подушку, от

которой ему было жарко и неудобно, глядел внимательно и напряженно, как лампа мягко и ровно светила со стола из-под толстого зеленого абажура. На столе ярко были освещены книги и тетради, красная ручка резко торчала из чернильницы; ближе к Паше чернел силуэт спинки стула, а возле него все мягко ступшевывалось в зеленоватом полусумраке.

Паша Туманов лежал, тупо и неподвижно уставясь в одну точку, хотя и знал, что каждый час дорог. Он лег с отчаяния, когда убедился, что усилия его в два-три дня пополнить все, упущенное за семь лет, ни к чему не приведут, и теперь не чувствовал силы вновь приняться за долбежку.

Почему так много, неопределенно много было упущено, Паша не знал. Отчасти это случилось по лени, отчасти по обстоятельствам, от Паши не зависящим, а главным образом оттого, что настоящая, действительная жизнь целиком захватывала своими интересами живого Пашу Туманова, а эта жизнь шла далеко в стороне от мертвой, неподвижной гимназии.

Когда Паша окончательно понял истинное положение дела и убедился, что не может обмануть самого себя относительно его безнадежности, им овладело тупое отчаяние, граничащее с апатией. Он отошел от стола, даже не закрыв книги, лег на диван и чувствовал всем существом своим, что он глубоко несчастен. Одновременно с чувством жалости к себе у него закипало и глухое озлобление против людей, которых он считал виновными в своем несчастье, — против директора гимназии и преподавателя латинского языка. Он ошибался: причины его несчастья заключались вовсе не в этих двух чиновниках министерства народного просвещения, не в их относительных достоинствах и недостатках, как преподавателей, людей и чиновников, а в том противоестественном положении вещей, по которому двадцатилетнего юношу, жаждущего смысла и интереса в жизни, заставляли зубрить неинтересные, лишённые жизненного смысла учебники и, наоборот, лишали того, чего он в течение всей юности добивался. Тем не менее Паша Туманов именно директора и учителя Александровича считал причиной того, что он несчастен, а завтра, наверное, будет еще несчастнее. Чувство озлобления, тяжелого для его доброго и мягкого сердца, все усиливалось и доходило минутами до того безобразного кошмара, в котором человек с мучительным наслаждением, свойственным только больному организму, припоминает какие-нибудь ничтожные подробности — вроде походки, голоса, манеры говорить — человека, кажущегося ему врагом, и находит эти подробности до того противными, мерзкими, что мысленно плюет на них, топчет их и издевается над ними.

Паша стал задыхаться в удушливой атмосфере своего озлобления. Ему казалось, что даже огонь лампы упал и стал каким-то тяжелым, зловещим; а шум в ушах превращался то в глухой шепот за стеной, то в уныло доносящуюся откуда-то издали тягучую песню ненависти и тоски. Паша понимал, что надо стряхнуть с себя это тягостное состояние, но тупая и вялая безнадежность пересиливала его волю, и он продолжал неподвижно лежать и страдать нравственно и физически.

У него заболела голова.

Дверь в комнату тихо и осторожно отворилась: послышался веселый смех и другие резкие и отчетливые живые звуки из третьей комнаты, где сидели сестры Паши и прислуга накрывала на стол, стуча тарелками и бряцая ножами.

Вошла мать Паши, Анна Ивановна, вдова полковника, живущая на пенсию и на какое-то вспомоществование, откуда-то выдаваемое на воспитание детей. Она была заморенная, бессильная женщина, с тихим голосом, большим запасом бесхарактерной доброты и вялым, преждевременно состарившимся лицом. Она тихо прошла по комнате, потрогала лоб Паши теплой мягкой рукой и села возле стола.

— Пойдем ужинать. Устал?

Из того, что она села, позвав его ужинать, и по знакомому ему, немного жалкому и боязливому выражению спрашивающих глаз Паша понял, что ей нужно. Но так как ему было тяжело лгать, а правду сказать он не мог, то Паша промолчал и только кивнул головой на вопрос матери об усталости.

Анна Ивановна сидела у стола, перебирая пальцами листы книги и понуриив голову, и грустно думала о том, как дети вообще жестокосердны и неспособны понимать заботы родителей. Ей казалось, что, если бы Паша понял, как она страдает и боится за него, он сейчас же начал бы хорошо учиться и вышел бы в люди.

А Паша смотрел на нее искоса и думал почти то же: что мать его жестока и неспособна понять, как трудно и скучно учиться, и что он, Паша, все-таки прекрасный, добрый мальчик, несмотря на то, что не может выдержать экзамена. Ему хотелось пожаловаться матери на то, как ему тяжело и как злы учителя, которые, по его мнению, одни были виноваты в его несчастье, потому что и они, и никто не потерял бы ничего, если бы они поставили ему не единицу, а четыре или хоть три. Но Паша чувствовал, что мать, несмотря на свою доброту, неспособна понять его и не поверить в злобу учителей. А потому и к ней он начинал питать смутное озлобление. Он упорно молчал и смотрел на лампу.

Наконец Анна Ивановна грустно и безнадежно вздохнула и встала.

— Ну, пойдем ужинать.

Но Паша знал, что она так не уйдет и что надо солгать.

— Что же ты, Паша... выдержишь? — с усилием и страхом спросила наконец Анна Ивановна.

Раздражение вспыхнуло в душе Паши до того, что он едва не закричал: «Да оставьте меня в покое! Почему я знаю!..»

Но, увидев большие ласковые глаза с выражением тревоги и любви, вдруг почувствовал такую нежность и жалость к ней, что встал, обнял ее за талию и, краснея в полусумраке, сказал притворно-смелым голосом:

— Выдержу! Пойдем, мама, ужинать... моя хорошая...

И он прижался к ней с чувством безотчетного умиления. Анна Ивановна с тревогой, пылливо посмотрела на него, вздохнула и ненадолго успокоилась.

За ужином Паша был возбужден и много смеялся, остря над сестрами; но когда вернулся в свою комнату, разделся и лег, потушив лампу, то сначала тревога, а потом и прежнее озлобление вернулись к нему с удвоенной силой и не давали ему спать. Он смотрел в темноту воспаленными круглыми глазами и чувствовал ненависть ко всему свету и жалость к себе...

Когда он наконец заснул, ему снились деревья, солнечный свет, знакомые лица и много чего-то светлого и радостного. V

Утром Паша Туманов встал очень рано и сейчас же вспомнил, что надо идти на экзамен. Его обдало холодом, и сердце неприятно и тоскливо сжалось.

Паша долго и порывисто, то торопясь, то без надобности копясь, оделся, умылся и вышел в столовую, где блестел холодный, только что вымытый пол и на столе, покрытом свежей скатертью с залежавшимися складками, стоял чистый шумящий самовар.

Сестры еще спали, но Анна Ивановна уже сидела за самоваром и улыбнулась Паше робкой и тревожно-вопросительной улыбкой.

Паша тоже улыбнулся, но не мог смотреть матери в глаза и уткнулся в свой стакан.

— Поздно уже, Паша, — сказала Анна Ивановна. Паша неприятно поморщился.

— Еще половина девятого, — сказал он.

— Пока дойдешь... — коротко ответила мать, ставя чайник на конфорку самовара.

Эти простые и обыкновенные слова, которые Паша слышал каждый день, теперь раздражали его.

— Поспею, — грубо сказал он, — дайте хоть чаю выпить! Анна Ивановна робко и огорченно на него посмотрела.

— Пей, пей... я так... — виновато сказала она.

Паше было больно, что он огорчил грубым тоном мать, и хотелось извиниться, но, уступая давлению усиливающейся тревоги, он не извинился, а, напротив, насупился, и, приняв обиженный вид, встал, взял ранец, вынул оттуда нужную ему книгу и надел фуражку.

Анна Ивановна смотрела на него из-за самовара, ожидая, что он подойдет, как всегда, за поцелуем и крестом, которым она осеняла сына, куда бы он ни шел. Паша видел это, но чувство озлобления толкало его, и он вышел из комнаты, не подойдя к матери.

Паша Туманов быстро шел по улицам, по которым гремели ломовики, с чувством тяжести и от страха экзамена, и от жалости к матери, которую обидел. Чем ближе он подходил к гимназии, тем больше замедлял шаги, и наконец остановился на мосту и долго смотрел, ничего не понимая, как какой-то старичок в помятой дворянской фуражке, засучив панталоны, стоял по колени в воде и удил рыбу. Пара сапог с рыжими голенищами торчала на гладком прибрежном песке рядом с коробочкой из-под ваксы для червяков и ведерком для рыбы.

Солнце светило ярко, тепло и весело.

Старичок заметил Пашу и несколько раз взглянул на него, улыбаясь, как старому знакомому. Наконец он тронул фуражку и спросил:

— На экзамен идете?

Паша Туманов сделал над собой усилие, чтобы понять, о чем его спрашивают, и ответил не скоро:

— На экзамен.

Старичок кивнул головой.

— По латинскому языку? Знаю... У меня сынишка... может, знаете, Василий Костров, Васька... тоже на экзамен сегодня.

Паша Туманов приподнял шапку и пошел дальше. Старичок пошевелил неодобрительно губами и потащил из воды серебристую плотичку. Потом посмотрел, прищурясь, на солнце и опять закинул удочку. Пойманная рыбка билась в ведерке и разбрызгивала на песок блестящие капельки воды.

Паша Туманов шел и думал, что Костров, Васька Костров, наверное, тоже не выдержит экзамена. Кострова он знал: это был высокий худой юноша, всегда плохо одетый, плохо учившийся и вместе со своим приятелем, Анатолием Дахневским, юрким полячком, постоянно проводивший время в бильярдных, тайком от начальства. Оба они играли

мастерски и одевались, да и кормились почти исключительно бильярдной игрой.

Паша Туманов подумал, что и Дахневский, наверное, не выдержит экзамена, и ему стало веселее.

Придя в гимназию, он прошел по чисто подметенному широкому коридору в шестой класс и сейчас же отыскивал глазами Кострова и Дахневского, которые сидели на подоконнике и разговаривали. Паша подошел к ним.

— Я ему двадцать очков дам, — спокойно говорил Костров своим глухим баском.

Увидев Пашу Туманова, он подал ему руку и весело спросил:

— Бойтесь? — и добродушно засмеялся.

Но Паше не стало весело. Ему, против ожидания, показался даже противен Костров со своим бесшабашно равнодушным отношением к собственной участи и вечными разговорами о бильярдной игре.

Он не выдержал и спросил почему-то не Кострова, а Дахневского:

— А вы бойтесь?

Тот посмотрел на него с рассеянным удивлением.

— Нет... что же... — неопределенно ответил он и снова обратился к Кострову:

— Видишь ли, у Маслова удар, может быть, и хуже, чем у тебя, да у него терпение дьявольское, он измором возьмет... Двадцати ты ему не дашь!..

— Нет, дам! — уверенно возразил Васька Костров, глядя через Дахневского на Пашу Туманова и чему-то ухмыляясь. Улыбка у него была добрая и немного насмешливая.

— Вы не бойтесь, — сказал он вдруг, — не выдержим, так не выдержим, беда невелика!..

Дахневский внимательно поглядел на Пашу.

— Охота придавать такое значение! — презрительно пожал он плечами.

Но Васька Костров отодвинул его рукой и сказал:

— Оставь... у всякого свои обстоятельства.

Прибежал надзиратель, робкий, торопливый человек, с седенькой подстриженной бороденкой, добрым и ничтожным лицом. Он быстро всунулся в двери, крикнул: «Господа, на экзамен!..» — и исчез, торопливо помахивая рукой.

— Ну-с, «господа», — улыбнулся Васька Костров, вставая и потягиваясь, — пойдём.

Все толпой вывалили в коридор и пошли на другой конец его, к актовому залу, где происходили экзамены.

Опять гнетущее чувство страхахватило Пашу Туманова с такой силой, что колени у него стали дрожать. Без всякой надобности он остановился у столика с водой и стал пить воду, показавшуюся ему удивительно невкусной.

— Скорее, скорее, господа! — подгонял гимназистов внезапно появившийся надзиратель, укоризненно качая головой и торопливо потирая худые пальцы.

В это время из дверей на другом конце коридора показались фигуры экзаменаторов, вышедших из учительской комнаты. На фоне освещенного окна и блестящего пола они появлялись одними темными силуэтами с болтающимися фалдами вицмундиров. Паша Туманов едва успел войти в зал и занять первое попавшееся на глаза свободное место, как они уже вошли, один за другим, и стали размещаться вокруг большого стола, покрытого красным, с золотой бахромой и кистями, сукном. VI

Начался экзамен.

Это был обыкновенный экзамен средне-учебного заведения, — обычай, которого никак не могут совершенно оставить даже люди, признающие его бессмысленность. Педагоги, великолепно знавшие относительные знания и способности своих учеников, вызывали их к столу, задавали наудачу, согласно взятому на счастье билету, несколько пустячных вопросов и притворялись, что ставят отметки именно по тому, как отвечают ученики, а не по давно сложившемуся у них мнению о том или другом ученике, которое было известно не только одному из них, но и всему педагогическому совету.

Пока вызывали других, по одному, то с начала, то с конца алфавита, Паша Туманов, напряженно и неудобно усевшись, тупо смотрел на учителей. По временам ему казалось, что необходимо еще что-то прочесть, просмотреть слабое место; но когда он судорожно переворачивал книгу и отыскивал то место, ему бросались в глаза тысячи строк, казавшихся совершенно неизвестными, забытыми, и Паша бессильно бросал книгу, обливаясь холодным потом, а через секунду опять искал какое-то местечко.

Наконец вызвали с конца Ухина, а с начала Кострова.

— Василий Костров, — довольно тихо прочел директор.

— Костров Василий, — громко, с расстановкой повторил преподаватель.

Откуда-то из-за спины Паши Туманова выдвинулась фигура Васьки Кострова, и он прошел к столу.

Паша Туманов вздрогнул, встрепенулся и замер, облившись потом. Следующим должен был быть он.

— Павел Туманов, — сказал голос директора.

— Туманов Павел, — так же громко повторил преподаватель.

Паша Туманов машинально встал, уронил книгу, хотел поднять, запутался и, не подняв книги, деревянными шагами пошел к столу. По дороге он столкнулся с возвращавшимся на свое место Васькой Костровым. Тот был красен, но, ничуть не смущаясь, глядел Паше в лицо и улыбался. Он провалился с треском.

Потом был период в несколько минут, когда Пашу Туманова что-то спрашивали, а он что-то отвечал и чувствовал, что отвечает чепуху, и даже хуже, чем мог бы; но он уже махнул рукой, чувствовал себя точно в безвоздушном пространстве и валил что попало, стараясь только остановить дрожащие коленки. Только под конец мысли у него немного прояснились, и на вопрос об обороте речи он совершенно правильно ответил:

— Ablativus absolutus.

— И это все, что вы знаете, — холодно произнес преподаватель и тут же, на глазах Паши Туманова, поставил ему единицу.

Все упало внутри Паши, и он едва не крикнул: «Не надо!»

Преподаватель вопросительно посмотрел на директора; директор махнул рукой, серьезно взглянул поверх синих очков в лицо Паше Туманову и чуть-чуть качнул головой.

— Можете идти, — сказал преподаватель и, не глядя на Пашу, выкликнул: — Полонский Митрофан.

Острое чувство страшной злобы сдавило Паше горло. Он машинально повернулся и вышел из зала, стараясь не смотреть на товарищей, провожавших его испуганными взглядами.

В коридоре он встретил Кострова и Дахневского уже в фуражках. Васька Костров его остановил.

— Ну что? — спросил он, ласково глядя на него своими темными глазами.

Паша Туманов хотел ответить, но у него задрожала нижняя челюсть, и он только махнул рукой.

— Тэк-с, — сказал Васька Костров. Паша Туманов прошел мимо.

— Послушайте, Туманов! — крикнул ему Васька Костров. Паша остановился.

— Если увидите моего pater'a,[2] — он там у моста рыбу удит, — так скажите ему, что...

Васька Костров не договорил и махнул рукой, копируя Пашу, но придавал этому жесту комический оттенок и засмеялся. Дахневский засмеялся тоже.

— А вы сами... что же? — спросил Паша.

— А мы с горя пойдем на бильярде партийку сыграем, — ответил Васька Костров, улыбаясь, и ушел.

Паша Туманов отыскал фуражку, вспомнил, что оставил в зале книгу, но махнул рукой и вышел на улицу. VII

Яркий солнечный свет и грохот мостовой, смешанный с живыми голосами и неистовым чириканьем воробьев, ошеломили его и как будто ободрили. Но это был обман: сейчас же безнадежное горе охватило его и сжало с новой силой; он сам себе показался точно неживым, маленьким и ничтожным; сгорбился и пошел в тени под заборами. Ему казалось, что все по его лицу видят, что он провалился.

Он вышел на мост и сейчас же увидал старика Кострова.

Костров сидел на берегу и натягивал за ушки рыжий сапог, высоко подняв ногу и глядя на мост. Он заметил Пашу и весело кивнул ему головой.

Паша Туманов остановился и, глядя вниз, злорадно произнес, точно вымещая на нем свое горе:

— Вася провалился.

Старик быстро опустил ногу на песок, подумал и вдруг залился дребезжащим смехом, скривившим его большой беззубый рот. Паша Туманов глядел на него с удивлением.

— Вот, говорил же ему, — с веселой досадой сказал Костров, — говорил: провалишься ты со своим бильярдом!.. Так провалился? — с любопытством переспросил он.

— Провалился, — подтвердил Паша и зачем-то сошел с моста на берег. Заглянул в ведро; там бились пять плотичек и бойкий красноперый окуnek.

— Мало клюет, — пояснил Костров. — И с треском провалился?

— С треском.

— Ну вот... — утвердительно проговорил Костров.

Он обернул ногу портянкой, заворотил штанину и стал надевать другой сапог.

— Ну, а вы? — спросил он. Паша густо покраснел.

— Тоже? Гм...

Костров встал, взял ведро, поднял удочку и сказал:

— Пойдемте. Вам куда?

Паше надо было идти прямо, но он почему-то не мог отстать от Кострова. Ему было легче в присутствии этого взрослого человека, так легко и просто относившегося к такому важному делу, которое сердило, волновало и мучило всех других людей. Поэтому Паша Туманов ответил:

— Я с вами пройду.

— Идем, — согласился Костров, снял шапку, поглядел вдоль реки, рябившей золотом на солнце, погладил лысину, опять надел шапку и повторил:

— Ну идемте...

Они пошли вдоль реки по мелкому влажному песку, по которому валялись мелкие круглячки и осколки ракушек, спутанных свежими и засохшими водорослями. По временам попадались старые лодки, грузно насевшие на берег своими черными кормами. Сверху по реке валил пароход, и дым его, белоснежно-белый на солнце, только чуть-чуть отклонялся в сторону. Было тихо, светло и тепло. Волны, мелкие и прозрачные, тихо всползали на смытый песок и слабо всплескивали. В ведре Кострова изредка плескалась пойманная рыбка.

Паша Туманов смотрел на реку и чувствовал, что все это лишено жизни и очень тесно, а свет солнца казался ему тусклым и тяжелым. Костров находил иначе: он сладко прищуренными глазами вглядывался вверх по реке, иногда прикладывая ладонь щитком над глазами, следил за пароходом, сбрасывал ногою мелкие камешки в воду и, блаженно улыбаясь, наблюдал, как дробится алмазная струйка, разбегающаяся по отмели. Вздыхал он легко и привольно и наконец проговорил:

— Благодать!

Паша промолчал. Костров поглядел на него с сожалением.

— Хорошо, говорю! — повторил он. — Ишь, ласточки-то как... ишь, ишь!.. А вы чего такой хмурый?

Пашу Туманова взяло зло: ему показалось, что старик дразнит его, а сам все отлично понимает. Он опять промолчал. Костров вздохнул и широко улыбнулся.

— Это что «экзамен» свой не выдержали? Плюньте-ка на это дело!

Паша Туманов посмотрел на него со злостью.

— Что ж вы сердитесь? — добродушно спросил Костров.

— Я не сержусь, — пробормотал Паша.

— Нет? А мне показалось, что вы обиделись... А что я говорю — плюньте, так это я верно говорю. Ну, не выдержали вы экзамена... Васька мой тоже не выдержал? Ну да... А ведь он, наверное, и в ус не дует. Вы его видели?

— Он пошел на бильярде играть, — сказал Паша. Костров точно обрадовался.

— Ну вот... А чего? Оттого, что ему — наплевать!

— Как же на это можно наплевать? — возразил Паша, глядя себе под ноги.

— А что? Оно, конечно, получить свидетельство там, на место поступить... это хорошо... А только не в этом сила...

— А в чем?

— Вы думаете, мой Васька гимназии не мог бы кончить? Дудки-с! Не одну эту паршивую гимназию вашу, а сто таких гимназий кончил бы, если бы захотел... И вы бы кончили. У меня есть приятель один... маленький человечек, как и я сам, да еще и кривенький... Так он мне рассказывал — мы с ним рыбу удим вместе часто — про эту вашу гимназию и университет этот... Взвинтов — его фамилия. Так вот, этот Взвинтов — он репетиторствует — и говорит, что самые естественные болваны лучше всех и учатся... так уж это дело, видно, поставлено! Да я все по себе знаю: я ведь тоже учился и вылетел... Много ли ума нужно, чтобы латинские спряжения да геометрию с историей вызубрить? Сиди да зубри... сиди да зубри — только и всего. И не нужно это никому, а так только, чтобы местечко похлебнее потом добыть. Так ведь это как кому: иному ничего, кроме местечка, не нужно, ну тот и зубрит, и старается... а иному вот эта река там, да воздух, — тому какое зубрение? Тот и не зубрит. А разве хуже он оттого, что ради теплого местечка не старается? Так-то... да.

Костров прищурился, поглядел по реке и остановился.

— Ну вот мы и расстанемся... мне сюда в переулочек. Паша Туманов молча протянул ему руку.

— Да, молодой человек, напрасно вы так... Ну провалились... оно, конечно, неприятно, но ни хуже вы от этого не стали, ни лучше... такой, как были, таким и остались. Право!.. Так-то. Ваське бильярд, мне река да рыбка, вам... еще там что-нибудь. Мы зубрить не можем, а все-таки мы люди ничуть не хуже других и такие же дети Создателя нашего. Каждому свое... Ну, до свидания... Ласточки-то, ласточки... ишь!..

Костров засмеялся, приподнял картуз и поплелся вверх по берегу, между полуразвалившимися заборами слободки, к маленьким деревянным домишкам, грязно и бестолково рассыпанным по берегу.

Паша Туманов остался один.

Он долго смотрел на воду и думал о том, что сказал Костров, и хотя не мог понять его слов в том глубоком смысле, который вкладывал в свои спутанные речи старый рыболов, но ему все-таки стало легче. И сейчас же свод неба раздвинулся, вода стала прозрачнее и плескала звучнее, струйки весело зазвенели и заговорили на гладком песке, солнце стало ярче и теплее, и послышалось много новых звуков, живых и смелых, которые он до этого не замечал.

Послышались голоса рабочих с барок, звучно перекликавшихся и переругивавшихся незлобно и весело; засвистал бойко и беззаботно пароходик; волна набежала на берег и отхлынула, радостно захлебнувшись; ласточки зачивикали, плавая в море воздуха, света и

голубого простора.

Паша Туманов смотрел на все широко открытыми глазами и не верил сам себе: неужели он, на самом деле, мог так огорчиться из-за единицы? Ну не выдержал... что ж из этого? Ведь он все такой же Паша Туманов, как и был: так же видит, так же слышит и чувствует... так же любит мать и сестер и... хоть и ненавидит директора, того, как его... но черт с ним! Стоят они того, чтобы здоровый, веселый Паша Туманов мучился? VIII

Но такое настроение продолжалось недолго; оно скоро сменилось чувством неловкости, которую Паша Туманов старался сначала объяснить тем, что все-таки неприятно сказать матери не то, что она ожидает.

Впрочем, это ничего. Он перескажет ей слово в слово то, что говорил Костров... этот славный старик... философ. Расскажет о том, как легко относятся к своему провалу Васька Костров и Дахневский. Какой все симпатичный народ! Надо с ними подружиться...

Но чем ближе подходил Паша Туманов к дому, тем он чувствовал себя тревожнее и тяжелее. А когда он вошел во двор, то сердце его опять упало и колени задрожали, как на экзамене.

Сестры сидели в палисаднике. Старшая, Зина, варила варенье, а младшая, Лидочка, читала книгу и жевала длинный хвостик морковки.

— Пашка пришел! — сказала она, увидев брата, и сейчас же бросила книгу и подошла к нему с любопытством в веселых, смеющихся глазах.

Зина подошла тоже, держа в руке ложку с вареньем. У обеих были добрые, веселые лица, но Паша знал, что они должны стать злыми и хмурыми, когда узнают правду.

— Что так скоро? Выдержал? — наперебой спрашивали сестры.

Все, что говорил Костров, бессильно мелькнуло в Пашиной голове, и он невольно, неожиданно для самого себя, выпалил:

— Выдержал... Где мама?

— Молодец, на тебе ложку варенья за это! — сказала Зина.

Лидочка запрыгала на месте и захлопала в ладоши. Паша Туманов, притворяясь веселым и радостно возбужденным, облизал ложку, но совсем не заметил, какое в ней было варенье.

— Где мама? — повторил он.

— В церковь ушла... сейчас придет, уже отзвонили, — сказала Лидочка.

— Что тебе попало?

— Так... пустяки. Я пойду отнесу книгу, — сказал Паша, забывая, что книги с ним нет.

— Да ты от радости обалдел! — сказала Зина, смеясь. Паша покраснел и смутился.

— Тьфу! Забыл книгу. Ну пойду умоюсь... устал...

— Семиклассник! — шуточно прокричала Лидочка ему вслед. Паша тоскливо улыбнулся и поторопился уйти.

Теперь он уже понимал, что нечего и думать сказать матери то, что говорил Костров. Он сам удивился, какими глупыми показались ему его мысли на берегу. Костров — старый пьяница-нищий в рыжих сапогах, два бильярдных завсегдатая, его сын и Дахневский... Паша

теперь не мог даже себе представить, как это он обратил внимание на глупости какого-то пьяницы.

Разумеется, этот сброд ничего не потеряет от того, что не будет у него диплома; другое дело Паша Туманов!

В комнате Паши было темно и грязно; кровать валялась неприбранная; книги были разбросаны по полу и выглядели как-то жалко и печально. Паша стоял посреди комнаты и думал о том безвыходном положении, в которое запутала его ложь сестрам, и о том, что не стоит жить.

В голове его мелькали планы один фантастичнее другого и разбивались вдребезги, бесследно исчезали, доходя до одного пункта: мысли о матери. Паша Туманов мало-помалу примирялся со всеми неприятностями от невыдержанного экзамена, но мысль о том, как он скажет матери и увидит на ее лице выражение ему знакомого бессильного отчаяния и укора, наполняла его душу ужасом и холодом. Паша не понимал, что счастье его не в дипломе, а в искреннем общении с самым близким для него человеком в мире — с матерью, в том, чтобы любить ее и заботиться о том, чтобы она была счастлива, имея здорового и счастливого сына. Не понимал он этого потому, что и все вокруг не понимали этого, а думали, что счастье и прямые обязанности человека заключаются не в том, чтобы быть хорошим и свободным человеком, а в том, чтобы получить диплом и с ним право получать больше денег. А так как мать Паши думала так же, как и все, то, вместо того чтобы утешить дорогого ей, любимого сына, она должна была плакать и мучить его больше всех. И Паша Туманов, готовый перенести насмешки и выговоры от всех, при одной мысли о слезах и упреках матери падал духом, потому что она была ближе и важнее для него, чем все остальные, вместе взятые.

И отсюда у него явилась мысль, что жить нельзя. Если бы Паша Туманов обладал сильным характером, то он сейчас же убил бы себя. Но он боялся не только смерти, но и всякого решительного конца. А потому, хотя он и знал, что экзамен действительно не выдержан и он, как «второгодник», выгнан из гимназии, но мысль о том, что все бесповоротно кончено, не вязалась у него в голове.

У него мелькнула мысль пойти и упросить директора о переводе его в седьмой класс. Паша Туманов не допускал, чтобы его нельзя было упросить, чтобы у человека, живого человека, которому никто ничего не сделает дурного, если он переведет Пашу, хватило бы бесцельной жестокости, в угоду правилу, форме не сделать этого и испортить ему жизнь. Паша рассуждал так:

— Ну, пусть я учился скверно, но ведь, в сущности, никому, кроме меня самого, мамы, Зины и Лиды, нет никакого дела до того, перешел ли я! А мне и маме, Зине и Лиде это очень, неизмеримо важно! Значит, всякий мало-мальски не злой человек должен понять и перевести меня.

Паше показалось это вполне ясно и правильно. Он решил идти к директору сейчас же, пока не пришла мать.

Паша Туманов сообразил, что если он пройдет мимо сестер, не дождавшись матери, то они сразу угадают правду; поэтому он решил вылезти в окно и перебраться через забор.

Паша выбросил в окно шинель и шапку и осторожно стал отворять его шире, чтобы пролезть самому. В обыкновенное время он отворял это окно смело, со стуком, и никто не обращал на это внимания, но теперь ему казалось, что стоит только скрипнуть, и все сейчас же сбегутся к нему. Пашу бросало в жар и в холод. Для того чтобы вылезти в окно, он потратил минут пять.

Когда он очутился уже на улице, то услышал со двора голос Лидочки:

— Мама, Паша пришел... выдержал!

И почувствовал, что все кончено и возврата нет. Это и оглушило его, и придало решимости. Он тихо, на цыпочках побежал по переулку, пригибая голову, хотя забор был гораздо выше его. IX

Когда Паша Туманов опять пришел в гимназию, экзамен уже окончился в их классе и начался в другом. Директор был занят. Паша Туманов заглянул сквозь стеклянные двери в зале и увидел там же красный стол и знакомые фигуры учителей. Преподавателя латинского языка, Александровича, поставившего Паше единицу, там не было. Паша сообразил, что он сидит в учительской комнате, и решил попробовать переговорить раньше с преподавателем.

Он прошел к учительской и с бьющимся сердцем и горящими щеками попросил проходившего учителя чистописания вызвать к нему Александра Ивановича.

— Зачем вам? — спросил надзиратель, но так как ему ровно никакого до этого дела не было, то, не дожидаясь ответа, он широко раскрыл двери учительской и громко позвал:

— Александр Иванович!

Сквозь открытую дверь Паша увидел два больших окна, угол стола и голубые полосы табачного дыма, в котором, как в тумане, двигались чьи-то синеватые силуэты. Из облаков дыма выдвинулась маленькая деревянная фигурка Александровича, с острой бородкой и длинными прямыми волосами. Он подошел к двери и выглянул.

— Вот... к вам, — сказал учитель чистописания и ушел. Александрович посмотрел на Пашу Туманова холодными оловянными глазками и вышел в коридор.

— Что вам? — спросил он, закладывая руки под фалды мундира.

— Александр Иванович, вы мне поставили единицу, а я на второй год, и... меня исключат...

Паша говорил, заикаясь, но притворялся улыбающимся. Александрович смотрел куда-то мимо него неподвижными, апатичными глазами, а когда Паша кончил, то тягучим тоном, с наслаждением отбивая слоги и ударения и покачиваясь с носков на каблуки и обратно, заговорил:

— Вы не мальчик и знаете, к чему приводит лень. Вам это должно быть известно еще из прописей. Сколько вы заслужили, столько я и поставил. Совет согласился с моим определением ваших успехов... Надо было учиться!

Александрович взглянул Паше в лицо и повернулся к двери.

— Александр Иванович! — звенящим голосом воскликнул Паша.

— Нет, нет... — решительно ответил Александрович и плотно притворил за собой дверь.

Паша Туманов заскрежетал от злобы. Он с наслаждением бросился бы на учителя, но вместо того нерешительно отошел к окну и тупо уставился на улицу.

К нему подошел надзиратель, тот самый торопливый, напуганный и смиренный человек, который вел их сегодня на экзамен.

— Вы не выдержали, Туманов? — спросил он.

— Нет, — сдавленным голосом ответил Паша. Надзиратель уныло покачал головой и вздохнул.

— Какая неприятность Анне Ивановне, — сказал он. — Что же вы теперь думаете делать? — спросил он с соболезнованием.

— Буду просить директора, — ответил Паша Туманов, вопросительно глядя на надзирателя.

— Вряд ли... А все-таки попробуйте... Да вот они идут! — прибавил надзиратель шепотом, застегивая вицмундир.

Из дверей экзаменационного зала вышли толпой учителя, и опять на фоне освещенного окна видны были только безличные синеватые силуэты с болтающимися фалдами вицмундиров. Впереди всех шел с журналом в руках директор Владимир Степанович Вознесенский, высокий, плотный человек в синих очках, с большой бородой и прядью волос на лбу.

Он увидел Пашу Туманова и подошел прямо к нему.

— Вы будете исключены, — сказал он, глядя через Пашу. Он был очень добрый человек, и глаза у него были добрые, но он был большой формалист, а глаза его скрывались за синими очками.

Паша Туманов прекрасно знал, что он будет исключен, но все-таки при этих спокойных словах человека, которого он пришел просить и который говорил об его исключении, как о самом решенном деле, его обдало холодом.

— Владимир Степанович, — произнес он таким звенящим голосом, каким говорил с преподавателем.

Директор притворялся, что не слышит.

— Мы дадим вам свидетельство об окончании шести классов, но без права перехода в седьмой... Надо было учиться! — добавил директор.

— Я буду учиться, — как маленький, дрожащими нотками сказал Паша.

— Теперь уже поздно, — спокойно ответил директор, уволивший на своем веку много мальчиков, — надо было раньше думать о последствиях! Увольнительное свидетельство...

— Владимир Степанович, мама... — замирая, прошептал Паша Туманов.

— ...вы получите в канцелярии, — поморщившись, договорил директор и пошел дальше.

Паша пошел за ним.

Когда он подошел к директору, то думал в трех словах рассказать ему свое безвыходное положение и убедить его. Паша думал, что будет иметь дело с сердцем директора, но доступ к нему был загроможден массой условных понятий о долге и обязанностях педагога и директора. Поэтому слова не выходили из уст Паши, и он только мог прошептать, чувствуя уже на глазах слезы бессилия:

— Вла...дмир Степанович...

Директор, доброму сердцу которого все-таки, несмотря на долголетнюю привычку, было больно, но который не допускал и мысли об удовлетворении «незаконной» просьбы мальчика, нашел выход из неприятного положения в том, что притворился опять, будто не слышит, и поспешил войти в учительскую.

Паша остался в коридоре один, со стиснутыми зубами и полными слез глазами, в которых расплывались силуэты двух вешалок, стоявших по бокам учительской, и подходящего к нему

с жалким, соболезнующим лицом надзирателя.

Паша Туманов вдруг весь наполнился страшной злобой и, чтобы избежать разговора с надзирателем, бесплодные соболезнования которого, он чувствовал, только усилили бы злобу и горе, быстро пошел по коридору, схватил шапку и шинель и вышел на улицу с неизвестно в какой момент явившейся, но твердой и вполне определенной идеей мести людям, которые не обращают внимания на его просьбы и слезы.

А директор был расстроен неприятной историей до того, что в первый раз за свою службу посетовал на гимназические правила и ушел к себе на квартиру сильно не в духе. X

На углу главной улицы города, где стояло здание гимназии, только на противоположном конце ее, заканчивающемся площадью, находился большой оружейный магазин. На двух высоких с толстыми стеклами окнами были выставлены горки, уставленные ружьями всех систем, а на подоконниках, красиво обитых зеленым сукном, лежали симметрично разложенные пистолеты, револьверы, охотничьи ножи и ящики с патронами. Все эти орудия убийства, продаваемые открыто, были новенькие и аккуратно блестели своими гладкими полированными частями. Тут же постоянно выставлялись чучела зверей и птиц в мертвых, неестественных положениях. Они скалили зубы на проходящих людей, которые останавливались смотреть на их тусклые стеклянные глаза и восхищались искусством тех, кто убил этих животных и потом постарался придать им жизнь, выгнув их спины и оскалив их пожелтевшие мертвые челюсти.

Гимназисты, возвращаясь из гимназии, постоянно толпой останавливались у этих окон и мечтали об оружии и охотах, никогда ими вблизи не виданных, но казавшихся особенно заманчивыми, потому что оружие было изящно и блестело, а звери и птицы красиво изгибались блестящими шкурками и пестрыми перьями.

Паша Туманов тоже подолгу, случалось, простаивал у окон и с чувством неопределенной зависти осматривал ружья и пистолеты. У него была здесь своя заветная легкая двустволка, о которой он давно уже мечтал и для приобретения которой давно копил деньги. Двустволка стоила двадцать пять рублей, а Паша Туманов скопил только двенадцать. Он всегда, подходя к магазину, тревожился об ее участи и успокаивался только тогда, когда двустволка, никем еще не купленная, оказывалась на своем месте.

Паша Туманов направился прямо к магазину и остановился перед окном против облюбованного ружья. И, несмотря на тяжелое настроение духа, он все-таки ощутил радостное чувство, увидев его гладкое, ровное дуло и красивой формы крючковатые курки. Но он сейчас же поймал себя на этом чувстве, и ему стало стыдно, что, решаясь на такое дело, он интересуется двустволкой.

«Все равно... — подумал он, — купить ее не придется...» Чувство грусти сжало его сердце.

Паша Туманов встряхнулся и, преувеличенно сморщив брови, решительно толкнул дверь и вошел в магазин.

Там были только приказчик и кассирша. Приказчика Паша знал хорошо, потому что часто видел его через окно, когда тот протирал замшей выставленное оружие. Кассиршу же видел в первый раз. Ему стало неловко. Чтобы затушевать эту неловкость, Паша опять-таки преувеличенно развязно подошел к прилавку. Приказчик серьезно и, как показалось Паше Туманову, недоверчиво посмотрел на него поверх очков.

— Что вам угодно? — спросил он.

У Паши мелькнула мысль, что ему, как гимназисту, не продадут оружия, и он побледнел.

— Мне нужен пистолет, — сказал Паша напряженным голосом.

Приказчик молча повернулся к полкам.

Тут у Паши Туманова очень ясно и просто явилось соображение, что, кроме директора, надо убить и учителя латинского языка, а потому лучше купить револьвер, чем пистолет.

«К тому же может выйти осечка, — весьма спокойно и резонно подумал Паша, — и тогда будет очень смешно».

Он вспыхнул, представил себе, что было бы, если бы вышла осечка, и торопливо поправился:

— Или нет, лучше покажите револьвер!

Приказчик так же равнодушно оставил ящик с пистолетами и взял другой, с револьверами.

— Вам в какую цену? — спросил он.

— Рублей в десять, — затруднился Паша, никогда не покупавший оружия.

Приказчик подумал и положил на стекло прилавка три или четыре револьвера.

Паша взял один из них и с видом знатока заглянул в дуло. Там была круглая черная дырка, и больше ничего. Паша почему-то вздрогнул и взял другой.

— А они не испорчены? — спросил он.

— Мы продаем только первосортный товар, — равнодушно ответил приказчик.

— А что... этот сильно бьет? — с детским любопытством спросил Паша. Ему почему-то хотелось, чтобы приказчик был разговорчивее.

— На шестьдесят шагов пробьет человека насквозь, — равнодушно протянул приказчик.

Паша вздрогнул и смутился. Продавец сказал это совершенно случайно, отвечая на заданный вопрос, но Паше показалось, что все уже знают о его намерении, и потом ему представился человек, насквозь пробитый пулей.

Если бы приказчик обратил внимание на Пашино лицо, то заметил бы, что дело неладно; но он был старый, привычный торговец оружием; ему не раз, продав револьвер, на другой день приходилось читать в газетах о самоубийствах и самых зверских убийствах; он давно привык к этому, привык расхваливать смертоносные качества своего товара и, продавая новый револьвер, думал не о тех неудачниках и злодеях, которые кончали с собой или другими купленным у него оружием, а о том проценте, который получал он с каждой проданной дорожке стоимости вещи. Он был очень добрый и нежный человек, превосходный семьянин, любящий своих детей и жену, и потому-то ему и был важен проданный револьвер, а не покупатели. На волнение Паши Туманова он не обратил ни малейшего внимания.

— Я возьму этот, — вздрагивающими губами сказал Паша Туманов.

Приказчик поклонился, забрал остальные и положил их в ящик.

— Прикажете завернуть? — спросил он.

— Да... нет, — смешался Паша.

— Как вам угодно. Патронов прикажете?

— Да, да... как же... — вспомнил Паша. — Непременно.

— Прикажете зарядить или возьмете коробку?

— Лучше зарядите, — сказал Паша Туманов, вспоминая, что и заряжать он не умеет.

Приказчик взял револьвер, высыпал на стекло из коробки хорошенькие желтые патроны и зарядил, ловко щелкая затвором. Подавая револьвер Паше, он спросил:

— Больше ничего не прикажете? Паша покачал отрицательно головой.

— Десять рублей двенадцать копеек, — сказал приказчик, указывая на кассу.

Паша Туманов положил револьвер в карман шинели и подошел к кассе.

Молоденькая, с бескровным лицом кассирша взяла от него деньги, дала ему тридцать восемь копеек сдачи и внимательно поглядела ему вслед.

Она была еще очень молода и потому сердечнее и наблюдательнее приказчика. Когда Паша Туманов ушел, она сказала:

— Какое странное лицо у этого гимназиста. Еще застрелится.

— Кто их знает, — равнодушно ответил приказчик. — Который час, Марья Александровна?..

— Первый, — ответила кассирша, взглянув на свои маленькие часики, вынутые из-за корсажа.

— Боюсь я, — заговорил приказчик, — за Колю; что-то похожее на скарлатину у него... Хоть бы уж скорее три часа... пойти взглянуть. Проклятая должность; сын умрет, а ты и не узнаешь!..

Он ушел за прилавок и принялся собирать разбросанные для Паши вещи.

— Зачем им продавать оружие, — заметила кассирша, думая все о Паше, — еще наделает бед мальчик... какое у него лицо. Не надо бы таким продавать.

— Таких правил нет, — сухо сказал приказчик, думая о больном сынишке. XI

— Где директор? — спросил Паша Туманов, входя в прихожую гимназии.

— На квартире у себя. Сичас с экзамена пришли. Должно, в кабинете, — позевывая, ответил старый рябой сторож из отставных солдат.

— Пойди, Иваныч, доложи, — попросил Паша.

— Да они заняты, должно, — неохотно заметил солдат.

— Ничего... мне нужно очень...

— Не знаю... Да вы бы надзирателя поспрашали. Паша Туманов испугался.

— Нет... я по секрету... попросить...

— Но выдержамши? — спросил солдат, которому такие просьбы приходилось слышать не раз.

— Ну да...

— Я что ж, я доложу, — сказал солдат и, тяжело ступая, пошел в директорскую квартиру.

Паша Туманов остался в прихожей. Он весь замирал и трепетал от страха; но о револьвере он как-то сразу забыл и только хотел попросить директора и боялся отказа.

Солдат вернулся.

— Пожалте в кабинет, — сказал он.

Паша снял шапку и калоши и вошел в темную переднюю директорской квартиры, откуда дверь вела в кабинет директора. Паша прекрасно знал и эту комнату, и кабинет, небогато обставленный, с двумя большими окнами на улицу и с большим письменным столом, на котором стояло бронзовое пресс-папье, изображающее дикого кабана, и лежали какие-то бумаги в синих обложках, с наклеенными на них белыми ярлыками.

Владимир Степанович Вознесенский сидел боком к столу, спиной к двери и, согнув голову набок, писал что-то знакомым Паше крупным разгонистым почерком. Возле него на краю стола лежала и дымилась папироса.

При входе Паши Владимир Степанович обернулся через плечо и нахмурился. Ему было жаль мальчика, и в то же время он не мог понять, как это Паша Туманов не видит того, что так ясно для него: невозможности, вопреки закону, перевести его в следующий класс. И хотя он был добр, но сейчас же сделался злым и сухим, потому что думал, что Паша Туманов надоедливый лентяй, который мог бы учиться, если бы хотел. Так думали все, и директор думал, как все: он был самым обыкновенным, с ходячими понятиями, человеком.

— Что вы мне хотите сказать? — резко спросил он, не глядя на Пашу.

— Владимир Степанович, переведите меня... — попросил Паша Туманов.

— Не могу, — пожал плечами директор.

— Я буду учиться, Владимир Степанович, — уныло проговорил Паша.

«Если я заплачу, то это будет даже хорошо», — подумал он, чувствуя, что слезы подступают к горлу. Но тем не менее он изо всех сил старался не заплакать.

— Ах, Боже мой! — сказал директор, искренно страдая, но делая суровое и скучающее лицо.

— Владимир Степанович, если я не кончу гимназии, мне нельзя будет в университет.

— Само собой разумеется, — невольно усмехнулся директор.

«Совсем не то говорю», — мелькнуло в голове Паши.

Директор взял папиросу, пыхнул ею два раза, затыкнулся, приподнял брови и, аккуратно укладывая ее на край стола, заговорил решительно и резко:

— Послушайте, Туманов, я очень хорошо знаю, что положение ваше, а тем более ваших родителей, становится очень неприятным, если вы будете исключены... Я лично ничего не имею против вас, как не имеют и все господа учителя, но у вас есть свои обязанности, а у нас свои: вы были обязаны учиться... вы этого не делали, ну, и за это исключаетесь из гимназии. Исключаетесь не нами, потому что мы только исполнители, чиновники, и не будь нас, вас исключили бы другие. Мне лично вас жаль, и если бы это от меня зависело, я выдал бы вам диплом, хоть совсем не проверяя ваших познаний. Но у нас есть обязанность переводить только учившихся, а тех, кто ничего не знает, мы обязаны исключать, под страхом соответствующего наказания за неисполнение своей обязанности. Ну, мы и исключаем вас,

но вы не правы жаловаться и осуждать нас и... ничего я сделать не могу. Кажется, ясно?

Директор взглянул на Пашу сквозь очки.

— Ради Бога, Владимир Степанович... — через силу выговорил Паша Туманов, чувствуя, что все валится в какую-то бездну.

Директор с раздражением повернулся к нему.

— Да чего вы от меня хотите? Я не могу... понимаете — не могу!

— Что же я буду делать? — машинально спросил Паша Туманов.

Если бы директор сочувственно отнесся к его горю, посоветовал бы ему какой-либо пустяк, Паша Туманов, вероятно, ушел бы домой. Но директор думал, что важнейшая его задача не в том, чтобы делать детей счастливыми, а в том, чтобы исполнять свой служебный долг и переводить только тех учеников, которые в среднем выводе имеют определенное число баллов. И это было вовсе не потому, что он был черствый человек, а потому, что идеал современной учебы не в том, чтобы из детей делать счастливых и добрых людей, а в том, чтобы наделать из них по известной мерке способных к борьбе за лучшее место в обществе рекрут общегражданской армии; и еще потому, что директор по своему зависимому положению был лишен всякой самостоятельности и обязан был действовать по плану, начертанному людьми, не соприкасающимися близко с детьми и не любящими их; а планы эти были построены только по статистическим цифрам, как бы не имея в виду живых детей.

А так как Паша Туманов ничего этого не понимал и, вопреки словам директора, видел здесь не отвлеченный план, а личности учителей, то в нем сразу проснулась ненависть к директору, возбудившему ее своим официальным, казавшимся Паше злым тоном.

Паша Туманов вспомнил о револьвере. И когда вспомнил, то все показалось ему еще более ясным и простым, и конец такой, а не иной — неизбежным. Он засунул руку в карман и, глядя возбужденными, сухими глазами и чувствуя что-то холодное и грозное в груди, сказал незаметно для самого себя угрожающим тоном:

— Переведите меня, Владимир Степанович, а то... Директор странно взглянул на него, побледнел и медленно встал, отстраняясь от него.

— Что... что вы?..

Тут только Паша заметил, что держит револьвер в руке. Он увидел в лице директора выражение дикого испуга, и им овладело вдруг какое-то веселое бешенство; он протянул руку с револьвером и, тупо улыбаясь, стал целиться прямо в очки директора.

— Ах, Боже мой!.. — воскликнул директор, уклоняясь и заслоняясь руками от направленного на него дула; и вдруг, изогнувшись всем телом, шмыгнул мимо Паши Туманова и грузно побежал из кабинета, крича каким-то хлипающим голосом:

— Ой-ой-ой... помогите!..

Мучительно-приятное бешенство разлилось от этого крика по всему телу Паши. Он показался сам себе ужасным и огромным и, наслаждаясь этим, побежал за директором, но на пороге, целя в спину, выстрелил раз и другой. Сквозь дым, которого ему показалось ужасно много, он видел, как директор тупо ткнулся всем телом об дверь, взмахнул руками и, как мешок, грузно осел назад головой к ногам Паши. Очки его слетели, и добрые близорукие глаза, искаженные смертью, взглянули мимо Паши в потолок.

Но Паша уже не видел и не слышал ничего. С чем-то похожим на истерику бешенства он

выскочил в коридор и побежал наверх, к комнате учителей, держа перед собою револьвер.

Дверь в учительскую была открыта. Там по-прежнему облаками ходил голубой дым и двигались силуэты учителей. Когда Паша Туманов появился в дверях, все сразу обернулись к нему и поняли, что произошло что-то безобразно-ужасное.

Паша видел, как все шарахнулись от него, и вырос в упоении бешенством сам перед собой в гигантскую фигуру. Он отыскал глазами Александровича и выстрелил. Звук выстрела он точно не слышал, а сквозь дым видел только, что учитель не то упал, не то бросился под стол; но, уже не владея своими поступками, он повернулся и, стремительно выскочив вон, добежал вниз, прыгая, как ему казалось, через десяток ступеней сразу.

Пробегая через прихожую, он мельком видел торчащую из открытой двери ногу с странно вытянутым носком и бледное лицо солдата Иваныча, пугливо шарахнувшегося от него в сторону.

Как Паша Туманов вскочил на извозчика и очутился в приемной полицмейстера, он уже не сознавал ясно; опомнился он только тогда, когда секретарь сказал:

— Бедный мальчик.

И только тогда понял он, какое дурное, злое и несправедливое дело он сделал и как он несчастен.

Бог

От скверных крепких папирос в комнате волокнами стоял синий дым, чай все желтел, желтел и наконец обратился в холодную воду, в которой плавали размокшие кусочки лимона, — а Коцуры все не было.

Хозяин квартиры, Сергей Хижняков, крепкий плечистый семиклассник-гимназист, ругался, не стесняясь в выражениях, и приводил в краску шестиклассника Пушкарева, беленького, чистенького, как куколка, мальчика.

— Черт его знает, наверное, у него ничего и нет, а так только нахвастал, а теперь и сам не знает, как увильнуть.

— Конечно, нет, куда ему, долговязому... нахвастал!

Но в это время дверь отворилась, за косяк взялись чьи-то костлявые пальцы, и в темноте передней показалась снимавшая калоши длинная и нескладная фигура семинариста Коцуры.

— Где ты там, черт, застрял?.. ждем, ждем... иди скорее! — закричали ему все пять голосов.

Коцура ничего не ответил, снял калоши, повесил пальто на вешалку и вошел, длинный, белый, сухой, как мертвец.

— Ну, что ж?.. Будешь читать? — спросил Альбов. Коцура повел мертвыми, неподвижными глазами и глухо произнес:

— Я затем и пришел.

— Ну и вали... нечего мямлить.

Коцура прошел к столу, сел, вынул из кармана листок бумаги и опять обвел всех тяжелым, неповоротливым взглядом.

Все четыре гимназиста и кадет Большаков придвинулись ближе, некоторые даже потушили папиросы.

— Слушайте, — раздался глухой, мертвый голос Коцуры, — я хотел с вами поделиться мыслями о Боге.

— Ну, вали! — снисходительно махнул рукой Хижняков.

— Жарь! — отозвался Большаков.

— Перед каждым человеком, — заговорил Коцура, ни на кого не глядя, — рано или поздно, неизбежно встает ужасный вопрос о том, что с ним будет после смерти... Человек живет, страдает, борется и умирает, и все эти муки и усилия исчезают вместе с ним, как будто никогда ничего и не было... Это ужасно, и если люди, как кажется, мало думают об этом и все хлопчут о чем-то, то это только потому, что курица, которую несут резать, взявши за ноги, естественно должна больше думать о той боли, которую причиняют ей прилив крови к голове и руки кухарки, чем о смерти, которой она не понимает... Кх!.. Коцура закашлялся и сердито сказал:

— Что вы тут, черти полосатые, накурили до того, что дышать нельзя!

— Можно форточку отворить, — предложил Пушкарев.

— Не надо, — сердито возразил Коцура.

— Ну, так вот... Кажется совершенно неестественным, чтобы человеческий ум мог совершенно исчезнуть; чтобы то, что говорило, страдало, понимало все окружающее, все запечатлеvalo в себе, кончалось полным небытием, как простая разрушенная машина. Ужас смерти, его полная безысходность, мука полной разлуки с миром и людьми так непереносимы для человека, что совершенно естественным и необходимым является учение о загробной жизни. В мечте о том, что со смертью еще не все будет кончено, что моя индивидуальность и после могилы будет жить, видеть и слышать то, что будет после нас, есть нечто такое светлое и радостное, что человек готов примириться иногда с очевидной необоснованностью, с явным вымыслом, лишь бы поверить в нее, в загробную жизнь... И люди в течение долгих веков в нее верили... Я, конечно, не стану напоминать вам о сущности всех верований о загробной жизни, но я укажу на то, что несомненно в них является самым важным, без чего такая вера немислима, — на Бога.

Пушкарев пугливо покосился на Коцуру и покраснел.

— Что такое Бог? — вот вопрос, над которым мучились люди с самого начала сознания и до наших дней. Нечего говорить, что одна сторона вопроса, о самом факте бытия Божия, и другая, что из самой сущности понятия о Боге вытекает, что Бог есть начало всех начал, представляются совершенно непреложными.

— Почему? — возразил Большаков.

— Потому что, во-первых, сила, двинувшая мир из небытия к бытию, так или иначе, но должна была быть, а во-вторых — если бы Бог не был началом всех начал, то существование его, или этой силы, не имело бы решающего значения: над ним была бы большая и сотворившая его самого сила.

— Ну да... это понятно! — протянул Хижняков.

— Да... Следовательно, вопрос о Боге, как о силе, начале всех начал, представляется совершенно вероятным, и, собственно, для нас, в нашем мучительном вопросе о загробной жизни, самое существование Бога не имеет еще никакой цены. Если бы загробная жизнь выразилась в слиянии нашей индивидуальности с первоначальной материей, то есть в утрате нашей индивидуальности, то для нас это уже есть смерть. Раз не сохранится наш ум, не сохранится ничего... Ум же сохранится только при одном условии: если Бог есть разумная сила. Тогда возможно предположить, что ум, утративший тот аппарат, которым, как электрическая энергия динамо-машиной, вырабатывался на свет, то есть лишившись мозга и всего тела, способен отделиться и существовать сам по себе, так же, как существует разумный дух Божий. Значит, вся важность вопроса о Боге заключается в определении самой сущности Бога, как силы разумной или неразумной, стихийной, иначе говоря.

— И ты определил? — насмешливо спросил Хижняков.

— Да. Определил, — ответил Коцура, поворачивая к нему такое мертвое лицо, что Хижнякову стало немного не по себе.

— Определить сущность Бога нельзя было потому, что Он невидим, неслышим и неоощаем. Те измерения, которыми пользуются люди, не подходят к определению невидимого существа. Люди, верящие в Его бытие, старались открыть возможность Его увидеть, и так возникло понятие о загадочном четвертом измерении. Предполагалось так: существуют три измерения: длина, высота и ширина, но они не определяют всего того, что нужно людям, не показывают того, что очевидно, но чего нельзя определить ни шириной, ни высотой, ни длиной... Например, вечность и бесконечность, то есть именно то, что должно быть неотъемлемым качеством Бога. А также и невидимость. Думали приблизительно так: вообразим себе существо, обладающее только двумя измерениями, и вообразим, что это существо живет на поверхности воды. Все в мире должно было бы представляться этому существу лежащим на плоскости, и человек, который вошел бы в воду по колени, неминуемо представился бы этому существу в виде двух плоскостей, равных поперечному разрезу человеческих ног. Если бы человек вынул ногу из воды и шагнул на берег, он неминуемо исчез бы из пределов видимости для существа двух измерений, потому что он удалился бы с плоскости в высоту, недоступную для двух измерений. Следовательно, не было ничего легче, как допустить существование существа, обладающего четырьмя измерениями, которое, двигаясь в сфере этого четвертого измерения, делается невидимым для человека. Так?

— Ловко! — восхищенно согласился Большаков.

От всеобщего интереса даже дышать стало как будто труднее.

— Я первый открыл, что это совершенно неправильно, — с торжеством сказал Коцура. — Слушайте... Все эти три измерения — суть измерения чисто геометрические. Они предполагают пространство, но отнюдь не тело. Между тем весь мир населен именно телами, а не пространствами, и совершенно невозможно даже представить себе абсолютное пространство. Отправляясь отсюда, я понял, что четвертым измерением должно быть то измерение, которое из области воображаемого приводит сущность в область бытия, в положение видимого, осязаемого и ощущаемого предмета. Это четвертое измерение есть вес...

— Вот куды! — крикнул Хижняков. — Открыл!

— Молчи, дурак, — сердито возразил Коцура, — да, открыл!.. Я открыл то, что было, что вертелось у всех под носом, но ошибочно относилось в другое место... Америка тоже когда-то вертелась под носом у всех, но открыл ее Колумб!

— Так ты Колумб! — хихикнул Хижняков.

— А ты дурак!

— Теперь я разобрал так: что такое обладает одним измерением? Например, время... оно имеет только длину, но ничего больше. Что такое имеет два измерения? Например, звук... он имеет высоту и длину, то есть возможность измениться в двух направлениях. Так. Заметьте, что понятие о звуке, сравнительно с понятием о времени, например, имеет уже большую представляемость и большую, так сказать, плотность. Если во времени не необходимо никакое тело, то для существования звука оно необходимо. Таким образом, увеличивая число измерений, мы не отделяемся от плотности, а, напротив, приближаемся к ней. Так. Теперь поищем сущность трех измерений и проследим, идет ли и она по тому же пути в смысле приближения к телу. Вот пример: свет и тепло. Как свет, так и тепло имеют три измерения: длину, высоту и ширину.

— Что ты городишь? — возмутился Хижняков.

— Постой. Как можно измерить свет?.. Единственный способ — это заключить его в меру, обладающую тремя измерениями: длиной, высотой и шириной. В этой комнате горит лампа, за пределами ее, комнаты, уже нет света, там темнота. Так что в данном случае свет лампы, заключенный в стенах комнаты, представляет собою куб света, измеряемый протяжением стен комнаты.

Не стоит говорить о том, что свет и тепло есть только продукт движения атомов и, следовательно, факт, что сущность трех измерений уже категорически придвигает понятие к появлению тела. Таким образом, ясно вытекает необходимость четвертого измерения именно в эту сторону, и следующий шаг неминуемо является обозначением плотности или веса, что, в сущности, одно и то же... Тело есть конечная форма видимости, осязаемости и ощущаемости, и потому уже ясно, что дальше идти некуда. Пятого измерения не может быть, и, следовательно, за видимым миром в эту сторону нет уже ничего.

И слово «ничего», и мертвый взгляд Коцуры, и мысли, надавившие на мозги, придавили всех. Стало как-то жутко, и уже хотелось всерьез, чтобы Коцура не остановился на этом, а шел дальше, к какому бы то ни было выводу.

— Поняв это, — продолжал Коцура, — я понял, что для определения Бога, как существа невидимого, неосязаемого, неслышимого и неоощаемого, надо идти в обратную от тела сторону, то есть не в сторону четвертого измерения и вообще увеличения измеряемости, а наоборот — в сторону полного отсутствия измерений.

Я понял, что Бог не имеет измерений, и понял, что именно потому он невидим, вечен и бесконечен.

Становилось все жутче и жутче, лица были бледны и блестели глазами, а мертвый голос Коцуры звучал все глуше.

— Бог есть сила, но сила не существует сама по себе, ибо она рождает движение, движение рождает материю. Таким образом, для меня стало ясно, что бытие Божие стихийно должно творить и творение мира не есть воля, а необходимость... Когда я это увидел, — заговорил Коцура, тихо встав, с выражением ужаса на сухом, мертвом лице, — я ужаснулся!..

Холод прошел по жилам всех, головы поднялись за лицом Коцуры и смотрели на него снизу.

Беленький мальчик Пушкарев, богомольный и верующий, побледнел, как стенка; один здоровяк Хижняков бравадно усмехался через силу.

— Ум мой метнулся из стороны в сторону, ища выхода из безвыходности. Тогда на мгновение мелькнула у меня мысль...

Пушкарев встал, весь дрожа, близкий к припадку.

— Хорошо, нет воли, но есть ли разум?.. Если есть, то все творение разумно и исчезновение человеческого духа невозможно, потому что нелепо и неразумно. Боже, сказал я себе, но ведь и мой разум, моя мысль тоже не имеет измерения, а она существует! Так почему не существовать вместе с нею и верховному разуму, или вместе с верховным разумом почему не существовать и моей мысли!

— Ну? — протянул Пушкарев, весь вытягиваясь к лицу Коцуры.

Все напряженно вздохнули.

— Почему?.. Но тут я вспомнил, что мысль — не есть сущность вне измерений... Мысль есть сущность одного измерения!.. Ей необходимо время, продолжительность, длина!..

Коцура выпрямился во весь рост, окинул всех мертвенно-неподвижным взглядом и глухо, но твердо произнес:

— Итак, если мысль есть сущность одного измерения, а Бог вне измеряемости, то, следовательно, наша мысль не может войти в Его сферу невидимости, неосвязаемости, неосязаемости и неслышимости, а так как наглядно, после смерти человека, она становится таковою, то значит, она просто уничтожается, и загробной жизни нет, не может быть!..

Коцура согнулся и стал собирать свои заметки. Воцарилось глубокое молчание. Все казались подавлены и действительно ощущали холодок в сердце и тяжесть в мозгу. В этом гнетущем настроении какого-то надлома молча стали расходиться.

На дворе была зима и лунная ночь. Снег сверкал голубою морозною пылью. Было поздно, и дома стояли, черные с одной стороны, белые с другой, мертвыми громадами. Негорящие фонари холодно блестя стеклами и бросали через белую дорогу резкие черные тени. Звезды недосыгаемо далеко сверкали вверху, над белыми нитями намерзших телефонных проволок.

— Холодище какой! — нерешительно сказал Большаков засовывая руки в рукава и поглядывая на Коцуру, методично шагавшего впереди.

Пушкарев поднял к звездам блестящие на белом лице глаза и мечтательно сказал:

— А ведь и в самом деле... Это понятно... Слепая сила, и только...

Все опять посмотрели на Коцуру выжидательно. Альбов исподтишка подставил ногу Большакову.

— Черт, в ухо дам! — вскрикнул тот, и, опять посмотрев на Коцуру, добавил: — Я никогда не верил...

— Какая тут вера, — важно произнес Альбов, — если бы была какая-нибудь разумная сила... Ах ты, дьявол! — заорал он, получив щелчок в ухо, и бросился за Большаковым, побежавшим через дорогу.

Молодой звонкий крик повис в воздухе. Пушкарев подставил ногу Альбову, но его самого толкнул в спину Иванов, и Пушкарев растянулся, набрав снега в рукава. Большаков и Альбов боролись посреди улицы, и их тени тоже ожесточенно боролись на голубом снегу.

Коцура остановился и, презрительно вытянув свое мертвое лицо, открыл рот, но в эту минуту Иванов пригнулся, снежок пролетел у него через голову, и белая, мягкая звезда неожиданно залепила всю физиономию Коцуры.

Коцура охнул и, неожиданно придя весь в движение, стремительно бросился в атаку, кто-то подставил и ему ногу, но получил затрещину, и через минуту посреди улицы копошилась кучка, над которой звенели бесшабашно-радостные, запыхавшиеся голоса.

Над обмерзшими телефонными проволоками совершенно безмятежно сверкали звезды.

Смех

За окном расстилались поля. Рыжие, зеленые и черные полосы тянулись одна рядом с другой, уходили вдаль и сливались там в тонкое кружевное марево. Было так много света, воздуха и безбрежной пустоты, что становилось тесно в своем собственном узком, маленьком и тяжелом теле.

Доктор стоял у окна, смотрел на поля и думал: «Ведь вот...»

Смотрел на птиц, которые быстро и легко уносились вдаль, и думал: «Летят!..»

Но на птиц ему было легче смотреть, чем на поля. Он сумрачно наблюдал, как они уменьшались и таяли в голубом просторе, и утешал себя: «Не улетите... не здесь, так в другом месте... все равно сдохнете!..»

А радостно зеленеющие поля наводили на него уже полную тоску, томительную и безнадежную. Он знал, что это уж вечно.

«Все это необыкновенно старо! — сердито перебивал он свои мысли. — Это еще когда сказано: „И пусть у гробового входа... красною вечною сиять... равнодушная природа...“ Это уже даже пошло!.. Даже глупо думать об этом! Я всегда считал себя гораздо умнее и... впрочем, все это пустяки... Да... это совершенно все равно, что бы я ни думал... все равно: не в том дело, что я по этому поводу подумал».

Страдальчески морщась и подергивая головой, доктор отошел от окна и стал тупо смотреть на белую стену.

В голове его, совершенно помимо его воли и сознания, рождались, всплывали, как пузырьки воздуха в мутной воде, лопались и расплывались быстро одна за другой те самые мысли, которые в последнее время стали обычными для него. Именно в последнее время, после того, как в день своего рождения он вдруг понял, что ему уже шестьдесят пять лет, и что теперь уже наверное он скоро умрет. То нездоровье, которое он чувствовал перед тем целых две недели, еще больше напомнило ему о неизбежной необходимости пережить ту минуту, о которой он и раньше без замирания сердца не мог думать.

«А ведь будет, будет... одна эта сотая секунды, когда настанет самый перелом!.. По эту сторону секунды — жизнь, я, а по ту — уже ничего... так-таки совершенно ничего?.. Не может быть!.. Тут какая-нибудь ошибка!.. Ведь это „чересчур“ ужасно...»

А теперь он уж совершенно ясно понял, что никакой ошибки нет, что вот-вот и начнется это.

И каждый раз, когда у него заболела голова, грудь или желудок, когда ноги или руки были слабее обычного, ему приходило в голову, что именно теперь он начинает умирать. И эта мысль была очень проста, совершенно вероятна и потому нестерпимо ужасна.

Но самое мучительное началось тогда, когда он, вообще мало и невнимательно читавший, прочел в одной книге ту мысль, что как ни велико разнообразие в природе, а все-таки рано

или поздно комбинация должна повториться и создать такое же существо и даже то самое положение дел. В первую минуту ему даже стало как будто легче, но уже в следующее мгновение он пришел в бешенство.

«Ну да... комбинация... ничто не ново под солнцем... так... я очень хорошо знаю, что позади меня такая же вечность, как и впереди; значит, я сам теперь — только повторная комбинация... А ведь я ровно ничего не помню о первой комбинации... и выходит, что дело не во мне, а в комбинации!.. Как же это?.. Ведь я чувствую, как неизмеримо важно то, что я живу, как это мучительно и прекрасно... ведь все, что я вижу, слышу, нюхаю даже, существует для меня только потому, что я вижу, слышу, нюхаю... потому что у меня есть глаза, уши, нос... Значит, я — громаден, я помещаю в себе все и сверх того еще страдаю!.. И вдруг комбинация!.. О, черт!.. Какое мне дело до комбинации, быть только повторяющейся, с известным промежутком времени, комбинацией!..»

И доктор чувствовал страшную, неутолимую ненависть к тому воображаемому человеку, который там, когда-то, будет таким, как он.

«А ведь это так и будет: повторяются же мысли человеческие, и как еще часто повторяются... повторится, значит, и человек... а-а-а! Даже мои мысли, мои страдания вовсе неважны и не нужны никуда, потому что то же самое с одинаковым успехом передумают и перечувствуют еще миллионы всяких комбинаций... О-очень приятно, черт бы вас драл!..»

И состояние доктора ухудшалось день ото дня и, доходя по ночам до галлюцинаций, стало уже сплошным кошмаром страдания. Снилось ему только его смерть, похороны, внутренность могилы; иногда, для разнообразия снилось, что он погребен заживо, снились еще почему-то черти, в которых он твердо не верил. Днем он уже постоянно думал на одну и ту же тему: «Организм разрушается...»

Он замечал это в том, что ему тяжело взойти на лестницу больницы, что ему приходится иногда кряхтеть, вставая или нагибаясь. От дум у него началась бессонница, а бессонница, как ему казалось, была предсмертным явлением.

Как раз прошлую ночь он вовсе не спал, и оттого у него в голове было точно тяжелое и угарное похмелье. Те мысли, которые прошли в эти часы бесцельного лежания в нагретой липкой постели, под крик и смех сумасшедших в буйной палате, были так омерзительно страшны, что доктор даже юлил и обманывал самого себя, стараясь думать, что ничего не помнит.

Но это ему не удавалось: то одна, то другая мысль всплывала и, казалось, очень отчетливо отпечатывалась на белой стене. В конце концов, он-таки вспомнил то, чего больше всего старался не вспоминать: как художественно ясно представился ему процесс разложения, та слизь и гниль, которая получится из него, представились толстые, ленивые, белые черви, распухшие от его гноя... Он всегда боялся червей. А они будут ползать во рту, в глазах, в носу и везде...

— Конечно, я не буду тогда ничего чувствовать! — сердито закричал доктор, громко, на всю комнату. Голос у него был пронзительный.

Фельдшер отворил дверь, посмотрел и затворил.

«Бывает так вот: лечит, лечит, да и сам того!..» — подумал он, и с большим удовольствием, потому что ему было страшно скучно, пошел сказать другому фельдшеру, что старший, кажется, «того».

Когда он затворял дверь, она пискливо скрипнула. Доктор посмотрел через очки.

— Гм... в чем дело? — спросил он сердито.

Но оттого, что дверь молчала, он с раздражением подошел к ней, отворил и пошел по коридору и по лестнице вниз, в ту палату, куда только вчера вечером посадили нового пациента.

К нему и давно надо было сходить, но теперь он пошел вовсе не по обязанности, а потому, что оставаться одному было уже совсем скверно.

Сумасшедший, в желтом халате и колпаке, хотя ему можно было оставаться и в своем платье, сидел на кровати и самым рассудительным образом сморкался в носовой платок. Доктор вошел очень осторожно, даже как будто недоверчиво, но сумасшедший посмотрел на него весело и дружелюбно.

— А, здравствуйте! — сказал он. — Вы, кажется, старший врач?

— Здравствуйте, — ответил доктор, — я старший врач.

— Очень приятно... Садитесь, пожалуйста, — любезно пригласил сумасшедший.

Доктор присел на стул, подумал, посмотрел на голые выкрашенные серой краской стены, потом на халат сумасшедшего и сказал:

— Как ваше здоровье? Спали?..

— Спал, — охотно ответил сумасшедший, — почему бы мне и не спать? Спать следует... Я всегда очень хорошо сплю.

Доктор опять подумал.

— Да... Но, знаете, новое место... Кричат тоже у нас тут...

— Кричат? Я не слышал... Я, к счастью, доктор, очень плохо слышу...

Он засмеялся.

— Бывает, что и не слышать — счастье... Доктор машинально ответил:

— Бывает...

Сумасшедший почесал переносицу.

— Вы, доктор, курите? — спросил он.

— Нет.

— Жаль, а то бы я попросил папиросочку...

— Вам курить нельзя... знаете...

— Ах, да... я все забываю... не привык еще... — опять улыбнулся сумасшедший.

Они помолчали.

Окно было с решеткой, и довольно густой, но все-таки свет так и лился в комнату, и оттого было вовсе не мрачно, как всегда в больницах, а очень даже радостно и уютно.

— Прекрасная комната! — благосклонно сказал доктор.

— Да, очень веселенькая комнатка... Я даже не ожидал... Я, знаете, никогда раньше в сумасшедшем доме не бывал и представлял его себе гораздо... совсем не таким... а тут ничего... И если недолго, то я даже... ничего... А?

Сумасшедший искательно заглянул снизу в глаза доктора, но увидел только непроницаемо-синие стекла очков и торопливо прибавил:

— Ну да... да... Я понимаю... об этом спрашивать... Только знаете, что я вам скажу, доктор?
— вдруг оживляясь, спросил он.

— А? Что? Это интересно, — машинально проговорил доктор.

— Как только я выйду из больницы, я первым делом все ребра переломая тем своим благоприятелям, которые меня сюда пристроили... — с веселой злобой сказал сумасшедший, и его довольно безобразное лицо, все в веснушках, перекопилось.

— Ну зачем же?... — вяло возразил доктор.

— А затем, что дураки!.. Ведь это же черт знает что такое!.. Какого черта они полезли не в свое дело!.. Оно, конечно, все равно, а все-таки на свободе не в пример веселее...

— Мало ли чего... — вдруг сердито сказал доктор.

— Да ведь я ровно ничего дурного не делал! — робко возразил сумасшедший.

— Ну... — неопределенно начал доктор.

— И не сделал бы! — поспешно перебил сумасшедший. — Скажите, пожалуйста, с какой бы стати я стал делать зло кому бы то ни было? Если бы я был дикарь или хоть Тит Титыч какой-нибудь, а то я, ей-богу, всегда был достаточно интеллигентным для того, чтобы не ощущать никакого удовольствия ни от кражи, ни от всего такого!..

— Больной человек... — начал доктор.

Сумасшедший скривился и тряхнул головой с досадой и скукой.

— А, Господи!.. Больной!.. Я, конечно, не стану вас уверять, что я здоров: все равно не поверите... Но только, какой же я, к черту, больной?..

— Но вы и нездоровы, — осторожно, но внушительно ответил доктор.

— Чем? — порывисто спросил сумасшедший. — У меня ничего не болит, и я сравнительно даже в хорошем расположении духа, что для меня всегда было редкостью... Ах, доктор, доктор... Ха!.. Как раз тогда меня посадили в сумасшедший дом, когда я открыл эту штуку... Хаарошую штуку, доктор!

— А... это любопытно, — поднимая брови, заметил доктор, и его острое лицо напомнило морду заинтересованной собаки.

— Еще бы...

Сумасшедший вдруг засмеялся, встал, отошел к окну и долго молча смотрел прямо навстречу солнцу. Доктор тоже молча смотрел ему в спину. Грязно-желтый халат от солнца обрисовался золотой каймой.

— Я вам сейчас это скажу, — заговорил опять сумасшедший, поворачиваясь и подходя.

И лицо у него было уже совершенно серьезное и даже как будто грустное, но от этого оно

только стало приятнее.

— Вам очень не идет смеяться, — почему-то сказал доктор.

— Разве? — заинтересовался сумасшедший. — Да я и сам это замечал... и многие мне это говорили... Да я и не люблю смеяться...

Он засмеялся. Смех у него был сухой, деревянный.

— И смеюсь, доктор, смеюсь очень часто... Но я сам хотел не об этом... Видите, с тех пор, как я себя помню мыслящим человеком, я постоянно думал о смерти... и очень упорно...

— Ага! — громко сказал доктор и снял очки.

Глаза у него оказались большие и такие красивые, что сумасшедший невольно замолчал.

— А вам так вот очки не идут! — сказал он.

— Э... нет... это пустяки... а вот вы об этом... думали, значит, очень много о смерти? — заторопился доктор. — Это очень любопытно...

— Да, знаете... Я не могу вам, конечно, передать всего того, что я перечувствовал... а только очень нехорошо было!.. Я, бывало, по ночам плакал, как маленький мальчик, от страха... Все представлял себе, как это будет... как я умру, как сгнию, и как, в конце концов, меня совсем не будет... Так-таки вовсе и не будет! Это очень трудно, почти невозможно представить себе... а все-таки... так и будет.

Доктор скомкал в руке бороду и промолчал.

— Ну это еще ничего... то есть, не то, что «ничего», а даже очень скверно, печально, омерзительно, но... самое скверное в том, что я-то умру, а все останется, останутся даже результаты моей жизни... ибо, как бы ни был человек мал, но есть какие-то результаты его жизни!.. Да, так вот... я, предположим, очень и очень страдал, я воображал, что ужасно важно, что я был честен или подлец первой степени... и что все это пойдет, так сказать, впрок: мои страдания, мой ум, моя честность и подлость и даже моя глупость послужат для будущего, если не для чего другого, то хоть для назидания... вообще я, как оказывается, хоть и жил, и в великом страхе смерти ждал, но все это вовсе не для себя — хоть и воображаю, что для себя, — а для... черт его знает, для чего, потому что и потомки мои тоже ведь не для себя будут жить... И... знаете, доктор, попалась мне одна книжка, а в книжке той мысль, и хоть мысль была, может быть, и вовсе глупая, а меня поразила... так поразила, что я ее на память заучил.

— Это интересно, — пробормотал доктор.

— Вот она: «Природа неотразима, ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Она не знает ничего, ни добра, ни зла, она не терпит ничего абсолютного, вечного, ничего неизменного. Человек — ее дитя... но она мать не только человека, и у нее нет предпочтения: все, что она создает, она создает за счет другого, одно разрушает, чтобы создать другое, и ей все равно...»

— Так, — грустно заметил доктор, но сейчас же спохватился и, надевая очки, строго прибавил: — Ну и что же из этого?..

Сумасшедший засмеялся, смеялся долго и довольно сердито, а когда перестал, то возразил:

— Да ничего, так-таки и ничего... Вы видите, какая это глупая мысль, глупая до того, что в ней вовсе нет мысли... Так — фактик есть, а мысли нет... а факт без мысли — одна глупость...

Мысль вывел я сам... Я решил, что дело далеко не так по идее, если можно так выразиться — природа вовсе не не терпит ничего абсолютно вечного... напротив: у нее все — вечно, вечно до приторности, до однообразия и надоедливости; но только вечны у нее не факты, а идеи... самая суть существования... не дерево, а пейзаж, не человек, а человечество, не влюбленный, а любовь, не гений и злодей, а гениальность и злодейство... Понимаете вы меня?

— По... понимаю, — с усилием ответил доктор.

— Мы вот с вами сидим и мучимся мыслью о смерти... природе до нас — ни самомалейшего дела: мы благополучно, ни на какие рассуждения невзирая, помрем, и нас, — как не бывало... очень просто... но мучения наши вечны, вечна их идея. Соломон № 1-й, который жил Бог знает когда, ужасно мучился мыслью о смерти, Соломон № 2-й, который будет жить Бог знает когда, тоже будет ужасно страдать по той же причине... Я в первый раз поцелуюсь с невыразимым наслаждением, а когда у меня уже появится вечная костяная улыбочка, сладость первого поцелуя переживет еще миллион миллионов и больше влюбленных... совершенно с тем же чувством... Но я, кажется, повторяюсь?..

— Да-а...

— Да... ну... так вот: во всей этой пакостной мыслишке одно только заключение, — поскольку это касается не идеи, а факта, нас с вами, значит — это то, что природе «все равно». Понимаете, мы ей не нужны, «идею нас» она возьмет, а что касается нас лично, то ей в высшей степени наплевать... И это, извольте видеть, после всей той муки, которую я пережил... Ах ты стерва!.. Ей — все равно!.. Так мне-то не все равно!.. Плевать мне на то, что ей все равно!.. Совсем не все равно!

Сумасшедший завизжал так громко, так пронзительно, что доктор укоризненно, хотя и совершенно машинально, заметил:

— Ну вот... сейчас и видно...

— Что я сумасшедший?.. Это еще вопрос... да-с, вопрос... вопросик! Я, конечно, пришел в телячье возбуждение... я закричал... и все такое... но ведь удивительного в этом ничего нет: наоборот — удивительно, что люди, постоянно думая о смерти, боясь ее до умопомрачения, единственно на страхе смерти основав всю свою культуру, так прилично относятся к этому вопросу... поговорят чинно, погрустят меланхолично, иной раз всплакнут в носовой платочек и промолчат, займутся каждый своим делом, отнюдь не нарушая общественной тишины... а я... я думаю, что это они — сумасшедшие или просто дураки, если могут перед такой штукой еще приличия соблюдать!..

Доктор очень хорошо вспомнил, как ему хотелось иногда, с несвойственным его летам и солидности ожесточением, начать биться головой о стену или кусать подушку или рвать на себе волосы.

— Этим ничему не поможешь, — угрюмо заметил он. Сумасшедший помолчал.

— Ну да... но ведь, когда больно, хочется кричать, и когда кричишь, то будто легче...

— Да?

— Да...

— Гм... ну пусть...

— Да и все-таки самому перед собой не так стыдно: все-таки я, мол, хоть на то употребил свою свободную душу, эту самую, чтобы кричать караул!.. Не шел, как болван, на убой... и не

обманывал себя теми благоглупостями, которыми принято себя утешать в сей беде... Удивительное дело! Человек по натуре лакей... ведь природа... она уж действительно вечна, ей есть смысл думать не о факте, а об его идее, но человек — сам конечнее всякого факта, — туда же пыжится; старается представиться, что и он чрезвычайно дорожит тоже не фактом, а идеей... Можно ведь у нас во всю жизнь ни одного ласкового слова никому не сказать, а людей, человечество любить, и это будет очень великолепно, очень добродетельно в самом лучшем смысле слова... Так и видно: притворяются людишки, хихикают перед своим всемогущим барином, который их, как баранчиков, хлоп-хлоп! — и все у них где-то в глубине души сидит этакая надеждишка, махонькая, с воробьиный носочек, даже меньше, совсем меньше, потому что знает же, уверен всякий из нас, что «оставь надежду навсегда»... сидит эта лакейская надеждишка: ну авось, авось... ну может... ну как-нибудь... и того!.. Слово «помилует» уж и вовсе не произносится, потому уж слишком очевидно...

— Ну и что же, наконец? — с тоской спросил доктор и потер руки, точно ему стало очень холодно.

— И, наконец, то, что возненавидел я эту самую природу горше горького!.. Дни и ночи думал: да найдется же и на тебя какая управа, будь ты проклята!.. И видите, доктор, я довольно еще равнодушно отнесся к природе вне земли, которая... Ибо ведь ни черта в ней я не понимаю... То есть, не то что не понимаю, но чувствовать не могу... Что такое для меня звезда, например? Тьфу, и больше ничего!.. Она сама по себе, я — сам по себе... слишком дальнее, должно быть, расстояние... А вот земная природа, та самая, которой нужно зачем-то лущить нас, как орешки, смакуя нашу идею, то есть идею нас... Все, бывало, думаю: как же так... какое имеет право кто бы то ни был мучить меня, потом другого, а потом миллионного и так далее до бесконечности? Почему-то больше всего меня сладость первого поцелуя угнетала: я, мол, поцеловал раз, один только маленький разик, и уже — тю-тю... а первый поцелуй со всей своей прелестью так и останется, будет вечен, вечно юн и прекрасен... да и все остальное... Ведь обидно же... высшая это обида, такая обида, что хуже и нет!..

Доктор растерянно смотрел на него.

— Но комбинация может повториться, — совсем уже глупо пробормотал он.

— Начхать мне на эту комбинацию! — заорал сумасшедший в положительной злобе.

И крик его был такой громкий, что после него они долго молчали.

— Как вы думаете, доктор, — опять начал сумасшедший тихо и вдумчиво, — если бы вам вдруг доказали, что земля наша умирает... так-таки и умирает со всеми своими потрохами, и не дальше, как этак через триста лет... «унд ганц акkurat»... фью!.. Нам-то, современникам, до этого, конечно же, не дожить... а не ощутили бы вы все-таки некоторой грусти?..

Доктор еще не успел сообразить, как сумасшедший заторопился.

— Очень многие, те, в коих холопство мысли уже в кровь въелось, которые — как бывлые старые дворовые, уж не могли даже отделить своих интересов от интересов засекавшего их барина — не могут чувствовать самих себя, очень многие скажут, что ощутили бы... и, пожалуй, и вправду... Ну, а я... я бы так, доктор, обрадовался! — с каким-то упоением сдавленно проговорил сумасшедший. — Так обрадовался!.. Ах, ты... подохнешь... значит, не будешь тешиться вечно моей мукой, проклятой этой самой «идеей меня»! Конечно, строго говоря, это никому ничего не докажет... а все-таки... чувство мести хоть удовлетворится... ирония исчезнет... понимаете... вечность эта, коей во мне нет!

— Как же, — вдруг несколько запоздало ответил доктор, — я понимаю.

И он как-то залпом продекламировал:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять...

Сумасшедший быстро остановился и слушал молча с тупыми глазами, а потом залился смехом.

— Вот, вот, вот, вот, вот, вот!.. — как перепел, закричал он. — Не будет этого, не будет этой вечной красоты!.. И знаете, доктор, я... я по профессии инженер, но очень долго занимался астрономией — это в моде, чтобы заниматься не тем, к чему готовился всю жизнь... и вот, когда я уже совсем измучился... совершенно случайно я наткнулся на одну ошибку.

Я, знаете, занялся солнечными пятнами, я изучал их гораздо подробнее, чем на них останавливались до меня другие, и вот я...

В это время солнце зашло за стену противоположного здания, и в комнате сразу померкло. И все предметы как будто отяжелели и прилипли к полу. Сумасшедший стал на вид коренастее и грубее.

— Ну вот... в известной теории прогрессивной увеличиваемости солнечных пятен, по которой солнце должно потухнуть без малого в четыреста миллионов лет, я открыл ошибку... Четыреста миллионов лет!.. Вы можете, доктор, представить себе четыреста миллионов лет?

— Н... не могу, — проговорил доктор, вставая.

— И я не могу, — засмеялся сумасшедший, — и никто этого не может, потому что четыреста миллионов лет — это уже вечность... тогда следует просто предпочесть вечность, как понятие более общее, а оттого и более ясное. С четырьмястами миллионами лет все остается, как в вечности: и равнодушная природа, и вечная красота... Четыреста миллионов лет — это насмешка... И я, знаете, открыл, что никаких четырехсот миллионов лет не будет!

— Как не будет? — почти вскрикнул доктор.

— Да так... они рассчитывали, и очень наивно даже, что раз в такое-то время солнце потухло на столько-то, то... и тут шла простая арифметика. А между тем, известно, что охлаждающийся металл или иное тело держится долго в раскаленном виде только именно до появления первых просветов охлажденности... ибо тут взаимонагреваемость... а уж раз появилось пятно, этакое темненькое пятно на сверкающей самодовольной роже, то уж тут... равновесие нарушено, пятно не только не поддерживает общую теплоту, а даже совсем напротив: холодит... холодит-с, милое пятно!.. Холодит и растет, и чем больше растет, тем больше и холодит... с увеличивающейся в чудовищной прогрессии скоростью. Я думаю, что когда останется этак, примерно, четверть солнца, со всех сторон сжатого темными пятнами, одним громадным пятном, то оно потухнет уже в какой-нибудь год...два... И я принялся за вычисления, я делал сплавы, однородные химически солнцу... и, знаете, милый доктор, что я получил?

— А? — странно отозвался доктор.

— Да то, что земля погибнет от холода... при холоде какая уж красота!.. Не скоро, очень не скоро, приблизительно так через пять-шесть тысяч лет...

— Что-о! — вскинулся доктор.

— Через пять-шесть, не больше. Доктор молчал.

— И когда я это узнал, тут-то я и начал всем рассказывать и хохотать...

— Хохотать? — спросил доктор.

— Ну да... веселиться вообще.

— Веселиться?

— Радоваться даже. А! Думаю...

— А-хи-хи-хи!.. А-хи-хи-хи! — вдруг прыснул доктор. — Хи-хи-хи!..

Сумасшедший недоверчиво замолчал, но доктор уже не обращал на него никакого внимания, он захлебывался, приседал, плевал и сморкался, очки у него спали, фалдочки черного сюртука тряслись, как в лихорадке, а лицо все сморщилось, точь-в-точь, как резиновый «умирающий черт».

— Через... пять тысяч... лет?... Хи-хи-хи!.. Это прекрасно... это о-очень хо...рошо... А-хи-хи-хи!.. Так, так... это мило!.. А-хи-хи-хи!

Сумасшедший, глядя на него, тоже начал смеяться, сначала тихо, а потом все громче и громче...

И так они стояли друг против друга, трясясь от злобно радостного смеха, пока на них обоих не надели смирительных рубашек.

Из подвала

!

Сапожник Антон стоял, сгорбившись и опустив длинные корявые, как корни, руки, а заказчик, молодой купеческий приказчик, сытый и гладкий, тоже стоял посреди подвала, среди обрезков кожи, колодок и рваных сапог, ожесточенно размахивал руками и кричал на Антона:

— Это черт знает что такое!.. Левый сапог жмет, а правый хлябает! Разве это сапоги... это черт знает что, а не сапоги!..

Он тыкал сапогами, подошвами вверх, чуть не в самое лицо Антона, и в его неестественно напряженном голосе ясно слышалось желание повеличаться и покуражиться.

— Нет... вот походишь ты у меня за деньгами... Ты... — крикнул приказчик, нелепо взмахнув руками, и нерешительно, но с злобным удовольствием прибавил: — Скотина!

И от удовольствия и боязни весь налился кровью, так что толстая короткая шея его совсем слилась с красным галстуком.

Антон молча переложил шило из правой руки в левую и тяжело вздохнул.

В подвале было совсем темно, и воздух, густой и тяжелый, висел синим пологом. Под

потолком и по углам стоял сырой, пропитанный запахом кожи, ворвани и ваксы пар. Фигура Антона только черным восторженным силуэтом вырисовывалась на светлом четырехугольнике окна.

— Так и знай! — крикнул заказчик и сердито, но довольно пыхтя, пошел из подвала, осторожно нагибая голову, чтобы не стукнуться о притолоку новеньким твердым котелком.

Антон проводил его до дверей, отворил дверь и даже попридержал ее, пока приказчик подымался по склизкой и крутой лесенке. Потом еще тяжелее вздохнул и вернулся вниз.

Хотя на дворе было еще совсем светло, но в подвале все утонуло в сизом полумраке, так что только возле окна виден был тощий горшок с давним, еще прежними хозяевами посаженным луком, который торчал одной чахлой и сухой соломинкой. Антон часто внимательно смотрел на это жалкое, бледное растение, умиравшее медленной смертью от недостатка воздуха и солнца, и почему-то жалел выбросить его на двор.

Антон стал заправлять лампочку, неловко чиркая тоненькими спичками и все тяжело вздыхая.

Вздыхал он не о том, что его только что обругали и тыкали в лицо сапогами. И то и другое было так привычно ему, что вряд ли он помнил это подробно. Все заказчики на всякие лады ругали его, швыряли сапоги, иногда и били, а чаще не платили денег. Все это были люди маленькие, до такой степени зависимые, забитые и скучные, что у них была органическая потребность хотя изредка, в свою очередь, на кого-нибудь покричать, над кем-нибудь покуражиться, почувствовать себя выше хоть кого-нибудь. И сам Антон сделал бы то же самое, если бы и от него кто-либо зависел так, как он ото всех. А потому, хотя и бессознательно, Антон чувствовал, что иначе и быть не может, и все должны ругаться, куражиться и драться, чтобы маленькая звериная злоба, сидящая в трусливой глубине чахлах душонок, не задушила их самих. Но виноватым Антон себя никогда не считал: он делал то, что умел, и так, как умел, — шил сапоги не лучше и не хуже никого, не столько по мерке, сколько по заученному фасону. Он даже не подозревал, что можно совершенствоваться в своей работе, потому что это было грязное, голодное, тяжелое и однообразно-скучное ремесло, постылое и нудное. Вздыхал же он оттого, что вечная жизнь в сыром и низком подвале, в запахе кожи и ваксы, впроголодь, без любви, света и радости, давила его организм к земле, и всегда, когда он разгибал спину, ноющую от согнутого положения, ему казалось, что он с болезненным надрывчатым усилием подымает какую-то страшную, неодолимую, не дающую вздохнуть тяжесть.

— Н-ну... — выпускал тогда Антон.

Еще целый час, после ухода сердитого приказчика, он сидел, согнувшись в три погибели у еле коптящей лампочки, пугливо мигавшей от стука его молотка, и пригонял подборы к толстым и тяжелым сапогам соседнего дворника. А потом встал, оставил где попало инструменты, закрутил лампочку и вышел посидеть на лесенку, захватив с собой гармонию.

Теперь и на дворе были совсем сумерки, высоко вверху синие и призрачные, внизу на земле — черные и темные. Стены дома, стоявшие как колодезь, в котором был погребен Антон, казались бледными и синеватыми, точно мертвыми; над ними, где-то очень высоко вверху, виднелось потемневшее небо, и на нем блестели две-три звезды.

«Такое-то дело», — подумал Антон, сам не зная почему тряхнул голосок и тихо растянул гармонию, нагнувшись к ней правым ухом.

Раздался пискливый и совсем слабый звук, но Антону показалось так громко, что он оглянулся вокруг и прислушался. Потом собрал гармонию и пустил звук еще глуше и ниже. Так он начинал всегда, потому что ему не позволяли играть во дворе, и Антон этими

осторожными звуками хотел узнать, дома ли старший дворник.

И, как всегда почти, в отворенную форточку дворницкой выглянул кто-то, смутно видный в темноте, и из черного четырехугольника послышался сиплый и равнодушно свирепый голос:

— Опять... ты!

Антон вздрогнул, проворно отложил гармонию и виновато приподнял картуз. Но дворник не видел его и, проворчав что-то, точно прорычала большая собака, скрылся в форточке. Антон опустил руки между ногами и, ковыряя дыру в сапоге, задумался. Ему очень хотелось играть, и он думал о том, что хорошо было бы как-нибудь в воскресенье пойти на целый день за город, сесть где-нибудь под зеленым откосом железной дороги и поиграть всласть, так, чтобы в ушах запело. Ему было приятно думать это, хотя он прекрасно знал, что никогда не пойдет за город, потому что никогда не выберет столько свободного времени; по праздникам он утром ходил за кожей, днем разносил работу по заказчикам, а к вечеру всегда был пьян.

Антон сидел на лесенке, пока совсем стемнело, и вверху, между стенами, звезды заблестели ярко и свободно, а по стенам, снизу доверху, разбежались желтые огни окон. Когда Антон поднимал голову кверху, казалось светло и ярко весело, а когда смотрел вниз, там было еще чернее и мрачнее. Антон охотно, со странным тоскливо-радостным чувством смотрел на небо и на звезды; но привычка сидеть согнувшись все тянула его книзу и заставляла тупо впиваться глазами в сизо-черный мрак двора.

От скуки и от жгучего желания напиться Антон стал припоминать жизнь, но она рисовалась ему тускло и скучно. Почему он очутился в городе, Антону было мало понятно. Из всего детства он твердо помнил только удары сапожной колодкой по голове, беганье за водкой, улицу и городских. Потом, когда Антон вырос, он ушел от хозяина и стал жить в углах и работать на себя, наклеив на окно вырезанный из старого журнала дамский ботинок. Он жил так из года в год, сильно пил, ночевал в притонах и в участках и бывал страшно бит городскими. Потом почувствовал нежность к соседней швейке, хотя она и смеялась над ним, называя его дураком и уверяя, что ему сапожной колодкой память отшибли. Тем не менее Антон перестал пить, сшил новую, жестко топорщившуюся рубаху и сходил в баню. За швейкой ходил он неотступно, не умея выразить ей то смутное, нежное и хорошее, как музыка, чувство, которое было в нем. Наконец сшил ей новые ботинки и подарил. Тогда и швейка назвала его Антоном Васильевичем и зазвала пить чай. Узнав, сколько Антон зарабатывает, она стала вздыхать, плакать, о чем-то тосковать и, наконец, через дворничиху сообщила, что ничего против Антона не имеет и даже совсем напротив. Антон восхитился всей душой, сходил к обедне, купил орехов и конфет, надел новую рубаху и собрался было к швейке, чувствуя, что серую его жизнь осветило каким-то мягким и ласковым светом, но тут пришли дворник с городским и повели его в участок. В участке Антона допросили о каком-то узле и каком-то Ваньке Свистунове, спросили, не пил ли он такого-то числа, в семь часов вечера, в портерной Иванова, что на Петербургской стороне, пиво и не заплатил ли «сим» полтинником? А затем спросили насчет вида.

Антон никакого узла не видал, Ваньки Свистунова не знал, а в портерной был. На полтинник он смотрел, как козел на воду, не понимая, в чем дело, и вид у него оказался просроченным.

В конце концов Антон очутился в остроге и, несмотря на то что ни в чем виноват не был и рвался на волю к свету и швейке, инстинктивно чувствуя что-то несправедливое и жестокое, просидел в остроге шесть месяцев. А когда вышел, то свет, затеплившийся у него в душе, был задавлен острожной грязью, и к швейке Антон не пошел, только случайно, стороной, узнал, что она спуталась с «хорошим» господином.

И в душе у него осела смутная горечь и тоска, тем глуше и тяжелее, что он не понимал ее и не знал, куда ему надо стремиться, где лучше и где хуже. Жизнь пошла еще однообразнее и

скучнее, разнообразясь только тупым машинальным пьянством, без удовольствия и веселья.

Все это Антон припоминал так безучастно, как будто все случилось не с ним, а с кем-то другим; а все-таки ему было тяжело, скучно и как будто чего-то жалко, и хотелось напиться, нахлестаться водки.

Во втором этаже открыли окно, и оттуда полосой лег через темный двор желтый яркий свет. Отчетливо виднелся нарядный тюль занавесок, и слышались взрывы оживленных голосов, а потом кто-то громко и быстро заиграл, звонко засмеялся и крепко хлопнул крышкой рояля.

Антон чутко слушал чужие яркие звуки, пока не закрыли окно и все затихло, потом машинально потрогал гармонию, повертел ее в руках, стараясь не испустить ни одного звука, и ему показалось, что стало бы легче, если бы заиграть. Было уже поздно. Антон по обыкновению тяжело вздохнул и пошел спать. Пока он лежал с открытыми глазами, он думал о том, что надо платить за кожу, и о том, как на прошлой неделе околоточный, не разобрав, в чем дело, без вины хлестнул его по зубам. Губа вспухла, и кровь пошла, пачкая посинелые десны.

Тяжелый воздух охватил его, сгустился и застыл. Антону стало сниться, что на него, пьяного, наехал извозчик и давит его к твердой мостовой тяжелыми колесами. II

На другой день было воскресенье, а к вечеру Антон сидел в трактире.

Машина играла что-то очень шумное, но совсем невеселое. Было страшно накурено, шмыгали половые, тяжело и нерадостно хохотали и кричали люди, а в бильярдной четко стучали шарами. Антон пошел туда. Играть он не умел, но ему очень нравилась эта игра, потому что сукно было такое зеленое, шары такие чистенькие, белые и стучали бойко и весело.

Играли двое приказчиков, и один из них, высокий, кудластый парень, так ловко щелкал по шарам, что Антон довольно улыбался.

«Ловкач! — думал он, с уважением и завистью глядя на приказчика, вспотевшего от форсу. — А поиграл бы и я, право... я до этих делов мастер!..»

И он чувствовал нежность к приказчику.

Но приказчик стукнул его турником в грудь, скиксовал и яростно выругался:

— Какого черта лезе...шь!.. места мало, что ли! Антон оробел и отошел, чувствуя обиду и боль в груди.

— Шляются тут, — проговорил приказчик и помелил кий.

— Отойдите, видите — мешаются... — счел своим долгом присовокупить маркер, быстро оглядев своими оловянными глазками Антона с ног до головы.

— Шушера! — проворчал он, подавая машинку игрокам. Антон сопел и краснел, отодвигаясь все больше и дальше, пока не стукнулся затылком об ящик для шаров; тогда он обмер от конфуза и застыл, испуганно и скоро мигая веками. Про него сейчас же и забыли. Игроки щелкали шарами, два мальчика мрачного вида горько укоряли друг друга каким-то двугривенным, лампа над бильярдом сумрачно коптила, а из зала слышался теперь разухабистый мотив «Гейши». Антон успокоился, стал оглядываться по сторонам и даже попросил у маркера закурить. Маркер почесался, подумал и сказал:

— На столе завсегда для этой цели спички поставлены.

Но Антону очень хотелось говорить. Ему еще со вчерашнего вечера было почему-то грустно, и водка, выпитая им, не только не прогоняла грусти, но, напротив, даже как-то давила на сердце.

— Скучно вот, знаете, что без компании, — заискивающе произнес он, закуривая папиросу, и по лицу его видно было маркеру, что он хотел и боялся предложить папиросу и ему. И именно потому маркер посмотрел на него с нескрываемым презрением, ухмыльнулся и отошел.

Антон еще скорее замигал глазами и потихоньку ушел в зал. Там он спросил еще полбутылки водки и выпил всю, а потом долго сидел, понурившись и горько глядя на соленый огурец, лежавший перед ним на блюдечке. По привычному шуму в ушах и по тому, как глухо и будто издали доносились до него все звуки, Антон очень хорошо понимал, что он уже пьян. И это было ему обидно, как будто в этом был виноват кто-то другой, постоянно его обижавший. «Рабочий я человек!» — подумал он, и ему захотелось плакать и кому-то жаловаться. Машина завела грустное-грустное, и Антон, покачивая головой и крепко прижав руку к щеке, запел что-то несуразное, без слов и без мотива. Ему казалось, что выходит очень хорошо и нестерпимо жалостно. На глазах у него показались слезы.

— Здеся петь не полагается... не извольте безобразить! — сказал половой, подскальзывая к Антону на мягких подошвах.

— П...почему? — со скорбным недоумением спросил Антон, поднимая посоловевшие, налитые слезами глаза.

— А потому, — ответил половой и внушительно прибавил: — Пожалуйте из заведения.

— Эт...то почему? — еще с большим недоумением и с глухо подымавшимся в нем раздражением повторил Антон.

— Очень безобразно... Пожалуйте, честью просят, — настойчиво твердил половой.

Антон оробел и встал.

— Ну, что ж... я пойду... Рабочему человеку нельзя посидеть... гм... очень странно, — бормотал он, отыскивая шапку, упавшую за стул.

— Ничего, ничего, пожалуйста! — твердил половой. Антон, покачиваясь, двинулся из зала, а чувство обиды все больше и больше росло в нем, причиняя его пьяному мозгу почти физическое страдание. Половой шел за ним, но Антон покачнувшись между столами, повернул и влетел в двери бильярдной. Теперь он был уже так пьян, что почти ничего не видел и не понимал; перед его глазами стояло какое-то оранжевое марево, в котором плавали и тонули лица, звуки, голоса и быстро бегающие по ярко-зеленому сукну шары. Половой задумчиво постоял у дверей, но кто-то кликнул его, и он исчез. Антон, широко расставив ноги и опустив голову, тупо присматривался к тому, что делалось на бильярде, и все усиливался понять, в чем дело, — не то на бильярде, не то в нем самом. Тот самый приказчик, который толкнул его и обругал, попался Антону на глаза, и Антон машинально долго всматривался в него.

— Дуплет в угол! — звонко прокричал приказчик, и в эту самую минуту Антон вспомнил его лицо, и беспредметное чувство озлобленной обиды, которое мучило его, вдруг нашло исход. Точно что-то бесконечно огромное в мгновение сжалось и вылилось в это тупое усталое лицо.

— По...звольте, — проговорил он неожиданно, подходя к бильярду и всем телом наваливаясь на сукно.

— Чего? — машинально спросил приказчик и, не дожидаясь ответа, оттер Антона плечом и

крикнул: — Пятнадцатого в угол направо!

— Нет, это что... направо! — со злобной бессмысленностью сказал Антон.

— Отойдите, отойдите, — протянув между ним и бильярдом машинку, говорил маркер.

Но Антон отстранил машинку рукой и, не спуская воспалившихся глаз с приказчика, продолжал:

— Нет, что же... я тоже играть желаю... Имею такое намерение, чтобы... направо!.. Разве как рабочий человек... нельзя, чтобы...

Маркер взял его за локоть.

— Нет, ты пусти... чего хватаешь?.. А он меня толкнул... рабочего человека! У меня руки че-ерные, — слезливо сказал Антон, показывая черные корявые пальцы: — рабочий человек... а он меня так... Желаю я знать, как это так, чтобы рабочего человека направо!

— Ишь мелет, пьяная рожа! — засмеялся приказчик. — Маркер, ты чего смотришь?

— Ступай, — сердито проговорил маркер и взял Антона за плечо.

И вдруг чувство обиды возросло в Антоне с бешеной силой.

— Пу...сти, — сквозь зубы крикнул он задавленным голосом и с силой вырвался, так что затрещал пиджак. — Он толкнул, а меня хватать! — совершенно трезвым тоном прокричал он и смахнул рукой шары с бильярда.

Шары со стуком полетели через борт, но Антона уже схватили за руки, сшибли с ног и поволокли по полутемному коридору.

— Пусти!.. черти! — кричал Антон.

Кто-то с размаху ударил его по скуле, и соленая кровь сразу наполнила ему рот. А голос, как показалось Антону — приказчика, торжествующе прокричал:

— Вот так... славно!

И в ту же минуту Антон увидел перед собою отворенную на темную улицу дверь, и на него пахло свежим сырым воздухом.

— Врешь... — хрипел Антон, изо всех сил цепляясь за косяки скрюченными пальцами.

Но руки оторвали, и, получив страшный, точно весь мир свернувший, удар по затылку, Антон влетел в темноту и пустоту, поскользнулся на тротуаре, треснулся коленом о тумбу и всем телом грузно покатился по мостовой.

— Берегись, черт! — тоненько, с испугом, прокричал извозчик, и Антон где-то близко от себя услышал тревожное храпение и мягкий теплый запах лошади.

Он поднялся, шатаясь и сплевывая кровь. В ушах у него звенело, в глазах ходили круги и скула трещала от ломящей тупой боли. Антон машинально потрогал мокрое колено и не мог разобрать, кровь это или вода.

— Так, — с горькой злобой сказал он громко, помолчал и прибавил — так, значит!..

И тут уже ясно и понятно увидел, что жизнь его — несчастная, горькая жизнь, что его обидели, и что обижали всегда, давно и постоянно. Антон заплакал и погрозил кулаком

запертой двери.

— Раб...бочего человека! — проговорил он сквозь слезы и пошел вдоль улицы, чувствуя себя бесконечно несчастным и обиженным. Он повернул за угол на большую улицу и вышел опять к главному входу в трактир, где стоял швейцар в шапке, горел яркий фонарь и ругались между собою извозчики. В это время из подъезда вышли два приказчика, окончив игру, и, дымя папиросами, пошли по тротуару.

Антон увидел их и сначала ошалел от страшного, еще не известного ему чувства, а потом, нащупывая в кармане сапожный нож, качаясь на ослабевших ногах, погнался за ними.

На тротуаре было много народу, — шли, смеясь, какие-то женщины, офицер толкнул Антона, двое мастеровых заступили ему дорогу, — но Антон уже ничего не видел, кроме со страшной яростью врезавшегося ему в глаза круглого черного котенка, уходившего от него по тротуару. Раз он чуть не потерял его из виду; ему не давали дороги, и Антон сбегал на мостовую, сразу обогнул две-три кучки людей и догнал приказчиков.

Они смеялись, и один, не тот, который толкнул Антона, говорил:

— Вон она... Машка!

И остановились близко к какой-то женщине в огромной красной шляпе, призрачно качавшейся в неверном свете фонарей.

— Откуда плывете? — хриплым басом спросила она, а в это время Антон догнал их и со всего размаху, упирая всем телом, ткнул приказчика ножом в спину.

Он успел почувствовать, как мгновенно прорезал толстый драп и со скрипом, дошедшим по лезвию, что-то упругое и твердое, сразу ставшее хлипким и мокрым, бросил нож и, сам еще не зная, зачем и куда, бросился бежать. Крикнул приказчик или не крикнул, Антон не слышал, но видел, как на мокрых плитах тротуара, блестящих от фонарей, на том самом месте, где только что стоял человек, очутилась какая-то черная бесформенная куча.

И ему показалось, что все, что только было во всем свете, со страшным ревом и топотом бросилось за ним.

Облившись холодным потом от ни с чем не сравнимого животного ужаса и дико выкатив глаза, Антон ударился в темный переулок и стремглав полетел вдоль улицы, не видя, что делается сзади, но слыша за собой отчаянный многоголосый крик.

Отчетливо топоча ногами и тяжело сопя, за ним бежали дворники, городской и трое мастеровых в опорках.

— Держи-и! — странно и страшно раздавалось из конца в конец темной улицы.

Хрипя от страшного бега, задыхаясь от слюны, наполнившей все горло, Антон повернул в одну и другую улицу, тяжело столкнул кого-то с дороги и, выпучив глаза, весь в поту, помчался по тротуару вдоль набережной темного и грязного канала, от черной воды которого несло холодом и сыростью.

Как раз на повороте встречный городской схватил его за рукав, но поскользнулся и загремел шашкой по мокрым камням мостовой.

Антон все летел, прыгая, скользя, хрипя, сопя и рыча, как дикое загнанное животное. Ужас придавал ему такую силу, что крики догонявших и пронзительные свистки слышались уже где-то далеко сзади, в черном, еле пронизанном слабым желтым светом фонарей мраке.

Антон перебежал мостик, перескочил в сторону через какую-то канаву, спугнув бездомную собаку, упал на руки, вскочил и выбежал в темное пустое место, поросшее черной травой, уныло рвавшейся от ветра. Тут было пусто и холодно, фонари горели где-то далеко позади и впереди, а в стороне чернелось что-то похожее на лес, и оттуда слышался долгий заунывный шум деревьев. III

Всю ночь Антон пролежал в яме, полной мокрых листьев, и вокруг него была только тихо шуршавшая трава, а над ним холодное, черное, неустанно моросившее невидимым дождем небо. Антон лежал, съезжившись от холода и чувствуя, как все его тело пронизывает и мозжит насквозь холодная вода, а в голове его обрывками и скачками неслись спутанные и бессвязные мысли. Только одна была ясна и совершенно понятна ему, что прежняя жизнь кончена, что ему уже никак нельзя очутиться снова в своем подвале за прежней работой. Сначала это было странно и страшно ему, но, еще раньше чем он догадался об этом, в душе его поднялось смутное радостное чувство.

«Конец, значит? — спросил он себя и от этой мысли даже поднялся и сел: — Фа... довольно!» — с немим торжеством, точно бахвалясь перед кем-то, всю жизнь давившим его, подумал Антон, и радость становилась все сильнее и сильнее, и чувство свободы заглушало страх и смутное недоумение перед будущим.

В поле было холодно и пусто, но дышать было легко и приятно.

Утром он, весь мокрый и всклокоченный, обошел по полю и дальним переулком вошел в город с другой стороны, где еще никогда не бывал. Оттого, что место было незнакомое, казалось, что здесь как-то светлее и свободнее. Он ходил по улицам, освещенным солнцем, и ему было страшно и радостно, что он не работает в то время, когда всегда работал, может делать что угодно и не думать о том, что надо кончать к сроку работу, платить за подвал, за кожу, за колодки. Сначала он дичился и, как всегда, уступал всем дорогу, но, оборванный и грязный, он был странен и страшен, и все невольно сторонились от него. И он заметил это, понял, что страшен, и стал переть прямо на всех, наслаждаясь неведомым раньше чувством. Целый день он прошлялся по городу, есть ходил в закусочную, а после обеда пошел в поле, долго лежал на просохшей под солнцем траве и думал.

По окраине поля и по всему горизонту торчали тоненькие красные трубы фабрик, и дым от них стоял над городом непроглядным буро-грязным заревом. В поле было тихо и светло. То, что Антон ночью принял за лес, было кладбище. Отсюда были видны маленькие, точно игрушечные, кресты и памятники, тихо белевшие в золоте пожелтевших березок.

Антон лежал животом на просохшей траве, в яме, и, выставив голову, смотрел на кладбище.

Он все старался представить себе что-то страшное, но ему было просто свободно, тихо, хорошо. Полиции он не боялся нисколько, потому что тюремная жизнь, которую он уже знал, была лучше той, более голодной, холодной, скучной и несправной, чем тюрьма, которую он жил на свободе. О том же, что он убил человека, Антон думал смутно и мало. Он был слишком туп и слеп, чтобы понять всю ночную сцену в ее истинном страшном смысле. И не было в нем раскаяния и жалости, а, напротив, — смутное, торжествующее, непривычно смелое и отчаянное чувство.

Было похоже на то, как если бы он сказал кому-то:

— А, ты так... Ну, так вот же тебе!..

И только уже к вечеру, когда по полю прошла глубокая задумчивая тень, когда потемнело золотое кладбище и белые кресты утонули, растаяли в его коричневой массе, Антону стало грустно. Он стал тяжело вздыхать и ворочаться в своей яме. Было чего-то жаль, чего-то хорошего, ясного. Антон беспокойно повернулся на спину и поглядел в далекое бездонное

небо, в котором таяла прозрачная и холодная заря. И оттуда, из бесконечного и чистого простора веяло грустью. Тогда Антон поднялся в яме, черный и мохнатый, и вылез на бугор; в поле было пусто и темно.

— Кабы что... а то... — с щемящей нотой безнадежного тоскливого чувства сказал громко Антон и махнул рукой.

Потом он пошел к городу, раскачиваясь на ходу и оглядываясь, упрямо и тяжело, скошенными глазами, точно высматривая, кому вцепиться в горло.

С широкого поля мерно и грустно дул могучий вольный ветер.

Тени утра

I

Была весна. Паша Афанасьев, гимназист восьмого класса, освобожденный от экзаменов по болезни, и гимназистка Лиза Чумакова стояли у плетня, который перегораживал два сада.

Лиза, прислонившись одним плечом к плетню, и с тем, еще детски серьезным и уже девически нежным, выражением своих серых, немного выпуклых глаз, которое появлялось у нее всегда в важных случаях жизни, — слушала и глядела вниз, на книгу, которую держала, и на оборки своего светло-серого платья. А Паша Афанасьев, с другой стороны навалившись грудью на плетень, потому что ему было трудно стоять, — высоким, надтреснутым голосом говорил:

— А если вас не пустят, так удерем сами!.. Не пропадем... как-нибудь! Я вам там уроки достану, переписку какую-нибудь. Проживете, ничего!.. А трудно будет сначала... так что ж, без этого нельзя! — беззаботно махнул рукой Паша Афанасьев. — В этом даже своя прелесть есть, право... А то что ж тут торчать?.. Там ведь жизнь какая!.. Там все движется, живет... С работы на сходку, со сходки в театр или библиотеку... вот это я понимаю, это жизнь настоящая; а то что ж это?.. Я как подумаю, что двадцать лет просидел в этой дыре проклятой, так...

Паша Афанасьев отломил от плетня гнилую серую палку и с отчаянием швырнул ее в траву.

Где-то далеко, за зелеными деревьями и кустами, разливавшими вокруг какое-то бесконечно зеленое море, насквозь пронизанное светом и тысячами удивительно отчетливых, свежих звуков, горничная Чумаковых, Василиса, звонко прокричала:

— Ба-рышня!.. Идите обедать!.. Ау!..

В этом неожиданном лесном «ау» было что-то такое бесшабашно веселое и жизнерадостное, что Лиза и Паша Афанасьев разом взглянули друг на друга и улыбнулись.

— Иду-у! — громко, так что где-то вблизи вздрогнуло маленькое, круглое эхо, крикнула Лиза, оттолкнулась плечом от плетня и, опять сделав то же наивно-серьезное выражение лица, сказала низким и полным голосом: — Может быть, и не пустят, но я поеду... — И, помолчав, прибавила: — Я уж так решила.

Паша Афанасьев восторженно щелкнул пальцами.

— Ну, вот это я называю — молодец, Лизочка!.. — радостно задрожавшим, светлым голосом сказал он. — И вы жалеть не будете, Лиза, милая!.. Они, что ж... посердятя и перестанут; а у вас вся жизнь впереди!.. Эх, заживем мы там с вами!.. Работать будем так, что только

держись!.. Время-то теперь горячее, рабочее, — люди нужны... Кружок у нас там будет свой, хороший... Будем искать людей дела! — басом прибавил Паша Афанасьев. — Мы с вами ведь еще и сами не знаем, какое счастье окунуться в самую гущу жизни... Когда идешь и чувствуешь, что тут рядом, плечо в плечо, шагают такие же люди, рабочие, сильные... смелые...

Паша Афанасьев сжал кулаки и задорно встряхнул головой. На лицо его падал свет, и темные глаза блестели восторгом и силой, и оттого ярче обозначались на этом лице бледные черты слабости и болезни. Лиза внимательно и доверчиво смотрела на него.

— А то читаешь, как люди живут, борются, свое счастье куют... иной раз дух захватывает, так, кажется, и побежал бы впереди всех, а... ты только из книжки, сидя за чаем с вареньем, и узнаешь, что есть какая-то иная жизнь, не похожая на твое куриное прозябание...

Лиза тяжело вздохнула и дернула себя за кончик косы.

— Итак, значит, по рукам? — с шутливой торжественностью спросил Паша Афанасьев, протягивая руку через плетень.

Лиза, улыбаясь, посмотрела в его юное, милое лицо, — такое мужественное и такое нежное, чуть тронутое пухом, — и подала свою руку, маленькую, с пухлой ладонью и прелесть какими хорошенькими, изящными пальчиками, которые так и хотелось медленно и осторожно перецеловать все подряд. Паша Афанасьев крепко встряхнул ее, и на глазах у него выступили светлые, беспричинные слезы.

— Ах, вы, милая моя Лизочка! — задушевно, напряженным голосом сказал он и слабо вздохнул больною грудью.

— Барышня!.. — настойчиво прокричала где-то уже совсем близко Василиса.

Лиза кивнула головой Паше Афанасьеву и пошла по дорожке, быстро и упруго ступая желтыми туфельками на обтянутых черных чулках.

— Да... — вдруг хлопнул себя по лбу Паша Афанасьев. — Лиза!..

Лиза сейчас же остановилась и оглянулась.

— Я вам и забыл сказать... Попутчица-то для вас уже есть: Дора Баршавская... Тоже на курсы едет... Она из Полтавской гимназии...

— Жидовка? — спросила Лиза издали.

— Жидовка... то есть еврейка! — огорчился Паша Афанасьев. — Как вам не стыдно, Лиза, ей-богу?.. Я думал, вы выше этого!..

Лиза внимательно и серьезно посмотрела на него.

— Я не о том... — сказала она спокойно. — Так...

— Я вас с нею сегодня познакомлю на бульваре; хорошо? — спросил Паша Афанасьев, мигом успокаиваясь. — Она очень хорошая, развитая девушка...

— Познакомьте... — сказала Лиза, кивнула головой и пошла дальше.

Паша Афанасьев задумчиво посмотрел ей вслед, держась за плетень обеими вытянутыми худыми руками и покачиваясь назад и вперед. Потом мечтательно поглядел вверх, где сквозь зеленую решетку листьев ярко голубело небо. В голове у него все еще стояло что-то

огромное, какие-то рычаги, люди, какое-то веселое и страшное движение. Паша Афанасьев закрыл глаза, провел рукою по мягким волосам и пошел домой, прямо по бурьянам, по молодой зеленой траве, сплошь пересыпанной мелкими, разноцветными глазками простых цветов.

Стол был накрыт на балконе, и Павел Иванович с Ольгой Петровной сидели за столом. Василиса подавала белую миску с зеленой ботвиньей, звеня своими бесчисленными монистами на раскачивающейся во все стороны крупной и твердой груди. Гимназистик Сережа бежал с балкона за сестрой.

— Иду, иду! — крикнула она ему и вдруг, встряхнув косой, увернулась и неожиданно пустилась бежать вокруг площадки, быстро мелькая желтыми туфельками. Сережа взвизгнул от восторга и понесся за ней. На балконе удивленно и озабоченно залаяла белая лаечка и, подняв хвост калачиком, со всех ног пустилась за ними, точно покатился какой-то пушистый белый шарик.

Павел Иванович степенно опустил газету на колени, снял очки и снисходительно улыбнулся. Ольга Петровна пролила мимо тарелки ботвинью и засмеялась.

— Ну, расшалилась... а еще невеста! — мягко и с радостной любовью сказала она.

Лиза стремглав облетела вокруг большой клумбы, налетела на лаечку, запутавшуюся в подоле ее серой юбки, и упала на дорожку, руками в чистый желтый песок. Развернувшаяся книга, сверкнув на солнце белыми листами, далеко полетела в траву.

— Ага! — оглушительно закричал Сережа и осторожно схватил ее за длинную, развившуюся косу. — Поймал!

— Я сама упала... — серьезно возразила Лиза, встала, подняла книгу и степенно пошла на крыльцо. Лаечка выжидательно вертелась у нее под ногами, то и дело становясь на задние лапки; а Сережа задира, встряхивая круглой выстриженной головой.

— Да... упала... Я бы все равно поймал!

Лиза села за стол, взяла ложку и задумалась. Все смотрели на нее. Было что-то такое радостное, милое и красивое в ее молодости, в ее небольшой упругой груди за серым, строгим платьем, в ее только что закруглившимся плечах, в свежем запахе ее волос и нежного, сильного, молодого тела, — что вокруг нее всегда и везде устанавливалась чистая атмосфера молодой радости, в которой легко дышалось и интересно, весело жилось. Ее новая, могучая жизнь, наполнявшая все ее существо, была ключом, освещала и согревала все вокруг.

Ложки слабо позвякивали о края тарелок; лаечка чихала под столом; солнце золотило волосы Лизы. Было просто, тихо и светло. II

Вечером пришел корнет Савинов, предполагаемый жених Лизы, и зазвенел на балконе шпорами, сверкая лакированными голенищами сапог и туго натянутыми рейтузами.

Было так тихо в воздухе, прозрачном и светлом от лучей уже невидимого солнца, что все звуки казались стеклянными и дрожащими, а легкое покашливание корнета гулко отдавалось в саду, между темными, сочно-зелеными деревьями.

Сережа надел фуражку и пошел на реку ловить рыбу удочкой, на которую, черт знает почему, никогда ничего не ловилось; а Лиза закрутила в толстый жгут волосы и сказала:

— Николай Николаевич, мы пойдем на бульвар.

Корнет радостно звякнул шпорами и, отчетливо шагая лакированными сапогами, принес ей с балкона накидку.

Они пошли под руку, и в тех напряженно-осторожных движениях, с которыми корнет нес маленькую, круглую ручку, доверчиво лежавшую на белом рукаве его кителя, было видно, что все его существо, плотно затянутое в рейтузы и китель, так же напряжено в одно бесконечно благоговейное чувство любви, восторга и робкого, почти целомудренного, желания.

На дворе они встретили мамку квартирантов с маленьким ребенком на руках. Ребенок тарачил глупые, водянистые глазки и тянулся к Лизе.

Лиза бросила корнета и взяла ребенка на руки. Она высоко подкинула ребенка вверх, потом прижала щечкой к своей щеке и посмотрела на корнета.

— Гм!.. — хмыкнул ребенок и счастливо засмеялся, размахивая короткими обрубками-ручонками и пуская пузыри.

Лиза вдруг сконфузилась, отдала ребенка и чинно пошла вперед. На лице у корнета было написано такое счастье, что оно стало блаженным.

На бульваре их встретил Паша Афанасьев, гулявший с маленькой, сухонькой барышней, у которой была большая голова с сухими черными волосами, еврейские миндалевидные глаза и мелкие, торопливые движения.

— А, вот и вы, Лиза! — громко сказал Паша Афанасьев, и не сразу, сухо прибавил корнету, которого, как и всех военных, не любил и считал глупым, пустым человеком:

— Здравствуйте, господин Савинов!

— Здравствуйте!.. — дружелюбно ответил корнет. Паша Афанасьев немедленно отвернулся от него и сказал Лизе и маленькой еврейке:

— Ну вот познакомьтесь: это Дора Моисеевна Баршавская, а это Лиза Чумакова, о которой я вам говорил...

Лиза протянула руку, и Дора крепко и отрывисто встряхнула ее своей узкой и сухой рукой.

— Очень рада с вами познакомиться... Паша мне много о вас рассказывал.

В конце бульвара был военный клуб, и в его саду играла музыка. Звонкие металлические звуки труб далеко разносились по бульвару, гоня друг за другом в каком-то неопределенном мотиве, не то очень грустном, не то очень игривом.

Девушки пошли рядом впереди, а корнет и Паша Афанасьев тоже рядом, сзади.

— Трам... та-та... трам... та-та... там! — тихо и с удовольствием повторял за мотивом корнет.

— Терпеть не могу военной музыки! — сказал Паша Афанасьев, брезгливо морщась, не потому, что ему действительно были неприятны звуки труб, — в таком прозрачном воздухе все звуки были чисты и приятны, — а потому, что корнет казался ему пошлым и раздражал его.

— Разве? — спросил корнет дружелюбно и высоко поднял брови.

— Представьте себе! — с иронией ответил Паша Афанасьев. — И звуки какие-то пошлые, и мотивы ваши капельмейстеры выбирают какие-то... черт их знает!.. Скажите, пожалуйста,

ведь есть же хорошая музыка!.. А впрочем, у них в каждом звуке слышится, что до музыки собственно никому нет никакого дела, а просто надо увеселять обывателей, — ну и увеселяют...

— Что ж, — уступчиво возразил корнет, — все-таки приятно, знаете, в такой чудный вечер послушать хорошенький мотивчик.

Паша Афанасьев посмотрел на него с уничтожающим презрением и закусил себе губу.

— Вот, — с удовольствием прислушиваясь, сказал корнет, — оч-чень хорошо... Это из «Гейши»... — с еще большим удовольствием пояснил он и слегка прищелкнул в такт пальцами.

Паша Афанасьев, окончательно искривив губы, посмотрел на него и хмыкнул носом. Лиза повернула голову и серьезно посмотрела на корнета.

— Ну-с, — сказал Паша Афанасьев, помолчав, — итак, мы все осенью двинемся...

— Да... — резковатым и отрывистым голосом ответила Дора.

— Куда? — спросил корнет удивленно.

— В Петербург! — ответил ему Паша Афанасьев, и ему почему-то стало жаль корнета.

— То есть... А Лизавета Павловна? — тем же удивленным тоном спросил корнет, и в его мужественном голосе что-то вздрогнуло.

— Все, все тронемся!.. — сказал Паша Афанасьев. Корнет замолчал, и на его красивом и неумном лице ничего нельзя было разобрать.

— Вы решили, на какие курсы? — деловито спросила Дора.

— На медицинские, конечно! — с жаром ответил за Лизу Паша Афанасьев.

— На медицинские... — серьезно сказала и Лиза.

— Я думаю, тут не может быть выбора! — горячо заговорил Паша Афанасьев, как-то чересчур молодо размахивая руками. — Что такое при теперешних условиях педагогические курсы? Чепуха!.. Учить тому, чему вам хотелось бы, не позволят, а вдалбливать азбуку... слуга покорный!.. То ли дело медик! В его-то дело вмешаться трудно... А какое, в сущности, счастье хоть одного человека спасти от смерти или страданий!.. Глядишь, совсем пропала жизнь, и вдруг... ведь это только понять надо!..

Добрые большие глаза Паши от волнения покрылись влагой.

— Да, и притом это самое нужное теперь народу! И медику легче всего пропагандировать! — немного в нос отозвалась Дора.

Музыка оборвалась на высокой ноте резкой и звонкой трубы. Стало тихо. Звезды незаметно высветились над городом, а на бульваре потемнело так, что не видно стало уж лиц. В конце бульвара, под большими липами, вспыхивали папиросы и чуть-чуть белели кителя офицеров.

— А впрочем, — проговорил Паша Афанасьев таким углубленным голосом, точно отвечал на свои собственные мысли, — всякий труд есть труд прежде всего... Исполняй честно свое дело, а польза будет... Дело не в том, чтобы самому зажечь настоящей жизнью, чтобы была в ней борьба и победа... Ах, когда я подумаю, что еще два-три месяца, и я буду далеко от всех

этих сереньких, сытеньких, спокойненьких людишек, от всех их мелких интересиков, — так у меня даже в груди что-то замрет!

Корнет издал какой-то неопределенный, дрожащий звук.

— Что? — строго спросила Лиза. Корнет промолчал.

— Главное — учиться, учиться и учиться! — резким голосом, точно считая, и встряхивая головой, проговорила Дора. — В этом сила, в этом все!.. Нам нужны только образованные люди, — довольно дилетантов... С голыми руками в наше время ничего не сделаешь!

— Ну да! — сказал в темноте голос Паши Афанасьева. — И не только для того, чтобы что-нибудь сделать, а прежде всего для самого себя, для своей личной жизни прежде всего... Надо знать все, чтобы уметь понимать всю красоту и радость жизни!

— Расширить кругозор... — вдруг неестественно уверенным тоном, в котором было слышно что-то робкое и жалкое, сказал корнет.

Все внезапно замолчали, так что стало даже неловко.

Лиза опять посмотрела на корнета, но в темноте не увидела ничего, кроме белевшего кителя.

Паша Афанасьев засмеялся коротко и враждебно. У него уже не было жалостливого чувства к корнету, а было приятно оборвать его и унижить.

— Для корнета христолюбивого воинства и то слава Богу! — шепнул он Доре.

— Н-да... — сказала Дора, и по голосу ее было слышно, что она сдерживает насмешливую злорадную улыбку.

И оттого, что пропало чисто дружелюбное настроение и сменилось мелкой злорадностью и обособленностью, вдруг всем стало уже не так весело, как-то пусто и неловко.

— Пора по домам, — сказал Паша Афанасьев и почему-то вздохнул.

Дора зевнула.

— Да-а...

Они все проводили Дору до ворот ее дома и пошли назад втроем. Дорогой Паша Афанасьев спрашивал корнета, читал ли он Ницше и Маркса. Корнет отвечал, что читал; но в голосе его была слышна неуверенность, и когда Паша Афанасьев злорадно спрашивал его, помнит ли он то или то, корнет каким-то мучительно-тупым голосом и дыша через нос говорил:

— Не помню, право... Кажется, это я пропустил... Знаете, так мало времени свободного...

Лиза серьезно слушала их, и ей было странно, что одно время, еще так недавно, она собиралась замуж за корнета. Теперь она подумала, что этого ни в каком случае не будет, и почему-то ей стало грустно.

Паша Афанасьев остановился у своего дома, а корнет проводил Лизу еще несколько шагов до калитки ее двора. Им было слышно, как Паша Афанасьев, подымаясь на деревянное крыльцо, стучал каблуками, а потом загремел щеколдой.

— До свиданья, Николай Николаевич! — сказала Лиза, протягивая руку.

Корнет взял ее руку и сейчас же выпустил.

— Лизавета Павловна, — вдруг заговорил он дрожащим и странным у такого большого, мужественного человека, слабым голосом, — это, значит, правда, что вы уезжаете?..

Лиза вдруг неприятно вспомнила, как Паша Афанасьев, смеясь, уверял ее, что когда она скажет Савинову о своем отъезде, корнет вытащит из кармана пушку и сейчас же «безвозвратно» застрелится.

— Еду... — сухо и даже враждебно, как никогда ни с кем не говорила, ответила она.

Корнет помолчал.

Левая нога его в гладко натянутой синей рейтузе сильно дрожала, и что-то непонятное, тяжелое и безнадежное давило под грудь.

— Так... — срываясь, выговорил он. — Зачем?..

— Учиться, конечно... — пожалла мягкими плечами Лиза и строго посмотрела на него.

— Разве это... непременно надо? — спросил корнет. Лиза не ответила, и ей все страннее казалось, как это она могла думать выйти замуж за такого тупого и ограниченного человека.

— Ну, пора домой... — сказала она холодно. — До свиданья!

— А я, Лизавета Павловна... что ж... пулю в лоб!.. — пробормотал каким-то бессмысленным и тяжелым голосом корнет и совсем не то, что хотел сказать.

— Из пушки? — серьезно спросила Лиза.

— Н-нет... — удивился корнет. — Почему из пушки?

— Так... до свиданья! — сказала Лиза и опять протянула руку.

Корнет хотел еще что-то сказать, но мучительно проглотил и остался один. С минуту он стоял неподвижно, а потом повернулся и тихо пошел по улице, цепляясь шпорами.

Сторож неодобрительно постучал где-то в темноте под забором. III

Через четыре месяца Лиза Чумакова и Дора Баршавская ехали в Петербург. Паша Афанасьев уехал раньше и должен был встретить их на вокзале. Ехали они в третьем классе.

Была уже осень, и погода стояла серая, дождливая, но еще светлая и тихая. Дождь шел целый день. Все было мокро — и вагоны, и рельсы, и начальники станций; шпалы почернели; пронесившиеся мимо, вздувшиеся речонки и лужи мелко рябили от дождя. Все было мокро и блестело, точно на каждом желтом листочке, на каждом столбе, на земле, на людях — была своя водяная прозрачная корочка. И все мелко дрожало и струилось под дождем.

Дора сидела на своем месте в вагоне и читала, а Лиза стояла на закрытой площадке у окна и смотрела своими выпуклыми, немного вопросительными глазами назад, где дрожащий за сеткой дождя мокрый, серый горизонт сливался с белым, однообразным небом. И ей все казалось, что оставленный город, отец и мать, Сережа, лаечка, старый дом, все такое бесконечно дорогое, до боли милое, где-то тут, сейчас же за горизонтом, и что если приподняться повыше на цыпочки — увидишь.

— Тра-та-та... тра-та-та... тра-та-та!.. — ритмически, с железной жестокостью стучал поезд, уносясь все дальше и дальше.

— Траррарах!.. — загудел и задрожал мимо высокий железный мост над какой-то большой

желто-грязной рекой. Лиза заглянула вниз и далеко под собой увидела показавшиеся ей игрушечно маленькими лодки, барки, тянувшиеся одна за другой, мокрые дрова на барках, серых, маленьких людей, что-то ворочавших длинными, тонкими шестами, и мутную, широкую, желтую воду, медленно уплывавшую куда-то, крутясь мелкими воронками и струйками водоворотов. Было грязно и печально на этой желтой реке, в размытых желтых берегах, по которым чахло и мертвенно-неподвижно зубились елки и березки. Все было такое чужое, холодное, незнакомое.

Лиза вдруг с ужасом подумала: «Что они там делают?..»

Было непонятно, чуждо, а потому страшно ей то, что делали маленькие, незнакомые люди с длинными шестами, куда и откуда текла мутная река, кто и как жил на размытых желтых берегах, за этими зубчатыми елками и березками.

Когда стало смеркаться, Лиза вздохнула, пошла в вагон, где уже зажгли фонари и задвигались бестолковые огромные тени, и села возле Доры.

— Куда мы едем? — хотела всей грудью, всем существом своим спросить Лиза, но вместо того сказала своим низким, немного ленивым голосом:

— Паша нас встретит, должно быть.

— Конечно... — ответила Дора.

Она уже давно перестала читать, и ей было теперь тоскливо, страшно и жалко себя в огромном, угловато-неуютном вагоне, где копошились, лущили семечки, говорили неестественно громкими голосами, играли на гармонике и сдержанно ругались какие-то новые, странно грязные и озлобленные на что-то люди. В эту минуту та неведомая, полная движения, шума и успеха жизнь, которая давно ярко рисовалась ее жгучему самолюбию, показалась ей несбыточно невозможной, нелепой и жалкой. Она обрадовалась Лизе и, не спуская блестящих глаз, смотрела из своего темного угла на ее знакомое, давно милое, понятное лицо.

— Лизочка! — сказала Дора тихо.

Она взяла ее мягкую, теплую руку своими сухонькими, узкими руками.

Лиза внимательно посмотрела на нее и вдруг серьезным и широким движением обняла и притянула к себе.

— Нет, ты посмотри еще, а тогда приходи на это место и потолкуем!.. — со злобой, резко выкрикнул кто-то из-за деревянной перегородки.

— Тиу!.. — плачевно пискнула гармоника.

Высокий, до странности худой мастеровой, в казинетовом пиджаке и в красной рубахе навыпуск, вышел из-за перегородки и, пошатнувшись, сел против Лизы.

— Куда изволите ехать? — спросил он, помолчав. Слышно было, что от него сильно пахнет водкой.

— В Петербург... — ответила Лиза.

Через перегородку стал сверху смотреть другой человек, должно быть, солдат, с крутыми рыжими усами и рябым лицом.

— Так... — сказал мастеровой и стал тяжелым, пьяным глазом смотреть на Лизу, на лицо и

на грудь.

Стало страшно.

Солдат вдруг засмеялся и фыркнул.

— А чего вы там не видели? — спросил мастеровой, и по заплетающемуся звуку его голоса и покачиванию вперед стало видно, что он страшно пьян.

— Лиза, — испуганно позвала Дора, — пойдем, постоим на площадке.

— Что ж, вы со мной разговаривать не желаете? — ломаясь, враждебно спросил опять мастеровой.

— Нет, отчего же... — торопливо ответила Лиза.

— Я спрашиваю... люб...бопытно мне знать, для чего, например, в Петербург?..

— Учиться... — покорно ответила Лиза. Солдат опять засмеялся.

— Учиться? — переспросил мастеровой. — А не...? Солдат фыркнул, как лошадь, и от восторга упал лицом на перегородку.

Дора испуганно заплакала. Лиза смотрела на мастерового серьезными, внимательными глазами, и в груди у нее что-то пустое и холодное мучительно сжало сердце.

— Вот я те как дам по уху, — неожиданно сказал с другой стороны вагона бородатый старый мужик в лаптях, — так будешь знать, как обижать зря, дурак!

Мастеровой мутными глазами посмотрел на него.

— А мне наплевать... черт с ними! — Он выругался скверным словом, встал и ушел.

— Наро-од!.. — укоризненно сказал старый мужик и тоже встал и пошел за ним.

— А вы отколь едете? — спрашивал он кого-то.

— Из-под Калуги... — ответил тот же мастеровой.

— А мы курские... — сказал мужик.

К вечеру воздух в вагоне стал еще тяжелее. За стеклами в темноте невидимо, дрожа, колотился дождь, и бесконечно стучал поезд.

Дора тихо улеглась на своем месте, и чувствовалось, что она боится пошевелиться. Лиза опять ушла на площадку, с которой уже ничего не было видно, а было только холодно и мокро, и там простояла часа два, напряженно и тоскливо глядя в темноту.

Ей припомнилось, как два дня тому назад ее провожали из дому. Сережа и мать плакали, а в доме было так пусто, как будто только что вынесли что-то самое важное, без чего все должно затихнуть, опустеть, замереть. Потом на вокзале вдруг неожиданно подошел к ним Савинов, в серой, длинной, мокрой от дождя шинели, и лицо у него было серое, мокрое и измученное.

— Лизавета Павловна... — сказал он дрожащим голосом. — Я с вами хотел поговорить...

Лизе стало тяжело и неприятно. Все, что можно было сказать, уже было переговорено сто раз за это лето. Ей даже казалось, что все лето продолжался этот нудный, скучный разговор о том, чего нельзя было переделать. Сначала ей до слез было жалко корнета, но потом он стал

раздражать ее, и не потому, что надоел ей, а потому, что все смеялись над ним, и ей было стыдно, что она чуть-чуть было не вышла за него замуж.

— Он правильную блокаду ведет с вами! — говорил Паша Афанасьев. — Бедный, он сильно страдает, а все похож на индюка, у которого выщипали хвост!

Все-таки она пошла с ним по платформе, блестящей от дождя.

— Вы скорее... — холодно заметила Дора.

— Сейчас! — ответила Лиза уверенно.

— Я не задержу Лизавету Павловну... — печально прибавил корнет.

Они прошли молча два раза взад и вперед. Корнет тяжело дышал и смотрел вниз на забрызганные грязью лакированные сапоги.

— Ну, что вы мне хотели сказать? — спросила Лиза.

— Я... Значит, все между нами кончено? — проговорил корнет унылым голосом, и слышно было, что спросил он это Бог знает зачем, и сам прекрасно понимает, что все кончено.

Лиза молчала. Прозвонил первый звонок. Корнет вздохнул.

— Лизавета Павловна, — вдруг быстро заговорил он, — я, может быть, и очень смешной и... человек не... но я не стану вам мешать... Вы знаете, что более преданного вам человека вы не найдете... Я, правда, не понимаю, почему вам нужно ехать, когда вы и здесь... столько счастья всем... Может быть, я недостоин вас... конечно... но я бы пешком пошел за вами, если бы знал, что... Вы меня простите, Лизавета Павловна, если я...

Вдруг губы корнета задрожали, и лицо его стало жалко и похоже на детское; он круто оборвался и замолчал.

Потом он деятельно помогал переносить вещи, кричал на носильщика и долго махал фуражкой, когда поезд отошел.

— А он, в сущности, ничего... — сказала Дора про корнета. — Только скучный ужасно.

И вот, глядя в темный четырехугольник окна, за которым что-то мерещилось, Лиза подумала теперь, что было бы, если бы вдруг, когда к ним приставал и ругал их мастеровой, дверь отворилась и вошел корнет. И вдруг ей страстно захотелось его увидеть, прижавшись, пройти по саду под руку, почувствовать себя безопасно, спокойно, чисто и просто.

Лиза тихо заплакала, и слезы катились мимо носа по еще детски пухлым губам и падали на округлившуюся невысокую грудь. IV

Весна началась. Вся земля вздохнула, точно свалилась с нее огромная, прилипчивая тяжесть. Это теплое, влажное, пахучее и радостное для всего живого дыхание земли было ясно слышно в городе, с полей и лесов, приносимое мягким, упругим ветром. Где-то начинал таять мягкий, белый и хрупкий снег, потекли чистые струйки холодной как лед воды и появилась на проталинах еще сырая, но уже готовая зазеленеть трава. Но в самом городе мало было видно весны: снег там и зимой был незаметный, талый и грязный, морозов не чувствовалось так остро, — жизнь и зимой и летом была одинаково суетливая и пестрая.

В палате военно-медицинского госпиталя было светло. В открытую форточку струей вливался запах весны, и оттого было еще скучнее и невыносимее среди ровных рядов кроватей и умирающих, исхудалых людей.

Паша Афанасьев сидел у окна в госпитальный сад, где было больше зеленых заборчиков, чем деревьев, а на каждом деревце висел размокший кусочек картона с названием дерева по-русски и по-латыни. На коленях у Паши была книга, а руки, которыми он ее придерживал, были так худы и прозрачны, что на них жалко и больно было смотреть. Лиза Чумакова, Дора Баршавская и студент Андреев сидели с ним и молчали. Было странно и неловко говорить о чем бы то ни было, потому что в коридоре ассистент профессора сказал им, что Афанасьев умрет на этой неделе, что его безвозвратно убили вечное напряжение, непривычный, непосильный труд и чуждый климат.

— Сгорел человек... жаль! — сказал доктор.

Но зато, хотя ему уже и трудно было говорить, Паша Афанасьев говорил без умолку. Этого не запрещали, так как теперь было все равно.

— Я когда прочел это, — слабым и прерывистым голосом, похожим на скрип останавливающейся небольшой машинки, говорил Паша Афанасьев и постукивал по книге худыми пальцами, — мне показалось, будто в моей комнате окно открыли: так и посветлело все вокруг! Все это серый, безрадостный тон... ведь он душу выедаёт у человека!.. А теперь — молодец!.. Каким торжествующим аккордом он заканчивает!.. Ведь это как посмотреть: ведь это не простой рассказ о том, что вот, мол, взяла девушка да и поехала учиться... Это символ глубокого значения!

Они знали, о каком рассказе он говорит, рассказ всем нравился, но всем было странно и тягостно слышать торжествующий, восторженный голос накануне смерти. И теперь, при умирающем человеке, книга казалась неинтересной и даже ненужной.

— Ах, побольше бы таких зовущих, смелых голосов! — тихим голосом, в котором слышалось огромное напряжение, мечтательно говорил Паша Афанасьев. — Надо будить, надо звать... надо рассказать всем, что нет жизни там, где нет могучего, напряженного труда!.. Главное — надо, чтобы исчез свой угол, свои интересы, свои люди, чтобы были все люди, все кипело, чтобы весь мир был открыт человеку!..

— Да... только как же этого достигнуть? — неопределенно отозвался Андреев.

Паша Афанасьев сразу замолчал и непонимающим взглядом заслушавшегося чего-то человека посмотрел на него болезненно блестящими глазами. Но Андреев молчал.

— Милая Лизочка, — сказал Паша Афанасьев мягко и радостно, — я так рад, что вытащил вас из нашего болота!.. И за вас рад, и за себя... Ведь это немалая заслуга — вытащить человека, да еще такого милого, такого хорошего, как вы!.. А ведь это я вас вытащил, правда?.. Ну, не совсем я, и книги много помогли, — он опять слабо постучал по книге, — но все-таки.

Он помолчал, напряженно о чем-то думая, и когда опять заговорил, то говорил с трудом и криво, виновато усмехаясь:

— Вот, Лизочка, если я умру... дело возможное, конечно... вам я и оставлю свое дело... Вы мое создание, в вашей милой, хорошей душе буду жить и я... Так-то, Лизочка... В какую я грустную материю впал... А помните, как вы хотели выйти замуж за того корнета, что хотел застрелиться из пушки?..

Паша Афанасьев радостно засмеялся.

— Помню, Паша... — грустно ответила Лиза, глядя ему в глаза своими добрыми, выпуклыми глазами, и принудила себя улыбнуться.

— Да... Ну, да Бог с ним!.. Мне его, знаете, под конец даже жалко стало. В сущности, не виноват же он в том, что судьба и люди сделали его пошляком. А страдал он, кажется, сильно... Да...

Паша Афанасьев опять задумчиво помолчал, и в глазах его было что-то грустное и теплое.

— Да, главное сделали, — ушли! — вдруг снова оживился он. — Что бы там ни было, а теперь перед вами... милая Лизочка!..

Паша Афанасьев захлебнулся, и что-то странное, непонятное, какой-то исступленный, нечеловеческий восторг осветил его худое, обросшее спутанными мягкими волосами лицо. Доре показалось, что он не с Лизой и не о Лизе говорит, и лицо его не в первый раз напомнило ей болезненно ярко одну картину, на которой в пламени и в дыму вздымались кверху искривленные руки ополоумевшие самосожигатели. Ей стало страшно.

Когда они поднялись уходить, Паша, ослабевший от напряжения, сказал Андрееву:

— Голубчик, возьми ты у меня там литературу, отнеси ее к Богданову... Там важное, срочное есть... Я, пожалуй, залежусь... Ну, до свиданья, мои дорогие!

Они пошли к двери, но Паша вдруг громко позвал:

— Лизочка... Лиза.

Дора и Андреев остановились в коридоре, а Лиза быстро вернулась и стала близко от него, наклоняясь. Ей был слышен сухой и потный в одно и то же время запах его больного тела.

— Лизочка... — сказал Паша Афанасьев и замолчал. Глаза у него странно блестели глубоким, внутренним блеском, как будто он смотрел куда-то внутрь себя. Лиза ждала, наклонившись, и почему-то боялась посмотреть на него.

— Лизочка... — повторил Паша Афанасьев еще тише, как будто боялся, что его услышат, — теперь весна... у нас, должно быть, снег тает... Лизочка... доктор сказал, что если бы я все жил на юге, я, может быть, и... поправился бы...

Из темного, широко открытого близко от Лизы глаза выплыло что-то крупное, прозрачное и расплылось по ресницам. V

Пашу Афанасьева похоронили в серый и теплый день. В могиле была желто-мутная вода, на дорожках стоял кисель из талого снега, размокшая глина во все стороны расплзлась из-под ног, и гроб, раскачивая и толкая, с трудом донесли до могилы.

— В ногу, господа, в ногу идите! — все время со страданием в голосе приговаривал один из несших студентов, с которого углом гроба все сбивало фуражку и резало плечо.

Глина быстро шлепалась, сначала резко и звучно на крышку гроба, а потом мягко и приятно в черно-желтый кисель. Холмик слепили кое-как, и он тотчас же расплзся.

Студенты и курсистки, странно чернея в белом пустынном месте, молча стояли и не расходились.

— Ларионов, речь... скажи! — подталкивал один другого, и по его вспотевшему и красному от усилий лицу было видно, что ему странно уйти отсюда так, просто, как он уходил от всякого другого вполне законченного дела.

— Нет... что ж... — дергал плечом Ларионов.

Молоденький, красивый студент, с восторженным и неумным лицом, вдруг выступил одним плечом вперед, взмахнул фуражкой над своей курчавой головой и, глядя вверх крестов и памятников, нутряным, дрожащим голосом произнес:

— Даром ничто не дается... судьба жертв искупительных просит!

И, весь налившись кровью, торжественно и скромно замолчал. Стало опять тихо и, несмотря на кучку людей, пусто. Вороны низко пролетали куда-то над талым, мокрым снегом. Было невыносимо грустно...

— Что ж... пойдём... — сказала Дора Лизе.

Лиза покосилась на могилу страшно заплаканными серыми глазами, в которых было горе и какое-то растерянное выражение, и ответила густым, красивым шепотом:

— Пойдем...

Вороны обратно пролетели над крестами, и одна каркнула:

— Крр!..

Сейчас же за унылыми воротами кладбища Дора и Лиза сели в конку и долго ехали по бесконечной, широкой и все-таки темной улице, мимо совершенно однообразных, как одна сплошная стена, домов. Дорогой все мужчины в конке поглядывали на красивую, полную Лизу, и, как всегда, она этого не замечала, а Дора видела и почему-то сердилась, хотя и скрывала от самой себя это раздражение. Когда они встали с конки и пошли по улице к квартире Доры, она вздохнула и сказала:

— Ну, вот и похоронили... — И, передернув плечами, точно от холода, прибавила: — Как же это все просто... ужасно просто!

Крупные слезы сейчас же покатались по лицу Лизы.

— Бедный, бедный Паша! — тихо сказала она.

— Что ж, зайдешь? — спросила Дора под мрачными, похожими на погреб воротами.

— Не знаю, право... зайду... — почему-то виновато ответила Лиза и вздохнула.

Они вошли в ворота, прошли наискось похожий на обледенелую помойную яму дворик и по лестнице, на которой скверно пахло помоями и котами, полезли в четвертый этаж. Маленькие, короткие лестницы мелькали и поворачивались из стороны в сторону с бесконечно утомительным однообразием. У Доры, по обыкновению, сильно билось сердце и стучало во вспотевших висках. В тесной, темной передней, где еще хуже пахло, — жареным луком и мокрыми тряпками, — они разделась и вошли одна за другую в комнату Доры.

Это была маленькая, полутемная комната, с ограниченной и унылой мебелью. По сырости на стенах и по тонкому запаху пустоты и холода чувствовалось, что сюда никогда не заглядывает солнце, и была она так мрачна и темна, что странно было, что в ней живет такое молодое и нежное существо.

Лиза села на узенькую кровать, красиво обтянув полные, круглые колени серой юбкой; а Дора машинально остановилась у стола и, ничего не видя, стала смотреть в мутное, бело-серое окно, в которое глядели ряды таких же мутных и слепых окон.

Эти три дня они были так возбуждены и заняты, столько было вокруг грустных и озабоченных разговоров, беготни, хлопот и сборов, столько вокруг пели, кадили, столько зажигали среди

белого дня свечей, столько плакали, что теперь им как-то странно и даже неприятно, что все снова так тихо, что надо спокойно сесть, обедать, спать, заниматься или делать другое какое простое повседневное дело. У обеих было нервное, тоскливое чувство.

— Послезавтра анатомия... — медленно и тоскливо, думая о другом, протянула Лиза.

Дора молчала.

— Скоро конец экзаменам... — проговорила опять Лиза, и видно было, что ей просто хочется прервать свою собственную невыносимую грусть.

— Я вчера из дому письмо получила... — продолжала она.

— Да? — машинально переспросила Дора.

— Да... Мама пишет, что у них теперь весна в полном разгаре... Тепло, и дни стоят хорошие.

Лиза вздохнула и замолчала. Ей захотелось сказать, что ее тянет домой, на зеленую траву, в тепло, к простой, тихой, спокойной жизни, что ей все надоело здесь. Но какой-то страх перед Дорой, перед самою собой не давал ей высказать этого.

«Это малодушие... — подумала она, — слабость... надо бороться...»

Дора все молчала.

— Вчера бестужевки заявили Вязникову протест против безобразного поступка... — продолжала монотонно, тягучим голосом Лиза.

— Ну? — отозвалась Дора.

— Ну, и ничего.

Дора вдруг быстро подошла к ней, сжала руки и придушенным, напряженным голосом сказала:

— Ах, Лиза, Лизочка!.. Скучно, скверно... Это все не то... не то.

Лиза сейчас же почувствовала слезы на глазах, и ей бесконечно стало жаль Дору. И как будто в этом было именно то, что ей нужно, она моментально забыла о себе. Чувствовалось какое-то сильное, материнское движение в ее жесте, когда она обняла Дору за худенькую талию обеими полными, мягкими руками и притянула к себе.

— Ничего, Дорочка... милая... — сказала она, целуя ее в волосы и щеку.

— Самовар подавать? — хрипло и угрюмо спросила их из-за двери хозяйка.

Дора вздрогнула. Лиза ответила деловитым тоном:

— Подавайте!

Толстая и грязная мещанка, ненавидевшая курсисток за то, что они жили лучшею жизнью, чем она, а она должна была за пятнадцать рублей терпеть их в своей квартире, — хмуро внесла грязный, позеленевший самовар с кривой конфоркой.

— Булок надо? — с озлобленным презрением спросила она, ни на кого не глядя.

— Нет! — торопливо ответила Дора.

И Лиза, и Дора всегда стеснялись и боялись ее, хотя и не признавались в этом и самим себе. Им было страшно и больно от этой бессмысленной, холодной злобы чужого человека, к которой они не были приспособлены, с которой не умели бороться. В ее присутствии им было тяжело и трудно, и когда они встречались с нею в коридоре, всегда старались незаметно проскользнуть. Это было унижительно и непонятно, чуждо их молодым, целомудренно-простым душам, бессознательно тянущимся только к любви, ласке и всеобщей приветливости.

Хозяйка зорко и с явным желанием придраться оглядела комнату, сердито схватила таз, в котором было чуть-чуть грязной воды, и каким-то рывком вынесла его вон, что-то ворча и хлопая дверьми.

Лиза и Дора долго сидели молча. В тихой душе Лизы, как волны, подымались то острое горе о Паше, то тупое чувство растерянности и недоумения. Совершенно непонятно и странно казалось ей, что Паши уже нет и никогда не будет, а все останется в ее жизни по-прежнему. Было похоже, как будто из ее жизни вынесли какой-то свет, и она стала темной и пустой.

Дора тихо задвигалась по комнате, приготовила чай и опять затихла, напряженно думая о чем-то своем, неизвестном Лизе. Самовар жалобно пел унылыми, приниженными нотками. Лиза опять заплакала тихо и незаметно.

Через час пришли студенты — Ларионов и Андреев, и толстый, близорукий Ларионов сейчас же стал говорить о Паше Афанасьеве.

— По-моему, это был какой-то совсем особенный, чудный человек, — говорил он грустно восторженным голосом, глядя на всех поверх пенсне. — В нем была какая-то огромная сила... и как-то не верится, что она могла так легко умереть... И главное — была у него способность на других действовать... Мне так и кажется, что теперь наше дело должно само собой прекратиться...

— Не прекратится! — качнул головой Андреев.

— Ну да...

— В сущности говоря, Афанасьев плохой был делец.

— Делец-то он был плохой... — согласился Ларионов. — Но он умел как-то зажигать... И ведь вот такая штука: я очень хорошо всегда понимал, что все это не так уж великолепно и что спрости самого Афанасьева, что, собственно, надо делать, он и сам не ответил бы... или ответил бы фразой; но в нем самом всегда что-то такое горело... и это увлекало... Понимаете?... И видишь, что все это не так, а тянет... а?

Ларионов недоумелыми глазами оглядел всех.

— Слабый ты человек, и больше ничего! — грубовато возразил Андреев, закусив один ус.

— Может быть... — весь дергаясь от внезапного волнения, согласился Ларионов. — Знаете... я, собственно, не о том хотел поговорить... Что-то мне последнее время скверно... Так, размышляешь, считаешь что-нибудь такое... или вот слушаешь Афанасьева, и ничего... начинает даже рисоваться что-то большое и смелое... Бодрость такую почувствуешь в себе опять!.. А потом сейчас же приходят в голову другие мысли, и опять на душе скверно... Да...

Ларионов помолчал.

— Вот на первом... на втором даже курсе совсем как-то иначе было... Тогда все занимало... В театр пойдешь — хорошо, на сходке кричат — хорошо... За книги засядешь — хорошо... И всегда так весело, славно...

— Чего лучше! — насмешливо отозвался Андреев.

— Ну да... А потом вдруг стал думать: ну ладно, учусь я... так... Но ведь дело-то не в самом же учении? Ведь не собираюсь я посвятить всю жизнь одной науке... как таковой... Дело в том, для чего все это делается, — так?... Ну вот, когда я спросил себя: для чего? — у меня никакого ответа не получилось.

— Как же это так? — подымая голову, спросила Дора.

— Да вот так... Никакого!.. Знаете, я даже старался придумать... то есть просто надуть себя; но ничего не придумал!.. Вы только послушайте...

Ларионов вскочил и развел руками, точно чему-то испуганно удивился. Пенсне не держалось на его коротком носу, и он ежеминутно поправлял его.

— Ну, я, знаете, говорю себе так: для служения народу... Хорош-ш-о, так... Это говорят всегда очень уверенно и громко... это даже очень легко сказать... Но возможно ли вообще служить народу, — этого, в сущности, никто не знает!.. Вот, видите ли, какая штука: я, например, медик и, следовательно, должен быть доктором и лечить больных... Так?

Он остановился, вопросительно глядя поверх пенсне.

— Допустим... — шутливо, благосклонным тоном согласился Андреев.

— Нет, ты не шути, — я серьезно говорю! — обиделся Ларионов.

— Да я не шучу! — тем же тоном возразил Андреев. Ларионов с минуту недоумело смотрел на него, потом добродушно махнул рукой.

— Ну хорошо... Так вот какая штука: буду я доктором и буду лечить больных... Если бы я был какой-нибудь особо даровитый человек, я обогатил бы науку открытиями...

— Где тебе! — презрительно подсказал Андреев.

— И действительно, где же мне! — покорно и совершенно серьезно согласился Ларионов. — Ну, значит, буду я лечить больных... Хорошо... Многих я вылечу, многих не вылечу, и главным образом не потому, что болезнь сильнее науки, а потому, что много болезней происходит от таких причин, которые вообще... как это называется?..

Ларионов пощелкал пальцами.

— Валяй: по независящим обстоятельствам! — иронически серьезно подсказал Андреев.

— Ну да... пусть... Так вот, видите, какая штука: буду я лечить одного, другого, третьего, сотого, без конца... всю жизнь буду лечить всяких людей, и хороших, которым искренно, положим, желаю добра, и тех, которых считаю вредными... сволочь всякую... Я не могу их не лечить, потому что и они страдают и имеют право на помощь... вот какая штука!..

— Ну, это положим!.. — возразил Андреев.

— Нет, не положим... Ты сам меня первый подлецом назовешь, если я не пойду к больному, а начну справляться, кто он да что он...

— Конечно... — поддержала Дора.

— Ну вот! — обрадовался Ларионов. — Значит, надо безразлично смотреть на больных, только как на больных... так?... Знаете, казалось бы, что это очень хорошо, человеколюбиво и прочее... а на самом деле это — отсутствие живой, сознательной любви, и только... Какая-то

чепуха!

— Да, — оживленно отозвалась Дора, радуясь, что ей пришла в голову удачная мысль, — я сама думала об этом: выходит же так, что я одних лечу потому, что жизнь устроена скверно, а сама же вылечиваю тех, которые создали и поддерживают это зло!..

— Совершенно верно! — закусив усы, усмехнулся Андреев.

— Ну вот видите, какая штука!.. Значит, я просто буду врачом по ремеслу, ремесленником, и между мною и людьми не будет никакой сознательной связи. Я, знаете, на днях внимательно прочел биографию Гааза и вижу, что все это чепуха!.. Столько же пользы, сколько и вреда!.. Да... Потом, я как-то чуть не попал в заговор; мне уже даже револьвер дали... Браунинг, что ли... черный такой, тяжелый... Ну, я было и подумал: вот оно!.. начинается настоящее дело!.. А потом вижу, что и это не то... Надо убивать, а потом и тебя самого повесят... Значит, такая штука: я убью, скажем, человека, которому хочется жить; потом убьют меня, — мне тоже хочется жить!.. И то и другое совсем неприятно: смерть, а не жизнь... Форменное несчастье, и только!..

Ларионов высоко поднял толстые, как у женщины, плечи, и его близорукое, доброе лицо выразило отчаяние.

— Тут у меня в душе пошла такая разладица, что я чуть не удавился!.. С одной стороны, дело большое, несомненно важное, а с другой стороны — с какой стати? Кто смеет требовать от меня моей жизни и... чтобы я сделался убийцей?.. И... и... я, кажется, скоро совсем перестану понимать, в чем тут дело! Вот ведь какая штука... что хорошего ни придумаешь, для всего требуется либо жертва, либо самопожертвование!.. И... и вообще... Я не могу объяснить всего, но... Когда я начал, то думал, что легко высказаться, а теперь вижу, что не выходит... Ну, да вы поймете.

В комнате было жарко и душно. Лампа горела уныло, освещая небольшой круг, в котором желтели стаканы с жидким чаем и тускло блестели ложечки. Над лампой ходил синий табачный дым, и было трудно дышать в нем. Хотелось открыть форточку, но почему-то никто не догадывался сделать это. Ларионов молчал и вопросительно глядел на всех поверх пенсне, и на его круглом потном лице было написано страдание и недоумение. Дора положила подбородок на подставленные руки и задумалась, глядя на огонь лампы. Андреев дергал и крутил усы, а Лиза сидела на кровати, и ее не было ни слышно, ни видно. Ей было до слез жаль Ларионова и хотелось приласкать его, как мальчика, и утешить; но она не умела ничего сказать и молчала.

— Да, жизнь сложная... тяжелая штука! — задумчиво проговорила Дора.

Ларионов быстро сел и испуганно посмотрел на нее.

— И удивительно же, — продолжала Дора медленно и раздумчиво, — всего какой-нибудь год... меньше, полгода всего тому назад, ехала же я сюда с таким восторгом! И главное — что представляла я себе именно то, что и нашла... Все это тут и есть: газеты и наука, и сходки, и театры... все то, о чем я всегда слышала и читала. И пот все-таки полгода прошло, а у меня в душе одна пустота, и все надоело, опротивело! Так иногда все противно, что я, кажется, скоро Паше Афанасьеву завидовать начну.

Она замолчала, и стало совсем тихо. За стеной вдруг послышались голоса и звон посуды.

— Я иногда припоминаю теперь, как я два года занималась в одной школе: и каким бедным и невыносимо скучным казалось мне тогда все... Деревня такая серая: мужики пьяницы, ребята глупые... существование мое такое же серенькое, глупое... А «там», думаю себе, где-то идет жизнь!.. А теперь все это кажется мне иногда таким милым... до слез!.. И деревня,

и лесок березовый, в который я каждый день от скуки ходила гулять, и ребятишки... особенно один... мальчуган там был... И не понимаю себя, как это я могла обнимать березы и плакать от тоски?.. Ну, начинаю думать, может быть, я в себе ошибалась и надо ехать назад, жить, как жила? Нет же!.. Опять становится скучно... и не то что скучно, а обидно же: неужели так и прозябать там всю жизнь?

Лиза глубоко вздохнула в своем уголку.

— Ну хорошо!.. — сказал Андреев, кусая усы. — Что же, собственно, вы воображали, когда ехали сюда?.. Чего вам хотелось?

— Как чего! — удивилась Дора. — Жизни... только! — добавила она с иронией.

Андреев сердито дернул себя за усы.

— Жизни!.. Что такое жизнь, скажите мне, пожалуйста?.. Дай папиросу, Ларионов!

— Ну, это понятно! — скривив губы, протянула Дора.

— Нет, вы скажите... В чем эта жизнь: в том, чтобы ходить в театр, на лекции... учиться, заниматься политикой... ну?

— Ну да... и в этом, конечно...

— Но все это у вас есть; чего же вам еще не хватает?

— Я сама не знаю этого, но чувствую, что чего-то самого главного не хватает.

— Я сам скажу, чего вам всем не хватает! — решительно сказал Андреев.

— Ну, ну... это любопытно! — насмехаясь, проговорила Дора, и в ее темных глазах мелькнуло злое выражение. Ей было досадно и неприятно, что Андреев может думать, что он знает что-то такое, чего не знает она, Дора.

— Не хватает у вас любви и уважения к самим себе.

— Это же из чего видно? — тем же голосом и краснея спросила Дора.

— Это видно из того, что та жизнь, к которой вы способны, которая доставляет вам удовольствие, всегда кажется ничтожною... в ней вы томитесь и хотите быть выше себя!

— Странно, право! — обиженно и возмущенно фыркнула Дора.

— Нет, что ж... это, в сущности, правда... — заметил Ларионов.

— Еще бы не правда! — пожал плечами Андреев. — Как вас воспитывали?.. Вы привыкли с раннего детства считать одну жизнь хорошей и гордой, а другую скверной и ничтожной...

Быть писателем, артистом или, положим, политическим деятелем — это прекрасно, а быть, например, деревенским учителем, мужиком, рабочим — унижительно...

— Что ты говоришь, что ты говоришь! — в ужасе закричал Ларионов.

— Оставь, пожалуйста!.. — с досадой отмахнулся Андреев. — Я правду говорю. Вы ведь порядочные иезуиты: вы всегда готовы преклоняться перед святым трудом рабочего, учителя, крестьянина и прочее; а если вас завтра судьба заставит выгребные ямы чистить, камень да глину драть, ребятишек сопливых учить азбуке, так вы в такую меланхолию впадете, что вам свет с овчинку покажется и стыдно будет со знакомым встретиться!.. А

почему?.. Потому что в вас гордости нет, нет любви и уважения к самому себе... Вы не можете верить в то, что не жизнь красит вас, а вы жизнь! Что всякая жизнь интересна и важна для вас только постольку, поскольку она — ваша!

— Ну что ж это! — с негодованием закричал Ларионов, дергаясь, как паяц.

— Я мужик! — не слушая, громовым голосом кричал Андреев, любуясь своими словами и их выражением и сжимая кулак. — Я с детства жил сам, своим трудом и жизнь видел не в книжках только!.. Я всю жизнь своим горбом хлеб зарабатывал и привык думать, что для меня я сам — все... что мне все равно, какое я место занимаю в рядах других людей, черт с ними со всеми, когда мне сытно и весело!.. И потому я люблю себя и знаю, чего мне нужно, делаю только то, что мне нравится. А вы пристраиваетесь к чужим взглядам, к чужим способностям и... сами не знаете чего вам нужно, что вы можете! Ты вот рассказывал так: «Я „чуть“ в заговор не попал... мне „дали“ револьвер!» — передразнил Андреев. — И в заговор вы попадете случайно, потому что другие попадают, и в жизнь идете только потому, что другие говорят, что это хорошо!.. Нет, если я в заговор пойду, так потому, что мне это нужно и приятно будет — мне самому!.. Я тогда и умру без антимионии и другого убью — не поморщусь!.. Вот!..

Андреев замолчал и взволнованно дергал себя за усы.

— Как это все чересчур уж просто! — проговорила Дора сердито.

— А вам непременно хочется, чтобы было сложно? — с озлобленной насмешкой спросил Андреев. — В том-то и горе ваше, что вы дети того времени, когда человек был так глуп и жалок, что тяготился своей простотой и красивой жизнью, и думал, что его долг уважать и любить все что угодно, кроме самого себя. Эх вы, путанные люди!.. Путали вы, путали и запутались окончательно... Чего вы только не придумали, чего только не намудрили над собой!.. Тут у вас и Христос, и родина, и человечество, и ближний, и дальний... идеализм, и марксизм, и прочее... С одной стороны, все это прекрасно, а с другой — где же вы сами?.. Где ваша собственная свободная, индивидуальная жизнь?.. Места вам как будто бы и не осталось... то есть осталось, но какое... чисто-жертвенное!..

— Да постой! — перебил Ларионов, теряя пенсне и ныряя за ним под стол.

— Да чего там постой! — рванул головой Андреев. — Конечно, так. Теперь, по-моему, поворотное время настало... Пройдет десять — двадцать лет — и вас будут как уродцев рассматривать... Как это, мол, могли жить такие несамостоятельные, робкие, трусливые людишки!..

— В чем же, скажите, пожалуйста, — насмешливо спросила Дора, — заключается это ваше умение любить себя?

— В чем?.. В том, чтобы любить себя всего, как есть я — человек из плоти, крови и духа равно!.. Любить свое существование, свое тело, свои наслаждения, свою самостоятельность, свое настоящее, не фальшивое, подкрашенное и подстроенное миропонимание... вот!

— Да ведь этак каждый лавочник себя любит, — сказал Ларионов.

— Нет, лавочник не так любит... Лавочник — несчастный человек: он совершенно не умеет любить себя... он окружает свою жизнь самыми неестественными условиями, всю жизнь пресмыкается, боится, не видит за заботами, как бы жить, как все, ни солнца, ни радости общения с природой и людьми, как людьми... не понимает ничего изящного, красивого; наполняет свое существование самыми уродливыми, грязными, грубыми деяниями... Он сам не видит этого, он даже воображает, что любит себя; но вся жизнь его — сплошное страдание, и смерть у него неудовлетворенная, глупая... Он не умеет любить себя... как и

вы... Вот!

Андреев неожиданно встал и взялся за фуражку.

— До свиданья! Пора домой... Уже двенадцатый час.

— Нет, ты вот что скажи...

— Ничего я тебе не скажу... пошел ты к черту, дурья голова! Если не понимаешь сам, так этого не втолкуешь!.. Все равно будешь пичкаться всю жизнь всякой трухой...

Студенты ушли. В комнате стало тихо, и опять слышно было, как за стеной говорят.

— Ну и философия! — с иронией сказала Дора и встала. — Значит же назад... к первобытному состоянию!..

Лиза вздохнула и потянулась. И опять острое воспоминание о Паше Афанасьеве защемило у нее в сердце.

Ночью она шла домой по пустым, мокрым улицам, в мокрых камнях которых дрожали и искрились отблески фонарей. Черная, свободно-мрачная, широкая река шла под мостом и уплывала в черную даль, сливаясь с черным небом. Огромный темный купол, отражая зарево огней, в невероятном просторе уходил над головой. Дул с моря упругий, сырой ветер и влажную волной ударял в лицо. Где-то далеко глухо и предостерегающе бухала пушка:

— Бух... бух!..

Лиза серьезно и строго посмотрела на реку, и что-то заныло и затосковало в ее сердце и потянуло за упругим ветром куда-то вдаль — в простор, мрак и ветер, откуда ясно слышался сырой и торжественный запах весны. VI

Лиза приехала домой.

Опять была весна, но уже не было Паши Афанасьева, и когда Лиза в первый же вечер пошла в сад и стала у забора, тихая грусть охватила ее. Казалось, где-то здесь еще слышатся слова Паши, его страстный и слабый голос, и было невозможно ясно представить себе, что его нет, совершенно нет нигде, на всем свете.

Но было в городе и Доры Баршавской: она осталась в Петербурге, поступив на лето для заработка в какую-то контору по хранению мебели.

Дома все были рады Лизе, и больше всех был рад корнет Савинов. Он прибежал в тот же вечер, запыхавшись и блестя глазами, и целый вечер молчал, не спуская с Лизы наивно-восторженного взгляда. Ей было радостно и приятно видеть его, но по обыкновению она смотрела на корнета строго и серьезно.

После ужина пошли гулять. В душе Лизы была какая-то радостная истома, и не терпелось сейчас же пойти по знакомым улицам, мимо старых, знакомых домов, церквей, заборов и садов.

Ночь была безлунная, темная, и после белесых весенних петербургских ночей Лизе казалось темно, как в погребу.

Она с Савиновым шла впереди, а Павел Иванович шагал сзади с Ольгой Петровной.

— Ты не простудишься, Павел Иванович? — спрашивала по обыкновению Ольга Петровна, и Лиза слышала этот с давних пор знакомый вопрос, ждала знакомого ответа; и ей было до

слез весело и смешно.

— Чего ради я буду простуживаться?.. Но понимаю, право! — сердито недоумевал Павел Иванович.

Воздух был густой, как мед, и с каждым вздохом, казалось, в грудь входило что-то могучее, сладкое, полное жизни и доходило до самого сердца.

— Ах, как хорошо... прелесть как хорошо! — повторяла Лиза. Восторг и робкая надежда расцветали в груди корнета.

— Чудная ночь! — немного в нос сказал он.

И Лизе показалось, что он прекрасно выразил именно то, что нужно.

Тишина на улицах была полная, и звезды беззвучно мигали в недосягаемой вышине.

А со следующего дня жизнь пошла простая, спокойная и солнечная. День проходил за днем радостно и мирно, а когда в голову приходило воспоминание о Петербурге и о том, что лето пройдет, Лизе становилось тяжело и тоскливо.

Уже в июле, когда после жарких и сухих дней наступили удивительные истомные ночи и сад блестел фосфорическими огоньками светляков, а небо роями бриллиантовых звезд, Лиза с корнетом поехали кататься на лодке.

Корнет сидел на веслах, а Лиза на руле. От одного берега до другого ровно колыхалась темная, глубокая вода, и в ней отражались и качались звезды. На берегу стоял темный и задумчивый лес, полный мрака и теплого влажного дыхания.

— Ах, Лизавета Павловна... если бы вы знали, как я скучал по вас!.. Сто раз думал: застрелюсь, и кончено... А потом думаю: вот придет лето, Лизавета Павловна приедет, а меня не будет, и я ее никогда больше не увижу... Так и не застрелился... — тихо говорил корнет.

— Так и не застрелились!.. — повторила Лиза и смеялась чисто, звонко и стыдливо-счастливо.

— Чудная ночь! — повторил корнет в нос, не спуская глаз с расплывающегося во мраке мягкого и изящного силуэта Лизы.

А ей бессознательно хотелось быть еще изящнее, еще привлекательнее, и каждое движение, которое она делала, было полно милой прелести, и каждый звук голоса — нежности и красоты.

У одного островка они высадились и пошли в лес, прижавшись друг к другу. Под деревьями было совсем темно и пахло сыростью и влажными, мягкими травами. Со всех сторон тихо светились слабые огоньки светляков, в полной тишине и тайне, казалось, делавших в траве какое-то свое важное углубленное дело.

Они остановились на лужайке и смотрели вверх на клочок далекого, темного неба со звездами и на обступивший их темный, таинственный лес. И что-то жаркое и властное тянуло их друг к другу. Чуть заметно, робко и стыдливо, дрогнула рука Лизы, и плечо, круглое, теплое и мягкое, прижалось к плечу корнета. Жар и холод охватили большое мускулистое тело корнета; одну секунду он чуть не схватил Лизу за круглые, мягкие плечи, чтобы всем вздрагивающим и млеющим телом прижаться к ней и прижать ее к себе, раздавить и подчинить властной ласке; но он не посмел и, скользнув вниз, опустил колени в мокрую траву и прижался головой и губами к ее руке, нежной и маленькой, с беспомощными,

слабыми пальцами.

— Идемте... — вздрагивая и путаясь, проговорила Лиза. — Идемте!.. — повторила она серьезно и строго, как всегда; но в голосе ее было что-то сладкое, как песня, и нежное.

Корнет встал, покорно подал ей руку, и они пошли.

Лес молчал, и светляки тихо светились в траве, и было тяжело дышать от счастливого, проникающего все тело, бесконечно сладкого напряжения.

Всю дорогу они молчали и боялись смотреть друг на друга; но стыдливые, счастливые улыбки не сходили с их лиц, и между ними все время чувствовалась какая-то таинственная, счастливая связь.

Дома Лиза долго и странно-серьезно смотрела на себя в зеркало и, раздеваясь, все движения делала медленно и лениво. А корнет, придя домой, кинулся головой в подушку и замер.

«Какая чудная ночь... какая чудная ночь», — вертелось у него в голове, и все богатырское тело дрожало и млело от счастья. VII

Дня через три после этого Лиза получила письмо от Доры Баршавской.

«Дорогая Лизочка! — писала Дора неаккуратно и размашисто. — Если бы ты знала, как скучно и скверно на душе! Проклятая контора вымотала из меня всю душу. В городе пустота и скука, жара... Ларионов уехал, а теперь я совсем, совсем одна. Прежде хоть он, бывало, ходил ко мне, — все не так было скучно. А воображаю, как ты там веселишься!.. Твой корнет опять возле тебя?.. Катаетесь, конечно, в лунные ночи на лодке, гуляете в темных аллеях задумчивого сада... Воображаю, какая прелесть! Хоть замуж-то, Бога для, не выйди! А впрочем, это твое дело... Ты не сердись на меня, но у тебя порядочная-таки склонность к мещанскому счастью, — это еще Паша Афанасьев замечал. Что ж, может быть, это и к лучшему: выйдешь замуж за своего корнета, народишь дюжину младенцев и будешь себе счастлива и долголетна на земле!.. Ну, пока до свиданья! Твоя Дора Б... Лизочка, прости меня! Я злая, скверная... Сейчас перечитала это письмо и вижу, какое оно подлое и злое. Но я все-таки пошлю его, чтобы ты знала, какая я дрянь. Но я такая бедненькая сиротинка, так мне скучно, тошно все... Такая я несчастная, что ты не будешь сердиться и простишь свою бедную Дору».

Лиза серьезно прочла это письмо два раза, сделала строгое лицо и тихо пошла в сад, где светило солнце и чирикали воробьи. Она медленно прошла через всю аллею и пришла к тому месту, где в прошлом году был перелаз в сад Афанасьевых. Там она долго стояла и, неподвижно глядя на серый, полуразвалившийся плетень, о чем-то думала. Солнечные пятна шевелились на дорожке и на ее сером платье, а над головой тихо шелестели зеленые листья. Опять ей послышалось, что где-то тут, в прозрачном воздухе, неслышимые, но ясно звучат слова покойного Паши Афанасьева, как будто они навеки остались и живут тут, одинокие, тихие и печальные, трогая в сердце невыразимо-нежные и грустные струны. Стало больно, и Лиза тихо заплакала. Слезы медленно выступали на светлых глазах и расплывались, а в них расплывались в неопределенно-зеленые пятна и плетень, и листья, и трава, и голубое небо.

Идя назад, она наткнулась на Василису, которая за зиму растолстела, раскраснелась и теперь вольно и грубо шутила с краснорожим, плотоядным кучером Семеном. Лизе показалось, что от них пахнет салом, и ей стало противно. Она ушла, строго глядя себе под ноги.

Вечером, как всегда, пришел корнет. Должно быть, он чуял что-то, потому что с его красивого, добродушного, пустого лица не сходило робкое выражение. Лиза была холодна, сурова и

молчалива.

Когда они остались одни, корнет робко спросил:

— Лизавета Павловна... что с вами? Лиза холодно посмотрела на него.

— Со мной?.. Ничего... — строго ответила она.

Корнет уныло помолчал, и сердце у него сжалось тоской.

— Но я вижу, что вы... Лизавета Павловна...

Лиза опять посмотрела на него, потом вдруг вытащила из кармана письмо Доры и подала ему.

— Что это? — испуганно спросил корнет. Лиза не ответила и пошла в сад.

Корнет остался на месте, долго и оторопело смотрел ей вслед, а потом стыдливо развернул письмо и прочел. Сначала он весь покраснел и тяжело задышал, так что на него страшно было смотреть, и в первую секунду казалось, что он порвет письмо в клочки, бросится на кого попало, закричит. Но тот обожательный страх, который он всегда питал к Лизе, смирил его. Он сконфуженно оглянулся по сторонам, аккуратно сложил письмо и пошел за Лизой, звонко гремя шпорами и сам пугаясь этого звука.

Лиза стояла у калитки и смотрела на улицу, по которой с пылью и дребезжащим блеянием проходило стадо.

— Лизавета Павловна!.. — тихо позвал он.

Лиза обернулась и серьезно уставилась ему в глаза. Корнет потупился и почувствовал, что все пропало, что то огромное и светлое счастье, приближение которого с таким восторгом он чувствовал, погибло и безвозвратно ушло куда-то далеко-далеко. Холод и мрак обняли его душу.

— Я не понимаю, Лизавета Павловна... — начал он упавшим, унылым голосом.

— Не понимаете?! — со странным выражением переспросила Лиза, и лицо ее исказилось. — Я сама ничего не понимаю... оставьте меня, оставьте! — вдруг истерически закричала она и бросилась бежать от него к дому, путаясь в длинной серой юбке и размахивая мягкой косой, колотившейся по плечам.

Корнет не спал всю ночь и все ходил из угла в угол по комнате. На столе горела свеча, было пусто и неудобно в голой комнате, и уродливо-огромная черная тень кривлялась на потолке и стенах вслед за корнетом. Часов в двенадцать он сел и написал прошение о переводе и об отпуске, а потом встал, подошел к своей шинели, висевшей в углу на гвоздике, хотел было вынуть из кармана револьвер, но вместо того отчаянно ударился головой о шинель и несколько раз произнес тихо и внятно:

— Лиза... Лиза... Лизочка!.. VIII

В половине февраля была оттепель и болезненно чувствительно напоминала весну запахом талого снега, темным, сырым небом и оживленно-резким стуком колес по обнажившейся местами мостовой.

Лиза и студент Корнев, высокий, черноволосый и смуглый человек, со жгучими черными глазами и горбатым носом, шли к нему на квартиру. На Корневе была студенческая шинель нараспашку, шапка сидела у него на самом курчавом затылке, и крепкий, звучный голос

заглушал стук колес и шум воды, бежавшей через тротуары из труб.

— Я не понимаю вас, Лиза... — говорил Коренев, сверкая глазами, как злое и хищное животное. — Если вы любите меня, а я знаю, что любите, то какой смысл уродовать свое счастье и вам и мне?.. Надо брать от жизни все, что она может дать!.. Я не люблю трусости, половинчатости и нерешительности!..

Лиза молча смотрела себе под ноги и чувствовала, как странно, сладко и страшно дрожат у нее ноги и руки и как щемит в груди. То ухо, которое видел Коренев, маленькое и красивое, алело у нее, как нежный густо-розовый цветок.

В комнате Коренева она не раздевалась и стояла у стола, распространяя от своей черной, гладкой кофточки запах свежести и холода, пока хозяйка Коренева не внесла самовар и не ушла, любопытно оглядев ее с ног до головы.

Коренев видимо был возбужден, и глаза у него горели темным, решительным блеском. Он был очень красив, и все движения его приобрели властный и дерзкий оттенок.

— Раздевайтесь же, Лиза! — сказал он, заперев дверь, и подошел к ней.

Лиза быстро взглянула на него, и тот страх, безотчетный, полудетский, который она всегда испытывала перед ним с самого начала знакомства, отразился на ее побледневшем, но по-прежнему серьезном лице.

— Ну, раздевайтесь же! — повторил Коренев и, протянув вздрагивающие руки, стал сам расстегивать ее кофточку.

— Я сама... — тихо проговорила Лиза. Она отколола шапочку и села к столу.

— Нет, что же вы... раздевайтесь! — возразил Коренев, стал ей помогать и вдруг быстро и грубо обнял ее, швырнул кофточку на пол и, подняв Лизу на воздух, одним движением повернул, так что коса ее мягко ударила его по лицу, и опустил на кровать.

У Лизы закружилась голова; страх и отчаяние, как при падении во сне в страшную пропасть, охватили ее; она сделала слабое усилие вырваться, изогнулась на подушке и вдруг затихла и закрыла глаза. И все поплыло вокруг в жгучем и страшном хаосе страдания и наслаждения.

Она встала тихо и не глядя на Коренева, прекрасная и жалкая в своем сером, измятом платье, с рассыпавшимися волосами и опущенной головой. Коренев дышал тяжело и редко. Глаза у него блестели и ноздри раздувались восторгом и силой. Станный, теплый запах окутывал их, и вся комната, казалось, тонула в каком-то горячем, сладострастном тумане.

Лиза ушла поздно. В коридоре было темно, и она старалась пройти его неслышно и незаметно. Но из двери хозяйки падала полоса света, и тощая, худая чиновница вышла на порог.

— Затворяйте, пожалуйста, дверь! — скрипучим голосом, в котором слышались презрение и насмешка, сказала она.

На лестнице Лиза остановилась, упала грудью на перила, твердые и холодные, и замерла, закрыв глаза. Перила вдавливались в упругую, небольшую грудь... Было холодно и пусто. Кто-то хлопнул внизу дверью, и стук гулко пронесся по всем этажам. И представилось Лизе, что она маленькая-маленькая, несчастная и униженная и что во всем свете она одна. В голове ее мелькнул образ Коренева, странно светлый и яркий, точно в каком-то ореоле, и погас бессильно в ее потемневшей и опустевшей душе. IX

Почти каждый день к Доре и Лизе, жившим теперь в одной комнате, приходили Ларионов и

Андреев и целыми вечерами постоянно спорили об одном и том же.

— Я понимаю теперь, — разводя руками, вскакивая и глядя поверх пенсне, говорил толстый, белобрысый Ларионов. — Теперь время борьбы для борьбы, — вот какая штука!.. Прежде на борьбу смотрели как на долг или как на печальную необходимость, — понимаете?.. А теперь находят наслаждение в самом факте борьбы... наслаждение чисто животное, эгоистическое, для самого себя, — вот в чем штука!..

— Верно! — одобрительно соглашался Андреев.

— Ну да... Только это очень просто, этак всякий обратится в зверя!..

— Нет, брат, врешь! — усмехнулся Андреев. — Это надо уметь... Зверем, как ты говоришь, таким зверем, как я понимаю, надо или родиться, или с детства воспитаться!.. А то будешь просто скотиной, и больше ничего!

Лиза внимательно слушала их, сидя в углу кровати, и представляла себе Коренева таким, каким не раз после того вечера он приходил к ней в отсутствие Доры. В первый раз она почувствовала к нему какую-то нежную жалость и хотела приласкать его, прижаться к нему и сказать что-то хорошее, нежное, со слезами на глазах. Но он был требователен, весел и жесток, смеялся и ласкал ее так, что после его ухода у нее болело все тело и целый день она была слаба и нездорова. Вейло от него силой и холодом, и Лиза стала бояться его по-прежнему и даже больше. То, что он делал с ней, было ей противно и стыдно. Но она не смела ему противиться и подчинялась покорно и робко. И теперь, слушая Андреева, она представляла себе Коренева именно тем зверем, о котором он говорил; и ей было стыдно, больно и страшно, чтобы никто не узнал о ее ужасе, унижении и страдании.

Дора была молчалива и сосредоточенна. Она почти не слушала спорящих и вся жила мыслью в том, что по ночам писала, пряча даже от Лизы. Ей казалось теперь, что наконец она нашла то, что ей было нужно, и когда ночью иногда в жгучем волнении вставала от стола и начинала тихо, чтобы не разбудить Лизу, ходить по комнате, голова у нее горела, глаза расширялись, необъяснимое волнение, сладкое и мучительное, теснило грудь. Она проводила рукой по сухому горячему лбу, и что-то светлое, славное и громадное рисовалось ей впереди.

Но в один серый и холодный день, в пустой и холодной комнате редакции ей вернули ее рукопись холодно и равнодушно.

Она шла домой через большой мост и тупыми, жалкими глазами смотрела в мутную, серую, уползающую в даль воду. В душе стало сразу пусто, холодно, не хотелось жить.

Навстречу ей попались две товарки по курсам, одна высокая, полная и красивая, другая маленькая и веселая, как кошечка. Они остановили Дору и со смехом, блестя глазами и оглядываясь по сторонам без причины, стали рассказывать о состоявшейся сходке.

— Если б ты слышала, как говорил Точников!..

И они передавали содержание его речи бессвязно и восторженно, а потом стали восхищаться его наружностью.

— Я не выношу блондинов!.. — говорила быстро и дробно, точно рассыпая бисер, маленькая курсистка. — Но это что-то особенное!..

Она блестя глазами, и щечки у нее розовели, точно от поцелуя. Большая смеялась полным и круглым звуком, закидывая голову. А Доре были они противны и докучны. Она бросила их и ушла. Девушки пошли дальше, звонко смеясь, а Дора, стискивая зубы, думала:

«Как мало им нужно, чтобы жить... Какая пошлость, какая пошлость!.. Господи, хоть бы умереть же...»

Ею овладела страшная злоба. Ей захотелось пронзительно крикнуть, ударить кого-нибудь, броситься ничком в грязный, талый снег, биться в нем, царапать его руками, грызть и кого-то проклинать; проклинать так отчаянно и злобно, как когда-то при ней худая, заморенная еврейка, с безумными глазами, проклинала Бога и людей над трупом погибшего во время погрома сына.

Это было такое острое и мучительное чувство, что ей самой стало страшно и тяжело.

— Да что, в самом деле, случилось? — пыталась она спросить себя. — Ну и пусть у меня нет таланта... что ж из этого?..

— Не таланта, — отвечала она сама себе, — у меня ничего нет... На сходках я только молчу, учиться мне только скучно... я заурядная, ничтожная... Но это не может быть!.. Тогда лучше не жить!..

Дома она впала в тяжелую и безнадежную апатию, и Лиза не могла вывести ее из напряженного, тупого молчания.

— Дорочка, милая... да что с тобой? — спрашивала она тихо и трогательно. — Ведь ничего не случилось.

И почему-то Доре казалось обидным это предположение Лизы; хотелось раскрыть перед нею какую-то мрачную и унылую бездну и осветить себя трагическим светом.

Однажды ночью Дора вдруг встала с кровати, босая и в одной рубашке, маленькая и тоненькая, с растрепанными, сухими черными волосами, подошла к Лизе и села к ней на кровать.

— Лиза, — исступленно зашептала она, ломая сухонькие, смуглые руки, — я говорю тебе, что я больше не могу!.. У меня была одна надежда подняться над толпой... Я не знаю, что теперь делать с собой и чего желать!.. Все кажется безнадежным, серым... И это жизнь!.. Если бы ты знала, что я передумала и перечувствовала за это лето в этой проклятой конторе, где на меня смотрели как на какое-то ничтожество... И каждый контролер смотрел на меня сверху!..

— Дорочка, это пройдет...

— Что пройдет? — почти крикнула Дора, с каким-то болезненным наслаждением прислушиваясь к собственным мрачным и резким словам. — Я не ребенок, чтобы впасть в отчаяние от случайной неудачи... Нет, я чувствую, что у меня в душе нет того, что дает людям возможность жить. Я не так глупа, чтобы утешаться какими-то игрушками... Я могла бы жить, если бы чувствовала себя вверху... над всеми... большой, смелой, гордой!.. А так, учиться, ехать, одною из тысяч, в глушь какую-нибудь, лечить всю жизнь каких-то идиотов, состариться и умереть так же незаметно, как жила... Неужели ты не понимаешь, какой это ужас!.. Пойми, целую жизнь! Лучше смерть! — страстно выкрикнула Дора, трагически вытягивая голые смуглые руки.

Лиза смотрела на нее большими, серьезными и строгими глазами и лежала неподвижно. Слышно было, как на хозяйской половине что-то скрипело, точно там качали деревянную люльку.

Дора молчала и смотрела прямо перед собою, широко открыв черные, миндалевидные глаза. И ей казалось, что в этих глазах Лиза видит сейчас что-то роковое, трагически прекрасное. Случайно высказанная мысль, казалось ей, осветила ее ужасным и красивым светом. И Дора

подумала, что ничего нет красивее, величественнее и легче, как убить себя.

— Лучше смерть! — повторила она, сжав брови и прислушиваясь к своим словам.

Лиза поднялась на локте и серьезно кивнула головой.

— Я уже думала об этом... — просто, но с какой-то зловещей серьезностью сказала она.

Дора долго молчала и думала. Ей показались странными слова и тон Лизы, но долго останавливаться на них она не могла.

Ей хотелось думать о себе. Лиза хотела еще что-то сказать, побледнела, шевельнула губами, но вздохнула и промолчала. Потом Дора тихо встала и сказала:

— Пойдем пройдемся... Мне что-то нехорошо...

Лиза кивнула головой и встала, откинув одеяло. И почему-то Дора в первый раз за все время обратила внимание на ее мягкую, стройную спину, покатые голые плечи и точеные, круглые ноги.

Они оделись и вышли. На лестнице было темно и мрачно, под воротами спал дворник, похожий на кучу вонючей овчины. На улицах, слабо освещенных рядами мертвых, желтых фонарей, было пусто и просторно, как на площадях. Они долго ходили по пустому городу, мимо молчаливых домов, с черными, слепыми окнами. Попадались им навстречу черные люди и исчезали, как тени. Дора тихо говорила о бесцельности и никчемности жизни, о своем решении уйти от нее. Она старалась подбирать только самые грустные, значительные слова, и когда они не подбирались и выходило шаблонно, ей почему-то было мучительно неловко.

Они были на набережной, когда за серовато-синими силуэтами крепости небо стало прозрачным и холодно-розовым. И вода также стала розовой и холодной. Широкие волны глухо ударяли внизу о камни, а вокруг все стало серовато-синим и прозрачным. Стекла окон заблестели стеклянным, розовым блеском и сделались еще безжизненнее и глуше. Наступило утро. Они сели на каменную, сквозь платье проникавшую холодом скамью и долго молча смотрели на реку.

Где-то, еще невидимое, всходило солнце. Уже шпиг крепости и верхушки домов засверкали красным светом, в котором стекла окон засияли, как звезды; а над широкой, то розовой, то синей рекой все еще было холодно и пусто. Только чуть видный туман скользил вдоль берегов, и его бледные утренние тени, колыхаясь, поднимались навстречу солнцу и бессильно таяли над холодной, мутной водой. X

С этого дня жизнь двух девушек пошла странно и тяжело. Стоило им остаться одним, и Дора начинала говорить все о том же, точно кто-то, сильнее ее, толкал ее. Ей было страшно и интересно говорить и думать, что она действительно может сделать так. Лиза смотрела на нее страдальческими и покорными глазами и казалась Доре жалкой и подчиненной. И Доре доставляло почти сладострастное наслаждение мучить ее своими речами. Мучить и страдать от ее страданий самой.

В угнетающей атмосфере постоянных разговоров о смерти становилось душно и невыносимо, и начинала вставать грозная необходимость найти тот или другой выход.

И чем ближе приближалась Дора к этой необходимости, тем острее было какое-то странное наслаждение. Временами ей казалось, что она все ближе и ближе наклоняется над пропастью, и хотя в глубине души она не верила возможности упасть, ей хотелось верить и заставить поверить и Лизу. И когда ей удавалось, Дора чувствовала себя сильной, красивой и наслаждалась этим. Временами, когда ей почему-либо становилось весело и легко, Дора

стыдилась своего веселья, точно оно снова делало ее маленькой и обыкновенной, и насильно опускалась в мрачное и решительное отчаяние. И то, что Лиза постоянно была грустна и бледна, часто плакала и слушала ее серьезно и печально, — помогало Доре настраиваться и верить в свое решение.

В одну напряженную, тяжелую минуту, когда разговор принял уже невыносимо острый, мучительный характер, Дора назначила день, и в этот день Лиза пошла к Кореневу.

— Ты подожди меня! — серьезно сказала она Доре. — Мне надо... тут...

Дора подозрительно посмотрела на ее вдруг покрасневшее лицо, но ничего не сказала. Ей показалось, что Лиза боится и бежит, и в самой темной глубине ее души шевельнулось что-то робкое и таинственное, как нехорошая надежда, в которой нельзя признаться самому себе.

Студент был дома и при виде Лизы вскочил и обрадовался.

— А, Лиза! — ярким голосом вскрикнул он. — Вот не ждал!

Лиза молча вошла и, не раздеваясь, села у стола. Коренев насильно стал раздевать ее и, уже раздевая, стаскивая узкую кофточку с полных и круглых плеч под натянутым серым платьем, стал возбуждаться, блескеть глазами и раздвигать тонкие ноздри.

Лиза опять села у стола, но Коренев поднял ее за руки, сел на кровать и посадил ее к себе на колени. Лиза сидела покорно и как-то слабо.

— Что это значит? — спрашивал Коренев. — Чему мы обязаны честью?

— Я скоро умру... — вдруг проговорила Лиза, и в ее всегда спокойных глазах появилось на мгновение что-то жалкое и молящее.

— Ух!.. Не может быть! — засмеялся Коренев. — Да, не может того быть! — повторил он, сдавливая ее мягкие, теплые ноги коленями и чувствуя, как все его тело дрожит и напрягается.

Лиза подняла на него печальные глаза, посмотрела и промолчала.

Коренев вдруг повалил ее через колено на кровать и стал целовать в шею и серое жесткое платье на мягкой груди. Лиза не сопротивлялась и отдалась ему так же покорно и безответно, как всегда. Потом встала, строго и серьезно посмотрела ему в глаза, как будто надеясь что-то увидеть, и задумалась.

— Ну, что же... будем теперь чай пить? — спрашивал Коренев, немного вспотевший, разгоряченный и счастливый.

— Я пойду... — тихо сказала Лиза.

— Чего ради?

— Так... — грустно ответила Лиза и вдруг робко и трогательно-нежно взяла его за руку.

Коренев пожал плечами.

— Странная ты какая-то... — сказал он. — Ну, как хочешь. Лиза тихо выпустила его руку, глядя в пол, потом встала и оделась и посмотрела на Коренева.

— Спасибо, что пришла... — почему-то сказал Коренев. Лиза вздохнула и затворила дверь. Коренев слышал, как хозяйка в передней проворчала ей вслед:

— Шляется... а еще барышня, курсистка! XI

Лиза шла по улицам. Уже смеркалось, и зажигали фонари. Она шла быстро и легко, немного подавшись вперед и глядя на мокрые плиты тротуара. Кто-то обогнал ее, и маленькая белая собачонка попала ей под ноги. Лиза вздрогнула и быстро подняла глаза.

Впереди степенно шел маленький гимназистик, в серенькой шинели и большой фуражке. Белая веселая собачонка бежала сзади, поминутно не соразмеряя скорости и удивленно тыкаясь гимназистика в ноги.

Необычайно теплое и нежное чувство волной наполнило грудь Лизы, и глаза у нее стали мокрыми. Ей болезненно ярко вспомнились Сережа и лаечка. И чувство давящего одиночества сменилось горячим чувством нежности и радости. Она свернула со своей дороги и, сама не зная зачем, пошла за гимназистиком и его белой собачкой. Они шли долго, и все время Лизе было и легко, и грустно, и хорошо, она забыла о том, что надо идти домой, и, крепко прижав муфту к груди, не спускала глаз с маленькой серой шинели и ушастого большого картуза над розовыми торчащими ушами. По временам гимназистик оглядывался и с недоумением смотрел на высокую, полную барышню, неотступно идущую за ним. Она улыбнулась ему робко и чуть заметно; а он опять поворачивался и, желая доказать свою независимость, кричал пискливым голосом:

— Фарсик, иси... не смей бегать!.. Я тебе дам!..

Фарсик озабоченно острил белые ушки и, подняв хвост калачиком, тыкался ему в ноги. Лиза тихо смеялась.

«Домой, домой!» — пело что-то сладкое и радостное у нее в груди.

Вдруг гимназистик быстро повернул к калитке, оглянулся еще раз на Лизу и, видя, что она остановилась, демонстративно крикнул:

— Фарсик, сюда!

Белый Фарсик махнул через порог, и серая железная калитка плотно закрылась.

Лиза как-то неожиданно осталась одна. И так же быстро, как пришло, так же и ушло теплое, нежное чувство радости. На улицах было грязно и пусто и желто блестели фонари. Шли люди, отражаясь в мокрых камнях, и в сумраке казались безличными.

Лиза постояла на месте и пошла назад, пошатываясь на ослабевших ногах.

Сережа, дом, отец — все бессильно мелькнуло в ее голове и исчезло. И одно давящее и безнадежное сознание, что она «не может» уже вернуться туда, что той Лизы, которая, веселая и чистая, жила в том старом доме с Сережей, с лаечкой, со спокойствием и радостью, — уже нет и никогда ну будет.

Чувство, похожее на то, как будто она быстро пошла ко дну, в пустую, мутную, зеленоватую воду и вода глухо зашумела в ушах, затемнило все в ее глазах и душе. Широко раскрыв глаза, Лиза, с ужасом подняв обе руки, отчаянно прижала муфту к виску и остановилась.

— Конец! — сказал у нее в душе холодный, решающий голос. И в ней все затихло, упало, стало пусто и мертво. XII

Когда Лиза пришла домой, Дора ничком лежала на кровати. Услышав стук, она быстро, как от толчка, приподнялась и уставилась на Лизу горящими, воспаленными глазами.

— А, это ты... — проговорила она звенящим, неверным голосом. — Как ты меня испугала!..

Лиза машинально разделась, зажгла лампу и увидела на столе лист бумаги, исписанный Дорой, и черный, уродливый револьвер, смутно поблескивающий холодным, металлическим блеском.

Дора встала и подошла.

— Смотри, что я написала... — каким-то неестественным голосом проговорила она. Ей было неловко и стыдно чего-то, хотя она и старалась уверить себя, что все в ее поступках и словах — красиво и мрачно.

Лиза облокотилась одним локтем на стол и молча прочла: «В смерти нашей, конечно, просим никого не винить. Мы умираем оттого, что жизнь вообще не стоит того, чтобы жить».

— Я думаю, что этого достаточно? — со странным авторским самолюбием вздрагивающим голосом проговорила Дора, мучительно чувствуя, что все выходит как-то наивно, глупо, и оттого стыдясь взглянуть Лизе в глаза.

Лиза молчала и стояла в неудобной позе, облокотившись одним локтем на стол. Коса свесилась у нее через плечо и свернулась на столе. Лизе вдруг захотелось взять перо и приписать еще что-то другое, самое главное для нее, что наполняло ее грудь и сжимало сердце. Но она только вздохнула и медленно выпрямилась. Потом тронула револьвер пальцем и оставила.

— Да, что ж... мне все равно... — тихо проговорила она.

Наступило тяжелое и мучительное для Доры молчание. «Надо же что-нибудь делать... Как все глупо выходит...» — мелькало у нее в голове.

— Надо запереть дверь... — сказала она нерешительно и краснея.

Лиза тихо прошла и заперла дверь... Опять наступило подавленное молчание, и становилось все тяжелее и тяжелее. Лиза стояла у двери, а Дора у стола. Что-то огромное, невыносимо страшное и нелепое выползло из всех углов и наполняло комнату. Доре показалось, что лампа начинает тухнуть.

«Да что же это такое!» — хотела крикнуть она, но вместо того спросила:

— Где ты была? — таким странным голосом, точно что-то круглое сидело у нее в горле.

Лиза тоскливо повела на нее глазами и не ответила.

— Ну, что ж... надо к...кончать... — с усилием ворочая коснеющим языком, будто какой невероятной тяжестью, сказала Дора.

Лиза глухо ответила:

— Да...

Дора протянула руку и, не веря себе, взяла револьвер. Холод и дрожь пробежали у нее по всему телу. Ее стала бить лихорадка, мучительная и страшная. Все звуки стали вдруг глухи и слышались как будто издали. Казалось, что какой-то туман поднимается с пола и становится кругом, отделяя ее от всего мира. Когда она приложила револьвер к виску, и холод, железный и острый, мгновенно пронизал ее череп, лицо Доры страшно исказилось, как будто в бессильной смертельной борьбе.

«А вдруг та не застрелится, и я останусь в дураках! — с острой и нелепой подозрительностью мелькнуло у нее в мозгу. — А впрочем... Это все так... чепуха!» — подумала она в ту секунду,

когда уже чувствовала, что сейчас нажмет спуск конвульсивно сжимающимся пальцем. Как сквозь стену она услышала, как Лиза что-то сказала, и быстро опустила револьвер. Невыразимо сладкое облегчение и страшную слабость почувствовала Дора и опустилась на стул.

— Я... сначала... — сказала Лиза с непонятным, печальным состраданием и тоской.

Дора молчала и смотрела на нее безумно выпученными глазами. Зубы у нее стучали.

— Потом ты... — добавила Лиза строго.

Она подошла к столу, взяла револьвер из ослабевших пальцев Доры и спокойно и аккуратно приложила его к левой стороне груди, слегка прижав мягкое тело.

Дора видела ее серьезные, немного выпуклые, серые глаза и лицо в тени, и ей все больше и яснее казалось, что все это какая-то странная, скверная шутка, неизвестно чья и над кем. В следующий момент лицо Лизы отчетливо и страшно изменилось в выражении невыразимой тоски и отчаяния, оглушительный грохот ахнул у Доры в ушах, и почему-то послышался резкий звон разбитого стекла. Лиза покачнулась, коротко взмахнула рукой и, страшно широко раскрыв глаза, цепляясь за стол и опрокидывая на себя стакан с холодным чаем, во весь рост повалилась на спину. Стул опрокинулся и с грохотом откатился на середину комнаты.

— Ай!.. — ужасающим голосом, острым как нож, пронзительно закричала Дора, обеими руками хватаясь за голову... — Лиза!..

Какой-то кровавый кошмар наполнил ее голову, все закружилось вокруг в невероятном вихре, и Дора с размаху ударилась о дверь.

— А... а...а...а...а!.. — долгим, равномерно ужасным и пронзительным криком кричала она, в исступлении царапаясь в запертую дверь, которая уже дрожала и рвалась от ударов снаружи.

В коридоре громко и тревожно гудели многочисленные голоса. XIII

На улицах было еще почти светло, но фонари уже горели, и их золото странно и красиво блестело в синеватом сумраке летнего вечера.

Как-то напряженно тихо было в пустой квартире. Горела только одна лампа в столовой и, как огромная мертвая огненная бабочка с распростертыми крыльями, неподвижно висела над белым столом. Слышно было, как где-то скучно тикали часы, точно для собственного развлечения наедине отсчитывая никому не нужное время. Были спущены все шторы, и оттого казалось, будто за стенами — черная, непроглядная глухая ночь.

Закутавшись в большой теплый платок, Дора тихо лежала на кровати в маленькой, темной спальне и думала.

Прошел год со дня смерти Лизы Чумаковой, и на ее могиле, должно быть, давно уже проросла вторая трава. Черной полосой был этот год для Доры: острая грусть, болезнь, ядовитый стыд истомили ее. Лицо у нее похудело, глаза стали блестеть болезненным выражением, голова стала еще больше, а тело меньше и слабее. Но в душе ее по-прежнему жило что-то беспокойное, что жгло ее сознанием своей незначительности, неодолимо толкало на поиски великого, красивого и сильного, в один год протащило ее через всю Россию, сквозь тысячи опасностей и втокнуло наконец в эту пустую, зловещую квартиру, в которой зародился и вырос обширный террористический заговор.

Было страшно холодно и невыносимо тяжело думать о том, что должно было произойти завтра, но все-таки Дора знала, что пойдет и сделает все, и душа ее наполнялась наивным,

тайным восторгом, что именно ей поручена ответственная и опасная роль. Огромное кошмарное дело политического заговора как-то расплывалось, не укладывалось в сознание, и Дора видела только себя, с замиранием сердца представляя себе свое спокойное и гордое лицо среди какого-то кровавого хаоса.

Она лежала тихо и смиренно, и только глаза у нее блестели в темноте, как у спрятавшейся мыши.

В соседней квартире, за глухой стеной, что-то упало, и почему-то это тяжелое падение опять вызвало со дна ее памяти скорбные воспоминания, целый год мучившие ее как тяжелый бред. Стала опять сверлить вечная мысль о том, что она не сумела умереть так просто и хорошо, как Лиза. В сотый раз она попыталась объяснить себе это случайностью и в сотый раз поверила, но в самой глубине души, в темном, никому не ведомом уголке, снова заныла болезненная, кровоточащая ранка.

Стало страшно и стыдно, и одиноко, и тяжело, как никогда.

Звонок задрожал в передней, и звук его, острый и предостерегающий, пробежал по всей квартире, сначала тихо, потом громко и отрывисто, а немного спустя опять тихо и долго, точно просясь.

Что-то испуганно вздрогнуло в груди, но сейчас же исчезли воспоминания, и оттого стало легче. Дора торопливо встала и пошла в переднюю. В столовой уродливая черная тень родилась от нее на стене, кривляясь, проводила до дверей и скрылась в темной передней.

На лестнице было светло, и фигура Андреева, в пальто и ушастом картузе, отчетливо вырисовывалась в ярком четырехугольнике открытой двери.

— А, это вы? — тихо сказала Дора. — А остальные? Андреев неторопливо запер дверь, снял шинель и шапку и тогда только ответил:

— Они придут в девять часов. Незнамову надо будет дать поесть. Он здесь останется ночевать.

— У меня все готово... — ответила Дора.

Они прошли в столовую, Дора села на кушетку, по-прежнему кутаясь в платок до самого подбородка, точно ей все время было холодно.

Андреев принес из передней какой-то сверток, отпер шкаф и осторожно, как стеклянную вещь, положил его на полку.

— Вы тут поосторожнее... — предостерегающим голосом сказал он.

Наступило молчание. Андреев медленно прохаживался из угла в угол. Дора молча следила за ним глазами, и ей казалось, что во всей квартире висит что-то тяжелое, что давит ей грудь и голову.

— Ну, что... все готово? — спросила она только для того, чтобы не молчать.

Андреев, должно быть, понял это, потому что ничего не ответил.

— Кто такой Незнамов? — опять спросила Дора. Андреев внезапно остановился перед ней, перестал дергать усы и улыбнулся.

— Я не могу сказать этого даже и вам... Да это все равно. Хороший человек... настоящий... это самое главное... Ну, впрочем, скажу, что он студент.

Андреев опять стал ходить по комнате и кусать усы.

— Не знаю, чем все это кончится... — заговорил он раздумчиво. — Но если они пропадут, то будет скверно... Нам таких людей скоро не нажать. Да... В другой стране они сделали бы великие дела, а тут, чего доброго, пропадут ни за грош...

— Ну же... где же ни за грош! — протянула Дора.

— А вы думаете, я бы их отдал за какую-то старую сановную обезьяну?..

Дора улыбнулась.

— Вы так говорите, точно сами не рискуете... — сказала она с невольной легкой лестью.

Андреев махнул рукой:

— Нет, я что... моя роль самое большое «шлиссельбургская»... А их прямо на виселицу... А жаль. Я их обоих хорошо знаю ведь. И оба они мне дороги так, что я, пожалуй, спокойнее сам бы пошел...

— Почему же вы и не пошли?

— Нельзя же всем сразу... — улыбнулся Андреев. — Придет и мой черед.

— Так вы Незнамова знаете?

— Да. Я его давно знаю... Сложная, богатая натура... Коренев — это борец по природе... по темпераменту... Он потому только и взялся за дело, что в настоящее время нет выше и отчаяннее борьбы, как революционная... Только в борьбе за свободу, когда все силы человеческие напрягаются для того, чтобы или разорвать цепь, или самому погибнуть, возможно такое высокое напряжение... Коренев, в сущности, жестокий человек...

Да... А Незнамов только ожесточенный... Он ведь удивительно добрый и нежный... Все настоящие анархисты, должно быть, такие же добрые, чуткие люди: та огромная масса зла, грубости и несправедливости, которая наполняет мир и которая для нас только печальный факт, — для него настоящий ужас!..

Андреев остановился и стал задумчиво жевать кончик левого уса. Глаза у него стали мягкими и задумчивыми.

— Есть такие натуры, — опять заговорил он, — которые поднимают на себя все зло мира и переживают его в глубине своей уединенной души от начала до конца... и душа у них окровавленная... да. Им становится непереносимо и невозможно только сострадать и возмущаться, потому что общее страдание уже становится их собственным страданием. Наступает тот момент, когда у них душевная боль достигает такого невыносимого напряжения, что... надо уже или самому умереть, или вступить в активный бой. И тогда эти мягкие, нежные, музыкальные души становятся неподвижно напряженными, ожесточаются... да. А душа у Незнамова чистая, святая... Жаль, если он пропадет!..

Андреев махнул рукой и зашагал по комнате. Опять слышно стало, как скучно и монотонно тикают часы. Дора сидела, понурившись, и неясная, тайная для нее самой мысль, что у нее душа тоже какая-то особенная, — приятно и стыдливо пронеслась у нее в голове.

— Да... Так-то, Дора Моисеевна! — проговорил Андреев. — Помните же, вы будете стоять на углу так, чтобы нам было видно и с вокзала, и от переулка. Когда поезд придет и князь выйдет из вагона, акушерка выйдет на крыльцо и махнет рукой извозчику. В это время вы должны обмахнуться платком, точно вам жарко, и этот сигнал передадут до кофейни; а когда

князь сядет в карету, вы повторите сигнал. По второму сигналу Незнамов и Коренев выйдут навстречу... Вот...

— Помню... Неужели вы думаете, что это можно забыть? — возразила Дора.

— Я этого не думаю... — спокойно ответил Андреев. — Но на мне лежит обязанность проверить... Вы, главное, не волнуйтесь.

Дора отрицательно покачала головой. Стало тихо, и долго было тихо, пока не прозвучал в темной передней новый звонок, точно повторяя заученный звук.

— Ну, вот и они... — сказал Андреев спокойно и пошел отворять.

Слышно было, как загремел дверной крюк и вошли люди. Дора подняла голову и заблестевшими глазами уставилась навстречу.

Коренев был так же высок, красив и размашисто подвижен, как и прежде. Незнамов был так же высок, как и он, но тоньше и изящнее его. Был он белокур, с большими глазами и мягкими волосами, и болезненно неожиданно напомнил Доре покойного Пашу Афанасьева. Оба они пожали ей руку.

— Вы бы нам чаю дали, товарищ Баршавская... — шутливо сказал Коренев, сразу наполняя всю тихую квартиру своим голосом, фигурой и силой движений. Доре показалось, что от него пахнет свежестью и воздухом, как будто он пришел с мороза.

— Хорошо... — стараясь попасть ему в тон, притворно спокойно ответила Дора и ушла в кухню, где долго ставила самовар, неумелыми руками роняя крышку и просыпая уголь.

Из столовой ей были слышны голоса и смех Коренева, беззаботно и оживленно рассказывающего, на какие уловки пришлось им пуститься, чтобы сбить с толку преследовавшего их сыщика. А когда она вернулась, Коренев говорил, сидя верхом на стуле:

— Кто мне нравится, так это наша акушерка!.. Вот особа!.. Она и во время светопреставления будет так же спокойна, как на родах!.. А знаете, я эти два дня чувствую, что живу... Жаль только, что все скоро кончится!

— Подожди еще! — угрюмо возразил Андреев.

— Нет, брат, — засмеялся Коренев, весело скаля белые зубы, — нам с ним один день, а там — фью!..

Белокурый Незнамов молча постучал тонкими, худыми пальцами о край стола, точно выстукивая ему одному слышный мотив.

От веселого голоса Коренева и его короткого, выразительного свиста смутный холод вдруг поднялся и подступил к самому затылку Доры. Ноги у нее задрожали, и, охваченная внезапной слабостью, Дора присела на край кушетки. Как сквозь туман слышала она, что говорил Коренев, и его громкий, бодрый голос странно глухо доходил до нее.

— Скверно то, что людей мало... Берутся все, а как до дела дойдет — и пиши пропало.

Дора опомнилась. Ей постоянно мучительно казалось, что высокий и красивый студент в глубине души презирает ее, и в его присутствии она всегда подтягивалась.

Она торопливо улыбнулась, бросила робкий и быстрый взгляд на Незнамова и встала.

— Чай будете пить с лимоном? — спросила она.

— Я?... Да... — машинально ответил Незнамов.

За чаем, которого никто не пил, кроме Коренева, больше молчали, и в этом молчании как будто слышнее было, как идет время и приближается страшный роковой день.

— Ну, мы уходим... — сказал Коренев, поднимаясь. — До завтра!

Все встали.

— Вот Дора Моисеевна укажет вам, где все лежит... — серьезно и деловито сказал Андреев Незнамову.

— Хорошо. Прощайте! — ответил тот.

Одну минуту все напряженно молчали, как будто не знали, что дальше делать.

— Да, — тихо сказал Андреев, — может быть, больше и не увидимся...

Он подошел к Незнамову и обнял его нежно и искренно.

— Прощайте, голубчик!.. — ласково ответил Незнамов.

И от этого ласково-печального голоса и затуманившихся глаз Андреева Доре вдруг стало невыносимо остро жаль и себя, и их всех. Слезы выступили у нее из глаз и покатались мимо носа, на вздрагивающие губы.

Коренев крепко пожал руку Незнамову и молча улыбнулся. Незнамов ответил ему такой же тонкой, печальной улыбкой.

Потом Коренев и Андреев ушли, а Дора пошла запереть за ними дверь и долго прислушивалась к удаляющимся шагам. Хлопнула вниз дверь, и все стихло.

Когда она вернулась, Незнамов стоял у окна и, чуть-чуть отодвинув штору, смотрел на улицу. Была еще ночь, и улицы были странно пусты, но небо уже сияло прозрачным утренним светом, и последняя звезда нежно голубела высоко над землей.

— Уже светает... Короткие у вас ночи... — ласково улыбаясь, сказал Незнамов, услышав шаги Доры.

— Да... — застенчиво ответила Дора и машинально стала прибирать на столе.

У нее было странное, смешанное чувство: и впервые вошедшего ей в голову сознания бесповоротности решения, и смутной девической неловкости, и наивной, гордой радости, что она остается одна в последний вечер с человеком, имя которого завтра пронесется по всей России и заставит задрожать ужасом самые каменные сердца недоступных и властных людей.

На дворе медленно, но неуклонно разгоралась заря нового дня, и его розовые, еще бледные отблески ложились на светлые волосы и лицо Незнамова.

Он тяжело вздохнул, отошел от окна и, мягко улыбаясь, сказал Доре:

— Быть может, это последнее утро, которое я встречаю... Одного мне только и жаль!.. В сущности говоря, я большой мечтатель: люблю солнце, небо, осень, весну... люблю траву... все светлое, тихое, жизнерадостное... и мне вовсе не хочется никого убивать, не хочется умирать...

— Почему же вы идете на это? — робко спросила Дора, и в ней опять шевельнулось гордое

сознание, что вопрос ее — вопрос исторический.

— Как вам сказать?.. — слабо улыбаясь, ответил Незнамов. — Вернее всего, что именно потому, что чересчур люблю жизнь и мне слишком больно смотреть, как ее уродуют!..

Он стоял перед Дорой высокий, тонкий и весь какой-то светлый и все улыбался, а горло Доры опять сжалось острой тоской и, чувствуя, что сейчас расплачется, она торопливо протянула ему руку и сказала, не глядя:

— Дай Бог, чтобы все это благополучно окончилось...

— Нет, что ж... — махнул рукой Незнамов. — Все равно... Не в этот раз, так в другой... все равно... всех тех, которые довели народ до такого ужасного состояния, я считаю своими врагами, и если мне удастся спастись теперь, я пойду и убью другого. Все равно...

Дора подняла голову и посмотрела ему в глаза: они были светлы и печальны. Что-то большое, светлое и невыразимо дорогое вошло от этих глаз в душу Доры, и она показалась себе самой неизмеримо маленькой и ничтожной. Но на этот раз это сознание почему-то было не мучительно, а даже трогательно. Слезы опять выступили у ней на глазах.

Шторы побелели, и за ними слышались первые слабые и одинокие звуки жизни.

— Нет ли у вас бумаги и чернил? — спросил Незнамов. — Я хочу написать матери... потом вряд ли удастся.

Дора не могла говорить и только кивнула головой. Она принесла ему бумагу, постояла, хотела что-то сказать, но ничего не могла и ушла в спальню.

Долго потом она лежала неподвижно, закутавшись в свой большой, мягкий платок, прислушиваясь к шороху бумаги и его движениям, и ее маленькое, одинокое сердце разрывалось от жалости, от грусти и светлого влюбленного чувства к этому человеку. Хотелось встать, пойти к нему, приласкать, заплакать над ним, и своим телом, своими объятиями оградить и защитить его от грядущего ужаса. Но она лежала неподвижно и только тихо плакала, боясь, чтобы он не услышал. XIV

Над городом висело пыльное и дымное небо, в которое было больно смотреть.

По проспекту и по смежной улице быстро катились экипажи и были так похожи друг на друга, что казалось, будто они нарочно ездят взад и вперед по одному месту. По обоим тротуарам шли люди, торопливо разворачиваясь в бесконечный, пестрый свиток. От домов лежали короткие, синеватые тени, и было так жарко, что трудно дышалось.

Доре было тяжело и нудно стоять. От бессонной ночи, недавней болезни и тяжелой тревоги слабость проходила по всему телу и тихо кружила голову с горячими, потными висками. Она стояла на углу улицы, в короткой и душной тени, и поверх голов проходящих людей напряженно смотрела в сторону вокзала.

На его широком подъезде, раскаленном солнцем, стояли носильщики в белых фартуках и поднимались и спускались люди. Быстро подъезжали извозчики и медленно отъезжали. Над фронтоном высоко круглились часы и как будто наблюдали строго и точно за всем, что происходило на площади.

Доре казалось, что она всегда стоит тут и всегда смотрит на эти часы, на сверкающие на солнце белые фартуки носильщиков, на широкие каменные ступени. Старое, давно знакомое здание вокзала как будто отделилось от всего мира и стояло тяжелое и зловещее. И если бы Дора даже захотела, она не могла бы уже оторвать от него своих воспаленных и напряженных до боли глаз. Оно давило ее.

Тупая тревога все росла и росла в груди. Было жарко, но под сердцем стоял холод и колени дрожали мелкой, мучительной дрожью. Это было незаметно, но Доре казалось, что эта дрожь должна кидаться всем в глаза, как уродливая судорога. Вокруг нее дробились, путались и звенели тысячи разнообразных, ярких звуков, то поднимаясь, то падая, как волны; но они незаметно, бледно входили в сознание Доры, а каждый тихий, непонятный звук предостерегающе ярко врезался в мозг, вызывая острые толчки в сердце и липкий, холодный пот на раскаленных висках. Люди шли и шли, и тысячи незаметных пестрых лиц мелькали в глазах.

Иногда это было так мучительно, что ей хотелось опрометью убежать отсюда на край света, броситься на кровать лицом к стене в тихой, как норка, комнате и долгие часы, всю жизнь видеть перед собою только простенькие, пестренькие обои.

«Если это так мучительно, так кто же меня заставляет?..» — мелькало у нее в мозгу удивленно и просто, так просто, что временами хотелось пожать плечами, повернуться и тихо, с улыбкой уйти. Но Дора делала над собой мучительное усилие, крепко сжимала в себе что-то дрожащее и болезненное, и в неестественно обостренном сознании у нее билась мысль: «Неужели же я так боюсь?..»

И эта мысль о маленькой, жалкой трусости вызывала в ней бледный, далекий образ Незнамова и становилась так невыносимо ужасна, что на мгновение ей даже становилось легче: робость исчезала, ноги стояли тверже и в глазах смягчалось болезненно-жгучее напряжение.

Мимо нее, легко и ровно ступая, прошел высокий человек с тонким лицом и подстриженными в скобку черными, курчавыми волосами, в поддевке и высоких сапогах. Дора мельком взглянула на него, и, как сотни людей, проходивших мимо, он уже почти ушел из ее глаз, но вдруг что-то знакомое кольнуло ее, и Дора узнала Коренева. У него было спокойное и даже будто веселое лицо, но оно было как-то странно неподвижно, как каменное.

Коренев прошел быстро, не останавливаясь, но на ходу, под грохот экипажей и шум шагов, глядя не на Дору, а прямо перед собой, проговорил:

— Смотрите... теперь скоро...

Последнее слово Дора не услышала, а почувствовала. Он прошел и скрылся в толпе, а в ушах Доры остались эти быстрые, мгновенные слова.

По пятам за ним прошел какой-то толстый господин в цилиндре, с бритым чиновничьим лицом. Дора быстро взглянула и ему в глаза; но это было совершенно чужое, плоское и геморроидальное лицо.

Время шло... А Доре казалось, что оно остановилось. Она еле держалась на ногах; каждый нерв казался обнаженным и дергал все тело мучительной судорогой, и иногда ей хотелось сесть под стеной, прислониться к ней усталой головой и закрыть глаза.

«Господи, хоть бы уж скорей... хоть бы скорей...» — смутно мелькало у нее в голове, и по времени наступало тупое равнодушие, от которого она мгновенно пробуждалась с ужасом и болью и опять смотрела на тяжелый, зловещий вокзал.

На улице продолжалась своя пестрая и обыкновенная жизнь. По-прежнему шли и ехали из стороны в сторону люди и лошади, и казалось, что все это одни и те же. Небо дымилось и сверкало на солнце.

— Чего стал? — с озлоблением крикнул молодой рыжий дворник, недалеко от Доры отворачивавший водопроводный кран. — Проезжай, ты... леший черт!

Извозчик испуганно вздрогнул и, неловко задержав вожжами, проехал дальше. Но Дора уже узнала Ларионова, и его близорукие глаза и бесцветная борода, такие странные над чужим синим армяком, мелькнули для Доры чем-то невыразимо близким и милым.

«Что он делает!.. Ему не там стоять!» — со страшным испугом подумала она, и ей припомнилось, как Коренев с озлоблением говорил:

— Все берутся, а как до дела дойдет, и перепутают все со страху.

Тогда Дора почувствовала обиду и ненависть к Кореневу, но в эту минуту в ней вдруг выросла прямая и ужасная уверенность, что она испугается, забудет что-нибудь и все перепутает, губя себя и всех. И эта уверенность уже не покидала ее, наполняя душу растерянностью и ужасом.

По всему телу Доры выступил холодный пот. Со страшными усилиями, путаясь от этих усилий и обмирая от страха, она стала припоминать все подробности, и все казалось ей, что-то, самое главное, она забыла.

«Когда на подъезд выйдет эта... акушерка Труд... Какое странное имя!.. Не в том дело... Да, когда она выйдет и позовет извозчика... тогда надо... тогда надо... тогда надо... ну, да... да...» — безобразно скомканно и разорванно вертелось в больном мозгу Доры, и, теряя нить, она вдруг поймала на себе чей-то странно пристальный взгляд.

Прошел мимо мещанин в чуйке и еще издали пристально и как будто украдкой посмотрел Доре в лицо, а когда она поймала его взгляд, быстро отвернулся и перешел на другую сторону, мелькая между движущимися экипажами и лошадьми.

«Сыщик... открыли!» — со зловещей и холодной ясностью прошло в мозгу Доры.

Все было по-прежнему, но за этой шумной и пестрой стремящейся толпой вдруг ясно почудилось что-то тайное, молчаливо и страшно подползающее, невидимое и неизбежное. Как будто чьи-то невидимые, нечеловеческие руки, тихо и лукаво раздвигая толпу, стали медленно и неуклонно приближаться к ней.

И сознавая, что находится во власти кошмара, Дора сцепила зубы и сделала невероятное усилие удержать прыгающую челюсть.

«Глупости... чего ради... давно бы уже схватили!» — скачками прыгала жалкая, оборванная мысль. Дора стала судорожно двигаться из стороны в сторону и оглядываться, как пойманный зверек.

И как раз в эту минуту на широкие каменные ступени вокзала тихо и спокойно в строгом черном платье вышла акушерка Труд и махнула рукой ближайшему извозчику.

Что-то ударило в голову Доры, в глазах у нее все перекошилось и помутнело.

«Вот...» — слабо подумала она.

И неестественно порывисто, сознавая, что делает не так, как нужно, Дора выхватила из кармана платок. Белый клочок мелькнул на солнце растерянно и ярко. Мельком она успела еще увидеть, что к вокзальному подъезду медленно и важно подкатывает большая черная карета.

Тот самый, такой обыкновенный, бритый толстяк в цилиндре откуда-то сбоку быстро подвинулся к Доре и неестественным и страшным голосом спросил:

— Что вы тут делаете?

Дора круто повернулась к нему, её мертвенно-бледное лицо осветилось огромными, выпученными от ужаса глазами, и, ничего не понимая, но в то же время сознавая, что делает что-то нелепое, гибельное, Дора выхватила из кармана револьвер и, почти ткнув его во что-то мягкое, выстрелила. Короткий, негромкий звук родился в грохоте экипажей. Бритый толстяк встряхнулся всем своим жирным и толстым телом, цилиндр сразу съехал ему на глаза, падающим шагом он попятился назад, на середину улицы и грузно осел прямо под ноги извозчицкой лошади, с треском и звоном дернувшейся в сторону.

Все смешалось на этом месте, и Дора увидела только черный цилиндр, выкатившийся из-под ног вихрем взметнувшейся толпы. Нестройный многоголосый крик повис в воздухе.

«Пропала!» — мелькнула короткая, бесцельная мысль, и Дора, расталкивая толпу, стремительно бросилась за угол, споткнулась на резиновый рукав трубы, лежавшей поперек тротуара, и, чувствуя, как ее хватают и бьют по голове страшной, тупой тяжестью, закрыла глаза и упала на руки, больно шлепнув ими о твердые, жесткие плиты.

— Кончено! — как будто сказал над нею какой-то глухой, тяжелый голос, наполнивший ужасом весь мир, и она потеряла сознание.

Когда что-то опять прояснилось в ее глазах, ее сажали на извозчика и двое городских с желтыми шнурами и озлобленными, искаженными лицами толкали и дергали ее, с обеих сторон втискиваясь за Дорой в пролетку. Голова у ней шла кругом, неудержимо увлекая все вокруг в хаотическом кружении, что-то невыносимо резало висок, и по губам текла густая и теплая кровь.

На середине улицы ей врезалось в глаза дикое, совершенно безумное лицо Ларионова. Лошадь его держали под уздцы как будто целые десятки вытянутых, напряженных рук. Цепкие, искривленные пальцы впивались в его армяк, но Ларионов, с выпученными нечеловеческими глазами, очевидно уже ничего не понимая, неистово рвал вожжи и со свистом хлестал лошадь. А она подымалась на дыбы и билась на месте, высоко задрав голову с ощеренными мертвенно-белыми зубами.

— Держи! Стой!.. — нестройно со страшной злобой кричали со всех сторон, казалось, и люди, и стены домов, и грохот экипажей, и яркий свет.

Доре показалось, что это — страшный сон.

Когда извозчик тронулся и Дору, опять потерявшую сознание, провезли мимо вокзала, на широких ступенях его стояли какие-то важные и толстые люди, в форме и строгих пальто, а за ними, у колонны, спокойно прислонилась высокая, черная акушерка Труд с презрительным и злым лицом.

Роман маленькой женщины

I

Торопливо ходили чиновники с бумагами и озабоченным видом; сторож величественно разносил крепкий холодный чай; пишущие машинки трещали так, точно целые десятки маленьких молоточков наперебой, азартно ковали крохотные подковки, и каждый день Елена Николаевна со стремительной быстротой выстукивала ловкими гибкими пальцами:

«Согласно отношению господина управляющего Чирковской транспортной конторы, имеем честь препроводить копию с кассационной жалобы грузовладельца Исаака Абрамовича Кишнера...»

Длинный белый лист как живой все больше и больше выползал из цепких лапок машинки, и когда бумага, колыхнувшись, загнулась назад, Елена Николаевна выпрямила опустившиеся от усталости слабые плечи и, взглянув прямо перед собою в окно, задумалась.

За мутным стеклом тоненько тянулись вверх три березки, а за ними высилась, казалось, до самого неба серая стена рояльной фабрики. словно черные коленчатые змеи, ползли по ней ржавые железные трубы.

День был солнечный, и в палисаднике было светло и красиво. Той особенно трогательной, болезненно-робкой и хрупкой красотой, которая почти грустно чувствуется только в больших городах, в жалких садиках и сквериках, этих клочках природы, затерянных среди каменных стен, мостовых и грохота уличного шума.

На тоненьких красных прутиках рябили наивные почки с белым детским пушком. Сухие прошлогодние листья, как траурная кайма лежавшие вдоль стен и дорожек, приподымались колкими иглами новой травы, зеленой, как изумруд. На сырых дорожках отчетливо печатались чванливо-фигурные следы вороньих и галочьих лапок. Стволы березок были свежи и чисты, точно кто-то только что умыл их студеной водой из талого хрупкого снега. У самой стены, в углу, как бы притаившись от всего света, еще стоял запыленный, насквозь ноздреватый сугроб. Солнце светило прямо на него, и снег исчезал на глазах, пуская чуть заметный дрожащий парок.

Неба не было видно из окна, но, должно быть, оно было чисто и голубело так, что все тени казались легкими и голубоватыми. Порой на палисадник налетали смеющиеся пятна и, быстро подымаясь по стене фабрики, исчезали где-то вверху, давая знать, что высоко над городом, в голубеющем просторе, точно паруса далеких счастливых кораблей, проплывают весенние облака.

В отворенную форточку вливался густой сочный воздух и до самого сердца проникал неопределенной, радостно-грустной истомой. Елена Николаевна сидела неподвижно, и на ее осунувшемся личике задумчиво светились большие, слегка оттушеванные бледностью глаза. Она забыла о срочной работе, о черновике присяжного поверенного Хлудекова, а между тем думала именно о нем, и перед ее остановившимися глазами стояло лицо высокого холеного блондина с подстриженной бородой и слегка капризными, чувственными губами. Она даже как будто слышала его уверенный, подавлявший неуловимым оттенком презрительной иронии голос, в котором так ярко и мягко вспыхивали особые нотки, когда он говорил с Еленой Николаевной. Передавая ей свои бумаги, он всегда переходил в тон фамильярно-дружеской шутки и тепло и загадочно смотрел в глаза, на мгновение задерживая ее маленькую руку в своей холеной ладони. И когда глаза его становились особенно проникновенно задушевные, Хлудеков всегда говорил, капризно растягивая слова:

— Ску-чно, Елена Николаевна!.. Как это вы можете удовлетворяться такой жизнью?.. Не понимаю я вас... Неужели вам не хочется иногда выскочить из колеи, поступить по-своему, хотя бы всем наперекор...

В его прищуренных зрачках мелькал темный огонек, напоминавший взгляд охотника, когда он уже близко видит преследуемую им дичь. И Елена Николаевна до конца понимала его мысли и желания, которых он не смел высказать. И было ей стыдно и приятно. Эти смутные намеки волновали ее и иногда бессознательно досадовали, как будто ей хотелось, чтобы он не хитрил, не говорил высоких слов, а сказал прямо, чего ему нужно. В ее гибком, стройном теле двадцатилетней девушки как будто жило два чувства: одно чего-то требовало, другое стихийно и гадливо возмущалось. Но иногда Хлудеков загадочно прибавлял:

— Впрочем, вы, вероятно, недолго засидитесь у нас!..

Девушке становилось просто грустно: Хлудеков говорил это без насмешки, но он прекрасно

должен был знать, что Елена Николаевна сидит тут «у нас» уже семь лет. Тонкий страх покалывает в сердце девушки, когда она видит в зеркале, что кожа в уголках глаз потеряла прежний блеск и тихо вянет, напоминая последнюю нежность осенних лепестков. И вообще это медленно-осторожное увядание чувствовалось во всем: реже хотелось смеяться, чаще задумываться и даже плакать без причины. Иногда находило такое апатичное чувство, что не хотелось никого видеть, и, закутавшись в большой платок, девушка могла по целым часам сидеть у окна, большими остановившимися глазами глядя в сад или на вечернее небо, тихо догравшее за темными крышами города.

Еще так недавно каждый человек интересовал ее, как игрушка, а теперь из всех знакомых только два-три могли хоть сколько-нибудь занять, а с остальными было скучно и досадно. На пикниках и прогулках она могла молчать и быть одинокой среди самого бурного веселья, шума и беготни.

И теперь, глядя в палисадник, Елена Николаевна думала о том же, и ей было больно-больно. Хотелось плакать крупными, тихими слезами. Страшно было жаль чего-то и неизвестно чего. Должно быть, того, что могло быть в жизни и не было. Она знала, что это — любовь, но какая любовь, не могла бы ответить. Воображение рисовало ей счастье только до тех пор, пока мечта была безразлична. Тогда любовь казалась радостной и красивой, как праздник, но как только из тумана выдвигалось определенное мужское лицо и начинало улыбаться ей с выражением откровенной и бесстыдной мысли, праздничные огни погасали и как чад, клубами подымалась одна пошлость, животный акт, грубый и безобразный, как грязное белье.

Елена Николаевна давно знала, что именно составляет главное в любви мужчины и женщины, и когда на мгновение, стыдливо, уголком мысли, представляла себе свое голое тело и возбужденное лицо мужчины, ей делалось так мучительно противно и стыдно, что хотелось спрятаться, убежать, закрыться с головой и никого не видеть, не слышать.

— А между тем так и есть!.. Все так живут!.. Именно это и есть любовь! — с болезненным недоумением говорила она себе. — Но в чем же тут красота... Зачем это?

И иногда ей казалось, что тут какая-то ошибка. И эта ошибка как-то сливалась в одно с теми мужчинами, в обществе которых ей приходилось жить.

Отчего так ясно представляется, как каждый из них подойдет, какими словами будет говорить о своих чувствах, как будет целовать и что будет дальше?.. Хоть бы какая-нибудь загадка... Какой-нибудь туман, чтобы хоть не так грубо выпячивалась... эта гадость!

Лицо Елены Николаевны мучительно сжималось, и она с тоской смотрела в палисадник, чувствуя острое желание чего-то и не видя ничего, похожего на то, что смутно просилось на свободу из ее светлых больших глаз, мягких волос, гибкого, с покатыми плечами и стройными бедрами, тела, точно выточенных рук с маленькими нежными пальцами.

— О чем вы все мечтаете? — спросил ее знакомый, слегка иронический, но вкрадчивый голос.

Елена Николаевна вздрогнула и обернулась, краснея до ушей, маленьких и чутких, прячущихся в пушистых волосах, как зайчики.

Перед нею стоял Хлудеков и смеялся, чуть-чуть маслянистым блеском отливая в прищуренных глазах.

— Ах, простите, ради Бога... Я еще не кончила! — виновато проговорила Елена Николаевна.

Хлудеков притворно нахмурился.

— А, вот как!.. Штраф!.. Ничего, ничего... мне не к спеху! — засмеялся он одними глазами и отошел.

Но по тому, как нерешительно он двигался и как затрудненно оглядывался вокруг, Елена Николаевна поняла, что бумага была спешная, и он теперь не знает, как быть. Минутку Хлудеков как будто колебался, потом заглянул в какую-то книгу, перевернул две-три страницы, положил и решительно скрылся в своем кабинете.

Несколько пар глаз наблюдали за ним, и Елена Николаевна чувствовала это. Она знала, что другим досталось бы за неаккуратность и что эти другие хорошо понимают, отчего такая странная мягкость и снисходительность у всегда холодного и взыскательного Хлудекова. Стало мучительно стыдно: Елене Николаевне на мгновение показалось, что она — совсем голая и что все эти завистливые взгляды критически осматривают ее обнаженное тело, соображая, достойно ли оно принадлежать Хлудекову и скоро ли будет принадлежать. И, потупив голову, под тяжестью беспомощного стыда, Елена Николаевна вся склонилась над бумагой, торопливо щелкая клавишами и ошибаясь. Щеки у нее горели, и в глазах против воли стояли слезы оскорбления и отвращения к Хлудекову, ко всем окружающим, грязно думающим людям, и даже к себе самой, как будто в чем-то виноватой.

Но к тому времени, когда бумага была готова, она успокоилась и другое появилось в ней.

— Вот. Извините, ради Бога, Виктор Владимирович, — заговорила она, входя в кабинет Хлудекова, и голос ее звучал легко и кокетливо. Даже каблучки постукивали как-то особенно, точно играя. Она чувствовала свое обаяние над этим капризным, избалованным человеком, и оно будило дерзкое чувство. Хотелось сесть к нему на стол, швырнуть перчатки на деловые бумаги и, играя носком ботинка, насмешливо смотреть и на обалдевшего Хлудекова, и на тех, кто через открытую дверь завистливо наблюдал за нею.

Только все-таки противное, унижительное ощущение обнаженности ползало под взглядом Хлудекова по всему телу маленькой женщины. II

Играла музыка, и вереница людей, с говором, шорохом платьев и смехом, двигалась перед музыкальной эстрадой. Вечер был лунный, и где-то высоко над деревьями и фонарями стояла луна. Но ее не было заметно: фонари блестели ярче и возбужденнее.

Елена Николаевна тихонько двигалась по течению толпы, и рядом с нею молчаливо, одним плечом вперед, чтобы не задевать встречных дам, шагал длинный офицер, с унылым и безнадежно влюбленным лицом.

— Скучно! — капризно говорила девушка. — Хоть бы что-нибудь рассказали... Что вы все молчите?

Длинный офицер весь задвигался и беспомощно оглянулся по сторонам.

— Да что-то сегодня никого не видно... — проговорил он, радуясь своей редкой находчивости.

Елена Николаевна рассердилась с беспричинным и жестоким женским деспотизмом.

— А вы думаете, что мне непременно кого-нибудь надо? А вы-то сами?

— Я, Елена Николаевна, ей-богу... — смущенно пробормотал офицер.

— Ей-богу! — с досадой передразнила девушка. — Ну, расскажите что-нибудь... Ну... ну, были ли вы влюблены когда-нибудь?

В голосе Елены Николаевны прозвучала тоска: она заранее знала ответ.

— Я?.. Я и теперь влюблен, Елена Николаевна... Вы же сами знаете...

— Ну да, знаю, знаю и еще раз — знаю!.. Я не об этом хочу... А раньше?.. Ну, в первый раз?

Офицер мучительно покраснел и даже запутался в полах своей длинной кавалерийской шинели.

— Первый раз?

— Ну да...

— Первый раз, право, не помню... То есть, — заторопился он, перехватив капризное движение девушки, первый раз... конечно... Я первый раз, Елена Николаевна, был влюблен в горничную... — с мужеством отчаяния закончил он, и все его красное лицо сразу облилось потом.

Елена Николаевна с гадливым любопытством посмотрела на него.

— Разве? — закусив губы и шевельнув бровями, процедила она. — Не много же чести быть любимой вами!

Девушка нехорошо засмеялась, и глаза ее стали злыми.

Офицер обомлел. На его неумном, совсем беспомощном лице, на котором нелепо торчали светлые распушенные усы, отразилась кроткая, горькая обида.

— Сядемте... Мне надоело метаться, как маятник... — коротко сказала девушка, глядя в сторону.

Скамейка была в самом конце сада, где почти не было гуляющих, деревья редели, как на опушке леса, и луна светло стояла над их тонкими верхними ветками. Елена Николаевна сидела утомленно, и капризная скука сквозила во всех движениях ее хорошенькой фигурки, нервно постукивающей по земле кончиком ботинка. Офицер сидел прямо, как жердь, поджав под скамейку длинные ноги в лакированных сапогах.

— Ну, — сердито протянула Елена Николаевна.

— А второй раз я был влюблен... — вдруг точно от толчка выпалил офицер.

— В кухарку? — насмешливо закончила девушка и опять нехорошо засмеялась.

— Н... нет... Зачем в кухарку? — удивленно переспросил офицер.

— Да уж так... для полноты переживаний! — зло ответила Елена Николаевна.

— Нет, Елена Николаевна... не в кухарку...

Что-то такое прозвучало в его лихом ответе, что девушка почувствовала легкое угрызение совести и поглядела на его унылую нелепую фигуру серьезнее и мягче.

— А в кого же?

— Видите ли... Я тогда жил в уездном городе... далеко отсюда... И там была одна барышня... Лиза Чумакова... Она только что окончила гимназию, и... и я страшно любил ее!.. Верите, это в романах так говорится, но я за нее пошел бы в огонь и воду!

— Что ж, она красивая была?

— Я не знаю... По-моему — удивительно красивая!

— Лучше меня? — кокетливо спросила девушка. Офицер не ответил. По его длинному бесцветному лицу скользнула тень.

— Ну?

— Что ж... Елена Николаевна... Об этом говорить не надо! — пробормотал офицер с мучительной гримасой.

— Как не надо? Значит, вы находите меня хуже? — жестоко настаивала девушка.

— Нет... как вам не стыдно!.. Вы... конечно... гораздо красивее... — с болью проговорил офицер и потупился.

И почему-то Елене Николаевне стало бесконечно жаль его и стыдно своей легкомысленной жестокости.

— Я пошутила... Простите, Иван Кириллович!

Она тихонько дотронулась до его большой грубоватой руки. Офицер светло и умиленно улыбнулся.

— Я не сержусь! Разве я могу на вас сердиться? — с теплой дрожью в голосе воскликнул он.

— Хотите, я вам все расскажу... Хотя я никогда никому не рассказывал...

Елена Николаевна пригрела его глазами и сама почувствовала, как распускается убогая душа этого нелепого офицера под ее ласковым взглядом. Музыка вдали играла тихо, вокруг никого не было, и луна казалась совсем близкою. Полная и ясная.

Офицер рассказывал очень тихо и грустно. Совсем не таким голосом, как всегда. Чувствовалась в нем какая-то большая, чистая и открытая печаль.

— Я влюбился в Лизочку, еще когда она была гимназисткой, а я корнетом... А когда она стала уже совсем взрослой девушкой, я, знаете, Елена Николаевна, уже не видел никого, кроме нее. Она была такая милая, красивая, полная... то есть добрая... Любила очень детей, сад, свой старый дом, а ко мне относилась удивительно! В ее присутствии я становился другим человеком, ничего не позволял себе не только сделать дурного, но даже подумать!.. Знаете, с другими как-то так, а с нею как будто даже выше ростом становился... и в то же время чувствовал себя так, точно маленький мальчик возле матери!.. В ней было все мое счастье, и другого я не желал бы никогда... Только, конечно, я не умен и не образован... заинтересовать ее собою я, конечно, не мог, так как... Но я не знаю... мне только кажется, что все-таки со мною она могла бы быть счастлива. Я бы... Ах, Елена Николаевна!.. Разве я виноват, что не студент, не писатель там, а простой офицер?.. Разве без этого нельзя?.. А ведь как я любил бы ее!.. Для меня она была все!.. Ну, потом она уехала на курсы и под влиянием некоторых лиц из своей компании простилась со мной очень... нехорошо... Кажется, над ней смеялись, что она влюблена в простого офицера... По крайней мере, последнее время она как будто стала избегать меня и даже стыдиться... Не наедине, знаете, а при других. Что ж, может быть, они и правы были, не знаю... Может быть, и действительно это смешно, что простой, необразованный офицер смеет любить... а впрочем, не знаю!.. Она уехала, а я остался в городке. И хотел я тогда застрелиться... Пошел уже взять револьвер — он у меня в кармане шинели был, — и вдруг пришла мне в голову мысль: может быть, ей там будет нехорошо, и я чем-нибудь могу помочь ей, хотя бы незаметно как-нибудь... Ну, я и раздумал, только ударился головой в шинель, которая на стене висела, и все говорил: «Лиза, Лизочка!..» Вы не будете смеяться, Елена Николаевна?

Елена Николаевна мягко посмотрела на него.

— Не буду, милый, — тихо возразила она и опять тронула его руку.

Поручик блаженно улыбнулся и заговорил смелее:

— Потом она опять приехала на каникулы. Я ее даже как будто не узнал: похудела, знаете, побледнела, глаза стали строгие! Но со мной встретилась удивительно ласково и так обращалась мягко и осторожно, точно я стеклянный!.. И вот однажды поехали мы кататься на лодке в лунную ночь... И как-то так вышло, что... обнял я ее, что ли... И она тоже... Мы катались всю ночь. Лизочка все рассказывала мне, как ей было там тяжело, какая там холодная и жестокая жизнь, как все мужчины смотрят там на женщину дурно и грубо... как теперь она поняла, что счастье не в том... говорила, понимаете, что я... хороший, даже лучше всех и только сам себе цены не знаю... Когда я вернулся домой, я был самый счастливый человек в мире!.. Даже пел и танцевал — ей-богу!

Поручик застенчиво улыбнулся, и Елена Николаевна тоже улыбнулась: очень уж смешно представилась ей эта нелепая длинная фигура, восторженно танцующая в лакированных сапогах и шинели до пят.

— На другой день я не шел к ней, а прямо, знаете, летел по воздуху! И вдруг... Как увидел ее, так и почувствовал, что все пропало! Хотел было даже незаметно уйти, но она позвала меня и пошла прямо в сад. Дошла до калитки на улицу, остановилась, долго молчала, а потом протянула мне письмо... От одной подруги, еврейки из нашего города, которая, кажется, и на курсы ее сманила и больше всех издевалась над моей любовью... Та ей пишет, понимаете, в насмешливом тоне о возможности выйти замуж за меня, народить кучу детей, носы им вытирать и тому подобное... мещанское счастье и тому подобное... И так, знаете, зло, что мне и самому вдруг показалось это совершенно невозможным. Хотя я, конечно... Ну, потом Лиза ушла, а я долго стоял у забора и смотрел на улицу... Помню, по улице в это время стадо проходило, и бараны так кричали, что мне показалось, будто они меня дразнят... Ей-богу!.. Так все и кончилось... Потом Лиза опять уехала в Петербург и скоро там застрелилась... будто бы жизнь надоела... А она и не жила еще совсем!.. И потом... когда делали вскрытие... оказалось, что она... беременна...

Офицер замолчал. Молчала и Елена Николаевна и задумчиво смотрела на луну. Смутно и горько разворачивалась перед нею эта страшная, никому не известная драма.

«Что она переживала, эта девушка?.. Почему застрелилась?.. Беременна была... значит, любила?..»

— Господи, Елена Николаевна, — заговорил офицер горько, — ведь... неужели она была счастливее с тем человеком, который даже на похороны ее не пришел?.. А ведь я так любил ее! Я бы всю жизнь молился на нее! Я не знаю... Когда она застрелилась, в моей душе навсегда умерло самое лучшее, светлое, что у меня было. С тех пор у меня точно надорвано внутри что-то... На людях еще ничего, с вами вот... а когда я останусь один, вспомню, так вот и кажется, что здесь вот что-то тихо, тихо сочится... как кровь!..

Офицер еще что-то шептал, и шепот его был горяч и страстен, полон невыразимой скорби. Елена Николаевна с изумлением слушала его, и длинная нелепая фигура офицера все вырастала и вырастала в ее глазах, становилась все чище и прекраснее!.. И уже это не был смешной кавалерийский поручик, а некто большой, чистый и святой своею великою любовью и безысходной печалью. И странным показалось ей, как это та, покойная девушка не поняла великой любви, принесенной к ее ногам.

Она чуть было не подумала: «Если бы я была на ее месте, я бы...»

И тут только заметила, что с офицером делается что-то странное, смотрит в упор на луну, глаза широко открыты, и в них влажно блестят голубые искорки лунного света.

— Иван Кириллович! — дрогнувшим голосом сказала она.

Но в это время зазвенел звонкий женский смех, точно в темную аллею бросили горсть разноцветного стекла, и к ним подбежала гибкая женская фигурка, от которой так и пахло вокруг весельем, здоровьем, молодостью и лукавством.

— Леночка, — закричала она, — чего вы тут запрятались?.. Идем скорее... Насилу тебя нашла!.. Что? Поручик опять тебе в любви объяснился? В который раз?

Целый фейерверк смеха, вопросов, острот и шуток посыпался на них и мгновенно унес то хрупкое настроение чистоты и жалости, которое овладело Еленой Николаевной. Скоро обе девушки, смеясь и волнуясь, шли в освещенную часть сада, забыв о поручике. Он остался один на краю скамейки, длинный, серый и унылый, по-прежнему глядя на луну и что-то горько бормоча про себя.

— Знаешь что? — щебетала Валя, как сорока вертя хвостом серой короткой юбки. — Приехал писатель Балагин!

— Разве? — машинально переспросила Елена Николаевна, еще не совсем стряхнувшая тихую мечтательную задумчивость.

— Ей-богу!.. Пойдем посмотрим... Он тут в саду с Пржемовичем сидит... Интересный! Пойдем скорее!

Свежая струя любопытного оживления охватила душу Елены Николаевны. Этим Балагиным были полны умы всех интересующихся литературой. Молодежь постоянно говорила о нем, каждого нового произведения его ждали все. Елене Николаевне никогда не приходило в голову представлять себе его живым, обыкновенным человеком. Таким далеким, совершенно невысказанным в их серой будничной обстановке представлялся ей писатель.

— И мы можем с ним познакомиться... через Пржемовича! — захлебываясь от волнения, трещала Валя.

— Ну, зачем!.. — смутилась Елена Николаевна.

— Как зачем! — удивленно воскликнула Валя и даже приостановилась.

Елена Николаевна и сама не знала. Просто ей стало страшно и неловко, она сразу почувствовала себя глупой и незначительной.

Еще издали они увидели за одним из столиков знакомого студента Пржемовича, возбужденно разводившего руками, и незнакомую фигуру в мягкой светлой шляпе.

— Смотри, смотри... вот он! — шептала на всю аллею Валя, зачем-то цепляясь за руку Елены Николаевны и толкая ее всем телом.

Девушки степенно прошли мимо, бросая смущенно-любопытные взгляды из-под полей своих шляп.

Писатель Балагин сидел боком к столику, довольно красиво положив ногу на ногу и сдвинув на затылок светлую шляпу. Студент что-то рассказывал ему, и по тому, как преувеличенно развязно жестикулировал он, было видно, что он смущается, чувствует себя неловко и изо всех сил старается показаться умнее и естественнее. Балагин слушал его внимательно, но мхуро. Мимо то и дело проходили барышни, студенты и гимназисты, притворявшиеся, что так

себе, просто гуляют, и совершенно очевидно не спускавшие глаз с писателя. Балагин иногда взглядывал на них и чуть-чуть отворачивался. Барышни не замечали, что он украдкой следит за ними, и когда, пройдя до конца аллеи, они поворачивают назад, Балагин еще издали встречает тех из них, которые моложе, стройнее и красивее. Молодежи, наоборот, казалось, что писателю неприятно это назойливое внимание. И то же показалось Елене Николаевне.

— Ему, должно быть, страшно надоело это глазенье! — тихонько сказала она Вале.

— Мало ли чего! — засмеялась та. — Вольно же ему было делаться знаменитостью!

Из толпы выделились к ним Хлудеков и Котов, учитель гимназии, слабогрудый, озлобленный и уже пять лет влюбленный в Елену Николаевну человек. У Хлудекова был вид преувеличенного небрежения, а Котов язвительно усмехался тонкими, пересохшими от внутреннего жара губами.

— Здравствуйте, — сказал он, — и вы тут! Елена Николаевна инстинктивно обиделась.

— Что за странное замечание?.. Почему мне и не быть здесь... Я каждый вечер здесь гуляю, и вы это отлично знаете.

— Конечно, любопытно! — вызывающе вмешалась Валя. — А вам завидно?

— Удивительно! — мгновенно побледнев, процедил Котов, с ненавистью скользнув по ее лицу глазами. — Я только не понимаю этого провинциализма... смешно, ей-богу!

— Слушайте, не точите яду! — отрезала Валя. — Вы сами нам двадцать раз рассказывали о своем знакомстве с Чеховым!

— Да и что ж тут такого? — сдержанно заметила Елена Николаевна. — Это так естественно... Люди, без сомнения, интересные...

— В каком смысле? — с деланной небрежностью отозвался Хлудеков, неприятным взглядом прищуренных глаз досказывая что-то двусмысленное.

— Как в каком? — с удивлением переспросила девушка.

— Ну да... в каком?

— Я не знаю, чего вы добиваетесь! — с внезапным раздражением сказала Елена Николаевна. — Вы сами прекрасно понимаете, что для того, чтобы сделаться писателем, надо кое-чем отличаться... по крайней мере, несколько глубже понимать и тоньше чувствовать, чем другие...

— Вы, кажется, думаете, что писатели какие-то особые существа, не похожие на простых смертных? — иронически процедил Хлудеков.

— Да... пожалуй, и так! — с подчеркиванием ответила девушка, вызывающе глядя прямо в глаза Хлудекову.

«А ты как! — с угрозой подумал Хлудеков. — Ладно...» Ему страшно захотелось напомнить ей, что все-таки она слишком зависима от него, чтобы говорить таким тоном. Но Хлудеков не нашелся, как выразить это, чтобы не было слишком прозрачно, грубо, по-купечески, и промолчал. Девушка, как бы угадывая его мысли, смотрела ему в лицо горящими глазами и не опускала их до тех пор, пока он невольно не отвернулся.

Тогда отвернулась и она, с презрительной гордой усмешкой. Но это напряжение сразу упало, и девушка почувствовала себя оскорбленной, униженной и жалкой.

— Да чего вы все так взъелись? — вмешалась Валя, стремительно приходя на помощь подруге. — Неужели вам, в самом деле, завидно?.. Стыдитесь, господа! Это мальчишество!

Хлудеков принужденно засмеялся.

— Сами вы еще недавно хвалили Балагина и смеялись над буржуазией, которая его не понимает... А теперь... Надо быть искреннее!

Хлудеков смешался, но Котов, который с наслаждением видел его поражение, тем не менее вдруг вмешался. Он начал хитро и запутанно доказывать, что буржуазия, не понимающая ничего нового ни в жизни, ни в искусстве, как таковая вызывает протест, но что касается этого прославленного Балагина, безотносительно, конечно, то его погоня за новизной, во что бы то ни стало — иногда просто нелепа. Он говорил долго и даже как будто с неподдельным жаром, но все время казалось, что говорит он не о писателе, а просто о человеке Балагине, против которого у него вспыхнуло недавнее личное раздражение. Валя пыталась спорить, но Котов с чахоточной злостью ловко разбивал ее наивные доводы и наконец заставил замолчать. В голосе его звучало торжество, а Хлудеков улыбался молча и язвительно, и нельзя было понять: над кем он смеется — над Валею, писателем или самим Котовым.

Девушки ходили, потупившись, и у обеих было такое чувство, точно они участвуют в чем-то нечестном и некрасивом. Но в ту самую минуту, когда Котов уже начал снисходительно растягивать слова, как бы изрекая всеми принятые истины, Валя вдруг неожиданно вскрикнула:

— Смотрите, Пржемович нам кланяется... Вот бы познакомиться!

Студент, имея гордый и взволнованный вид, который всеми силами скрывал, действительно привстал из-за столика и кланялся.

— Елена Николаевна, Валентина Петровна! Присаживайтесь к нам. Позвольте вас...

Елена Николаевна страшно смутилась, но Валя, отчаянно зарумянившись, с каким-то жадным движением повернула к столику.

Черные глаза Балагина, которым глубокая складка на лбу придавала суровый и сосредоточенный вид, поднялись им навстречу, и в них что-то засветилось. Елена Николаевна не поняла что, но ей показалось, что это — насмешка над их наивностью. На мгновение она ощутила крепкое и довольно продолжительное пожатие теплой мужской руки. Загremели стулья, и знакомство состоялось.

Начался нудный и пустой разговор. Пржемович старался всех увеселять, был преувеличенно фамильярен с писателем и ежеминутно, довольно неудачно, острил. Хлудеков имел такой вид, точно его насильно принудили сесть к столу, и молчал. Котов пытался незаметно быть злым, но выходило некрасиво, и он уже действительно злился чахоточной болезненной злостью, от которой становилось тяжело, а барышни сидели чересчур скромно, точно гимназистки на экзамене. Елена Николаевна совсем не смотрела в сторону Балагина и все время нервно перебирала цепочку своей маленькой сумочки, а Валя, чуть-чуть раскрыв рот, не спускала с писателя глаз и хихикала каждому его слову. Балагин, видимо, чувствовал себя неловко. Говорил он мало и чересчур обдуманно, стараясь, чтобы каждая фраза была оригинальна и имела большой смысл. Это было трудно и, очевидно, связывало его по рукам и ногам.

— А вы знаете, Алексей Павлович, — любезно склабясь, сказал Пржемович, — Елена Николаевна ваша большая поклонница.

Елена Николаевна быстро взглянула на Балагина, вспыхнула, как девочка, и сделала такое

движение, точно хотела отрицать это. Балагин принужденно поклонился, но видно было, что это ему приятно. После он то и дело особенно внимательно посматривал на Елену Николаевну, и глаза его неуловимо скользили по ее лицу, плечам и груди.

Это волновало девушку, она чувствовала взгляды, хотя ни разу не поймала их, и ей все хотелось уйти. Как только разговор на минуту затих, она стала звать Валю домой.

— Что вы так рано? — спросил Пржемович.

— Так, я устала... — ответила девушка, вставая и не подымая глаз.

Провожать пошли Хлудеков и Котов, и всю дорогу шел прежний, но еще более неприятный разговор о писателе. До нелепости было очевидно, что дело вовсе не в писателе, а в оскорбленном мужском самолюбии. Поэтому Елена Николаевна просто отмалчивалась. Но зато Валя с наивной откровенностью все приставала к ней:

— А правда, Леночка, какой интересный?.. Особенный какой-то... Сразу видно, что это не то, что наши кавалеры...

— Благодарю, — с притворной шутливостью, но зло ответил Хлудеков.

Валя смутилась.

— Я не о вас... — возразила она, но так неудачно, что стало совсем неловко.

Расставаясь, прощались холодно и принужденно. Когда мужчины отошли, девушки расслышали, как Хлудеков что-то сказал, а Котов визгливо и злорадно засмеялся... III

Балагин каждый вечер появлялся в саду, и публика понемногу привыкла к нему. По обыкновению, он садился за одним из столиков на самом освещенном месте, заломив свою светлую шляпу и положив ногу на ногу. Единственным его собеседником был Пржемович, который сделался его прямым поклонником, хотя прежде часто отзывался о его произведениях совершенно отрицательно. Пржемовичу, в натуре которого была черта польской липкой подобострастности, льстило это знакомство, и, должно быть, он порядочно надоел Балагину. Молодежь, по-прежнему прогуливавшаяся мимо писателя, часто видела, что Балагин почти не слушает его и предпочитает быстрыми, почти незаметными взглядами следить за проходившими женщинами. Впрочем, мало-помалу к писателю привыкли, и уже появление его не вызывало прежнего всеобщего любопытства, хотя каждый, особенно молодые девушки, при виде его всегда быстро, точно испугавшись, говорили:

— Балагин!..

Елена Николаевна часто видела его издали и несколько раз даже садилась так, чтобы видеть его. Но не подходила и старалась быть незамеченной.

Она сама не понимала, какое чувство возбуждает в ней этот человек, как ей казалось, совсем не похожий на других людей.

Что-то смутно повлекло ее смотреть на него, о чем-то хотелось поговорить, и это желание иногда становилось таким сильным, что она уже вставала и направлялась в его сторону.

Почему-то она старалась уверить себя, что вовсе не имеет его в виду, а просто ей хочется пойти именно в ту аллею. И, хитря с собой, девушка тщательно подыскивала для этого приличный предлог, но обман не удавался, и тогда Елена Николаевна утешала себя: «Что ж тут такого? Ведь мы же знакомы!.. Подходит же к нему Пржемович!.. Это все предрассудки, провинциализм!.. Я такой же человек, как и все!»

Но каждый раз ею овладевало странное волнение, и было так сильно, что все лицо ее заливало румянцем, сердце начинало колотиться, а ноги охватывала слабость. Тогда девушка, неожиданно для себя самой, делала вид, что увидела в стороне что-то интересное, останавливалась, минутку стояла в нерешительности и, наконец, уходила домой, унося противное чувство неудовлетворенности.

И, наконец, ей стало казаться, что между ними лежит какая-то неодолимая преграда и что Балагин как был, так и останется для нее человеком из другого мира. Мира, в котором она, тихая железнодорожная барышня, может быть только смешна. И еще непонятное чутье подсказывало ей, что она может быть там только жертвой и человек этот никогда не стал бы для нее простым и обыкновенным, как все люди. Она говорила себе, что все это пустяки, что Балагин как появился, так и исчезнет из круга ее жизни, в котором она долго-долго будет вертеться с Хлудековым, Котовым, Валей, поручиком и другими, такими же незаметными и будничными людьми, как она сама. Тогда она решила, что ей нет никакого дела до него, и как будто успокаивалась. Но когда ясно представляла себе, что это так и есть, становилось вдруг скучно и вся дальнейшая жизнь начинала казаться чем-то вроде знакомой серой стены рояльной фабрики. Тоска тихо сжимала сердце.

По какому-то внутреннему чувству Елена Николаевна избегала говорить о Балагине. Ей казалось, что с первого же слова все догадаются, что Балагин для нее не просто любимый писатель, а нечто гораздо большее и близкое. И действительно: раза два, когда она, не выдержав озлобленных нападок Котова, который, кажется, ненавидел Балагина всеми силами души, начинала возражать, она понемногу увлекалась до того, что с горящими щеками и слезами на глазах доходила до личностей.

И сейчас же, притворно оглядываясь по сторонам, Хлудеков начинал что-то насмешливо напевать, а Котов открыто замечал:

— Да... Женщинам свойственно увлекаться!

— Что вы этим хотите сказать? — вспыхивая и вдруг опять чувствуя себя так, точно кто-то внезапно обнажил все ее тело, чуть не заплакала девушка. — Почему у вас сейчас же какие-то пошлости на уме? Отчего у вас может быть любимый писатель, и когда вы хвалите кого-нибудь, то это естественно, а когда женщина начинает говорить... Ну, допустите, что я в самом деле люблю...

— Я это и допускаю! — двусмысленно, почти с ненавистью, возразил Котов и чересчур грубо и понятно перевел разговор.

— Я хотела сказать, что люблю, конечно, как писателя! — с отчаянием крикнула девушка.

— Ну конечно! — играя тоном, согласился Котов. — Итак, Валентина Петровна, завтра мы на пикнике?

Елена Николаевна бессильно замолчала, и чувство беззащитной обиды в самом деле выдавило слезы на ее глаза.

И странно казалось ей, что глупенькая Валя, открыто объявлявшая, что Балагин ее симпатия, и храбро выступавшая на его защиту, не подвергалась ни насмешкам, ни этому обнажающему, двусмысленному замалчиванию.

Зато между собою две девушки часто говорили о Балагине. И один раз Валя задала странный и мечтательный вопрос:

— А что, если бы он стал ухаживать за тобой?

В это время были чистые весенние сумерки, небо прозрачно темнело, бледные звезды незаметно проступали сквозь его синеву, и во всем была разлита нежная, неуловимая задумчивость. Девушки шли домой по пустынному переулку.

Елена Николаевна ничего не могла ответить. Этот вопрос никогда не приходил ей в голову, как нечто совершенно невозможное. Она промолчала. Но смелый и звонкий голосок Вали не унимался.

— Я бы тогда на все рукой махнула! — заявила она, блестя глазами.

— Как? — удивленно и даже испуганно спросила Елена Николаевна, почему-то слегка краснея.

— Да так... такому человеку, конечно, не удовлетвориться ни мной, ни тобой... У него слишком большая и интересная жизнь, и женщины, вероятно, и так проходу ему не дают... А все-таки!

Она внезапно замолкла и шла, мечтательно глядя перед собою затуманившимися глазами и распахнув свою легкую светлую кофточку, из-под которой молодо и отчаянно открывалась выпуклая, сильная грудь, едва прикрытая светлой материей.

— А все-таки что? — беззвучно переспросила Елена Николаевна, пугливо ловя в себе сладкое и тревожное влечение заглянуть в самую глубину пропасти. Так близко, чтобы голова закружилась.

— А все-таки пошла бы на все! — упрямо ответила Валя. — Что, в самом деле? Тут хоть две недели, а жизнь была бы интересной... Ведь все равно, рано или поздно, выйдешь замуж и...

Валя не договорила и покраснела здоровым, свежим румянцем. Покраснела и Елена Николаевна.

— Почему же непременно замуж? — возразила она несмело.

— Ну, оставаться старой девой... Тоже не бог весть какое счастье!

— А тогда не все ли равно?

— Ну, нет! — живо возразила Валя. — Большая разница!.. Сближаться с человеком, которого считаешь выше себя, или с животным, в котором все пошло и скучно!

И этот короткий разговор, один из тех девичьих разговоров, о которых знают только они, пробужденные жизнью молодые девушки, оставил в душе Елены Николаевны глубокое и яркое впечатление. Точно на одну секунду она побывала в каком-то запретном мире, полном света, удали и счастья. Целый вечер она была задумчива и весела, сама не зная отчего. Только кровь играла быстрее, поминутно окрашивая тонкую кожу, да влажные губы улыбались загадочно.

А через несколько дней в конце сада, около той скамейки, где она слышала рассказ длинного офицера, Елена Николаевна одна встретила Балагина. Когда она узнала его высокую фигуру в светлой шляпе, девушка страшно смутилась, и первое движение ее было — ответить на поклон и пройти мимо, не подымая глаз. Но Балагин остановился на дороге и, протянув руку, сказал:

— Куда вы так бежите? Здравствуйте!

Маленькая рука девушки была крепко охвачена мужскими теплыми и сильными пальцами. Балагин жал руку долгим и ласковым пожатием и смотрел сверху в ее бледное от луны,

казавшееся поразительно хорошеньким личико.

— Хотите, пройдемся вместе? Мне скучно ведь одному, право! — сказал Балагин, как будто упрекая свою лучшую подругу в том, что она бросила его одного. Не было в его голосе того наигранного выражения, к которому привыкла Елена Николаевна от других, а было нечто такое, отчего ей казалось, будто он сразу, в немногих словах, рассказывал что-то, полное глубокого содержания.

Они прошли до самого конца аллеи и сели над обрывом, откуда был виден конец города с цепями желтых и белых огоньков, блестящих, как звездочки, просыпанные на запыленную лунным светом землю. Туманная дымка воздушно крыла дальние крыши, сады и трубы, и они казались таинственно легкими, как лунный сон. И сама луна, светлая и круглая, торжественно стояла над городом.

С чего и как начался разговор — Елена Николаевна потом не могла вспомнить. Она страшно волновалась и поминутно краснела в темноте, радуясь, что лунный свет скрывает ее выражение. Только вышло как-то так, что ей сделалось совсем легко, и разговор принял мягкий, милый и волнующе загадочный тон.

Луна далеко передвинулась по небу и огоньки в туманном городе поредели, когда Елена Николаевна, успокоенная, радостная и оживленная тихим, но захватывающим волнением, сказала, доверчиво глядя в блестящие глаза Балагина:

— Странно, мне с вами так легко, как будто я вас давно знаю... Этого со мной никогда не бывало... Обыкновенно я очень туго схожусь с людьми.

Глаза Балагина странно блеснули.

— Не знаю, отчего так, — улыбнулся он, вспоминая, что уже не раз слышал это от таких же молоденьких наивных девушек, и ответил, как отвечал и прежде: — Может быть, потому что ведь и правда вы меня знаете давно... Такова участь писателей: вы для меня — совершенно новый человек, а меня вы знаете, может быть, лучше, чем я сам...

— Пожалуй, — задумалась девушка, с выражением наивной серьезности на большеглазом бледном личике. — Только разве можно было по произведениям писателя узнать его как человека? Мне кажется, трудно!..

— Видите ли, в жизни мы все лжем и стараемся показывать себя только с самой выгодной стороны, а когда писатель садится за работу, то в страшном желании написать как можно лучше он вызывает напряжение всех своих духовных сил и невольно, незаметно для самого себя, проявляет многое такое, о чем он не желал бы, чтобы знал кто-нибудь на свете... И если вдуматься в его работу, в выбор тем, в типы, которым автор симпатизирует или которых он ненавидит, в характер изображенной им природы, в женские лица, наконец, то личность писателя станет во весь рост... Этим мало занимались до сих пор, а жаль... О писателях говорят только после их смерти и то по принципу: или ничего, или хорошее... И в результате Глеб Успенский кажется нам совершенно тем же, что и Чехов... Для этого уже есть трафарет: обаятельность, своеобразный юмор и т. д... Не умеют читать: читают только по строкам, ищут идей и настроений, а не личности писателя, а ведь самое главное в творчестве каждого человека — он сам!.. Женщины, я заметил, отличаются особенной способностью угадывать то, что писатели прячут в глубине своих образов...

Елена Николаевна задумалась.

— А ведь это правда... — сказала она. — Вот... хотя вы в каждой строке говорите о смерти, о зловещем роке, о том, что... все в жизни суета сует... и хотя вас считают безнадежным пессимистом и отрицателем, а мне кажется, что на самом деле вы очень жизнерадостный,

добрый и страстно любите жизнь... Правда?..

Она улыбнулась, как бы извиняясь.

— Что ж, может быть... не знаю, право, — принужденно ответил Балагин.

Ему больше нравилось, чтобы женщины считали его именно такой трагической личностью, с темными, почти бездонными провалами в душе, каким он сам выдвигал себя в своих безнадежных романах и драмах. И потому он стал говорить о том, что в жизни действительно все гадко, скучно и тяжело.

— Если я что-нибудь и люблю в жизни как действительно прекрасное, то это только женскую молодость и красоту... — сказал он искренно в конце мрачной и безнадежной речи. — Каждая молодая и красивая женщина волнует и привлекает меня. Я не думаю, чтобы руководилось это чувство только дурными инстинктами... Мне не то что хотелось непременно обладать ими физически... нет!.. Это даже вовсе не так интересно и нужно... Но в женской молодости и красоте есть та самая хрупкая, чистая и трогательная нежность, которая так сладко и больно берет за сердце, когда смотришь на весенние цветы...

Елена Николаевна слушала всем существом своим, когда Балагин стал говорить о своей жизни, о своих планах, замыслах и начатых работах, тихонько вздохнула и проговорила чуть слышно:

— Счастливы вы!

Кроткая бессильная грусть о какой-то иной, красивой жизни, созданной ее мечтой, прорвалась в этом слове.

— Я?.. О нет! — пожал плечами Балагин. — Это только со стороны кажется, что жизнь писателя — что-то полное интереса, красок и движения. А на самом деле искусство такое же ремесло, и в нем больше скучного, мелкого и даже противного, чем радости.

И он долго, искренно рассказывал ей, почему это так. Красивое, освещенное луной лицо женщины, смотревшей на него чуткими, влюбленными глазами, подымало душу, и голос Балагина звучал горячим чувством, страданием и гневом. Настолько же сознательно, насколько и невольно, он вызывал в душе девушки жалость и нежность к себе. Говорил о том, какая страшная вражда и зависть существуют между писателями, какая грязь и интриги царят в литературном мире. Яркая, но грубая картина открывалась перед удивленными глазами девушки, совершенно иначе представлявшей себе мир Тургеневых, Достоевских и Толстых. И как-то незаметно личность самого Балагина выступила на этом темном фоне ярким и чистым образом, достигающим голову чуть не до неба. Он представился ей бесконечно одиноким, в толпе врагов и льстецов, которые только и ждут его падения.

— А ведь когда писатель умирает, — грустным проникновенным голосом говорил Балагин, — все они преклоняются перед его памятью, пишут, что личность его была обаятельна, что умер он не вовремя... Это всегда говорят, и даже, может быть, искренно! Я это знаю, и, верьте, иногда становится так противно, что самое слово «литература» приобретает отталкивающий смысл. Иногда страшно становится при мысли, что, может быть, придется прожить еще много лет и все писать, писать... романы, драмы, рассказы... без конца и конечного смысла...

Балагин вздрогнул, не то от повеявшего ветерка, не то от какой-то внутренней нервной боли.

— Разве можно так думать? — тихо заметила девушка, вся загораясь материнским желанием помочь и утешить. — Разве вы пишете для критиков и своих товарищей? Ведь они — это только капля в море... А здесь, в глуши, ничего этого не знают, любят своих писателей, ждут

их... Вы сами, быть может, не знаете, сколько людей живет только литературой, спасаясь в ней от своей скучной, пошлой жизни... от тех маленьких и дрянных людей, которые их окружают...

Голосок девушки дрогнул и сорвался на горячей, проникающей в душу чистой нотке. Она даже сделала какое-то порывистое движение, точно хотела обнять и приласкать его, но сейчас же смутилась, покраснела и потупилась.

Балагин внимательно и жадно смотрел на нее.

— Милая вы девушка! — сказал он.

Но Еленой Николаевной вдруг овладело какое-то странное волнение. Как будто она испугалась что-то сказать, в чем-то признаться и не чувствовала в себе силы скрыть это. Балагин опять заговорил, но девушка настойчиво заторопилась домой.

— Поздно уже... Надо идти... Пойдемте!..

Когда они вдвоем шли по пустынным, освещенным луной улицам, шаги их гулко отдавались в ночной тишине, а сердца дрожали предчувствием чего-то нового, жутко счастливого и таинственного. Луна поднялась высоко и глядела на город прямо и спокойно, как небесная царица.

У ворот ее дома они еще долго стояли, и Балагин говорил, заглядывая девушке в самые глаза: «А что, если я в вас влюблюсь?»

Девушка краснела в темноте и слегка испуганно возражала:

— Этого не может быть!

— Ну, а если? — настойчиво и все ниже нагибаясь к ней, повторил Балагин.

Тогда она неожиданно лукаво засмеялась.

— Ну, так что же?.. Тем лучше!

— И вы этого не боитесь, не испугаетесь? — странно дрожащим голосом спросил Балагин возле самых губ ее.

Девушка не ответила, она прямо смотрела ему в глаза, и в ее зрачках было что-то напряженное, зачарованное. И что-то без слов спрашивало и позволяло в ее полузакрытых глазах. Росла и тянула какая-то странная, жгучая связь. И как-то незаметно между их лицами стало близко-близко; сама девушка, против воли охваченная горячим туманом, в котором светились, как черные звезды, только его блестящие глаза, потянулась вперед горящими, раскрывшимися губами. Незнакомые мужские губы, проникая все тело жаром и забытьем, поцеловали ее. Девушка вздрогнула, сделала слабую попытку вырваться и вдруг вся ослабела, замерла, не отрываясь от его губ.

Долго продолжалось томительное, жгучее, похожее и на сон, и на обморок забытьем. Было тихо-тихо, и уже все мягкое, покорное тело девушки прильнуло к высокому, сильному мужскому телу. В голове ее гудела странная музыка, обрывки мыслей тонули в истинном тумане.

Пустынная улица чутко сторожила все звуки. Где-то протяжно и заливисто лаяла маленькая собачка. Только краешек луны лукаво и ярко выглядывал из-за темной крыши. Они в темноте, ничего не говоря друг другу, целовались тягучими поцелуями, чувствуя горячее дыхание, усиленное биение сердец и еще что-то, как бы идущее из тела в тело и связывавшее их в

одно.

— Ну, до свиданья! — сказал Балагин и поцеловал ее еще раз, но уже как-то по-иному, удивительно нежно и чисто, как бы благодаря и благословляя. — Вы очень хорошая и милая девушка! — сказал он просто. — Я рад, что мы встретились.

Луна спряталась совсем, и только слабое сияние над черной крышей указывало на то, что она еще здесь и тихо блюдет спящий город. IV

У Елены Николаевны наступили вечерние занятия, и до девяти часов она сидела в пустой канцелярии, треща своей машинкой, как кузнечик в траве. В большой комнате, кроме нее, был еще только один чиновник, серенький писец с подвязанной щекой, за все время не сказавший ей ни одного слова. Только у него и у нее, на двух разных концах комнаты, горели лампы с зелеными абажурами. Было темно и даже как-то погребально от мрака, сгустившегося по углам, и от больших столов, обитых черной клеенкой.

И девушка рада была этому одиночеству и работе. Последние две недели внесли в ее жизнь столько нового, жуткого, что надо было побыть наедине и обдумать все. Девушка так и не знала, хорошо или дурно то, что случилось, счастлива она или несчастна. Но знала одно, что прежняя жизнь кончена. Ярким сном лунных ночей, поцелуев, тихих речей, объятий и ласк вошло в ее душу то, чему она знала простое и торжественное имя — любовь.

В тот вечер, когда Балагин из чужого и далекого стал ей бесконечно близким и дорогим, девушка пришла домой как пьяная. Никогда ее лицо не было так красиво и нежно, глаза так велики и глубоки, точно вся она, как сбрызнутый росой цветок, расцвела сразу во всем обаянии своей молодой красоты. Она долго стояла перед зеркалом, смотрела на свои глаза, волосы, на горящие губы, на упругую грудь, колыхающуюся под голубой кофточкой, на тонкую талию, перетянутую золотым поясом. Чему-то удивлялась, чему-то улыбалась, Красивая мелодия была у нее в голове, и не было ни страха, ни сомнения, ни желания заглянуть в будущее. Было только богатое, захватывающее и душу и тело в одно, широкое страстное чувство.

Потом они встречались каждый день. Встречались украдкой, тщательно скрывая свои отношения от посторонних. Елена Николаевна говорила, что ей все равно, что она — свободный человек и никого и ничего не боится. Но Балагин ласково и настойчиво возражал:

— Зачем?.. Нам не нужно, чтобы кто-нибудь знал о наших переживаниях. Они только до тех пор и красивы, пока составляют тайну двух, мужчины и женщины. Когда коснется этого чужая рука — тайна становится пошлостью... Да и зачем портить вашу жизнь... Ваша репутация может совершенно померкнуть в лучах моей репутации!

Он шутил и смеялся при этом, но все-таки бережно охранял девушку. Он вообще относился к ней с какою-то осторожной нежностью, точно боялся разбить дорогой сосуд. Но все-таки каждая новая встреча стихийно приносила все большую и большую близость. Каждое маленькое доказательство его власти над ее телом, растущей с каждым движением, сначала пугало девушку до обморока, а потом заполняло каким-то особым счастьем стыда, кружащим голову до потери власти над собою. И Балагин, с опытностью знавшего много женщин, шел этим путем осторожно, не пугая и не оскорбляя. И все: первое объятие, поцелуй руки выше кисти, потом мягкая настойчивость, сплетенная из ласк и шепота, с какой он заставил ее обнажить руку до плеча и целовал эту, впервые оголенную для мужчины, круглую точеную руку, — составляло целую цепь жутких, новых и до восторга счастливых ощущений.

Когда он в первый раз посадил девушку к себе на колени, у нее закружилась голова, жар ударил в лицо, в глазах потемнело и ей стало так страшно и стыдно, что она вырвалась. С ней произошло что-то совершенно ей непонятное, зажегшее всю кровь. Даже болезненное. Она упорно уклонялась от каждой новой ласки, даже просила со слезами на глазах, а между

тем, когда оставалась одна, именно об этом думала целыми часами, вся разгораясь, как в огне.

Балагин не обманывал ее. Он обо всем говорил открыто и просто, хотя как-то умел произносить каждое новое слово только тогда, когда она привыкла к прежним. Девушка уже знала, что любовь их кратковременна, что они расстанутся, и даже довольно скоро. Но Балагин сумел настроить ее так свободно и легко, что она не удивилась, не оскорбилась и даже не опечалилась. Настоящее было так хорошо, а будущее не рисовалось совсем.

Но когда Балагин заговаривал о возможности последней близости, жуткое чувство, похожее на ужас, охватило девушку.

— А ведь в конце концов мы должны сойтись совсем! — сказал Балагин прерывистым шепотом, когда она сидела у него на коленях в самом темном углу большого сада. — Вы не боитесь этого?.. Не боишься?

Девушка вся загорелась и растерялась от стыда. Но в этом стыде не было того противного, что испытывала она, когда смотрели на нее глаза других мужчин, даже и не говоривших о своих главных желаниях. Острое чувство обнаженности также появилось во всем теле, но оно было свежо и чисто. Напоминало то чувство, когда летом, где-нибудь на берегу реки, она раздевалась, чтобы купаться. Голая и стройная, стояла она на зеленой траве, нежащей босые ноги, над прозрачной водой, пронизанной солнцем до самого песчаного дна.

Ощущение своего голого тела, по которому, нежно грея, двигались пятна солнечного света и мягкий обволакивающий ветерок, было приятно и волновало, как запретное наслаждение. Она стояла голая только потому, что никто ее не видел, но все время чудилось, что со всех сторон жадно смотрят тысячи глаз. И в этом неуловимом сплетении чистого целомудрия и неосознанной потребности стыда было что-то волнующее и манящее. И теперь ей показалось, как тогда, что все ее тело, от круглых плеч до розовых пальцев на ногах, напрягается упругим и свежим напряжением, как после купанья в студеной прозрачной воде. Было стыдно, но хорошим, кружащим голову, как вино, стыдом. Даже захотелось еще большего стыда. Но все-таки она подумала, что это совершенно невозможно.

— Этого никогда не будет! — тихонько ответила девушка, опуская голову, и Балагин только губами почувствовал, как щеки ее загорелись обжигающим холодком румянца.

— Вы думаете? — нагибаясь к ней и стараясь увидеть глаза, прошептал он, волнуя себя этой запретной игрой. — А я думаю, что будет!

Девушка стала слабо биться в его руках, стараясь спуститься с колен.

И с этого вечера она стала бессознательно ждать чего-то. Не могла представить своего тела обнаженного при нем, не знала и не понимала еще, в чем заключается то наслаждение, о котором говорил и он, и книги, и вся жизнь вокруг. Она твердо верила, что этого никогда не будет, а между тем близость последнего момента предчувствовалась всем телом, и когда девушка долго думала о нем, щеки начинали гореть, сердце билось усиленно и голова отказывалась связно рассуждать.

Ее волнение передавалось Балагину и составляло для него невыразимое наслаждение. Он постоянно возвращался к прерванному разговору и незаметно приучил девушку к этой мысли. Уже среди поцелуев и объятий самым главным стал разговор о том, и Балагин, и она сама, заранее дрожа, ждали того момента, когда ласки зажгут все тело и бесстыдная мысль смело претворится в слова. Но каждый раз она упорно и слабо повторяла:

— Этого никогда не будет... Я знаю!

— Почему?

— Так...

Но каждый раз выговаривать это слово становилось все труднее и труднее, и девушка сама уж не знала: будет или не будет.

А тут наступила дождливая полоса, и вечера стали мокры, холодны и ветрены. Тогда Балагин стал звать ее к себе. Больше нигде нельзя было видаться наедине, а встречи при людях только раздражали. Но все же, прежде чем согласиться, девушка боролась несколько дней, чувствуя инстинктом, что, если пойдет, все будет кончено в тот же вечер. И тут-то она обрадовалась вечерним занятиям: они давали ей силу дотянуть день до конца, не видя его.

Вся история ее любви проходила перед ее глазами в эти долгие часы одинокого сидения в пустой, похожей на кладбище канцелярии. Она старалась проверить себя, остановиться, оглянуться и найти какую-нибудь ошибку, которая доказала бы ей, что можно и нужно прекратить все. Но воображение работало не так, как хотелось, и девушка чувствовала, что, что бы ни случилось, она не раскается ни в чем и, если бы начать все сначала, сделала бы то же самое. Жизнь стала так богата и красочна, что дико было даже подумать о возвращении к правильному, серенькому, размеренному существованию.

«Ну, что ж?.. Валя права: хоть час, да мой! О чем, собственно, думать и чего ждать?»

Память украдкой подсказывала ей фразу из одного романа, когда-то казавшуюся ей циничной и грубой: «Я поняла, что беречь эту чистоту не для кого и не для чего!»

И, притворяясь, что не понимает всего смысла этой грубой правды, девушка думала: «Ну, полюбила... пусть и буду его любовницей!.. Кому до этого дело? Разве лучше было бы выйти за Котова, или Хлудекова, или поручика?»

Тщедушный учитель с болезненной злостью на тонких губах, бессмысленно тщеславный Хлудеков, неизвестно по какому праву все презирающий и воображающий себя существом высшего полета, и серый плоский офицер представлялись ей, вызывая положительное отвращение.

А тут был человек с душой глубокой, в которой она не видела дна. Человек неожиданных мыслей, образов и слов. Она вошла в его жизнь со всеми его думами, планами, с широкими замыслами, охватывающими всю жизнь мировую. Он казался ей великим, и, когда он иногда воодушевлялся и с углубленной складкой на лбу, с горящими глазами говорил о том, как он покорит всех и заставит признать себя первым из первых, девушке хотелось отдать за него жизнь, стать перед ним на колени и благодарить за то счастье, которое он дал ей, маленькой женщине с серой и ничтожной судьбой.

И тогда мысль о том, что бороться не надо, что борьба и бесполезна, и бессмысленна, смутно, но настойчиво определялась в ее затуманенной, горячей молодой голове.

Пересилив стыд, она старалась представить себе, как это будет, и, к своему удивлению, не могла понять, что же такого отталкивающего и гадкого видела она раньше. Так казалось просто и естественно, как тот же поцелуй, только бесконечно крепче и горячее. По временам даже самой хотелось, чтобы все совершилось скорее и между ними уже не было никакой преграды.

«Будь что будет!» — подумала она один раз, и что-то оборвалось в ней окончательно.

И, наконец, после того как, благодаря дождю и ветру, Елена Николаевна два дня не видела Балагина, она вышла из канцелярии, сознавая, что идет к нему.

Шла она как-то странно, то чересчур быстро, почти бегом, то медленно, как бы через силу. Чувствовалась страшная слабость в ногах, и хотелось закрыть глаза и лечь где-нибудь в темном, тихом уголке. Страшно было, чтобы кто-нибудь не увидел и не догадался, куда и зачем она идет.

«Зачем?..» — с мучительным презрением, подчеркивая это слово, думала девушка. И чувствовала, как сердце ее холодно замирает от невыносимого стыда и страха.

И при мысли, что кто-нибудь узнает, охватывал такой ужас, что дыхание перехватывалось и подымалось в мозгу болезненное бредовое ощущение. Ей казалось, что она не могла бы даже солгать при встрече с каким-нибудь знакомым, а между тем, когда столкнулась с длинной унылой шинелью поручика и когда он спросил ее:

— Елена Николаевна! Куда вы в такую погоду?

— Так. Иду к Вале!

— Вы позволите вас проводить? — робко спросил офицер. Девушка побледнела. Когда она выходила из канцелярии, ей все казалось, что это только «так», проба, из которой ничего не выйдет, а она и в самом деле просто придет к Вале, где ее ждут. Но теперь, когда она увидела, что поручик увязывается за нею, девушка вся похолодела. Офицер что-то говорил, пробовал острить, шел рядом, но девушка вся трепыхалась, как подстреленная птица. Она молола всякую ерунду, без причины смеялась, злилась и, наконец, стала оскорблять поручика.

И странно, что именно этот недалекий офицер первый и сразу почувствовал, что она лжет. Он вдруг притих, сделался задумчивым и совсем замолчал.

— Елена Николаевна, — с трудом выговорил он не скоро, — я... хотел с вами поговорить... Вы знаете, как я...

— Ах, нет... У меня голова болит! — испуганно и невпопад возразила девушка. — В другой раз... пожалуйста... прошу вас...

— Но... — глуповато пробормотал поручик.

— Ах, право... в другой раз... миленький Иван Кириллович! — как шальная, перебила девушка, с тоской видя, что до квартиры Вали осталось уже немного. Она была жалка, и поручик опешил.

— Елена Николаевна, — горько пробормотал он, — я вам мешаю?.. Вы скажите!

Слышно было, с каким трудом он произнес это слово, точно оно застряло в горле. И слышна была еще покорная любовная мольба. Он всем существом своим ждал ответа отрицательного: какого-нибудь простенького, вежливого словца. Но девушка ответила:

— Да... то есть нет... Право! Почему? Что за глупости? Просто я... тороплюсь, и у меня голова болит.

Офицер побледнел и вдруг остановился.

Мучительная жалость охватила девушку. Она отчетливо и ясно понимала в эту минуту все, что делалось в душе бедного нелепого офицера. Но ее била лихорадка. Ей казалось, что, если офицер не оставит ее, произойдет что-то непоправимо ужасное, навсегда будет утрачено все. И вдруг она нелепо начала кокетничать, прижалась к руке поручика, засмеялась и чуть не заплакала.

— Так я уйду... — пробормотал офицер убито. — Может быть, в самом деле...

Она испугалась, что он догадается.

— Что в самом деле?.. Какие глупости!.. Право, глупости!.. Вы мне нисколько не мешаете!..

— Разве? — с робкой дрожью надежды в голосе спросил поручик.

Он уже готов был остаться, забыв все, что подсказало ему чутье, но когда девушка почувствовала это, она вдруг ощутила прилив такой холодной злобы, что забыла все.

— А впрочем, до свидания! Тут вот и Валя... До свидания. Не сердитесь на меня. Я сегодня какая-то...

Она не закончила чересчур звонкой лживой фразы. Ей было уже все равно, она знала только одно, что должна идти.

Поручик остался один под дождем, в вечернем сумраке, и торчал у тротуара, как фонарный столб.

Елена Николаевна быстро добежала до дома Вали, вскочила в калитку и долго стояла там, прижавшись в темном углу. Она рвалась и дрожала всем телом. Ей то казалось, что она уже целую вечность стоит и ждет тут в темноте, то казалось, прошло только несколько секунд. Наконец она не выдержала, быстро вышла на улицу и быстро-быстро пошла назад.

По улицам гудел ветер, брызгая в лицо холодными каплями. Фонари тоскливо метались в своих стеклянных домиках, и свет их золотил дрожавшие лужи.

На одном углу девушке мельком показалось, что у стены стоит, прижавшись, длинная серая шинель, и даже как будто она успела разглядеть мокрое бледное лицо поручика со странным выражением в глазах. Но девушка только отшатнулась и прошла мимо. Для нее уже не существовало ничего.

Она шла быстро, одна, в сырости и сумраке ненасытной ночи. Где-то за серой пеленой дымчатых туч скользила луна, и тучи бежали бесконечно и стремительно, как дни какой-то холодной, страшной жизни. Ветер рвал на углах, точно кто-то голодный и жадный, как зверь, от богатых домов, от светлых фонарей, из темных углов, отовсюду бросался на ее хрупкое, слабое тело и толкал его в грязь.

Кровавое пятно

I

Все эти дни Анисимов почти не спал, но чувствовал себя таким здоровым и бодрым, как никогда. Он даже как будто помолодел, и его худая нескладная фигура, с унылым и длинным носом, двигалась по станции быстро и весело.

Все было так стремительно, так неожиданно и хорошо, что все время у него было такое ощущение, будто он кружится в свежей и чистой волне, откуда-то нахлынувшей и без следа, навсегда смывшей всю старую, тусклую и скучную жизнь.

На станции, всегда тихой и пустынной, теперь былолюдно и шумно. От черных толп, непрерывно движущихся по платформе и путям, казалось, что вся она движется как муравейник, и многоголосый, возбужденный говор так и висел над ней в чистом, холодном воздухе белого дня. С востока один за другим проходили пестрые, наскоро составленные из

разнокалиберных вагонов поезда и, почти не останавливаясь, стремительно уносились вдаль, быстро уменьшаясь и тая в белом мареве снежных полей. Каждый поезд толпа на станции встречала и провожала долгим «ура» и маханием шапок, причем от множества рук мелькало в глазах, а от крика овладевало мальчишески задорное чувство. Каждый старался кричать как мог громче и, улыбаясь, оглядывался на соседей наивно и весело. И когда поезд уже скрывался в перелеске, еще долго слышались одинокие замирающие крики:

— А-а!..

На паровозах лопотали по ветру красные флаги, и изо всех вагонов глядели какие-то совершенно не известные, но странно близкие, как общие друзья, по большей части молодые люди. Они махали руками и фуражками и исчезали все в одном направлении. И то, что их было так много, что так чисты были эти поезда, что ружья и револьверы так странно не гармонировали с черными пальто и шапками, — все поселяло в душе молодое и радостное чувство своей правоты и силы.

Анисимов принимал и отправлял каждый поезд сам и, стоя далеко от станции у стрелки, приветливо высовывал навстречу из-под красной шапки свой длинный, покрасневший от холода нос. Он вглядывался в пронесившиеся мимо него незнакомые лица, и грудь у него теснило какое-то большое, новое и счастливое чувство.

Он еще сам не знал, что будет дальше, но что-то светлое, свободное и счастливое смутно рисовалось ему впереди, и казалось очевидным и непреложным то, что прежняя жизнь, с ее мертвым, тяжелым трудом, душевным одиночеством, унижениями, пьянством от скуки, вечными заботами и нуждой, кончена.

Когда не было поездов, он слонялся в толпе по станции и, всовывая свой длинный нос то в ту, то в другую кучку возбужденно спорящих людей, улыбался и вставлял свои замечания. Его все уже знали, называли «наш начальник станции» и «товарищ» и просто и охотно вступали с ним в разговоры, точно все это были давно знакомые и близкие ему люди.

Иногда Анисимов заходил в свою комнату на вокзале, чтобы немного побыть одному и собраться с мыслями. Он долго стоял посреди комнаты, не снимая пальто и шапки, мечтательно улыбался и думал все одну и ту же фразу, каждый раз полагая, что открывает что-то новое:

— Эх! Вот какую должна быть настоящая жизнь!

И, забывая свое намерение отдохнуть и подумать, опять шел на воздух, где так ярко белело небо, чисто и звонко хрустел снег и все так же двигались, шумели, кричали и смеялись оживленные, бодрые люди.

С каждого проходившего поезда к Анисимову соскакивали по два-три человека и передавали ему известия или задавали ему вопросы чрезвычайной общей важности. Анисимов был рад, когда мог ответить что-нибудь хорошее. Он крепко пожимал им руки и, глядя в глаза открыто и весело, говорил:

— Ну, трогайте, товарищи!.. С Богом!..

Длинный нос краснел у него еще больше, и маленькие глазки становились влажными. Он торопливо кивал им и бежал к паровозу. Гудел свисток, и масса близких, странно дорогих людей уносилась вдаль, где делалось что-то огромное, страшное и радостное вместе.

И толпа опять провожала их долгим громовым криком, от которого мощно гудела, казалось, сама земля.

В одном из поездов, уже под вечер, Анисимов увидел знакомое лицо. Толстый машинист, с обрюзгой и измятой физиономией, соскочил к нему с площадки паровоза. Они крепко пожали друг другу руки, и Анисимов, торопясь и улыбаясь странному виду машиниста, с ружьем и карманами, оттянутыми тяжелыми патронами, сказал:

— Вот какие дела, Карл Вульфович!.. Как славно, голубчик!.. Какой общий порыв!..

— О-о!.. — возразил бледный, но улыбающийся машинист. — Что-то будем смотреть!..

Он нечисто говорил по-русски, и эта маленькая подробность, всегда забавлявшая Анисимова, теперь почему-то тронула его.

— Сейчас получено известие, что солдат не выпускают из казарм, так как боятся, что они перейдут на нашу сторону, — сообщил он, и лицо его бессознательно расширилось в счастливую улыбку.

— О-о!.. — восторженно сказал машинист. — Это надо было ожидать... — и, торопливо пожав руку Анисимову, побежал садиться.

Анисимов бежал с ним рядом, цепляясь плечом за встречных, и говорил:

— Поехал бы и я с вами, да без меня тут все перепутается.

— Я думал, вы семья бросайте не хочит... — на бегу заметил машинист.

— Какая теперь семья! — возбужденно и радостно крикнул Анисимов. — Да я и жену, и детей в деревню к тестю послал... Семья потом, — теперь не до семьи... Ну, всего хорошего... Дай Бог здоровым быть!

Он отстал от машиниста и долго смотрел вслед поезду, задумчиво улыбаясь.

«Как странно все это... — мелькало у него в голове. — Еще три дня тому назад я не поверил бы... Думал, так и уйдет жизнь... день за днем, день за днем, только нужда проклятая да тоска...»

Призрак серой, длинной и скучной жизни бледно мелькнул перед ним и исчез. Он оглянулся кругом, тряхнул головой и пошел, пробираясь между толпой и прислушиваясь к голосам. В зале третьего класса, где было накурено до синего тумана и было жарко, как в бане, — от множества голосов стоял непрерывный гул. У стойки стоял стрелочник Аким и, распуская вокруг сизые клубы махорки, говорил:

— А ты как думаешь!.. Народ, брат, ен... ен, ежели подыметя, да ежели, скажем, тряхнет, да ежели... так ого-го, брат...

Было весело и хорошо в теплой и светлой атмосфере общего оживления; клубами ходил сизый дым; перед окнами двигались тесные темные силуэты; гудели голоса, и входная дверь поминутно визжала на блоке, пропуская то туда, то сюда целые крики народу. II

В этот самый день, когда уже стало смеркаться и дальний перелесок начал сереть на посиневшем снегу, полным ходом, без фонарей, как зловещая черная птица, вылетевшая из темного леса, с гулом и свистом промчался одинокий черный паровоз из Москвы. Со страшным шипением тормоза и скрежетом мерзлых рельсов он на секунду остановился у станции, и кто-то, свесившись с площади тендера, закричал отчаянным криком:

— Товарищи!.. Все пропало!.. Бологое взято войсками. Баррикадируйте путь... Идет поезд с солдатами!

Паровоз двинулся, качаясь, как бы в раздумье перешел стрелку и, оставляя позади ключья белого пара и дыма, понесся дальше. А в наступившей внезапной тишине еще звенел удаляющийся, одинокий, напряженный крик:

— Товарищи, сначала — наши... Наш поезд сначала, смот-рите-е!..

На станциях поднялась зловещая, тревожная суета. Толпы людей со всех сторон бежали на крик. В страшном хаосе закрутились вокруг Анисимова побледневшие, растерянные лица. В странной напряженной тишине негромко слышались разрозненные, болезненные голоса, и, казалось, над станцией пронеслось что-то страшное. Анисимов, расставив ноги, неподвижно стоял там, где остановил его зловещий крик с промчавшегося паровоза, и с непонятым чувством оглядывался вокруг. То, что он услышал и что не совсем ясно понял, было так неожиданно и ужасно, что на мгновение у него беспомощно остановилась мысль.

— Что такое?.. Что такое?.. — машинально спрашивал он ближайших людей.

Но ему никто не отвечал, и темный ужас глядел изо всех глаз, блестящих круглыми, расширенными зрачками. Чудилось, что еще минута, еще один тревожный крик, — и вдруг все бросится прочь, с диким воем, плачем и безумием. Это было страшное и необъяснимое мгновение, во время которого Анисимов чувствовал, как странная слабость и холод ползут у него по телу.

Но в следующую минуту какой-то молоденький и очень маленький студент чьими-то руками был поднят на воздух и, размахивая шапкой, закричал изо всех сил высоким, пронзительным голосом:

— Товарищи!.. Этого не может быть!.. Это провокация, товарищи!..

И что-то исчезло. Страшное мгновение прошло. Именно в эту минуту всем почему-то стало ясно, что это — правда, ужасная, непоправимая, быть может, правда, но вместе с тем как-то разом пропал безобразный, панический ужас и сменился озлоблением и решимостью.

Нервные и мрачные толпы глухо загудели в наступающих бледных сумерках и странно, точно в конвульсиях, задвигались по станции, будто отыскивая какого-то спрятавшегося врага. В нескольких местах сразу слышались то глухие, то пронзительные выкрики людей, говорящих с целую толпой, и вместо страха и растерянности в общем напряженном движении стало расти что-то грозное и сосредоточенное.

Анисимов опомнился. Он снял шапку, вытер на лбу мгновенно выступивший пот и, сам не зная что, сказал близстоящему телеграфисту:

— Ну, что ж... это еще ничего не доказывает... Мало ли как могли прорваться... Будем делать свое дело, а потом посмотрим.

Высокий белобрысый телеграфист что-то ответил, но Анисимов не расслышал. В это время опять поднялась суматоха. Толпы людей начали строить баррикады. Сразу в нескольких местах появились их черные, безобразные силуэты. Из вокзала тащили мебель; два человека, толкаясь и торопясь, пронесли мимо Анисимова длинную обмерзлую шпалу; откуда-то слышался звон разбиваемого стекла.

И почему-то Анисимов понял, что никто не знает хорошенько, что нужно делать, и что именно ему надо направить всю эту оживленную, смутную силу. Он знал на этой станции каждую шпалу, его потом она была скреплена и им делала свое дело, плавно и стройно входя в бесконечный ряд таких же маленьких, одиноких станций. И зато никто так, как он, не знал, каким образом в одну минуту превратить эту стройную машину в безобразную грудку обломков. И, чувствуя тупую злобу к кому-то далекому, Анисимов побежал по платформе,

замахал красной фуражкой и, перебивая студента, который звал из окна вагона: «Товарищи, сюда!.. Из вагонов лучше всего!» — сам закричал:

— Не так, товарищи... Вагоны надо поперек рельсов!.. Баррикадируйте все пути, кроме главного!.. Аким, Аким... давай кран!..

Он спрыгнул с платформы и, прыгая через рельсы, побежал к длинному зеленому вагону, стоявшему в тупике. И за ним уже послушно и охотно со всех сторон бежали разные люди.

Черные толпы закопошились вокруг вагонов. Огромные, красные, синие и зеленые вагоны медленно, как будто сами собой шевелились над кучками людей, похожих на муравьев, медленно поворачивались и вдруг с гулом, звоном цепей и дребезжанием стекол валились вниз. Глухо охала земля, и каждый раз нестройные голоса слабо кричали: «Ур-ра!..»

Весь потный, с всклокоченными вихрами и каплями пота на длинном носу, блестя глазами и не переставая уже охрипшим голосом кричать что-то ободряющее и призывное, Анисимов бегал, перепрыгивая через рельсы, из стороны в сторону, и его красная шапка быстро мелькала во всех концах станции. В это время он не думал о приближающейся опасности, о том, что будет дальше, после того как он построит эти баррикады. Это будущее ему вовсе не представлялось. Сейчас вокруг было так ярко, живо, сильно, а впереди был только какой-то смутный, далекий туман.

Возясь с установкой крана, чтобы перевернуть тяжелый пульмановский вагон, Анисимов пропустил момент прихода поезда. А когда услышал крики «ура» и оглянулся, увидел уже остановившийся, тяжело дышащий, высокий черный паровоз и длинный ряд вагонов, из которых в обе стороны сыпались черные, вооруженные люди. Всю станцию загрохотала огромная движущаяся толпа.

И в этой толпе Анисимов первый раз увидел кровавые пятна на белых повязках. С странным жутким любопытством он посмотрел на эту кровь, и что-то тревожное впервые шевельнулось в нем. Почему-то вспомнились жена и дети, стало холодно, и почувствовалась усталость.

— Господин начальник, товарищ! — кричал высокий человек, проталкиваясь к нему сквозь толпу. — Надо загородить и этот путь... Так, чтобы, понимаете, была сплошная баррикада... А то придется носить раненых в вокзал по открытому месту... А?..

«Разве будут раненые?..» — смутно мелькнуло в мозгу Анисимова, и на секунду у него в голове все смешалось.

— Ах... Да, да!.. — встрепенувшись, ответил он. — Конечно, необходимо. Я сейчас...

Он кивнул головой и побежал к паровозу.

«Будь что будет... чему быть, того не миновать... Ну, убьют... значит, так надо... без жертв нельзя... А может, и не убьют, а только ранят... И всю жизнь буду знать, что я свое дело сделал!..» — уже овладев мыслью, думал он, и все тело его подбиралось какою-то сжатой решимостью.

С паровозной площадки на него глядел знакомый машинист.

— Не доехали до Москва... — обрываясь, испуганно сказал он. — Что там делается... В наш поезд стрелял солдат!..

— Ну, ну, ничего, голубчик! — ободряющим тоном возразил Анисимов. «Вот ведь ему тоже страшно!» — подумал он, чувствуя, что от этого становится легче ему самому. — Слушайте, гоните вы свой паровоз на вагоны: загородим путь...

И когда огромный черный паровоз, похожий на могучее живое существо, оторвавшись от поезда, разбежался, с грохотом и свистом пара налетел на кучу дробящихся с невообразимым упорным треском и звоном вагонов, поднялся на дыбы, закачался и тяжело рухнул набок, окутавшись белыми облаками пара, и когда потом на двух путях, всегда таких ровных и аккуратных, образовалась высокая дымящаяся масса обломков, — в душе Анисимова появилось горделивое чувство.

— Посмотрим, посмотрим... — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. — Далек не уедут!

— Вы оружий имеет? — спросил машинист.

— Нет... Да я и стрелять толком не умею... — с улыбкой ответил Анисимов. — Вы себе сражайтесь, а я и так дело найду...

— Да, мы будем сражайтесь! — сердито ответил машинист.

— Идет, идет! — издали закричали нестройные, тревожные голоса, и люди, одиноко торчавшие на крыше вокзала и на водокачке, быстро стали спускаться вниз.

— Милости просим... — тихо и злобно проговорил возле Анисимова незнакомый телеграфист и, волоча ружье за дуло, побежал к баррикаде.

Толпа хлынула вперед, потом назад и быстро расплылась вдоль баррикад. Все стихло так быстро, что стало даже странно.

Вокруг опустело, и только отдельные люди торопливо выбегали из здания вокзала.

В прозрачных сумерках из-за перелеска тихо и осторожно выдвинулся мрачный, без огней поезд. Он был еще далеко, казался маленьким, но вид его был необыкновенен и жуток, точно это подползал какой-то длинный, осторожный и хитрый гад.

— Они... — сказал машинист и присел за кучей угля и дров.

Странное, жуткое любопытство овладело Анисимовым. Неуверенно улыбаясь сам не зная чему, он с трудом влез на скользкий бок покосившегося вагона и, держась за его холодные металлические края, высунулся наружу.

Черный поезд медленно подползал, и чем ближе, тем тише. Временами казалось, а может быть, так и было, что он останавливался, как бы нащупывая дорогу, а потом опять полз вперед. На станции было мертвенно тихо, точно там никого не было; но когда Анисимов оглядывался назад, повсюду, за каждым выступом баррикад, за деревьями, за оградой палисадника, в окнах вокзала и под вагонами он видел молчаливые, прикившие черные фигуры.

Поезд совсем остановился и странно чернел в пустом поле. Там было так же тихо, и казалось, что поезд и станция, как два зверя, напряженно оглядывают и подстерегают друг друга. Сумерки быстро сгущались.

Минуты шли, и в них была тяжелая неизвестность вечности. Уже в мозгу Анисимова как-то странно, кошмарно зашевелилась нелепая мысль, что поезд пуст и брошен посреди поля; но в то же время по обе стороны его закопошились еле видные в сумраке люди. Их было много; они что-то делали, растягивались на снегу и что-то тащили; но все по-прежнему было тихо.

Затем развернулись длинные темные полосы, волнообразно задвигались и медленно стали приближаться. Что-то дрогнуло в груди Анисимова, и в душе его возникло какое-то сложное чувство: он никогда в жизни не видал, чтобы люди большими массами, совершенно правильно и обдуманно вступали в драку, исходом которой должна была быть смерть и

страдания многих из них. Война представлялась ему только очень смутно и вызывала неопределенное недоверие, как будто на самом деле ничего из ее ужасов не бывало, а все кем-то преувеличивалось и выдумывалось. Но войну все-таки легче было представить себе: во-первых, всегда казалось, что она происходит где-то в совершенно особом месте, как будто предназначенном для нее и совсем не похожем на ту обстановку, в которой живут изо дня в день люди, а во-вторых, — и сами эти люди, дерущиеся на войне, представлялись какими-то особенными, не способными так остро чувствовать страх и страдание, как окружающие рабочие, чиновники, студенты, женщины и дети. Анисимов, конечно, знал, что это совсем не так, но все же только теперь, — на этой простенькой, до смерти надоевшей станции, с ее заборами, садиками, черным пятном на месте останков паровозов, стрелочниками, звонками и тысячами знакомых будничных мелочей, в присутствии людей, совершенно таких же простых и обыкновенных, как сам Анисимов, — мысль о сражении, о выстрелах, крови, раненых и убитых показалась ему так противно и очевидно и страшно нелепой.

«Что за черт!.. Неужели же так и будет?..» — вертелось в голове его растерянное недоумение.

Но темные полосы все приближались, разделились на отдельных людей; стало видно, как упорно и быстро перебирают сотни ног; и по этому неуклонному движению, и по напряженному молчанию массы притаившихся вокруг людей чувствовалось, что как бы там ни было, а непонятное, безобразное и нелепое дело совершится сейчас, сию минуту. И от этого чувства бессильно замирала мысль.

Солдаты подходили. А тишина стояла такая же зловещая и напряженная. И это было так невыносимо страшно, что хотелось уже только одного: хоть бы уж скорее «это» началось.

«Не может быть... ничего не выйдет...» — подумал Анисимов, нагнувшись к машинисту, сидевшему у его ног, и, почему-то стесняясь говорить громко, тихо сказал:

— Я думаю, что если бы с ними вступить в переговоры...

Бледное, опухшее лицо машиниста посмотрело на него снизу, как будто ничего не понимая. Анисимов пристально вгляделся в его округлившиеся, принявшие дикое и жуткое выражение глаза, потом перевел взгляд на стоявшего рядом незнакомого человека, горбоносый, бледный профиль которого был совершенно неподвижен, точно человек этот был чем-то загипнотизирован, — и вдруг почувствовал такой страх, что даже руки у него задрожали.

Неожиданно, заставив вздрогнуть, где-то правее Анисимова, коротко и одиноко бахнул громкий выстрел, и, точно по условленному сигналу, все заборы, рвы, кучи шпал и обломков покрылись короткими, сверкающими огоньками, наполняя прозрачный морозный воздух торопливым, дробным щелканьем.

Анисимов отчетливо видел, как серые ряды смешались, расстроились и, точно от ветра, подались назад. Видел, как на очищенном, уже истоптанном месте болезненно закопошились отдельные фигуры, слышал в той стороне отдаленный крик, но ему все еще казалось, что это только «так» и сейчас прекратится. Но в следующее мгновение вся серая масса солдат опоясалась огненными узорами, и сухой треск залпов бурно оживил молчаливое белое поле. Что-то с силой защелкало по вагонам; кто-то испуганно закричал; оглушительно выстрелил у самого уха Анисимова загипнотизированный горбоносый человек. Анисимов опять повернулся к машинисту. Тот все еще сидел на корточках, но с ним делалось что-то нехорошее: ружье его лежало на снегу, лицо было удивительно бело, глаза огромны и как будто незрячи. Он коротко махал перед собою обеими руками и медленно валился назад. А когда лег спиной на снег, то перестал махать руками, и его огромное, толстое тело с возвышающимся, массивным животом застыло, как мороженая туша. Опять оглушительно

выстрелил горбоносый человек, и Анисимов, оглянувшись на него, тихо сполз вниз.

Он весь дрожал и смутно улыбался. Мертвое лицо машиниста смотрело прямо на него тусклыми, замерзшими, казалось, глазами. Это была смерть, и Анисимов только теперь понял, что то, во что не верило все его существо, — совершилось. «Убили... — подумал он. — Боже мой, что ж это такое?..»

У этого машиниста была жена и четверо детей, которых всех знал Анисимов. Каждый день он ездил мимо станции и здоровался с Анисимовым. Теперь он лежал как туша, как бревно. Умер...

Анисимов медленно отошел, стараясь не смотреть на труп и тщетно усиливаясь объяснить себе то, что делалось в нем самом: что он должен сейчас чувствовать — ужас, или злобу, или отвращение. Он вспомнил, как год тому назад мимо этой же станции везли на войну таких же солдат, этих же самых русских, своих солдат. И их было так искренно жаль, так грустно становилось, когда они уносились в неведомую даль, и так хотелось сделать им хоть что-нибудь приятное, хоть чем-нибудь помочь.

«Боже мой... Боже мой... Боже мой!..» — нелепо повторяла смятенная мысль и не могла разобраться в хаосе кошмарных представлений и образов.

Вокруг пахло пороховым дымом, а черные фигуры за вагонами странно и торопливо копошились, то отбегая назад, то падая, то поднимаясь, то карабкаясь на крыши вагонов, то быстро скатываясь вниз, чтобы неподвижно скорчиться на рельсах. Отсюда Анисимову уже не было видно наступающих солдат, но страшная сила залпов то приближалась, то удалялась, потрясая смятенный воздух.

Потом начало с ужасным треском раздражаться в воздухе что-то необыкновенное, огромное, точно лопалось и рвалось на части самое небо. С того места, на которое отошел Анисимов, видно было, как на мгновение в серовато-синем сумраке вдали появлялась яркая, огненная звезда, и когда она уже скрывалась и тьма на том месте на секунду делалась черной, — казалось, над самой головой Анисимова разражался трескучий гром, грудная клетка его вздрагивала, как крышка коробки, и с невероятной силой, взметая снег, черные обломки, огонь, дым и снежную пыль, что-то невидимое, но всесокрушающее било прямо в черную стену баррикад. И там раздавался крик, вой, и оттуда во все стороны бежали ополоумевшие люди.

Бой тянулся с четверть часа, но Анисимову показалось, что все кончилось в одну минуту.

Он видел, как на верху одной баррикады показались темные силуэты стреляющих прямо в него солдат; услышал что-то зловеще и злобно завизжавшее возле него по снегу; видел кучки черных людей, медленно уходивших вдоль линии и по железнодорожному палисаднику и как будто очень спокойно, не торопясь, стрелявших в солдат; видел истоптанный, грязный снег, усеянный разбитыми, копошившимися, как черви, людьми; видел, как сзади, из-за вокзала неожиданно стали выбегать кучками солдаты и как черные люди стремительно и вразброд побежали во все стороны, оглашая воздух криками и беспорядочной стрельбой.

Пушки вдруг замолчали, и стало казаться тихо, несмотря на крики и выстрелы. Серые солдаты бежали от станции в поле, догоняли отдельных, вязнувших в снегу черных людей, торопливо и судорожно возились с ними и бежали дальше. А на том месте оставался скорчившийся черный комок. Делалось что-то такое невероятное, ужасное и омерзительное, что Анисимов весь похолодел и инстинктивно, не соображая и ничего не чувствуя, кроме невообразимого животного ужаса, изо всех сил побежал по пути.

От водокачки, также изо всех сил, бежал ему наперерез огромный круглоголовый солдат в длинной серой шинели и с ружьем в одной руке. Еще за несколько шагов они увидели глаза

друг друга и побежали еще быстрее. У солдата было молодое, безусое и красное лицо. Он добежал скорее и, с внезапно искаженным злобой лицом, перехватил ружье в обе руки и ткнул в Анисимова штыком. Анисимов извернулся, как падающая кошка, и бросился в сторону. Солдат метнулся за ним, повторяя его движение, и одну секунду они точно танцевали, кидаясь то туда, то сюда и выпученными глазами глядя прямо в зрачки друг другу. Но потом солдат вскинул длинное и острое ружье и навел его прямо в живот Анисимова.

— Ой, стой... подожд... — тоненьким голосом закричал Анисимов и, закрыв глаза, замер на месте, выставив вперед руки.

Он услышал оглушительный выстрел, сквозь закрытые веки увидел мгновенный свет и как-то не мыслью, а всем телом понял, что солдат промахнулся. Но в это время кто-то быстро набежал сзади, тупо и больно, так, что огни засверкали в глазах, ударил его по голове, схватил за рукав и, не удержавшись с разбегу, упал вместе с ним в мокрый, холодный снег.

— Пусти! — с острой злобой закричал Анисимов и, стиснув зубы, изо всей силы ударил локтем назад по чьему-то лицу, на котором торчал мягкий нос, хрустнувший под его ударом, и совершенно бессмысленные, выпученные глаза, которые он видел первый раз в жизни. III

Была уже ночь, и ее черное лицо загадочно смотрело в окна станции, разбитые пулями и развороченные какой-то невероятной силой. На станции было тихо. Но в этой тишине, казалось, еще дрожали крики, выстрелы и стоны. На подъездном пути ярко горели неизвестно кем и зачем подожженные вагоны. И над взвивающимся багровым, весело страшным пламенем небо было совершенно черно и низко. Дым тяжелыми клубами медленно поднимался вверх, а выше его, во тьме, искры красиво танцевали какой-то грациозный и таинственный танец. От всего ложились на снег неровные, беспокойные тени, и казалось, что неподвижные трупы, рядами сложенные против вокзала, осторожно шевелятся.

Везде стояли и ходили солдаты, освещенные пожаром. Они сходились, расходились, наклонялись к земле и, казалось, пристально разглядывали то, что сделали в этот день и что было для них совершенно неожиданно и непонятно. Их черные тени ползали за ними по красному снегу, быстро перегибаясь на рельсах, блестящих от огня, а над ними изредка красными иглами вспыхивали штыки. На платформе стояли офицеры и о чем-то негромко говорили между собой, поминутно закуривая папиросы. От недалекого пожара глаза у них резко, точно стеклянные, блестели и казались злыми и дикими, как у хищных зверей.

В комнате, где заперли Анисимова, было холодно и пусто. Освещалась она только полосами зарева, принимая в его мечущемся огненном свете фантастически необыкновенный вид. Давно знакомая Анисимову мебель казалась чересчур неподвижной, как памятники на кладбищах; а разбитая пулей лампа, свернувшаяся с крюка, висела на потолке, как труп огромной летучей мыши. Тени солдат и офицеров медленно и беззвучно ходили по освещенной стене и кривлялись по углам.

Первое время Анисимов не мог опомниться и прийти в себя, чтобы сознать и обсудить свое положение. Он тяжело дышал, весь дергался, поминутно то закрывал глаза, то открывал и не видел, где он и что вокруг. Вся правая сторона его головы тупо ныла, и он бессознательно встряхивал головой, стараясь отделаться от этой боли. Но она не отставала, и половина лица была тяжела, как каменная.

Когда его схватили, он долго сопротивлялся, бился, даже кусался, как зверь, сам не замечая этого. Его хватали и за волосы, и за бороду, и за руки, но он упорно вывертывался, и все время ему казалось, что вот-вот, еще одно усилие, и он непременно вырвется и будет спасен. Но когда его осилили и поставили на ноги, крепко держа за обе руки, он вдруг сразу понял, что сопротивление бесполезно, и притих.

В плотной кучке четырех солдат, огромных, красных и возбужденных борьбой, он казался

очень маленьким и бессильным, как затравленный зверек, и, как зверек, только оглядывался во все стороны блестящими, округленными глазами, втянув голову в плечи и тяжело дыша.

— Ишь ты, сволочь!.. — с возмущением и злобой сказал один из солдат, вытирая кровь со щеки, и с искаженным лицом и с бешенством в тупых, бесцветных глазах еще раз ударил его снизу в подбородок. Анисимов лякнул зубами и вздернул головой, но молчал и продолжал оглядываться.

— Не вырвешься! — торжествующим, грубым голосом сказал солдат.

— Ну иди, что ль! — крикнул другой и толкнул его в плечо. Что-то пробудилось в Анисимове от этого толчка, данного тогда, когда он уже не сопротивлялся. Он быстро обернулся, но новый удар, уверенный и беспощадный, толкнул его на два шага вперед. Два солдата крепко схватили его за руки и потащили к вокзалу. Он шел, упираясь обеими ногами, шаг за шагом, а сзади били его в шею и спину прикладами, отчего тупо и мучительно вздрагивало сердце.

Так дотащили его до платформы и толкнули к двум другим, избитым, окровавленным и оборванным людям, которых окружали солдаты.

В это время запылали вагоны, и синий сумрак вечера сразу задрожал и озарился ярким красноватым светом.

Высокий и плотный офицер с большими и рыжими усами подошел к ним. Еще человек пять офицеров, блестя перевязями и пуговицами, стояли в стороне.

— Ваше высокоблагородие, — заговорил солдат, выступая из рядов, — так что захваченные, значит, которые с оружием.

— Ага, да!.. — голосом высоким и загадочным, точно радуясь чему-то тайному, известному ему одному, протянул офицер. — Анатолий Петрович! — громко позвал он.

Из кучки офицеров выдвинулся один, толстый и черный, с маленькими черными усиками. И пока он подходил, Анисимов смотрел ему прямо в лицо. Пожар был близко и сбоку, и оттого у всех была видна только одна половина лица, ярко освещенная, а другая совсем пропадала в черной тени. Анисимов с непонятным ему самому чувством ужаса смотрел на эти половинчатые лица, с одинокими блестящими глазами, и ему казалось, что это не простые люди, солдаты и офицеры, каких он видел всю свою жизнь, а какие-то особенные, страшные и необыкновенные существа, в которых нет ничего человеческого.

— Вот, рекомендую, — сказал высокий офицер тем же непонятно злорадным голосом, поворачиваясь к подходящему офицеру, — господа революционеры.

Он вдруг переменял выражение и, твердо и властно выговаривая, спросил:

— Ты кто?

Тогда Анисимов посмотрел на своего соседа, к которому обращался вопрос, и узнал его. Это был тот самый горбоносый, как будто чем-то загипнотизированный человек, который стрелял в солдат с баррикады возле Анисимова.

— С ружьем схватили, ваше высокоблагородие! — сказал кто-то из солдат.

— А... Расстрелять!.. — отчетливо и спокойно выговорил полковник.

Анисимов понял это слово, но не понял его ужасного, именно в этот момент, значения. Очевидно, не понял и горбоносый человек, потому что он не двинулся с места, не крикнул, ничем не выразил своего ужаса. Два солдата с одинаковыми темными лицами взяли его под

руки и отвели.

Он еще обернулся, точно хотел что-то сказать, но промолчал, и так же неподвижно стал там, где его поставили, в нескольких шагах.

— Кто? — опять спросил высокий офицер.

Вопрос был обращен к Анисимову, но ответил не он, а маленький, щуплый человек в разорванном ватном пальто и картузе.

— Мы с Костюковского завода... токари... Федульев... — торопливо проговорил он, поспешно выдвигаясь вперед и весь приходя в движение. Нижняя челюсть его странно двигалась.

— Тоже палил, ваше высокоблагородие... — каким-то унылым и безнадежным тоном подсказал опять тот же солдат.

И опять отчетливо и коротко полковник выговорил то же непонятное слово.

Смутная и странная мысль мелькнула в мозгу Анисимова. Лицо его медленно побледнело, и он сделал судорожное движение назад, точно хотел вдавиться в ряды солдат. Но кто-то сейчас же схватил его сзади за руки.

— Ты? — заметив его движение, быстро повернулся к нему высокий полковник.

Анисимов молчал и надавливал спиной на державшие его руки.

— Но-но-но! — насмешливо, подняв подбородок, сказал полковник.

— Да это начальник станции... — заметил толстый поручик, устремляя прямо в лицо Анисимову свой единственный, блестящий глаз.

— Да, я начальник этой станции... — точно кто толкнул его, торопливо ответил Анисимов и вдруг заискивающе-криво улыбнулся, не спуская взгляда с этого одинокого, как будто окровавленного глаза.

— А-а!.. Оч-чень приятно познакомиться! — кривя половину губ с одним красным усом, протянул полковник. — Так это вы и есть начальник этой станции?.. Тэк-с... ну, нам не мешает побеседовать подробнее, господин... позвольте узнать, как ваша фамилия?..

— Анисимов... — глухо ответил Анисимов.

— Ага... оч-чень приятно все-таки... — тянул полковник, сгибая голову набок, и в голосе его было что-то кошачье, жестокое и хитрое.

— До утра под караул!.. — вдруг громко приказал он, отворачиваясь от Анисимова.

— Ваше благородие, а мне как же? — неверным голосом спросил мастеровой, вытягивая шею.

Полковник через плечо посмотрел на него.

— А тебе, милый друг?.. Расстреляют... — ответил он не сразу и видимо наслаждаясь впечатлением своих слов.

— Ваше благородие! — дрогнув, вскрикнул мастеровой. Странное и короткое смятение пробежало по толпе солдат от этого крика. Кто-то усиленно и напряженно задышал над самым ухом Анисимова.

— Тише там! — быстро поднимая голову и блестя глазом, крикнул толстый офицер. И все замерло так, точно здесь не было живых людей, а было одно пугливое и смиренное животное.

— Веди! — энергично кивнув в сторону поля, приказал полковник.

С тем самым мучительным, острым любопытством, с которым он в детстве смотрел, как режут курей, Анисимов впился глазами в освещенную половину бледного, с широко открытым глазом, лица мастерового. Он ждал, что этот человек сейчас бросится, начнет рваться, как рвались куры из режущих рук, закричит, и это будет ужасно; но мастеровой стоял молча и только вытягивал и втягивал отвисшую нижнюю челюсть. И видно было, как она дергалась все сильнее и сильнее и уже прыгала в страшной пляске. Анисимов, не отрываясь, смотрел на эту челюсть, и все смотрели на нее, и с каждым ее движением рос и рос общий, напряженный ужас.

— А ты кто? — вдруг громко и отчетливо заговорил издали горбоносый человек. — Собака, сволочь... своих бьешь, подлец... мать твою...

— Что-о? Молчать! — резко и звонко крикнул полковник, судорожно хватаясь за револьвер и делая два шага к нему.

— Сам молчи!.. Чего мне молчать, когда я на смерть иду, дурак! — загремел горбоносый человек. — Чтоб ты сдох... Иуда, проклятая собака!.. Ты думаешь, я тебя боюсь?.. На, бей! Сам бей, сволочь, бей!..

С слабым вскриком Анисимов обеими руками схватился за лицо и закрыл глаза.

Один за другим сверкнули два выстрела. Кто-то вскрикнул, и вдруг все затолпились, задвигались. Темные силуэты солдат сразу загородили от Анисимова то место и, схватив его под руки, быстро потащили прочь...

И все это теперь стояло перед глазами Анисимова в смутном мраке холодной комнаты.

Теперь он уже знал, что завтра утром, через несколько часов, его расстреляют. IV

«Завтра меня расстреляют! — думал Анисимов, острыми блестящими глазами глядя в холодный мрак. — Завтра меня расстреляют».

Это была не мысль, потому что нельзя было думать о том, что через несколько недолгих часов придут люди, которых он никогда в жизни даже не видал, и убьют его, страдающего, живого человека, как старую, запаршивевшую собаку. Это было просто какое-то тяжелое и холодное давление на мозг, какое на человека, не верящего в сверхъестественное, производит появление страшного, необъяснимого призрака.

Анисимову иногда хотелось пожать плечами и усмехнуться этой забавной несообразности, но вместо того лицо его в темноте кривилось дикой и болезненной гримасой, принимая выражение зловеще искаженной маски сходящего с ума.

Он запахнулся, точно в больничный халат, в пальто с разорванным клапаном и короткими, неровными шагами, худой, длинный, как привидение, заходил по комнате, осторожно обходя в темноте мебель и почему-то стараясь не шуметь. Странно было то, что эта его осторожность была вовсе не от страха: Анисимову только страстно хотелось, чтобы никто не помешал ему думать «об этом». Казалось, что если он спокойно и точно обдумает что-то до конца, то все переменится, — он все поймет, и тогда все разъяснится очень просто и хорошо. И он думал, думал, думал... Лицо его принимало мучительное выражение свыше сил напряженной думы, но ничего не выходило. Порой как будто и возникала яркая, спасительная мысль, но где-то очень глубоко и смутно. Анисимов делал сверхъестественное усилие, чтобы

вызвать ее на поверхность и облечь в слова. Мысль крепла, поднималась, начинала распутываться и приближаться к какому-то слову. Становилось легче, голова светлела, глаза теряли напряженное выражение. Анисимов останавливался, чтобы схватить самое главное, схватывал и мысленно говорил, думая, что говорит именно то, что нужно: «Завтра меня расстреляют!..» И тогда вдруг все снова путалось, мысль моментально и бесследно таяла в мозгу, выступал липкий пот на висках; холодная туманная пустота, похожая на то, как будто всего его неожиданно окутывало густым облаком какого-то холодного пара, наполняла душу, — и Анисимов опять начинал мелкими шажками быстро и осторожно ходить из угла в угол и напрягать свой усталый, горячий мозг.

Вдруг представилось ему знакомое место, за станцией, у канавы, где сложена куча старых, почерневших шпал и снег лежит округлыми, хрупкими сугробами, белый, чистый, не тронутый ногой. Кучи шпал теперь не было: Анисимов знал, что ее растащили на баррикады по его же указанию, но место это так и представилось ему: ограда палисадника, черная куча обледенелых шпал, а дальше — белое свободное поле, с которого далеко видны, точно игрушечные, красные домики станции и бегущие по бесконечному, ровному стальному пути хорошенькие разноцветные поезда с белыми султанчиками паровоза. И вот именно там, на снегу, головой к шпалам, он, Анисимов, будет лежать мертвый, не просто мертвый, а «расстрелянный». Голова и грудь у него будут пробиты пулями; синие руки закостенеют, как скрюченные лапки зарезанной курицы; а колени острыми углами будут торчать из сугроба.

Будет холодно; он весь обледенеет и станет твердый, как полено, с замерзшими, мутными, выпученными глазами и ртом, набитым снегом и красным льдом. Но тогда он уже не будет ничего чувствовать, сознавать и видеть и не увидит даже своего трупа.

«Это самое ужасное... это самое ужасное...» — почему-то подумал Анисимов, и невыносимая внутренняя тоска, выворачивающая всю душу, засосала сердце. Захотелось стонать тоненьким жалобным воем.

Было тихо вокруг, и только треск горевшего дерева изредка доносился в окно.

Все быстрее и быстрее шагая из угла в угол и кутаясь в пальто, как в больничный халат, Анисимов стал припоминать. Сначала он сам не мог понять, что именно ему хочется припомнить; но появилось и окрепло воспоминание о прожитой и теперь вдруг неожиданно, но очевидно заканчивающейся жизни. Он стал проходить ее мыслью с начала до конца и тщательно искать в ней чего-нибудь такого, что имело бы связь с тем, что должно было произойти завтра.

Вызванная из серого тумана забвения, стала проходить перед ним вереница дней, годов, встреч, дел, настроений и забот. Жизнь вставала перед ним тускло и бледно, представляясь однообразно-серой полосой, без начала и конца. Иногда ему казалось, что она началась еще раньше его рождения и что все его страдания, болезни, унижения и заботы были только продолжением неисчислимых бед, идущих от времени. Точно это был бесконечный путь из вечности в вечность, на который он незаметно вступил, где-то неизмеримо далеко от начала, чтобы через несколько томительных мгновений сойти так же далеко от конца, как случайная тень, тоскливо скользнувшая по проезжей дороге.

Бедный родился он на свет, в жестокой нищете прожил все детство и всегда вспоминал о нем с унылым отвращением, удивляясь тем людям, которые говорили о своем детстве, как о светлом празднике жизни. Был он оборванный, плохо обутый, тщедушный и болезненный мальчик, типичный сын почтальона, на котором труды, болезни и горе родителей положили навек свое бледное клеймо. Учиться ему пришлось немного и трудно, и то, чему он выучился, было соком жизни, выжатым из себя отцом и матерью. Рано пришлось думать о пище, и пятнадцати, лет он уже поступил на железную дорогу, где и прослужил двадцать пять лет в разных должностях, всегда одинаково трудных, томительно однообразных и чуждых душе.

Ему было тяжело, часто унижительно и трудно; но отец и мать, пока не умерли, надорвавшись на работе, были счастливы, что он избежал участи отца. Их чахоточная радость была бессмысленна и ужасна, но самое ужасное было то, что он сам понимал и разделял их радость. И это было похоже на ту радость, которую радуется человек, затонувший в топи по горло и видящий рядом другого, которого вонючая, душащая грязь уже покрыла с головой.

Когда прошли года и счастье вечного прозябания на маленькой, затерянной в глухой степи станции было достигнуто, он женился. Женился он по любви на некрасивой, глуповатой девушке, прошедшей ту же жизнь, что и он. И в этой любви был тоже ужас, ибо и в самые счастливые моменты ее не затемнялось сознание бесцветности, ничтожности и некрасивости жены; но жажда во что бы то ни стало иметь хоть кого-нибудь близкого, теплого, родного забивала это сознание, и оно оставалось в душе только как непрерывное, ноющее томление духа по красивой, таинственной и поэтичной любви, которой никогда не придется испытать. Жена его скоро состарилась и потеряла и ту относительную миловидность, которую все же давали ей молодость и свежесть. С нелепо страшной быстротой рождались дети. Жена стала сварливой, скучной, безнадежно опустившейся полустарухой, на лице которой навсегда застыла жалкая маска заботы и зависти.

Дети выросли худосочными, больными и щуплыми. Радостный степной воздух и светлое солнце не могли вытравить из них страшного яда векового недоедания и прозябания их рода. Одна девочка страдала расслаблением кишок и всегда сидела в маленьком креслице-судне, страдальчески выглядывая из своего уголка, как закусанная насмерть мышка. Не радовали души эти дети, а только заботили, печалили и злили.

Мало было сношении с людьми, потому что это вызывало расходы, неловкость за свою бедность и унижения. Анисимов много пил, пьяный плакал о своих несчастиях и томился смутной мечтой об иной, свободной, легкой и приятной жизни, осмысленной хоть каким-нибудь светлым лучом.

Страшна была его жизнь, как страшна была у всех окружающих его, и именно это скоро притупило сознание и скрыло от него ужасный вид его существования. Как ни мучительны были у него позывы что-то переменить, что-то узнать, что-то устроить — в общем, ему казалось, что так и надо, ибо так живет не он один, томление духа обратилось в привычку, научило брюзжать, раздражаться, пить, и не было сил задуматься, оглянуться и прийти в отчаяние. Как крот, живущий в вечной тьме, Анисимов уже не видел тьмы, окружающей его, и думал, что он живет лучше многих; но не как крот — он тяготился и страдал своею жизнью.

Так было до тех пор, пока внезапный свет всеобщего протеста и всеобщего напряжения, как молния, не осветил для него все и, как молния, не убил его.

Анисимов вдруг остановился. Что-то напряглось в нем до высшей точки и замерло в ожидании. И внезапно Анисимов понял, что ему не жаль своей жизни.

«Если такая жизнь опять, то лучше смерть... И тогда в смерти нет ничего ужасного, а, напротив, она нужна, необходима как естественный выход. Будь она проклята, такая жизнь!» — подумал Анисимов.

И когда подумал, — успокоился, затих, и лицо его, серое и измученное, приняло спокойное и решительное выражение, то самое, с которым он так бесповоротно и всецело вошел в закипевшую вокруг борьбу.

Но в самой глубине его души что-то ныло. Это была тупая, ноющая и чуть слышная боль. Что-то как будто грызло, подтачивало, сосало. Анисимов с тревогой прислушался и сказал себе: «Чего же еще?.. Я же решил!.. Не надо думать... Если думать, то будет опять ужас... Лучше не думать».

Но боль все ныла, поднималась, подступала к сердцу и, как грызущая мышь, становилась все смелее и ближе. Анисимов быстро встал и опять торопливо заходил по комнате, стараясь шагами заглушить то, что неуклонно делалось в нем. Но боль все росла и уже не ныла, а терзала сердце, и от нее росло тяжелое, отчаянное возмущение.

И вдруг она прорвалась и наполнила все существо его с такой силой, что у него загудело в ушах и сдавило грудь.

«Да, так... — скачками запрыгала его мысль..

— Мне не жаль жизни... лучше смерть, чем такая жизнь... По почему же „такая“, а не иная?.. Кто смел обречь меня на такую жизнь?.. Кто отнял у меня, и не отнял, а просто не дал мне такой жизни, чтобы ее было жаль?.. И это неправда, — мне жаль и ту жизнь, которая у меня! Какая бы она ни была, а жаль... Жаль, что ее изуродовали, жаль, что ее хотят уничтожить, как что-то ужасное, а она только несчастная!.. И как же смеет кто бы то ни было за то, что я всю жизнь страдал, за то, что мне было скверно, тяжело и мучительно, убить меня?! Это... это... это...» — забормотал Анисимов, остановившись посреди комнаты и сверкая ненормально расширенными, больными глазами, и вдруг стремительно бросился к окну, схватился за раму и, обрезывая руки стеклами, стал рвать ее и ломать.

За окном уже погасал пожар, и бурая тьма все ближе и гуще подступала к огню, но в комнате было так темно, что на дворе казалось светло как днем.

— Куда лезешь? — отчаянно, грубым голосом крикнул солдат, с ружьем наперевес подбегая к окну, Анисимов остановился и застыл, держась за раму, и солдат тоже остановился.

Из мрака выделялось бледное, с расширенными глазами лицо Анисимова и клочки его спутанных волос, а на Анисимова смотрел темный силуэт неизвестной круглой и усатой головы. С минуту они смотрели друг на друга с недоумением, и опять, как с тем солдатом, который ловил его, оба не знали, что им делать. Было в этом что-то нелепое, но одинаково тяжелое для обоих. Потом Анисимов, точно опомнившись, рванул раму и неистово закричал:

— Пусти!

— Не велено! — таким же неистово неестественным голосом крикнул солдат.

— Врешь... пусти!.. Позови сюда полковника...

— Какого тебе полковника!.. Осади!..

Их неестественно громкие и напряженные голоса поразили обоих, и на секунду опять наступило молчание и неподвижность, и опять что-то встало между ними. Было мгновение напряженной тишины, и казалось, что сейчас должно произойти что-то особенное, новое. Но в это время послышались приближающиеся голоса и шаги. И точно в ответ именно на эти шаги, Анисимов молча и упрямо стал рвать раму. Со звоном посыпались стекла. Солдат внезапно шагнул вперед и изо всей силы, так же молча и упрямо, ударил Анисимова прикладом в костлявую грудь.

Горячая соленая волна хлынула к горлу и носу Анисимова, он повернулся и, как захлебнувшийся, расставив руки и ничего не видя, закружился и тяжело сел на пол.

— Что тут, Ефимов? — спрашивал кто-то за окном.

— Так что арестованный в окно полез... — и срывающимся, и как будто недоумелым голосом ответил солдат.

Несколько черных голов заглянуло в комнату и долго неподвижно смотрело в темноту. Было

тихо. Анисимову казалось, что это бред, и голова у него быстро-быстро шла кругом, увлекая в страшном водовороте три черные, неподвижные и какие-то таинственные силуэта в окне. Потом они вдруг исчезли, и тот же голос сказал громко и сердито:

— Будет очень колобродить — пали ему в башку!.. Очень просто!

И голоса затихли.

Анисимов приподнялся, безумными глазами посмотрел в окно и отполз в сторону. Его страшно поразили последние слова: «Очень просто!»

И он понял, что это действительно так — просто; сколько бы он ни кричал, сколько бы ни бился, как бы остро и мучительно ни сознавал ужас смерти, страдание и то, что он, человек, Анисимов, имеет свою единственную жизнь, имеет право не умирать, не страдать, жить, — из этого ничего не выйдет. И вдруг опять вынырнула старая мысль: «Меня расстреляют!..»

Было несколько мгновений пустоты и мертвого бессмыслия, а потом ярче и подробнее вырисовывалось в мозгу: «Меня расстреляют... что бы я ни делал, как бы ни просил, как бы ни корчился от страха, как тот мастеровой, меня... поведут к куче шпал, станут целиться, так спокойно, как будто я не вижу этого и не умираю от страха».

И он почувствовал, что нижняя челюсть его начинает как-то странно прыгать, и все сильнее, сильнее... Анисимов сделал нечеловеческое усилие, чтобы удержать ее, но начал биться весь, дергаясь плечами, руками, головой, точно его трясла и била какая-то посторонняя, жестокая сила. Ему казалось, что это никогда не прекратится; но когда сразу опомнился и инстинктивно понял, что с ним был длинный период полного беспомыслия, судорог уже не было, а тело только ныло и дрожало чуть заметной, неимоверно мелкой дрожью... Странно поразило его то, что за окном уже печально серело, как на осеннем рассвете. В комнате было все видно, и бледный свет слабо ложился на стены, на пол и на его белевшие руки. Одну секунду ему казалось, что все прошло, и он проснулся, но со страшной быстротой, точно откуда-то извне налетели и сознание неотвратимой действительности и того, что уже скоро, и снова то же, мучительное, как пытка, недоуменно и острая потребность скорее, как можно скорее что-то обдумать и сообразить... Быстро, мельком, точно отбрасывая прочь, со словами: «Не то... не то...» — Анисимов припомнил убитого машиниста, потом еще других, которые скатывались с баррикад и свертывались на окровавленном снегу, потом мастерового, потом черного, горбоносого человека и два короткие выстрела, сопровождаемые легким страдальческим вскриком, и внезапно увидел среди бледного и болезненного хаоса черную грудку обледенелых шпал и острые колени, его колени, торчащие из сугроба. Да за что же все это?..

И ему, наконец, стало смешно. Анисимов в самом деле тихо и судорожно засмеялся, но сейчас же замолк. Короткий, дрожащий звук его смеха был слишком тихо-громок и странен в пустой, бледной предрассветной мгле... Опять начался стремительный ход мыслей: сколько раз он слышал, что людей казнят. Так. Значит, это совершенно возможно, и тут нет ничего непонятного. Это так просто. Их казнят, они страдают от боли и ужаса, но потом умирают, и страдания и ужас прекращаются, точно их и не было. Об этом можно было думать, но только с отвращением, и мысль об этом неприятно бередила мозг. Да, но там было все-таки понятно: эти люди, которых казнили, были люди особенные, злодеи. И это были, что самое главное, — не Анисимов.

«Нет, лучше не думать!» — бессильно подумал он... Ему вдруг стало холодно и захотелось есть... Тогда он в первый раз вспомнил о жене и детях и удивился, что до сих пор не вспоминал. И ему показалось, что, может быть, здесь и есть то, что необходимо себе уяснить прежде всего.

«Скорее надо думать... скорее надо думать...» — стал он торопить себя, беспокойно

оглядываясь. Он еще не сознавал, что его болезненно остро мучило то, что небо становилось в окне все светлее и светлее.

«Надо написать жене...» — пришло ему в голову. Уже было достаточно светло у окна, и он это заметил. Чернильница на столе была, но чернила покрылись льдом. Анисимов заботливо подышал на них, проткнул пером и отнес чернильницу к окну.

На подоконник уже падал серый и холодный свет, в котором таким же серым и холодным пятном выделялось лицо Анисимова с взъерошенными кочьями волос и с черными тенями на скулах и под глазами. Писать было трудно, перо два раза выскакивало из окоченелых пальцев, и это будило в Анисимове острое, глубокое чувство жалости к себе.

Сначала ему казалось, что могут помешать, а нужно написать много, и потому надо торопиться. По временам он острым, быстрым взглядом посматривал в окно, где теперь неподвижно, спиной к окну стоял длинный серый солдат, облокотившийся на ружье. На серую спину его шинели уже падал явственный серый свет утра.

«Милая Саша» — написал Анисимов, с трудом, хотя и казалось светло, различая буквы, и не знал, что писать дальше. Ничего нельзя было выразить, потому что надо было выразить и то радостное чувство, которым он прожил эти десять дней, и тот хаос, огненный и кровавый, и смерть людей, и ужас его одинокой последней ночи, и то нелепое и безумное, что должно было совершиться с ним, и кучу черных шпал, и закованные колени, торчащие из снега, и то, что он уже не увидит ее и детей, и свою беспомощность, и свою жалость к себе, и то горе, в котором ему хотелось ее обласкать и утешить, те слезы, которые стали наполнять его глаза, скатываться по щекам, исхудалым и холодным, и падать на клочок его последнего письма.

И это было невозможно, и ужас этой невозможности вызвал в нем невыразимую грусть.

— Господи, господи... Господи!.. За что же меня так мучают?.. Ну, за что? — зашептал он, хватаясь за свои всклокоченные волосы, и заплакал. И долго плакал, остановившимися глазами глядя в окно, в белое, далекое, безучастное небо.

Потом он приписал: «Прощай, Шурочка! Как-то вы проживете без меня? Не знаю, передадут ли тебе мое письмо. Я попрошу. Прощай же! Ты, Шурочка, не плачь, что ж делать! Не забывай меня и детям скажи, чтобы помнили. Не могу писать больше. Прощай еще раз».

Сверху на его мозг опускалось какое-то белое плотное облако, и он делал страшное усилие, чтобы не забыть.

К окну подошли несколько человек, гремя ружьями. Потом ушли, и новый часовой, постукивая прикладом, прошелся два раза мимо окна, искоса и как будто украдкой поглядывая на Анисимова. Бледно промелькнул его серый силуэт с торчащим тонким штыком.

Анисимов отошел в глубь комнаты, спрятал письмо за пазуху, лег на диван лицом к стене и крепко прижал к груди клочок бумаги. Ему казалось, что это письмо как-то еще связывает его с жизнью, с тем, что будет завтра, послезавтра и всегда, — когда его самого уже не будет нигде, — с женой, детьми, с тем, с чем он прожил всю свою долгую жизнь и с чем разделила его теперь навсегда пустая, холодная, мертвая черта. У него уже ничего не осталось, кроме этого письма, и ему хотелось излить на этот клочок бумаги всю свою оставшуюся жизнь — те страшные грусть и муку, которые одни еще напоминали ему, что жизнь не кончилась. Он крепко прижимал письмо к груди и плакал горькими, неслышными и никому не зримыми слезами.

А ноги его ныли, голова тихо кружилась, и беловатый туман поднимался с пола и окружал его голову. И так, прижимая к груди клочок бумаги и с мокрым от слез лицом, Анисимов заснул.

Бледный день осторожно и пытливо входил в комнату и смотрел в бледное, исхудавшее в один день до кости человеческое лицо, на котором застыли слезы и жалкое скорбное выражение. V

Его расстреляли в восемь часов утра.

Последние видения его сна с мгновенной быстротой слились с действительностью: ему приснилось, что он лезет по какому-то страшно узкому земляному коридору, лезет на животе, с трудом, и чем дальше, тем коридор становится уже, и лезть все труднее и труднее. Но он все-таки лезет и знает, что не лезть нельзя. Сзади земля осыпается с каждым шагом, и он чувствует, что там уже глухая стена. Он лезет, а чувство какого-то неведомого, грядущего неизбежного ужаса все сильнее и сильнее давит ему грудь. Ему уже трудно дышать, он хочет по крайней мере крикнуть, чтобы хоть криком рассеять этот невыносимый ужас, и вдруг видит перед собою, всего на сажень расстояния, приплюснутую серую голову с неподвижными узкими, зеленоватыми глазками, а за ней длинное скользкое тело, на котором блестит слабый подземный свет. «Это гремучая змея!» — с невообразимым ужасом кричит ему кто-то в уши, и он чувствует, как волосы тихо шевелятся на голове. Он судорожно пятится назад. Но сзади уже рыхлая, непроницаемая стена. Он в ужасе бьется в нее, взрывает ее ногами, царапает, бьет. Но она рыхла, безвольна и неодолима. Он старается зарыться в нее, не видеть, закрывает глаза, но уже слышит легкий, таинственный свист и видит, ясно видит сквозь закрытые веки, что приплюснутая голова с зеленоватыми глазками уже не лежит, а медленно-медленно скользит к нему по земле, и за ней противно струится длинное, скользкое, серое тело. В страшном последнем отчаянии он открывает глаза...

Перед ним стоял высокий, худой офицер в серой шинели и, глядя ему прямо в глаза серыми, холодными зрачками, говорил:

— Ну, вставайте... господин А... нисимов. Пожалуйста! Анисимов быстро приподнялся на локте и острыми глазами пристально уставился в лицо офицеру. Потом вдруг засуетился и встал с деловым и серьезным видом.

— Разве уже пора? — торопливо спросил он. Офицер криво усмехнулся:

— Н-да...

Анисимов засуетился еще больше и стал искать свою фуражку. Ее не было на диване, не было на столе. Анисимов бестолково и торопливо шарил вокруг, и ему было странно, мучительно неловко, что он задерживает. Руки у него дрожали, глаза бегали.

— Ну, вы скоро? — сердито спросил офицер.

— Сейчас... тут шапка...

— Да все равно, можно и без шапки! — нетерпеливо возразил офицер.

Анисимов опять быстро взглянул ему в глаза и потупился.

— Да, впрочем, все равно... — торопливо, как будто про себя, выговорил он в сторону. Воцарилось короткое молчание, и вдруг у офицера явственно задрожали губы.

Анисимов тихо повел глазами и встретился с странным, как будто чего-то не понимающим и растерянным взглядом. Но так же мгновенно лицо офицера резко изменилось.

— Ну!.. — коротко и страшно грубо выкрикнул он, порывисто дернув головой к двери.

Анисимов вздрогнул, судорожно покривился и, не глядя на офицера, шагнул вперед.

Когда его вывели на платформу и кучка офицеров и солдат молча уставилась на него, Анисимов опять вздрогнул и поморщился болезненно, странно. Вид у него был больной и измученный, лицо серо, глаза ввалились, и волосы стояли торчком во все стороны.

Тот же офицер, который разбудил его, что-то сказал, и из рядов солдат вышли двенадцать человек и стали позади Анисимова. Тогда Анисимов растерянно улыбнулся, повел глазами кругом и сказал хрипло и невнятно:

— Господин офицер... Офицер медленно обернулся:

— Что такое?

— Я не знаю... — с трудом заговорил Анисимов, все страдальчески и как будто конфузливо улыбаясь. — Может быть, можно все-таки письмо...

Один от стоявших рядом офицеров, толстый и черноусый, морщась, ответил:

— Право... теперь уже... когда же теперь?

— Я уже написал.

— А. Ну, так что же?

— Нельзя ли послать... по адресу?..

— Послать?.. Да... Иванов, возьми... — сердито и коротко ответил толстый офицер, и его короткая шея налилась кровью.

Из рядов выступил рябой белоусый ефрейтор. Анисимов засунул руку за пазуху и достал письмо, грязное и скомканное.

— Пожалуйста... — тихо попросил он.

И когда его уводили, он долго и грустно посмотрел на этот клочок белой бумаги, который ефрейтор Иванов тщательно засовывал за обшлаг своей серой шинели.

Его провели на маленькое кладбище, лежавшее в полуверсте от станции. Там было пусто и тихо; белели холмики могил и чернели кривые, покосившиеся кресты. Тонкие и печальные, стояли неподвижные березки с тоненькими, узорными веточками.

Они шли недолго. Анисимов шел среди солдат один. Шел он так покорно, точно кто-то сильнее его крепко держал за локоть и вел, и у него не было сил не только сопротивляться, но даже думать о том, куда он идет. Ни воли, ни ясного, здорового разума в нем уже не было. Он смотрел вокруг яркими всевидящими, каждый пустяк отмечающими глазами, и в голове его странно мелькала мысль, что все это не страшно, что стоит только сохранить над собою волю и полное сознание каждой мельчайшей частицы мгновения, — и не будет ни страшно, ни больно, и все кончится просто и легко...

«Выстрелят и убьют... только и всего. Что ж тут такого ужасного? Все очень просто и обыкновенно...»

Но было мучительно именно то, что никак не удавалось все видеть и сознавать. Каждая мелочь: рыжий сапог солдата, шедшего впереди, синева на снежном горизонте, далеко в белом поле чернеющая точка, воробьи, слетевшие с дороги и обсыпавшие закачавшийся черный куст, белый свет, скрип снега под ногами, — все отчетливо резало глаза, но, в общем, ничего не получалось, и в мозгу была пустота, точно утеряна уже была какая-то самая главная общая связь, без которой все остальное было незначительно, мелко и мертво...

Анисимов опустил голову и стал смотреть под ноги, на следы резиновых калош офицера, и смотрел так внимательно, точно от этого зависело все. Он поднял голову только тогда, когда его оставили одного.

Было пусто и холодно. И ряд серых солдат, офицеров и направленные прямо в него ружья не прибавляли ничего к этим пустоте и холоду.

Анисимов посмотрел на солдат. Все они, поверх длинных дул, смотрели прямо на него, и он вдруг стал видеть только один этот ряд разноцветных, испуганных и непонятных глаз. Все остальное исчезло, и в эту короткую секунду, между командой и залпом, Анисимов подумал с мгновенной ясностью и отчетливостью: «Им не надо меня убивать, и мне не надо умирать... Всем страшно, что меня сейчас убьют, но меня убьют. Это оттого, что у меня нет такого слова, которым я мог бы показать им весь ужас и тоску этого...»

Тысячи огненных слов молниями избородили его мозг; в невероятном усилии что-то сказать, Анисимов подался вперед и судорожно открыл рот.

Он видел еще мгновенный бледный огонь, но не слышал залпа, а только почувствовал, как вскинул руками и ударился лицом о твердый снег, и еще понял, что все кончено и произошло что-то совершенно и навсегда непоправимое.

Треск ружейных выстрелов мелкой дробью далеко отлетел в поле. Вздогнули тоненькие березки, и ворона, сидевшая на дальнем кресте, взъерошив черные крылья, взлетела вверх и, точно падая, низко над снегом полетела прочь от людей.

Солдаты, опустив ружья и раскрыв посиневшие губы, бессмысленно смотрели на труп, и было тихо, пока легкая дрожь в носке левого сапога не прекратилась. Кровь быстро впитывалась в белый снег и на нем торопливо расплывалась в бесформенное розовое пятно. Перепачкавшись этой кровью, солдаты оттащили труп Анисимова к канаве и там зарыли.

Кровавое пятно забросали снегом, но оно опять просочилось. Долгая зима покрыла его снегами, но весной они стаяли, и побуревшее пятно снова появилось ненадолго, чтобы вместе с снегом, под радостными лучами яркого солнца, растаять и уйти в рыхлую живую землю.

Человеческая волна

I

Можно было забыть, что через несколько часов город будет разгромлен пушками, что на тротуарах будут валяться окровавленные трупы, что жизнь приняла странные и тревожные формы, что судьба каждого человека висит на волоске, но нельзя было забыть, что на земле стоит теплый, весенний вечер, в потемневшем небе тихо зажигаются звезды, от газонов бульвара тянет густым, пряным запахом земли, с моря дует теплый, почти летний ветер и дышится так легко, как может дышаться только теплой, тихой и ясной весной.

И оттого самые страх и тревога принимали форму любопытного и бодрого оживления, а идя через городской сад и глядя вверх, где между черными веточками, отчетливо чеканящимися в воздушно-синем просторе, золотистыми искорками мигали звезды, студент Кончаев думал не о том, что будет завтра, не о взбунтовавшемся броненосце, серые трубы которого и в весеннем сумраке жутко чернели далеко на море, не о многоголосой толпе, из которой он только что вырвался и гул которой все еще стоял у него в ушах, а о том, что на свете есть радость и красота.

И в душе у него было такое чувство, точно где-то тут, вокруг него, во влажном, свежем и темно-прозрачном воздухе весеннего вечера невидимым хороводом обвиваются, улыбаясь и маня, милые, нежные девушки и гибкие, лукавые женщины сладострастных снов. Грудь дышала легко и глубоко, по телу распространилась какая-то мечтательно-сладкая истома, и хотелось чего-то сильного, красивого и страстного до восторга.

«Хорошо, интересно жить!» — бессознательно чувствовал Кончаев.

Ему захотелось сейчас же, никуда не заходя, пойти в тот знакомый переулок, где жила Зиночка Зек, потихоньку вызвать ее на темную улицу, рассказать ей что-то хорошее, задушевное и в сумраке близко смотреть на нежное, молодое, как весна, личико с большими, как будто радостно удивленными светлыми глазами и мягкими пушистыми волосами, что двумя недлинными косами перекинута через гибкие плечи на невысокую молодую грудь.

Но Кончаев сейчас же вспомнил, что раньше надо разыскать доктора Лавренко и передать ему предложение комитета об организации летучего санитарного отряда.

Ему сделалось немного стыдно, что он чуть было не забыл о важном большом деле, но так было сильно в нем радостное, весеннее чувство, что и сам доктор, и летучий лазарет, и завтрашнее страшное и кровавое дело никак не укладывались в его мозгу и все казались ему короткими, мелкими, которые сейчас пройдут и исчезнут, и тогда можно будет делать самое важное и интересное: идти к Зиночке Зек, вызвать ее на темную, тихую и теплую улицу.

Сдвинув шапку на затылок, распахнув пальто и бессознательно, но радостно чувствуя себя сильным и красивым, Кончаев повернул за угол и сразу увидел желтые огни ресторана, где, как он отлично знал, всегда можно найти доктора Лавренко.

В ресторане было очень мало народу — все ушло на улицы, набережные и бульвары, и оттого ресторан казался по-праздничному прибранным, чистым, а открытые окна, от которых глаз отвык за зиму, придавали ему особенный, свежий и праздничный вид. Зато в бильярдной, несмотря на раскрытые окна, было по-обычному душно, накурено и шумно. Игроков было много, и их напряженные потные лица, со странным полубезумным огоньком в глазах, поразили Кончаева.

«Вот уж ничто их не берет!» — со смешливым и чуть-чуть презрительным недоумением подумал он.

Доктор играл за вторым бильярдом, и когда Кончаев его увидел, Лавренко, перегнув над ярко-зеленым сукном бильярда свое большое ленивое тело, уверенно и странно-ловко для такого большого неуклюжего человека целился в дальний шар, красиво маячивший на ровном зеленом поле.

«...Тра-тах!» — щелкнули шары и разбежались во все стороны торопливо и весело, как живые.

Кончаев сзади взял доктора за локоть.

— А, шо? — лениво спросил Лавренко, оборачиваясь. — А, это вы!

— Я, здравствуйте!.. Послушайте, доктор, вы скоро кончите?.. Мне с вами надо поговорить...

— Сейчас, — не поворачиваясь и не спуская глаз с повисшего над лузой шара, ответил Лавренко и пошел кругом бильярда.

— Четырнадцать в угол налево, — громко и отчетливо выкрикнул он, не обращая внимания на Кончаева, и с особой своеобразной грацией хорошего бильярдного игрока вперед и взад взмахнул кием.

Белый шарик, как белая молния, мгновенно мелькнул по зеленому полю и с характерным треском скрылся в лузе.

— Партия, — торжественно провозгласил маркер и длинной машинкой загреб остальные шары к борту.

Высокий черный армянин, партнер Лавренко, с досадой швырнул свой кий на сукно. Лавренко с минуту стоял, опершись кием на бильярд, и самодовольно глядел на армянина. Потом с сожалением глубоко вздохнул и, тихо положив кий, отошел к умывальнику.

— Ну, голубь мой, в чем дело? — мягким и ленивым голосом спросил он у Кончаева, старательно вытирая полотенцем пухлые, как у булочника, безволосые и белые руки.

— Тут неудобно, — сдержанно и выразительно ответил Кончаев, искоса оглядываясь, — пойдемте лучше пройдемтесь.

Лавренко опять тяжело вздохнул, посмотрел на бильярд, которым уже завладели какие-то люди с сомнительными жадными физиономиями, и с усилием стал натягивать заворачивающееся пальто на свои круглые, как у пожилой толстой бабы, массивные плечи. Маркер подержал ему рукав.

— Анатолий Филиппович, время за кем прикажете? — спросил он, и по его почтительно фамильярному тону видно было, что доктор Лавренко тут свой человек.

— За ними, за ними, Иван, — машинально, но почему-то очень грустно отозвался Лавренко.

Они медленно вышли на темную улицу, и сразу им в лица пахнуло свежестью, ветром и смешанным запахом сырости и тепла. Фонари не горели, и земля была черна, как тьма, но отовсюду во мраке слышались голоса и смутно виднелись живые тени.

Все было странно и необычно: и мрак, и закрытые окна магазинов, и громкие возбужденные голоса, и необычное таинственное движение невидимых, но чувствуемых вокруг людей. В этом было что-то лихорадочное, пугающее, но возбуждающее сердце к каким-то несознанным порывам. Как будто над городом пронеслось что-то свободное и, одним взмахом невидимого могучего крыла сметя всю привычную аккуратную жизнь с ее порядком, равномерным шумом и тусклыми огнями, открыло жизнь новую, загадочную, тревожную и бодрую, в которой было что-то похожее на предрассветную зыбь в море.

Чем дальше углублялись во тьму улиц Лавренко и Кончаев, тем сильнее охватывало их радостное оживление. Вокруг в темноте двигались целые толпы, слышались голоса и смех, изредка то близко, то далеко вспыхивало и обрывалось начало песни. Было похоже на какой-то ночной праздник, и в темноте все люди казались одинаковы и одинаково радостны и бодры.

Кончаев, как молодая собака в поле, чутко поворачивал во все стороны голову.

— А здорово, ей-богу! — вскрикнул он молодым восхищенным голосом.

— Да!.. Надолго ли только?.. — тихо пробормотал Лавренко.

— Ну, что ж?.. Все равно! — еще громче, еще моложе крикнул Кончаев, коротко и бесшабашно махнув рукой. — Важно то, что все почувствовали, что такое свободная жизнь, почувствовали, как с нею и все становятся лучше, общительнее, интереснее... Этого уж не забудут, а все остальное чепуха.

— Верр-но! — необычайно внушительно и так неожиданно близко, что Лавренко даже отшатнулся, прогремел из темноты громадный бас. — Р-руку, товарищ!..

Перед ними выросло несколько темных, как будто безличных силуэтов, и кто-то нашел и сжал руку Кончаева твердой шершавой ладонью.

— Свобода, а на все прочее начхать!.. Правильно я говорю, товарищ? — пробасил голос.

— Правильно, товарищ! — задушевно и ласково отозвался Кончаев.

— Пуцай завтра все помрем, а уж мы им покажем, — сказал еще чей-то голос, такой же молодой и задорный, как у Кончаева.

— Да, да... — тяжело вздыхая, согласился Лавренко.

Они разошлись, но у Кончаева еще долго сердце билось восторженно и на глазах выступали слезы.

— Взять хоть одно это слово: «товарищ», — прерывисто говорил он, глядя перед собой в темноту широко раскрытыми, влажными глазами, — только в такое время люди чувствуют, что они действительно товарищи...

— По несчастию... — с тихой иронией подсказал Лавренко. — Впрочем, вся жизнь человеческая — несчастье, — прибавил он задумчиво.

— Ну, так что же вы мне скажете, голубь мой? — спросил он, когда они дошли до бульвара и остались одни среди еще черных прозрачных деревьев и запаха первой травы перед лицом далекого звездного неба. Днем отсюда было видно открытое, голубое море, на которое каждый день приходил подолгу смотреть Лавренко, но теперь было темно и только по тому, как низко, точно подвешенные над какой-то пустотой, блестели звезды, чувствовалось оно. Горизонта нельзя было отделить от черного неба, и все сливалось в одну воздушную безграничную пустоту. Далеко, далеко внизу слабо светились два неподвижные огонька, красный и зеленый.

— Вон видите, — оживленно и быстро сказал Кончаев, протягивая куда-то во мрак руку, — это, должно быть, на броненосце.

По звуку его голоса можно было догадаться, как блестят у него глаза и горят щеки.

Лавренко тяжело вздохнул в темноте. Лица его тоже не было видно, но чувствовалось, что оно тревожно и грустно.

— Что-то будет, что-то будет, голубь мой, — тихо и печально проговорил он.

— Ну, вас, кажется, это не очень беспокоит, — вспоминая бильярд, смешливо возразил Кончаев.

Лавренко вздохнул еще глубже и промолчал.

— Так вот что, доктор, — заговорил Кончаев, беря его под толстую теплую руку, и, сразу меняя тон на серьезный и даже неестественно торжественный, передал Лавренко распоряжение комитета.

Лавренко слушал молча, а когда Кончаев замолчал, опять тяжело вздохнул.

Эти вздохи почему-то раздражали Кончаева.

— Да что вы все охаете, доктор? — досадливо спросил он, выпуская его руку.

— Да что, голубь мой, — искренно и мягко ответил Лавренко. — Грустно все-таки...

— Что ж тут грустного?

— Будут стрелять, народу перебьют много, а что из того? Для чего?

— Как для чего? — вспыхивая, переспросил Кончаев. — Жертвы нужны для каждого большого дела. Без этого нельзя... За что? За общее дело, за свободу.

— Для кого? — тихо спросил Лавренко.

Кончаев почувствовал, что доктор грустно улыбается во тьме.

— Для всех! — мгновенно раздражаясь молодым и пылким задором, ответил он.

— Нет, не для всех... — еще печальнее и тише возразил Лавренко. — Свобода будет для тех, кто останется в живых, кто в число жертв не попадет, голубь мой... А для тех, кто погибнет, будет уж не свобода, а только смерть... Те, которые принесут в жертву сотни жизней, будут видеть: для чего, за что, а те, которые умрут, умрут, голубь мой, так, ни за что, ибо для них все будет кончено, и кто же покажет им, за что они умерли... Да!.. Если бы можно было верить... Не говорю уже в будущую жизнь, а хоть в торжество своей идеи... Но люди живут уже тысячелетия, а посмотрите: не несчастнее ли они тех, что умерли еще в каменном веке? Кто знает?.. Эта радость, которую мы видим сейчас в людях, не есть радость победы, а только оживление борьбы и самообман. А если бы мы и победили, то кто же поручится, что и через тысячу лет, когда принципы нашей революции восторжествуют, люди будут на йоту счастливее... Да, голубь мой!.. С большим страданием и скорбью можно думать о борьбе, ибо ничего тут не поделаешь, но радоваться тут нечему. И ни один человек, совершенно спокойно, а не в состоянии аффекта, не согласится на роль жертвы, всякому хочется жить и пережить, и получить свободу именно и прежде всего для самого себя... У всякого есть надежда, что убьют не его... Оттого только и идут.

— Не все так думают, — пожал плечами Кончаев, почему-то не удерживая в мозгу все слова Лавренко и возражая только последним, — многие жертвуют совершенно сознательно... Да что! Я, например, вовсе не герой, но никогда об этом не думал. Ну, убьют... что ж из этого? Умирая, я буду сознавать, что погиб за общее дело, за огромное дело, в миллионы раз большее моей маленькой личной жизни.

— Это потому вы будете так сознавать, голубь мой, — ласково проговорил Лавренко, — что это общее, как вам кажется, дело есть прежде всего ваше дело. Вы хотите свободы, хотите, выражаясь грубо, поставить на своем, сделать революцию и освободить людей, и за это ставите свою жизнь на карту. Это так, и я это понимаю... Но мне кажется, что вы ставите революцию выше своей жизни только потому, что вы еще очень молоды душой и не успели сознать, какое единственное, ни с чем не сравнимое сокровище для вас — ваша жизнь.

— А вы сознаете, — насмешливо вставил Кончаев, взглядывая на него сверху вниз и ничего не видя, кроме бледного, расплывчатого пятна.

— Я сознаю, — тихо ответил Лавренко. — Ведь все, что есть вокруг, существует только потому, что вы существуете... Это старая мысль, голубь мой, конечно... А только все-таки это правда... Как хорошо все, что вокруг нас... И море, и звезды, и ночь, и наше созерцание!.. Сколько на земле радости, жизни, солнца!.. Ведь мы только потому и бьемся так за свободу для всех, что жизнь так хороша и что много есть людей, которым не дают жить, отнимают у них всякую радость и преждевременно гонят, вколачивают, вмаривают их в могилу... Если бы жизнь для каждого человека не была так дорога, так чего ради стали бы мы так страдать, мучиться и бороться за нее для всех... Ну, гонят их в могилу, и пускай. Стоит ли из-за этого беспокоиться... Тогда не революционные, а самоубийственные идеи стали бы мы проповедовать... И самым великим человеком, истинным благодетелем человечества считался бы тот, кто выдумал бы рациональнейший безболезненный способ самоубийства...

Оттого, что жизнь так светла сама по себе, оттого и чувство самопожертвования так светло... Жертвуется самое дорогое, самое светлое, самое незаменимое... Я, голубь мой, жизнь люблю, люблю солнце, милых девушек, молодость, воздух, счастье люблю!..

В его всегда ленивом голосе зазвенели и сорвались страстные и скорбные нотки.

«Вот... а сам только и делает, что на бильярде играет!» — удивленно мелькнуло в голове у Кончаева, и тихая задумчивость залегла у него в душе, точно кто-то задал ему глубокую и печальную загадку.

— Но вы, однако, предложение комитета принимаете все-таки? — озабоченно встряхнув головой, после долгого молчания спросил он.

Лавренко ответил не сразу.

— Об этом что говорить... — медленно ответил он. — Хотя, по правде сказать, трудно это для меня.

— Почему?

— Ленив я очень, — улыбаясь в темноте, ответил Лавренко, — а главное, что греха таить, боюсь... Боюсь, голубь мой... Вы знаете, чем это кончится... Нас, конечно, разобьют, потому что силы у нас мало, организация слабая, а тогда, если не убьют раньше, многих постигнет такая расправа, что... Ну, да что об этом говорить! — повторил, махнув рукой, Лавренко. — Вы куда теперь?

Смутная тревога шевельнулась в мозгу Кончаева. Но он опять встряхнул головой и ответил:

— Я тут недалеко, к знакомым.

— Ну, прощайте, голубь мой, может, завтра еще увидимся! Лавренко подал ему свою руку, и Кончаев не сразу нашел ее в темноте. Рука доктора была горяча и как будто слегка дрожала.

— Тогда можно будет бежать за границу, — неожиданно сказал Кончаев, отвечая тому внутреннему, что как будто передалось ему по руке доктора.

Лавренко помолчал, точно обдумывая.

— Нет, где уж мне, голубь мой, бежать! — с добродушно-грустной иронией возразил он. — Толст я очень, не побегу.

— Да вы не волнуйтесь так, доктор, — весело сказал Кончаев, крепко встряхивая его руку. — Может, еще ничего ужасного и не будет.

— Боюсь, голубь мой, боюсь, — с грустной стыдливостью ответил Лавренко. — Не хочется умирать!.. Страшно и жаль всего белого света! Ну, прощайте пока!.. А ужасное и сейчас есть, и, быть может, оно-то и есть ужаснее самой смерти.

— Что? — не поняв, спросил Кончаев.

— То, что мы, люди, располагающие огромным красивым земным шаром, прекрасным сложным умом и богатыми чувствами, должны бояться, что вот придет самый глупый и самый дрянной из нас и простой палкой расколется нам череп... точно пустой глиняный горшок, в котором никогда ничего и не бывало... Какую же роль играет тогда и этот ум, и чувства?

— Ну, это...

— Да, смерть — это непреложный закон, но в такие моменты яснее и неотвратимее ее

видишь, а главное, ужасно то, что мы сами, вместо того, чтобы напрячь все человеческие силы и умы для борьбы с нею, сами приближаем ее к себе, и в какой гнусной, отвратительно бессмысленной форме... Ну, да что уж тут... Прощайте, голубь мой!.. дай вам Бог!..

Они разошлись, и Кончаев долго слышал за собой удаляющийся шорох подошв доктора. Он снял фуражку, потрянул по своей привычке головой, опять надел ее и моментально вспомнил о Зиночке Зек, забыл все, что чувствовал, пока говорил доктор, и пошел вдоль бульвара, с наслаждением подставляя грудь упругому морскому ветру, чуть слышно налетавшему откуда-то из звездного мрака.

Две крупные неподвижные звезды низко блестели перед ним, не то близко, не то далеко. II

В узком переулке, где жила Зиночка Зек, было так темно, что Кончаев вспомнил свое детство и свой уездный, глухой городишко. Свет падал только из окон и ложился на белую пыльную мостовую длинными яркими полосами, от которых мрак вокруг еще более чернел и сгущался.

Кончаев подошел к окнам и через узкий палисадник заглянул в комнаты. Как всегда, когда из темноты смотришь в освещенный дом, там казалось удивительно светло, нарядно по-праздничному, точно ждали гостей. В столовой, однако, никого не было, и на белой скатерти одиноко блестел потухший самовар. В другой комнате, за тюлевыми занавесами, горели свечи и расплывчато виднелись люди. Два силуэта были темны, а два белели сквозь тюль, и нельзя было узнать, кто это.

В гостиной было полутемно и красно от большого абажура, неярко багровевшего в углу, как огромное огненное насекомое, усевшееся на стену. Через открытое окно слышались звуки рояля, тихие и редкие, точно кто-то, задумавшись, трогал клавиши кончиками пальцев, и по знакомому, сладко-тревожному замиранию сердца Кончаев почувствовал, что это она — Зиночка. Он облокотился на решетку палисадника, инстинктивно принял красивую позу и, глядя в окно, тихо позвал:

— Зиночка!.. Зиночка!..

Редкие хрустальные звуки продолжали медленно сплетаться в какой-то задумчивый мотив.

— Зиночка! — громче позвал Кончаев.

Звуки оборвались. Скорее почувствовалось, чем послышалось легкое движение, и в освещенном окне, несмотря на напряженное ожидание, все-таки неожиданно обрисовался мягкий и милый силуэт девушки с невысокой грудью и покатыми полными плечами. Отчетливо было видно, какая тонкая и гибкая у нее талия и как золотятся на красном свете пушистые волосы.

Она облокотилась одним локтем на подоконник и, вся изогнувшись, выглянула в окно. Темный силуэт женской головки смотрел прямо на Кончаева, но с каким-то сладким, смешливым умилением он догадался, что она его не видит.

— Кто это? — спросил звучный и свежий голос. Кончаев улыбался ей и молчал.

— Кто там? — повторила Зиночка, но Кончаев опять промолчал. Видно было, по нерешительным движениям плеч и груди, что она начинает волноваться. Кончаеву хотелось откликнуться и засмеяться, но что-то нежно-игривое удерживало его. Он чувствовал, что она хочет уйти и не может и тоже чувствует что-то особенное. И между ними создалась какая-то молчаливая волнующая игра, от которой у него усиленно и напряженно билось сердце, а у Зиночки быстро и густо розовела нежная кожа на щеках и висках. Она улыбалась в темноту нерешительно, стыдливо и весело, а потом вдруг вся задвигалась, будто порываясь уйти от чего-то волнующего и непонятного. И в эту минуту Кончаев, точно его толкнуло, быстро

сказал:

— Зиночка, это я...

Было видно, как она вздрогнула и на мгновение вся замерла.

— Выходите сюда, — тихо и осторожно говорил Кончаев из темноты, — пойдёмте гулять.

Зиночка помолчала, и это молчание волновало Кончаева.

— Сейчас, — наконец отозвался милый голосок, и Зиночка откинулась назад. Темный густой силуэт исчез, и опять стало видно красное пламенеющее насекомое, неподвижно сидящее в углу на стене, точно подстерегая кого-то.

Несколько минут было темно и пусто. Кончаев, прислонившись спиной к решетке, стал смотреть высоко на небо, где было так много звезд, что казалось, будто темное небо густо запылено золотом. Далеко, далеко, еще дальше и выше звезд, воздушно и грустно пылился Млечный путь. Звезды тихо и таинственно шевелились в непостижимом холодном молчании, и, чем больше смотрел на них Кончаев, тем выше и дальше уходили они в свой холодный, темно-синий простор.

И почему-то Кончаеву стало грустно. Тихая тоска, как тонкая змейка, чуть-чуть, но зловеще шевельнулась у него в сердце. Так ясно, как никогда, представилось ему, какое страшное, неизмеримое расстояние отделяет его от этих загадочно прекрасных миров, какой ничтожно маленький он сам, посреди этой необозримой бездны, и как мала та земля, на которой, в темном и узком переулке, он стоит. Как будто от прикосновения какого-то ледяного дыхания стало холодно, жутко и тоскливо.

«Ведь это все такие же миры, такая же жизнь... — подумал Кончаев. — Может быть, где-нибудь там уже пережили все, что можно пережить в вечности, и, ни к чему не придя, жизнь замирает в неведомых нам муках. А где-нибудь она только расцветает, и не так, как у нас, а вся под солнцем, в цветах и радостях... И никогда, никогда я не узнаю, что там такое. Когда-нибудь земля умрет, а это все останется, и такое же холодное, необъятное будет небо, так же будет пылиться Млечный путь и шевелиться звезды. Что же значит вся моя жизнь, наша революция?.. Где она, попросту говоря?.. Стоит ли тогда и...»

Странно тускло вспомнились ему события сегодняшнего дня: Лавренко, толстый ленивый человек, железный короб в далеком море, плавающий, как будто это не щепка, а что-то большое и даже вечное, завтрашний день... Вдруг злоба, бессознательная, разгорающаяся с мгновенной быстротой, как молния, выйдя откуда-то из тайников сжавшегося сердца, ударила ему в голову. Ей не было выхода и не было предмета, все было величаво пусто и недостижимо холодно. Мучительная пустота, как белый едкий туман, наполнила голову, и Кончаев бессильно и болезненно сжал кулаки. Но в эту минуту где-то робко щелкнула калитка, и что-то заблестело во мраке, как легкое облачко, колеблемое ночным ветром.

И, забывая все свои думы, Кончаев инстинктивно сдвинул фуражку еще дальше на затылок и с радостью, ощущая красоту и мужественную силу своих движений, пошел навстречу Зиночке. Она подала ему свою теплую маленькую ладонь и снизу смотрела на него своим нежным, молодым, как весна, личиком, с большими, как будто радостно удивленными глазами.

— Здравствуйте, — сказал Кончаев всей грудью. — Куда же мы пойдём?.. На берег?.. Через сад?..

Зиночка вскинула на него глазами.

— Ну, через сад...

Молча вышли они из переулка на опустевший бульвар, прошли его медленно, оба невольно глядя на далекие красные и синие огоньки, и вошли в темную аллею сада, тихо заскрипевшую под их ногами смутно белеющим в темноте гравием. Полная тишина охватила их со всех сторон, точно здесь было ее тихое царство. Вокруг были темные кусты и деревья, черный мрак стоял за ними, то сгущаясь в кустах, то расплываясь на полянках, а впереди, над самой землей, странно, как во сне, низко блестела яркая звезда. И казалось, что она блестит в конце аллеи и они идут прямо к ней.

Уже давно их прогулки были так молчаливы, напряженны и странны, как недоговоренное слово, потому что те горячие и яркие мысли, которые торопились они высказать друг другу раньше, вдруг как-то иссякли, потускнели и стали лишними, как покровы даже самой легкой материи между двумя горячими, ищущими ласк и объятий молодыми телами. Что-то ждало в горячей истоме, стремилось друг к другу и жгло, но молодость и чистота стояли между ними прозрачным холодом, и нельзя было ни сказать того, ни прикоснуться друг к другу. Это было бы страшно, и казалось, что тогда должно случиться что-то роковое, желанное, но невозможное., о чем даже думать нельзя.

Так шли они и теперь, и мрак, теплый, томительный и пахучий, стерег их горящие желанием ласки лица от взглядов друг друга. Было тихо, и осторожно скрипел песок под ногами.

И странно было, что не он, сильный и смелый, а она, маленькая и нежная, первая нашла слова.

— Ну, что же будет завтра? — чуть слышно, точно боясь чего-то, вздрагивающим голосом проговорила Зиночка, не спуская зачарованных глаз с блестящей сказочной звезды, повисшей над черной землей.

Кончаев стал говорить. Голос его был неуверен, и он сам видел, что говорит совсем не то, что хотелось бы ей рассказать и что мучило и волновало его сегодня целый день. Как иногда в блестящей, брызгающей разноцветными звуками музыке все время звучит одна странная, как будто тайная, однообразная и волнующая нота, которую и слышишь, и не слышишь, — так сквозь те слова, которыми Кончаев пылко и громко старался описать прошедший день, слышалось все время что-то другое, и он сам, и Зиночка бессознательно прислушивались к этому другому.

— Трудно, конечно, предугадать, что будет... Весьма возможно, что часть войск перейдет на нашу сторону, потому что это уже не рабочие, в которых так легко можно видеть чужих, врагов, а свой брат солдат... Интересы общие...

«Милая, милая, милая!..» — тихо и нежно пела тайная нота в звуках его яркого молодого голоса.

— Но стрелять все-таки будут? — спрашивала Зиночка, и бедная головка ее закружилась.

— Милый! А как же... я не хочу, не могу! — едва не крикнула она, едва не схватила его своими гибкими молодыми руками, чтобы прижать к груди его голову, не дать, защитить своим телом.

— Да, конечно... — ответил Кончаев. — Без этого у нас нельзя.

— Да? — вздрогнувшим голосом переспросила во мраке Зиночка, и Кончаев понял, «чего» она боится, но от этого сознания стало так хорошо, что он засмеялся.

— Сядемте, — прошептала Зиночка, почему-то смущенно радуясь и пугаясь его смеха.

И вдруг всем телом почувствовала, что «этого» не может быть, что он не может исчезнуть, уйти из ее жизни, в которой он все и она вся для него.

Они сели в глубокой и теплой тени и уже не видели даже смутных силуэтов друг друга. Вокруг были мрак и теплый влажный запах лесной глубины, точно они сидели не в городском саду, а в самой чаще глубокого темного леса, где на тысячу верст вокруг были только тьма, звезды, душная теплота, томящий запах весны и два бьющиеся так близко друг от друга молодые горячие сердца.

Так хотелось найти в темноте эту милую, теплую талию, ощутить сквозь жесткую ткань строгого платья ее мягкость и безвольность, сдавить в бесконечном порыве радости, счастья и страсти, уничтожить, замучить, а потом посадить ее, маленькую, слабую, на колени и баюкать в бесконечной ласке и нежности, так, чтобы теплые слезы любви и восторга сами выступили на глазах. И по странному трепету, по той непонятной волнующей связи, которая, как струна, напрягалась между ними, Кончаев чувствовал, что она понимает его, ждет, боится и томится еще непонятным ей желанием, как цветок под солнцем.

Но что-то по-прежнему удерживало их, лживо шевелило губами и говорило о далеком, о другом.

— Завтра я побываю на броненосце, но главным образом должен быть в порту и стараться помешать разгрому. Если они перепьются, все пропало... будет бессмысленная бойня, и только.

— Зиночка, а вы будете плакать, если меня завтра убьют? — весело и лукаво спросил он.

Что-то вздрогнуло возле него, и неожиданно руку его обожгло прикосновение ее нежных и робких пальцев. «Милый, зачем? Это жестоко!» — с укором сказала это прикосновение.

Голос Кончаева оборвался неожиданно и бессильно. В первый раз он вдруг почувствовал, что надо взять эту руку и поцеловать и что это можно и будет хорошо. Он осторожно-осторожно поднял к себе горячую мягкую ладонь со свежим, ударившим ему в голову милым запахом и так же осторожно поцеловал ее, раз и другой. Рука тихо вздрагивала после каждого поцелуя, но лежала в его руке безвольно, покорная, слабая.

Настала напряженная тишина. Что-то неудержимо росло, неодолимо тянуло друг к другу, и казалось, что уже нельзя больше сопротивляться. Странная слабость разливалась по всему телу, голова тихо кружилась, мрак по сторонам сгущался плотной, непроницаемой стеной, и все исчезало, кроме чуть белеющих в темноте странных лиц с полузакрытыми, загадочно поблескивающими глазами.

Тишина стояла вокруг, отделяя их от всего мира, и только звезды, молчаливые и яркие, блестя, проникали сквозь мрак и молчание и светили им в лица, слабо озаряя их сказочным неверным светом.

— Ну, пора домой! — слабо сказал точно откуда-то издали вздрагивающий голосок Зиночки.

И с трудом, преодолевая сладкий истомный сон, мучая себя и его, точно отнимая что-то у своей жизни, она медленно встала, нерешительная и колеблющаяся, как белая былинка во мраке.

Кончаев тоже встал и провел рукой по волосам и глазам.

— Ах, Зиночка, Зиночка! — тихо, почти одними губами проговорил он, не в силах даже для себя в словах выразить то, что переживали его молодое сильное тело и молодая горячая душа.

Но она уже стояла посреди дорожки, и ее смутный белеющий силуэт как будто расплывался, готовый исчезнуть во мраке.

— Идемте, — повторила она негромко, — нас ждать будут... И, колеблясь в темноте, пошла от него.

Но вместо того, чтобы идти из сада, Зиночка пошла вниз по аллее, идущей к самому морю; Кончаев пошел за ней.

С ветром и влагой в упругом воздухе открылась перед ними темная ширина. Волн не было видно, и только иногда то тут, то там вдоль темной линии мола смутно появлялись и исчезали белеющие полосы, точно кто-то белый быстро выглядывал и мгновенно исчезал в темной колышущейся массе, отливающей мрачным черным блеском.

Непрестанный шум стоял в безграничном просторе. Он рождался где-то далеко, на неведомых горизонтах и, грозно нарастая, бежал прямо на берег. Что-то бухало на деревянный мол, как в пустой барабан, и потом бессильно падало, мокро плеская по камням. А сзади опять рос и бежал на берег новый нарастающий ропот.

Зиночка долго стояла на самом краю, одна, тоненькая, в развевающимся от ветра белом платье. Вокруг нее было широко, пусто и ветрено, все наполнялось гулом, звоном и плеском непрерывного могучего движения, и казалось в темноте, что она отделяется от берега и вот-вот сейчас, как легкая вольная птица, полетит быстро и низко над самой черной, блестящей, движущейся водой, веющей глубиной и страхом, вдаль, к неведомым широким горизонтам.

Странные думы овладевали ею. Что-то чистое и милое, такое нежное, такое славное просилось на волю из ее молодого, свежего тела, с широкими, упругими бедрами, невысокой сильной грудью, на которой, волнуяще легко, точно стремясь улететь и бесстыдно обнажить ее, трепетало легкое белое платье. В душе была настойчивая жажда чего-то, чего она еще не знала и не могла понять: и радость грустная, и грусть радостная, и плакать хотелось, и смеяться.

А гул моря, все так же нарастая, бежал на берег, и грудь невольно выгибалась навстречу упругому влажному ветру.

Она не видела Кончаева. Перед нею были только море, мрак и чистые звезды, но всем существом своим она чувствовала его где-то тут, близко, милого, сильного, и хотелось ей оглянуться и почему-то страшно было увидеть его.

Далеко, далеко, точно с края света, через верхушки невидимых волн, то показывались, то пропадали предостерегающие огни. III

Лавренко грузно и медленно, тяжело понуриив голову, дошел до конца бульвара. На углу он нанял извозчика и с ласковой иронией сказал ему:

— А шо, гражданин, лошадь твоя скорее бегать может? Извозчик молча повел головой, так что нельзя было понять, уразумел ли он, доволен или недоволен шуткой, и задергал вожжами.

Одну за другой проезжали они темные улицы. Было уже поздно и пусто. Глядя на огромные темные дома, в которых как-то не представлялась жизнь, Лавренко думал о том, что многих из людей, которые теперь крепко и спокойно спят здоровым сладким сном, завтра уже не будет. И люди эти не знают своей судьбы, и это ужасно.

— Разве они спали бы, если бы знали, что через несколько часов... что осталось всего

несколько часов жизни... что надо дорожить каждым мгновением, смотреть, запомнить, изжить эту жизнь, которая так мучительно дорога и которой осталось так мало...

Ему показалось, что было бы лучше, если бы знать. Неожиданность и неизвестность пугали, как черная пустота.

Но тут Лавренко отчетливо, но не умом, а как-то одними нервами, мгновенно обострившимися до боли, представил себе весь тот кошмарный ужас, те зловещие предсмертные судороги жизни — крики и слезы отчаяния, — которые наполнили бы эти темные молчаливые дома и нелепо-ужасно всколыхнули бы тьму и тишину ночи, если бы все эти приговоренные вдруг узнали, как близка от них смерть и как мало, как бессмысленно мало осталось жить.

Мелкая неприятная дрожь пробежала по его согнутой толстой и рыхлой спине.

— Бог с ним... уж лучше не знать! — мысленно махнул рукой Лавренко и, стараясь не думать и скрыть от самого себя холодное, зловещее предчувствие, стал вызывать в памяти всевозможные, самые пустячные и пестрые впечатления дня. Сначала это было трудно, и в то самое время, когда он думал, что думает о другом, вдруг мучительно оказывалось, что где-то еще глубже и в самых тайных изгибах мозга остро и болезненно шевелится это ползучее, липкое и всеобволакивающее предчувствие ужаса. Но потом мысли устали и сами, почти незаметно, ушли в сторону. Вспомнился ему Кончаев, и его юное, бесшабашно смелое лицо, с фуражкой на затылке и с мягкими волосами, легко закрученными на висках, ясно встало перед ним в сумраке тихой ночи.

«К Зиночке пошел, конечно!» — подумал он и, закрыв глаза, вызвал перед собою милое личико с розовыми пушистыми щеками, с двумя недлинными толстыми косами на покатых плечах молодой-молодой девушки.

Нежная и тайная грусть, которая всегда овладевала им при виде первой, нежной и красивой женской молодости, тихо шевельнулась в нем.

— Ах, Зиночка, Зиночка! — медленно вздохнул он и, весь напрягаясь во внезапном приливе трогательной нежности и тоскливой ласки, подумал: «Милая „Маленькая молодость“, кто знает, где буду я, когда ты расцветешь?..»

Что-то теплое и мокрое выступило из-под его закрытых век. Лавренко стыдливо крякнул, открыл глаза, поправился на сиденье и снова стал смотреть на слепые окна домов, неясно мерещившихся во тьме.

Почему-то перед ним встала вся его собственная жизнь: больницы, сотни страдающих, отвратительно и гнусно, на все манеры, разлагающихся людей, тайная, стыдливая любовь к Зиночке, бильярд, жадные лица шулеров, стук шаров, горький вкус пива и кисловатый затхлый запах в его холостой квартире, с размокшими кучами пепла на окнах. Стало чего-то обидно, чего-то жаль до слез.

— Барин! — вдруг позвал извозчик с козел.

Лавренко медленно посмотрел на него, с трудом оторвавшись от своих мыслей.

С козел, через плечо, смотрело на него, смутно различаемое в темноте, унылое и понурое, мужицкое лицо.

— А, шо тебе? — вяло спросил Лавренко.

— Правда, говорят, завтра по городу палить с пушек будут?

— Должно, будут...

Извозчик помолчал, и казалось, что он ждет еще чего-то или к чему-то прислушивается.

На улицах были пустота и молчание, и только одиноко и чересчур громко гремели колеса пролетки.

— Н-ну, дела! — пробормотал извозчик, не оборачиваясь. Лавренко долго молча смотрел в его присадковатую, согнутую спину, зыбко маячившую перед глазами во мраке.

— Да, голубь, дела! — не то усмехнувшись, не то вздохнув, проговорил он. — А ты знаешь, из-за чего все это?

— А кто их знает! — неопределенно ответил извозчик, опять оборачиваясь. — Говорят, матросы да забастовщики народ мутят...

— Мутят? Эх, ты... — с иронией передразнил Лавренко.

— А, конечно, мутят... Жили бы тихо, а то на... Невесть чего захотели... Этак, к примеру, и я скажу: не желаю... да и все!..

Извозчик усмехнулся, и по голосу было слышно, что он усмехнулся презрительно и недоуменно.

— Лучшей жизни хотят, — возразил Лавренко, — и ты можешь хотеть... Разве ты сам своей жизнью доволен?

— Где же доволен... Жить нашему брату вовсе трудно... Теперь, возьмем, скажем...

— Ну, вот видишь, — перебил Лавренко, — трудно жить.

— Что ж, что трудно... Жизнь не малина, трудно-то трудно, а жить можно... что ж...

— Где же можно? — с сердитой грустью возразил Лавренко. — День и ночь на козлах сидишь... вон как тебя согнуло, а человек не старый... Кроме лошадиного хвоста, холода да голода, ничего не видишь, всякий тобой помыкает, в бане, чай, побывать толком некогда, вши заели, а ты говоришь — жить можно!.. Разве это жизнь?

Извозчик, обернувшись, посмотрел на него с непонятым выражением какой-то растерянности и испуга.

— Оно, конечно, что жизнь, точно что... оно, если рассудить, так жизнь наша, барин, горькая жизнь, а только, что ж... тяжело не тяжело, а жить надо...

Они замолчали. Опять только дробно и одиноко постукивали колеса да скрипела калитка. Свернули в переулок, проехали мимо церкви, смутно белевшей за черными деревьями. Извозчик и доктор Лавренко думали каждый о своем, и было много безнадежного, унылого в этих двух согнутых, молчаливых, чуждых друг другу фигурах и тощей, разбитой лошаденке, терпеливо и кротко выбивавшейся из сил.

Уже у самого дома доктора Зарницкого извозчик вдруг вздохнул и тихо пробормотал:

— Приходится, барин, жить!.. Лавренко ничего не ответил.

У темного подъезда доктор тяжело слез с дрожек и расплатился. На мгновение они посмотрели друг другу в глаза. Лавренко что-то хотел сказать, но промолчал и пошел к подъезду. Извозчик тронул лошадь, и пролетка медленно поплелась вдоль тротуара, точно поползло одиноко в ночи какое-то искалеченное, унылое насекомое. IV

На площадке был пустой и холодный мрак, и тоскливый, замирающий отзвук колокольчика

где-то за запертой молчаливой дверью навел жуткую тоску. Не отворяли долго, и все было тихо, как в могиле, и это сравнение пришло в голову Лавренко и из самой глубины его души подняло опять тоскливое и зловещее чувство. Мрак стал жутким, и начало чудиться, что со всех сторон в нем неслышимо подползает что-то бесформенное и ужасное.

Наконец, за дверью послышался шорох, и женский высокий голос спросил:

— Кто там?

Голос звучал как будто издалека, и в его напряженном звуке чувствовалась молодая женщина, боязливая и недоверчивая.

Лавренко поторопился ответить, нарочно придавая словам преувеличенно дружелюбное и успокоительное выражение. Тогда дверь медленно отворилась, и полоса света упала ему на лицо. Молоденькая, хорошенькая горничная застенчиво улыбнулась ему и, наивно-кокетливо прижимаясь к косяку, пропустила доктора в переднюю. На пороге в следующую комнату стоял черный силуэт самого Зарницкого и все еще тревожно, слегка вытянув шею, всматривался в темноту.

— Владимир Петрович, я к вам по делу, — заговорил Лавренко, вступая в комнату и снимая пальто.

— Да, да... я уже знаю... — торопливо пробормотал Зарницкий, и по его чересчур красивому и здоровому лицу мгновенно мелькнуло что-то странное и даже как будто враждебное. И хотя он сейчас же отвернулся, но даже в его крупном, с короткими крутыми завитками черных волос, холемом затылке почувствовалось то же выражение. И с той спокойной, тонкой наблюдательностью, которою всегда отличался Лавренко, доктор заметил и понял это выражение.

Они прошли в кабинет Зарницкого, где от яркого света по лощеной коже тяжелой мебели, по золоченым корешкам книг и зеркальным стеклам шкафа с инструментами искрились тысячи холодных бликов.

Навстречу им поднялся высокий, как жердь, унылого вида студент.

— А, Сливин! — ласково-дружелюбным тоном негромко воскликнул Лавренко.

Студент улыбался ему, но и улыбка у него была какая-то длинная, вялая и унылая.

Лавренко сел у стола, сел и Сливин, острым углом поставив перед собой худые колени, а Зарницкий стал ходить по комнате, о чем-то озабоченно думая и тяжело ступая по ковру машинально размеренными шагами. Все долго молчали.

— Ну, вот, голубь мой, дождались мы и революции! — с задумчиво-ласковой иронией наконец проговорил Лавренко, взглянув на уныло сидевшего Сливина.

И точно это слово было тем ключом, которым открывалась душа у понурого студента, Сливин вдруг оживился. Его белобрысое, худое и длинное, совершенно некрасивое лицо чахоточного порозовело, глаза заблестели, и все лицо стало таким молодым и милым, что на него и жалко, и хорошо было смотреть.

— Это еще не революция, а только предтеча революции, доктор! — надтреснутым высоким басом ответил он, — но во всяком случае это такой удар, который двинет жизнь сразу на тысячу верст вперед!

— Да, конечно!.. — любуясь им, согласился Лавренко, хотя вовсе не потому, что был действительно с ним согласен.

Зарницкий остановился у камина, постоял немного, подумал и заложил руки в карманы, покачиваясь с носков на пятки и обратно, и небрежно-притворно, глядя в потолок, спросил:

— А как вы думаете, чем все это кончится?..

— Бойней, — коротко пожал плечом Лавренко и потер свои пухлые, как у булочника, пальцы, точно ему вдруг стало холодно.

Это было очень простое и короткое слово, и Лавренко произнес его как будто довольно спокойно, но оно кровавым призраком встало перед каждым из них и мгновенным тяжелым сжатием отметилось в сердцах. Зарницкий вдруг перестал качаться и странно поперхнулся. Сливин вновь осунулся и поник.

Но каждому из них казалось, что страшно только ему одному, а другим нет. И каждому стало неловко перед другими и стыдно перед самим собой.

«Как они могут так спокойно», — с наивным восхищением подумал Сливин и с горькой тоской почувствовал себя маленьким, ничтожным и трусливеньким до гадости. И, страдая до слез и убеждая себя, что он должен быть искренним и сказать то, что думает и чувствует, он борбормотал, заикаясь и бестолково двигая локтями и ногами:

— А в конце концов, все это ужасно!.. и... вообще...

— Что же тут ужасного? — неожиданно для самого себя, повинувшись безотчетному желанию замаскировать свой страх и тому стремлению поражать, которое всегда было в нем, вместе с тайной сознаваемой уверенностью, что он действительно лучше, смелее, решительнее, непреклоннее, умнее и определеннее всех, сказал Зарницкий. И мгновенно его самоуверенность вернулась к нему, и он успокоился.

— Борьба так борьба... Кому-нибудь надо умирать, и, право, по-моему, лучше умереть сразу и в борьбе за жизнь, чем от какой-нибудь болезни сгнить в постели. В сущности говоря, — продолжал он, оживляясь от удовольствия, что именно ему пришла в голову удачная мысль, — в сущности говоря, вопрос о жертвах был бы тогда ужасен, если бы люди вообще были вечными и только одни эти жертвы погибали... тогда... да... Но так как все люди в конце концов умирают, то не все ли равно, раньше или позже?.. Это сантиментальное сожаление о жертвах похоже на то, как если бы приговорили к смерти кучу народу... всех к посажению на кол, а двух-трех к расстрелянию... и если бы все посаженные на кол стали оплакивать не себя, а тех, которых расстреляют. И это при полной и неопровержимой уверенности в том, что сию секунду их самих непременно посадят на кол...

«Да, да... это совершенно верно... — с какою-то облегчающей радостью думал Сливин. Как это, в конце концов, просто и... вовсе не страшно... Ну, не все ли равно, в самом деле, убьют ли меня завтра или я умру потом от чахотки?.. Да, это решительно все равно».

И воспоминание о том, что у него чахотка, на этот раз было ему не мучительно, как всегда, а радостно, как будто этим снималась с него ужасная тяжесть.

— Хотя я... — все-таки нерешительно, перебивая сам себя под давлением какого-то странного чувства неловкости, оставшегося где-то очень глубоко, под легкими добрыми мыслями, протянул он, — тут ведь и... того, страдания ужасны... и неожиданность тоже... Хотя-я...

— О, милый мой юноша! — снисходительно и уже совсем самоуверенно засмеялся Зарницкий. — Хуже страданий, как от воспаления седалищного нерва или рака, никакой пулей не причинишь... А что касается неожиданности, то смерть всегда неожиданность... даже после соборования, — прибавил он и довольно засмеялся.

Сливин смотрел на него с завистью и изо всей силы старался впитать в себя эти мысли и проникнуться ими, чтобы так же легко и смело смотреть на жизнь и смерть. Сознание своей трусости и ничтожности давило его и терзало еще больше, чем страх.

— Все это так, голубь мой, — мягко отозвался Лавренко, глядя на ровное широкое сукно письменного стола, напоминающего ему бильярд, — все это та-ак, да... да дело-то в том, что вы признаете смерть от болезней уж как будто делом естественным, а это что ж... Смерть противна человеку вообще, отчего бы она ни приключилась... Тут главным образом ужасно не то, что будут жертвы, а то, что эти жертвы будут принесены самими людьми. Всем смерть ужасна, всем хочется жить вечно, люди борются за эликсир бессмертия тысячи веков, уничтожают болезни, создают гигиену, строят больницы, употребляют страшные и самоотверженные усилия в поисках микроорганизмов, вредных для человеческой жизни, а тут же, рядом с больницами и университетами, находятся идиоты, которые под прикрытием пустых и явно фальшивых лозунгов калечат, убивают, истязают ту самую жизнь, за которую борется так или иначе всякий человек, и они же сами... Вот это-то и ужасно, голубь мой!.. Ужас перед насильственной смертью — это ужас смерти вообще, но отягченный еще возмущением, болью омерзения и самого мучительного недоумения: да зачем же?.. да как же не понимать такой простой истины?..

Зарницкий, еще не дослушав до конца, подыскал ответ, и, хотя, по дальнейшему ходу слов Лавренко, ответ этот уже не совсем годился, он возразил, слегка волнуясь:

— Вы говорите, смерть противна вообще... а террористы, а эти улыбки под виселицами?.. а крестная смерть Христа, например?.. А самоубийцы?..

— Я думаю, голубь мой! — раздумчиво ответил Лавренко, погружаясь назад в кресло всем своим толстым, пухлым телом. — Можно улыбаться и смерти, но только тогда, когда смерть есть акт своей собственной воли... Смерть террориста есть высшее проявление его собственного «я»... Человек, идущий на террор, ставит себе задачей мужественную гибель... А, например, смерть Христа была не столько смертью, сколько высшим моментом его творчества, венцом его жизни... Вообразите, как мог бы жить дальше Христос, если бы вместо того, чтобы умереть на кресте, он удрал бы! Он остался бы жить, т. е. тело бы его не умерло и прожило бы еще сколько-нибудь лет... Но себя, Христа, свою личность, он убил бы этим и обратил в гроб повапленный... Разумеется, в такие моменты у них жизненная сила достигает наивысшего напряжения, наиярчайшего проявления, и самый страх смерти совершенно ступшевывается перед восторгом победы над собой и другими...

— Другими? — машинально спросил Сливин.

— Конечно, голубь мой, и над другими: люди, которые приговаривают их к смертной казни, прежде всего имеют идеей месть и устрашение, а потому смерть бесстрашная есть именно доказательство несостоятельности этой идеи... победа.

Лавренко помолчал и вдруг, грустно засмеявшись, прибавил:

— Знаете, голубь мой, у человека есть одна только сила, которую никто и ничто не может победить... Все можно победить, можно убить жизнь, можно пресечь все... но есть одна сила, которая ничем не уничтожается и остается как яд, который ничем уже нельзя вытравить...

— Какая же?

— Ирония... И знаете, самым непобедимым человеком в мире мне представляется тот анекдотический турок, который, будучи посажен на кол, сказал: «Недурно для начала!..»

Сливин прыснул, но сразу умолк и задумался.

— А это, пожалуй, правда! — сказал он вдруг с недоумением и, даже слегка открыв рот, посмотрел на Лавренко.

Все задумались. Зарницкий медленно ходил по комнате, напирая на носки сапог и глядя под ноги; Сливин сгорбился и засунул руки между коленями, а Лавренко смотрел на стол и машинально рассчитывал удар чернильницей пепельницу направо в угол.

— Сливин, вы хотите ужинать? — спросил Зарницкий, посмотрев на часы.

Сливин задвигался во все стороны, беспомощно шевеля руками и подымая брови.

— Н-нет... Я, собственно, есть не хочу!.. Я уже ужинал!..

— Ну, ничего... выпьем водки и закусим, а?..

— Да нет, ей-богу, я не хочу... Хотя-я...

Он виновато улыбнулся и поднял плечи до самых ушей, слегка разведя руками. Зарницкий позвонил.

Молоденькая горничная, чистенькая и красивая, того особого, как будто только что вымытого с мылом, типа, который вырабатывается у горничных, живущих у очень здоровых холостых мужчин ради правильности и гигиеничности физиологических отправок, накрыла на стол, зажгла яркую лампу в столовой, и было как-то особенно приятно сесть за чистый, блестящий графинчиками, тарелочками и белоснежной скатертью стол.

— Ну, господа, — с грустной шуткой сказал Лавренко, наливая и подымая рюмочки, — может быть, в последний раз... За победу!

— За победу! — оживляясь, крикнул Сливин и так хлопнул рюмку в глотку, что у него выступили слезы.

Но он сейчас же вспомнил, что после высказанной им трусости и дряблости не очень-то кстати пить за победу, покраснел и уткнулся в тарелку. Все ели молча. Лавренко и Зарницкий совсем мало, и по лицу Зарницкого опять заходили мимолетные тени. Один Сливин, сам смущаясь своего всегдашнего волчьего аппетита, съел весь ужин и весь черный хлеб, какой был.

— Ну, — сказал Лавренко, уже уходя, — итак, до завтра... Плохо нам будет!

Зарницкий изменился в своем красивом холеном лице.

— Чего, собственно, вы боитесь? Ведь не посмеют же они стрелять по красному кресту?

Лавренко внимательно посмотрел ему в лицо, угадывая его мысли и чувствуя к этому здоровому, упитанному человеку презрительную враждебность.

— И по кресту будут стрелять. А главное, когда нас побьют, а побьют нас непременно, многих из нас... А впрочем, не знаю!

Он холодно пожал руку Зарницкому и вышел на темную лестницу. Сверху им светила горничная, перевесившись через перила, и, как всегда, Лавренко посмотрел на ее чистенькую пикантную фигурку, выпукло освещенную лампой. И ему стало жаль ее и противно.

На улицах была пустота и сероватый мрак, указывающий на близость рассвета.

Шаги их чересчур громко отдавались в этой пустоте, и Лавренко озабоченно сказал:

— Будет очень скверно, если нас заберет патруль еще до завтра!

«Тогда мы будем в безопасности!» — мелькнуло в голове у Сливина, но он тотчас же поймал себя на этой мысли и мучительно покраснел.

— Ах, Анатолий Филиппович, — с болезненным раскаянием выговорил он, — если бы вы знали, какой я трус!

— Я тоже трус, — ласково ответил Лавренко и махнул рукой. — Не в том дело, голубь мой!..

— А не поиграть ли нам в последний раз на бильярде? Тут я знаю один извозчикий трактирчик такой... — спросил вдруг Лавренко, и ему самому было стыдно, что он говорит о бильярде. Ему всегда было неловко приглашать играть, потому что казалось, будто он уже всем решительно надоел своим вечным бильярдом и что только из деликатности соглашаются с ним играть.

— Поздно уже... — с искренним сожалением, что не может удовлетворить желания Лавренко, к которому чувствовал нежное уважение, ответил Сливин.

— Да!.. Поздно!.. — согласился Лавренко, с трудом разобрав на часах два с четвертью. — Ну, до свидания, голубь мой!.. Завтра, может быть, не увидимся?.. Вы где будете?..

— Я на заводе Костюковского. Прощайте, голубчик!..

Они крепко, хотя немного стесняясь, поцеловались, и оба почувствовали теплую, грустную нежность друг к другу.

— Ну, прощайте, голубь, не поминайте лихом, коли что!..

Высокая фигура Сливина, зыбко маяча во мраке, повернула за угол, и опять Лавренко остался один. Ему вдруг до боли захотелось, чтобы было куда-нибудь пойти, встретиться с дорогим человеком, который пожалел бы его и боялся бы за него. Он вздохнул и медленно пошел по тротуару, грузно шагая и постукивая тростью.

Он вспомнил Зарницкого и стал думать о нем:

«Ведь вот куча мускулов и мяса, вся жизнь его в том, что эта здоровая, красивая куча мяса ест, пьет, спит и совокупляется с женщинами... Такая физиологическая жизнь продолжится и за гробом, и после смерти эта куча мяса не исчезнет без следа, а будет разлагаться, претворяться, потом опять есть, опыляться и так без конца... Казалось бы! А между тем он боится смерти, может быть, во сто раз больше, чем те, которые живут самой тонкой духовной жизнью, которой действительно конец за гробом... Да... Ну, так что же?»

Лавренко запутался, тоскливо махнул рукой и пошел дальше...

Не доходя до перекрестка, он вдруг остановился и прижался под воротами.

Показались из-за угла, перешли улицу и вновь скрылись за углом четыре черные одинаковые фигуры, и, когда проходили под слабым светом подворотного фонарика, один за другим, над ними тускло блеснули четыре штыка. В груди у Лавренко все сжалось и притаилось.

В гулком ночном мраке звонкие шаги вооруженных людей отчетливо проговорили о близости смерти и смолкли в безвестном отдалении. V

Проводив гостей, Зарницкий вернулся в кабинет и опять стал ходить взад и вперед, заложив руки за спину и глядя на носки своих светло вычищенных сапог. Он был так же массивен, красив и изящен, как всегда, но какая-то неуловимая растерянность вдруг появилась на лице,

в беспокойном выражении глаз и в чуть заметном дрожании пальцев.

Пока вокруг были другие люди, перед которыми для Зарницкого было невысказано не выказывать себя самым умным, самым храбрым, самым честным и самым твердым человеком, ему было легко не думать. Но когда он остался наедине с самим собою, словно какой-то флер спал с его души, и голо и коротко встал перед ним беспощадный настойчивый вопрос, которого он никогда не подозревал и который теперь вдруг оказался неотложным и неотвратимым.

Всю свою жизнь Зарницкий был непоколебимо убежден, что он самый красивый, самый блестящий и смелый человек в свете. То, что его любили женщины и с восторгом отдавались на забаву его холемому, сильному и здоровому телу, то, что он был ловким и действительно прекрасным хирургом, то, что он был революционером и шесть месяцев просидел в одиночке, откуда вышел таким непреклонно убежденным, каким и вошел, приучило его верить в себя и никогда не задавать вопроса, действительно ли он так прекрасен и силен.

Он всегда верил, что если будет революция, то он станет во главе ее. С его красноречием, храбростью и убежденностью он не может не выдвинуться в первые ряды и не стать, как ему рисовалось, членом конвента, народным трибуном, вождем. И мысль об этом опьяняла его романтическим восторгом, и даже смерть на гильотине казалась ему только последним мрачно красивым аккордом.

Еще когда он был студентом, ему как-то пришлось в обществе красивых, чуть не поголовно влюбленных в него девушек сказать:

— Лучше тридцать лет жить, да пить живую кровь, чем жить триста лет, да питаться мертвечиной.

И он сказал это с искренним убеждением и часто повторял потом все с таким же убеждением.

И вдруг оказалось, что мысль о том, что его могут завтра убить, леденит ему кровь, и совершенно определенно, ясно и неотвратимо он понял, что боится смерти и не пойдет на нее.

«Так, значит, — я трус?..» — мучительно краснея и как будто стараясь, чтобы мысль эту не слышал даже он сам, растерянно подумал Зарницкий.

«Да, трус!» — отвечало что-то в глубине его массивного красивого тела, сжавшегося безвольно и пугливо. И весь многолетний мираж красоты, смелости и обаяния вдруг слетел, и Зарницкому показалось, что он гол, слаб и растерян, как гаденький, подленький зверек, с которого содрали блестящую шкурку.

С беспощадной иронией, вдруг непонятно возникшей из неуловимых сплетений мысли, он вспомнил шуточный афоризм одного приятеля:

«Познай самого себя... и познав, не впадай в уныние».

Эта внезапная, противувольная и непонятная насмешка над самим собою была так мучительна, что у него потемнело в глазах, и весь кабинет с его внушительной строгой мебелью тихо поплыл кругом.

«Не надо думать об этом!.. — как будто прося кого-то жестокого и безжалостного, подумал Зарницкий. — Это так... нервы расходились... Надо лечь спать... а там посмотрим!»

Но вместо того он опять заходил по кабинету, и все движения его стали уже растерянными, короткими, порывистыми, и, чувствуя это, он начал невыносимо страдать. Можно было

думать, можно было забыть или помнить, но завтрашний день, а с ним смерть придут, и нельзя будет не пережить их.

— Ах, если бы проснуться и увидеть, что все уже прошло... Будет же когда-нибудь все это прошлым...

Мысль о том, чтобы стряпаться, увернуться от опасности и что это очень легко и можно устроить так, что очень немногие, а быть может, и никто не догадается, уже была у него в мозгу, тонкая, как уж, юркая и трусливая, но он старался думать, что даже мысли об этой мысли у него нет, потому что у него ее не может быть.

«Не всех же убьют», — думал он словами, логически и ясно, и как бы то ни было, а отступления не может быть и будь что будет.

Но тут же за этими словами, как будто гораздо глубже их, неуловимая, бессловная мысль, как мышшь в мышеловке, быстро и все очевиднее и яснее для него описывала круги, отыскивая и изобретая все возможные способы обмана и увертки.

И окончательно уже видя, что все это так и есть и что он не пойдет завтра никуда, Зарницкий все-таки сам не знал, пойдет или не пойдет, и был уверен, что такой человек не может даже думать, чтобы не пойти. Было похоже на то, будто его мозг утратил связь и цельность, и каждая частица его думает свое. И путаница эта отдаленно напомнила о сумасшествии.

А в груди было простое чувство искреннего стыда и грусти о безвозвратно утраченной отныне вере в свою красоту и превосходство над всеми людьми.

Зарницкому захотелось плакать, просить у кого-то снисхождения и жаловаться, как будто его обижают незаслуженно, и бить себя головой о стену с презрением, плеванками и пощечинами, как последнюю тварь. Он представил себе свою красивую фигуру с избитыми, заплеванными холеными щеками, и это даже доставило ему мучительное наслаждение.

Зарницкий остановился посреди кабинета и широко открытыми воспаленными глазами уставился на стену, ничего не видя перед собой.

«Но ведь разве можно будет жить после этого?» — с отчаянием и ужасом спросил он себя.

«Нельзя!» — ответила первая мысль, и стало очевидно, что после этого никогда нельзя будет чувствовать себя таким красивым и счастливым, нельзя будет заглянуть в лицо тысячам людей.

«Можно будет уехать куда-нибудь подальше, где никто не знает!» — одновременно под этой мыслью проскользнула другая, и опять было очевидно и то, что нельзя уехать, и то, что он уедет, и что нельзя жить, и что все-таки он переживет.

Холодный пот выступил на лбу Зарницкого, и лицо его исказилось.

«Да, лучше не думать!.. — опять сказал он себе и, взяв лампу, пошел в темную спальню. Тысячи мыслей со всех сторон набежали на него, как тот мрак, который бежал за лампой, но, упрямо стиснув зубы и притворяясь, что всецело поглощен сниманием сапог и брюк, он каждую упрямо отражал и затемнял. — Я вовсе не думаю об этом, не думаю, вот и не думаю вовсе... Там будет видно! Может быть, это вовсе и не так страшно... и на самом деле я окажусь героем...»

Но как только лег и вытянулся под мягким одеялом на чистой и приятно свежей холодной простыне, сейчас же поймал себя на том, что раз он говорил себе, что не надо думать «об этом», то, следовательно, он думает об этом, и понял, что действительно думает.

Тоска охватила его, и, как всегда, он почувствовал, что если заняться своим телом, то будет легче. Тогда он насильно встал с постели и в одном белье, большой, сильный и красивый, пошел в комнату к горничной Тани. В комнате у Тани светила лампадка и оттого было уютно и пахло чистотой и сном. Таня уже спала, и спящая не была похожа на горничную. Кружево сорочки, которую купил ей Зарницкий, обнажая круглое смуглое плечо, придавало ей вид пышный и сладострастный. Она проснулась, когда Зарницкий стал ложиться рядом на согретую ею постель, и, открыв темные острые глазки, улыбнулась ему как-то особенно, с почтением прислуги и уверенностью женщины в том, что она нужна и приятна. От нее раздражающе пахло на Зарницкого странным смешанным запахом чистого, пахнущего мылом белья, сонной женщины и чем-то похожим на мускус. Он вдруг почувствовал привычное неуправляемое сладострастие своего переполненного жизненными соками тела, и, действительно, забывая все мысли и все мучения, стал целовать ее в мягкую, упругую и бархатистую грудь, одной рукой уже стягивая с ее ног и живота рубашку и вздрагивая от прикосновений своих холодных пальцев к неуловимо нежной, горячей, как огонь, коже ее молодого крепкого тела.

По обыкновению, как требовало его исключительно сильное сладострастное тело, он наслаждался долго, замучив покорную, обожающую его, как высшее существо, теплую, гибкую, молодую женщину, и, когда ушел к себе, все тело его сладко ныло от полного разнеживающего удовлетворения, и в руках, и в ногах, и в мозгу была томная, счастливая лень.

Он с наслаждением вытянулся на холодной постели, потянулся и медленно, лениво стал думать.

«В жизни останется еще много хорошего... что бы там ни было...»

Прежней неуловимой мучительной путаницы уже не чувствовалось. Мысль тянулась одна, прямая и спокойная. Вдруг все показалось очень просто и совсем не так ужасно. Только что насладившееся тело подсказало ему то, что нужно было для того, чтобы успокоить и свою душу.

«Что бы там ни было, а если бы меня убили, расстреляли, я уже не увидел бы никогда того, за что я погиб... Какое же мне дело тогда и до торжества революции, и... тому подобное. Я есть центр вселенной, для меня все существует только постольку, поскольку я сам существую, а с моей смертью все исчезает. Значит, я принес бы себя в жертву за мираж, которого для меня после смерти не будет... Это вовсе не трусость, а просто логика... Боязнь других, стыда и тому подобное, вот что действительно трусость... Да, не хочу умирать ни для кого и ни за кого, не хочу и не умру... И те идиоты, которые умрут, будут только идиоты и не больше... Лавренко же говорит, что жизнь есть борьба существования со смертью, а благо жизни в осуществлении своей свободы... Ну, я не хочу умирать, значит, хочу жить, потому что мне этого хочется. Хочу быть свободным, бороться со смертью и мнением людей, и, значит, я прав...»

Он облегченно вздохнул и заложил руки под голову устало и спокойно.

На мгновение в нем шевельнулось что-то грустное: как будто из его жизни он сам изгонял что-то светлое, дорогое, во что он верил и верит и сейчас, несмотря ни на что.

«А ведь я убиваю часть своей... жизни... ведь я борюсь не со смертью, а с жизнью... той жизнью, которая всегда звала и зовет меня быть смелым, твердым, свободным от страха...»

Он торопливо перебил себя.

«Так все можно перевернуть... Это — мудрование, и больше ничего, а жизнь и есть жизнь, смерть и есть смерть...»

Вдруг какой-то звук родился в темноте и где-то далеко как будто прогремел глухой выстрел. Зарницкий быстро поднял голову.

Все было тихо, но что-то тревожное как будто стояло в воздухе. Зарницкий сидел на кровати и слушал, слыша только встревоженное биение своего сердца. Кругом стоял неподвижный глухой мрак.

Сначала было тихо, но потом где-то внизу на улице почудилась сдержанная безмолвная суета. Тревога стала расти больше и больше. Зарницкий поспешно встал и, шагая нагретыми босыми ногами по холодному полу, подошел к окну. Он встал на стул, отворил форточку и высунул голову на улицу.

Сырой весенний ветер, дующий с моря, охватил его разгоряченную голову и грудь. Зубы забили дрожь, и по спине проползло что-то холодное и неприятное. Все было пусто и тихо, и, чернея окнами, неподвижно стояли напротив темные, как будто вымершие дома.

«Послышалось, — подумал Зарницкий. — Еще простудишься!..»

Он затворил форточку, лег и долго не мог избавиться от неприятной ознобной дрожи. Потом заснул и спал до утра тяжелым и кошмарным сном, в котором все, что он думал и видел днем, сплеталось в болезненные, неуловимо быстрые видения, принимая необыкновенные, странные формы.

Утром он проснулся с тяжелой головой, скверным вкусом во рту и нервной тоской. Наступал день, которым надо было или, может быть, кончить свою жизнь, или, наверное, принять неизбежный унижительный позор, и он уже знал, что именно будет. VI

Последний день многих человеческих жизней настал так же ясно, спокойно и прекрасно, как всегда. Высоко над городом и морем заголубел нежно-прозрачный небесный свод, и неподвижно, в мечтательно-радостном ожидании солнца, замерли далекие облака. Они розовели все ярче и ярче; все синее становилось небо, и поэтому чувствовалось неуклонное и торжественное приближение дня, с его блеском, теплом и светом.

Было еще очень рано, и многие из тех людей, которые должны были сегодня умереть, которые должны были убивать и которые должны были принять в свои души мрачное и безобразное зрелище смерти, еще спали. В городе было пусто, и в густой голубизне моря неподвижно застывшие белели и пестрели трубы и мачты судов. Только в порту, где прекратилась обычная бойко- и суетливо-шумная жизнь, невнятно и неопределенно уже рос смутный и зловещий гул. Но он был так ограничен и слаб в бесконечном просторе утра, что здесь, в окраинных переулках, где шел Сливин, уступал самым простым и ничтожным звукам.

Сливин шел быстро и уныло смотрел под ноги, глубоко засунув руки в карманы. Ему было холодно от бессонной ночи, вытянувшей из тела бодрость и теплоту. Костлявые длинные ноги, похожие на две кочерги в болтающихся штанах, шагали непомерно широко, а худое студенческое пальто болталось между ними уныло, как от осеннего ветра. Торчащие лопатки горбились, позеленевший картуз лез на уши.

Впереди него, вдоль забора, кралась худая желтая кошка. Иногда она внезапно останавливалась и на что-то, ей одной видимое, заглядывала своими зелеными, странными глазами в щели и подвальные окна.

Сливину почему-то было грустно-умилительно смотреть на эту кошку и хотелось думать что-то трогательное и печальное так, чтобы в этом трогательном и печальном были и эта кошка, и небо, и утро, и сам Сливин. Хотелось потихоньку плакать, а когда кошка вдруг скрылась под забором, Сливин почувствовал себя одиноким, заброшенным, как

потерявшийся мальчик.

Иногда вдруг откуда-то, ничем не вызванная, являлась уверенность, что он все-таки переживет это время, и, когда настанет новое, смутное, в то же время ярко представляющееся, он будет еще счастливее именно оттого, что теперь переживает такую тоску.

«Ведь не всех же убивают! — думал Сливин, шагая все дальше и дальше. — И почему должны убить именно меня... Это глупо!.. и это трусость!.. малодушие, и больше ничего!..»

Какой-то дворник, шаркая по мостовой, поднял метлой целую тучу мелкой пыли прямо в нос Сливину.

И неожиданно Сливин поймал себя на тоненькой, неуловимо, как ящерица, скользкой по изгибам мозга мысли, что пусть лучше всех убьют, только не его.

Он очнулся, похолодев от гадливого и безнадежного презрения к самому себе и стараясь, чтобы никто в мире не догадался об этой подлой мысли, не плюнул ему, Сливину, в глаза, как это надо было бы сделать, он принял суетливый деловой вид и, подавив то, что упорно ныло в груди, ускорил шаги и повернул в переулок, где жили Зек.

Перед подъездом стояла грузная телега ломовика, и дремала, отставив ногу и жуя отвислыми губами, огромная худая лошадь со страдальческими добрыми глазами. От дверей до телеги дорожкой желтела раздерганная солома и валялись рогожки с бечевками. Дворник и ломовой, дюжие и равнодушные ко всему люди, пыхтя, тащили из прихожей сундук, а сам старый Зек, торопливый и седенький старичок, похожий на старого воробья, красный и раздраженный, суетился возле них.

— Осторожней, осторожней! — кричал он и, увидев в дверях длинную оторопелую фигуру Сливина, сердито вскрикнул: — А!.. А мы вот бежим... На старости лет!.. Скажите, Виталий Федорович, что же это такое?..

И старый Зек, ершась, как сердитый воробей, наскაკивая и возмущаясь, стал говорить о том, что революционеры ни в грош не ставят чужой жизни, и что это подло.

— К чему же тогда возмущаться правительством?.. Я не черносотенец, я отлично все понимаю, но с какой стати страдать мирным жителям?.. Ну пусть они сами идут на смерть, на виселицу, куда угодно, пусть они святые, но мы-то тут при чем?..

Сливин, сняв картуз и, неловко опустив руки, уныло торчал посреди чемоданов, рогож, соломы и перевернутой мебели и молчал. Он всегда мог говорить только с людьми, в которых был уверен, что они думают как раз в том же духе, как и он. Старый же Зек всегда был ему чужой, и Сливин, как мальчик, боялся его и терялся в его присутствии.

— Нам хочется жить не менее, чем вам, — недоуменно и злобно кипятился старый человек, — мы не виноваты, что одни люди плохо живут, а другие хорошо, и это всегда будет... И согласитесь сами, наконец, что из того, что одним плохо, вовсе не значит, что и те должны страдать, которым живется недурно и которым...

Седые волосы торчали ежиком, и маленькие старые глазки блестели тревожно и злобно, как у сердитого зверька, неожиданно выгнанного из норки.

Сливин все-таки уныло молчал. По его мнению, прямому и непоколебимому, старый Зек был неправ, отстал и совершенно не понимал жизни. Сливин знал и почему он именно неправ, но возражения как-то нерешительно путались у него на языке, быстро и ярко возникая в мозгу при каждом слове Зека и бесследно исчезая при попытке их высказать. И притом он всегда

боялся сказать что-нибудь нетактичное и кого-нибудь обидеть.

— Видите ли... это не совсем так... — изо всей силы стараясь выразиться безобиднее и деликатнее, заговорил он, — дело в том, что если одним плохо жить, то это потому, что в этом... именно потому, что другим чересчур хорошо и, конечно, доля вины есть и на них... хотя...

По обыкновению, он сам перебил себя, потому что почувствовал неудобство и бесполезность слов ввиду благосостояния и полной обеспеченности самого Зека. И ему было как-то неловко и чудно, что эта старая воробыная жизнь так крепко и цепко держится за свое.

«Собственно, старик ведь, — подумал он. — На что ему?»

В дверях гостиной показалась Зиночка. Она была бледна, и глаза у нее были заплаканы и так обведены кругами, что она казалась худенькой. Но по тому, как равнодушно пропустила она мимо ушей восклицание отца, и по тому что у нее одной во всем доме не было заметно торопливости и растерянности, было видно, что в душе у нее нечто свое, другое.

Сливин перешагнул через чемодан и стул, ногою сбил с чемодана на пол свернутые гардины и подал Зиночке руку, не сразу решив, поднимать ли раньше гардины или прежде здороваться, и оттого теряясь до слез.

— Вы ко мне, Виталий Федорович? — с тревожно выжидательным выражением глаз спросила она, снизу заглядывая ему в лицо.

— Да... то есть, я думал предупредить вас, но вы уже знаете, а так у меня ничего особенного... хотя-я...

Глаза Зиночки потухли. Сливин понимал, чего ей нужно, и страдал от деликатности и затаенной даже от самого себя грустной ревности.

«Не надо было приходить...» — почему-то подумал он.

— Пойдемте в сад, мне нужно вам кое-что сказать... — позвала Зиночка и с той спокойной уверенностью, с какой она, чувствуя свою власть над ним, всегда обращалась со Сливиным, повернулась и пошла, не оглядываясь.

— Пойдите, Виталий Федорович... — остановил его Зек. — Как вы думаете?.. поспеем мы выехать?.. а?.. Говорят, на поезд уже не попадешь?..

— Комитет обещал вывезти всех желающих... хотя-я... — уныло пожал плечами Сливин и боком пробрался за Зиночкой.

В саду все было покрыто росой, песок на дорожках был совсем сырой, а мокрые зеленые лавочки блестели, как новенькие. Небо уже совсем посветлело, и воробы чирикали, как днем.

— Рано еще совсем... — несмело пробормотал Сливин, идя за Зиночкой и не спуская наивно восторженных глаз с ее стройной мягкой спины с двумя недлинными пушистыми косами и тихо колышавшимися на ходу круглыми, стройными и широкими бедрами.

Зиночка отвела его в самый конец сада, где деревья уже сменялись тонкими, еще голыми, как прутья, кустами ягод и высокий забор показывал из-за своих позеленевших досок только красные трубы пригородных фабрик и заводов. Тут она решительно повернулась к Сливину и, просто и открыто глядя ему в глаза, сказала:

— Виталий Федорович, вы видели Кончаева?

Было короткое мгновение, когда Зиночка подумала о том, что она первый раз в жизни открыто выдает свою тайну, которой, как ей раньше казалось, никто в мире не может и не должен знать, так как иначе она умрет от стыда. Сливин хотел покраснеть и смутиться от неловкости положения. Но в следующее мгновение что-то полное, властное и спокойное, какое-то непоколебимое сознание своего права наполнило все тело Зиночки, и она еще более открыто и прямо взглянула Сливину в глаза. И это почувствовал и понял тоже всей душой и Сливин. Его голос прозвучал грустью, но был так же прост и открыт, как всегда, когда он ответил:

— Я видел его вчера и сегодня, вероятно, увижу...

— Скажите мне правду, Витя, — пристально и твердо глядя ему в глаза, спросила она, — опасно там, где он будет?

Сливин, как будто извиняясь, застенчиво пожал плечами.

— Сегодня везде будет опасно... Но главное дело заключается в порту, а их отряд будет, кажется, в фабричном районе. Там не так опасно... хотя... — он беспомощно развел руками, как будто всей душой хотел бы сделать ей приятное и уберечь Кончаева, но не мог и просил снисхождения. Он знал, что Кончаев будет в порту, но солгал и почему-то не почувствовал никакой неловкости, точно так и нужно было.

— Так... — сказала Зиночка и потупилась, машинально пощипывая кончики кос, перекинувшихся на грудь. И вдруг вся покраснела и застыдилась опять, как напроказившая девочка.

— Витя, вы передадите ему письмо?..

И Сливин весь покраснел, но трогательное и просительное доверие в ее светлых, увлажнившихся от стыда и просьбы глазах размягчило его сердце совсем, и какое-то грустное счастье охватило его душу.

— Давайте... я передам, непременно... — сказал он и отвернулся, посмотрев вверх на небо, чтобы скрыть теплые слезы, выступившие на ресницах.

И небо, и розовые облака расплылись в этих слезах.

Потом она скоро-скоро пошла назад, и маленькие каблочки ее светло-желтых туфель быстро и ровно печатали свои крошечные следы на сыром песке дорожки. Сливин понуро шел сзади и с чувством все того же чистого и грустного умиления смотрел на эти следы.

«Зиночка, Зиночка! — с тайным напряжением и бесконечной печалью думал он. — Я знаю, что я некрасив, глуп и гораздо хуже „того“... но мне так хочется жить, так я люблю тебя, так мне больно и горько знать, что ты, такая милая, чистая, такая святая своей красотой и молодостью, скоро будешь принадлежать другому, здоровому, веселому и смелому со всеми женщинами мужчине... Это так невероятно, а между тем так и будет. И никогда, даже когда я умру, ты не узнаешь, как я тебя любил...»

На одно мгновение, мучительное своей беспощадной краткостью, у Сливина скользнула мысль, какой ужас есть в том, что огромное, хорошее и чистое чувство человеческое, составляющее для этого человека все, исчезнет совершенно бесцельно и бессмысленно, никому во всей вселенной не известное, как будто его никогда и не было.

«Лучше пусть будет отказ, насмешка, недоумение, жалость, все что угодно, но надо высказать».

Но сейчас же мысль куце и бессильно свернулась в безнадежный вопрос: ну, что же из этого?

«Да и невозможно это... лучше умереть, чем сказать!» — сказал сам себе Сливин, и еще больше согнулась его длинная фигура, вытянулся нос и опустела душа. В доме все уже было убрано и, хотя мебель оставалась на местах, сразу как-то опустело и похолодело. И окна без гардин, и мебель в чехлах, и разнокалиберная посуда на столе, вместо всегдашней ровно и весело подобранной, говорили о тревоге и страхе в мире всегдашнего мирного уюта.

Маленькая старушка, с заплаканными недоумевающими глазами, встретила Сливина таким взглядом, как будто он мог чем-то помочь ей и все устроить иначе. Но, увидев его унылую фигуру и неуверенные медлительные движения, старушка только вздохнула и спросила:

— Виталий Федорович, вы с нами чайку напьетесь? Сливину как-то не приходило в голову, что чай можно пить и теперь, как всегда. Он удивился.

— Чай? Я, право!.. я, собственно, чаю не хочу... Хотя-я... Он нерешительно пожал плечами, покраснел и неловко сел, одной рукой беря стакан, а другой придвигая булки.

— Ах вы, «хотя-хотя»! — передразнила его Зиночка со слезами на глазах.

— Может, еще выпьете? — добродушно спросила старушка, когда Сливин, смущаясь и торопясь и оттого хлюпая, как теленок, допил стакан.

— Я... — начал было Сливин, но поймал насмешливый взгляд Зиночки и поперхнулся начатым возражением, смиренно принимаясь за новый стакан.

Со двора встрепанный и встревоженный еще больше торопливо прибежал старый Зек.

— Ну, господа, нечего тут... скорее, скорее!.. — суетясь, закричал он, быстро надевая пальто и не попадая в рукава. — Уже весь город двинулся... Говорят, скоро не будут пускать на вокзал... Какой тут чай, помилуйте! — с раздражением закричал он на Сливина.

— Да ему-то что!.. ведь он остается, — сердито отозвалась Зиночка, подвигая Сливину сливки.

— Да... — спохватился Зек и минуту постоял, растерявшись. Он совершенно забыл, что не все бегут из города, и сразу никак не мог ясно воспринять этого. У него мелькнула жалостливая и наставительная мысль что-то сказать Сливину, выяснить ему все безумство и риск пребывания в городе, сказать, что вот он, старик, и то боится за свою жизнь, а у Сливина она вся еще впереди, но маленькая, воробьиная злость вдруг охватила его.

«Ну и дурак! — подумал он. — Сумасшествуют... мальчишки!.. Ну и пусть гибнут, им же хуже».

Он сердито махнул рукой и выбежал, старчески семеня ногами.

Сливин привстал, сконфуженно и удивленно посмотрел ему вслед, именно на эти семенящие ноги, и у него мелькнуло в голове с каким-то наивным сожалением:

«И чего ему... все равно уж далеко от смерти не убежит?»

Но он сейчас же смутился неделикатности своей мысли и заторопился.

— Я вас еще провожу... а то, может, там, на вокзале, что-нибудь...

— Непременно... — опять со слезами на глазах согласилась Зиночка. VII

Было уже совсем утро, и поезд убежал от города по солнечным, сверкающим от росы лугам. Зиночка, заплаканная и ошеломленная, затолканная со всех сторон, совершенно сбита с

толку той отчаянной борьбой, которую только что вело за места в поезде сбесившееся от страха человеческое стадо, стояла на площадке, притиснутая к самому ее краю спинами и узлами. В первое время почти все молчали, и странно было видеть эти сдавленные, потные кучи людей, с растерянными, округленными глазами, бешено влекомых в зеленых, синих и желтых тесных ящиках по нежно-зеленым свободным полям, радостно озаренным прозрачным утренним солнцем, как будто вздрагивающим от счастья в волнах легкого, чистого воздуха и весело убегающим назад к оставленному городу.

Зиночка, не спуская глаз, смотрела на скрывающиеся за горизонтом пестрые крыши и трубы, главы церквей, блестящих, как звезды, и запыленные зеленоватые купола пригородных садов. Ей было и стыдно, и противно и в себе самой, и во всех окружающих, что они бегут оттуда.

«Какая гадость! — думала она. — Ведь там будут погибать не для себя, а за всех, за нас... для всех этих идиотов, которые, выпуча глаза, бегут куда попало... А те, милые, несчастные!..»

Ей ярко и широко, в картинных и величественных силуэтах, точно в громадной туманной панораме, представились эти люди, которые не побежали перед страшной смертью и там, на улицах, покрытых дымом и кровью, застроенных мрачными и прекрасными баррикадами, точно навороченными из земли, камня и железа руками гигантов, стоят и ждут смерти.

Все, кого она знала, мелькнули перед нею, и их бледные образы были и страдальчески, и прекрасны. Она вся вздрогнула и побледнела: ей нарисовалась какая-то груда камней, дым, огонь и треск выстрелов и бледная, мертвая, прекрасная голова, такая дорогая, единственная, что душа облилась кровью.

— Что я сделала?.. Как пустила, как оставила его одного? Страшно вздрогнуло и сжалось сердце, белый туман покрыл глаза, и вся она ослабела, как будто падая в пропасть.

— Не может быть, не может... Это слишком ужасно!..

И с ужасом, всю силу смятенной души отгоняя страшный образ, Зиночка перебросилась мыслью к Сливиному, и ей стало и легче, и жальче, и не смертельная бледность ужаса, а грустные, почти материнские слезы показались на глазах.

«Бедный Сливин!.. — подумала она, грустно улыбаясь его длинному, такому смешному и такому милому образу. — Может быть, и его убьют?..»

И она вспомнила с болью, как необдуманно и легкомысленно стыдила его на вокзале, заметив его растерянность и страх.

Бешеная суeta бегущих, по большинству сытых, приличных и хорошо одетых людей, яркое утро, ряды отряда дружинников, прошедших мимо вокзала, когда они подъезжали, гул и шум, рев паровозов и красные флаги, которые показались далеко в конце большой улицы и долго торжественно и загадочно колыхались там над синеющей вдали толпой, — все это возбудило ее, наполнило ощущением грандиозности, торжественности и силы, и вид унылого, бледного Сливина раздражал ее.

— Стыдитесь, вы!.. Если бы я была мужчиной, я бы не кисла, как вы!.. — блестя глазами и вся розовея от нахлынувшего подъема, говорила ему Зиночка.

— Я, право... — краснея до слез и нелепо разводя длинными руками, бормотал Сливин. — Если бы вы знали, Зиночка, какой я трус... Вот еще ничего не видно, может быть, еще ничего не будет, а у меня сердце все время дрожит... Проклятый трус!.. — вдруг прибавил он неожиданно с искаженным, покрытым пятнами лицом и стиснутыми зубами.

Он всегда был с Зиной так откровенен, как ни с кем другим, и именно ей сказать это было для него и невыносимо мучительно, и болезненно приятно.

«Видишь, от тебя я даже этого не скрываю», — как будто хотел он сказать...

— Эх, вы!.. — жестко отозвалась Зинка.

Он весь осунулся и побледнел, и теперь ей было невыносимо жаль, что она его тогда так обидела...

«А его, может быть, убьют... — опять подумала она. — Именно его и должны убить... нелепый он какой-то, жалкий...»

И ей стало больно думать и о Сливине, и она стала стараться думать о тех людях, которые здесь, на поезде, осмотрела их и почувствовала ненависть и презрение.

— Зинка, ты там не упадешь?.. — спрашивал через спины и головы других стиснутый в самом входе вагона старый Зек, поймав ее помутившийся взгляд и истолковав его так, как он сам чувствовал себя в эту минуту. Он был весь красный и потный, точно только что выскочивший из бани, но уже начинал успокаиваться и приходить в себя в радостной мысли, что и он, и жена, и дочь спасены.

Зинка не ответила ему.

«Другая на моем месте осталась бы!» — с обидным и горьким укором за то, что не могла нанести этот удар отцу и матери и поехала-таки с ними, подумала она. И бессознательно прислушавшись к словам отца, почувствовала какое-то странное ожесточение: ей вдруг захотелось и в самом деле упасть, броситься прямо на рельсы, чтобы доказать всем этим дрожащим, как скоты, над жизнью людей, что не так уж драгоценна эта жизнь, что есть и такие, которые не пойдут из-за нее на трусость, унижение, на позорное бегство. Зинка крепко стиснула зубы, так что на нежных округлых щеках выступили розовые скулы, и, наклонившись над пустотой пролета между вагонами, взглянула вниз на рельсы, сплошной белой полосой струившиеся из-под вагона.

«Броситься!.. Вот возьму и брошусь», — мелькнуло у нее в голове.

Две мягкие пушистые косы через плечи свесились вниз, площадка колыхалась, точно ускользая из-под ног, но маленькие ручки крепко держались за холодную железную палку, и было страшно смотреть. Изогнувшись гибкой спиной и выпуклой грудью, она сделала движение, какое делает падающая кошка, и выпрямилась.

Мимо замелькала березовая роща, тихая и белая, как ряды чистых и юных невест, замерших в ожидании.

В разгоряченное лицо повеяло сырой прохладой и запахом мокрой травы и коры, а потом опять побежали назад луга и дороги, освещенные солнцем.

В нервно-дрожащей молодой груди запеклось бессильное, тоскливое раздражение.

А в вагоне уже стали успокаиваться и слышались голоса, еще возбужденные, но уже звучащие нотками удовольствия сознания избегнутой, но все-таки, как-никак, а испытанной опасности. Все устроились и разместились, и оказалось даже просторно, точно толпа растаяла. Старый Зек снял шляпу и вытирал потное, красное лицо. Он довольно улыбнулся Зинке.

— Ну, теперь все слава Богу... Дома жалко, ну, да Бог с ним... Пока поживем на даче, а там видно будет...

— Почему вы думаете, папа, что непременно в «ваш» дом попадут? — сухо и зло спросила Зиночка, глядя в сторону.

Зек понял подчеркивание и обиделся. В нем вдруг возмутилось все его воробьиное право на свою жизнь.

«Эта молодежь теперь думает, что она только и живет честно, как следует, оттого, что лезет на рожон... Кого они хотят этим удивить? Все это и мы переживали... знаем... К чему этот фарс мальчишеский?..»

— Почему же это «ваш»? — вызывающе-сердито спросил он. — Это такой же мой дом, как и твой...

— А потому... — с внезапными слезами в голосе, не помня, что говорит, ответила Зиночка, — что это подло!.. бежать!.. гадость!..

Зек вспыхнул. Стоявшие на площадке толстый лощеный господин в серой шляпе и старый человек, похожий на заморенного долголетней работой рабочего, прислушались к разговору. Толстая старая купчиха, с глупым ужасом в заплывших глазах, уставилась на Зиночку.

— А по-моему, подлость и гадость подвергать жизнь других людей опасности из-за своих бессмысленных мечтаний! — краснея кирпичным цветом и раздраженно выталкивая крикливые слова, повысил голос Зек.

— Папа! — возмущенно, как будто ее ударили, вскрикнула Зиночка.

— И совершенно правильно, — как бы в сторону, не глядя на них, пробормотал господин в серой шляпе.

— Чего вы ломаетесь? — продолжал старый Зек, все более и более раздражаясь и чувствуя, что не может чего-то доказать, без чего все-таки в глубине души скверно. — И будьте вы искренни... к чему эти фразы?.. И вам жить хочется, и вы такие же люди, как и мы... Это все позы... Как же, герои!.. Кого вы этим удивить хотите?..

— Однако мы остаемся же!.. — горячо крикнула Зиночка. — Позы иногда кончаются смертью, а это уже не позы.

— Какие отчаянные!.. — с искренней жалостью охнула купчиха.

— Не все и умирают-с!.. — вдруг откровенно и нагло повернувшись и зло усмехаясь, заметил господин в серой шляпе. — Ведь вот вы же не остаетесь!..

Зиночка покраснела и растерянно взглянула сначала на него, потом на отца.

— Я!..

Зек вспыхнул, но промолчал.

«Пусть, пусть... это ей уроком будет», — подумал он и обижаясь за дочь, и озлобленно довольный.

— Простите, ваша милость, конечно, оно так, что которые ломаются, — отозвался старый рабочий.

— Я там ничего не могу сделать... — пробормотала Зиночка умоляюще.

— Так нечего и громкие фразы говорить, — пробормотал Зек, уже жалея ее и раскаиваясь в своей жестокости.

— Простите, ваша милость, конечно, нечего! — опять отозвался рабочий. — Говорят, говорят, простите, по молодости... а расплачиваться, простите, приходится нам...

— Вам-то стыдно так говорить... — опять загораясь, возразила Зиночка. — За вас же больше всего и идут... вам же лучше хотят... И вам не бежать от товарищей надо, а быть там, с ними...

Рабочий снисходительно посмотрел на нее сверху.

— Нет, уж простите, ваша милость, на это мы не согласны. Мы, простите, прекрасно понимаем, что это для нас делается, но жизни своей, простите, каждому жаль... хоть барышне, хоть рабочему человеку...

— Да ведь... жизнь у вас тяжелая, вы... чем занимаетесь?

— Мы на цинковом заводе, простите, работаем.

— Вот видите, на цинковом! — наивно обрадовавшись повороту разговора, сказала Зиночка, доверчиво глядя в глаза рабочему. — Я слыхала, что там самые ужасные условия труда.

— Это, простите, ваша милость, верно... Мало кто и выживет... — вздохнул рабочий, и по его испитому желтому лицу скользнуло что-то грустное и задумчивое.

— Ну, вот видите... — заторопилась Зиночка. — Чего же вам жалеть?.. в крайнем случае, чем смерть хуже такой жизни?

— А вы, простите, ваша милость, об этом рассуждать не можете, — вдруг меняясь в лице и зло скашивая обиженные глаза с красными воспаленными веками, резко проговорил рабочий.

— Почему же? — растерявшись, спросила Зиночка.

— А потому... Вы, простите, разума еще не имеете... жить нам не менее вашего хочется... Вы, простите, ваша милость, по молодости лет не знаете, что говорите...

Голос у него был полон злобной и непонятной обиды. Толстый господин торжествующе засмеялся и оглянулся на Зиночку.

— Ну, ты, любезный, потише... — крикнул Зек.

Рабочий хмуро оглянулся на него, но промолчал и только пошевелил тонкими, иссохшими от цинка челюстями.

Зиночка, как побитая кошечка, украдкой пробралась к отцу и испуганно оглядывалась на рабочего. Купчихе стало жаль ее, она вся рассиропилась и, скрестив руки на пухлом животе, жалостливо пропела:

— Вы, барышня, не обижайтесь... Ну, что же, им, конечно, лучше известно, мы, бабы, глупые... не наше это дело...

— А ты зачем барышню обидел? — с внезапной укоризной сказала она рабочему и покачала головой. — Жалости в тебе нет..

— Я, простите, ваша милость, что ж... — совсем другим голосом, вдруг ласково взглядывая на Зиночку, сказал рабочий. — Мне только, простите, ваша милость, обидно показалось, что барышня нас, простых людей, словно и за людей не считает... Чай, мы, простите, тоже люди.

— Вы меня не поняли... — тихо пробормотала Зиночка.

— Может, и не понял... Мы, простите, ваша милость, люди темные! — вздохнул рабочий и стал смотреть на поле.

Зиночка мало-помалу успокоилась и задумалась, тоже глядя на поле. Опять замелькали перед нею лица Кончаева, Сливина и доктора Лавренко. Массы народа, красные знамена понесли перед ней, и опять стало расти что-то грандиозное, туманное, и мрачное, и прекрасное. И даже жертвы рисовались ей только в прекрасных образах, полных трагизма, но как-то и без смерти, и без страданий.

На даче она пошла в сад, от которого за зиму отвыкла, села на лавочку под кленом, где еще пахло прошлогодними сухими листьями, и этот запах грустно напоминал об осени, и до самого вечера сидела, глядя в темнеющее небо, сквозь тоненькие веточки клена, на первые звезды. Ей хотелось восторженно стать перед кем-то на колени и отдать беззаветно и всецело всю свою молодую жизнь с красотой, ласками, волей и покорным телом. VIII

Небо было синее-синее, и на нем отчетливо белели залитые весенним солнцем дома, крыши и башни города, пестревшего над зелеными скатами берегового парка и бульваров. Сверху из города было видно такое же синее море, и железный броненосец далеко и одиноко блестел среди его синевы. Все было полно великой радости солнца и дня, все было полно воздуха и яркого света, тени были голубые и прозрачные, все краски яркие и чисты, и казалось, что кроме ярко-синего, розового и белого цветов нет ничего, и все ослепительно красиво, ярко и свежо.

Но когда Кончаев оставил на бульваре отряд Лавренко с его красными крестами на белых повязках, носилками и каретками и спустился вниз, все разом изменилось.

Внизу была черная, пыльная и потная толпа. Он сразу окунулся и утонул в ее сплошной крутящейся массе, палимой горячим солнцем и окутанной тяжелой горячей пылью. Одну секунду ему показалось, что движется все: и приземистые красные пакгаузы, и мачты судов, и телеграфные столбы, и люди. Ослепительно блестящая под солнцем мостовая исчезла, растаяла в черной возбужденной и многоголовой массе.

— Мать честная, народу что навалило! — пронзительно закричал над самым ухом Кончаева пронзительный молодой голос.

Вокруг стоял сплошной тяжкий топот и яркий пестрый гул человеческих голосов, в котором неслышно тонули пронзительные гудки паровозов, все еще ходивших где-то недалеко. Вблизи кричали отдельными голосами и видны были человеческие лица с разными выражениями, а дальше все сливалось, гудело, волнообразно подымаясь и затихая, жутко и весело. Одно за другим десятки, сотни и тысячи красных запотелых лиц мелькали мимо Кончаева, кричали, смеялись, ругались и куда-то спешили, точно боясь опоздать на какое-то великое зрелище.

— Кончаев! Кончаев! — кричал кто-то, пробираясь к нему из толпы, и Кончаев увидел знакомого атлета — Эттингера, рыжего и тяжелого человека, с веселым и тупым лицом могучего зверя.

— Вы что тут делаете, Геркулес? — весело спросил Кончаев, сбивая шапку на затылок уже запотелого красного лица. — Ну и жарко... — сказал он, возбужденно оглядываясь по сторонам.

— Вы погодите, еще жарче будет, — беззаботно ответил атлет, проталкиваясь сквозь толпу.

Кончаев хотел что-то сказать, но сам не услышал своего голоса в нарастающем гомоне, свисте и крике. Атлет шел впереди, огромными выпуклыми плечами буравя толпу, а Кончаев, быстро и ловко изгибаясь, как молодой окунь в камышах, пробирался за ним. И в эту минуту

было так легко и весело, что вспомнилось, как когда-то, еще когда он был мальчишкой-гимназистом, в их городке носили икону, и весело торжественный крестный ход беззаботно увлекал его в своем возбужденном могучем движении.

Они повернули под столбами эспланады, где была короткая тень и пахло сыростью подвала, где звуки шагов и голосов отдавались гулким, сплошным эхом, и вышли на набережную. Тут было тише, и толпа двигалась медленнее, было уже слышно, что где-то вблизи море, и влажный запах его свежо веял сквозь зной, запах толпы и сухую горячую пыль.

Здесь Кончаев и Эттингер остановились, перевели дух и стали слышать, что говорили люди вокруг. Тут были и молодые, и старые, и подростки, и мужчины, и женщины, но все это была рабочая, серая, пыльная масса. По отдельным словам, вырывающимся из общего шума, было слышно, что одни говорят, будто ночью перебили все высшее начальство, другие — что ночью пришел манифест и всему конец, третьи — что солдаты перешли на сторону народа и будет большое сражение, а броненосец будет стрелять по графскому дворцу, четвертые просто спрашивали и передавали какие-то мелкие слухи, но общий тон говорил внятно, широким и свободным языком о том, что в жизни всех этих людей что-то круто и резко изменилось, как будто спала огромная глухая тяжесть, и сразу засверкало солнце, задул с моря свободный ветер, и все заговорили и задвигались впервые.

Так была огромна толпа и так могуществен ее живой гул, что Кончаеву вдруг показалась совершенно невозможной мысль о том, что кучка людей, с ружьями и офицерами, может врезаться в эту плотную необъятную массу, просверлить ее, разогнать и избить, не погибнув сама на первых же шагах, как гибнет тоненькая березовая роща под напором неудержимо несущейся с гор лавины.

Он хотел сказать об этом Эттингеру, но не сказал, а только улыбнулся ему, молчаливо говоря глазами и улыбкой:

— А что, каково?.. Сила-то какая!..

Кучка разного народу вдруг вынырнула из-за угла пакгауза и кинулась в толпу, чуть не сбив Кончаева с ног.

— Казаки, казаки!.. — испуганно закричали десятки пронзительных голосов.

Кончаев с неприятным толчком в сердце, инстинктивно сунув руку в карман за револьвером, быстро оглянулся и увидел солдат.

Они сидели высоко над толпой на одинаковых лошадях, чутко прядущих острыми ушами и косящихся на толпу большими черными глазами, в которых было непонятное внимательное выражение. Солдаты сидели неподвижно, в одинаковых уверенных позах, все в серых шинелях, плотно накрест прохваченных белыми ремнями. За спинами у них торчали тонкие дула ружей. Кончаев со странным любопытством заглянул им в лица, но, казалось, в них не было никакого выражения и никакой своей жизни, а вместо глаз были только узкие тупые щелочки, ничего не видящие перед собой. Приплюснутые толстые носы смотрели вверх толпы, и грубые, рябоватые лица медленно, как у мертвых кукол, поворачивались из стороны в сторону.

С внезапным омерзением и острым, ярким гневом Кончаев обернулся к толпе.

— Стойте, товарищи!.. — крикнул он, заглушая все звуки молодым звонким голосом. — Не бойтесь, они не смеют нас тронуть...

— Известно, теперь шабаш!.. — крикнул кто-то с мрачным лицом, и Кончаев улыбнулся этому лицу, как другу.

Но люди или пугливо жались на месте, или бежали назад с выпученными бессмысленными глазами. Эттингер, широко расставив руки, задержал несколько человек.

— Чего вы бежите?.. черт! — кричал он озлобленно. Тогда стали останавливаться, конфузливо и робко оглядываясь на казаков.

«Какие же все жалкие, бледные лица...» — с глубоким стыдом подумал Кончаев и, крепко сжав зубы, бледный и сосредоточенный, пошел прямо на солдат. В эту секунду он вдруг отделился от всего мира и стал один.

«Вот оно!..» — глухо и напряженно повторяло что-то внутри него.

Но казаки вдруг тронули лошадей, заколыхались на седлах и, подымая пыль, звеня и поблескивая на солнце, рысью поскакали назад по набережной.

— Фью!.. го-го-го!.. — пронесся общий торжествующий крик, и все вновь ожило и зашумело.

— Экая дрянь!.. — вдруг сказал Эттингер, и его неумное, с низким морщинистым лбом лицо выразило презрение и гадливость. — Пойдемте дальше... Ну их к черту!..

Кончаев растерянно улыбался, дышал тяжело, и видно было, что он чего-то не понимает.

Потом они пошли дальше, быстро проталкиваясь в движущейся толпе и прислушиваясь к отдельным крикам, словам и немногоголосому пению, вспыхивающему то здесь, то там.

Качаясь, прошел совершенно пьяный матрос, тяжело и упрямо ругаясь матерными словами. В нем что-то поразило Кончаева, казалось, он уже где-то видел его, этого самого матроса, такого же пьяного и тяжело ругающегося, растерзанного, растрепанного. Мысль о том, что и в эти дни, как и всегда, люди остаются такими же, какими были, мелькнула у него в голове, но сам он был так напряжен, радостен и готов на все, что она не удержалась и растаяла во вновь нахлынувшем, молодом, радостно жутком чувстве возбуждения.

У пакаузов стояли дружинники с красными повязками на руках, и их молодые лица были так же возбуждены и радостны, как у Кончаева. Они чувствовали себя теперь господами жизни и оттого старались и действительно были оживленными, добрыми, на все и для всех готовыми.

Около одного из амбаров несколько десятков людей, ныряя в темные его ворота, вновь появлялись на свет с деревянными ящиками на плечах и волокли их к набережной.

— Это что, товарищ? — спросил Кончаев у студента с красной повязкой.

— По приказанию комитета водку в море выбрасываем, — весело и точно сообщая огромную радость, сказал студент. — А то, знаете, перепьются... — дружелюбно, как будто советуясь с хорошим знакомым, прибавил он.

— Да, да!.. — отвечал Кончаев тоже радостно и дружелюбно.

Желтые тяжелые ящики с зелеными билетиками неуклюже переворачивали через каменный барьер сначала медленно, как будто нерешительно, потом быстро и быстро переворачивали в воздухе и стремглав бухали в зеленую колышущуюся массу воды. На мгновение поднимался белый, сверкающий на солнце столб пены, покрывая ящик белым узором, и он исчезал в зеленой взволнованной глубине. Это было красиво, и оттого еще радостнее становилось на душе.

Один из ящиков зацепился за уступ над водой и с треском расселся по швам. Посыпались и забулькали в пенное кружево хорошенькие белые бутылочки.

— Эх, эх... — с сожалением крикнул кто-то из толпы, инстинктивно порываясь к воде.

Но вся толпа оглушительно и весело закричала:

— Ура... ра...

И почувствовалось, точно все эти люди, оборванные, вечно пьяные, вдруг что-то сбросили с плеч и празднуют какую-то победу.

— Как все-таки свобода облагораживает, — счастливо заметил Кончаев, с торжеством оглядываясь на Эттингера.

Опять переворачивались и бухали в воду тяжелые ящики, но уже никто не охал, и даже небритый, в рваных опорах старик скалил свой беззубый обтянутый рот пьяницы.

Кончаев повернул на мол, и сразу стало свободнее и чище. Толпа тут была как бы другая. Кончаев оглянулся на город. Он высоко возвышался над красными крышами порта. Еще выше были синее небо и белые облака.

На конце мола открылось свободное, властно широкое море, все так же, по своему неведомому закону, неустанно и спокойно несущее на берег зеленые и голубые волны, вспененные свежим ветром. Далеко в море рождалась волна и, прозрачная, голубая, росла и росла, покрываясь чистой белой пеной. А на месте ее рождалась уже другая, и так, без конца и начала, бежали они под небом, гульливые и бесследные, как мечты о человеческом счастье.

Тут, на фоне этой широты и простора, стоял высокий помост и на нем, неподвижно и величаво, лежал труп человека в матросской, окровавленной на груди рубахе с босыми, желтыми, как воск, сухими ногами.

Десятки и сотни людей, внезапно принимавших одно общее, молчаливое и серьезное выражение, подходили к нему и смотрели в лицо, а мертвец неподвижно лежал на белом возвышении, и его желтый мертвый профиль сурово и загадочно смотрел в синее-синее небо, где плыли белые облака.

Многие, очевидно, не знали, в чем дело, но смотрели серьезно и вдумчиво, бессознательно чувствуя, что тут, возле этого безгласного трупа, сосредоточена, какая-то величавая трагедия.

Кончаев долго и пристально смотрел в это мертвое, высохшее и скорбное лицо, и странные, смутные мысли тихо бродили в его голове. Казалось, что мертвец видит и слышит все, что делается вокруг него, и что не может быть, чтобы этот гул, эта многотысячная, живая и любопытная толпа, это синее небо и белые облака потеряли всякую связь с ним и он был бы сам по себе, один среди ликующего солнечного мира.

Как-то больно было даже думать это, и от такой мысли нарождалось какое-то смутное и тупое равнодушие. Казалось, все стихало вокруг, бледнели голоса, тускнели солнечные краски, и душа становилась одинокой и тревожной, как перед неразрешимой, трагической загадкой.

— Вот она — первая жертва! — сказал Эттингер у самого его уха. — Сколько их будет к вечеру?

«Это ужасно!» — подумал Кончаев.

«Что же делать», — твердо ответил он себе.

Синело небо, белели облака, и видное отсюда море голубело и подносило к самому молу

голубовато-зеленые прозрачные волны. Далеко там, на синем просторе, точно предвещающее грозу облако в синем небе, неподвижно и загадочно темнел броненосец.

Толпа приходила и уходила, и все новые и новые лица мелькали в глазах.

И вдруг кто-то дико и грубо закричал. Мгновенное злое и тревожное движение поднялось и улеглось. Кончаев оглянулся.

Шагах в десяти виднелся белый китель и красное солдатское лицо.

— Ишь ты, городовик! — удивился какой-то мастеровой с забеленным известкой лицом.

— Откуда принесло?

— Не попрятались, черти! — отозвался человек в синей порванной рубахе с узким злоеющим лбом.

Городовой смотрел сонно и сердито, и видно было, что он ничего не понимал. Его рыжие усы топорщились, и глаза пучились на толпу.

— Ты у меня смотри! — кричал он на кого-то, замахиваясь ножнами шашки.

Человек в синей рубахе выдвинулся из толпы и кошачьими мелкими шагами подошел к нему.

— Ты шапку-то сними... не видишь, покойник лежит... — тихо и внятно проговорил он.

И Кончаеву было видно, как странно и злое втянулась его черная голова в широкие синие плечи.

— А ты мне что за указ?.. Проходи!.. — злобно закричал городовой, шагая ему навстречу.

И сейчас же, точно прикованные, сзади выдвинулись за ним несколько человек. Городовой почувствовал их и оглянулся.

Холод прошел по всему телу Кончаева.

«Убьют!..» — красной молнией пронеслось у него в голове. И странное, невыносимо напряженное и в то же время неудержимо любопытное чувство охватило его: казалось совершенно невозможным, непереносимым, чтобы здесь, сейчас, под солнечным светом, в присутствии его, Кончаева, убили человека; казалось совершенно ненужным, несоответствующим и помрачающим до падения все великое дело дня; казалось, что если это произойдет, то с ним случится что-то невообразимо ужасное, не выдержит мозг... И в то же время хотелось, чтобы убили и чтобы все видеть, не пропустить ни одного мгновения, ни одной мелочи и никогда не забыть.

И в то мгновение, когда городовой оглянулся, точно именно этого и нужно было, подкрадывавшийся, как кошка, человек в синей разорванной рубахе вдруг очертя голову кинулся на него и, впившись руками, дернул книзу, подпрыгнул, и оба рухнули на землю, поднимая пыль.

И как будто откуда-то хлынула волна мутной, захлестнувшей злобы и бешенства, толпа подалась вперед, поднялась, точно передних выжали кверху, и безумно копошащейся кучей тел, рук, голов и воспалившихся бешеных глаз обрушилась вниз на городского и человека в синей рубахе.

— А, ты так... Бей!.. Хррр!.. По башке его!.. Нашего, нашего не тронь! А-ах ты!.. — слышались короткие и так неестественно и злое изменившиеся голоса, что холод

ужаса и омерзения наполнил душу Кончаева.

Он вдруг сразу как-то весь ослабел и как будто его затошнило странной мозговой тошнотой. Было одно короткое мгновение как бы отупелого беспамятства, а потом он вдруг увидел между переплетенными руками и ногами нечеловеческое кровавое лицо с кровавыми дырами вместо глаз и голый живот между синими штанами и белыми клочьями окровавленного, вздернутого на подбородок кителя. Это было одно мгновение, но то самое ужасное, что было в этом безглазом, кровавом лице и голом втянутом животе, как молния врезалось в глаза Кончаева; это было все еще очевидное выражение живого безумного ужаса и отчаянной, точно она еще могла чему-нибудь помочь, борьбы.

— В море его!.. кидай, черт!.. в воду!.. — рычало что-то вокруг Кончаева. И вдруг над толпой, над головами и вытянутыми руками, метнулись две ноги, и тяжелое тело, неуклюже шлепнувшись о каменный парапет, хряснуло разбитым черепом, перевернулось, ошлепнуло кровью камень и бухнулось вниз, как живое, взмахнув руками. Раздался тяжелый всплеск, белое кружево каскадом взметнулось над зеленоватыми волнами и с плеском и ропотом разбежалось кругами, беспokoйно плескаясь о камни мола.

Прошло несколько минут. Волны уже успокоились, толпа торопливо и молча перемещалась у парапета, с тревожным любопытством заглядывая вниз. Прибывали новые толпы, и вновь рос веселый, жуткий и свободный гул, а Кончаев все не мог опомниться, трясся всем телом и безумно водил глазами вокруг, тщетно стараясь овладеть собой. Эттингер был бледен и бледно улыбался, растерянно шевеля пальцами и оглядываясь на окружающие лица.

— Товарищи! — раздался от забытого мертвеца на помосте твердый и новый голос. Молодой человек, похожий на актера, с бритым и холодно-решительным лицом, заложив руки за спину и почему-то сняв шляпу и подняв воротник пальто, стоял на ящике в головах у мертвеца. Он стоял спокойно и твердо, как на трибуне, и голос его звучал уверенно. — Настал последний день борьбы, если вы хотите отныне жить не как скоты, быть людьми и гражданами, помните, что воля в ваших руках... Никто и никогда не может владеть человеческой жизнью, если сам человек не отдаст ее в рабство... Нет господ, есть только рабы! У нас два выбора: или смерть за свободу, за жизнь, или рабство, то есть та же смерть... Какая же из двух смертей лучше, товарищи?!

Он круто дернул подбородком кверху и сделал круглые вызывающие глаза. И как будто набежала какая-то волна, ужасающий гул почуявшего свободу зверя торжествующе и радостно потряс воздух. Все двигалось возбужденно и быстро, точно целые толпы стремительно бежали куда-то, налетая друг на друга и сшибаясь в бессмысленном водовороте, и посреди этого гула и движения тонкий, молчаливый профиль мертвеца отчетливо чеканился в синем небе, казалось навеки сохраняя выражение неуловимой таинственной иронии.

Кончаев узнал оратора и махнул ему рукой.

Над трупом появился другой человек, и опять одиноко, отчетливо и понятно зазвучал человеческий голос среди бессловного стихийного рева, а человек с актерским холодным лицом спустился с помоста и подошел к Кончаеву, которого быстро отыскивали его холодные пронзительные глаза.

— Ну, мы едем?.. — спросил его Кончаев.

— Да, тут будут говорить другие... — спокойно и как будто равнодушно, точно передавая обычную работу, сказал он. — В три часа назначен срок генерал-губернатору, и надо поговорить с Дрейером и Бутмановым... Едем!..

Он посмотрел на то место, где тысячи ног еще не успели затоптать в пыль грязные, кровавые

пятна, и равнодушно отвернулся.

— Это ужасно! — показывая глазами, сказал Кончаев, и его красивое, молодое лицо судорожно передернулось.

Серые металлические глаза холодно смотрели ему в лицо.

— Что ж тут ужасного?.. Без жертв нельзя, к тому же эта жертва совершенно случайная.

Кончаев вдруг почувствовал к нему холодную ненависть.

— Вы так спокойно говорите об этом, что... какую же роль играет у вас у всех борьба за общее счастье?..

— То есть? — холодно спросил человек в пальто, слегка откидывая назад голову, как будто для того, чтобы лучше разглядеть Кончаева.

— То есть?.. — все больше и больше возбуждаясь и чувствуя невыносимую потребность во что-нибудь вылить то острое, кошмарное страдание, которое с физической дрожью и тошнотой все еще наполняло его тело, крикнул Кончаев. — Вы готовы даже и без крайней надобности убивать одних во имя счастья других... Тогда почему же не наоборот? — бледнея, добавил он тихо и невнятно, пугаясь своих слов.

— Дело пока не в общем счастье... — так же холодно ответил человек в пальто. — А в самой борьбе, воспитывающей человечество. Важно не существование человека вообще, а его индивидуальная ценность... Что такое этот городской? Здесь не место спорить! Вам надо ехать, я передаю вам приказание, товарищ... — с напоминающим выражением оборвал он. — Придите в себя! Нас ждут.

И вдруг Кончаеву стало мучительно стыдно за свое малодушие и стыдно того, что ему стыдно своего настоящего чувства. И это сложное ощущение дало ему возможность освободиться от кошмара и опомниться.

— Я знаю! — сердито и немножко по-мальчишески ответил он.

Уходя и проталкиваясь сквозь толпу, он еще раз оглянулся на то место, где только что убили человека, но там уже ничего не было, кроме пыли, попираемой сотнями человеческих ног. IX

Пристань осталась назади, и между нею и белым катером, суетливо режущим белую пену зеленых волн, колыхалось море и становилось все шире и шире. И с каждым мгновением гул толпы становился все тише и тише и замирал вдали. Еще видно было движение, но уже не было ни лиц, ни людей, а одно пестрое, солнечное пятно набережной, города и зеленых бульваров.

Кончаев снял шапку и отер потный горячий лоб, в висках которого мучительно билась как будто сгустившаяся кровь. Он поднял глаза к небу и с удивлением, точно никак нельзя было ожидать этого, увидел синее далекое и свободное небо, такое же спокойное и прекрасно-задумчивое, как и всегда. В ушах еще стоял пестро-яркий гул, мелькали перед глазами возбужденные лица, и в то же время вокруг было уже совершенно тихо, и только радостно журчала прозрачная зеленая вода, облизывая белые борта катера, грело и светило солнце и синело небо. Город был уже далеко, и теперь видно было, как он мал и игрушечен посреди моря, неба и зеленеющей земли.

Броненосец вырастал из волн и, серый, загадочно неподвижный, как-то странно подавлял душу среди этого блеска, простора, света и непрестанного беззаботно-могучего волнения волн. Он все рос и рос и, наконец, заслонил небо подавляющим силуэтом, с непонятно стройным хаосом труб, мачт, башен, канатов и цепей.

Катер, пыхтя и, как маленькое сердитое живое существо расплескивая воду, пристал к могучему, точно железная стена, борту, и Кончаев взобрался по трапу за человеком в пальто, карабкавшимся вверх с ловкостью и решительностью обезьяны. Кучка матросов в белых рубашках, синие воротники которых бойко трепал ветер, смотрела на них сверху, и среди них Кончаев в первый раз увидел лицом к лицу человека, имя которого было на устах у всех и произносилось с жутким и любопытным восторгом.

Это был очень худой и некрасивый морской офицер, с ненормальными, немножко сумасшедшими глазами, сутуловатый и грустный. Почему-то при взгляде на него всем приходило в голову, что он совсем не о том думает и не то знает, что другие...

Эта странная мысль пришла в голову Кончаеву, и с этого момента его стал мучить бессознательный вопрос: что же именно он знает и о чем думает?

На палубе, чистой и просторной, умилявшей своей простотой и сложностью, все было, казалось, так же тихо и обыденно, как и всегда. И как-то не верилось, что это тот самый железный корабль, на котором плыли люди, возбужденные до крайних для человека пределов, на котором недавно одни люди, отбивая свою жизнь, отнимали ее у других, с дикими криками, стонами, выстрелами и страшным запахом крови и пороха.

Человек в пальто, так точно, как там, в толпе сняв шляпу, заложив руки за спину и подняв воротник пальто, стоял в кучке белых с синим рубаш и громко говорил:

— Весь город в наших руках, и если вы разгромите дворец, то солдатам ничего не останется, как или выйти из города, или сдаться.

Кончаев с детским любопытством всматривался в лица матросов, этих героев, которые, как ему казалось, должны были переживать нечто совершенно особенное, удивительное и прекрасное. Но глаз не мог остановиться ни на одном лице. Это все были обыкновенные солдатские лица. Один, молоденький, белоусый, стоя сзади всех, напряженно слушал и наивно, по-детски шмыгал носом.

Кончаев бессознательно посмотрел через борт. Далеко за синей широкой полосой волнующейся воды, по которой играли ветреные белые барашки, виднелись туманный город и зеленые берега. Внезапно возникшее сознание, что те люди, которые всегда считали себя недостижимыми, в настоящую минуту действительно в руках этих молчаливых и простых матросов, несмотря на огромное расстояние, на воду, на батареи, стоявшие вокруг дворца, наполнило душу Кончаева небывалым подъемом, сопряженным с восторженной любовью к этим матросам, броненосцу и самым пушкам, молча и как будто сознательно смотревшим на берег.

Ему вдруг показалось, что он что-то понял, чего никогда раньше не понимал: что между этим шмыгающим носом мальчиком в белой рубашке, грозным броненосцем и судьбою человечества есть что-то общее — грустное, роковое и трогательное. Но что именно — в голове Кончаева не оформилось.

— Товарищ, идите сюда! — позвал его человек в пальто.

Кончаев очнулся. Они прошли по палубе, спустились по аккуратному, звеневшему сталью мостику и вошли в каюту. Человек в пальто был страшно бледен и возбужден, а те два, грустный офицер и высокий молодой и красивый матрос, тот самый, который поднял мятеж на броненосце, совершенно спокойны и молчаливы. С наивным любопытством восторженного мальчика Кончаев заглянул в его красивые глаза и ясно увидел и в них то же самое выражение, что у офицера: что они одни знают и думают.

Все стояли. Человек в пальто нервно дергал шеей и шевелил губами, точно хотел и не мог

высказаться.

— Я повторяю вам!.. — заговорил он. — Что вы впадаете в страшную ошибку... Если в бою не отнять у человека жизни, он ее сам отнимет у вас... Поймите, что тут гуманность совершенно неуместна... Война так война... Не мы вынудили на нее... Вам жалко человеческих жизней... Скажите пожалуйста!.. Что такое жизнь кучки вредных и жестоких людей в сравнении с тем...

— Что вы хотите?.. — перебил худой офицер, еще больше сутулясь и блестя ненормальными глазами. — Мы не можем взять на себя смерть, быть может, сотен людей... Человек имеет право защищать свою жизнь вплоть до лишения ее другого, но нападать первый прав он не имеет... Иначе чем же мы отличаемся от тех, на кого идем?..

— Это верно!.. — прибавил высокий матрос громким и ясным голосом. — При первой попытке войск перейти в наступление мы снесем все, как пыль, но нас, когда мы погибнем, никто не упрекнет в бесполезной жестокости...

— Ну, так знайте... — жестко и холодно возразил человек в пальто, — что вы губите все дело, потому что те люди, о которых вы говорите, не понимают ничего, кроме страха, и каждую минуту нашего колебания, как звери, принимают только за трусость и пользуются ею для собственных целей... Когда они начнут нападать, это будет значить, что они уже почувствовали свою силу...

Он замолчал, глядя в сторону. Лицо офицера явственно побледнело. Но глаза сохранили то же знающее особенное выражение...

— Слушайте, — сказал он. — Неужели вы думаете, что у нас хоть на один миг есть уверенность в том, что мы победим? Такой уверенности все равно нет... Мы просто идем на смерть... И в этом только — вся наша сила... Что такое пушки, что такое разгром города?.. Войска стянутся со всех сторон, и мы погибнем без воды и пищи... Мы идем на смерть, и только жизнь покажет, нужна ли была наша смерть...

Неизъяснимый восторг охватывал Кончаева молодой и горячей волной...

— И смертью смерть поправ!.. — туманно вспомнилось ему при последних словах этого грустного, обрекающего себя человека.

— Чем чище, тем самоотверженнее и безубийственнее будет наша смерть, тем сильнее будет удар, вы это понимаете?..

— Нет, я этого не понимаю, — холодно возразил человек в пальто. — Если бы я мог, я стер бы с лица земли до самой пыли все, что живет рабством!.. И, может быть, с моей стороны это была бы тоже жертва...

«Да, и это правда», — подумал Кончаев, и чистое чувство умиления, точно перед ним были не люди, а какие-то непонятные высшие существа, наполнило его душу...

— Каждый жертвует по-своему! — мягко глядя в лицо человеку в пальто, сказал офицер и протянул ему руку. — Не на нашей жизни кончится наше дело, а потому стоит ли говорить о том, так или иначе мы погибнем...

— Да... — вдруг с новым выражением, странным на его холодном бритом актерском лице, проговорил человек в пальто. — Но я должен был передать вам мнение комитета...

— Передайте комитету, — ответил офицер с непонятно могучим выражением своего тихого, слабого голоса, — что теперь, перед лицом смерти, мы повинемся только самим себе.

— Да!.. прощайте, товарищи!.. — грустно и тепло сказал человек в пальто.

Они пожали руки, прямо глядя в глаза друг другу, и так же попрощались с Кончаевым. На мгновение он почувствовал в своей руке слабые, тонкие пальцы офицера и сильную, твердую ладонь высокого матроса и видел их одинокие, что-то понявшие и знающие глаза.

И ему опять, но так же смутно, без слов показалось, что он понял, что именно они знают.

Катер быстро резал воду назад к городу, опять вокруг бежали встрепанные барашки, перескакивая с волны на волну, но теперь уменьшался и удалялся броненосец, а навстречу рос, пестрел и уже глухо шумел огромный город. X

Тем временем положение мало изменилось. Запутанный узел массы человеческих жизней распутывался медленно и тяжело, и еще не видно было его конца.

По-прежнему гудела, волнами приливая и отливая, возбужденная толпа. Она наполняла улицы города и лавинами скатывалась вниз в порт, производя впечатление вскопанного муравейника, когда откуда-то мириадами лезут черные массы встревоженных муравьев, и нельзя усмотреть, откуда они ползут, и неожиданно много кажется их.

Все это было так непривычно, и так очевидно было, что жизнь вывернута из своего русла, что ожидание грандиозных событий становилось уверенностью. И всех, и каждого в отдельности из муравьев этого огромного человеческого муравейника радовала и пугала эта неизбежность. И всеобщее напряженное ожидание было направлено к броненосцу, который первый поднял восстание. Все сознавали, что на нем находятся люди, которые уже перешли грань, отделившую их от всего старого мира, все понимали, что броненосец не может вечно стоять в море, как призрак, и это давало уверенность, что решение, каково бы оно ни было, придет оттуда.

Отряд Лавренко расположился на бульваре в беседке, где обыкновенно по вечерам так весело играла музыка, и его белый с большим красным крестом флаг привлекал внимание и пугал как напоминание о том, что кто-то, среди общего неведения своей судьбы, знает и предрешает страдания и смерть.

Лавренко замечал, какое невыгодное для дела впечатление производит его отряд, но только морщился и стеснялся смотреть на проходивших, испуганно и любопытно оглядывавших каретки, повязки на руках санитаров и носилки. Он боялся, что если выберет другое место, то войска легко могут отрезать его от порта, и порт останется без помощи.

Около полудня к нему, уныло сидевшему на приступке каретки, запыхавшись, прибежал молоденький, толстенький, как свежий огурчик, студент и взволнованным шепотком, оглядываясь по сторонам, сообщил, что нигде никак не могут найти доктора Зарницкого.

— На квартире нет, на сборный пункт не явился... Весь отряд сбит с толку... понимаете, доктор, скверно...

— Шо скверно? — угрюмо спросил Лавренко.

— Да, арестовали его, так было бы известно!.. — неловко пробормотал студент, странно кося в сторону.

— А может быть, и не было бы? — сердито возразил Лавренко.

Он сразу догадался, в чем дело, и ему вдруг стало невыносимо неловко, точно от трусости Зарницкого и на него самого падала какая-то грязная тень.

«Тоже... человек!..» — с презрением подумал он, отошел к краю площадки и сумрачно, ничего не видя, стал глядеть в порт. Где-то внутри его шевелилось новое, еще не ясное, но тяжелое, угнетающее чувство.

Новые толпы встревоженных муравьев бежали из дальних углов муравейника, и все крыши домов, балконы и окна были унизаны маленькими черными фигурками с круглыми муравьиными головками. Общее напряжение становилось все тревожнее, и уже со всех сторон стали быстро возникать и так же быстро потухать слухи о кровавых столкновениях и человеческих жертвах. Когда же пронесся слух, что против порта и того места, где стоял отряд Лавренко, поставлены пулеметы, а во дворах, против бульвара, спрятаны солдаты, невидимо, но ощутимо стала расти злоба. Лица стали зловеще изменяться, вместо бесшабашно блестящих глаз, разинутых в веселом крике ртов и возбужденных оживленных лиц стали показываться темные глаза, сжатые губы и налитые кровью лица. Временами гул затихал, и в воцарившемся коротком молчании слышалось что-то глухое, как будто отдаленные приближающиеся тяжкие шаги.

Все большая и большая тоска охватывала Лавренко, и все острее он чувствовал, что для него все кончено этим днем. А от этого предчувствия иногда как будто все заволакивалось черным флером, становилось безразлично окружающее и хотелось уйти, пока еще не поздно, куда-нибудь, где трава, цветы и солнце — и нет людей. Там бы, в зеленой тишине, лечь на землю, прижаться к ней усталым телом, смотреть на яркие цветы и далекое небо, плакать от грусти и счастья и все жить и жить.

Но вместо того Лавренко оставался в центре толпы, на взрытом и истоптанном сотнями человеческих ног бульваре. И как муха, попавшая в паутину, то раздражается и отчаянно бьет крыльями, то затихает в тупой покорности, — так и Лавренко то говорил себе, что все это ужасно, не нужно ему, противно, жалко, что надо уйти куда глаза глядят, то тупел и уныло поглядывал на бегущие мимо разноликие человеческие волны.

Молоденькие студенты и барышни с белыми повязками на рукавах толпились вокруг него, и чувствовалось, что, несмотря на их искреннее, молодое возбуждение, им все-таки жутко и каждому хочется быть поближе к этому толстому пожилому человеку, который, должно быть, лучше их знает, что надо делать.

— Слушайте, доктор, а они не имеют права стрелять по красному кресту? — несколько раз спрашивала Лавренко маленькая мягкая курносенькая барышня, и в ее черных воробьиных глазках темнело наивное откровенное чувство страха.

«Точно может быть право стрелять по одним, а не стрелять по другим? Когда люди решили убивать вообще, не все ли равно им, кого убивать?» — сердито подумал Лавренко, но сказал мягко и успокоительно:

— Разумеется, нет!

Но вслед за тем в нем самом так возросла уверенность в противоположном и так стало ему жаль эту цветущую, радостную, даже в страхе и растерянности, молодость, что он взял каретку и, поручив отряд старшему студенту, поехал в городскую думу, где собрались все выдающиеся общественные деятели города.

«Я им скажу, что нельзя же!» — мелькало у него в мозгу совершенно бессмысленно, как натревоженный мотив, и он сам не знал, кому и что именно он хочет сказать.

Когда каретка проезжала площадь, в конце ее Лавренко увидал знакомый графский дворец, величаво и спокойно возвышавшийся своими розоватыми колоннами и витыми решетками с золочеными гербами.

«А им и горюшка мало! — подумал он. — Довели людей!..»

И ему удивительно странно было в эту минуту думать, что есть люди, такие же, как и все, не с четырьмя руками, не с двумя головами, не с двумя жизнями, а совершенно такие же, как и

все, но которым почему-то были выстроены особые жилища, которых пуце ока стерегут сотни вооруженных обалделых людей, которые даже среди всеобщего страдания, смятения и гибели живут своей особой, совершенно свободной, роскошной, красивой и приятной жизнью. «Ведь вот, — подумал Лавренко, — явная нелепость... Нелепость очевидная, как дважды два четыре, а ведь даже самому себе иногда приходится напоминать, что это действительно так, что эти люди, из-за которых мы страдаем и не можем улучшить свою жизнь, как могли бы, совершенно таковы, как и я, и он, и он!» — мысленно указывал Лавренко на промелькнувших в окне каретки тонкого худого подростка мастерового, с худым испитым лицом, и бородатого, грязного и неуклюжего, как мучной мешок, ломовика.

— Но как мы допустили до этого?.. Вековое сумасшествие, идиотизм!.. И поделом тогда, да, поделом... А они правы... Как бы то ни было, они устроили свою жизнь лучше нас... Пусть там насилием, жестокостью, обманом, а создали себе жизнь полную, свободную, удобную и приятную... А мы, с нашей заботой об очищении жизни от зла, от порока, болезни и подлости, вечно в положении загнанного зверя... или выючного животного...

В большом зале думы было много народу, но в сравнении с улицей казалось тихо, чисто и осмысленно. Вокруг большого стола, покрытого темным зеленым сукном, усеянным листами бумаги, карандашами и чернильницами, сидели и стояли люди, одетые однообразно и нарядно, как показалось Лавренко, после обмызганной, запыленной толпы, которую он только что оставил на улице.

Лавренко протискался к председателю, высокому, черному человеку, с длинной блестящей бородой, и шепнул ему на ухо взволнованно и несвязно:

— Николай Иванович, я должен сделать срочное заявление!.. Председатель наклонил к нему голову с гладко причесанным седеющим виском и тонким острым ухом и торопливо ответил:

— Подождите немного... Пусть Кобозеев закончит!.. Лавренко хотел возразить, но председатель уже отвернулся, и доктор, потирая руки от охватившего его вдруг нетерпения, отступил немного назад и стал слушать оратора. В эту минуту он испытывал странное и неприятное чувство, как человек, куда-то разбежавшийся и вдруг остановленный в самый момент прыжка.

Оратор был невысокий, энергичного вида брюнет, с большими усами, в пенсне. Он не стоял, а почему-то двигался на небольшом пространстве между двумя столами, и оттого на первый взгляд казалось, что ему тесно и он терзается этим. Говорил он громко, в конце каждой фразы коротко и сильно взмахивал сжатым кулаком, точно расшибая что-то в пух и прах.

Лавренко прислушался, почему-то обратив внимание не столько на оратора, сколько на сухонького седенького старичка, который, приставив ручку к уху, с детским интересом на глазах, старался не проронить ни одного слова.

— Я говорю, что мы можем сделать только одно, — разобрал он, — на улице умирают наши братья, наши дети, плоть от плоти и кость от кости нашей... К ним!.. С ними!.. Что тут рассуждать и спорить о форме, когда каждая минута дорога и секунда оплачивается человеческой жизнью!

Он говорил долго и совершенно правильно, но было очевидно, что ни он, сытый и слишком выхолонный человек, ни представительный председатель, ни седенький старичок физически не могут идти «к ним и с ними», и потому вся речь казалась произносимой только для эффекта самой речи.

«Ну, к чему это говорить...» — страдальчески морщась, подумал Лавренко.

Оратор на секунду помолчал, как бы прислушиваясь к отзвуку улетевшей красивой фразы, и,

круто повернувшись в другую сторону, продолжал, все возвышая и возвышая голос.

— Если мы точно граждане, а не обыватели, мы должны, не теряя времени, выйти на улицу, к нашим детям и братьям, и вооруженной рукой дать отпор насилию... Иначе мы недостойны называться гражданами, и я еще раз... призываю вас бросить бесполезные споры и вместе идти... на улицу!..

Последние два слова он выкрикнул громко и отдельно и, круто взмахнув рукой над головой, с энергией опустил вниз кулак и так быстро сел, что показалось, будто он куда-то провалился.

Лавренко отер потное лицо и не стал смотреть в ту сторону, ему стало неловко. Но что-то с сухим треском разорвалось и вдруг просыпалось оглушительной дробью хлопков, на мгновение покрывших все звуки.

Лавренко опять вытер лоб платком. Было жарко, и под потолком висел синеватый нагретый туман, в котором дальние фигуры казались безличными синими силуэтами. Было очевидно, что здесь уже давно толпится много народу.

Высокий председатель встал и, с достоинством опершись одной рукой на стол и слегка приподняв другую, ждал, пока утихнут аплодисменты. Когда последние хлопки разрозненно замерли в отдаленных углах, он поднял руку выше, призывая к вниманию, и громко проговорил:

— Доктор Лавренко, заведующий санитарным отрядом, желает сделать срочное заявление. Желает ли собрание выслушать?

— Просим, просим!.. — слабо раздалось несколько голосов, и все надвинулись на стол.

Председатель сделал Лавренко пригласительный жест, точно приглашая его спеть что-нибудь, и сел, приняв вид достойный и внимательный. Лавренко машинально выдвинулся вперед, опять отер платком лоб и, ничего не видя перед собой, кроме стены черных сюртуков, синеватого тумана и светлыми пятнами расплывающихся в нем разнообразных лиц, заговорил:

— Господа, как представителям всех руководящих слоев городского общества, я заявляю вам, что против моего отряда, на бульваре, поставлены пулеметы, и каждую минуту я жду, что нас расстреляют... Необходимо принять какие-нибудь меры...

Он замолчал, и ему показалось странным, что так мало было сказано тогда, как чувствовалось нечто огромное, ужасное. В словах это вышло совсем просто и не выражало того напряженного озлобления и тревоги, с которыми он ехал сюда. И казалось, что и все ожидали большего, потому что еще несколько мгновений все лица молча смотрели на Лавренко.

Послышались негромкие голоса. Первым заговорил, почему-то недоброжелательно глядя на Лавренко, пожилой толстый человек с рыжей бородой и круглыми щеками.

— Что же тут можно сделать... Мне кажется, что если начнут стрелять, то не по одному лазарету... Его постигнет общая участь, и я не нахожу, чтобы этот вопрос можно было выделить из общего... Это значит раздробиться на мелочи...

— То есть, позвольте, какие же мелочи? — вскрикнул Лавренко, мгновенно озлобляясь.

Поднялся высокий худой человек с честными большими глазами и прямыми волосами, о котором, не зная его, можно было сказать, что это литератор, и негромким, но чрезвычайно убедительным голосом стал возражать толстому господину. Говоря, он смотрел ему прямо в лицо, и выражение глаз его было правдиво и твердо, но Лавренко почему-то показалось, что

литератор из деликатности старается вывести его, Лавренко, из неловкого положения.

Он говорил так хорошо и убедительно, а главное, было столько искренности в его глазах, что все, даже те, которые раньше были против выделения вопроса о санитарах из общего обращения к графу, не могли не согласиться.

Но толстому господину было трудно отказаться от своих слов. Сначала он, видимо, хотел с достоинством промолчать, но в самую последнюю минуту нашел удачное возражение и поспешно заговорил.

— Граф совершенно резонно может заметить нам, что когда лес рубят — щепки летят и что он не может же не стрелять по порту оттого, что на пути мы, вместо баррикад, расположим свои перевязочные пункты... Это наивно, господа...

Некоторые слегка засмеялись.

Скулы литератора чуть-чуть покраснели. В глазах загорелся огонек задетого самолюбия, и он опять возразил. Но смешок был пущен вовремя, и стало очевидно, что теперь уже что-то утеряно и литератору ничего не удастся доказать. Между его словами и пониманием слушавших возникло нечто совершенно пустое, но непроницаемое.

Спор разгорался. По вопросу высказалось еще несколько ораторов, и он был решен в отрицательном смысле.

Все время Лавренко по-прежнему испытывал глупое и неловкое положение человека, который куда-то из всех сил разбежался и не прыгнул. Ему становилось скверно, жарко, потно и под ложечкой засосало. Он вспомнил, что не ел целый день, и вдруг, совершенно нелепо, у него выскочила, лукавая перед самым собою, мысль, что он имеет право заехать в ресторан перекусить, а пока подадут, сыграть партию на бильярде.

— Не то что сыграть, а... — попробовал он извернуться, но ничего не вышло, и раздражение стало овладевать им.

Все в нем кипело, и каждое новое слово, каждый новый оратор вызывал новый и новый прилив тоскующего бешенства.

Вопрос уже шел опять о том, в какой форме должно состояться обращение к графу. И здесь Лавренко невольно заняла и поразила неуволвимая спутанность чувств и слов.

Одни предлагали послать депутацию словесную, другие — с письменным заявлением, третьи — просто поговорить по телефону.

— С этими скотами церемониться нечего... — вскидывая руками и презрительно кипящаясь, говорил рыженький тоненький и, очевидно, высохший за письменным столом господин. — Этим мы покажем свое отношение к ним!..

Он говорил так презрительно и злостно, так возбужденно поправлял свое пенсне, что многим, должно быть, действительно показалось возможным и заманчивым выразить свое презрение зазнавшимся жестоким и ограниченным зверям.

— Позвольте, да граф просто не станет говорить с нами по телефону, — порывисто вскочил какой-то желчный, толстый человек в сверкающих очках.

И это было так очевидно, что непоколебимое сознание неодолимой силы и власти за «теми» как бы воочию встало перед слушателями. Кое-кто опять засмеялся, как будто эти люди были даже довольны сознанием своего бессилия.

— То есть, как это не станет говорить?.. — вскидывая руками и весь краснея, вскрикнул высохший рыженький господин. — Он обязан считаться с мнением общества, как бы оно ни было выражено. Что-нибудь одно, или общество, или мы — стадо, которому довольно только кнута... Я не могу с этим согласиться!..

И как раньше казалось, что предложение его было сделано только ради хлесткого желания выказать себя смелым и твердым, так теперь стало казаться, что он искренно страдает о бессилии и унижении общества. Но все-таки слышались и прежние хлесткие нотки, и нельзя было ничего понять в его душе.

— Вы можете соглашаться или не соглашаться, а граф все-таки слушать вас не станет-с, только и всего!

— Мы заставим! — запальчиво крикнул, вскинув руками выше головы, рыженький господин.

— Как-с? — язвительно спросил господин в очках, захлебываясь от удовольствия. — Баррикады пойдём строить, вы, я, вот Иван Иванович! — показал он на седенького старичка, с детским интересом переводившего глаза с одного на другого.

Все невольно взглянули на этого старичка и ясно увидели, что говорит выражение его личика.

— Я не знаю, но это интересно... Я, право, с величайшим интересом все слушаю... С величайшим интересом! — говорило это розовое, старчески наивное личико.

И всем стало неловко и очевидно, как нелепа даже самая отдаленная мысль о возможности появления на баррикадах этого старичка и всех бывших в зале. Никто уже не помнил, что хлопали оратору именно за такое предложение.

И тот самый оратор, точно коснулись большого места, вдруг порывисто вскочил и закричал, взмахивая кулаком:

— Это не так смешно, как вам кажется!.. И если мы действительно так бессильны, беспомощны, что не можем умереть с нашими братьями, так самое лучшее, что мы можем сделать, это — разойтись!..

Это было очевидно и оттого испугало всех. За этим словом оказывалась уже пустота, которую нечем было наполнить. И оттого снова стали возражать...

«Зачем я сюда пришел? — с бесконечным негодованием мысленно вскрикнул Лавренко. — Разве это люди?.. Что это такое?..»

Он недоуменно оглянул зал, где еще больше навис человеческий туман и дальние силуэты окончательно расплылись в синеватой мгле. Вокруг также чернела непроницаемая черная стена сюртуков и расплывчатых пятен человеческих лиц. Лавренко стало невыносимо душно от злобы и духоты, от страшной потребности крикнуть, хватить чем попало от одного края зала до другого и, наконец, и от физической усталости. Все тело его неприятно ныло.

Он отошел от стола, чувствуя, что если не выскажется, не сделает того, что требует его возмущение, то будет так же презирать и самого себя.

Но почему-то высказаться было невозможно, и раскрытый для громовых слов рот не давал звуков, точно в него вместо языка запихали мякину.

Лавренко, весь потный, с инстинктивным отчаянием оглянулся вокруг.

— Послушайте, голубь мой! — сердито заговорил он, схватив за пуговицу знакомого ему

инженера, высокого, с красивой, как у председателя, бородой человека, у которого был такой вид, точно все, что делалось, было сделано только для того, чтобы он и другие, такие же, как он, суетились и все устраивали и улаживали.

— А, это вы, доктор?.. Чего вам?.. Простите, я спешу!.. — торопливо пробормотал инженер, мельком пожимая руку Лавренко.

— Это невозможно, я говорю, что против красного креста пулеметы ставят... А тут!.. Вы же граждане города... у вас значение... надо же что-нибудь предпринять, — обидчиво и сердито говорил Лавренко, чувствуя, что делает и говорит что-то, в сущности, совершенно не нужное и не то, что хотел.

— Ну да, конечно!.. — закивал головой инженер, поправляя пенсне. — Но вы и сами можете присоединиться к депутации? Выделять вопрос в самом деле нельзя!.. Вы понимаете?..

— Но к чему же эти?.. словопрения... — со злобой возразил Лавренко.

— Надо же сговориться!.. Так нельзя!..

Лавренко вдруг охватила такая злость, что он громко вскрикнул:

— Да что это такое?..

Но в поднявшемся шуме и аплодисментах голос его бессильно заглох. XI

Когда собственные экипажи, блестящие и аккуратные, наполненные пожилыми, чистыми и важными на вид людьми, катились по улицам, все, и обтрепанные мастеровые, и матросы, и кучки дружинников с красными повязками, вся огромная масса людей, которая здесь, далеко от порта, была тише и больше в ней было растерянности и недоумения, смотрела им вслед серьезно и внимательно.

— Депутаты, депутаты! — слышались голоса, и в них было определенное выражение неопределенной надежды.

Казалось, что если такие важные, всеми уважаемые, солидные люди, из которых почти каждый был каким-нибудь начальником большего или меньшего числа людей, взялись за дело, то оно должно принять новый, нужный оборот, после которого минуют тяжелая тревога и растерянность.

И даже самому Лавренко стало легче и веселей.

«Должны же там понять», — успокоительно думал он и старался не замечать кроющегося где-то глубоко в душе недоумения, — что именно понять? И что делать, если не поймут, — а не поймут наверное!

У дворца, который вблизи показался Лавренко еще больше и значительнее, стояли пушки и ряды солдат, среди которых виднелись кучки блестящих своими серыми шинелями офицеров. Они и солдаты смотрели на вылезавших солидных людей, в пальто и цилиндрах, с ожиданием, без вражды.

Когда они поднимались по ковру широкой красивой лестницы, Лавренко, оглядываясь вокруг, еще раз подумал:

«Вот жизнь... Настанет ли когда-нибудь время, когда людям не придется завидовать этим лестницам, цветам и коврам, потому что это будет общая радость жизни?..»

Но ему почему-то стало неловко, точно он подумал что-то наивное, избитое и даже пошрое.

Странно было только смотреть на стоявших повсюду солдат, одетых как на дворе, в шинелях, с ружьями и патронными сумками, и оттого даже казалось иногда, что этот дворец не дворец, а чья-то тюрьма.

Депутацию приняли с преувеличенной вежливостью. Жандармские офицеры, в голубых мундирах, с аксельбантами, любезно склонялись им навстречу и говорили мягко и предупредительно, соглашаясь и кивая головами.

Но Лавренко стало неловко, показалось ему, что офицеры любезны не с ними самими, а с чем-то посторонним, может быть, даже с их сюртуками, но только не с живыми людьми, приехавшими говорить о своей и чужой жизни. Кланяясь и соглашаясь, они смотрели в глаза холодно, и в этих холодных взглядах чувствовалось сознание силы механической, жестокой и неодолимой.

Депутатам долго пришлось ждать посреди огромной залы, как-то одиноко и неловко маленькой кучкой черных сюртуков столпившись на блестящем паркете. Было обидно ждать, встревоженно билось сердце, и хотелось чего-нибудь, но только поскорее.

И когда уже становилось совершенно глупо стоять и ждать посреди залы, вышел генерал-губернатор, тот самый человек, от которого, как казалось, зависела жизнь многих людей.

Это была огромная туша красного мяса, выпирающего из генеральского мундира, лезущего на толстый, важный живот. У него было огромное, пухлое лицо, седое и лысое, с маленькими серыми пронзительными, как у самого свирепого и хитрого зверя, глазками.

Он вышел из дверей тяжелыми и грузными шагами, в самой грузности сохраняя бодрую, военную выправку, и остановился в нескольких шагах от депутатов. И вдруг в том, как он остановился, сквозь внешнее величие и грозность мелькнуло что-то быстрое и робкое, затаенный в самых тайниках души, никому не высказываемый, старчески дряблый, животный страх.

Маленькие глазки зверя быстро обежали кучку пожилых, солидных и мирных фигур в черных сюртуках и дольше других остановились на Лавренко. Его пухлая, небрежно и просторно одетая, с задумчиво напряженным лицом фигура, очевидно, что-то напомнила генералу и как будто внушила ему смутные опасения. Он сделал маленький шаг назад, как будто для того, чтобы лучше окинуть глазами всех депутатов.

— Здравствуйтесь, господа! — взявшись одной рукой за борт лезущего на живот мундира, заговорил он громким и хрипло звучным голосом, каким привык командовать массами людей, лошадей, пушек и обозов. — Чем могу служить?

Он не поклонился, но сделал вид, что поклонился, и эта неуловимая тонкая игра привычного величия, лукавства и самоуверенности поразила Лавренко.

«Удивительная выдержка! — подумал он, на мгновение забывая даже, зачем они тут. — Сколько нужно было школить и дрессировать человека, чтобы научить его жить не своею жизнью, двигать не своей стариковской грузной и жирной фигурой, а чем-то другим, что надето сверху, как маска...»

Сухонький, маленький и седенький старичок, в длинном черном сюртуке, который почему-то напоминал о том, что уже скоро, в этом самом сюртуке, чинно и навеки недвижимо, скрестив костяные тонкие пальцы, старичок будет лежать на столе, выступил вперед и полупоклонился, видимо изо всех сил стараясь не терять такого же достоинства, как у генерала, но волнуясь и робея и сам возмущаясь этим.

И вместе с ним начал волноваться и Лавренко; ему стало до боли обидно, что огромная по своему значению для людей, полная ума, таланта и труда ученая жизнь этого старичка тут, в дворцовой зале, ровно ничего не значит. И опять он подумал, что все, во что он привык верить, — вздор, а настоящая, сильная и не рабская жизнь только у этого сановника и ему подобных.

— Ваше высокопревосходительство, — заговорил старичок негромким, сухоньким костяным говорком, — мы, представители университета, города и различных союзов и обществ, ввиду событий, разразившихся в нашем городе, сочли своим прямым гражданским долгом обратиться к вашему пре... высокопревосходительству...

Генерал чуть-чуть наклонил голову, и его толстая, красная, мягкая шея студенисто навалилась на твердый красный воротник. Звериные глазки были внимательно непроницаемы, и за их холодно-серой стекловидной поверхностью ясно показался кто-то юркий, серый и хитрый, говоривший без слов:

«Я вас знаю... Меня не проведете... Я наперед знаю все, что вы мне скажете и что я отвечу. И то, что я отвечу, будет самое главное, хотя бы то, что вы мне скажете, и было бы справедливо».

И под этим неодолимым взглядом сухонький старичок, знаменитый ученый, видимо, терялся.

— ...Мы надеемся, что вы, ваше высокопревосходительство, примете все зависящие от вас меры, чтобы избежать ненужного и жестокого кровопролития...

Старик замолчал и вдруг побледнел, а костлявые пальцы его заметно задрожали. Генерал, все так же склонив набок огромную седую и лысую, как колено, голову, еще послушал мгновение, точно ожидая, не скажут ли ему еще чего-нибудь, и вдруг, быстро подняв голову, остро сверкнул глазками и побагровел.

— Я должен вас предупредить, господа, что в силу законной власти и сознания огромного долга и ответственности перед родиной и Государем моим, лежащей на мне, я не могу, даже если бы захотел, остановиться перед крайними мерами при подавлении преступных замыслов, угрожающих спокойствию и даже целостности государства.

— Ваше... — начал было высокий, плотный и красивый господин, слегка поднимая удивительно холеную руку с перстнями.

— Прошу дать мне кончить! — негромко бросил генерал с непоколебимой уверенностью в том, что это так и будет, и продолжал громко и звучно: — Все, что от меня зависело, я уже сделал. Мятежники упорствуют в безумных замыслах, и все, что я могу вам посоветовать, это употребить все ваше немалое влияние на то, чтобы заставить их сдаться... и немедленно...

— Мы этого сделать не можем! — вдруг сказал Лавренко, сам не ожидая этого.

— Ага! — совсем не удивившись и как будто даже чему-то обрадовавшись, зловеще подхватил генерал. — Я знаю, что вы не можете... Вы можете постановлять резолюции, выражать порицания действиям правительства, сеять возмущение среди темных масс, но помочь власти справиться со смутой во имя общего блага и порядка вы не можете.

— Ваше... — опять начал высокий господин с перстнями.

— Чего же вы от меня хотите?.. — все более и более багровея и возвышая голос, продолжал генерал. — Чтобы я дал возможность захватить город и арсеналы и способствовать мятежу?

Наступило короткое молчание, и все вдруг поняли, что между ними стоит глухая и непоколебимо непроницаемая стена. Нечего было сказать, потому что сказать можно было

одно: «Да, — откажитесь немедленно и за себя, и за всех от своей привилегированной, властной жизни и дайте другим взять свое». И было так очевидно невозможно ни им сказать, ни ему сделать это, что наступила холодная и тупая пустота.

— Да... Вы просите за мятежников, а разве не гибнем мы?... — вдруг неожиданно заговорил генерал, и что-то совсем другое, как будто жалостное и искренно робкое, зазвучало в его понизившемся голосе. — Еще вчера был пойман какой-то злоумышленник...

Все уже знали об этом и знали, что пойманного человека расстреляли на дворе генерала, и труп его целый день лежал под окнами дворца. Лавренко ясно представился этот важный, толстый, с крупным орденом на шее, старик в генеральском мундире, не раз подходивший, должно быть, к окну и смотревший на жалкий, изуродованный труп своего побежденного «на этот раз» врага. Должно быть, на огромном лице его было выражение злобно-радостного торжества, животной радости и злобной трусости, того сжимающего сердце чувства, которое испытывает человек, смотрящий на убитую им, чуть было не укусившую его змею. «Тот» убит, а он жив еще, но могло быть иначе и, может быть, будет. И тогда, где-нибудь на мостовой, будет так же лежать толстое, обращенное в кровавый ком или кровавые клочья, тело генерала. И кто знает, быть может, тут же, где-нибудь близко, невидимо и неслышно уже крадется к нему эта беспощадная, верная месть — смерть. И там или здесь неожиданно, неумолимо и неотвратимо грянет выстрел или взрыв и обратит его в то же ужасное и безобразное, во что обращен этот неизвестный, расстрелянный под его окнами человек.

И тут впервые ясно и сознательно Лавренко понял свою ошибку, и ему представились весь ужас и вся убогость этой пышной, важной жизни, с ее постоянной злобой и жестокостью, убивающими душу, с узким культом собственного блага во что бы то ни стало, которое незаметно отнимает самую лучшую часть жизни — свободу и сводит величественное существование до мучительных размеров — прозябания загнанного зверя.

Но генерал мгновенно оправился. Серые глазки зверя засверкали упрямо и зло, лицо побагровело так, что побелел и ясно выступил на висках и затылке белый венчик седых волос, и голосом, в котором ясно слышалась месть за свой страх и минутную слабость, он проговорил:

— Мне не о чем больше говорить с вами, господа! Мне дорого время... Но прошу помнить, господа, — повысил генерал голос и поднял кверху короткий толстый палец с красным рубином, — что со всеми, так или иначе потворствующими мятежникам, я расправлюсь беспощадно...

Он быстро повернулся и, ступая быстрее, чем нужно, скрылся в дверях, и по его широкой спине, обтянутой мундиром, и по втянутому в плечи жирному затылку опять прошло что-то трусливое и торопливое, точно он боялся удара сзади.

Группа депутатов, не глядя друг на друга, медленно спускалась с широкой лестницы, и их черные сюртуки казались удивительно жидкими и щуплыми на ее массивных ступенях. Впереди Лавренко, сгорбившись, с дрожащими пальцами, шел знаменитый старичок, и по узкой сгорбленной спине тоже было видно что-то жалкое, пришибленное и униженное.

«А ведь громадный ум и сила, — пришло в голову Лавренко. — Ведь он мог бы сказать огненные слова... К чему же тогда и вся его слава, его ум, его таланты, если из-за самого маленького животного страха за жизнь... А я сам?» — вдруг мелькнуло у него в голове.

Он побледнел, как давеча знаменитый старичок, криво усмехнулся, не глядя по сторонам, вышел из дворца и поехал обратно на бульвар.

Как только каретка отъехала от площади с ее величавым дворцом, рядами серых солдат и неуклюжих пушек, ее подхватила и окружила невероятная толпа, точно она сразу окунулась в

сплошную крутящуюся массу. Одну секунду Лавренко показалось, что движется все: и дома, и деревья, и церкви, и небо, все поплыло за толпой. Блестящая от солнца мостовая сразу исчезла, растаяла в черной многоголосой массе, налезавшей на стены домов, точно волны какого-то черного канала.

Дальше нельзя было проехать. Ближайшие люди оглядывались на Лавренко. Кто-то ударил лошадь кулаком по морде и крикнул:

— Куда лезешь, черт?

Лавренко встал и пошел пешком, пробираясь в толпе.

«Нет, это не страх за жизнь... — вынырнула у него мысль все о том же. — Не страх, а что?..» — мучительно спросил он себя и не нашел ответа.

«Ехать опять в думу? Сказать им!..» — перебил он свои мысли, но, поддаваясь непреодолимому отвращению, махнул рукой, уныло влез в каретку и поехал дальше.

На бульваре Лавренко встретили молодыми радостными восклицаниями, и первое лицо, бросившееся ему в глаза, было, в синей фуражке на затылке, с курчавящимися волосами и весело возбужденными глазами, лицо Кончаева.

— Голубь мой, вы здесь?.. — с неизъяснимой лаской и грустью и мгновенно болезненно вспоминая Зиночку Зек, сказал Лавренко.

Они отошли немного в сторону, на край площадки, с которой не было видно порта, но виден был ясно серый броненосец в синем море, и, глядя на него, Лавренко спросил Кончаева:

— Ну, что Зиночка? Проводили?..

— Да!.. — весь краснея, молодо и счастливо, очевидно вовсе не думая о том, что была возможна разлука навсегда, ответил Кончаев.

«Милая маленькая молодость, придется ли еще увидеть тебя когда?» — грустно и стыдливо подумал Лавренко, и перед его глазами проплыл юный, стройный силуэт девушки со светлыми, наивно счастливыми глазами и двумя пушистыми недлинными косами.

А Кончаев, блестя глазами и весь загораясь, рассказывал ему о броненосце, о матросах, морском офицере и человеке в пальто.

— Да!.. — сказал Лавренко задумчиво. — Это удивительные люди, но для жизни они непригодны: величайший акт их жизни — это их смерть... XII

Целый день огромная возбужденная толпа, то рассыпаясь на отдельные кучки, то сливаясь в общую массу, двигалась туда и сюда по городу, переливалась из квартала в квартал, как ртуть, движимая собственной тяжестью, случайными сочетаниями своих человеческих атомов.

Она то бессмысленно топталась на месте, сталкиваясь и уничтожая собственное движение, то вдруг начинала катиться в одну сторону и тогда казалась осмысленной и дружной. Но организованность ее была только кажущейся: когда большее или меньшее число людей случайно двигалось в одном направлении, и когда их становилось много, толпа, как ком снега, начинала расти, увлекать на своем пути все и стихийно обращаться в тяжелую дробящую лавину, но лавина так же быстро таяла, как и вырастала, и там, где только что была грозная масса, вдруг оказывалась жалкая кучка бесцельно слоняющихся людей.

И целый день отдельные единицы, незаметные в толпе, вели упорную, напряженную борьбу,

стараясь овладеть этой многоликой бесчисленногласой и разно чувствующей массой, чтобы направить ее в одно русло.

Так было многообразно движение, так необычно такое скопление разнообразных людей, так мучительно невозможна борьба с мгновенно и непрестанно возникающими порывами, так велико требующее какого-то исхода напряжение, что к вечеру уже и самым уверенным стало казаться, что происходит нечто совершенно бессмысленное и бесцельное, и зловещие признаки утомления и раздражения стали вспыхивать то тут, то там.

Лавренко, целый день пробывший на бульваре, видел это, и ему казалось совершенно понятным, что толпу не удержать и что с минуты на минуту надо ожидать взрыва жестокости и жадности, естественных в этом хаосе изголодавшихся, измученных и обиженных людей.

«Естественно, — думал он, — что свобода, революция и все прочее сейчас в этой бестолковщине никому не ясны и утратили значение... Надо что-нибудь реальное... Надо схватить то, чего никогда они не имели, чего им хотелось и чего, собственно, они добиваются... Начнется грабеж!.. И как голодный, дорвавшийся до хлеба, обжирается и умирает в судорогах, так и толпа...»

И когда, уже в сумерки, слившие толпу в одну ревущую темную массу, к отряду прибежал какой-то человек и крикнул испуганным, хриплым голосом:

— В порту громят!..

Лавренко не испугался, не удивился и только, вздохнув, снял фуражку, точно ему вдруг стало жарко.

Не ему одному, а и всем становилось жутко. В темноте, скрывшей человеческие лица, толпа сделалась страшной. Что-то огромное двигалось в темноте, ворчал, как-то ухало, то останавливалось, то вдруг двигалось и казалось бесконечно громадным. Днем было видно, что это рабочие, солдаты, женщины, дети, лавочники, оборванцы, студенты, теперь это было что-то общее, громадное, совершенно непонятное и зловещее.

С бульвара было видно, как внизу, в темном порту, где уже нельзя было отличить море от берега, воровато и быстро, то пропадая, то вновь вспыхивая, забегали огоньки. Мимо отряда, через бульвар, начали торопливо, возбуждая панику, бежать отдельные кучки людей, и слышались новые, испуганные и недоуменные голоса.

— Всех бьют!.. Тикай, братцы!.. — расслышал в одной из них Лавренко.

— Н-ну, теперь только держись! — еще испуганнее прокричал кто-то дальше.

Высокий оборванный матрос набежал на самого Лавренко и широко раскрытыми, видными даже во мраке глазами посмотрел ему в лицо.

— Кто такие? — хрипло спросил он.

— Санитары! — ответил Лавренко, приглядываясь к нему.

— Какие тут, к черту, санитары, уносите ноги, пока целы, — не то сердито, не то сочувственно крикнул матрос и, махнув рукой, побежал прочь.

Какие-то смутные тени воровато шмыгали из города вниз в порт.

«Босяки! — подумал Лавренко. — Ишь, как вороны на падаль!»

На бульваре стало пустеть, утихать, и тогда из порта явственно слышался смутный и

тяжкий гул, похожий на грохот приближающегося поезда. А вслед за тем, над темными массами, в которых нельзя было отличить крыш от судов и толпы, показался огонь и заблестел в воде, внезапно оказавшейся там, где ее не ожидал глаз. Из мрака нарядно выступили бело-розовые борты пароходов, красиво и жутко посыпались вверх фонтаны искр, повалил густой, освещенный снизу дым, и послышался явственный многоголосый и нестройный крик:

— А-а-а!..

Что-то треснуло, лопнуло и раскатилось, а в стороне темного городского сада послышался отдаленный лопочущий нервный и непрерывный звук.

— Это пулеметы, — с ужасом сказал подле Лавренко молодой голос.

Лавренко оглянулся и увидел за собою ряд освещенных снизу, с блестящими стеклянными глазами испуганных лиц.

Гул в порту то рос, то падал, и в короткие промежутки его падения все явственнее, точно приближаясь, слышалось ужасное, бессмысленно однообразное лопотание.

— Боже мой, что же это такое? — пробормотал в темноте женский голос.

Далеко, в темном пространстве моря, чуть видно мелькнула слабая вспышка молнии, и через минуту долетел отдаленный глухой удар.

И что-то невидимое, высоко, под самым куполом темного звездного неба, с нагнетающим тяжелым свистом, пронеслось с моря в город.

«С броненосца стреляют!.. Началось!» — подумал Лавренко.

Так же далеко в городе послышался глухой удар, мгновенный свет выхватил из мрака вдруг показавшиеся и пропавшие силуэты крыш, и резкий звук разрыва явственно донесся оттуда.

— А-ах, — вырвалось у кого-то.

— Куда лезете?.. не видите, черти, здесь красный крест? — неожиданно прокричал позади знакомый Лавренко голос санитар.

Лавренко, ошеломленный и растерянный, кинулся на голос. Кто-то со странным звуком, хрипя, как умирающий, покотился ему под ноги, чуть не сбив его самого.

— Кто?.. раненый, что ли? — с трясущимися руками наклонился Лавренко.

Подбежали еще двое, студент опустил зажженный фонарь, и Лавренко увидел совершенно бессмысленное, разбитое в кровь лицо.

— Вы ранены?.. куда?.. — торопливо спрашивал санитар, стараясь перевернуть лежавшего человека.

Тот что-то проговорил, но нельзя было ничего понять.

Лавренко нагнулся ниже и вдруг почувствовал тяжелый запах водки и увидел развалившийся узел, из которого рассыпались свертки чаю, бутылки и какая-то шелковая материя, изорванная и забрызганная чем-то темным.

— Пьяный? — удивленно вскрикнул студент.

Человек, шатаясь, встал на четвереньки и поднялся совсем, ухватившись за Лавренко и

пахнув ему в лицо вонючим, кисло-тяжелым запахом рвоты и перегара.

Что-то бросилось Лавренко в голову: какая-то непонятная обида, злоба и беспомощное негодование.

— Скотина! — неожиданно для самого себя крикнул он и изо всей силы толкнул пьяного в грудь.

Тот отшатнулся назад, запнулся и, тяжело рухнув навзничь, перевернулся и затих.

«Чего доброго, убился?» — мелькнуло в голове Лавренко, но, весь дрожа от мучительных непонятных чувств, он только стиснул зубы и отошел, конвульсивно вытирая платком мокрую руку.

— Доктор! — растерянно сказал один из санитаров. — Мы тут ничего не поделаем!.. надо куда-нибудь в дом!..

— В аптеку раненых сносить начали!.. В Морозовскую аптеку!.. — отозвалась курсистка.

Минута величайшего раздумья овладела Лавренко: ему вдруг стал противен человек.

Все время, пока в темноте, сквозь толпы людей, налетающих друг на друга, ругавшихся, кричавших и угрожающих кому-то, его отряд пробирался к аптеке, подобрав по дороге двух неизвестно где, кем и когда раненных людей, Лавренко думал об одном, и мысль его была полна отвращения и грусти.

«Пусть они все правы в том, что несчастны и что им есть хочется, но если в первый день, когда они почувствовали свободу и должны были ощутить первые проблески человеческой жизни, после жизни угнетаемых скотов, они не нашли ничего лучшего, как начать грабить и убивать, то не есть ли это указание на то, что при всяком положении их жизни, при всяких условиях, конечной точкой их действия явится не радость жизни, а новая и бесконечная борьба за кусок... было два, будут добиваться третьего, будет три, они станут рвать друг другу горло из-за четвертого куска... И так без конца».

Целый рой привычных мыслей о том, что люди не виноваты в своем невежестве, прилетел ему в голову, но чувство отвращения пробивалось сквозь них, принимая то образ толстого сытого человека в генеральском мундире, то образ пьяного окровавленного оборванца и вызывая в сердце жгучее чувство ненависти, от которой хотелось вдруг ощутить в себе нечеловеческую безграничную силу и одним ударом уничтожить все; так уничтожить, чтобы шар земной мгновенно обратился в ледяную пустыню. Лавренко внезапно почему-то вспомнил, что сегодня целый день светило яркое солнце и голубело небо, а он их не видал. Между солнцем и им, Лавренко, стоял то голодный, то сытый, но одинаково омерзительный, грубый и жестокий человек.

И захотелось все бросить, махнуть рукой и пойти куда глаза глядят. И как всегда, когда он задумывался о том, куда пойти, Лавренко захотелось пойти сыграть на бильярде.

Но ему стало стыдно своего, как казалось, совершенно нелепого в такой день желания, и Лавренко, сделав над собой усилие, потушил в себе злую мысль и, точно проснувшийся от тяжелого сна, вяло и как будто даже спокойно принялся за дело.

В аптеке были выбиты стекла, разноцветные пузырьки, растоптанные в омерзительной грязи из пыли, крови, обрывков тряпья, похожего на вывороченные растоптанные внутренности, и ключев розово-грязной ваты, придавали комнатам вид необыкновенный и странный, какой бывает в квартирах, из которых выехали люди.

— Доктор, а убитых куда сносить? — кричал фельдшер, проталкиваясь к нему между

столпившимися, одетыми в пальто и шапки, точно на улице, людьми. Вид у него был озабоченный, но нисколько не испуганный.

Лавренко подошел смотреть на убитых. В узком коридоре их сложили рядом, как дрова, и их вытянутые ноги мешали ходить живым. Многие из них были голые, и тела их блестели голо и страшно. Первый, к которому нагнулся Лавренко, был огромный толстый человек, должно быть, страшной силы, с массивной выпученной грудью сильного животного. На груди у него было одно аккуратное темное пятнышко.

— Только и всего! — сказал задумчиво Лавренко, сам не заметив этого.

Руки со сжатыми кулаками преградили ему дорогу, Лавренко перешагнул их, стал прямо в густую липкую лужу, вытекающую из-под кучи тряпок, и у самого носка сапога увидел спутанный ком волос, крови, мозга и грязи, в котором можно было только угадать человеческий затылок.

— Фу, мерзость!.. — чуть не вскрикнул Лавренко и отшатнулся.

— Я думаю, можно пока свалить в сарай, а тут поставить кровати, — озабоченно говорил ему фельдшер.

— Ну, да... свалите в сарай!.. — задумчиво ответил Лавренко, болезненно острым взглядом обегая ряд тускло блестящих под коптившей лампой белых неподвижных лиц, не возбуждавших представления о людях. — Все равно, голубь, хоть и в сарай!..

Из задней комнаты послышался визг и с каждым мгновением стал расти и повышаться, точно там резали свинью и не могли дорезать.

Лавренко пошел туда, на ходу засучивая рукава и все сохраняя на лице выражение вялой и углубленной грусти.

Из-за спины санитаря в белом халате он увидел нечеловеческие выпученные глаза, голые ноги и над ними что-то красное, склизкое, дрожащее, как кисель.

С этого момента вне времени и пространства, уже не видя причин и последствий того, что тут совершалось, как будто оторванный от всего мира и вдавленный в какую-то кровавую гущу разорванного живого мяса и диких воплей, идущих как будто не только из широко разинутых красных глоток, а и от непонятных круглых, выпученных в страшной муке глаз, Лавренко перевязывал одного раненого за другим, и перед его глазами, в которых не было уже другого выражения, кроме ужаса и болезненного сострадания, проходили всевозможные муки, какие только может причинить человеку человек.

На заре он вышел на крыльцо во двор и мокрыми руками стал закуривать папиросу. Холод рассвета и блеск еще видимых звезд, чистых и прекрасных, высоким куполом стояли вверху над еще темными крышами домов. Вокруг было тихо, и ясно слышался где-то за домами отдаленный гул, пронизанный сухим треском и лопотаньем пулеметов.

— Когда же этому конец? — с той внезапной злобой, которая все чаще и чаще охватывала его, вслух сказал Лавренко, бросил папиросу, не закурив, и, пошатываясь от прилива крови к голове, вернулся назад.

Его уже искали, и испуганные лица бросились ему в глаза сразу.

— Полиция!.. — трагически сдавленным шепотом, почему-то не указывая и не оглядываясь назад, сообщил ему фельдшер.

В коридоре, под слабым светом лампочки, виднелась серая шинель с блестящими

пуговицами, а за нею сплошная стена черных городских.

— Что там такое еще? — сжимая кулаки, спросил Лавренко сквозь зубы.

Изо всех дверей любопытно и испуганно смотрели санитары, сестры и раненые с забинтованными телами.

— Вы заведующий пунктом? — спросил седой усатый пристав, видимо только что чем-то возбужденный и взволнованный. Глаза у него блестели, зубы скалились, дыхание было ускоренное, как будто он гнался за кем-то и озверел и еще не пришел в себя.

— Я...

— У вас есть разрешение на открытие пункта?

— Нет...

— В таком случае потрудитесь закрыть! А раненых заберут военные санитары.

Лавренко, толстый и мокрый от пота, с завернутыми на пухлых руках мокрыми рукавами, угрюмо смотрел на пристава и молчал.

— Так вот-с, — с иронической вежливостью сказал пристав.

— Я пункта закрыть не могу, — тяжело пыхтя, возразил Лавренко.

— А это как вам будет угодно, — даже с какою-то радостью ответил полицейский. — Я прикажу стрелять по окнам, а вы примете на себя все последствия.

Лавренко молчал. Пристав немного подождал и, прибавив: «Ну, так вот-с...» — вышел. Черные фигуры городских, стуча сапогами и шашками, затолпились в дверях. И в этом кованом стуке, в литой однообразности поворотов было грозное проявление силы машины, неуклонной и несокрушимой.

И полную противоположностью этой силе был тот жалкий хаос растерянности, испуга, паники, который воцарился на пункте.

Когда Лавренко, все еще тяжело пыхтя и чувствуя, что вся душа его переполнена бессильным возмущением, вернулся в аптеку, его поразило то, что он увидал.

Крик, похожий на плач, и вопли отчаяния наполняли стены. При свете коптящих лампочек бестолково металась, похожие на привидения, белые фигуры санитаров, корчились по всем углам нелепые и ужасные призраки окровавленных, грязных, с размотавшимися бинтами раненых. Кто-то сваливал в кучу со звоном и криком инструменты, бинты, банки с ватой. Запах разлитой карболки остро стоял в воздухе. Два студента, очевидно сами не зная куда, волокли за руки и за ноги рослого рыжего человека, который беспомощно стонал, а из дверей волокли им навстречу другого, и видны были только ноги, согнутая спина несущего, а кто-то кричал оттуда злым и надорванным голосом:

— Куда вы прете?.. На двор выносите!.. На двор!..

Но сзади на студентов напирала другая санитары, бестолково путаясь с тяжелым кулем окровавленных тряпок, из которого белели бинты и торчали худые синие руки с растопыренными пальцами. И вся эта безобразная, испуганная куча человеческих тел, напирая, крича и сшибая друг друга с ног, нелепо ворочалась на одном месте.

— Назад, назад!..

— Да куда, к черту?.. А ну вас!..

— Скорее, скорее...

Кто-то упустил ногу раненого, и она стукнулась об пол, как плеть.

— Пустите меня, пустите!.. — застонал надорванный голос. Лавренко стоял в дверях и молча смотрел на все. И еще больший ужас и отвращение охватили его.

— Доктор, куда теперь?.. Что делать? — бросилась к нему барышня.

— Убирайтесь к черту! — завопил Лавренко, сжимая кулаки и судорожно тряся ими. — Труссы, стыдитесь!.. Оставить, сейчас оставить!..

Его пронзительный дикий крик, как острие, прорвался сквозь весь бессмысленный хаос криков, стонов, шума и плача, и на секунду стало тихо. Застрявшие в дверях ноги торчали неподвижно, и оттуда молча, растерянно выглядывали лица. Два студента торопливо и незаметно отволакивали своего раненого на место в угол.

— Ваше благородие, а как же, стрелять будут? — пробормотал бледный, с трясущимися губами фельдшер.

— Доктор!.. — отшатнулась от него барышня.

— Пускай стреляют, пускай!.. — тем же пронзительным голосом закричал Лавренко. — Мы тут нужны, нам идти некуда, и мы не пойдем. Зачем вы лезли сюда? Цель какая-нибудь у вас была?.. А теперь бежать! Остаться, или убирайтесь все к черту!..

Лавренко весь трясся, и его пухлое, большое тело покрывалось холодным потом.

Все затихло, и наступила почти тишина, только в отдаленном углу, очевидно в забытьи, монотонно и непрерывно стонал раненный в живот мальчуган.

Лавренко машинально пошел на этот стон и наклонился над лавкой.

На него глянуло синеватое бледное детское лицо с сухими растрескавшимися губами и тусклыми, невидящими глазами. Мальчик умирал, и это сразу было видно, и жаль было смотреть. Лавренко долго стоял, неподвижно глядя в умирающее личико, потом вздохнул и, горько качнув головою, отошел.

Тихо, точно боясь потревожить кого-то, растащили раненых. Санитары, не глядя на Лавренко, копошились по углам и производили на него впечатление побитых собак. Фельдшер, к которому обратился Лавренко, смотрел на него виновато и подобострастно.

Через час приехал полицеймейстер в белой шапке, хмуро осмотрел пункт и, предупредив Лавренко, что если из аптеки будут стрелять, то он разгромит ее пушками, уехал.

Все успокоились, задвигались и заговорили, и даже раненые застонали громче и свободнее, точно почувствовали на это право.

Но Лавренко было худо. Необычайная апатия и слабость охватили его тучное тело, и болезненно хотелось одного — уйти сыграть на бильярде. XIII

Когда в наступившей синеве весеннего вечера над темными крышами пакгаузов показалось розоватое зарево, похожее на восход луны, молодой офицер вынул шашку, блеснувшую в темноте, и прокричал перед неподвижными рядами солдат:

— Смирно!.. Шашки вон!.. Рысью марш!..

И первый тронул рыжую кобылу, с места взявшую в карьер.

Головы лошадей и людей шевельнулись, ряд тусклых отблесков сверкнул по рядам, и вся темная масса, сотрясая землю, рассыпая искры и напоминая отдаленный гром, двинулась вперед.

Из-за темного угла ослепительно ярко открылась жуткая и веселая картина.

Пылал огромный длинный амбар, и золотое пламя высокими танцующими языками порывалось в синее небо. Обугленные бревна, покрытые золотыми и красными углями, с треском ворочались в пламени, и снопы искр фонтанами, как от взрыва, сыпались вверх. На огненном фоне, как стая чертей, с криком и уханьем кривлялась, суетилась и над чем-то копошилась толпа.

— Марш! марш!.. Руби!.. — напрягая отчаянный голос, в котором слышались страх и злоба, и прорезывая им оглушительный рев и грохот, крикнул офицер. Его рыжая кобыла, поджав задние ноги, скачками рванулась вперед, и в пронзительном многоголосом визге шашка бесшумно, как показалось офицеру, и как будто против его воли, вонзилась во что-то мягкое и упругое.

Все смешалось на фоне пожара. Одну секунду ничего нельзя было разобрать, и люди, лошади, сверкание красных от огня шашек, гром, треск и дикий, нечеловеческий вопль — слились в один черно-огненный кошмар, крутящийся в непонятном бессмысленном вихре.

В это время Кончаев, Эттингер, человек в пальто и еще десятка два дружинников, отстаивавших от громил сахарный склад и проход к пристани, перебравшись через забор, чтобы избежать черного, ревущего в панике потока, стремглав несшегося от забора до забора во всю ширину освещенной неверным светом пожара улицы, пробрались в узкий переулок, пробежали в темноте, спотыкаясь на какие-то бочки и тюки, и выбежали к месту пожара.

Разрозненная кучка безличных черных фигур во всю прыть пронеслась мимо них.

— Скорей, скорей! — хрипло кричал кто-то из нее.

И вслед за тем показалась рыжая, как будто золотая от огня лошадь, круто забирающая ногами, из-под которых летели искры, и темная масса звенящих, гремящих кавалеристов, сверкая шашками, вынеслась на середину улицы.

— Руби!.. — кричал тонкий, не то озлобленный, не то испуганный голос.

Кончаев, со стиснутыми зубами и напряженными глазами, вытянул вперед руку с револьвером и, целясь выше золотой лошади, выстрелил. Тьма переулка засверкала огнями.

— Тра-та-та-тах-тах... — непрерывной дробью посыпались выстрелы.

— А-а, так! — задыхаясь, крикнул кому-то Кончаев.

Золотистая кобыла со всех ног шарахнулась в сторону, и серый ком, звеня по камням, покатился на средину улицы, как куль, с силой брошенный о землю. Темные силуэты лошадей, и вставших на дыбы, и присевших на задние ноги, мелькнули среди хаоса света и тьмы, и прежде чем Кончаев опомнился, солдаты поскакали назад.

— Ура!.. — закричало несколько голосов.

Чувство небывалого возбуждения и непонятного восторга охватило Кончаева. Он сорвал фуражку и, размахивая ею, весь озаренный ярким пламенем пожара, крикнул:

— Товарищи, наша взяла!..

— Ура!.. — опять и громче, и веселее закричали голоса. Человек в пальто, без шляпы, выбежал на освещенное место и металлическим голосом, покрывая треск пожара, закричал:

— Товарищи, строй баррикаду!.. Солдаты сейчас вернутся! Стройте баррикаду!..

Откуда-то, гроыхая, поволокли ящики, покатали бочки. Одна из них разбилась, и что-то темное полилось по мостовой. Стало весело и ничуть не страшно.

Кончаев вспомнил, что, перелезая через забор, он наткнулся на груженую ломовую телегу, и, весело крикнув Эттингеру:

— Эй, атлет, сюда! — побежал в темноту.

В переулке ничего не было видно, и Кончаев ободрал себе руку обо что-то острое. Телега была у самого забора, но завязла между бочек.

— Где вы?.. — спрашивал в темноте атлет, налезая на самого Кончаева.

— Тут, тут! берите за оглобли!.. сюда!.. Ну!.. — весь проникаясь неудержимым весельем, как когда-то, во время буйных мальчишеских игр, говорил Кончаев. Он стал тащить телегу за задок, а Эттингер напирал на оглобли. Кто-то, невидимый в темноте, подбежал сбоку, и телега, грузно и кругло заворачивая прямо на Кончаева, покатила из переулка.

— Тише, вы!.. Задавите!.. — весело кричал Кончаев. Он споткнулся на что-то мягкое и чуть было не упал. Колеса грузно переехали через это мягкое, и Кончаев догадался, что это труп убитого им офицера. На мгновение что-то гадливо кольнуло его в сердце, но сейчас же исчезло.

— Сюда, сюда!.. Вот так!.. Ладно!.. — кричал он, напрягая силы.

Телегу поставили поперек улицы, завалили бочками и тюками. Со стороны города навалили железные ворота, и что-то корявое, неуклюжее, черное и зловещее, отбрасывая колеблющуюся тень, загородило улицу.

— Флаг, флаг надо!.. — карабкаясь на верх баррикады и блестя глазами, кричал какой-то подросток.

Кусок красной шелковой материи с оборванными концами, кроваво сверкая от пожара, затрепыхался наверху.

— Вот и баррикада! — чему-то улыбаясь, сказал Кончаев.

Было весело, точно построили игрушечную крепость, и каждому хотелось еще что-нибудь придумать, устроить, улучшить «свою» баррикаду. Кончаев нашел телегу, подросток приделал флаг, какой-то приказчик сказал, что за углом сложены бревна для телефонных столбов, и Эттингер сейчас же приволок одно, оставляя по мостовой длинную борозду вывороченных камней. Бревно взвалили на самый верх, и, действительно, образовался очень удобный бруствер, из-под которого можно было стрелять.

Тем временем пожар все разгорался и перекинулся на крышу сахарного склада. Теперь горело сбоку, и тьма отступила еще дальше, и казалось, что улица кончается черными дырами в обе стороны.

Позади баррикады показались отдельные темные фигуры, боязливо подходившие и напоминавшие шакалов, тянущих на падаль.

— Ага, опять лезут, — насмешливо сказал один из дружинников.

И вдруг всеми овладела какая-то злобная обида.

«Мы тут умираем, — подумал каждый, — а они тут грабят!»

Черные фигуры, похожие на шакалов, крадучись, стали подбираться к амбару. Из темноты послышался лязг о железо и возня. Один выбежал назад и что-то быстро и с трудом уволок в темноту. Потом раздался визг, и стало совсем похоже на драку хищников.

Человек в пальто медленно отошел от баррикады, подошел к амбару шагов на двадцать и вдруг, подняв руку, выстрелил раз и другой. Два коротких выстрела слились в одну трескучую молнию, и вслед за тем раздался дикий крик, и десятка два черных фигур опрометью выскочили из амбара и исчезли.

— Сволочь... — медленно возвращаясь, сказал человек в пальто. Глаза у него сверкали от огня и казались нечеловеческими.

Кончаев хотел было что-то сказать, но промолчал и сам удивился, как мало впечатления произвели на него эти два выстрела, направленные прямо в людей. Потом он вспомнил, что, в сущности говоря, он тоже убил человека. Он искоса поглядел на то место, где чернела короткая тень от серой неподвижной кучки. Ему показалось, что ужас шевельнулся у него в груди, но это только показалось, сердце молчало, и только мальчишеская веселость сменялась суровым напряженным спокойствием.

Захотелось покурить, но папирос не было.

Ходивший назад по улице дружинник вернулся и сообщил, что во всех прилегающих к вокзалу улицах строят баррикады, а дальше громят порт, и пожар уже в нескольких местах.

— Ну и черт с ними, — сказал человек в пальто, — не в том дело!

Известие о том, что строят баррикады, подняло всех. Почувствовалась сила, и слышались бодрые мечтательные голоса:

— Ого, здорово!..

— Мы отсюда, а с броненосца будут жарить по городу.

— Главное, что броненосец не позволит установить пушки...

— Какие же тут, к черту, пушки!

— Здорово, черт возьми!..

Опять воцарилось напряженное веселое настроение, и, когда с баррикады крикнули, что идут солдаты, никто не испугался.

— По местам!.. — властно крикнул человек в пальто.

Он взобрался на край баррикады и был виден отовсюду, освещенный пожаром, в своей позе привычного оратора, без шляпы, в пальто с поднятым воротником.

Солдаты показались как-то сразу. Как будто тьма родила их, они вдруг выдвинулись во всю ширину улицы плотной, стройной массой, над которой беспокойно и неуловимо засверкали штыки.

Одинокий металлический голос рожка запел в темноте жалобно и предостерегающе, и вдруг

тьма разодралась надвое, блеснул мгновенный ряд огней, на баррикаде посыпались мелкие камни и щепки, и кто-то закричал.

— Пли!.. — скомандовал человек в пальто.

Кончаев, весь охваченный злобным восторгом, забыл о том, что его могут убить, высунулся за бревно и выстрелил. Вся баррикада расцветилась короткими желтыми огоньками и засыпалась дробью разрозненных выстрелов. Пять или шесть раз разодралась тьма в конце улицы, и скоро вся она, наполненная треском пожара, дымом, криком, грохотом выстрелов и смертью, превратилась в сплошной ужас и кошмар боя.

Кончаев сам не заметил, как он, вместе с большинством дружинников, вылез за баррикаду и медленно наступал на солдат. Вокруг него падали люди и, корчась, откатывались по склонам мостовой, а он все наступал и стрелял, и думал только об одном, чтобы каждым выстрелом убивать человека, и убить как можно больше. Ряды солдат расстроились, и расстояние между ними и дружинниками уменьшилось так, что уже стали видны мелькающие в огне и дыму, перекошенные солдатские лица, судорожные движения рук, заряжающих ружья, и копошащиеся на земле раненые.

Солдаты отступали.

Упоительный восторг охватил Кончаева. Ему было смертельно страшно, пули дергали его за пальто и сбивали фуражку, но веселая злоба, все повышаясь, сводя в судороги зубы, неудержимо влекла его все ближе и ближе, прямо в огонь.

Одну минуту он даже чуть не бросил револьвер и не побежал, чтобы уж прямо вцепиться кому-нибудь в горло и покатиться по земле в судорожной бешеной схватке.

Солдаты, отстреливаясь, кучками уходили вдоль улицы. На их стороне слышались крики испуга и боли. Здоровенный унтер-офицер, с искаженным лицом, вдруг перехватил ружье наперевес и, наклонившись, очертя голову бросился вперед, точно делая последнее отчаянное усилие.

Эттингер схватился за штык, но солдат дернул его к себе, вырвал, замахнулся, но в это мгновение с невероятной отчетливостью сознания Кончаев сбоку выпалил ему в ухо. Судорожно метнулись два серые рукава, и огромный труп тяжело покатился в сторону, прямо в огонь.

И как будто это было условлено, все солдаты побежали назад, раздалось еще несколько разрозненных выстрелов, и все смолкло.

Кончаев остановился, тяжело дыша. — Наша взяла!.. — радостно, как мальчик, крикнул Эттингер. — Ура!..

И опять слышались возбужденные громкие крики.

— Назад, назад!.. — махая рукой, кричал человек в пальто, и Кончаев, подняв фуражку, медленно пошел сзади всех. В нем все дрожало и рвалось, но нельзя было понять своих ощущений, и только чувствовалось, что каждый нерв живет напряженно и сильно до боли.

Они опять стали за баррикадой рядом с атлетом и смотрели на чернеющие по мостовой трупы.

— Наших двенадцать человек... Пятеро убито, а семь ранено... Понесли назад!.. — говорил Эттингер, и по его совершенно веселому, возбужденному лицу было видно, что он весь охвачен восторгом борьбы, и жаль только, что и «наших», а не только врагов, пострадало много.

Последующее плохо сохранилось в памяти Кончаева. Когда появились пулеметы, издали похожие на черных сердитых жуков, и на таком расстоянии, куда не хватали револьверные выстрелы, вдруг ставшие совершенно бесполезными и ненужными, начали стрелять по баррикаде, вдруг все поняли, что все кончено.

Как будто ветром смело с вершины баррикады человека в пальто, бруствер стал дымиться от пыли, камней и щеп, по всем направлениям послышались крики и стоны, и там, где они раздавались, быстро воцарялась зловещая тишина. Все произошло с такой легкостью и быстротой, что как-то стерло в сознании предыдущий успех и все его эпизоды.

— Отступать к вокзалу! — кричал, напрягая все силы, Кончаев.

Дружинники отходили, поворачиваясь и стреляя, и у всех, и у Кончаева и Эттингера, было недоуменное чувство бессильной злобы. Но когда на вершине баррикады показались красные от близкого огня лица солдат и баррикада унилась желтыми сверканиями огоньков, тело охватил ужас, и все бросилось бежать.

Упали сразу четыре человека и среди них Эттингер.

Кончаев бессознательно наклонился к нему, но что-то огненное скользнуло у него по плечу, и он, инстинктивно почувствовав, что Эттингера уже нет и то, что он подымает, уже не человек, а труп, изо всех сил побежал дальше.

— К вокзалу, к вокзалу!.. — кричали впереди, сворачивая в переулок.

Там было темно, как в погребе. Чувствовался страшный жар, зловещий от темноты. Кончаев, споткнувшись, ухватился рукой за стену и вскрикнул: она была горяча, как печь.

И как раз в эту минуту впереди его произошло что-то ужасное: черная стена быстро и бесшумно выпучилась, как живая, замерла на мгновение и со страшным треском, шипением и свистом рухнула, ударив в глаза ослепительным светом открывшегося за нею моря огня. А через ее темные выступы, как водопад, бешено ринулась какая-то белая, расплавленная, покрытая синими огнями масса, ударила в противоположную стену и покрыла бегущих впереди. Они исчезли в блеске и пене, как видения, и только невероятный визг сваренных заживо людей вонзился в дрогнувший воздух десятками острых лезвий, и все покрылось тяжелым сладким липким паром расплавленного сахара.

«Это сахар!..» — мелькнуло в голове Кончаева, он сделал судорожное усилие, чтобы удержаться на бегу, и, не испытывая ничего, кроме острого напряжения мозга, сообразил свое положение, повернул назад, перескочил через забор и побежал по каким-то рельсам, оставляя за собою грохот выстрелов, треск огня и крики людей.

Вокруг было темно, и отсюда он видел отдаленные вспышки молнии на черном горизонте моря и понял, что это стреляют с броненосца.

«Поздно... — с болезненным сожалением о том, что дело проиграно, подумал он. — Э-эх!..»

В конце пути уже виднелась освещенная платформа вокзала, вся запруженная черной толпой, и слышались крики:

— Дружинники, в поезд!.. Товарищи, сюда!..

Кончаев добежал до паровоза и, видя, что он уже медленно поворачивает колеса, как кошка, не соображая зачем, влез прямо на него.

«Теперь пока все равно!.. — думал он. — А там посмотрим!..»

Он еле дышал и, дрожа всем ослабевшим телом, опустился куда попало, вдруг почувствовав полное бессилие, слабость и равнодушие ко всему на свете.

Какие-то два человека смотрели на него и что-то говорили, но он не мог их слышать.

Поезд пошел. XIV

Еще в сумерки, хотя никто ничего достоверно не знал, в фабричном районе стало известно, что все пропало. Рассеянные толпы испуганных людей бежали откуда-то со стороны порта, «оттуда», и на них глядели с ужасом, а они сеяли по всем кварталам, по узким грязным улицам, в деревянных беззащитных домишках смятение и ужас.

В сумраке не видно было лиц, и оттого ужас терял форму и смысл и грозно обращался в бессмысленную слепую панику.

Какие-то люди бестолково перебежали из дома в дом в синем сумраке по темным окнам торопливо вспыхивали и сейчас же исчезали робкие огоньки, слышались негромкие голоса и голосный высокий плач. Лавки, двери, окна, все, что можно закрыть, закрывалось, и сумрак тревожно и странно сгущался на улицах.

Когда уже совсем стемнело, в отдалении послышалось нестройное, многоголосое пение, и можно было разобрать слова:

— Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!..

Огромная, темная, безликая толпа, с гулом и тоскливо грозным пением, точно прорвавши какую-то невидимую плотину, вдруг повалила по улице и залила ее, как поток черной движущейся массы.

Множество грубых, хриплых и страшных в своей безысходной, торжественной печали голосов, нарастая и повышаясь, загремели уже ясно и оглушительно, и рос не то смешной, не то ужасный напев:

— Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный!.. Над темной толпой колыхались темные мертвые силуэты убитых людей, поднятых сотнями рук, и в их медленном, тоскливом покачивании, в беспомощно свесившихся головах и руках было молчание смерти. Толпа медленно расплывалась по улицам, сливаясь с синими сумерками, и в чистом вечернем воздухе, через минуту уже далеко, замирая и отдаляясь, слышалось таинственно-печальное пение.

Кто-то крикнул пронзительным голосом:

— Солдаты!

И все опустело, только отдельные кучки и тени быстро и беззвучно, как мыши, зашмыгали в воротах.

И тогда откуда-то появились как будто никому не известные люди и, перекликаясь одинокими возбужденными голосами, стали строить баррикаду.

Когда проходила процессия с телами убитых, Сливин стоял на углу большой улицы и тупика и, сняв шапку, весь бледный и растерянный, что-то беззвучно бормотал пересохшими губами.

Да самой последней минуты, тысячи раз упрекая себя, издеваясь над собой, обливаясь холодным потом от презрения и от жалости к себе, он все надеялся, что ничего не будет.

«Надо, чтобы было... Если не будет ничего, то, значит, все наше дело только пуф, и больше ничего!..»

И при этой мысли его тоже обдавало холодом. Что-то сидящее внутри его овладело им и играло, как кошка с мышью, бросая то туда, то сюда, то отпуская, то притискивая когтями к земле, в то же самое мгновение, когда ему начинало казаться, что он вырвался.

Для того, чтобы он остался в живых, надо было, чтобы миг, которого он с восторгом ждал всю жизнь, не осуществился. Лучше было бы умереть. Для того же, чтобы он осуществился, надо было умереть сейчас, тут, страшно и мучительно. Лучше не было бы ничего, но тогда опять лучше смерть.

Это был заколдованный круг мышеловки, и там, где трусливая мышь находила выход, где приходила в голову мысль: «пусть всех убьют и все будет достигнуто, а я останусь жив...», там острые когти самопрезрения обдирали душу до крови, и казалось, что его сердце висит окровавленными клочьями.

Когда начали строить баррикаду и она, жиденькая и нелепая, кривыми рогатками примостилась на мостовой, Сливин весь побледнел и подумал:

«Что же я стою... Помогать... сейчас...»

И вдруг, сорвавшись с места, он побежал через улицу и не своим голосом, отлично слыша это и обмирая от стыда, закричал:

— Товарищи, вперед!..

Никто не обратил на него внимания, и, перекликаясь растерянными голосами, неясно видимые в сумраке люди продолжали бестолково суетиться посреди улицы.

У калитки одного дома Сливин увидел лестницу и сейчас же схватился за нее. Лестница была длинная и тяжелая, и он не мог ее поднять. Тогда он схватил ее за концы и, нелепо пятась задом, поволок ее к баррикаде. Лестница грохотала по камням, и этот грохот тоже казался Сливину невыносимо нелепым и кричащим о его трусости.

Почему-то ему никто не помог. Он попытался сам взвалить лестницу вдоль баррикады, но она дважды сорвалась и, наконец, застряла поперек. Сливин дернул ее несколько раз, бросил и, обливаясь потом, побежал искать еще чего-нибудь.

Навстречу два человека катили бочку. Сливин хотел помочь и ухватился за край. Но втроем было неудобно, и один из кативших сказал с досадой:

— Мы сами... оставьте!..

Сливин растерянно остановился, снял шапку и стал вытирать пот, неопределенно улыбаясь в пространство. «Что же я стою!..» — испугался он.

— Товарищи! Там, во дворе, ящики есть с опилками. Тащите сюда, — закричал кто-то с другой стороны улицы.

Сливин озабоченно надел картуз и побежал туда, но ящики уже были разобраны, и делать было нечего. Сливин оглянулся, отыскивая что-нибудь, и ему пришло в голову снять калитку. Он подбежал, схватился за низ и не снял. Перехватил обеими руками и опять не снял. Сливин обмер от позора и, тихо, нелепо ухмыляясь, вышел опять на улицу.

Баррикада была уже построена, и на ней даже болтался маленький красный флажок. Далеко за нею, в конце уходящей улицы, слабо догорала зеленоватая весенняя заря. Было пусто, и

черные фигурки защитников баррикады чернели одиноко и слабо.

— У кого есть револьверы? — негромко, но властно спрашивал какой-то чернобородый человек, почему-то оказавшийся начальником баррикады.

— У меня... у меня... у меня ружье!.. — слышались голоса.

Сливин вспомнил о револьвере, и ему показалось, что он забыл его дома. Похолодев от испуга, он нащупал в кармане холодный ствол и дрожащим голосом крикнул:

— У меня есть!..

— Значит, раз, два, три, четыре!.. да ружье!.. — считал чернобородый человек. — Эх!.. жидко!.. Как же так, ей-богу?.. — прищелкнул он языком. — Ну, ничего!

Нельзя было понять, как это «ничего», когда явно было, что надо или уходить или нелепо погибнуть, а баррикады защитить никак нельзя; но тем не менее это «ничего» подействовало ободряюще. Слышались шутки и смех.

Чернобородый расставил пять человек по местам и того, у которого было ружье, поставил посредине, под флагом. На него посматривали с завистью.

Воцарилось молчание, и только изредка позади слышались торопливые одинокие шаги, да где-то взбудораженно лаяла собака. Заря все гасла и гасла, и ночь бесшумно входила в улицу. Дома стали черными, а мостовая как будто побелела.

Прошел час и другой. Защитники сошли с мест и тихонько разговаривали, собравшись в кучки. Кое-где, в черных массах домов, зажглись слабые огоньки. Кто-то закурил папиросу, и желтенькое пламя спички на мгновение окрасило опять в красный цвет казавшийся уже черным флажок.

— Черт его знает! — тихо говорил чернобородый, — надо бы патруль выслать, а то как бы расплох не напали... Ни лысого беса не видно...

— Куда ж тут идти?.. Наткнешься прямо на казаков... — возразил кто-то в темноте. — Будем уж тут сидеть.

— Какого черта?

— Кто пойдет? А?.. Кто хочет идти? — спрашивал чернобородый, чуть-чуть повышая голос.

— Я! — выкрикнул Сливин, точно его подтолкнули, и вскочил.

— Ну и ладно!.. Двоих достаточно!.. Идем, товарищ! Револьвер есть?

— Есть, — дрожа от внутренней лихорадки, ответил Сливин.

— Ну, айда!..

Они перелезли впотьмах через ящики и лестницу и очутились за баррикадой.

Хотя и по ту и по другую сторону была одна и та же улица, но почему-то здесь казалось светлее, пустее и жутко, как на кладбище. Шаги раздавались невыносимо гулко, и сердце замирало.

«Ладно, ладно, иди, трус!» — сказал сам себе Сливин и с невыразимым отчаянием подумал, что сказала бы Зиночка, если бы увидела его бледное, мокрое от холодного пота лицо, с выпученными глазами и обвисшими мокрыми волосами на лбу.

Они стали красться вдоль забора, завернули за угол и потеряли из виду баррикаду, казавшуюся им теперь уютной, теплой, как свой дом.

Было темно, и только чуть-чуть белела мостовая. Пустота и тишина неподвижно замерли над улицами. Но когда они вышли на край площади, за темным силуэтом церкви увидели слабое, то падающее, то поднимающееся зарево и услышали отдаленные выстрелы.

В это время штурмовали баррикады в порту. Там все горело и рушилось, грохотало и кричало, умирали люди, озлобленные до ужаса, но отсюда все казалось очень маленьким и почти безмолвным. Только было жутко.

Сливин и чернобородый остановились и долго чутко прислушивались.

— Это в порту стреляют! — прошептал чернобородый. Сливин вспомнил Кончаева, и сердце его заняло тоскливо и тревожно.

— Ну, идем!

Они опять тронулись, вытянув шеи и прислушиваясь ко всякому звуку, каждую минуту инстинктивно готовые опроретью кинуться назад.

Страх пустоты, тишины и мрака все больше и больше рос вокруг Сливина. Нервное напряжение его достигало высочайшего давления, и казалось ему самому, что если кто крикнет, кинется, он сойдет с ума.

«Боже мой, какой я трус! Боже мой, какой я трус! Боже мой!..» — вертелось у него в мозгу огненное колесо. «Пора назад!» — еле выдавливая слова ссохшимися губами, прошептал он.

— Немного еще пройдем!.. Надо же разузнать, — возразил чернобородый.

Они прошли еще один поворот.

Вдруг из-за угла показались прыгающие по мостовой полосы света, слышались веселые голоса и стук подков по камню, точно там стоял целый ряд лошадей.

— Они, — шепнул чернобородый, останавливаясь. — Надо посмотреть!.

«Зачем? — хотел было сказать Сливин, но мысленно ударил себя по лицу и со злобным презрением подумал: — Да, зачем — подумаешь, какое благоразумие... о-о, трус проклятый!.. иди смотри, а то!..»

Было похоже, точно у него в душе ссорились два человека, и один смертельно презирал другого и не жалел его, а другой плакал от тоски и страха.

Они продвинулись еще несколько шагов и остановились опять. Тут сейчас за самым углом горел на мостовой бойкий светлый костер, и веселые тени прыгали по розовым стенам домов. Солдаты стояли и сидели вокруг огня. Дальше в тени смутно виднелись черные лошади, и их умные морды с блестящими глазами то появлялись, то исчезали во мраке.

Два солдата боролись посреди улицы, забавно перетянув на шею свои неуклюжие шинели, и их огромные угловатые тени тоже боролись на стене. Остальные следили за борьбой и смеялись.

— Трофимов, не поддайся!.. — кричал один.

— Куда ему, ослаб! — смеясь, отвечали другие.

— Эх-эх!.. — крякал один из борцов. Чернобородый, притаившийся в темноте, вдруг со

страшной силой, судорожно сжал руку Сливина.

— Ишь, подлецы! — чуть слышно прошипел он, — там людей убивают, а они... а, мать их!.. Вот бы пальнуть! Больно ловко!.. — оживленно прибавил он.

И вдруг произошло что-то такое ужасное, что весь мир заблестел перед Сливиним, как закрутившееся в вихре огненное кольцо.

Чернобородый вытянул руку, и три поразительно резких ярких выстрела прогремели по направлению к солдатам. Кто-то там пронзительно закричал, кто-то как будто упал, как будто сотни лиц с широко выпученными глазами заглянули в самую душу Сливина, и в следующее мгновение перед ним был только мрак, пустота улицы и быстрый ветер, бивший в лицо.

Они рядом неслись по улице, сжав в руках револьверы, и улица неслась им навстречу, мелькая в темноте черными окнами, впадинами ворот и призраками фонарей, смотревших на них, как живые.

Сливин хрипел и задыхался от бега, в груди его неудержимо колотилось сердце, и ужас, ни с чем не сравнимый, уносил его, как ураган.

— Что вы... сделали!.. — прохрипел он, задыхаясь.

— Ладно... по крайности!.. — прокричал чернобородый срывающимся от бега и волнения торжествующим голосом.

Сзади уже слышался звонкий дробный стук копыт нескольких лошадей, скачущих во весь опор, слышались озлобленные крики, и две яркие молнии с сухим треском пронизали тьму. Казалось, вся улица, весь мир ожили и бешено несутся в погоне за Сливиним.

«Все равно, — мелькало у него в голове, как бред. — Сейчас схватят!.. убьют!.. убьют!.. сейчас!..»

Он задыхался, весь рот переполнился липкой горячей слюной, и хотелось ткнуться в мостовую и тупо, покорно ждать.

Он сделал страшное усилие, чтобы подавить это смертельное желание.

— Все равно!.. пропали!.. — крикнул чернобородый и вдруг остановился. — Стой!..

Но Сливин всхрипнул всей грудью, свернул за угол и, сам не зная как, ткнулся под забор, залез в какую-то глухую черную дыру и замер с хрипом и мучительным усилием, захлебываясь слюной и видя перед собой только огненные круги.

Где-то близко он услышал быструю прерывистую трескотню выстрелов, крик и молчание.

Прошло минуты две. Послышался спокойный стук подков, и во мраке неясно проехали по середине улицы невероятно, как показалось, огромные тени двух лошадей и двух людей, молча качавшихся на седлах.

Сливин долго-долго лежал в своей дыре, и то, что медленно и тупо шло перед его глазами, было бессвязно и непонятно.

Его трусость, это нелепо безобразное и унижительное бегство, в котором весь мир слился в одно паническое желание спастись, эта темная дыра, похожая на нору трусливого ночного зверька, острое сознание, что он должен был остановиться, как и тот, стрелять, умереть, чтобы не чувствовать этого гнетущего презрения к себе, и не менее острое сознание невозможности и невозвратимости этого — подавили его, как гора песчинку. И в эту минуту

для него самое жалкое, самое маленькое, самое гаденькое в мире было — он сам.

И в то же самое время, когда вся душа его замирала от унижения, длинное, неуклюжее тело тщательно ежилось, забиралось в дыру все дальше и дальше, в нелепых судорогах отвоевывая у тьмы все новый и новый кусочек невидимости. По временам ему казалось, что он исчез в темноте, что его нет, но в ту же секунду он замечал слабый отблеск света на ноге, на руке и лез дальше, точно, в самом деле, хотел влипнуть в стену.

«Подлец, подлец!.. — крутилось у него в голове. — Вылезти, сейчас вылезти!.. Дождаться, когда они будут ехать назад, и выстрелить...»

«Надо стрелять в спину, раз и два... в обоих... они не успеют и обернуться... А вдруг промахнусь, что тогда?» — мелькала под этой мыслью другая, и нельзя было не видеть этой мысли, и сознание ее, ее неуловимая живучесть томили его мозг до уродливого сумасшедшего кошмара.

Как будто бы все время мозг работал остро, напряженно; как будто ярко и непрерывно возникали образы; пение толпы, плывущей в синих сумерках, выстрел, осветивший мгновенно и ярко стену и чернобородое хищное лицо, милые нежные глаза Зиночки, бегство, крики, силуэты огромных лошадей — все это плыло мимо, сменялось, повторялось, как будто переживалось вновь, и в то же время был как будто длинный период полного тумана и отсутствия сознания, потому что вдруг толкнуло в сердце и перед глазами ясно засинел слабый предрассветный свет, показалась белая мостовая, черный силуэт укрывавших его ворот, собственные скорченные ноги. Было мучительно холодно, и во всем теле ныла тоскливая беспомощная слабость.

Сливин, с трудом разгибая колени, выполз и выглянул на улицу.

Было пусто, тихо и светло. Озябшие за ночь голуби торопливо расхаживали по побелевшей мостовой и казались как-то странно оживленными среди общей безмолвной и светлой пустоты. Воздух был чист и влажен, а небо, светлое и прозрачное, розовело с одного края.

В первую секунду Сливину показалось, что все кончено, и он проснулся, но сейчас же услышал отдаленные неясные звуки пальбы и догадался, что где-то борьба продолжается.

«Надо идти туда!» — подумал он, вставая и качаясь от слабости. Но холодный туман тупо давил ему на мозг, и не хотелось ни идти, ни думать.

Он только посмотрел на небо и удивился, что уже прошли сутки. Как будто всего часа два тому назад строили баррикаду.

— Как скоро!..

Но потом вспомнил, сколько мелочей и ужасов поместилось в этом промежутке времени, и ему показалось, что вчерашний день, проводы Зиночки, кошка, что кралась по забору, доктор Лавренко — все это было когда-то давно, в невозвратимой вечности.

Он уже стоял на тротуаре и тупо оглядывался вокруг.

«Как тяжело, как тяжело, и никогда мне не пережить этого ужаса... Хотя-я!.. — подумал он, вспомнил при этом слове Зиночку и грустно-радостно улыбнулся сквозь слезы, выступившие на глазах. — Ничего!.. Скоро ли, долго ли, а настанет то удивительное, счастливое солнечное время, когда все это уже пройдет и будет вспоминаться, как сон... И как странно будет вспоминать! Какая будет новая, светлая, необыкновенная жизнь!.. Как буду я дорожить каждым ее мгновением, каждым ощущением!»

Круглый и тупой звук родился в воздухе и... б-бах... разразился где-то далеко-далеко в

городе.

«Пушка!..» — отчетливо сообразил Сливин и пошел вдоль забора, чутко оглядываясь и всем телом ощущая, что оживает, переполняется силой и бодростью... Лихорадочная чуткость, вздрагивающая от невыносимо громкого стука его каблуков, вела его ловко и неслышно, как тень, по бесконечному белому тротуару.

«Надо пробраться в порт, должно быть, это там дерутся», — думал он, озираясь большими острыми глазами.

— Трах-тах! — щелкнули два торопливых выстрела в соседнем переулке.

Сливин остановился как вкопанный и ясно почувствовал пот на лбу. Какая-то удивительная ловкость и сообразительность вдруг появились в его длинном вялом теле. Он быстро схватился за верхнюю доску забора, почему-то обратил внимание на цепкие, худые, синеватые от холода, грязные пальцы своих вытянутых из рукавов рук, бесшумно поднялся на верх забора и мягко спрыгнул в обширный пустой огород.

Отсюда были видны синеющие крыши домов города и далекие, густые облака дыма, медленно всползающего в бледно-сиреневое небо. Вокруг был обширный пустой огород, и ряды черных, чуть тронутых зелеными всходами гряд лежали неподвижно и пустынно, как на кладбище. Никого вокруг не было. Сливин, все еще внутренне дрожа, остановился и оглянулся. По крышам домов он догадался, в какую сторону надо идти, перешел огород, увязая в мягких грядах, ухватился опять руками за забор и поднялся на него.

Недалеко по переулку, узкому и пустому, шатаясь и что-то бормоча, двигался человек. Это был огромный худой мужчина, но нельзя было разобрать, кто такой. Черная обугленная фигура, покрытая слоем красно-черной грязи, оставляя на каждом шагу пятна крови и грязи, волочила по тротуару какие-то кровавые лохмотья, и Сливин не мог даже сразу разобрать, клочья ли это отгоревшего оборванного мяса или налипшая кровью и гарью одежда.

Но прежде, чем он успел сообразить что-нибудь, произошло нечто, мгновенно и ужасно изменившее все вокруг. Из ворот какого-то дома, как из звериной норы, совершенно молча вывернулись три человека, и первый, усатый солдат в черной шинели городского, с размаху рубанул длинной свистнувшей шашкой в мягкую и липкую кучу мяса обгоревшего человека. Острый и хриплый крик невыносимого ужаса огласил пустой белый переулок. Кровавая куча взмахнула оборванными, брызнувшими кровью руками и, тяжело рухнув на тротуар, скатилась на мостовую, оставляя кровавые клочья на камнях. И все это ослепительно ярко врезалось в глаза Сливину не людьми, а красными, с безумными и страшными глазами, пятнами.

То, что произошло затем, было уже вне его сознания и воли. В неодолимом взрыве отвращения, ненависти и ужаса Сливин не спрыгнул, а свалился на тротуар, что-то закричал и побежал на тех людей. Он видел, как все три оглянулись на него, видел их выпученные глаза и открытые рты, видел, как двое побежали от него, а один, городской в черной путающейся вокруг ног шинели, — прямо на него. На одно мгновение мелькнули перед ним огонь и дым, в котором исчезли злобные тупые глаза, и в ту же минуту он увидел дважды сверкнувшее пламя в конце своей вытянутой руки и сквозь дым, с невероятно острой жестокой радостью, заметил взмахнувший обеими руками черный силуэт, запрокинутую голову с взъерошенными усами и вдруг черную кучу с торчащими навстречу неподвижными белыми подошвами сапог.

— Ура! — нелепо закричал Сливин и, весь наполненный острой мыслью не упустить, не глядя, перескочил через черную кучу и побежал за быстро удаляющимися по переулку двумя спинами. — Ура!..

Мгновенно из-за угла вылетела куча людей и лошадей; совершенно спокойно, точно он этого

ожидал, Сливин выстрелил и с тою же острой радостью увидел, что попал, но в эту же минуту что-то треснуло его в ухо; лошади, люди, небо и дома завертелись колесом, и, как показалось Сливину, он сам по оплошности и неловкости, чего можно было бы избежать, ударился головой о мостовую.

Его подняли и поставили на ноги. Он мгновенно пришел в себя и необыкновенно отчетливо увидел все. Вокруг толпились солдаты, совершенно бесцельно, как ему показалось, хватавшие и толкавшие его со всех сторон. У них были совершенно бессмысленные красные лица, а у одного вся щека была окровавлена. Этот маленький, худенький солдатик больше всех толкал и бил его и все старался достать до лица. В стороне стояли большие худые лошади, и те же солдаты копошились над чем-то черным и серым, на чем виднелись красные пятна. Между ногами копошившихся солдат Сливин увидел неподвижно лежавшую на мостовой скрюченную руку в сером обшлаге и две пары ног, одну меньше, другую больше, белевших подошвами.

«Это я убил», — мелькнуло у него в голове, но не было уже той острой жестокой радости, а было все равно, и все внутреннее напряженное внимание сосредоточилось внутри себя около чего-то огромного, все разрастающегося, чего нельзя было еще понять.

Его ударили по зубам и разбили в кровь, но он только дернул головой и, не мигая, смотрел вверх перед собой. Ударили еще два раза, что-то кричали хриплыми голосами и вдруг отошли, оставили.

Он не понял почему и оглянулся все теми же светлыми, смотрящими внутрь глазами. Солдаты стояли вокруг и молча смотрели на него странными, как будто ожидающими лицами.

«Ну что ж? Почему меня не убивают? — удивленно подумал Сливин. — Бейте, убивайте, я убил!..»

Но он молчал, и солдаты молчали.

Должно быть, подъехал офицер на большой черной лошади, и у офицера было сердитое усатое лицо. Кажется, он что-то говорил, и слова его Сливин слышал и понимал удивительно отчетливо, кажется, офицер замолчал и смотрел на него так же внимательно и странно, как и солдаты. Но главное было не в том, а в том, что перед глазами светлело, и росло, и ширилось небо, и что внутри Сливина совершалась какая-то тайная, непонятная ему и никому огромная работа.

— Ну, что ж?.. Идите, что ли!.. — услышал он нерешительный голос и пошел.

Он пошел бы теперь куда угодно. Ему было странно вспомнить прошедшую ночь, страх, дыру. Казалось, он пережил сейчас что-то такое огромное, невыразимо полное, после чего уже все было незначительно, неважно и можно было идти, куда они хотели, хотя бы и на смерть.

Неловко толкаясь, звеня длинными шашками и неуклюже, на ходу снимая через головы ружья, солдаты отвели Сливина подальше от убитых в конец переулка и все время поглядывали на него молча, украдкой, внимательными и как будто непонимающими глазами.

Сливин шел сам, прямо и твердо, высоко подняв голову и глядя поверх голов идущих впереди солдат немигающими, влажными, светлыми глазами, точно он вырос и стал выше всех. То же огромное, светлое и полное, похожее на мучительное счастье чувство наполняло его грудь и подымало ее в уже нездешнем восторге. «Вот и смерть, которой я так боялся, — мелькнуло у него в голове. — Конец!.. Ну, что же? Я умираю, но это вовсе не страшно и не важно».

Бледно и отдаленно мелькнули перед ним образы Зиночки, Лавренко, Кончаева, матери, взглянули ему в душу и исчезли, растопились в ее белом свете. Он был уже один, и никто и ничто в мире не могло нарушить то торжественное и светлое напряжение души, в котором на мгновение, перед концом своим, замерла его жизнь. Сливина поставили против кирпичной стены старого сарая, на едва проросшей между камнями весенней травке, и оставили одного, перед рядом шести ружей. «Ничуть не страшно и не тяжело умирать... Не в этом дело. И как я раньше не догадался об этом... — с радостно удивленной улыбкой, не словами еще, подумал Сливин, глядя на солдат и их маленькие ружья остановившимися, светлыми и влажными глазами. — Прощай, жизнь! Я не жалею... Прощай!»

Гул пушечного выстрела кругло и упруго вырос над домами и с треском разразился вверху, заглушив негромкий залп шести ружей.

Сливин, вскинув руками, схватился за траву. На мгновение выражение боли и ужаса мелькнуло в его еще живых глазах, но сейчас же сменилось спокойным и строгим выражением смерти.

Солдаты постояли над ним. И как будто ждали чего-то, что объяснило бы им то странное сложное чувство, которое встало в их тупых и кротких душах от этого непонятого убитого человека.

Они ушли, не трогая его, и труп долго лежал на траве у сарая, устремив в широкое синее небо мертвые глаза и раскинув руки, точно он хотел обнять ими весь мир, солнечный, голубой и прекрасный в своей теплой и тихой весне. XV

Было уже утро. Паровоз стучал и дрожал от собственной страшной силы, а мимо быстро мелькали и проносились серые от росы поля, намокшие березки, мокрые стволы и крыши сторожевых будок. Было холодно и сыро, и все было серое и мокрое: и лица людей, и деревья, и блестящие металлические части паровоза. Дым, точно мокрая вата, белыми разорванными клочьями цеплялся за чахлые кустики и медленно таял позади.

На станции, которая промелькнула мимо, какие-то люди кричали и махали руками, о чем-то предупреждая, но поезд, не останавливаясь, с грохотом и звоном прошел дальше.

— Нельзя останавливаться! — сказал машинист Кончаеву так просто, точно они вместе делали одно общее дело. — Уклон близко, и если остановиться — потом не разгонишь, а нам надо пролететь во весь мах...

Кончаев тупо кивнул головой. Страшное возбуждение, в котором прошел день, теперь упало и, падая, унесло из тела всю силу и из души все, кроме сознания тяжелой, тупой усталости. Хотелось лечь где попало и заснуть, забыть все, что было и будет. Голова одновременно стала и тяжелой, и легкой, тянула вниз и качалась от малейшего толчка. Плохо соображая, он равнодушно выслушал машиниста и сел на приступочек тендера, прислонив голову к холодному твердому железу. И сразу беловатый туман охватил его, и Кончаев поплыл куда-то в сторону сладко и бессильно, как человек, у которого закружилась голова.

А поезд все шел вперед. Уклон приближался со страшной быстротой. Машинист, черный, сухощавый и твердый, высунувшись из окна, напряженно смотрел вперед, и казалось, что он видит там что-то страшное. Маленький кочегар деловито и не спеша ворошил железной лопатой, и ее скрежещущий звук невыносимо лез в уши. Кончаев сквозь тяжелую дремоту чувствовал, будто именно этот скрежещущий звук и есть то, что всех мучит, но не имел силы сказать об этом. Он уже спал, хотя сознавал, что сидит на приступке тендера и смотрит прямо на циферблат барометра. В усталом оцепенелом мозгу его странно мешались вместе и серые прозрачные призраки пролетающих мимо в утреннем полусвете березок и столбов, и яркие, точно освещенные большой лампой призраки сна. Паровоз стучал и дрожал, но выходило так, что кто-то тряс за плечи и говорил ему о чем-то очень интересном и даже смешном, но о

чем именно, разобрать нельзя.

— П...подожди!.. — пробормотал Кончаев и опять ясно увидел все светлее и светлее обрисовывавшиеся поля, лужи, медные трубки, белый циферблат и кочегара, уже не скребущего лопатой, а неподвижно смотрящего в другое окно. И теперь казалось, что и кочегар видит впереди что-то страшное.

В голове Кончаева была пустая, непрозрачная, как беловатый туман, усталость, и он сделал мучительное усилие, чтобы понять, где он и зачем. И, наконец, вспомнил, — что он на паровозе, что они увозят из города боевую дружину, что все пропало, и на уклоне вблизи дачного места, где в прошлом году играла летом музыка и он познакомился с Зиной, их должны встретить солдаты, и тогда будет смерть.

Страх и тоска шевельнулись у него в груди, и на мгновение стало тошно. Он высунулся на левую сторону и с трудом узнал место. До уклона оставалось минут десять езды.

Вдруг машинист повернулся к Кончаеву и сказал глухо и как будто равнодушно:

— Идем всюду!.. Поддувало открыто!.. Будут стрелять, все-таки проскочим, а там Бог даст...

Какая-то белая пелена скользнула по глазам Кончаева.

— Ага! — сказал он, со страшным усилием стряхивая дремоту.

— Я предупреждаю, что мы каждую минуту можем взлететь на воздух... Либо под уклон слететь... Но ведь теперь все равно, нас расстреляют всех до одного человека!..

Машинист отвернулся и опять стал смотреть в окно. Кончаев сел на свою приступку и, силясь держать глаза открытыми, подумал:

«Что он говорит?.. Ну, да, я знаю... Мы сейчас взлетим на воздух... подожди!.. Да, сейчас уклон!.. Смерть!.. Ах, все равно!.. Только бы скорее все кончилось, и потом спать, спать... А Зина?.. Нельзя спать!..»

Чей-то тоненький голосок запел над ним длинную и странно печальную песню:

— ...Бжжж-и-бжжж-у... бжж-и-бжжж...

Кончаев открыл глаза. Маленький кочегар стоял наверху тендера, и сильная струя воды била на дрова.

— Бжж-и-бжж-у... — пела струя, то повышаясь, то понижаясь, и в этой непрерывной мелодии было тоскливое, и грозное, и печальное, как в погребальном пении.

«Господи, и когда этому конец?» — тупо и мучительно кружась, думала голова Кончаева, как будто независимо от него самого, а он видел зеленый коночный вагон и дым.

Кто-то побежал и закричал, размахивая руками:

— Товарищи!

Кончаев хотел бежать за ним, но споткнулся на мягкую и холодную кучу трупов и полез через нее, скользя в липкой крови и обрываясь среди спутанных мертвых рук и ног.

«Что ж я сплю? — говорили проблески сознания. — Может быть, сейчас смерть, а я сплю... Надо ужасаться, что-нибудь делать!.. Э, все равно!.. Лишь бы спать... Один бы конец!»

И ему стало казаться, что хорошо, если смерть. Тогда будет такое голубое, вечное

спокойствие. Так сладко будет лежать и не слышать этой однообразной непрестанной мелодии, не мерзнуть, не видеть мелькающих мимо призраков, не знать, что сейчас будет она — смерть.

Зиночка подошла, взглянула ему в лицо печальными, светлыми глазами и отошла, растаяв в тумане, а кто-то опять стал рассказывать ему что-то страшно интересное и показывать какую-то записку, на которой написано только одно слово, но перед глазами белый туман и нельзя прочесть. А нужно прочесть, и это мучительно, и еще мучительнее холодно.

Вдруг что-то изменилось, мгновенно и страшно. Кончаев открыл глаза, и они были остры и ясны, как никогда. Паровоз уже не стучал и не качался, он весь дрожал мелкой, мелкой дрожью и весь стонал. Ветер свистел мимо, и все вокруг слилось в одну бешено мчащуюся назад серую полосу. На голове Кончаева не было фуражки, и холодный мокрый ветер рвал волосы.

— Уклон! — прокричал ему машинист, на мгновение поворачивая бледную голову. И его голос сквозь стон, свист и рев чуть-чуть долетел до Кончаева, скорее угадавшего, чем понявшего смысл его слова.

И вдруг, казалось, весь мир с ужасающей силой начал заворачивать и клониться в какую-то бездну, направо и вниз, вниз.

Дикий ужас охватил Кончаева, глаза выпучились страшно и почти бессмысленно, и в то же время непонятный бешеный восторг наполнил все его тело, ему захотелось гикать, кричать, свистать. Он судорожно открыл рот, но потом не помнил, кричал или нет. Мгновенно промелькнули мимо полосы бледных желтых огней; Кончаев услышал треск и звон разбитых стекол, кто-то сильно рванул его за полу пальто, и все исчезло, как страшный кошмар. Мимо замелькали деревья, зелень, лужи, и паровоз уже опять качался и стучал по-прежнему.

— Слава Богу, пронесло! — подымаясь из-за кучи дров, тоненьким слезливым голоском проговорил кочегар и, сняв шапку, стал креститься.

Железное лицо машиниста смотрело на Кончаева со странной ненормальной улыбкой.

— Ушли! — коротко сказал он.

Кончаев с радостным недоумением и чувством необыкновенной светлой легкости во всем теле рассматривал порванный рукав.

— Еще немножко, и прямо бы в бок, — весело улыбаясь, сказал он.

— Идите сюда, сюда! — кричал кочегар с верхушки тендера.

Кончаев торопливо полез вверх и увидел странные сверху плоские крыши вагонов, а за ними убегающие вдаль белые рельсы и синеватый перелесок. Далеко, далеко, все уменьшаясь, но отчетливо видные в розоватом прозрачном свете росистого утра, перебежали по опушке какие-то крошечные фигуры, и слабые круглые дымки чуть-чуть серели над ними.

Что-то странное делалось в душе: хотелось плакать от радости, кричать, смеяться, петь чистым звонким голосом, и странно казалось, что несколько минут тому назад был вокруг только беловатый, густой и тяжелый туман усталости. Казалось, что еще никогда в жизни тело не было полно такой силы, голова так прозрачно и ярко полна сознанием, а душа — радости, такой чистой и светлой, как само прозрачное, полное света и блеска весеннее утро.

Весь вчерашний день темной полосой прошел перед глазами Кончаева и растаял в радостном свете. Могушая решимость наполнила грудь, и, точно никогда не переживая ни горя о погибших, ни омерзения перед ужасом смерти, ни страха, ни тоски, Кончаев заблестел

глазами и крепко сжатым молодым кулаком погрозил в сторону города.

Небо было теперь чисто, и в прозрачно сиреновом его просторе легко и высоко стояли розовые пушистые, как барашки, облака. В той стороне, где всходило солнце, все ослепительно ярило, сверкало и искрилось белым золотом. XVI

Из скверной, скучной и несправедливой человеческой жизни не могло сразу исчезнуть множество глупых, слабых и жестоких людей, которые делали ее такою. И волна, которую хотели доплеснуть до неба, упала вниз от собственной тяжести.

Некоторое время на поверхности еще крутились разорванные клочья пены и мутный ил, поднятый со дна водоворотом, но уже всем было очевидно, что на этот раз все кончено. В отдаленном квартале в дыму, крови и пыли, среди обломков и треска выстрелов уже без всякой надежды и, казалось, без всякого смысла кучки обреченных себя на смерть все еще отчаянно защищали свои баррикады, но в центре города уже открылись магазины, очистились от обломков улицы, подмели панели, засыпали песком пятна человеческой крови, и бесконечной, суетливой вереницей туда и сюда опять побежали муравьи. За поднявшимся грохотом деловой жизни выстрелы с окраин не всегда были слышны, а когда долетали, вызывали уже только гнетущую бессильную тоску у одних, любопытство у других, усталую злость у третьих.

Те, кто пострадал, молча и уединенно по своим углам зализывали раны, а остальные всем существом ощущали одно, что они остались живы, и, как будто в первый раз поняв всю прелесть жизни, радостно вдыхали мягкий весенний воздух и смотрели вокруг оживленными, проснувшимися глазами.

Никому не хотелось помнить, что по всем мертвецким города лежат кучки безобразных закопченных трупов и что эти трупы еще сохраняют черты вчера живших людей.

А между тем в возобновившейся старой, привычной жизни что-то невидимое, как червь в яблоке, начало какую-то тайную работу.

Доктор Зарницкий вернулся домой на другой день, когда уже все, казалось, успокоилось. Он осунулся, побледнел, и глаза у него блестели неровным, скользким блеском. Он чувствовал себя нездоровым, страдал от легкой тошноты и слабости, но был, как всегда, красив, аккуратен и так же твердо держал голову.

Дома он пробыл недолго, находясь в беспокойном болезненном состоянии. Что-то неопределенное, сосущее и гнетущее стояло внутри, и нельзя было отделаться от него.

Надо было обдумать свое положение, но оно ускользало от него. Сначала Зарницкому казалось, что исход найти легко: надо уехать как можно дальше и там, где его никто не знает, начать новую жизнь. Эта новая жизнь должна быть как можно лучше, красивее, полнее и веселее, потому что иначе зачем же он поступил так, как поступил. Он приехал домой с мыслью об этой жизни, полный тоскливого желанья как можно скорее развязаться со всем старым, опоганенным и стыдным, но как только вошел в свою квартиру, сразу почувствовал, что это не так просто и что узел затянут туже, чем он думал.

Тысячи мелочей вдруг выросли на пути: нельзя было уехать, не сдав дела, надо было расплатиться с долгами, обдумать отношение к Тане, развязаться с квартирой и т. д. и, главное, — и это открытие испугало Зарницкого — не было сил уехать, не убедившись, что действительно все кончено. Смутная надежда, крохотная, явно обманчивая, ни на чем не основанная, но живучая, все-таки шевелилась на дне души.

«В сущности, ведь никто не знает, где я был и что делал? От сборного пункта меня могли отрезать, арестовать и мало ли что. Ведь многих, наверное, действительно отрезали, но из

этого вовсе не значит, что они должны считать себя опозоренными... Странное дело!..»

«Нет, что уж тут! — тоскливо отвечало сознание непоправимой действительности. — Те могут не считать, потому что они действительно... Им и в голову не приходит, чтобы кто-нибудь заподозрил их в трусости, а оттого их никто и не заподозрит. А я дело другое, я знаю. Это — арест и прочее — могло быть, но не было. И обман только ярче, глубже осветит глубину падения. Кого я заставлю поверить?»

«А может быть, те, которые знали, убиты... Ах, если бы так!..»

Последняя мысль не была мыслью, и, даже не подумав, а только почувствовав ее, Зарницкий испугался и притворился, что мысли этой не могло быть у него. Была одна секунда, когда в душе, наконец, вспыхнуло возмущение и захотелось назло всем остаться таким, как он есть, со всеми пороками и подлостью.

«Ну, да! А и подумал... бы, так имел бы на то право. Ну, что же, пусть и убили. Никто не может заставить меня не желать этого».

Но это возмущение погасло мгновенно. Зарницкий почувствовал, что для того, чтобы самому поверить в свое право делать и думать так, как хочет, надо уметь и сказать громко то же самое. Но невозможность этого была для него явна: если бы он мог, то тогда лучше бы прямо и открыто сказать, что он, уклонившись от опасности, плевать хочет на всех. А так как он уклонился от опасности тайно и только о том и думал, чтобы сохранить тайну, то не оставалось другого, как продолжать лгать и...

— Уехать туда, где меня никто не знает!..

Так образовывался заколдованный круг, в котором с тоскою вертелся Зарницкий, стоя у окна своего кабинета и глядя не в окно, на яркую солнечную улицу, по которой шли и ехали люди, точно нарочно катаясь перед его окнами, а на носки своих изящных, светло вычищенных сапог.

Таня, в чистеньком платье и передничке, такая вымытая и аккуратная, точно она только что старательно приготовила себя для него, лукаво топотала каблучками по комнатам и ждала снисходительного внимания. Но хотя Зарницкий непоколебимо считал себя неизмеримо выше ее, для него теперь было невозможно посмотреть ей в глаза.

«А вдруг знает?» — трусливо спрашивало внутри него. Он презрительно улыбался и кривил губы, но в то же время чувствовал, что эта улыбка уже не ограждает его, как прежде, от людей, которых он считал ниже себя. Самый вопрос о том, что горничная может что-то знать о нем, как бы давал ей право знать, и это было слишком невыносимо. Зарницкий взял палку, шляпу, надел свое отличное пальто, в котором он казался еще выше ростом и красивее, и вышел на улицу.

Блеск весеннего солнца ослепил его и облегчил. В его свете растаяло темное чувство. Голубое небо, золотые столбы солнечных лучей и мелькавшие по тротуарам легко, по-весеннему одетые красивые и молодые женщины, напоминавшие ему о бесконечном разнообразии самых острых наслаждений, были так прекрасны и полны жизни, что сама собой пришла ободряющая мысль: «Все минется, а как бы то ни было, еще целая жизнь впереди».

Он облегченно вздохнул, выпрямил грудь, привычно уверенным жестом подозвал извозчика и велел ехать в больницу.

Плавно поплыла назад мостовая, замелькали дома и люди, оглядывавшиеся на Зарницкого. Стало еще легче, и будущее показалось вовсе не таким безнадежным.

Немного стало досадно, что за проехавшим извозчиком не удалось увидеть лица маленькой блондинки, а у нее было такое розовое маленькое ушко, такие пышные сухие волосы и так она особенно колыхалась на ходу, что лицо должно было быть интересное. Зато можно было довольно долго наблюдать за высокой брюнеткой, с удивительными черными глазами, черные волосы которой и матовый цвет лица ослепительно заманчиво выделялись из голубой подкладки распахнутой меховой кофточки.

«Черт знает! Вот подбери какое-нибудь другое сравнение, кроме жгучих глаз?» — невольно улыбаясь, сказал сам себе Зарницкий и еще раз оглянулся на молодую женщину, таинственно и гордо мерцавшую своими удивительными глазами.

«А вот это бюст!..» — вздрогнув ресницами, скользнул он по выпуклой обтянутой материей женской груди, дерзко колыхавшейся, точно дразня и маня проходящих мужчин. Задорные веселые глазки взглянули прямо на него и, точно угадав его тайные мысли, тоже вздрогнули ресницами.

Солнце светило ярко, и земля как будто таяла. Весенний воздух возбуждал жуткое сладострастное чувство, и оно было остро, почти до муки, когда впереди показывалась стройненькая, гибкая и хрупкая фигурка девушки-подростка, в которой неуловимо тонко играла смесь невинной, чистой, как утро, девочки и уже волнующейся от взглядов мужчин женщины.

— К главному подъезду прикажете? — поворачиваясь, спросил извозчик.

И все исчезло. Солнце перестало светить, женщины исчезли, весеннее небо потемнело, а внутри его большого, статного тела что-то оборвалось и упало.

«Бросить все дела, квартиру, деньги, Таньку и все, и долой, как птица... Ведь я свободен. Не надо переживать ни сомнений, ни унижений, ведь... я свободен!» Крылатая мысль нарисовала перед ним воздушный солнечный простор — свободу.

«Но ведь я этим только подчеркну, что их подозрения — правда... Ну, так что ж? И черт с ними, разве я не свободен? Нет... все равно уж... рано или поздно придется пережить это... А может быть?»

Зарницкий согнулся, как больной, и глухо ответил:

— К главному!

Если бы кто-нибудь посмотрел на Зарницкого в ту минуту, когда он слезал с пролетки, Зарницкий показался бы ему стариком, а если бы сам Зарницкий мог увидеть себя, он ужаснулся бы.

Как всегда, швейцар распахнул ему тяжелую дверь с медными ручками; как всегда, этот старый солдат ему почтительно поклонился; так же кланялись все служащие, сиделки, сторожа, встречавшиеся в коридорах, так же поспешно расступались перед его плотной сильной фигурой жалкие колеблющиеся призраки больных, слоняющихся вдоль стен, точно тени. Но для Зарницкого все это было то же, да не то. И ему самому стало понятно, что перемена произошла только в нем самом, и, поняв это, Зарницкий ужаснулся. Ему вдруг показалось, что он сам выдаст себя, выдаст каким-то необыкновенным, но ясным для всех образом. Это было болезненно, от этого острее почувствовались тошнота и слабость, томившие его со вчерашнего дня, и Зарницкий ясно почувствовал, как по всему телу его выступил липкий горячий пот и как он перестает сознавать себя и владеть собою.

«Я болен, что ли?» — со страхом подумал он.

Мгновенное бредовое ощущение пронеслось у него в мозгу. Что-то тонкое, неуловимо острое, скользя и извиваясь, побежало позади этих больных, сквозь сиделок и фельдшеров, по лестницам вверх и вниз, на мгновение наполнило всю больницу и пропало. Закружилась голова.

Делая над собой усилие и стараясь овладеть неуловимой странной мыслью, впервые пришедшей в голову, в которой вдруг почувствовалось что-то совершенно новое, неожиданное, но все объясняющее, Зарницкий поднял голову и пошел по коридору.

И тут ему попался навстречу седенький толстенький старичок, главный врач больницы. При виде его Зарницкий приостановился и съежился, точно собираясь бежать, но главный врач ничего не знал, не видал, не слышал и не воображал. Все на свете шло прекрасно: больные умирали и выздоравливали совершенно так же, как и всегда. Немного более было хирургических, но это естественно, если принять во внимание происшедшие в городе беспорядки. К тому же это уже бывало и раньше.

Увидев Зарницкого, он поспешно покатился ему навстречу, с разбегу столкнулся с ним животом, упруго, как мячик, отскочил и, схватив его за обе руки, стал что-то обшугивать языком:

— Коллега, вас ли я вижу? А тут у нас про вас такие страсти рассказывали, что ужас!

Все поплыло вокруг Зарницкого. Палаты, халаты, стены и лица, все стало бело и безжизненно, но он опять сделал над собой страшное усилие и, сжимая скулы в гримасу улыбки, спросил:

— Что такое?

— Помилуйте, говорили, что вы убиты! Вчера прибежал студент Баргузин, так тот так прямо и выразился: «Пал на баррикаде с красным знаменем в руке...» — и уверял, что чуть ли не собственными руками этот самый флаг из ваших мертвых пальцев принял... А между нами, коллега, я си-ильно подозреваю, что он баррикад и не нюхал... Хе-хе-хе!.. Это бывает, это бывает... — с наслаждением повторил главный врач.

«Ну, да, я не нюхал, но ведь и ты не нюхал...» — с бешеным отчаянием хотел крикнуть Зарницкий.

— Ну, вы живы, и слава Богу! — поглаживая его по животу, ворковал главный врач. — Оно, конечно, что и говорить... герои... Геройская смерть за родину и общее благо. Заманчиво, коллега, но, право, дорогой мой, лучше мы еще поживем, лучше мы еще поживем!.. — опять повторил он понравившуюся ему фразу, отскочил от Зарницкого и засмеялся.

«Издевается, каналья...» — со страданием думал Зарницкий, бледно улыбаясь.

— Тут шутки не совсем... — нетвердо выговорил он, с ужасом чувствуя, что выдает себя.

Главный врач испугался.

— Ну, да, я знаю, коллега, вы революционер. Я так, коллега, я та-ак. Конечно, шутки тут неуместны, но я, дорогой, так вам обрадовался. А это, конечно, ужас! Что они делают с Россией, что делают?..

Он долго качал головой, как китайский болванчик.

«Нет, ничего не знает, а просто глуп...» — с невыразимым облегчением, приходя в себя, подумал Зарницкий.

И ему захотелось сказать доктору что-нибудь приятное, выразить ему свою симпатию и уважение.

Но главный врач не на шутку испугался и заторопился, беспокойно мигая глазками.

— Ну, до свидания, коллега, до свидания... Я уже уйду. Рад, что все оказалось вздором... Там в кабинете Анатолий Филиппович. На него, беднягу, кажется, очень серьезно подействовало. Да оно и понятно!.. К тому же он... — главный врач сделал таинственное значительное лицо, — он, кажется, серьезно скомпрометирован... Того и гляди, заберут, того и гляди... Каждую минуту жду. На квартире у него обыск был, и там, говорят, полиция сидит. Ну, так до свидания... А ему, бедняге, плохо придется, плохо...

«Вот оно!» — железным молотом ударило Зарницкому в сердце при имени Лавренко. Минутное облегчение вдруг сменилось непоколебимой уверенностью, что именно сейчас произойдет то, чего он так боялся, чего не мог даже представить себе, как оно будет. Почему-то он всем существом своим сразу почувствовал, что Лавренко все известно. А что Лавренко не простит, не забудет, не притворится, — Зарницкий знал. Еще раз было движение уйти, но опять не хватило силы. И как котенок, которого взяла за шиворот неодолимая рука, который даже не видит и не понимает, кто и зачем держит его, Зарницкий сделал несколько нетвердых шагов и, точно во сне падая в бездонную пропасть, казалось, потерял на секунду ясное сознание.

Лавренко стоял у окна и, заложив руки за спину, смотрел на улицу. Его грузный сутуловатый силуэт чернел против света, и Зарницкому показалось, что Лавренко неподвижно смотрит прямо на него. Все замерло в нем, но когда в следующее мгновение он понял, что Лавренко стоит к нему спиной и не видит его, Зарницкий почувствовал еще больший ужас.

«Вот сейчас он обернется и увидит меня, и тогда...»

В эту минуту Лавренко обернулся, и то, что произошло затем, было совсем не похоже на то, что представлялось Зарницкому. Но еще ужаснее и непоправимее.

Зарницкий сделал несколько шагов вперед и протянул руку. В это мгновение инстинкт его ожидал удара по щеке, и его красивое, всегда гордое лицо было испуганно и отчаянно, как у человека, не имеющего сил отклониться. Но вместо того Лавренко подал ему свою руку, и Зарницкий ощутил такое же, как всегда, несильное пожатие его мягкой теплой ладони. Кровь ударила в голову Зарницкого, и он с ужасом почувствовал, что рот его ослабляется до ушей, колени подгибаются, и, совершенно не понимая, что он делает, против воли, он схватил руку Лавренко обеими, вдруг вспотевшими, ладонями и стал угодливо и подобострастно трясти. Впоследствии Зарницкий никак не мог понять, как это произошло и зачем он это делал, тем более, что между его и Лавренко глазами в это мгновение напряженно, как готовая лопнуть струна, протянулось нечто, вполне отчетливо и понятно сказавшее им обоим, что они понимают друг друга.

Холодный туман, похожий на приближение обморока, затянул мозг Зарницкого.

«Что я делаю? — с паническим ужасом мысленно закричал он. — Бросить его руку, толкнуть, ударить за то, что он не ударил меня...»

Но какая-то непонятная сила держала его за шиворот, и он уже не мог вернуться назад. В то время, как Лавренко был совершенно неподвижен и, казалось, спокоен, статное тело Зарницкого как бы потеряло всю свою плотность, задвигалось киселеобразно, кружками, мелкими шажками, и губы его, ставшие вдруг тонкими и юркими, мгновенно заковеркались на границе между угодливыми улыбками и уродливыми гримасами отчаяния.

Это было до такой степени неестественно, что Зарницкий физически воспринял

киселеобразное, липкое ощущение своего тела, и в эту минуту, ясно для него самого, прежний Зарницкий с его самоуверенностью, обаятельностью, красотой умер навсегда, а то, что появилось вместо него, было жалко и противно. Лавренко отвернулся. И еще понял Зарницкий, что лгать уже совершенно не надо, не надо и признаваться, ибо ни то, ни другое никому не нужно и не вернет прежнего.

И в то же время между ними начался простой и обычный в этих случаях разговор.

— Ну, что, как дела? — спросил Зарницкий, как автомат, продолжая растягивать и дергать свои ставшие резиновыми губы.

— Что ж!.. Все пропало!.. — грустно ответил Лавренко. — Да этого и надо было ожидать.

— Ну, а наши как?.. — опять спросил Зарницкий, с трудом выговорив резиновыми губами слово «наши».

— Наши?.. — глядя ему в лицо, спросил Лавренко. — Почти все погибли.

— Что вы?.. — бледнея и ощущая что-то странное, проговорил Зарницкий.

— Да! Тетмайер убит на баррикаде в порту, броненосец взят. Там почти всех перебили... Батманов расстрелян... И Сливина... — губы Лавренко слабо вздрогнули, — тоже расстреляли...

— А?.. А Кончаев?..

— Кончаев... Кончаев убит в порту... Говорят, они долго защищались.

— А... — начал было Зарницкий и вдруг остановился. Лавренко с минуту пристально смотрел ему в глаза, и вдруг выражение гадливости явно изменило его лицо. Одну секунду казалось, что он плюнет Зарницкому в глаза, но вместо того, и это было ужаснее, Лавренко двинулся вперед, наступая на Зарницкого, и когда тот, вдруг съезжившись, подался в сторону, прошел так же прямо, точно сквозь него, и вышел из комнаты.

Дверь закрылась, и Зарницкий остался один. С минуту он стоял неподвижно, и губы у него кривились неопределенно и судорожно. Потом он потер руки, точно ему стало холодно, и мелкими шажками прошелся взад и вперед по комнате.

У него вдруг закружилась голова, и, подчиняясь внезапной слабости, Зарницкий тяжело опустился на диван, закинул затылок на холодную кожаную подушку и, закрыв глаза, замер.

Было тихо и прохладно, как в подвале. Где-то в коридоре шаркали туфлями, и далеко, в нижнем этаже, певуче визжала дверь на блоке. Смутные звуки доносились с улицы.

Странно, что Зарницкий сначала вовсе не думал о том, что произошло. Где-то в глубине своего большого тела он ощущал чувство тонкой всепроникающей усталости и физической тоски. Белый туман и та же легкая ноющая тошнота подымались от живота к голове.

«Я болен...» — подумал Зарницкий.

И тут же вспомнил, как ночью, накануне беспорядков, встав прямо с нагретой постели, высунулся в форточку и как прохватило его тогда холодом и сыростью.

«Да, я болен... должно быть, тиф... и смерть...» — в первый раз подумал он.

«Зачем смерть? Это не может быть, это было бы бессмысленно. Зачем же тогда?.. Не может быть, нельзя, нельзя...» — диким криком закричало внутри него, но глаза у него были

по-прежнему закрыты и лежал он неподвижно.

«Почему именно смерть? Глупости!.. — мысленно усмехнулся он. — Будет жизнь, а не смерть, и еще долго я буду жить, видеть солнце, женщин... И это все пройдет, что есть теперь, и еще будет огромная радость наслаждения, я опять буду чувствовать себя таким, как прежде...»

«Нет, не буду... — коротко ответил он себе. — Того Зарницкого, который сверху смотрел на всех, который верил в себя и в свое исключительное право на гордость, уже не вернуть...»

Он вспомнил гадкое, гнусное ощущение своего киселеобразного тела, свои потные ладони, угодливо жмущие руку Лавренко, взгляд Лавренко.

«Он прошел, как будто меня там и не было... И он прав: меня там не было, а было... что?..»

Было то, что, может быть, он проживет еще долго и будет совокупляться с женщинами, смеяться, есть, пить, одеваться, знакомиться с людьми, избегая тех, которые могут все знать о нем, а потом, наконец, умрет; а может быть, не будет больше знать женщин, оставит их другим, потеряет вкус к пище, к питью, станет слаб и гнил и умрет завтра, сегодня, сейчас.

— Что же это такое? — громко произнес Зарницкий и весь содрогнулся.

Но он не открыл глаз, и из-под закрытых век по сжавшемуся, искривившемуся лицу потекли слезы, крупные, как горох.

Он трусливо оглянулся вокруг, как будто бы у него не хватило смелости даже плакать, и торопливо достал платок.

Пусто, гадко и тошнливо было у него на сердце, а тошнота все поднималась и поднималась к горлу, и нельзя было разобрать, физическая ли это тошнота или нравственная. XVII

Весенние сумерки иногда приобретают неуловимо грустный характер. Воздух становится слишком прозрачен, тишина слишком чуткой, и к живым запахам первой зелени тонко примешивается запах сырой земли, может быть напоминающей о свежевырытой могиле. И тогда в сердце входит предчувствие смерти, печально одинокой и незаметной среди вечно живого мира.

В такие сумерки Лавренко шел по бульвару, тяжело сгорбившись и заложив руки за спину. Станные мысли, пронизанные этой неуловимой весенней тоской, наполняли его голову.

Все пережитое ярко и отчетливо стояло перед ним; но так же, как дым пожаров, выстрелы и стоны не могли слиться с тонкой тишиной весенних сумерек, так и его большое усталое сердце не могло принять в себя всего пережитого, и он чувствовал, что между ним и людьми, с их ожесточенной борьбой, стоит что-то холодное и непроницаемое.

Страшная тоска овладевала им, и ей не было исхода. Хотелось сделать что-нибудь большое, нужное, что наполнило бы душу и вытеснило из нее то острое, тошное отвращение, которое было в ней с момента истерического припадка в аптеке. Но мысль бессильно ползала вокруг, не подымаясь, точно птица с перебитыми крыльями, и как-то выходило так, что хотелось только пойти играть на бильярде. Лавренко ясно чувствовал в душе нечто особое, что бывает в жизни один раз, и ему было стыдно, что в такой момент одно нелепое стуканье палкой по шарам приходит ему в голову.

И чтобы преодолеть это желание и собраться с мыслями, Лавренко сел на лавочку, в том месте, откуда сквозь редкие веточки деревьев было видно внизу огромное черное пожарище порта, а еще дальше и ниже темное неподвижное море, положил подбородок на скрещенные на палке руки и засмотрелся.

Как всегда, грустное умиление и тихая скорбная радость, подступая к увлажнившимся глазам, стали плавно подниматься у него в сердце. Так было тихо, хорошо и красиво и на море, и в небе, и на земле! Даже пожарище, с его траурно-бархатной чернотой, казалось отсюда мрачно-прекрасным. И Лавренко с грустью вспомнил, что за эти три дня он ни разу не заметил, было ли небо голубым, светило ли солнце, стояла ли на земле весна, мерцали ли звезды. Ему пришла в голову странная, трудно уловимая мысль.

«Ужас человеческого горя состоит не в том, что оно — горе, а в том, что, становясь между человеком и природой, оно закрывает от глаз ее тихую и властную красоту. Если бы в самые острые минуты горя и гнева человек мог видеть все вокруг, — не было бы на земле ни гнева, ни горя, легко наступало бы примирение...»

Лавренко закрыл глаза, чувствуя, как опять подступает к горлу судорога отвращения к людям. Не к одному, не ко многим, а ко всем людям, которые не умели жить среди данного им прекрасного мира, загадили его своей бесконечной глупостью, отняли его и у тех, кто мог бы жить хорошо, и еще осмеливаются кричать вокруг него, ненавидящего и презирающего их Лавренко, о том, что их надо любить и жалеть.

— Я почувствовал бы самое острое счастье в тот миг, когда мог бы взорвать на воздух всех этих идиотов, кретинов, которые говорят, что они — люди, когда очевидно, что они только человекоподобные обезьяны... Господи, если, хотя бы на одно мгновение, совершенно ясно представить себе ту огромную разницу, которая лежит между теперешними существами и даже той несовершенной формой будущего человека, которую сами же они, с их скудным воображением, и то могли же выдумать, то станет... смешно, — громко проговорил Лавренко последнее слово и криво усмехнулся, слегка пожав толстыми сутулыми плечами.

И, должно быть, это слово для Лавренко выразило больше, чем оно выражало, потому что после него в душе стало вдруг мертвенно пусто, как в доме, из которого вынесли покойника. Как будто после большого усилия Лавренко почувствовал мгновенную усталость, и опять захотелось не думать, пойти играть на бильярде, и опять он отогнал это желание и затих.

Глаза у него были закрыты, но казалось, что и сквозь закрытые веки он видит темную глубину неба и холодный чистый блеск звезд. И в тишине, на этом звездном таинственном фоне, тихо и легко проплыл перед ним образ милой девушки с радостно удивленными глазами, с двумя недлинными косами, перекинутыми на невысокую грудь.

«Ах... это ты... милая — „Маленькая молодость“, — грустно улыбнулся ей Лавренко. — Твоя чистая молодость, красота, тот прекрасный мир, который носишь ты в своем сердце и в своем теле, еще долго не дадут тебе пасть в эту грязь, называемую человеческой жизнью... Будешь ты горько плакать, когда узнаешь о смерти Кончаева, поплачешь о бедняге Сливине, может быть, и обо мне, но никакое горе не отнимет у тебя твою молодую могучую жизнь. Будут и радости, и горе, а жизнь...»

«Я сентиментальничаю...» — с горькой усмешкой перебил себя Лавренко.

Он открыл глаза, посмотрел на далекие уже яркие звезды.

«Что ж, чем больше я буду жить, тем больше буду убеждаться, что не могу взять от жизни того, что мог бы, чего мне надо от нее. И рано или поздно наступит конец, а я спрошу себя: ну, что же? Зачем я жил?»

Опять пронеслись перед ним призраки окровавленных, замученных людей, пожар, треск, грохот; как черти заскакали, сами себя терзая, идиотские, тупые человеческие лица. И вдруг все покрылось красивым, гордым, холеным лицом Зарницкого. Лавренко весь вздрогнул от нового, еще небывалого чувства отвращения и ненависти. С несказанным мучительным наслаждением ему захотелось растоптать каблуками, уничтожить, как грязную мокрицу, это

лицо.

«Вот эти, которые знают, которые могут, в руках которых то самое знание, которое могло бы в один миг уничтожить всех идиотов, всю гадость и пакость человечества, злобную, но бессильную в своей темноте, и которые из подлой трусости, из-за лишней женской... на ночь продают дикарям свою силу, отдают мир на съедение свиньям».

«А я сам?» — сурово спросил Лавренко вдруг.

«А я что ж? — я дрянь, я тряпка, я не мог жить так, как понимал и хотел, играл на бильярде, толстел, плешивел и ждал, что жизнь сама меня воскресит. Ну, да, но я знаю это и сам расплачусь с собой».

Лавренко встал.

В темном небе золотисто-бриллиантовым рожком, тоненький и грациозный, уже стоял над морем первый месяц. Вокруг него небо казалось черным, а внизу по морю, искрясь и сверкая, тянулся золотой ручеек.

Лавренко долго и упорно смотрел на месяц и дышал тяжело и трудно. Потом медленно достал из кармана платок, долго вытирал глаза и, сгорбившись, пошел по безлюдному бульвару по направлению к своему ресторану.

Дорогой он уже не думал о том, о чем думал на бульваре. В его вдруг отяжелевшей голове мелькали мысли о том, что его ищут по всему городу, что если бы он поддался, его схватили бы какие-то оголтелые идиоты, зачем-то потащили, посадили бы в одну комнату, сидел бы он там дурак дураком, а они черт знает зачем сидели бы и на него смотрели.

И так шла бы его и их жизнь, а на небе в это время светил бы бриллиантовый месяц, с моря дул бы теплый, почти летний ветер, и легко и радостно дышалось бы в полях и лесах.

— О-о... идиоты проклятые... — злобно прошептал Лавренко, качая головой. И ничего, ничего им не скажешь... и скажешь, и поймут, и понимают сами, а все-таки еще тысячи и тысячи лет будут сидеть и сквозь железную решетку смотреть друг на друга идиотскими глазами.

— Нет... довольно... будет с меня! — махнул рукой Лавренко и вздохнул, как будто сбрасывал с себя огромную тяжесть. Он приостановился и думал, глядя в землю. Потом улыбнулся и пожал плечами с грустной иронией над самим собой.

«Пусть уж в последний раз», — как будто просясь, подумал он.

Так же, как всегда, было много народа в бильярдной, но передний бильярд, на котором любил играть Лавренко, был свободен, и со всегдашней радостью Лавренко это увидел, как только вошел. Чистое, ровное, широкое сукно ярко зеленело под рожками двух ламп.

Как только Лавренко увидели, произошло движение. Маркер с веселой и дружелюбно почтительной улыбкой торопливо стянул с его толстых плеч пальто. Тот самый красивый армянин, с которым все последние разы играл Лавренко, поднялся с места и подошел к бильярду, любезно улыбаясь и потирая руки.

— Ну-с, — почему-то также потирая руки, сказал Лавренко, — сразимся?

— С большим удовольствием!.. — осклабился армянин. Намеливая кий, Лавренко через плечо небрежно спросил:

— Ну, почем мы?.. Угодно сто? Армянин стыдливо улыбнулся.

— Много будет... Ну, ничего, пошла!.. — решительно тряхнул он головой.

Игра началась, и первый же откатившийся от борта пятнадцатый шар через весь бильярд с треском лег в лузу под ударом Лавренко.

— Вот это так шар... Здорово, черт возьми!.. — послышалось вокруг.

И Лавренко почувствовал знакомую нервную радость, тревожно следя за армянином, старательно прицеливавшимся на дублет четырнадцатым. Шарики щелкнули, и четырнадцатый шар, заставив нервно вздрогнуть сердце Лавренко, плавно вкатился в лузу.

— Вот так начало! — сказал кто-то. «Эх, досада...» — подумал Лавренко.

Шары щелкали, то стремительно, то чуть двигаясь по зеленому сукну, катались они по бильярду, и их становилось все меньше, а лица у игроков становились все напряженнее и возбужденнее. Дым синими клубами низко висел над бильярдом, кругом смеялись, острили, жадно смотрели, и было жарко.

Когда осталось два шара, Лавренко сделал скикс, и маркер провозгласил:

— Пять очков... Анатолий Филиппович, у них без двух... Лавренко с досадой скрипнул зубами.

Два шара стояли рядом посреди бильярда, а Лавренко целился из угла. И в ту самую минуту, когда армянин, уже спокойно и победоносно смеясь, отвернулся, что-то говоря, раздался сильный и резкий удар, белый шарик опрометью мелькнул по зеленому полю и исчез.

— Ох, черт! — вскрикнул армянин, стукнув кием об пол.

— В последнем шаре партия, — бесстрастно провозгласил маркер.

Лавренко весь сжался от особой острой радости игрока, но, не подавая никакого вида, опять прицелился. Стало тихо, и вдруг почему-то все почувствовали, что шар будет взят. И в ту же секунду, с тем же резким и отрывистым треском, последний шар скрылся в лузе.

— Партия... Ого-го... Дьявол!.. — затопотали и захохотали вокруг.

Армянин побледнел так, что его бритая борода посинела. Он тихо положил кий, не глядя на Лавренко, бросил на сукно сторублевую скомканную бумажку и отошел. Лавренко всегда почему-то стыдно было брать от небогатых здешних игроков крупные деньги, но на этот раз прилив злобной радости наполнил его грудь.

— Больше не хотите? — спросил он, тяжело дыша. Армянин, у которого дрожала нижняя губа и бегали глаза, отрицательно покачал головой. Лавренко медленно взял деньги, положил кий и отошел.

— Не желаете ли со мной партийку? — угодливо спросил тощий облизанный старичок с хищным выражением лица.

Одну секунду Лавренко колебался, его тянуло к бильярду, но он удержался.

— Нет, будет... — с грустью ответил он.

Бильярдом сейчас же завладели. Шулера вырывали друг у друга кии, как собаки кости, кричали и ругались. Лавренко, надев пальто и держа шляпу в руке, постоял и тупо посмотрел на сукно бильярда. Потом встряхнулся, надел шляпу и пошел через черный ход. Маркер, думая, что он идет в уборную, поспешно отворил ему дверь. И, чтобы он не догадался,

Лавренко и в самом деле пошел туда. Но сейчас же вышел, отворил дверь на вонючую узенькую лестницу и, держась впотьмах за липкие перила, спустился во двор.

Это был маленький четырехугольный дворик, скользкий, грязный, вонючий, как сточный колодец. Вокруг стояли черные стены без окон, резко блестело в черноте какое-то случайно освещенное месяцем железо, и от месяца же одна стена была голубая, с резко очерненным на ней синим силуэтом соседней крыши с ее трубами и флюгерами.

— Федька... порцию бифштекс, — прокричал кто-то с лестнички вниз, в ярко-желтую отворенную дверь кухни, откуда несло чадом и жаром.

Лавренко отодвинулся в тень и стоял молча.

— Слушаю, — отозвался кто-то снизу. Скрипнула дверь на блоке, и все затихло. Далеко, далеко прокричал паровоз:

— Гу-гу-гуу?..

Лавренко поднял глаза к месяцу; тот, как живой, стоял низко над черной и страшной стеной, за которой не чувствовалось жизни. Бриллиантовый рожок блестел ярко и холодно, небо было синее-синее. Лавренко вздрогнул от пробежавшего по спине холода и вынул револьвер. Перед выстрелом он зачем-то долго старался утвердиться на скользкой земле, очевидно облитой помоями, и отшвырнул носком сапога что-то круглое, твердое, как кочан капусты. Ему не было страшно, а только грустно от сознания своего одиночества. Месяц до половины скрылся за черной трубой и зорко смотрел оттуда. XVIII

Опять за прошедшим днем наступали сумерки, и в дачной местности, с ее игрушечными домиками, тоненькими безлистными деревцами и прозрачными ажурными решеточками, они казались особенно весенними, задумчиво нежными и прозрачными.

Кончаев быстро шел по пустым переулкам, мимо темных дач, казавшихся такими жутко таинственными, как пряничные домики бабы-яги, и растерянно заглядывал в пустые палисадники. Он забыл номер дачи и долго искал ее, как вдруг, возле одного заросшего еще голыми кустами сирени садика услышал легкий и радостный вскрик.

Зиночка стояла по ту сторону решетки и радостными, светлыми даже в сумерках глазами смотрела на него, хватившись за решетку обеими руками.

Странно и мучительно приятно вздрогнуло сердце Кончаева.

— Сюда, сюда, — проговорила Зиночка и пошла вдоль изгороди, а Кончаев пошел по другой стороне, и как-то странно, чересчур быстро кончилась эта зеленая деревянная решетка. На мгновение Кончаев увидел перед собою Зиночку, всю, с ног до головы, в черном гладком платье, с невысокой грудью, с круглыми точеными руками и двумя недлинными пушистыми косами, а в следующий миг все исчезло, и что-то мягкое, пахучее и нежное обвилось, казалось, вокруг всего его тела, и весь мир сменился одними светлыми, наивно счастливыми глазами.

Сладкая волна поплыла под ногами, и, должно быть, оба они покачнулись, потому что разом ухватились за решетку. Она коротко засмеялась, точно ей стало смешно, что столько времени они скрывали друг от друга то, что обоим было известно и нужно. Но сейчас же она опять стояла в двух шагах от него, гибкая и смущенная, не сводя с его лица больших, спрашивающих глаз.

— Ну, вот и я!.. — проговорил Кончаев и улыбнулся. — Рады?

Она молчала и стояла неподвижно, не сводя глаз. И тоже глядя прямо в эти потемневшие,

ставшие вдруг тягучими, глаза, Кончаев тихо подвинулся к ней. Но Зиночка протянула руку, чуть-чуть взяла его за кончики пальцев и потянула за собой.

— Пойдем! — чуть слышно сказала она.

Они молча, почему-то крадучись, дошли до дачи и поднялись на крыльцо. Темный сад и небо с заблестевшими звездами остались за ними.

— Ваши дома? — тихо спросил Кончаев.

Зиночка посмотрела на него серьезно и кивнула головой.

— Да!.. Пойдемте ко мне... Я так измучилась. Я думала!..

Зиночка не договорила и всем телом прижалась к нему. Кончаеву показалось, что на глазах у нее выступили слезы, но она тихо улыбнулась и опять потянула его за руку.

В комнате Зиновки было темно и пахло чем-то нежным и чистым, как будто тут целый день были открыты окна в сад. Кончаев вошел почему-то на цыпочках и остановился посреди комнаты. Тревожное и сладкое чувство было в нем. Чего-то страшно, что-то сладко томило, чего-то радостно и боязливо ждалось. В темноте смутно белела кровать, туалет в углу мерещился легким призраком, и было странно, что он, Кончаев, такой большой, неуклюжий и как будто чужой, стоит в этой маленькой, чистой и таинственной комнате.

Зиночка прошла прямо к окну и остановилась там, глядя в сад. На голубоватом четырехугольнике окна четко и гибко рисовался ее тоненький силуэт с хрупкими плечами, крутыми бедрами и легким прозрачным сиянием волос вокруг головы.

Кончаев опять тихонько двинулся к ней, а Зиночка так же тихо повернулась и обняла его мягко и сильно.

Весенний, и прохладный, и теплый воздух, тихо струившийся в открытое окно, чистый сумрак, тот страшный ужас, который в эти три дня обнажил перед ними всю жизнь, та опасность, которой он подвергался, та смерть, которая прошла так близко, что был слышен шум и грохот ее шагов, то, что он мог уже никогда не быть здесь, и, наконец, та молодая и чистая жизнь, которую были полны их здоровые, сильные, как молодые звери, тела что-то сделали с ними. И сразу исчезло все другое, кроме их двоих и полного счастья двух обнявшихся, сильного и нежного, большого и маленького, твердого и гибкого тел, обдающих друг друга сладко томительным жаром и теплым густым туманом.

Огромные светлые глаза, вдруг ставшие черными, как бездна, волосы, рассыпавшиеся внезапно и пышно, и две трепещущие теплые руки одни остались перед Кончаевым, и острое, счастливое, как сон, всеобъемлющее наслаждение стало для них общим.

Минуты шли, и темнота сгущалась по всем углам, а в окно по-прежнему лился пряный, торжествующий и одуряющий теплый запах весны. Все смешалось: слова, поцелуи, картины прошлого и надежды на будущее, гордость перед нею и гордость за него, желание всем, чем можно, вознаградить милого за пережитое им. И не стыдно было нежного и гибкого голого тела, что-то спрашивали и все позволяли побелевшие глаза, груди дышали трепетно и прерывисто, как в минуты самого большого счастья на земле.

Потом Кончаеву было странно вспоминать, что они не сказали друг другу ни одного слова об этом, а все совершилось как-то само собой. Но им никогда не было стыдно, а всегда мечтательно приятно вспоминать это.

Он соскользнул с постели на пол и с невыразимой нежностью целовал ее маленькие пухлые пальчики, стараясь в эти поцелуи передать бесконечные любовь, уважение, умиление за то

счастье и наслаждение, которые она дала ему. Все чувства в это мгновение сливались в них в один многозвучный могучий аккорд жизни и любви, и она, забывая закрыть свои голые, стройные ноги, которых он касался горячей щекой и которые розовели ярко даже в сумраке, посреди черной и белой смятой материи, удивленно-радостно оглядывалась вокруг светлыми глазами.

Все казалось ей новым и радостным, все тело ее, молодое, свежее, как сбрызнутый утренней росой цветок, было полно счастьем, и где-то, в таинственной глубине его, была принята ею в себя новая, еще неизвестная, человеческая жизнь.

И светлые глаза Зиночки плакали от еще непонятной ей самой радости, а в открытое настежь окно, сквозь черные ветки сада, смотрели в комнату весенние звезды.

Революционер

I

Учитель Людвиг Андерсен вышел на школьный огород и решил пройти погулять к дальней роще, которая, как легкое синеватое кружево, отчетливо синела на белом снегу в поле, версты за две от деревни.

День был белый, светлый. От чистого белого снега и мокрых черных жердей ограды создавалась веселая чистая пестрота, и воздух был так легкий и прозрачен, как бывает только в самом начале весны.

«Еще одна весна моей жизни!» — глубоко и легко вздохнув, подумал Людвиг Андерсен, наклонный к сентиментальной поэзии.

И, взглянув через очки на небо, он заложил руки за спину, поиграл там тростью и шагнул вперед.

И как раз в эту минуту он увидел на дороге, за изгородью в конце огорода, целую кучу людей и лошадей.

Это были солдаты. На белом снегу серели их однообразные шинели, блестели ружья и лошадиная шерсть, и видно было, как они двигались, неловко ступая по снегу своими кривыми кавалерийскими ногами. В первую минуту Людвиг Андерсен не понял, что они делают, но сразу, как-то не умом, а сердцем, почувствовал, что делают они что-то необыкновенное и страшное. И так же инстинктивно он почувствовал еще, что надо спрятаться и не попадаться им на глаза. Поспешно, но не опуская рук, заложенных за спину, Людвиг Андерсен подвинулся влево и, сразу утонув по колени в мягком, талом, хрупком снегу, стал за невысокий стог прошлогоднего сена. Оттуда, вытянув шею, он ясно видел, что именно делали солдаты.

Их было человек двадцать, и среди них один офицер, молодой, коренастый, в серой шинели, красиво перехваченной серебряной перевязью. Лицо у него было так красно, что через весь огород Людвиг Андерсен видел, как странно блестели на нем светлые торчащие усы и брови. Он что-то говорил, и голос его, резкий и отрывистый, ясно достигал ушей Людвига Андерсена. Учитель прислушался.

— Я сам знаю, что мне делать! — кричал офицер, подбоченившись и глядя на кого-то вниз в кучке спешенных солдат. — Я вам покажу, как бунтовать... Сволочь проклятая!..

Смутная тревога сжала сердце Андерсена. «Боже мой! Неужели...» — пронеслось в его мозгу, и какой-то холод охватил его голову.

— Господин офицер, — ответил очень тихо, но внятно чей-то сдержанный голос из кучки солдат, — вы не имеете никакого права... для этого есть суд... вы не судья... это будет просто убийство, а не...

— Молчать! — взмахнув белой перчаткой, крикнул офицер, и слышно было, как он захлебнулся от злости. — Я вам дам суд!.. Иванов, делай!..

Он тронул лошадь и отъехал. И Людвиг Андерсен машинально обратил внимание, как чутко и осторожно пряла ушами легко переступающая с ноги на ногу, точно танцующая, лошадь. В эту минуту между солдатами произошла короткая судорожная суетливая возня, и они раздвинулись, оставив перед собою пустое место. А на этом месте остались три человека в черном — два высокие, а один очень низенький и щуплый. Людвигу Андерсену была видна его совсем белая голова с торчащими розовыми ушами.

Он уже понял, в чем дело, что он сейчас увидит, но это было так неожиданно и ужасно, что Людвиг Андерсен думал, что он бредит.

«Так светло... хорошо... снег, поле, небо... весной пахнет... сейчас будут убивать людей... что такое?.. не может быть!..» — нестройно пронеслось у него в голове, и было такое чувство, как при внезапном помешательстве, когда вдруг человек замечает, что он видит, слышит и чувствует совсем не то, что привык, что должен был бы видеть, слышать и чувствовать.

Три черных человека стояли в ряд у самой изгороди. Два — близко друг к другу, третий, маленький, — немного поодаль.

— Господин офицер! — отчаянно заговорил один из них, и не видно было который. — Бог нас видит!.. Господин офицер!..

Восемь солдат поспешно слезали с коней, неловко цепляясь шпорами и шашками. Они видимо торопились, точно делали воровское дело.

Прошло несколько секунд в молчании, пока солдаты поспешно выстраивались в нескольких шагах перед черными людьми и торопливо снимали с плеч ружья. Один сбил перевязью с себя фуражку, и она покатила по снегу. Он так и надел ее, белую от мокрого снега.

Лошадь под офицером все тихонько танцевала на одном месте и пряла ушами, а другие лошади, чутко подняв острые уши, неподвижно смотрели на черных людей, уставив в ряд свои длинные умные морды.

— Помилуйте хоть мальчонку-то! — визгливо закричал вдруг другой голос. — Что ж детскую душу губить, подлецы!.. Он-то чем виноват!

— Иванов, я тебе сказал! — заглушая его, закричал офицер. Его лицо так налилось кровью, что казалось сделанным из кумача.

И вдруг произошло что-то дикое, омерзительно ужасное: маленький черный человечек с белыми волосами и торчащими розовыми ушами дико закричал детским пронзительным голосом и метнулся в сторону, его сразу схватили два или три солдата, но он начал рваться так, что на помощь подбежало еще двое.

— Ай-ай-ай!.. — кричал мальчик. — Пустите, пустите!.. Ай-ай!..

Голос его визжал и резал, как визг недорезанного поросенка, и был ужасен. Кто-то, должно быть, ударил его, потому что он внезапно замолчал, и воцарилась жуткая неожиданная тишина. Чьи-то руки толкнули белоголового мальчика вперед, и вдруг раздался такой оглушительный и резкий залп, что грудь вздрогнула у Людвигу Андерсена. Он отчетливо и в то же время смутно, как во сне, видел, как падали черные люди, как сверкнули бледные

огоньки, как легкий дымок поднялся в чистом светлом воздухе, как торопливо садились на лошадей солдаты, не оглядываясь на убитых, и как они тронулись по рыжей талой дороге, звеня оружием и шлепая копытами лошадей.

Это все он видел, уже стоя посреди дорожки, сам не зная, когда и почему он выскочил из-за своей копны. Людвиг Андерсен был бледен, как мертвый, все лицо его было покрыто липким потом и тело дрожало и билось в непонятной мучительной физической тоске. Это было чувство, похожее на страшную тошноту, но гораздо тоньше и ужаснее.

Когда солдаты скрылись на повороте в роще, к месту казни откуда-то стал быстро собираться народ, хотя раньше нигде никого не было видно.

Расстрелянные лежали за изгородью, на краю дороги, где хрупкий чистый снег не был истоптан и белел чисто и весело. Их было трое — двое взрослых мужчин и мальчик с белой головой, подвернувшейся в снегу, на длинной мягкой шее. Лица другого не было видно, потому что он упал ничком в лужу красной крови, а третий, большой чернобородый человек с огромными мускулистыми руками, лежал, вытянувшись во весь свой огромный рост и далеко раскинув руки по белому окровавленному снегу.

День был белый, светлый. От белого снега и мокрых черных жердей изгороди, красных пятен на снегу и неподвижных черных фигур создавалась веселая яркая пестрота, и воздух был так чист и прозрачен, как бывает только в самом начале весны. Лесок синел невдалеке.

Расстрелянные лежали неподвижно, чернея на белом снегу, и издали нельзя было понять, что такое ужасное есть в их неподвижности на краю наезженной узкой дороги. II

В эту ночь Людвиг Андерсен, придя домой в свою маленькую комнату при школе, не писал стихов, как он это обыкновенно делал, а стал у окна и, глядя на далекий бледный кружок луны в туманном синем небе, думал. И мысль его была спутанна, смутна и тяжела, точно на мозг его опустилось какое-то облако.

За окном, в смутном лунном сумраке, неясно чернели силуэты изгороди, деревьев, белел пустой, весь освещенный луной огород, и Людвигу Андерсену казалось, что он видит их, трех убитых людей — двух взрослых и одного мальчика. Они лежат теперь там, на проезжей дороге, посреди пустого молчаливого поля, и так же, как его живые, смотрят на далекую, холодную луну их мертвые белые глаза.

«Будет когда-нибудь время, — грустно и тяжело думал Людвиг Андерсен, — когда будут совершенно невозможны убийства людей другими людьми... Будет и такое время, когда те самые солдаты и офицер, которые убили этих трех человек, поймут, что они сделали, и поймут, что то, за что погибли эти три человека, было так же нужно, важно и дорого им самим, солдатам и офицерам, как и этим убитым...»

— Да! — громко и торжественно, с увлажнившимися от слез глазами, проговорил Людвиг Андерсен. — Такое время будет!.. Они поймут!..

И бледный кружок луны в его глазах помутнел и расплылся.

Великая жалость к тем трем погибшим, глаза которых молчаливо и скорбно смотрят на луну и не видят уже ее, сжала сердце Людвигу Андерсену, и под этою жалостью чувство острой злобы шевельнуло своим острием.

Но Людвиг Андерсен смирил свое сердце и, тихо прошептал: «Не ведают, что творят», — в этой старой и готовой фразе почерпнул силу задавить скорбь и гнев. III

Был такой же точно светлый, белый день, но весна была уже во всем: и в запахе мокрого

навоза, и в чистой холодной воде, отовсюду бегущей из-под талого рыхлого снега, и в гибкости мокрых веток, и в ясности голубоватых далей.

Но ясность и радость этого светлого весеннего дня стояли где-то вне села — в полях, лесах и горах, где не было людей, а в селе было душно, тяжело и страшно, как в кошмаре.

Людвиг Андерсен стоял на улице села за толпой черных, мрачных и растерянных людей и, вытягивая шею, смотрел, как собирались пороть семерых крестьян их же села.

Они стояли тут же, на талом снегу, и Людвиг Андерсен не мог узнать в них давно знакомых, понятных ему людей. Ему казалось, что это какие-то особенные люди и что тем, что должно — позорное, страшное, несмываемое — произойти с ними сейчас, они отделились от всего мира и так же не могут чувствовать того, что чувствует он, Людвиг Андерсен, как и он не может понять того, что чувствуют они. Солдаты стояли вокруг, уверенно и красиво возвышаясь на своих больших толстых лошадях, кивающих умными мордами; они медленно поворачивали из стороны в сторону свои рябые, деревянные лица, с презрением глядя на него, на Людвигу Андерсена, который будет сейчас смотреть на этот ужас и омерзение и ничего не сделает им, не посмеет сделать. Так казалось Людвигу Андерсену, и невыносимое чувство холодного стыда сковало его, как в ледяную глыбу, из которой все видно, но нельзя ни пошевелиться, ни закричать, ни застонать.

Первого взяли. Людвиг Андерсен видел его умоляющий, безнадежный и такой странный взгляд. Губы этого человека тихо шевелились, но ни одного звука не было слышно, а глаза его блуждали и блестели ярко и остро, как у помешанного. И было видно, что мозг его уже не может вместить того, что с ним делают.

И так было ужасно это лицо, полное разума и безумия одновременно, что легче стало, когда его положили лицом в снег и вместо воспаленных глаз голо, бессмысленно, стыдно и страшно заблестела задняя часть его тела.

Большой краснолицый солдат в красной шапке подвинулся к нему, посмотрел вниз на голое срамное тело, точно любуясь им, и вдруг громко и отчетливо произнес:

— Ну, Господи, благослови!

Казалось, что Людвиг Андерсен не видит ни солдата, ни неба, ни лошадей, ни толпы, не чувствует ни холода, ни страха, ни стыда, не слышит, как, взвиваясь, свистит нагайка и кто-то кричит диким воем боли и отчаяния, а видит только голую вспухшую заднюю часть человеческого тела, быстро и ровно покрывающуюся белыми и багровыми полосами. Она понемногу теряла вид человеческого тела, и вдруг пятнами, каплями и струйками брызнула кровь и потекла с нее на белый талый снег.

И ужас объял душу Людвигу Андерсена в предвидении того момента, когда встанет этот человек, и все увидят его лицо опять, после того, как при всех, на улице, его обнаженный зад бессмысленно и страшно превратили в кровавое месиво. Он закрыл глаза, а когда открыл, то увидел другого человека, которого силой валили в снег четыре рослых человека в шинелях и красных шапках и у которого уже так же голо, стыдно, страшно и нелепо до смешного ужаса блестела обнаженная задняя часть.

Потом третьего, четвертого и так до конца.

И Людвиг Андерсен, вытянув шею, дрожа и заикаясь, хотя он ничего не говорил, стоял в талом мокром снегу, дрожал, и пот, липкий и холодный, обливал его тело, и все существо было наполнено одним срамным, унижительным чувством: как бы его не увидели, как бы не обратили на него внимания, не схватили его, не оголили тут, на снегу, его, Людвигу Андерсена.

Толпились солдаты, лошади кивали головами, свистела нагайка, и голое срамное тело человеческое вспухало, дергалось, обливалось кровью, извивалось, как гад. Визг, ругательства и дикие вопли висели над селом в белом весеннем чистом воздухе.

А у крыльца правления уже виднелось пять человеческих лиц, лиц тех людей, которые уже перенесли это. Один из них так и стоял с голыми ногами, худыми и окровавленными. И нельзя было на них смотреть.

Людвиг Андерсен думал, что он умирает. IV

Солдат было человек пятнадцать, унтер-офицер и молоденький, совсем безусый офицер. Офицер этот лежал перед костром и напряженно смотрел в огонь. Солдаты что-то делали около составленных в козлы ружей, и их серые приземистые фигуры тихо ворошились на черной обтаявшей земле, изредка попадая в красное зарево костра.

Людвиг Андерсен, в очках, с палкой за спиной и в пальто, подошел к ним. Унтер-офицер, толстый усатый солдат, торопливо поднялся и, отстраняясь от огня, взглянул на него.

— Кто такой? Чего надо? — спросил он тревожно. И по звуку его голоса было слышно, что они боятся всего в этом чужом, насквозь промученном ими крае.

— Ваше благородие, — сказал он офицеру, — незнаемый кто человек...

Офицер поднял голову и молча посмотрел.

Тонким и напряженным голосом Людвиг Андерсен сказал:

— Господин офицер, я — здешний торговец Михельсон и иду в поселок по делам... Я очень боялся, чтобы меня нечаянно не приняли за кого-нибудь... вы...

— Так чего ж вы лезете? — сердито спросил офицер и отвернулся.

— Торговец! — передразнил солдат. — А обыскать бы этого торговца... чтоб по ночам не шлялся... да наkostenять ему шею...

— Подозрительный человек, ваше благородие, — сказал унтер-офицер, — пока что арестовать бы его, да...

— Оставь, — лениво отозвался офицер. — Надоели, черти!

Людвиг Андерсен стоял и молчал, и глаза его странно и тревожно блестели в темноте при свете костра. И было странно видеть его плотную маленькую фигурку, чистенькую и аккуратную, ночью в поле, среди солдат, в пальто, с тростью и очками, сверкающими при огне.

Солдаты оставили его и отошли. Людвиг Андерсен постоял и пошел, и скоро скрылся во тьме. V

Ночь как будто шла к концу. В воздухе стало холодно, и верхушки кустов яснее выделялись в темноте. Людвиг Андерсен снова шел к месту военного поста. Но на этот раз он прятался за кустами, пригибаясь и приседая. За ним тихо и осторожно, огибая кусты, неслышные, как тени, шли люди. И рядом с Людвигом Андерсеном шел высокий и худой человек с револьвером в руке.

Фигура солдата на пригорке странно и неожиданно, не там, где ее ожидали, замаячила, чуть-чуть освещенная отблеском потухающего костра. Людвиг Андерсон узнал его; это был тот самый солдат, который предлагал обыскать его. И ничего не шевельнулось в душе

Людвига Андерсена. Лицо у него было холодно и неподвижно, как у сонного. Вокруг костра спали врасстяжку солдаты, и только унтер-офицер сидел, опустив голову на колени.

Высокий худой человек, который шел рядом с Людвигом Андерсеном, вытянул руку с револьвером и вдруг выстрелил. Страшно яркий огонь сверкнул и погас с оглушительным треском.

Людвиг Андерсен видел затем, как часовой взмахнул руками и сел на черную землю, схватившись за грудь. Со всех сторон засверкали короткие трескучие огоньки и слились в один сухой, раздирающий воздух треск. Унтер-офицер вскочил и сейчас же повалился прямо в огонь. Серые фигуры солдат, как призраки, метались во все стороны, размахивая руками и падая и корчась на черной земле. Мимо Людвига Андерсена, как какая-то странная испуганная птица, размахивая руками, пробежал молоденький офицер, и, как будто думая о чем-то другом, Людвиг Андерсен поднял свою палку и изо всей силы, с тупым противным стуком, ударил ею по голове офицера. И офицер странно закружился, наткнулся на куст и сел после второго удара, закрывая обеими руками голову, как делают дети. Кто-то подбежал сбоку и выстрелил, как будто из-под самого локтя Людвига Андерсена. Офицер как-то странно порывисто осел и свалился наземь, точно его с силой бросили головой о землю, дернул ногами и мирно свернулся калачиком.

Выстрелы смолкали. Черные люди с белыми лицами, страшно и призрачно сереющими в темноте, суетились возле убитых солдат, отбирая оружие.

Людвиг Андерсен внимательно и холодно смотрел на все это. Когда все кончилось, он подошел и, взяв за ногу обгорелую тушу унтер-офицера, потащил ее с костра, не смог и бросил. VI

Людвиг Андерсен неподвижно сидел на крылечке правленского дома и думал. Думал он о том, что он, Людвиг Андерсен, с его очками, тростью, пальто и стихами лгал, предал пятнадцать человек, которых убили. Думал о том, что это страшно, и думал о том, что не ощущает в душе своей ни жалости, ни скорби и что если бы его выпустили, то все равно он, Людвиг Андерсен, с теми же очками и стихами, пойдет опять. Он старался разделить что-то в своей душе, но мысли были тяжелы и спутанны. И ему почему-то тяжелее было представить себе тех трех человек, которые лежали на снегу и смотрели на далекий кружок бледной луны невидящими мертвыми глазами, чем убитого офицера, которого с сухим противным стуком он ударил палкой по черепу. О собственной смерти он не думал, и ему казалось, что в нем самом все уже давно-давно кончилось. Что-то умерло, что-то опустело, и не надо было думать об этом. И когда его взяли за плечо, и он встал, и его быстро повели куда-то через огород, где торчали сухие кочны капусты, Людвиг Андерсен не мог поймать в голове ни одной мысли.

Его вывели на дорогу и поставили у изгороди, спиной к столбику.

Людвиг Андерсен поправил очки, заложил руки за спину и стал, чистенький и толстенький, слегка наклонив голову набок.

В последнюю минуту он взглянул перед собой и увидел дула, направленные ему в голову, грудь и живот, и бледные, с трясущимися губами лица. Он отчетливо заметил, как одно дуло, глядевшее ему в лоб, вдруг опустилось.

Что-то странное и непонятное, как будто уже нездешнее, неземное, прошло в голове Людвига Андерсена. Он выпрямился во весь свой небольшой рост и закинул голову с наивной гордостью. Какое-то странное, но отчетливое сознание чистоты, силы и гордости наполнило его душу, а все — и солнце, и небо, и люди, и поля, и смерть — показалось ему ничтожным, далеким и ненужным.

Пули хлопнули его в грудь, в левый глаз, в живот, пробив чистенькое, застегнутое на все пуговицы пальто... Он уронил очки, разбитые вдребезги, завизжал и, повернувшись кругом, упал лицом на твердую толстую жердь изгороди, тараща оставшийся глаз и царапая землю ногтями вытянутых рук, точно стараясь удержаться.

Позеленевший офицер бросился к нему и, бестолково тыкая его револьвером в затылок, выстрелил два раза. Людвиг Андерсен вытянулся.

Солдаты быстро ушли, отбивая шаг. А Людвиг Андерсен остался лежать, будто приплюснутый к земле. Его левая рука еще секунд десять шевелила указательным пальцем.

Старая история

I

В конце концов дачникам было скучно. Все это был народ, который много говорил о том, что любит природу, восхищался морскими далями, закатом и облаками на таинственной вершине угрюмого мыса, но почти все приехали из больших городов, где природу видели только на картинах и слишком привыкли думать о ней, как о чем-то волшебном, что может совершенно изменить жизнь и дать какие-то особенные, невероятные удовольствия. И потому, хотя все было действительно красиво — и облака на мысе таинственны, и море голубо, и волны нежны и говорливы, и солнце ярко, — все это казалось однообразным. Хотелось чего-то необыкновенного... какой-то особенной любви, поэтичной, красочной, в которой растворилось бы тело и душа, как растворяются они, когда совершенно нагой лежишь на горячем прибрежном песке, в убаюкивающей ванне солнечных лучей, видишь только небо да море, а у ног тихонько звенит совсем прозрачная, смеющаяся волна, такая маленькая и кроткая, точно серебряная рыбка, плескающаяся на солнце.

А этого ничего не было. Природа, как всегда, была прекрасна, а жизнь ленива и скучна. Правда, утром, когда ходили купаться и ныряли в голубой волне, было весело, но все-таки чего-то не хватало.

Женщины в пестрых костюмах, сверкая голыми руками, отплывали далеко в море и лежали на воде, точно отдаваясь горячему солнцу. Мужчины с высокого помоста прыгали в воду, ныряли и фыркали, как тюлени. И те и другие издали поглядывали друг на друга. Мужчины волновались, когда видели над волной круглые розовые руки или неожиданно, сквозь щели купальни, замечали неосторожное, нагое и стройное, мгновенно исчезающее тело. А женщины смеялись звонко и нервно, чувствуя на себе жадные взгляды.

Но потом те и другие одевались и выходили на набережную, одетые, притворяющиеся, что под платьями нет ни наготы, ни желаний. Они здоровались, с любезным оживлением болтали о пустяках и расходились обедать.

Набережная пустела, и бесполезно жгло ее белые камни далекое солнце. Только на обрыве, над морем, сидели одинокие девушки с книгами, и нельзя было понять, как могут они читать, когда солнце так горит, и небо такое голубое, и море такое большое. Иногда они устало опускали книгу на колени и долго задумчиво смотрели в растопленную солнцем морскую даль, где чуть мерещились пароходы, плывущие, казалось, в какую-то далекую, счастливую страну. А потом потягивались, закинув руки за голову и выгибаясь стройным гибким телом.

Вечером, когда над морем стояла белая луна, вокруг нее небо было теплое, и дальний мыс таял в прозрачной дымке, на обрыве начиналась особенная, таинственная жизнь. То тут, то там раздавались голоса, и странно — громки были только женские. Мужчины бурчали так тихо, что можно было подумать, будто там одни женщины. И оттого казалось, что они говорят

и просят о чем-то таком, чего нельзя сказать громко. А в звонком и лукаво наивном смехе женщин отчетливо слышалось; «Знаю, чего тебе хочется от меня... Может быть, догадайся, я сама хочу того же... Но я не скажу этого, нет, не скажу...»

Это были счастливые, которые уже нашли то, чего им было нужно от этой солнечной и лунной природы, от моря и теплой южной ночи. А остальные, в смутном ожидании какого-то счастья, ходили по набережной, слушали разухабистый военный оркестр, в котором, казалось, было слишком много барабанов, смеялись повторяющимся островам и ужинали на поплавках. Им было скучно и обидно, точно кто-то обманул их.

На том поплавке, который был ближе к музыке, каждый вечер ужинала одна и та же компания случайных курортных знакомых: веселый доктор, в белой панаме, с женой — молодой и бледной дамой; известный писатель, большой и басистый мужчина, с огромной швейцарской трубкой в зубах; больной чахоткой студент и тоненькая, большеглазая, как будто бы вся голубая девушка, которую днем постоянно видели с красками, примостившуюся где-нибудь у розовых камней, облизываемых белой пеной.

Это была дружная компания интеллигентных, неглупых людей. Благодаря тому что среди них был известный писатель, многие с любопытством и завистью поглядывали на их столик и прислушивались к их разговорам. Поэтому писатель говорил преувеличенно громко и важно дымил своей трубкой.

Должно быть, потому, что среди них была молоденькая, еще не любившая, но готовая полюбить девушка, такая хорошенькая в своей синей юбке и белой рубашке с синими полосками, разговор постоянно вертелся около любви.

Каждый говорил о ней по-своему. Доктор отрицал, как счастливый человек, и, когда он высмеивал мнимую поэзию чувства, намекая, что не в поэзии тут дело, жена его улыбалась и поглядывала на мужа влюбленными, лукавыми глазами. Писатель, пуская клубы дыма и щеголяя наблюдательностью, вдавался в тонкости психологии, говорил так хорошо, как будто писал рассказ, но никак нельзя было понять, во что он сам верит. Больной студент, иронически покашливая, подпускал пессимизма, и его болезненные колкости, пылающий румянец на острых скулах и беспричинная злость говорили ясно, как хочется ему ласки и любви вот такой милой, нежной и чистой девушки. А она слушала внимательно, серьезно поворачиваясь к тому, кто говорил, и, казалось, прислушивалась к чему-то в глубине своей тонкой, целомудренно-пытливой души.

— Что вы мне говорите? — злился чахоточный студент, точно боялся, как бы их речи не вскружили светловолосой и темноглазой головки, прислушивающейся к каждому слову и бледнеющей от волнения. — Любовь... Разбираться в том, есть ли это просто грубый половой инстинкт или какое-то сложное чувство... шестое чувство... — болезненно покривился он, — я не буду. Любовь есть факт, а все остальное в высокой степени второстепенно... Я знаю только то, что в любви нет ничего облагораживающего, как вы говорите, а, напротив, она унижает и обесцвечивает человека.

Он заметил, как темные глаза испуганно повернулись к нему, и продолжал, возвышая надорванный голос:

— Говорят, человек, купивший фарфоровый сервиз, потерял свободу, а тут не сервиз... Вы чужую жизнь берете. И вечно должны вы помнить, что каждое ваше слово, каждый ваш шаг отражаются на другом, и притом — на человеке, которого вы любите, который вам дорог... Это ведь ужасно... Вы не хотите, не можете и не имеете права огорчить, сделать несчастным, испортить чужую жизнь... А потому мало-помалу приучаетесь казаться веселым, когда вам скучно, работать, когда вам не хочется, дорожить своей жизнью, когда вам нужно поставить ее на карту... Самое натуральное рабство... Говорят, что любовь есть предпочтение одного

перед всеми...

— Зачем же перед всеми? — игриво перебил веселый доктор и переглянулся с женой таинственным, говорящим взглядом, от которого она покраснела и притворно погрозила ему пальцем.

Студент покосился на них, подумал, что это пошло, и брезгливо заметил, как будто вскользь:

— Несчастливая любовь — страдание, а чересчур счастливая — пошлость... Любовь же умеренная, как теплая вода, ни то ни се... и не любовь вовсе... Так, значит, если правда, что любовь есть предпочтение одного перед всеми, то ведь это — кастрация... Человек отказывается от всего, что может быть лучшего, надевает шоры, становится дураком, факиром, который удовлетворен созерцанием своего пупка и не видит, как мимо проходит каждый день новая красота, целый хоровод новых возможностей счастья и радости... Да, может быть, когда-нибудь люди и додумаются до форм истинно свободной любви, но теперь — увы! — единственная форма свободы в половых отношениях, извините за выражение, проституция.

Писатель, щурясь от дыма, с высоты своего огромного роста посмотрел на его бледное, озлобленное лицо и подумал: «Бедняга... А ведь он, кроме дешевых публичных домов, ничего не видел в своей жизни... Так и умрет, не увидев, и будет думать, что прав».

Веселый доктор, которому надоели отвлеченные рассуждения, сказал:

— Во многом вы, конечно, правы... Мужчина и женщина слишком непохожи друг на друга, и ожидать, что они придут к соглашению без тяжких взаимных уступок, нелепо... Да и вообще... каких только трагических коллизий не создает эта самая любовь... Вот, например, здесь, недалеко, на хуторе, живет один мой хороший приятель, некто Перовский...

— Перовский?.. А, да... — оживившись, отозвался писатель. — Это действительно драма...

И, почему-то повернувшись прямо к девушке, он красиво и интересно рассказал длинную историю.

Этот Перовский еще студентом сошелся с женщиной гораздо старше его. Ему было лет двадцать пять, а ей под сорок, но она была очень хороша. В прелести увядающей женщины есть что-то невыразимо обаятельное, напоминающее осеннюю астру. Трогает красота, которая сегодня так красочна и привлекательна, а завтра осыплется, как осенний цветок. И в сознании своей последней красы она становится особенно нежна, дорожит каждой лаской, отдается полно и бесстыдно, как могут отдаваться только умирающие, для которых уже не существует завтрашний день. И чем моложе мужчина, чем сильнее в нем запрос сладострастия, тем ярче чувствует он эту прелесть. Оттого постоянно явление, что очень молодые мужчины отдают свою первую любовь женщинам известного возраста.

— Может быть, еще и потому, — говорил писатель, — что в любви такой женщины всегда есть оттенок материнства, который так трогает и привязывает... У этого Перовского был когда-то большой голос. Ему прочили карьеру первого русского баритона... Я помню, как еще в университете барышни толпой бегали за ним... А эта Лидия Павловна бредила его славой... Она аккомпанировала ему, ухаживала за ним, берегла его голос, баловала... создала вокруг него целый культ. Казалось, она готова была на смерть ради того только, чтобы он имел маленький лишний успех. И надо признаться, что он ей многим был обязан. Но годы брали свое. Из прелестной женщины она мало-помалу превращалась в увядшую, немного-таки комичную старуху... Как-то уже и странно, и больно было видеть их вместе: он — совсем молодой, захватывающий своим пением и всей своей широкой, богато одаренной натурой, постоянно окруженный влюбленными девушками, а она — незаметная, комичная, старающаяся притираться и фальшивыми зубами продлить неудержимо уходящую

молодость... Над ними стали посмеиваться. Перовский, конечно, не мог этого не видеть и страдал. Да он и сам, вероятно, уже тяготился этой противоестественной связью, томился и мечтал о новом, ярком, молодом чувстве. Но у него, к несчастью, была глубокая, благодарная, жаждущая подвига душа. Он не мог забыть прошлого, не мог принести ее в жертву, страдал и кончил тем, что в жертву принес себя. Он стал уверять и ее, и себя в мишурности всякой карьеры и уехал сюда, в какой-то хутор... Просто спрятался от людей и от жизни, которая слишком мучительно тянула его к себе... Теперь, конечно, все пропало... Он побледнел, потускнел... живут они в своем хуторке, почти ни с кем не знают, сажают виноград, копают грядки... Жизнь кончена... А какая это могла быть красочная, живая, интересная жизнь...

Девушка в белой рубашке с синими полосками, вся бледная от волнения и жалости, смотрела прямо в рот писателю темными, скорбными глазами. И, чувствуя этот трогательный, печальный взгляд, писатель рассказал эту историю, эту драму, незаметную и страшную, так торжественно и грустно, как будто читал чье-то скорбное и святое житие. И веяние печали тихо пронеслось над ними. Даже веселый доктор, давно знавший эту историю и никогда не придававший ей значения, приуныл, а жена его побледнела, и тайный страх тенью лег на ее молодое, счастливое лицо. Когда писатель кончил и принялся набивать свою трубку, долго молчали. Слышно было, как за обрывом шумит море, где-то плещутся весла и несмело запекает молодой голос.

А потом начали спорить. Писатель горячо доказывал, что в этой жертве есть настоящая красота; студент озлобленно, как личного врага, высмеивал человека, который из-за какой-то старой бабы отказался от жизни, а веселый доктор начал ругать эту женщину, которая приняла жертву и не сумела уйти вовремя.

— Но ведь и она не виновата... — робко заметила жена.

— Мало ли чего, не виновата... Так, значит, губить человека? Доктор стал спорить уже с женой, увлекся и так нетактично, уже ни к селу ни к городу намекнул, что свой своему поневоле — брат, что молодая женщина обиделась и чуть не заплакала. От ее зазвеневшего слезами голоса всем стало неловко, и больной студент, ссылаясь на сырость, предложил идти по домам.

Было, впрочем, и в самом деле уже поздно. Музыка давно замолкла, городок затих, набережная опустела, и только редкие огоньки в дальних дачах говорили о том, что еще не все спят.

Белая луна стояла над черной горой и внимательно смотрела в темную бухту так же таинственно и холодно, как смотрела она, когда еще не было здесь веселого дачного городка и вечное море одно нарушало тишину, плескаясь о дикие камни.

Писатель и больной студент пошли вместе. Шли медленно, часто останавливаясь и продолжая спорить. И еще долго в молчании лунной ночи было слышно, как писатель громовым голосом, очевидно горячась оттого, что доказывает то, во что и сам не верит, спорил с иронически покашливающим студентом. Они стояли на набережной, освещенной луной, чернели двумя резкими тенями и заглушали громкими голосами нежную, звенящую музыку бухты, тихо поплескивающей в своих каменных берегах. II

Как все веселые люди, не выносящие скуки, доктор считал своим долгом заботиться о развлечении знакомых. Он устраивал поездки к дальнему мысу, в лазоревых гротах которого, в прозрачной до дна воде, казалось, еще жили прекрасные нагие русалки с загадочными зелеными глазами. Потом организовал длинные путешествия в экипажах и пешком в горы, придумывал зажигать сухую траву на вершинах, и постоянно его белая панاما озабоченно рыскала в толпе, по набережной, в поисках «нового, интересного номера», как он выражался.

Но все это быстро надоело. Скоро даже самые слова «лодка» и «горы» наводили ленивую скуку. Тогда веселый доктор решил, что пора разнообразить общество, и вспомнил о Перовском. Ему показалось, что это будет очень интересно, а в его веселую, легкомысленную голову как-то не пришла мысль, что это немножко жестоко: показывать для увеселения скучающих приятелей человека, который только тем и любопытен, что в жизни его была тяжелая и печальная драма.

Не пришло, впрочем, это в голову и писателю. Когда доктор поведал ему о своем намерении вытащить Перовского, он оживленно посмотрел сквозь вечные клубы дыма и сказал одобрительно добродушным басом:

— Что ж, это любопытно... Непременно приведите его.

И через несколько дней веселый доктор привел на поплавок какого-то высокого бородатого человека в больших сапогах и синей рубашке.

— Позвольте вас познакомить... Мой хороший приятель, Дмитрий Аркадьевич Перовский, — сказал он торжественным тоном шарлатана, показывающего какую-то достопримечательность.

Писатель поздоровался с Перовским, как старый знакомый, радушно, по-приятельски. Жена доктора мило улыбнулась, и в ее преувеличенной ласковости было заметно желание приласкать несчастного человека. А в темных глазах девушки появилось то испуганное выражение, которое бывает у очень добрых и молодых людей, когда им показывают человека, которому уже недолго осталось жить.

Должно быть, Перовский почувствовал, что на него смотрят как-то особенно. По его красивому бородатому лицу с немного сумрачными глазами и резкими морщинами в уголках рта мелькнуло беспокойное выражение. Он сел и сейчас же схватился за предложенный стакан чаю и, опустив глаза, принялся перебирать пальцами по краям блюдечка.

— Давнехонько мы с вами не видались, — сказал писатель. Перовский поднял глаза и сейчас же опустил их.

— Да, давно... — неловко ответил он.

— Ну, как поживает Лидия Павловна? — опять спросил писатель и по своей привычке прищурился от дыма.

Но тоненькой девушке, испуганно следившей за всеми, показалось, что он и прищурился, и спросил нарочно. Ей стало стыдно за него. Жаль Перовского и страшно, чтобы он не высказал перед этими грубыми, нетактичными людьми своего страдания.

Но Перовский, не подымая глаз, ответил спокойно и просто:

— Все болеет последнее время... Меня это страшно беспокоит... Должно быть, у нас на хуторе сыро все-таки...

И девушка расцвела: она обрадовалась, что он ответил так тепло о женщине, которая ведь разбила ему жизнь. И чувство жалости и удивления перед его, как ей казалось, великим и скромным подвигом задрожало в наивном чистом сердце.

Сначала разговор не клеился. Перовский был сдержан и даже дик, смотрел вниз и нервно перебирал пальцами все, что попадалось под руку. Все старались быть с ним особенно ласковыми и внимательными, и это создавало ту неприятную принужденность, какая бывает у постели трудного больного.

Но потом писатель заговорил о последних литературных новинках, о последнем романе знаменитого индивидуалиста. Он хвалил роман и даже восхищался им, как проповедью силы и свободы.

— Пора, в самом деле, громко сказать, что человек создан для счастья, как птица для полета, — крикнул он громовым голосом, с удовольствием замечая, что его слушают три хорошенькие барышни за соседним столом.

— Счастье не только в победе над другими, счастье есть и в самопожертвовании, — негромко возразил Перовский.

Писатель заспорил, стал горячиться и кричать. Девушка в синей юбке опять испуганно поглядела на Перовского. Ей показалось, что писатель нарочно поднял этот вопрос и спорит не с Перовским, а со всей жизнью самого Перовского.

«Зачем они все его мучают?» — подумала она и чуть не заплакала от жалости и негодования.

Но Перовский опять как будто бы ничего не заметил. Он спорил только по существу, и мало-помалу разговор принял интересный, безобидный характер. Все оживились, и Перовский тоже. Давно не слышанные слова пробудили в нем заглохшую искру живой, чуткой, мыслящей души. Глаза заблестели, складка у рта стала мягче. Видно было, что в уединении своего хутора, далеко от жизни с ее мучительными вопросами, громом и сутолокой, он много думал и выработал себе какое-то свое, углубленное и напряженное мирозерцание. Слова его были немного дики, иногда даже наивны, но острая серьезная мысль светилась в них и придавала им особую силу.

Вообще видно было, что он понемногу оттаивает и осваивается с людьми. Писатель говорил много, жена доктора была ласкова и красива, доктор — весел и равнодушен, больной студент — интересен своей злостью, а тихая, молчаливая девушка — так внимательна и серьезна, что в этой легкой, теплой атмосфере замкнутая, одинокая душа конченого человека стала оживать и распускаться. И когда после чая поехали кататься на лодке по серебряной зыби лунного света, широкой полосой легшего на море, Перовский уже чувствовал себя среди своих, и та постоянная, неотвязная тоска, которая ходила за ним уже столько лет, незаметно, как червь точит дерево, подтачивающая его душу, куда-то отошла. Давно уже ему не было так легко и весело.

Черная вода крутилась у лодки и казалась страшной бездонной пропастью, лунный столб играл и вспыхивал миллионами голубых огоньков, точно плясали над водой мириады крошечных светлых эльфов. При лунном свете жена доктора и девушка в белой рубашечке казались необыкновенно красивыми, легкими, как лунные девы. Мимо проехала большая темная лодка с равномерно гребущими, точно кланяющимися по команде рыбаками и, когда въехала в лунный столб, стала совсем черная, загадочная и странная.

Веселый доктор стал просить Перовского спеть.

И опять девушка испугалась за него; она подумала, что пение в душе Перовского должно быть самым больным местом. Ведь это было лучшее, от чего он отказался. Но Перовский охотно согласился и запел.

В голосе его уже не было свежести, и манера огрубела. Должно быть, он многое позабыл, но ночь была такая красивая, так хотелось музыки и грусти, что, когда сильный мужской голос, среди неугомонного, звенящего плеска волн, высоко и свободно поднялся над морем, всем показалось, что лучше ничего они никогда не слышали.

— Замечательно хорошо, — тихо шептала жена доктора, и глаза ее странно блестели при

луне.

— Да... — соглашался доктор и просил петь еще.

Лодка уплывала все дальше и дальше от берега, и уже кругом было одно вечно движущееся море, лунный свет и бескрайняя даль. Скалы на берегу стали легки и воздушны, и, как игрушечные, чернели на них старые генуэзские башни, окованные холодным светом.

А Перовский все пел и пел. Жена доктора совсем размякла, и ее красивое лицо побледнело от волнения. Больной студент притих, ему что-то взгрустнулось, но было хорошо. А тоненькая девушка сидела на руле и не двигалась.

Она смотрела на светлую луну влажными, глубокими глазами и думала, что это прекрасно, что не может такой богатый, чарующий дар пропасть бесследно и скучно. И тайная мысль о том, что, быть может, она могла бы спасти этого человека, волновала ее, как предчувствие первой весенней любви.

— Вот это вы здорово, — с чувством сказал писатель после одного красивого и трагического романса. — Я слышал, как пел эту вещь Артонин, но мне не понравилось... У вас больше силы, больше трагизма... Очень, о-очень хорошо...

— Артонин? — вдруг переспросил Перовский, и в голосе его что-то вздрогнуло. — Нет, что же... я давно бросил... отстал... — вдруг выговорил он упавшим тоном, и прежняя беспокойная нотка прозвучала в его словах. Он замолк, сел и стал смотреть на воду, темными кругами выплывавшую из-под лодки.

И в эту минуту девушка, сидевшая на руле, тоненькая, освещенная луной, вдруг несмело, но торопливо стала рассказывать, как вчера она ходила на этюды на песчаный берег и как там было светло, хорошо, как радостно светилось солнце и ласково плескалось море. В ее робких словах было так много детской нежности и робости, что казалось, будто там, где она была, и море, и солнце, и горы были какие-то особенные; маленькие, нежные, добрые, совсем не такие громадные и грозно красивые, как в действительности.

Она рассказывала, торопясь и путаясь, и все слушали ее с недоумением. Только Перовский сердцем понял, что ей просто жалко его и что с трогательной наивностью она хочет отвлечь его мысли к чему-нибудь светлому и легкому. Он посмотрел на ее хорошенькое, освещенное луной личико, на котором испуганно и просительно блестели темные глаза, и подумал с благодарной нежностью: «Милая девочка».

И ему опять стало легко. Чтобы успокоить девушку, он сам стал рассказывать о своих скитаниях по горам с ружьем и собакой. Рассказал, какая это милая собака, белая как снег Леда. Потом опять пел, и, довольные, оживленные, с душами, точно омытыми ночной свежестью моря, они вернулись в бухту.

Жена доктора устала от впечатлений. Только став на землю, она почувствовала, что ее все-таки укачало. Поэтому поужинали на поплавке без нее и скоро разошлись. Разговаривали вяло.

Казалось, что все хорошее, что можно было сделать, сделано, и не хотелось портить настроения.

Доктор увел жену спать, писатель остался выпить пива, больной студент пожаловался на сырость и ушел, покашливая. Перовскому пришлось проводить девушку.

Надо было обойти кругом всю бухту, уж замолкшую и темную, как мертвое озеро. Тень горы падала на городок, но противоположный берег был весь белый от луны. И когда, повернув по

берегу, Перовский и девушка вышли на ту сторону, они сразу окунулись в холодное море света, в котором и одинокие белые дачи, и темные кипарисы, и горы, и они сами казались легкими, прозрачными.

И почему-то захотелось говорить, и слова выходили удивительно красивыми, интересными, полными значения большего, чем было в них днем. Девушка начала рассказывать, что она учится в школе живописи, любит свое искусство больше всего на свете и мечтает быть художницей. Она говорила, волнуясь и даже дрожа от возбуждения, как будто уговаривала его понять всю прелесть искусства, всю его загадочную, полную света и красок жизнь. Перовский слушал и умилялся, что в таком тоненьком, слабом теле может жить столько восторга и красоты.

«Милая девушка», — думал он.

И сам удивлялся той легкости и волнению, которые возбуждали в его затихшей душе лунная ночь, шепот и звон бухты и близость молодой хорошенькой девушки. Он чувствовал себя счастливым и весело вкладывал в каждое слово самое лучшее и интересное, что было в нем.

Уже возле самой дачи, где жила девушка, она спросила его, уже не боясь, что испугает и обидит:

— Неужели вам не тяжело навсегда отказаться от искусства?

— Почему отказаться? Петь я и теперь пою... почему надо непременно петь на сцене, за деньги... Это предрассудок, — сказал Перовский. И ему в самом деле в эту минуту казалось, что это правда. Ведь и здесь он может петь вот такой милой девушке, чувство которой уж во всяком случае дороже тех сотен пошлых людей, которые будут сидеть перед ним в театре. Бог с ними, с этой сценой, с малеванными декорациями, с миром интриг, аплодисментов и рублей. Не в этом счастье.

— Но почему же? — робко спросила девушка, когда Перовский сказал, что он давно оставил мысль о карьере певца. — Ведь это так прекрасно... Боже мой, как хорошо!

— Это старая история... Не стоит говорить об этом... Что кому дано... — махнул рукой Перовский.

Девушка молчала и глядела на него темными молящими глазами. Должно быть, в эту минуту они уже прощались, потому что она держала его руку тоненькими, слабыми пальцами и смотрела прямо в лицо.

— Ну, до свидания, — сказал Перовский. — А ведь я до сих пор не знаю, как вас зовут, — неожиданно вспомнил он.

— Лидочка, — машинально ответила девушка.

— Лидочка, — повторил он и засмеялся.

И когда шел один домой на хутор, по озаренному луной шоссе, все думал о ней. Как будто что-то радостное случилось с ним. Было легко и приятно шагать по твердому шоссе, слушать дальний скрип запоздалой мажары, дышать всей грудью. Уснувшие лунные плоскогорья были воздушны и красивы. Небо тихо шевелило яркими звездами и, окованные синим серебром, далеко круглились в темном небе таинственные, вечные горы.

Глубокой ночью, когда в долинах залегла тьма и только на горах еще лежал холодный синий свет, Перовский наконец добрался до хутора. III

Как быстро развиваются и умирают события жизни. И каждый проходящий день, вчера только бывшее счастье, сегодня кажется уже далеким и смутным сном.

Никогда потом Перовский не мог вспомнить, как началось и прошло то, что навсегда осталось в его душе.

И когда он старался припомнить, ему представлялись только отдельные картины, полные света и ярких красок.

Он помнил только, что ему стало скучно на хуторе. Как бывает после большого и шумного праздника, казалось, что совершенно нечего делать. Он долго и много ходил по горам, но горы были те же, что и вчера: так же красивы были их голубые высоты, так же море синело вдали, и было все пусто и однообразно. И прежде были приступы такой раздражающей, нудной скуки, но то была тупая боль, которая утихала и смирялась, когда солнце грело, когда расцветали розы по краю обрыва, когда над оврагами, вольны и царственны, кружили седые орлы, и природа с каждым днем открывала новые тайны своей красоты. В этой близости к земле, лесу и горам таяло и растворялось, как ничтожное в громадном, всякое иное чувство, кроме тихого и удивленного восторга. Но на этот раз тоска не отступала. И закат с его кровавыми красками казался мрачным, и горы — безжизненными громадами, и море — пустыней, и дальние плоскогорья с их вечными морщинами оврагов — какой-то навеки застывшей, унылой тоской.

Сначала он даже не понимал, что это значит, и, когда Лидия Павловна тревожными глазами спрашивала его, Перовский, отвечал:

— Нездоровится мне что-то...

Но однажды, поехав по делам в приморский город, он встретил там больного студента. Они вместе пообедали в бульварном ресторане, среди нарядной толпы щеголеватых офицеров и шикарных дам в трехаршинных шляпах. Студент, как всегда, покашливал, злился и ворчал на лакеев, которые медленно подавали. Перовскому грустно было смотреть на него, и тайная мысль говорила: «Вот умирает человек, а сердится, что ему долго не подают жареной камбалы по-гречески... Стоит ли вообще волноваться, мучиться и думать, если смерть у всякого за плечами».

Смутное чувство напоминало ему, что и сам он страдал во имя чего-то, что так же ничтожно перед лицом смерти. Но мысль эта тогда не оформилась и скользнула, не задев души.

Но все-таки студент показался ему родным, и, несмотря на его необщительность и озлобленность, Перовский расстался с ним, как с лучшим приятелем. И когда студент уехал, понял, что его тянет туда, в маленький светлый городок, к голубой бухте, к веселым, живым, полным интереса к жизни людям. Перовский даже испугался. Ему представилось, что это опять начинается то невыносимое томление, которое пережил он в первый год своего добровольного одиночества. Тогда было так мучительно, что самая мысль о возможности тех настроений навела на него ужас.

Но когда, не вытерпев, он пешком шел на курорт и маленький хуторок, молчаливый пчельник и унылая женщина с седыми волосами остались где-то за зеленым гребнем горы, Перовским овладело чувство радостного, мальчишеского нетерпения. Все скорее и скорее шел он, сам удивлялся своему оживлению и думал: «Должно быть, я очень наскучался, что меня так тянет к таким, в сущности, простым, обыкновенным людям».

Мысли о девушке в синей юбке и белой рубашке не было. Он вспоминал о ней смутно, не отделяя ее от ее спутников, лунной ночи, темной бухты и серебряной ряби на море.

И только когда увидел ее, когда им пришлось остаться вдвоем и их обоих, как близких,

вместе обняло горячее солнце, он почувствовал, как умирает и тает в душе что-то старое, надоевшее, унылое и как начинается что-то яркое, свежее, новое. И это новое, это светлое счастье, вся радость и красота солнца на небе — в ней, этой тоненькой девочке, под белой кофточкой которой нежно золотится молодое женское тело.

Веселый доктор легко уговорил его остаться дня на три, а от этих трех дней осталось у него впечатление света, смеха, моря, солнца и греющей близости первой женской молодости.

Лидочка, как она назвала себя в первый вечер и как, смеясь, продолжал ее звать Перовский, привыкла к нему, не стеснялась его, и в долгих разговорах на обрыве в лунную ночь, в манящей близости развернулась перед ним, как цветок перед солнцем, вся тихая прелесть только начинающей жить и чувствовать женщины.

Это был целый мирок, в котором было столько чистых и глубоких переживаний, так чутко отражалась всякая красота, и так было много страдания оттого, мимо чего пожившие люда проходят с миной привычного сожаления, что нельзя было не любить ее.

И уже в ее темных глазах, когда она стыдливо подымала их на его помолодевшее, оживленное лицо, иногда мелькала та робкая и таинственная печаль, которая говорит о том, как тонко и красиво переламывается беззаботная, наивная девушка в полную жизни и желания женщину.

Особенно ярко остался в памяти последний день.

Они вместе стояли на камне, и белая пена бурно лизала его под ногами. Лидочка кончиками пальцев придерживала от ветра свою светлую соломенную шляпу, и Перовскому в широком рукаве видна была вся ее тонкая и слабая рука с розоватым круглым локотком. В первый раз обаяние чистой девственной женской наготы взволновало его. Ему захотелось замолчать, не говорить ни о будущем, ни о настоящем, ни о прошедшем, а просто взять и тихо поцеловать эту слабую руку. Все сердце его задрожало в бурной и тревожной дрожи. Одну минуту он думал, что не справится с собой. И, должно быть, она почувствовала это. Повернулась к нему покрасневшим лицом с затуманившимися глазами, посмотрела и вдруг вся затрепетала, как чайка под ветром.

И мелькнула в ее глазах мольба, точно она просила пощады.

А синее море взволновалось и все было в буйном, требовательном движении.

В ту же ночь, сам не зная зачем, он пошел один к той даче, где она жила. Всего только полчаса, как он сам проводил ее, а между тем Перовский чувствовал, что не может уснуть, не может не пойти. Что-то сильнее его звало и толкало.

Опять белая луна стояла над черной горой. На том берегу постепенно затихал сонный городок, и один за другим гасли желтые огоньки. Перовский шел, как во сне. Что-то огромное наполняло его сильное, мужественное тело. И ему казалось, что ничего не было, что долгие годы сонной жизни — только сон, а он — молодой, свободный, как когда-то.

Почему-то ему казалось, что он непременно увидит Лидочку. И несколько не удивился, когда увидел ее.

Властный, таинственный голос любви — вечная тайна жизни.

Девушка в белой рубашке, вся окованная холодным серебром, сидела на открытом черном окне и, казалось, ждала. Таинственное белое лицо луны прямо смотрело на нее, и тянулись над бухтой голубые волны, точно кто-то властный и светлый колдовал в эту ночь.

— Лидочка, — тихо позвал Перовский, чувствуя, как дрожит его сердце, и земля тихо

уплывает из-под ног.

— Лидочка, — повторил он громче.

Она вдруг выпрямилась, взглянула вниз, и странно, как будто собираясь лететь, протянулись ее тонкие руки в белых широких рукавах. Что-то тайное и жуткое было в ней в эту минуту, но она вдруг отшатнулась от окна и исчезла в темноте.

Потом долго было тихо, и только слышалось, как бухта звенит, и казалось, что лунные лучи не безмолвны, что они с тихим шепотом ткут какую-то голубую сказочную сеть. Потом скрипнула калитка, и белое платье мелькнуло при луне.

Лидочка подошла к нему и стала, опустив руки. Она ничего не просила, ничего не сказала. Темные глаза смотрели мимо него на светлую луну, как будто ее тянул этот настойчивый, колдующий свет. И вся поза ее, с опущенными руками, приподнятой головой и влажными, блестящими глазами была бессильна, как будто она отказывалась от борьбы и вся отдавалась этой ночи, его воле, своему счастью и своей судьбе. IV

Поздно ночью Перовский шел назад по набережной. На опустелом поплавке сонные, сердитые лакеи убирали скатерти и грудами сносили тарелки. Только за одним столом сидел большой, дымящий, как паровоз, писатель, уныло курил и молчал. Должно быть, лунная ночь томила его. Он был задумчив, пил пиво и сосредоточенно дымил трубкой один на всем поплавке.

И, чувствуя потребность все обнять своим счастьем, которое наполняло его грудь до боли, Перовский окликнул писателя.

— А, это вы? — спросил тот, очнувшись. — Проводили?

— Да... проводил... Боже мой, какая ночь! — ответил Перовский, не замечая даже, что говорит. Он стал против писателя и смотрел на него открытыми блестящими глазами.

Писатель был не в духе. Он отпил пива, набил трубку и, подняв глаза, подумал. Должно быть, он смутно догадывался, отчего так блестят глаза и так странен весь Перовский, точно другой человек, — молодой, сильный и свободный.

И, помолчав, писатель машинально спросил:

— А как теперь здоровье Лидии Павловны? V

Луна зашла, и ближе подвинулись темные призраки гор. Тьма хищно выползала из ущелий и легла на грудь земли.

Маленький хуторок потерялся и растаял в ней. Только один огонек светился в темных деревьях и говорил о какой-то доживающей, никому не нужной одинокой жизни.

Светлое пятнышко замерещилось во тьме. Это была собака. Белая Леда бежала навстречу Перовскому через виноградник, и еще издали было слышно ее радостное повизгивание. Она стала прыгать на грудь, стараясь лизнуть в лицо.

— Милая, — сказал Перовский и чуть не заплакал от умиления и жалости. — Не спала, ждала меня.

Собака терлась об его ноги, била хвостом, припадала к земле и вскакивала. И эта бессловесная любовь, такая нетребовательная к вниманию, так мало умевшая выразить свое непонятное, но громадное чувство, больно тронула сердце. Первый раз Перовский понял в эту ночь, как ужасно так любить и так мало значить для того, кого любишь.

Тишина полного одиночества охватила его, когда Перовский вошел в дом. Темнота и уныние ходили по пустым комнатам. Только в столовой горела почти выгоревшая лампа и с книгой сидела Лидия Павловна.

Она увидела его с собакой, подняла робкие и радостные, что-то чувствующие глаза и сказала тихо, как будто боясь напомнить ему то, на что не имела права.

— А мы с Ледой ждали тебя...

И мгновенно представилось Перовскому, как вечер за вечером сидели здесь, при одинокой лампе, стареющая женщина и белая собака, чутко прислушиваясь к каждому звуку, который рождала темная горная ночь. И в то время, когда, свободный и веселый, он радовался своему новому счастью, жил полной жизнью и говорил себе о своем праве покинуть их, надоевших и мешавших, они сидели и каждая по-своему думали только о нем. Представляли себе его лицо, радовались, что ему весело, мечтали, что когда-нибудь пройдут эти одинокие дни, и он опять придет. Как будто у них не было собственной жизни, и жили они только для того, чтобы любить его.

Уже перед рассветом бледный, растрепанный, с синими кругами под глазами, похожий на человека, пережившего ночь перед казнью, Перовский вышел во двор и, глядя на посеревшие плоскогорья, унылые, однообразные, как бы никогда не знавшие солнца, отчаянно схватился за голову.

«Как я мог забыть, — думал он со смертельной тоской и ужасом. — Я буду счастлив, уеду далеко-далеко, а она останется здесь одна, совсем одна... И будет думать обо мне, вспоминать всякую мелочь... беречь мои ноты, мои ружья, кормить такую же старую белую Леду... Длинными зимними вечерами будет одна у лампы, старая, слабая... А я даже не буду вспоминать ее...»

И с отчаянием он почувствовал, что нет... что ему не вывернуться из-под власти силы, давящей его. И как бы он ни был счастлив, какие бы успехи ни ожидали его, призрак маленькой, седой, одиноко сидящей у лампы женщины никогда не уйдет от него. VI

Осень была уже во всем. И в прозрачном воздухе, и в слишком ярких, кристально чистых красках заката, и в том неуловимом аромате увядающих деревьев, который напоминает о тихих кладбищах, о том, что все проходит.

Солнце село, и внизу, в долине, легли туманы. Только на вершинах гор еще ярко золотились освещенные осенние леса, и казалось, будто горы облиты расплавленным золотом.

Экипаж плавно катился по ровному белому шоссе.

Большой писатель вынул изо рта свою вечную трубку, страшно надоевшую всем спутникам, и сказал мечтательно:

— Ужасно странно думать, что там, наверху, теперь солнечный, тихий вечер... Деревья стоят все в золоте и не шелохнутся. Тянется золотая паутина... Полная тишина. И никого там нет, никто не смотрит, никто не восторгается... Тысячу лет стоят там деревья и гаснут ясные вечера, а никого нет... Разве лисица потянет куда-то за своим делом или орел заворочится на вершине...

Писателю, должно быть, хотелось выразить, как грустно думать, что люди вовсе не нужны этой прекрасной, вечной природе, живущей и без них своей полной, красивой жизнью.

Но мысль эта как-то не вытанцовывалась у него. И никто его не понял. Веселый доктор, еще больше пополневший за эти два года, сказал:

— Да... действительно, красиво... Ты не жалеешь, Ната, что поехала?

И жена доктора, тоже пополневшая, похорошевшая и успокоенная, ласково улыбнулась ему.

— Конечно, нет... Я боюсь только, что назад будет холодно ехать ночью... Надо было раньше выезжать, я говорила...

Вечер все выше и выше поднимался со дна долин. Уже только одна вершинка горела красным и желтым пламенем заходящего солнца. Но и она скоро потухла, и синие сумерки неслышно всползли на горы. В дальних туманах утонули засыпающие плоскогорья. Угрюмо, как тысячелетние морщины, сдвинулись овраги, и туман клубами выполз из них. Точно холодные духи вечера вышли водить хороводы на ровных вершинах.

Проехали татарскую деревню, где неистово лаяли собаки и бежали за экипажем чумазые ребяташки, похожие на глупых чертенят. Потом опять выехали на лесную дорогу, и тогда, когда уже всем стало казаться, что лучше было бы не ездить, показался маленький хуторок, прилепившийся на скате обрыва, как гнездо. Залаяла собака, и издали было видно, как бежала она навстречу через голый, поломанный виноградник, мелькая белым комочком.

— Леда! Леда! — закричал доктор. — Не узнала? Иси! Собака подбежала ближе, недоверчиво помахала хвостом и тявкнула раза два, но уже просительно, точно извиняясь, что не может припомнить знакомых.

Пока вылезали из экипажа и разминали затекшие ноги, было весело. Все были довольны, что наконец приехали. Доктор подшучивал над молодым человеком, сидевшим на козлах, рядом с кучером.

— Не по своей дороге пошли, Николай Павлович: вам бы выездным быть, а вы в певцы...

Писатель грохотал громовым басом. Но молодой человек, длинный и худой, не отрываясь, все еще глядел на плоскогорья, точно старался понять тайну их унылой и однообразной красоты.

От домика шла к ним маленькая, согнутая женщина, с белыми волосами и в грязненьком капотце. Она, видимо, тоже не узнавала гостей и наудачу улыбалась смущенно приветливой улыбкой.

— Здравствуйте, Лидия Павловна, — закричал веселый доктор. — А мы к вам в гости.

— Ах, это вы, доктор. А я было и не узнала... давно не видались... Вот будет рад Дмитрий Аркадьевич...

— А он дома?

— Он тут недалеко, сейчас придет. Там у нас овцы пчельник поломали, так он все там возится... Он сейчас... Пожалуйте, пожалуйста... — говорила Лидия Павловна, и с ее лица все не сходила робкая, заискивающая улыбка.

В маленьких комнатах дачи было неуютно и темно. И почему-то все почувствовали себя неловко, словно силой ворвались, незваные, непрошенные. Жена доктора села на окно и задумалась, писатель принялся набивать свою трубку. Молодой человек, длинный, как жердь, ходил по комнате и в сумраке старался рассмотреть картинки и фотографии на стенах. Только веселый доктор не унывал. Он вызвался пойти за Перовским. Молодой человек немедленно увязался за ним.

Они прошли унылый виноградник, осмотрели пчельник, дошли до проволочной изгороди, за которой уже скатывался вниз зеленый косогор, но никого не было видно. Леса, темные и

мрачные, одни стояли над долиной.

— Унылое место, — сказал долговязый молодой человек, — как они могут тут жить?

— Так и живут, — неопределенно ответил доктор и закричал громким, резким голосом:

— Дмитрий Аркадьевич! Гоп, гоп!

Никто не отозвался. Горы молча и угрюмо смотрели сверху. Тишина ползла из оврага. Стало жутко, как будто они на огромном кладбище звали человека, который давно умер.

— Ди-мит-рий Аркадь-е-вич! — опять закричал доктор.

— Ау! — неожиданно отозвался чей-то голос, и над краем оврага, точно из-под земли, показался Перовский, в больших сапогах и в старом рыжем пиджаке, наброшенном на плечи.

Он подошел быстро, видимо взволнованный неожиданным появлением людей. И пока подходил, доктор и долговязый молодой человек, которому дорогой рассказали историю Перовского, рассматривали его, как свободные люди рассматривают вечного каторжника. С любопытством и состраданием.

За эти два года он очень постарел и опустился. В большой бороде и по-прежнему буйно-кудратых волосах показалась седина. Лицо еще резче прошли морщины. Только глаза смотрели, как раньше, остро и немного дико.

Трудно было понять, обрадовался ли Перовский гостям, но встретил он их радушно и равнодушно. Только когда веселый доктор, знакомя с ним долговязого молодого человека, сказал: «Это ваш коллега, певец!..» в глазах Перовского мелькнула искорка. Он ласково заговорил с новым знакомым, стал расспрашивать, где он учился, и так как оказалось, что они занимались у одного и того же старого профессора, то разговор их стал оживленным, полным воспоминаний и имен.

На даче зажгли лампы, на столе заблестел кипящий самовар, стало уютнее. Даже показалось, что здесь, должно быть, очень весело и приятно жить.

Во время чая разговор все вертелся вокруг музыки, живописи, литературы. И писателя поразило, что Перовский ничуть не отстал, знал все новое, всем интересовался, во взглядах был так же искренен и широк.

«Удивительный человек, — с грустью подумал писатель. — Другой на его месте деревом стал бы... а он — на... Видно, правда, что дух человеческий развивается совершенно свободно, несмотря ни на какие обстоятельства...»

И в голове писателя родился план рассказа на эту тему.

После чая веселый доктор стал упрашивать Перовского петь. Почему-то всем казалось, что Перовский должен отказаться, что просьба эта будет ему неприятна, как напоминание. Но Перовский согласился очень охотно, даже с видом польщенным. Это была новая черточка в нем, которую с неприятным чувством сейчас же подметил писатель.

Лидия Павловна села за старенькое, полурасстроенное пианино. Гости уселись по стенам, и Перовский запел.

Пел он как будто по-прежнему хорошо, только немного было странно смотреть на дикого, в больших сапогах и с всклокоченной полуседой бородой человека, который, старательно раскрывая рот и дирижируя себе рукой, поет бравурные блестящие арии, напоминавшие огромный освещенный театр, декольтированных дам, мундиры, звуки оркестра и ярусы лож.

И еще немножко было смешно, когда, после каждого номера, Лидия Павловна, потирая ручки и блестя покрасневшим от наслаждения лицом, подбегала то к одному, то к другому и спрашивала:

— Не правда ли, хорошо?.. Правда?

— Да... — принужденно соглашались гости, но им нравилось все меньше и меньше.

Слишком кричал Перовский, слишком старался, чересчур предупредительно пел все новое и новое.

Долговязый молодой человек смотрел в стакан, жена доктора преувеличенно хвалила, явно, чтобы доставить удовольствие, писатель стал угрюм, веселый доктор скучал.

Но Перовский ничего не замечал. Кончив одну вещь, он сейчас же искал новую в куче нот, наваленных на пианино. Лидия Павловна садилась, озабоченно расправляла платье, а потом подбегала спрашивать:

— Не правда ли, хорошо?

И писателю почему-то представилось, как по вечерам, когда все замолкает кругом, горит лампа, поет он и она восторгается, хвалит, говорит, что равного голоса нет в мире, а он верит, оживленно размахивает руками и неискренно спорит:

— Ну, ты льстишь мне... Хотя эта вещь действительно выходит у меня недурно, я сам чувствую... К своему пению я могу относиться совершенно беспристрастно.

И писателю становилось все больше и больше не по себе.

Жена доктора смотрела на Перовского, на его большую бороду, седину в волосах, старательно раскрывающийся рот, и уже не хвалила. Ей хотелось плакать, Бог знает о чем.

«Странно, — думал веселый доктор, — прежде его можно было слушать всю ночь, а теперь... как будто и довольно бы».

Наконец он не выдержал и стал просить спеть и долговязого молодого человека.

Перовский как будто удивился этому, но сейчас же сделал любезное, интересующееся лицо и присоединился к просьбам доктора.

— Конечно, спойте, — говорил он, точно милостиво разрешал.

— Нет, право... я давно не пел... пусть лучше Дмитрий Аркадьевич споет... Вот вы знаете Ребикова: «Слишком много цветов»?..

В голосе его звучало что-то странное, точно он боялся чего-то. Но веселый доктор не отставал.

— Уж эти мне артисты, вечно заставляют просить... — говорил он.

Тогда долговязый молодой человек встал.

— Ну, пожалуй... Только одно что-нибудь...

Он неловко подошел к пианино, долго выбирал и наконец положил на подставку тоненькую тетрадку. Лидия Павловна села и опять долго расправляла платье. Молодой певец стал позади ее стула, выпрямился, стал как будто выше на голову и запел.

Звучно и торжественно наполнил комнату его могучий, прекрасный голос, и даже легкомысленный доктор понял, почему он так упорно отказывался петь: ему было жаль Перовского, этого конченного человека, который только и жил тем, что считал себя великим артистом, могущим и только не wanting потрясти мир.

Грубым и бедным казался голос Перовского в сравнении с этим глубоким голосом, в котором властно звучала та поднимающая душу и сжимающая сердце красота, которая дается только великою любовью к своему таланту, бесконечным трудом, не останавливающимся ни перед чем, всю душу вкладывающим в одно неутолимое стремление.

И когда он кончил, долго молчали и с удивлением, с тайным уважением смотрели на этого бледного, долговязого молодого человека, который смиренно отошел к своему стакану и сел, не подымая глаз.

Просили петь еще, говорили с ним нежно, осторожно, точно боялись спугнуть что-то прекрасное, нарушить свое впечатление простыми, пошлыми словами. Но молодой человек упорно отказался и стал пить чай.

О Перовском как-то все забыли, и когда он заговорил, всех поразил его растерянный, странный вид и тон. Он хвалил пение, но похвалы его неприятно резали слух.

— Очень, очень хорошо... — говорил он, — великолепно... Только напрасно вы даете такой открытый звук в заключительной фразе... Здесь надо было бы больше блеска, знаете... Но голос у вас прекрасный... Видно, что вы еще мало учились, конечно, но все-таки... очень хорошо.

Жалкое, маленькое чувство засквозило в этих раздерганных, неожиданных переходах от похвал к замечаниям. Все молчали и слушали, но никто не смотрел на него. Писатель угрюмо набивал трубку, жена доктора виновато улыбалась, и ей опять хотелось плакать. Только доктор неожиданно рассердился и ввязался в спор:

— Ну, что вы говорите, Дмитрий Аркадьевич... По-моему, это прекрасно, и больше ничего...

Глаза Перовского беспокойно забегали.

— Я ничего не говорю... Голос, конечно, прекрасный. Я только думаю, что следовало дать больше блеска... Вы сами согласны со мной.

— Да... может быть... — опуская глаза, сказал молодой человек.

— Нет, в самом деле?.. Вы сами так думаете? Да? Я прав ведь?..

Голос Перовского прыгал, глаза беспокойно бегали. Было и жалко, и досадно, и противно слушать его. И большой писатель, не вмешиваясь в разговор, хмуро подумал:

«Боже, Боже, как он изменился... А ведь прежде как он радовался, когда видел талант... как носился с каким-нибудь открытием... Где все это? Это не он, это дрянь какая-то... мелкая, завистливая дрянь... Тьфу, какая гадость!» — думал он, прислушиваясь к неестественному голосу Перовского.

А Перовский все силился что-то доказать, в чем-то оправдаться: волновался и, видимо, страдал. Он сам чувствовал, что им владеет простая и дрянная зависть, и боялся, чтобы его не поняли. Оттого он усиленно старался доказать, что говорит совершенно беспристрастно, что певец сам согласен с ним, и они прекрасно понимают друг друга. Ему никто не верил, и он чувствовал это, с ужасом видел, что с каждым словом все больше и больше выдает себя, и метался из стороны в сторону, как загнанный волк.

А жена доктора смотрела на него, и ей хотелось плакать.

Только маленькая Лидия Павловна ничего не замечала. Она потирала ручки, суежилась и старалась отвлечь внимание от певца на то, что ей казалось несравненно интереснее, на Перовского. Она вмешалась в разговор и совершенно некстати сказала:

— У Дмитрия Аркадьевича эта вещь выходит тоже превосходно... Когда он пел ее в концерте, было четыре биса...

Долговязый певец, выбрав минуту, встал и пошел опять бродить по комнатам, рассматривая картинки на стенах. У одного этюда масляными красками он долго стоял в глубоком внимании. Маленький кусочек холста весь горел мягким, радостным весенним солнцем. Таял снег дрожащей голубоватой дымкой. Тоненькие березки блестели наивно и чисто, как невеста. Ярко голубел клочок весеннего неба.

— Чей этот этюд? — спросил он, когда Лидия Павловна подошла к нему.

— Это одной барышни... поклонницы Дмитрия Аркадьевича... Она ему подарила... Хорошо?

— Да, — серьезно и глубоко сказал певец.

— У нее был большой талант... Умерла она... застрелилась, говорят, что ли...

Долговязый певец ничего не сказал. Постоял и отошел.

Стали собираться домой. Была уже ночь, и лошадей нашли только с фонарем. Опять долговязый молодой человек взмолился на козлы, рядом с кучером. Перовский и Лидия Павловна долго шли за экипажем. Перовский продолжал спорить с доктором, но уже безнадежным, упавшим голосом. Доктор не возражал. Лидия Павловна просила заезжать еще.

— Дмитрий Аркадьевич новые ноты получил, — говорила она в темноте.

— Непременно, непременно... — отвечал из мрака невидимый доктор.

И все чувствовали, что больше не приедут. Перовский молчал.

Тьма лежала на плоскогорьях, и туман злобно клубился в их тысячелетних морщинах. Не успели отъехать полверсты, как хуторок совершенно растаял во мраке, только огонек в освещенном окне еще сверкал, но и он скоро мигнул и исчез за поворотом. Должно быть, заехали за деревья.

Деревянный чурбан

1

Ни один листик не шевелился кругом, а их были миллиарды, и каждый был насквозь пронизан светом и теплом. Под ногами шуршали жесткие иглы травы, пробившейся сквозь многолетнюю сухую листву, по которой мягко и странно было идти, точно под нею были упругие и сильные пружины. Пахло листвою, мохом и грибной сыростью. Впереди, позади, по сторонам был лес — зеленое море листьев, веток, мхов, могучих стволов — и золотым дождем сеялись повсюду солнечные лучи, как будто звучащие какой-то неслышимой благодатной музыкой. Кругом же было тихо, торжественной, таинственной тишиной, и тишине этой не мешали далекое звонкое кукование кукушки, чуть слышный стук дятла, долетавший откуда-то снизу, из невидимого в чаще глубокого сырого оврага, и непрестанное, дружное

рабочее гудение миллионов насекомых, ползавших, скакавших и летавших в траве, по деревьям, на освещенных ярким солнцем и отблеском голубого неба полянах.

Жизнь, крепкая и упорная, как рост векового дуба, была вокруг, и от каждого едва видимого жучка, хлопотливо ползущего куда-то вверх по стеблю, веяло твердым знанием чего-то своего — мудрого, серьезного и нужного.

Политический ссыльный, студент Веригин, еще очень молодой человек, с сухими и широкими плечами, за которыми торчало тонкое дуло ружья, в высоких сапогах и полинялой розовой рубахе, один шел по лесу, широко шагая, приглядываясь и прислушиваясь ко всему.

Из-под старой студенческой фуражки курчавились очень светлые и жесткие волосы, серые глаза смотрели уверенно и прямо, но по тому, как пристально он всматривался в зеленую чащу и как старался не сбиться с едва намеченной тропки, местами совсем пропадавшей в кустах, было видно, что в лесу он — человек новый, не знает его и бессознательно боится этой зеленой глубины.

Прошло всего часа два, как он вышел из поселка, и по расчету не мог уйти больше семи-восьми верст, а уже казалось, что на тысячу миль кругом нет ни единой человеческой души, и везде только один этот зеленый, таинственный лес, своей жизнью живущий, свою тайну ведающий, старый, как мир.

На опушке большой поляны Веригин остановился.

Здесь было так много солнца и трава была такая яркая, что глазам и радостно, и больно было глядеть. Из густой сочной зелени смотрели тысячи голубеньких, синих, красных и желтых цветов, над ними танцевали, точно ошалев от солнца и тепла, белые бабочки, а вверху открывалась необозримая глубина сверкающего и тающего неба, по которому ослепительно белые и кудрявые на развернутых парусах легко плыли далекие счастливые облака. Тропинка точно утонула в этой зеленой благодати, а на той стороне такой же сплошной стеной стоял темный перепутанный, казалось, непроходимый, лес и тысячами зеленых глаз внимательно и жутко смотрел на одинокого человека, неожиданно появившегося в его царстве.

— Черт его разберет, где там это дурацкое озеро! — с досадой сказал себе Веригин. — Поляну-то я нашел, а где тот «корявый» дуб, черт его знает... Все дубы корявые!

Он решил отдохнуть и осмотреться. Перед выходом из дому он закусил, но от быстрой ходьбы и крепкого лесного воздуха ему уже опять захотелось есть.

— Надо подзакусить, а там видно будет! — решил он.

Трава была мягкая и душистая; свежестью охватило его слегка вспотевшее мускулистое тело, и Веригину захотелось лечь на спину и растянуться так, чтобы каждым атомом своего существа впитывать в себя тепло и свежесть этой удивительной первобытной земли.

В сумке у него была вареная колбаса и черный хлеб. Хлеба было много, и потому он старался откусывать колбасы поменьше, заедая огромными кусками мягкого, вкусного пахучего хлеба, но не удержался и съел всю колбасу, даже со шкуркой, которая показалась ему удивительно вкусной.

Потом он снял сумку, поставил ружье к дереву и растянулся в траве. И сразу исчез лес, кругом встала такая странная вблизи трава, а вверху развернулась синевя неба, с застывшим на ней круглым, белым, как кипень, облаком. Внизу у корней трава казалась дремучим тропическим лесом, и почти на каждой травинке ползали или важно сидели какие-то козявки, а один толстенький красненький жучок, свесившись на самом конце стебелька, в упор

рассматривал Веригина маленькими, как точки, непонятными черными глазками. Изредка, ныряя в воздухе, точно уносимая ветром, проносилась над ним легкая белая бабочка и снизу казалась прозрачной и желтой.

Веригин лег на спину, раскинул руки и ноги, будто в самом деле хотел захватить побольше земли, и закрыл глаза, сразу погрузившись в какой-то светлый золотистый мрак и тихую, гудящую и жужжащую музыку. Веки закрытых глаз сами собой трепетали под теплым светом, от кончиков ног по спине до затылка тянулась и обволакивала все тело сладкая ленивая истома, а в ушах непрерывно стояла эта музыка и то сливалась в одну густую дрожащую, точно медом налитую, ноту, то распадалась на целый хор каких-то потрескивающих, позванивающих и шепчущих звуков. Иногда над самым ухом что-то заводило свою особливую песенку, и тогда казалось, что это кто-то подкрался к нему, смотрит из-за густой травы зелеными лесными глазами и говорит что-то одно и то же, очень важное и серьезное, на своем непонятном, нечеловеческом языке.

Веригин невольно открыл глаза, но никого не было кругом: зеленая трава тихо шевелилась на синем небе, и красный жучок, как зачарованный, неподвижно смотрел на него черными глазками. Веригин невольно улыбнулся ему: у забавного жучка был такой загадочный вид, точно это именно он, когда Веригин закрывал глаза, превращался в лесного человечка и рассказывал и доказывал ему что-то. Веригин хотел его тронуть пальцем, но лень было пошевелить рукой, и он опять закрыл глаза.

Какие-то ленивые и смутные мысли наплывали и тянулись в голове без конца.

«Лес, лес... — машинально думал Веригин. — В конце концов, и в самом деле, все — чепуха, а самое главное, единственно нужное, это — лес, земля, небо и солнце!.. Лес!.. Кто это, в самом деле, говорит?.. Вот, так близко, прямо-таки в самое ухо, отчетливо так!.. Кажется, прислушаться получше — и поймешь что-то. Это тот жучок: превратился в маленького лесного человечка, в смешном круглом красном сюртучке и рассказывает... У него, должно быть, круглая маленькая головка и забавная серьезная мордочка, с черными глазками... Лес!.. Отчего это каждый человек, как только попадет в лес или поле, начинает думать и говорить, что вся его жизнь была ошибкой, и настоящее счастье только здесь, среди природы, в простом, немудрствующем существовании?.. И ведь каждый знает, что не проживет здесь и трех дней!.. Проклинаем культуру, ругаем людей, а сами жить без них не можем!.. Странно, есть тут какое-то недоразумение!.. Ведь вот как ясно чувствуешь, что счастье где-то здесь, близко, а поймать его не можешь. И поймаешь, а не удержишь, и скучно, и тянет к людям, городам, борьбе!.. Нет, мы забыли секрет этой простой растительной жизни!.. А этот смешной лесной человечек, притворяющийся жучком, должно быть, знает и силится мне рассказать, только я не могу понять его. Вот, опять!.. Ну, громче, громче!.. Не так быстро, отчетливее!.. Нет, не поймешь!.. Фу, лень какая!.. Так бы и заснул!.. А дело все в том, что надо верить, будто это страшно важно, что солнце светит, что трава растет, жучок сидит... Ведь мы как?.. Мы думаем, что природа — это только дачное удовольствие, и, когда смотрим на какую-нибудь козявку, то уверены, что нам до нее, в сущности, никакого дела нет!.. Мы, эгоисты, углубились в свое человеческое, а природу только снисходительно допускаем!..»

Веригин вдруг вспомнил, как однажды, попав в монашеский скит в самый разгар революции, спрашивал старого почтенного монаха:

— И газет вы не читаете?

— Нет.

— Неужели вам неинтересно знать, что делается на свете?

— Что же там делается. Мы знаем вот, что солнце светит! — неожиданно веско и спокойно

ответил монах.

«А остальное не важно? — подумал Веригин. — Нет, важно!.. Нельзя же спокойно наслаждаться чистым воздухом, когда знаешь, что кругом люди задыхаются, голодают, борются за кусок хлеба, за сносное человеческое существование!.. Человек не имеет права... Какого права?.. О чем это я?..»

Жучок, совсем уже не скрывая, что он не жучок, а лесной человечек в круглом красном фрачке, важно и с пафосом заговорил что-то о пролетариате... Дятел где-то близко застучал в барабан...

— Задремал! — громко сказал Веригин и открыл глаза. Жучок по-прежнему сидел на своем стебельке, кругом шелестела трава, облако вверху исчезло, и бездонная, чистая и ясная синева смотрела на Веригина.

— Нет, надо идти, а то тут заснешь! — подумал Веригин и встал, с сожалением расставаясь с томной ленью, проникшей все тело от нагретой мягкой земли.

Опять развернулась перед ним поляна, трава опустилась, красный жучок потерялся в ней, и Веригин уже не мог найти его. Впереди опять встал запутанный, стена стеною лес.

— Идти... А куда?.. Где этот дуб проклятый?..

И в ту же минуту Веригин увидел его: там, где полянка острым клином убегала в чащу, на самой опушке стоял приземистый, весь обросший мохом и лишаями, старик-дуб, с корявыми руками, запущенными во все стороны в зелень, точно крючковатые пальцы в густую взлохмаченную зеленую бороду. Толстый ствол его, весь в ранах, чернел дуплом, и солнечные пятна тихо скользили по нему вверх и вниз.

Веригин подобрал сумку, вскинул на плечо ружье и отдохнувшими легкими ногами зашагал через поляну. Трава путалась у колен, и сотни зеленых кузнечиков и каких-то белых букашек брызгали из-под ног во все стороны.

— Сколько их! — удивился Веригин, и ему даже как-то странно стало, что столько живых существ, таких микроскопических, живут совсем помимо человека, насколько не интересуясь им и не нуждаясь в нем.

Он обошел старый дуб, похожий на древнего косматого лешего, выбрал направление и опять углубился в чащу, шагая по мягкой, пружинящейся сухой листве. Должно быть, местами под нею были ямы и палые деревья, потому что почва предательски колыхалась под ногами.

Какая-то серо-желтая змея с тихим, предостерегающим свистом заскользила в сторону от него и долго, без оглядки, ползла на виду, пока не скрылась за деревьями... Коршун неожиданно сорвался с вершины и камнем полетел к оврагу, жестко хлопая по веткам твердыми крыльями... II

Лес то сгущался сплошной стеной, то быстро разбежался по сторонам, открывая зеленые, веселые лужайки, и наконец на одной из них Веригин увидел человеческое жилище.

Это была землянка, крытая мохом, с вросшей в землю крышей, под которой, над грубо сколоченной низкою дверью, висели гирляндами какие-то красные, синие и белые тряпки, придавая ей странный и дикий вид.

Вся полянка была так покрыта цветами, что травы не было видно, и лежал кругом только узорчатый, пестрый, душистый ковер. По всем направлениям, тяжело гудя, носились здесь пчелы, и густо пахло теплым медом.

В первую минуту Веригину показалось, что никого нет, кроме пчел, цветов и деревьев, и он уже хотел подойти, как что-то белое зашевелилось и поднялось над травой, так неожиданно, что он даже вздрогнул.

Приземистый, мохнатый, весь в волосах стоял на поляне, среди цветов, какой-то старик.

Лица его Веригин сначала совсем не разобрал, так оно заросло, но потом рассмотрел темно-коричневое, все с кулачок, старческое личико, с седыми нависшими бровями и маленькими, острыми, как буравчики, глазками. Одет старик был во что-то белое, будто длинная женская рубаха, с нашитыми на ней красными ластовицами и красными же полосками в несколько рядов вокруг подола и ворота. На ногах у него были, несмотря на тепло, пестрые, мехом отороченные сапоги, такие, какие носят по зимам буряты. Длинные корявые руки висели ниже колен, а волосы и борода, седые до желтизны, в прозрачных отсветах леса казались зелеными. Был он до того дряхл и сгорблен, что, когда наклонился к земле, почти опираясь на нее руками и бородой касаясь цветов, был похож на старый выкорчеванный пенек, еще цепляющийся за почву корявыми перепутанными корнями.

Повинуясь какому-то неопределенному чувству, Веригин, вместо того чтобы выступить на опушку и показаться, тихо остановился между деревьями.

Лесной дед что-то делал; то как будто кланялся, то притоптывал, то вытягивал руки кверху и, кажется, что-то пел или приговаривал — нельзя было разобрать.

— Что за черт, что он там делает? — подумал Веригин.

А дед, кажется, начинал уже танцевать. Он приплясывал, с трудом подгибая дрожащие колена и выкрикивая какие-то слова, в которых Веригину слышалось только:

— Шай! Шай! Шай!..

Голос его звучал глухо и жутко, дико отдаваясь на зеленой, залитой цветами поляне, под тающим в солнечном блеске голубым небом.

Веригин стал догадываться, что присутствует при каком-то неведомом религиозном обряде, и догадка его скоро подтвердилась: старик внезапно скрылся в землянке и сейчас же появился опять, с трудом вытащив оттуда какое-то тяжелое, безобразное деревянное чучело.

Это был грубо вытесанный, нелепо раскрашенный чурбан, и когда старик поставил его у стены землянки, Веригин разобрал жуткое, едва намеченное, скуластое, узкоглазое, деревянное лицо, с какой-то неприятной, не то насмешливой, не то идиотской улыбкой на деревянных губах, и руки и ноги, совершенно одинаково скрещенные.

Потом старик откуда-то достал маленький берестяной корень с медом. Он поставил его перед идолом, взял тонкую раскрашенную палочку, с пением и бормотанием обмакнул ее в мед и помазал по деревянным губам. Чурбан улыбался так же хитро и бессмысленно. Старик смешно воздел руки к небу и опять заплясал и закричал, как пьяный.

Веригину стало смешно. Он решительно выступил из своей засады и показался на поляне.

В ту же минуту произошло что-то странное, чего Веригин никак не ожидал: лесной дед мгновенно остановился, уронил свою палочку и с ужасом уставился на незнакомого человека. Невольно приостановился и Веригин, хотя и продолжал улыбаться. Некоторое время они неподвижно смотрели друг на друга, и видно было, как у старика дрожали колени. Потом он метнулся, как заяц, схватил свой чурбан, поволок его, не осилив от испуга, бросил и, вдруг шагнув в сторону Веригина, замахал руками и закричал:

— Уходи!.. Чего тебе?.. Уходи!.. Нельзя тут!.. Уходи!..

Он путал эти русские слова с какими-то непонятными Веригину звуками, среди которых опять послышалось ему «шау, шау» и еще какое-то «ширмет, ширмет»...

Веригин в недоумении смотрел на старика.

— Уходи, уходи! — кричал дед, топая на него ногами и весь трясясь не то от ужаса, не то от злости. Борода у него прыгала, изо рта вылетала слюна, волосы на голове встали дыбом.

— Да чего ты? Дедушка, мне только... воды напиться... — пробормотал ошеломленный Веригин, невольно отступая и хватаясь за ружье.

Но дед, очевидно, осатанел до того, что даже не слышал ничего. Он как-то странно, обеими ногами сразу, прыгал на Веригина, махал руками, плевал и кричал только одно:

— Уходи! Шау, шау... ширмет! Уходи!

Веригин наконец догадался, что попал в какое-то священное место, куда непосвященным входить нельзя, и что старик гонит его прочь с поляны. И сразу страх, вызванный стариком, пропал, и ему опять стало только смешно. Он нарочно угрожающе шагнул к старику навстречу.

Старик оторопел и на минутку замолк, с диким ужасом глядя на человека, который, по-видимому, совсем не боялся его страшных слов. Веригин подходил все ближе, с любопытством рассматривая идола. Старик поймал этот взгляд и всем телом своим метнулся загородить от чужих глаз своего деревянного бога.

— Да чего ты боишься, дед? — дружелюбно сказал Веригин и шагнул еще ближе.

Тогда старику, должно быть, пришло в голову крайнее средство: он быстро схватил свой чурбан, с невероятной, для такого дряхлого старика силой поднял его над головой и пошел прямо на Веригина, не переставая выкрикивать что-то угрожающее и предостерегающее.

Было ясно, что он твердо убежден в том, что Веригин испугается, и если не падет ниц перед лицом бога, то будет немедленно поражен и уничтожен чудесной силой. Старик, видимо, сам боялся возможных последствий своего поступка и дрожал всем телом.

Шальная, мальчишеская мысль пришла Веригину в голову: когда старик был уже шагах в десяти от него, он быстро приложился и выстрелил из ружья прямо в мертвое, деревянное, идиотски улыбающееся лицо идола.

Грохот выстрела оглушил его самого, и в дыму он не сразу разобрал, что случилось с идолом. Видел только, как что-то белое кубарем покатилося в траву.

Когда же дым разошелся, старик, как убитый, лежал ничком, а в трех шагах от него, лицом вверх, валялся на траве идол, бессмысленно улыбаясь в небо, словно притворяясь, что ему нет никакого дела до того, что случилось. Пуля сколола ему ухо и часть щеки, и белая щепка торчала в сторону.

Веригин подумал, что он убил старика. Что-то жутко дрогнуло у него в груди, и он уже хотел броситься на помощь, как вдруг старик зашевелился.

Он с трудом поднялся сначала на четвереньки, а потом на ноги, весь измазанный зеленью, с трясущимися руками и головой, дико и жалобно оглядываясь кругом. Должно быть, он даже не понял, в чем дело, и думал, что это сам бог поразил нечестивого молнией. Но увидев в трех шагах от себя как ни в чем не бывало стоявшего Веригина, из опущенного дула ружья которого шел сизый дымок, старик остолбенел. Личико его искажилось выражением ужаса и отчаяния. Растерянно оглянувшись, он увидел своего идола и кинулся к нему.

Веригин видел, как он старался поднять бога и как отшатнулся, увидев разбитое, обезображенное его лицо. Несколько минут он оставался на коленях, растерянно водя руками по язве, сделанной пулею. Потом оглянулся на Веригина, ахнул, всплеснул руками, пополз на четвереньках, вскочил и бросился бежать по поляне.

— Дед, дед! — крикнул Веригин с чувством стыда. — Дед, стой!..

Но старик бежал, как молодой, прыгая через цветы и размахивая руками, точно подбитая птица крыльями.

— Дед!

Белая развевающаяся рубашка мелькнула за деревьями, упала, вскочила и, подпрыгнув, скрылась в чаще.

Веригин, опустив ружье, с недоумением и смутным стыдом, долго смотрел вслед. Потом нерешительно подошел к идолу и толкнул его ногою. Идол качнулся и опять лег на спину. В его деревянном тупом лице явно намечалась ехидная улыбка, а косые глаза смотрели вверх с выражением непроницаемым.

Веригин растерянно пожал плечами, посмотрел еще, оглянулся на опустелую поляну и, плюнув, пошел прочь.

«Фу, как глупо вышло!» — в досаде на свою легкомысленную выходку думал он, углубляясь в зеленую чащу. III

Вечером, когда на кровавой полосе заката черным стал лес, Веригин сидел, вытянув усталые, сладко млеющие ноги на середину избы, и пил чай. Больной Шутов, сосланный по одному с ним делу, лежал на лавке и зябко кутался в пальто, хотя было жарко и душно. У него была чахотка, и по прозрачным глазам и по тому, как слабо лежали на обнажившемся лбу светлые плоские волосы, видно было, что жить ему осталось немного.

— Ужасно я рад, что ты пришел! — говорил он слабым прерывающимся голосом, неизменно, что бы он ни говорил, сохраняющим какое-то светлое, приподнятое выражение. — Я ведь все один да один!.. Товарищи заходят редко: лето, никому неохота сидеть с больным!.. Оно и понятно. А я тут все лежу, думаю да вспоминаю... всю жизнь свою на досуге перебрал, ничего, кажется, не осталось! Сначала казалось, ужасно много, а как стал припоминать, так как будто и нет ничего!.. Вчера целый день вспоминал, как меня нянька причащаться водила... Была на мне тогда розовая рубашка и лакированные сапожки, которыми я страшно гордился!.. Глупо и сентиментально, но, когда вот так приходит дело к концу, ужасно, даже и такие мелочи кажутся милыми и трогательными... Нянька у меня была солдатка и все пророчила мне генеральский чин и невесту богатую... А я даже в генералы от революции не вышел, так рядовым и умру!.. И невесты как-то не было времени найти... Один раз даже и влюбился, но тут арест подоспел, так ничего из этого и не вышло!.. Да и в самом деле некогда было: я тут от скуки как-то подсчитал, так оказалось, что я ровно, день в день, четвертую часть жизни в тюрьме просидел!..

Шутов улыбнулся застенчиво и мягко, и было видно, что его утешает именно то, что он просидел в тюрьме четверть жизни. Было нечто наивное и милое в той маленькой гордости, с которой он говорил об этом.

Заря погасала, огненно-красный силуэт окна понемногу бледнел на стене, в комнате становилось темно, и лицо Шутова бледнело и таяло в сумраке.

— Ну, а как ты себя все-таки чувствуешь теперь? — спросил Веригин, сам чувствуя, как неловко звучит этот праздный вопрос.

Шутов засмеялся.

— Как мне себя чувствовать?.. Чувствую, что умираю!

— Ну, вот... глупости! — возразил Веригин с тем неприятным, фальшивым выражением, с каким очень здоровые люди утешают больных, относительно участи которых у них нет ни малейшего сомнения. — Еще поправишься!.. Климат тут такой, что не хуже Ялты... Еще посмотри, каким молодцом запрыгаешь!

Шутов выслушал его без интереса, очевидно, из деликатности, стараясь не показать, что отлично понимает смысл слов Веригина. Он, видимо, так привык к мысли о скорой смерти, что ему даже просто скучно было слушать все эти утешения.

— Нет, что уже тут! — слабо отмахнулся он. — Да и что там... умирать, так и умирать!

Кто-то вошел в избу и стал возиться в темном углу. Видна была уже только одна черная высокая тень.

— Огонь зажечь, что ли? — спросил оттуда глухой голос.

— Пожалуйста, Федор Иванович! В самом деле, что же мы впотьмах сидим!

В маленькие оконца уже глядела только бледно-зеленая полоса, холодная, точно осенью.

Чиркнула спичка, звякнуло стекло в неловких грубых пальцах, загорелся трепетный синий огонек.

— Вот, так-то лучше, чем в темки играть.

Лампа разгоралась медленно, и при свете ее Веригин рассмотрел непомерно высокого старика, в черной жилетке, с костяными пуговками, в белой рубашке навыпуск, с длинной седой бородой и седыми нависшими бровями, из-под которых зорко смотрели острые черные глазки. При виде его Веригин вспомнил того старика в лесу.

— А вы, Федор Иванович, чайку с нами не выпьете? — продолжал Шутов.

— А и выпью! — глухо, как сквозь подушку, ответил старик. — Из тех же будете? — пронизательно глядя из-под седых кустов, спросил он Веригина, принимая от него толстый стакан и наливая на блюдечко.

— Из тех самых!

— Тэк-с... — неодобрительно, как показалось Веригину, буркнул старик, дуя на блюдечко, которое держал высоко на растопыренных пальцах. Потом с хрустом откусил сахар, запил и, поставив пустое блюдечко на стол, сейчас же стал наливать, спокойно держа горячий стакан в заскорузлых пальцах.

Отпив стакан, пока Веригин наливал ему другой, старик сидел прямо и пытливо смотрел на гостя.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Веригин.

— Смотрю... Зря вы сделали, неладно, нехорошо! — сурово сказал старик.

— А что? — удивился Веригин.

— А то! — непонятно буркнул старик и взялся за блюдечко. Веригин понял, что ему известна история в лесу, и слегка покраснел.

— А вы откуда знаете? — недружелюбно спросил он.

— Выходит, что знаю... Сорока на хвосте принесла! — загадочно отвечал старик.

— Да вы о чем? — спросил Шутов с любопытством. Веригину не хотелось рассказывать, но он все-таки рассказал.

— Да, вот... — сказал старик, когда Веригин замолчал, — и выходит, что поступили вы очень даже неладно. Я этого старичка знаю: это тут в давние времена были какие-то поселенцы, из первых... Жизнь тогда тут была дикая, ну, и они обурятились, свою веру забыли, стали идола кланяться... Так и живут, как бы идолопоклонники, выходит. Однако, опричь этого, дурного о них сказать нечего. Хорошо живут, правильно.

Старик говорил глухо, — усы мешали, — но веско и даже торжественно, как власть имеющий.

— Я их так понимаю, что смещение произошло: Христа-то они забыли, а обычай христианский соблюдают не в пример многим и из наших. Водки не пьют, никому худого не делают, воровства промеж них нет... нравственность имеют высокую и себя очень соблюдают. Наших не чуждаются, нет, но только идола своего никому показывать не могут. Такой у них, значит, закон... А старичок тот у них заместо главного шамана, что ли, считается. Очень правильный старичок. А теперь у них такое идет, что ну!.. И какие последствия тому могут быть, неизвестно. А только я вам скажу, что назад тем же путем вам теперь идти несподручно. Вы тут денька два поживите, а сын старший мой вернется, я ему прикажу, он вас проводит.

— Фью! — самоуверенно присвистнул Веригин и посмотрел на свое ружье, стоявшее в углу. Ему было досадно, что старик как бы нотацию ему читает, и тем более досадно, что ему самому было стыдно своей мальчишеской выходки.

Старик покачал головой, но ничего не сказал и стал наливать на блюдечко.

Шутов с тревогой посмотрел на него.

— А ты знаешь, ты в самом деле не ходи, подожди! — волнуясь, сказал он.

— Наплевать! — хвастливо возразил Веригин, именно потому, что ему самому что-то стало жутко, и стыдно было в этом признаться.

В избе было душно и темно. Лампочка давала мало свету; по стене от самоварного пара быстро проползали и исчезали под потолком дымные тени.

— Нехорошо! — повторил старик как бы про себя.

— Ну, что ж, — заговорил Веригин, озлившись на его осуждающий тон, — вы, верно, человек религиозный, следовательно, должны одобрять мой поступок: разрушил идолопоклонство!.. Святые отцы всегда так поступали.

Старик покосился на него, показывая, что понял насмешку.

— Вашему делу святые отцы не пример! — неодобрительно сказал он. — И не все правильно и святые делали.

— Что ж, по-вашему, не надо бороться с суевериями? Пусть себе идолам поклоняются, что ли? — насмешливо спросил Веригин.

Старик помолчал.

— Всяк человек своего идола имеет! — наставительно возразил он. — Не в том дело, чему человек поклоняется... Нам с вами чужую веру гнать не к лицу!.. Ты свою веру знай, барин, а чужой не касайся. Ты себя в добре держи и будешь тем самым Богу слуга. Не в храме, а в духе! — торжественно и непонятно возгласил старик, значительно подняв толстый, заскорузлый палец.

— Так то дух, а то деревянный чурбан! — не вдумываясь в слова старика, возразил Веригин.

— Чурбан!.. А ты во что веришь, барчук? — уже явно неодобрительно вдруг спросил старик и зорко уставился на Веригина.

Веригин засмеялся.

— Я в человечество верю, старик!

— В человечество? — раздумчиво и как бы с недоверием переспросил Федор Иванович. — В человечество!.. Ну, ин по-твоему... И крепко веришь?

— Верно, крепко, коли сюда попал!

— Во! А почему ты знаешь, что твоя вера — правая?

— Я думаю!

— А ты не думай, а говори, как понимаешь! Вот, скажем, и я, и Василий Васильевич, и старичок тот, и урядник наш, скажем, тоже — люди-человеки. Так ты и в нас веришь?

— Ну, почему — в вас?.. Я, старик, в идею человечества верю! — улыбнулся снисходительно Веригин.

— Ась? — переспросил Федор Иванович и наклонил ухо, из которого торчали седые волосы.

— Ну, во всех вместе верю! — смеясь, пояснил Веригин.

— Нет, это ты пустое говоришь! — покачал головой старик. — В каждого человека верить ты не можешь, потому что человек смертен и в юдоли своей весьма даже ничтожен. Этак ты и в козу поверишь!.. А веришь ты, как и все мы, в правду да в добро... Ты в людях правде и добру кланяешься. И выходит, что человек тебе наместо чурбана служит.

— Как? — в свою очередь переспросил Веригин.

— Намедни к нам миссионер приезжал, — как бы не слушая, продолжал старик, наливая чай, — собрал народ, книги вывалил и пошел: не так крестимся да не так молимся, неправедно, значит, живем и через то геенне огненной уготованы!.. А у самого рожа, как самовар... Постник!.. Ты-то как крестишься, когда анафеме людей предаешь? — спрашиваю... Как ты Богу молитвы возносишь перед образами постников великих, ежели от тебя винищем разит?.. Осерчал, изругал, да и уехал!.. Смеялись потом наши... А мне не смешно!.. Человек не Богу, а вере кланяется... Построил себе церкву, ей и служит, а в жизни у него Бога-то и нет!.. Руки да язык верят!.. К чему такая вера, хоть будь она самая расправильная? Ни к чему!.. А тот старичок, которого ты изобидел и, может, веры решил, своему идолу нелицеприятно служил!.. Дай Бог тебе, чтобы ты так со своим человечеством жил, как он со своей чурбашкой!.. А ты зачем человеку зло сделал, коли в человека веришь?..

— А черт же его знал! — обозлился Веригин и в замешательстве стал закуривать, притворяясь, что все его внимание поглощено огоньком спички.

— Нет, не черт! — укоризненно возразил старик. — то знай, что у каждого свой чурбан есть, и

никакая перед другой никакого преимущества не имеет. Бога никто же не видел нигде же!.. Ты Бога спрашивал, какая вера ему милее?.. Перед ним все веры равны, а человеку та и лучше, от которой в нем зла меньше. Ты мимо своего чурбана на Бога смотри, так чурбан-то уже и не чурбан выйдет!.. Вот тебе и весь сказ, а ты над ним подумай. А я пойду... Покорнейше благодарим за угощение...

Старик перевернул стакан, положил огрызок сахара на донышко и встал.

— Большой вы философ! — смешливо сказал Веригин.

— Философ! — горько повторил старик и безнадежно покачал головой. — Прощения просим.

Он вышел, низко нагнувшись в дверях. Веригин и Шутов долго молчали. Глухой голос, казалось, остался в комнате и давил на душу.

— Любопытный старик! — наконец сказал Веригин, единственно потому, что не знал, что сказать.

— Он умный старик! — оживился Шутов. — Я с ним очень люблю беседовать... Есть в нем что-то крепкое!

— Да-а... — неохотно согласился Веригин, которому досадно, что старик как будто бы отчитал его.

— А у нас все вразброд пошло! — помолчав, заметил Шутов, очевидно перескочив к этому от фразы о крепости старика. — Все переругались, перессорились, все программы перепутали... Проиграли дело, а теперь и торгуются, кто прав, кто виноват!.. Тяжело слушать!.. И что тут спорить. Все виноваты!.. Мало было готовности идти до конца... А в сущности, что ж: нельзя от всех требовать геройства!

— Ты-то достаточно, кажется, погеройствовал! — заметил Веригин, с невольной лаской посмотрев на жидкие больные волосы и ясные открытые глаза.

— Какое там геройство! — махнул рукою Шутов. — Что легкие отбили, так это случай!

— Хорош случай! — засмеялся Веригин, и глаза у него стали влажными.

Шутов заволновался.

— Нет, в самом деле... — сказал он, видимо желая переменить тему, — все бы это ничего, а скверно то, что лежишь тут, как колода, когда там каждый человек на счету.

— Довольно с тебя!.. Ты и так много сделал!

— Что же я сделал? Где оно?.. Если хочешь, я, конечно, знаю, что с меня, полумертвого, спрашивать больше нечего, но мне-то от этого не легче! Придут товарищи, начнут рассказывать, газеты читать... ужас, что делается!.. Так и бросился туда!.. Нет, лежи и кашляй, смерти жди!..

— Ну что ты все о смерти! — неловко перебил Веригин.

— Поневоле будешь, если она за плечами!.. Ты не думай... — вдруг заторопился Шутов и даже покраснел от волнения, — я смерти не боюсь... в самом деле не боюсь... Я не ною!.. Я к ней отношусь, как к факту... Что значит — смерть?.. Когда-нибудь умирать же надо. Мне только жалко, что я не увижу, чем все это кончится!.. Так иногда подумаешь, что пройдет эта полоса, подыметесь новая волна, будет борьба... будут гибнуть и побеждать, а тебя уже не будет с ними... грустно!.. Не пришлось... А какое, должно быть, счастье видеть победу своей

идеи!.. Эх, если бы хоть знать наверное, что мы победим!.. Слушай, скажи по совести, от души, веришь ты, что мы победим в конце концов? — с невероятным волнением спросил Шутов и даже приподнялся.

Веригин взглянул на светлые, широко открытые глаза, в которых горел странный, восторженный вопрос, и ему даже странно стало: три дня осталось человеку жить, а он говорит — мы победим!.. Что ему до того?!

— Конечно, победим! — сказал он, невольно потупившись. Шутов так и остался, приподнявшись на локте. Он смотрел не на Веригина, а куда-то выше, точно через голову товарища он уже видел своими прозрачными от близкой смерти глазами какое-то победное шествие вдали, какое-то лучезарное новое солнце.

Потом он сразу ослабел и лег. На лбу у него выступил пот, жалко слиплись жидкие белые волосы, глаза помутились.

Веригин сидел потупившись, глядя на свои сапоги. Почему-то он не мог смотреть на Шутова. Этот странный предсмертный восторг больно резал сердце. IV

Солнце еще не всходило, когда Веригин вышел на знакомую поляну, но верхушки деревьев были уже светлы и воздух прозрачен. Утренняя свежесть молодила, и ноги шагали так легко и охотно, точно им самим доставляло удовольствие нести тяжесть сильного, бодрого, молодого тела.

Внизу, под деревьями, зелень была еще бледная от росы, и полянки казались покрытыми инеем. Трава была тяжела и мокра, и не успел Веригин войти в лес, как сапоги уже блестели, точно вымытые, и коленки брюк почернели.

От вчерашних разговоров осталось впечатление чего-то большого и тяжелого, и думать о них не хотелось в такое радостное чистое утро. Под влиянием этой чистоты, света и легкости Веригин почти забыл и предостережение старого Федора Ивановича, хотя перед уходом и старик, и Шутов настойчиво уговаривали его не идти в одиночку. Остаться — значило признаться окончательно, что он наглумил и сам струсил. Веригин пошел назло и первое время был настороже, не выпуская ружья из рук и зорко вглядываясь в каждый куст. Но в лесу было пусто и тихо, ничего подозрительного не видно было нигде, и понемногу осторожность ослабела. Он совершенно успокоился, и когда между деревьями мелькнул просвет поляны и показалась крыша знакомой землянки, Веригин уже не почувствовал ничего, кроме любопытства.

Прежде всего его поразили страшная пустота и безмолвие поляны: цветы, понурив головки под тяжестью обильной росы, неподвижно стояли в траве и как будто спали; не летали пчелы, должно быть тоже еще спавшие в своих теплых ульях; пестрые лоскутья под крышей отсырели и висели, как мокрые тряпки; дверь в землянку была открыта и чернела жутко, как в могилу. Никого не было кругом.

Веригин, как давеча, постоял на опушке и подошел. Он невольно ожидал, что откуда-нибудь вынырнет белый дед и опять начнет кричать и плевать на него. Странно, он даже как будто был бы рад этому. Но пустота и безмолвие царили кругом, и бледные деревья одни стояли, понурившись, на опушке.

— Дед! — крикнул Веригин, сам не зная зачем, повинуюсь какому-то жуткому сознанию одиночества.

— Де-ед!

Что-то трепыхнулось и защелкало у него над головой. Веригин быстро обернулся,

схватившись за ружье. Но это была только проснувшаяся ворона. Она захлопала отсыревшими за ночь крыльями и неуклюже полетела вниз, вдоль опушки.

«Куда он девался?» — подумал Веригин.

Он подошел к землянке и осторожно заглянул внутрь. Сыростью и затхлостью погреба пахло оттуда. Веригин нарочно стукнул прикладом, но никто не отозвался. Только приглядевшись, он вдруг увидел во мраке какие-то две светящиеся точки, беспокойно двигавшиеся в самом темном углу. Веригин невольно сунул вперед дуло ружья. Светящиеся точки мигнули. Веригин отступил шага два, и что-то рыжее пушистое шмыгнуло у него под ногами. Большая, присадковатая лиса, распушив рыжий хвост, скачками пошла через поляну и в одно мгновение скрылась в кустах.

— Ах, чтоб тебя! — успел только вскрикнуть Веригин и вскинул ружье, но было уже поздно.

Ему пришло в голову, что лисица забралась сюда неспроста. «Уж не умер ли он там?» — подумал Веригин, забывая, что лисица не идет на мертвечину.

— Дед! — опять громко позвал он.

Было тихо, и все светлее и светлее становилось кругом. Вершинки деревьев уже загорались розовым пламенем, и то тут, то там робко звучали первые птичьи голоса.

Веригин, нагнувшись, вошел в землянку и, когда глаза его привыкли к темноте, рассмотрел на полу окровавленный пух и перья. Он понял, что землянка оставлена совсем.

— А, черт! — с смутным, неприятным чувством по привычке выругался Веригин и вышел на воздух.

Все еще держа ружье наготове, не веря этой тишине, он обошел землянку и попал в маленький, загороженный сухим хворостом пчельник. Картина полного разрушения поразила его здесь: четыре грубо сколоченные улья валялись на боку, крышки с них далеко откатились в сторону, и на земле, вместе с вытекшими раздавленными сотами, — влипшие в них мертвые пчелы. Несколько живых, в полном оцепенении сидевших кругом на ветках загородки, казалось, в безмолвном отчаянии, равнодушные ко всему на свете, созерцали гибель своего дома. Две-три тяжело снялись с места и с грозным жужжанием попытались налететь на Веригина, но уже не было силы и сознания в их разрозненном гудении, и они скоро так же тупо уселись где попало.

Веригин, все еще не совсем понимавший смысл этого странного разрушения, вышел с пчельника, заглянул в пустую темную землянку и, махнув рукой, пошел прочь.

В маленькой низинке, где еще с весны стояла неглубокая ржавая вода, окруженная тонкой черной грязью, что-то бросилось ему в глаза. С тревожным толчком в сердце, Веригин подошел к болотцу. Ему вдруг отчетливо и страшно представилось, что сейчас он увидит труп старика, не вынесшего крушения своей наивной и твердой веры, посрамленной чужой и холодной рукой.

Но это был только деревянный чурбан с расколотой выстрелом головой. Он, очевидно, был с силой брошен в болото, но, забрызганное черной грязью, все так же хитро и бессмысленно вместе улыбалось его деревянное узкоглазое лицо.

Веригин смотрел на него со странным и тяжелым чувством. Было стыдно, жаль, и что-то, больше жалости и стыда, еще неосознанное, шевелилось в душе.

Он, вероятно, долго простоял бы здесь, если бы какой-то звук не заставил его быстро обернуться... Странно, как во сне, мелькнул в самом краешке глаза силуэт лошади и

всадника вдали между деревьями, но когда Веригин оглянулся, никого не было, и бледно-зеленый лес молча смотрел на него.

«Пуганая ворона куста боится!» — с досадой подумал Веригин, не допуская мысли, что можно так бесследно скрыться в одно мгновение.

Он тряхнул головою, вскинул ружье на плечо и бессознательно ускоренными шагами пошел своей дорогой. V

Уже все деревья были облиты радостным золотистым светом, и роса блестела тысячами искрящихся бриллиантов, когда Веригин, задумчиво шедший по лесу, вдруг остановился.

Робкими и мелкими шажками, пробираясь по полянке, ковылял перед ним куцый серый зайчик. Его непомерно длинные уши были плотно прижаты к спине и нервно шевелились, куцый хвостик торчал на неловко приподнятом задке, и казалось, что он нарочно стал на четвереньки.

Было у Веригина невольное движение за ружьем, но что-то остановило его, и, притаив дыхание, неподвижно стоя, он смотрел, что будет делать забавный зверек.

Выбравшись на серединку поляны, заяц сел и сторожко вытянулся, высоко подняв над головой длинные уши и прижав к беловатому животу короткие передние лапки. С минуту он чутко прислушивался, чуть заметно поворачивая уши из стороны в сторону. Веригину было видно, как часто-часто дрожит его нежный носик, принюхиваясь к подозрительным запахам. Но Веригин стоял за ветром.

В лесу уже повсюду звенел и трещал птичий гомон. Листья и трава прозрачно золотились в свету. Небо было чисто и ясно — ни одного облачка!

Заяц шевельнулся. Он, должно быть, убедился, что никого нет кругом и никакая опасность ему не угрожает. На минутку он даже как-то осел, комфортабельно выставив животик и зажмурившись от удовольствия, потом вытянулся опять, поднял передние лапки и смешно замахал ими в воздухе, сложив точно мусульманин на молитве. И вдруг, неожиданно сорвавшись с места, прыгнул, перекувыркнулся, растянулся в траве и завертелся колесом.

Было так зелено, так светло, так радостно кругом. Заяц, как сумасшедший, прыгал, скакал, махал лапками, кувыркался через голову. Он, очевидно, ошалел от радости светлого утра и полной безопасности.

Веригин едва не расхохотался, глядя на его ужимки и прыжки. Бедный, безобидный, самый загнанный из всех, зверек был и смешон, и жалок в своей наивной, кроткой радости, не подозревая, что смерть стоит тут же за деревом.

Вдруг он остановился, стал на задние лапки и замер, мгновенно превратившись в олицетворенный испуг. Уши торчком, глаза настороже, и часто-часто дрожащий носик... Но, очевидно не услышав ничего подозрительного, он опустил лапки на животик, опустил и одно ухо и, прищурившись, замер в блаженном созерцании зеленого леса, голубого неба и светлого солнца.

Гулкий выстрел прокатился по лесу. Веригину показалось, что кто-то крепко ударил его палкой по затылку. И уже не видя, как отчаянным скачком бросился в кусты заяц, он подскочил, взмахнул руками и грузно упал в траву ничком.

Некоторое время было тихо. Солнце светило прямо в затылок Веригину, и на примятой траве было что-то серое и красненькое.

В кустах зашевелилось, и показалось странное узкоглазое, как будто деревянное лицо, без

всякого выражения. Осторожно, по-кошачьи ступая, к неподвижно лежащему Веригину подошел желтолицый бурят. В руках у него еще дымилась длинная старая винтовка. Он как будто равнодушно посмотрел на Веригина, толкнул труп ногой и стал спокойно заряжать свою винтовку.

Потом огляделся кругом, поднял ружье убитого, отошел в кусты и, выведя оттуда низкорослую косматую лошаденку, ловко поднялся на седло и тихо, пробираясь как волк, поехал прочь по лесу.

Примечания

1

Нет, напротив! (фр.)

2

Отца (лат.).